



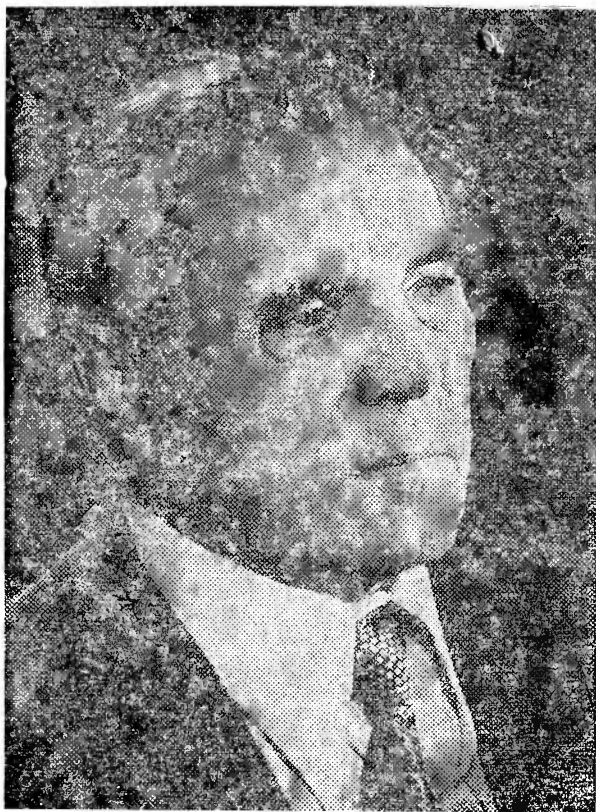
---

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

ЦАРЬ-РЫБА

**БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
„МУЖЕСТВО“**

**С 1979 ГОДА ВЫХОДИТ В СОСТАВЕ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕКИ «МУЖЕСТВО»,  
ИЗДАВАЕМОЙ ПО РЕШЕНИЮ КОЛЛЕГИИ  
ГОСКОМИЗДАТА РСФСР  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАМ<sub>а</sub>  
И ТРУЖЕНИКОВ УДАРНЫХ СТРОЕК  
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА**





---

Виктор АСТАФЬЕВ

# ЦАРЬ-РЫБА

ПОВЕСТИ



Хабаровское  
книжное  
издательство  
1986



04.3P2

А 91

Ответственный редактор библиотеки «Мужество»  
первый секретарь правления Союза  
писателей СССР,  
Герой Социалистического Труда  
Г. М. МАРКОВ

Члены редколлегии:

В. И. КЛИПЕЛЬ  
Н. Д. НАВОЛОЧКИН  
В. П. СЫСОЕВ

А  $\frac{4702010200-21}{M160(03)-86}$  24-86

© В. Астафьев. Повести. — М.: Художественная литература, 1984  
© Оформление. Хабаровское книжное издательство, 1986

## Стержневой корень

Сначала маленькая «биографическая справка», а потом уж то, ради чего я взялся писать предисловие к этой книге.

Родился я 1 мая 1924 года в селе Овсянка, неподалеку от Красноярска. Все, кто ездил или собирается поехать из Красноярска в Дивногорск, на гидростанцию, никак не минуют моего родного села — оно между двумя городами, и ныне в Овсянке есть маленький железнодорожный вокзальчик. Село расстроилось, обросло рабочими поселками. Возле него деревообрабатывающий завод, по нему пролегают две дороги — шоссейная и железная, старые посадки села стиснуло, прижало к реке наседающими со всех сторон строениями дачного облика — Овсянка, стоящая на границе заповедника Столбы, сделалась считай что пригородом. Но есть еще приметы, невидные стороннему глазу и ведомые мне: лишь только скатится автобус по немислимо крутому, извилистому спуску к речке Большой Слизневке, в ее устье чуть заметен будет травянистый бугорок — здесь стояла когда-то водяная меленка, построенная моим прадедом.

Возле речки сплавной рейд. От рейда идет сплавная бона, головка которой как стояла в тридцатых годах, так и поныне стоит на против дома Василисы Вахромеевны, запомнившейся с детства тем, что была она необычайно красива и гораздо на огородные выдумки — первой на селе посадила клубнику «викторию». О головку вахромеевской боны ударились лодка, в которой плыла в город моя мама, да и угодила под бону, утонула, зацепившись косой за перевясло. Далее, за вахромеевским домом, — куда бы я ни ступил, на что бы ни взглянул в селе, — все мне знакомо. Кругом живут родичи или близкие сердцу односельчане, все напоминает детство, а красоты наших мест: горы, Енисей, тайга, пусть и шибко потревоженные наступающим прогрессом, все не перестают манить, волновать и восхищать меня. Но об этом я уже так много писал, что нет надобности повторяться в короткой статье. Здесь хотелось бы поговорить не столько о «малой родине», о вечной этой присгани, от которой все мы отшвартовались в жизнь, а о людях, что маяками светят нам на сложном, извилистом пути жизни, питают нас своим душевным теплом и живительными соками так же, как главный, стержневой корень питает дерево...

Осенью 1943 года на Днепровском плацдарме, возле небольшой деревеньки под громким названием Великий Букрин, вроде бы от кого-то из игарчан, мельком увиденного в военной толчее и коловерти, узнал я о кончине Василия Ивановича Соколова, бывшего воспитателя, а затем и директора Игарского детдома.

Он умер, работая директором школы на острове Полярном, что против порта Игарки, и похоронен на кладбище островного совхоза. В той обстановке, где меня настигла скорбная весть, она поначалу лишь скользом коснулась сознания, и на время память отдалила Василия Ивановича в уголок, как вскорости оказалось, недалёкий.

Через неделю-две, тяжело раненный и контуженный, я находился уже в тылу, медленно приходил в себя, трудно воспринимая явь, собирая воедино все, что я до того мига, когда вспух передо мной и уже беззвучно лопнул взрыв, видел, знал, помнил. Капризные, болезненные всплески памяти, от которых в голове набатно гудело, теснило сердце, тошнотой кружило нутро и все время тревожило, пробуждало что-то, совсем недавно узнанное, совсем близко лежавшее, но это «что-то» никак не давалось мне.

И вот однажды, в светлое утро, после глубокого сна, увидев за окном падающий с клена нарядный лист, я вдруг неожиданно вспомнил о смерти Василия Ивановича Соколова и тихо заплакал очищающими душу слезами.

Человеку везучему (а я отношу себя к этому ряду людей) судьба может отвалить нечто совсем уж удивительное и из всего многолюдного и разнокалиберного живого мира возьмет да и пошлет навстречу не просто хорошего человека, но человека редкостного и прекрасного. И прекрасных людей я знал немало, но не из родни: первым — после мамы, бабушки и деду — был Василий Иванович Соколов.

Валеряна Ивановича Репнина в повести «Кража» (1961—1965) я писал, имея в виду Василия Ивановича Соколова, писал и с грустью убеждался, как мало и поверхностно его знал. Да какой же спрос с мальчишки, непоседливого и воливого? Вот если б сейчас!.. Ах, как часто это «если бы» посещает нас с возрастом, но что делать? Жизнь не повторишь, и детству осмотрительность заказана. Однако же все, что касается биографии Василия Ивановича Соколова с возможной точностью и добросовестностью передано Валериану Ивановичу Репнину. Посему я упустил подробности жизни Василия Ивановича и поведаю о том, каково было влияние этого человека и какое воздействие до сих пор оказывает оно на меня.

Возможно, то был с его стороны всего лишь «индивидуальный подход», хотя я мало этому верю, — худой, недобрый человек никаким «индивидуальным подходом» никого не возьмет. Василий Иванович, будто угадав, что меня уже не только много унижали, попрекали хлебом, даже тем, что я зачем-то живу, но и достаточно много

топтали в прямом и переносном смысле, и вытоптали, пожалуй, «детскую полянку», все же искал на ней траву, нашел несколько еще живых, не ошестиненных былинков и ухватился за одну из них — я любил читать; читал без разбора и передыха все, что попадало в руки, дрался из-за книг, даже воровал их, не считая это большим грехом.

Поначалу мы просто разговаривали о прочитанном, и, давая мне «фору», воспитатель прикидывался удивленным моим «всезнанием» и памятьливостью. Но постепенно и незаметно он развеял мою самоуверенность, я с изумлением обнаружил, что читал он куда больше меня, что он вообще высокообразованный человек, а «такой простой»!..

Подлинная простота, подлинная, непоказная интеллигентность — одна из отличительных черт настоящего человека, а если еще природой дарованы ему доброта и способность к состраданию, то и удивляться нечего, что сперва я начал уважать Василия Ивановича, затем полюбил его «скрытой, застенчивой любовью, хотя, естественно, не выказывал этих чувств да и себе самому признаться в них посовестился бы. Просто мне уже хотелось стать лучше, не огорчать воспитателя, меньше обижать тех, обидеть кого я был в силах, и не потерять то доверие, которое испытывал я к Василию Ивановичу, а он ко мне.

Вероятно, Василий Иванович пробудил во мне и своего рода честолюбие — я перестал гордиться тем, что третий год сижу в пятом классе, и попросился в шестой, где обнаружилось, что я вполне успешно справляюсь с программой по русскому языку, литературе, географии и истории, но математику едва тяну за третий класс, а в области физики и химии вообще неосведомлен. И все-таки шестой класс я одолел за одну зиму, тогда как все остальные, кроме первого, «проходил» за два-три года, несколько тем не огорчаясь.

Трудно и напряженно жил и учился я в ту последнюю зиму — весной мне исполнилось шестнадцать лет, нужно было покидать детдом. И я его покинул, попробовал вернуться к отцу и мачехе и начать «взрослую жизнь». Ничего из этого, однако, не вышло, да и выйти не могло — к той поре отчуждение между мною и родителями переросло не просто в неприязнь, а во взаимную придиричивую ненависть.

Я решил поступить на временную работу, подзашибить денег на билет и выехать из Заполярья на магистраль, где в ту пору широко распахнулись двери школ трудовых резервов. Я поступил коновозчиком на кирпичный завод, доставлял на телеге к обжигным печам топливо — отходы с лесобиржи, «макаронник» — по-здешнему. Однажды катил я на лошадке по брусчатой мостовой, напевая что-то, как вдруг увидел впереди коренастого, грузного человека в коричневой шляпе, недорогом опрятном костюме, в желтых штиблетах. Вспом-



нилось, как ходил прежде этот человек в шторм из холщовых мешков, крашенном не то краской, не то сажеей костюмчике, в покоробленных шлепанцах, но выглядел все равно опрятно, всегда был брит, стрижен, подобран...

Я хлопнул лошадку вожжами и отвернулся, пытаюсь проскользнуть мимо человека, которого стеснялся, перед которым хотелось мне явиться не коновозчиком в латаных штанах и кепчонке, насунутой на нос, но тоже в шляпе бы и в костюмчике. Проскользнуть не удалось. Человек перенял меня, спросил, отчего я не здороваюсь с ним и не захожу в детдом. Я промывал что-то невнятное, и тогда Василий Иванович (а это был он) внимательно в меня всмотрелся, подавил вздох и сказал то, что не раз уже говорил мне насчет моих природных способностей, отличной памяти, бьющей через край энергии, и заключил, что коновозчиком работать может всякий, а я рожден для дел более значительных, но сами они ко мне не придут, их достичь надобно, употребить усилия, проявить упрямство...

На протяжении тех лет, которые я прожил в детдоме при Василии Ивановиче, он частенько твердил мне о моих «природных данных», о «несомненной литературной одаренности», и я от этих слов впадал то в лихую, дурашливую веселость, то в смущение, однако потихоньку начал сочинять стихи, участвовал в школьном рукописном журнале и напропалую врал ребятишкам, пересказывая прочитанные книги.

Позднее я пойму, что, напирая на меня вот так, «в лобовую», Василий Иванович пытался сломать во мне то чувство самоуничижения, бросовости, серности моей, которое внушали мне отец и мачеха, некоторые учителя в школе, разного рода благодетели, на коротких, но уже витых путях-перепутьях кормившие меня корёным хлебом, не жалея при этом назиданий вперемежку с упреками. А назидания — они страшнее брани, больнее беспощадных пинков сапожищами на базарных и вокзальных площадях, где «учат» воришек-беспризорников «уму-разуму» туполобые. звереющие от детской беззащитности пьяные мужики и торгаши.

Легко загнать в угол малого человека, смять его душу, довести до озверения и за все это уконопатить затем в исправительно-трудовую колонию, считая дело оконченным и удовлетворившись тем, что «так и думали», «так и полагали». Не зря ведь говорят: если и на пень долго смотреть злым взглядом — он задымится.

Василий Иванович возвышал в их собственных глазах униженных и прибитых сиротством ребят, выявляя в них то хорошее, что от рождения было дано им природой. И не помню я в детдоме таких парнишек и девочек, которые не пытались бы в ответ на это сделать лучше, достойнее.

Однажды в шляпу Василию Ивановичу бросили пятак. Была у него старомодная привычка раскланиваясь с людьми, снимать при

этом шляпу. Игарские чемпионы по игре в чик и метнули ему точехонько в нее пятак, замыслив то ли поизмываться над стариком за смешную, давно отжившую «культуру», то ли просто поразвлекаться, незло похулиганить. Детдомовцы — народ союзный; узнав об этом, решили отомстить: точили заржавевшие уж было ножики, выдирали железные прутья из кроватей, полнились гневом, воображая, как излупят «чикарей» и, возможно, даже бараки разгромят, в которых те жили.

Василий Иванович остановил этот поход на город, повернув дело как-то так, что «чикари» оказались просто веселыми озорниками. «Метки, шельмецы, ох, метки!» — восхищался он, давая нам еще один урок снисходительности к людям незрелым, к детям, урок умения не опускаться до мести за мелочи, ибо человеческая жизнь коротка и слишком большая роскошь расходовать время на злобные вспышки по пустякам.

Когда мне нынче толкуют, что работа моя в литературе проникнута светом добра, я принимаю это как должное, с тем спокойствием, которое утверждено сознанием, — иной она и быть не могла. Вся моя сущность, дух мой глубоко вросли в ту почву, сказать точнее — в землю, где в могиле, давно утерянной людьми, лежит Василий Иванович Соколов. От него-то пророс и укрепился во мне корень добра; засушить его или повредить — значит изменить чему-то святому, подвести человека, чья жизнь и душа были без остатка отданы нам, детям. Мы ответственны перед теми людьми, которые продолжают в нас.

Замечательный человек, встретившийся мне в начале жизненного пути, был и Игнатий Дмитриевич Рождественский, сибирский поэт, ныне тоже покойный. Он преподавал в нашей школе русский язык и литературу, и поразил нас учитель с первого взгляда чрезмерной близорукостью, которая при его молодавости казалась особенно забавной. Читая, учитель приближал бумагу к лицу, водил по ней носом и, ровно бы сам с собою разговаривая, тыкал в пространство указательным пальцем: «Чудо! Дивно! Только русской поэзии такое дано! Да разве вам, халдеям, это понять?!»

«Ну, такого малахольенького мы быстро сшамаем!» — решил разбойный пятый «Б» класс, где я вместе с одним моим закадычным дружкой отбывал уже второй год.

Ан не тут-то было! На уроке литературы, положив на стол часы, учитель заставил всех нас подряд читать вслух по две минуты из «Дубровского» и «Бородина». Послушав, без церемоний и всякой педагогической этики бросал, сердито сверкая толстыми линзами очков: «Орясина! Недоросль! Под потолок вымахал, а читаешь по слогам!» «Ничего, — сказал он одной отличнице, — читаешь прилично, за третий класс». Отличница залилась слезами, а учитель продолжал рубить в крошку одного за другим лихих пятиклассников.

На уроке русского языка учитель наш так разошелся, что проговорил о слове «яр» целый час, и, когда наступила перемена, изумленно поглядев на часы, махнул рукой: «Ладно, диктант напишем завтра».

Я хорошо запомнил, что на том уроке в классе никто не только не баловался, но и не шевелился. Меня поразило тогда, что за одним коротеньким словом может скрываться так много смысла и значений, что все-то можно постичь с помощью слова и человек, знающий его, владеющий им, есть человек большой и богатый.

Впервые за все время существования пятого «Б» даже у отпетых озорников и лентяев в графе «поведение» замаячили отличные оценки. Когда мы подтянулись с программой и у нас пробудился интерес к литературе, Игнатий Дмитриевич стал приносить на уроки свежие журналы, книжки, открытки — это было тогда редкостью — и обязательно читал нам вслух минут десять — пятнадцать, показывая открытки и картинки, и мы все чаще и чаще просиживали даже перемены, слушая его.

Очень полюбили мы самостоятельную работу — не изложения писать, не зубрить наизусть длинные стихи и прозу, а сочинять, творить самим. Игнатий Дмитриевич уже ходил в ту пору в начинающих поэтах, и, узнав об этом, мы прониклись к нему трепетной почитательностью. Иногда мы просили его прочитать нам что-нибудь свое. Без позерства и кокетства, но очень смущаясь, он читал нам свои новые стихи, точнее, проборматывал их, дабы не очень утруждать своими творениями посторонних людей. Но мало ли кто из молодых учителей не балуется «литературой» и мало ли их, бывших учителей, «вышло в литературу»? Однако вот так щедро и доверительно отдавать себя людям, да еще маленьким, приобщать их к творчеству способен все же редкий учитель.

В школе из года в год мне давали на осень задание или переэкзаменовку по арифметике, и, как повелось, на переэкзаменовку я и на сей раз идти не потрудился, снова, в третий раз, засел в почти уже родной пятый «Б».

Игнатий Дмитриевич стремительно влетел в класс, от порога швырнул на стол классный журнал, бросив на ходу: «Дежурный, потом отметишь, кого нет», — велел достать тетради, ручки и написать о том, кто и как провел летние каникулы. Класс заскрипел ручками, запыхтел, выжимая воспоминания из-под нахмуренных лбов. Учитель погрузился в какую-то книгу.

Не далее месяца назад я заблудился в заполярной тайге, пробыл в ней четверо суток, смертельно испугался поначалу, потом опомнился, держался по-таежному умело, стойко, остался жив и даже простуды большой не добыл. Я и назвал свое школьное сочинение — «Жив».

Никогда я еще так не старался в школе, никогда не захватывала меня с такой силой писчебумажная работа. С тайным волнением

ждал я раздачи тетрадей с сочинениями. Многие из них учитель ругательски ругал за примитивность изложения, главным образом за отсутствие собственных слов и мыслей. Кипа тетрадей на классном столе становилась все меньше, и скоро там сиротливо заглобела тоненькая тетрадка. «Моя!» Учитель взял ее, бережно развернул — у меня сердце замерло в груди, жаром всего пробрало. Прочитав вслух мое сочинение притихшему классу, Игнатий Дмитриевич поднял меня с места, долго пристально вглядывался и наконец тихо молвил редкую и оттого особенно дорогую похвалу: «Молодец!»

В перемену Игнатий Дмитриевич сказал мне, что поместит мое сочинение в школьном рукописном журнале, и попенял — как же **кто** я болтаюсь третий год в одном классе? «Стыдно! Срам! Из лоботряса ничего, кроме лоботряса, выйти не может».

Вот тогда-то я и отправился к Василию Ивановичу Соколову проситься в шестой класс и принят был в него условно, под честное слово, которое я сдержал. Однако хватился я учиться поздовато. Весной, как я уже говорил, пути мои со школой, а значит, и с Игнатием Дмитриевичем разошлись. Тем же летом он выехал с семьей в Красноярск, где и прожил затем всю свою жизнь. А я, когда в 1953 году в Перми вышла первая книжка моих рассказов, поставил первый в жизни автограф человеку, который привил мне уважительность к слову, пробудил жажду творчества. Примерно в ту же пору был написан и рассказ «Васюткино озеро», — я вспомнил мое давнее школьное сочинение и вновь вернулся к нему через много лет, с благодарностью мысленно посвящая его моему школьному учителю (явно-то посвятить не посмел, постеснялся). Но когда Игнатию Дмитриевичу исполнилось полвека, я с радостью написал о нем статью, которую напечатал журнал «Октябрь».

Разумеется, между школьным сочинением и первой книгой рассказов пролетели годы. И какие! Я закончил школу ФЗО на станции Енисей и работал близ города Красноярска на станции Базаиха составителем поездов. Осенью 1942 года ушел на фронт, воевал солдатом.

Демобилизовался из армии осенью 1945 года. Жена моя тоже была солдатом, и мы приехали жить в ее родной уральский город — Чусовой. Устроиться жить и работать тогда было не так-то просто, и мы жили в послевоенные годы в дымном рабочем городке не очень весело.

Однажды я попал на занятие литературного кружка при местной газете. И как раз угодил слушать рассказ о войне. Его написал бывший фронтовик, затем сотрудник газеты. Возбесил меня тот рассказ. Герой его, летчик, сбивал и таранил фрицев, будто ворон. Потом благополучно приземлился, получил орден, вернулся домой. Его встречали родные, невеста и вся деревня, да так встречали, что хоть перескакивай из жизни в этот рассказ.



А мы вон, два орла-молодожена, спорхнули в жизнь с продовольственными талончиками на полмесяца. Я вдобавок ко всему в летнем обмундировании, в сапогах и пилотке, на дворе — ноябрь.

Работал я сначала где придется, затем попал в горячий цех — ребятишки пошли, кормить их надо, зарабатывать побольше, здоровышско на войне оставлено. Врачи предложили идти на легкую работу. Но город весь из металлургии состоит, в нем и жизнь и работа трудные. Пометался, пометался я и стал вагоны с дровами разгружать, затем мясные туши — для колбасного завода. Позднее перевели меня в цех мыть и подавать туши обвальщикам на стол, затем солить, селитровать и сваливать мясо в бочки — труд тяжелый и грязный.

Когда я проработал в цехе несколько месяцев, мне было поручено вахтерить на заводе по ночам.

Так вот, после занятия того литкружка, не заходя домой, явился я на колбасный заводик, принял смену и уселся на всю ночь в маленькой комнатухе с одной отопительной батареей, с одной лампочкой, с одним столом, с журналом дежурств и чернильницей на этом столе.

Не читалось мне в ту ночь и на месте не сиделось: все не шел из головы рассказ, услышанный на литкружке. Может, в других частях были люди, не похожие на тех, что в моей части, думал я. Но я послужил не в одном полку. Бывал и в госпиталях, всюду встречал фронтовиков. Разные они, слов нет, да есть в них такое, что роднит всех, объединяет. Но и в этом родстве они ничем не похожи на тех, которые всех бьют, в плен берут, но сами, как Иван-царевич в сказке, остаются красивыми и невредимыми.

Нет, не такими были мужики и ребята, с которыми я воевал.

Ну вот взять хотя бы Мотю Савинцева, родом из алтайской деревни Шумихи. С ослеплым лицом, по которому из-за этого редко и кустисто росла борода, крепкий, нескладный, песни, когда выпивши, пел по-сибирски протяжно, бабьим голосом, и все меня сватал за свою племянницу.

Как-то уснул он у телефона. Ночь была. Снег мокрый тащило. Я на центральном телефоне дежурил, сначала сам зуммерил, потом велел всем телефонистам на зуммеры нажимать. Нажали — никакого отклика. Вылез я из блиндажа, провод в руки — и на батарею. А там Мотя спит, и трубка, повешенная на ухо, перевернулась мембраной наружу, и потому ничего он не слышит. Дал я ему трубкой по башке. Он как подскочит, как заорет: «Кукушка слушает!» (повывная такая была). Я его же шапкой рот ему заткнул, чтоб не разбудить командира батареи.

Однажды я и сам уснул, и Мотя пошел меня будить; пока ходил, в хату, где он дежурил, попал снаряд, и Мотя после этого окончательно решил, что мы с ним — родня.

Как-то во время распутицы я недоваренной конины наелся — и всем ничего, а меня рвало до крови, и я так ослабел, что стал помирать. Но все уже привыкли к тому, что умирают от пуль и осколков, и потому не обращали на меня внимания. Только Мотя не оставил меня, добыл где-то молока, маковых головок, сварил все это и тем варевом меня отпоил.

Еще помню высоту, на которую сам по приказу лейтенанта послал Мотю. С высоты его мертвого принесли. Я долго еще потом называл телефониста на девятой батарее Мотей. Мотя чаще всего дежурил там и позывную придумал: «Кукушка».

Откуковалась кукушка...

«Рассказ» — поставил я на пронумерованной странице журнала дежурств, захватанного жирными руками. «Гражданский человек» — вывел крупно ниже, ибо только так, очень гражданским, очень мирным человеком, представлял себе Мотю. За ночь исписал тридцать страниц и не заметил, как пришло утро.

Прочитал я свой рассказ на литкружке. Он понравился. Мотя понравился, живой, чудаковатый. Рассказ напечатали в газете «Чусовской рабочий». Затем областное Пермское радио сделало по нему постановку, был он перепечатан в областной газете «Звезда», в альманахе «Прикамье», и меня пригласили работать в газету «Чусовской рабочий».

Наступил новый, очень напряженный и сложный период жизни: днем работа в газете, ночью, после того как уснут дети, — за столом, шатким, косоногом, в избушке на окраине городка я писал рассказы. Собранные в книгу «До будущей весны» (1953), они положили начало моему литературному пути.

Должен заметить, что выходу этого сборника очень помогла тогдашний секретарь Пермской писательской организации Клавдия Васильевна Рождественская (по счастливому совпадению, однофамилица моего учителя). Это она, уже после первого рассказа поверив в мои литературные способности, добилась для меня, как говорят, «под чернильницу», издательского договора. Много сделали для меня, начинающего литератора, главный редактор Пермского книжного издательства Борис Никандрович Назаровский, директор того же издательства Людмила Сергеевна Римская. Упорно, с терпеливой любовью учил меня работе над словом редактор Детгиза Карл Давыдович Арон. Впервые помогли мне опубликоваться в столице писатели Сергей Петрович Антонов и Юрий Маркович Нагибин. Короткая, словно вспышка, но крепкая взаимообогащающая дружба связывала нас с покойным Александром Николаевичем Макаровым, перед которым я чувствую себя неоплатным должником — никак не могу решиться написать о нем: очень сложно и боязно писать о редкой ныне творческой дружбе двух литераторов, да еще прозаика и критика к тому же.

Большинство моих вещей получало доброжелательную прессу, не очень широкую и не всегда заслуженную, но непременно напирющую на то, чтобы читатель был ко мне поспешней и разделил бы вместе с критиками это такое восхищенное удивление перед «самородком» из «глубинки».

Сначала это забавляло и смешило меня, потом стало бесить, а во зле я становлюсь спокойней, собранней, и это не однажды спасало мне жизнь на войне. Спасло меня «рабочее зло» и на сей раз, спасли некоторые литературные примеры, где шло испытание молодых дарований на прочность и на излом, шло закаливание их неудачами, сильнее того — первыми успехами. Учиться, не остаться литературным полудикарем, который, получив билет члена Союза писателей, считает сие вершиной умственных и всяких иных достижений, стать человеком образованным, думающим и постоянно профессионально работающим — вот какую задачу должен был решить я, иначе мне, полуграмотному тогда человеку, был бы конец как литератору.

В 1959 году я поступил в Москве на Высшие литературные курсы и, хотя пришел туда с уже заметным печатным багажом, все-таки практически впервые начал общаться с литературным миром, соскребать с себя толстый слой провинциальной шуткатурки.

Раздвинулись рамки окружающей среды. Москва с ее театрами, концертными залами, выставками; несколько первоклассных преподавателей и друзей, прекрасно знающих литературу, много испытавших и повидавших в жизни, — сделали за два года ту работу, которую в одиночку я одолевал бы лет двадцать, но главное — тогда, на курсах, и пришло сознание какой-то, пусть еще не совсем устойчивой, уверенности в своих силах, в праве на работу, за которую дерзнул взяться.

После окончания курсов я поселился в Перми, однако по многим причинам оставил потом этот город и переехал жить в Вологду, к людям более близким мне по гвсрческому напряжению и поиску.

Писательский труд — беспрестанный поиск, сложный, изнурительный, доводящий порой до отчаяния. Лишь посредственности, привыкшей пользоваться «вторичным сырьем», живется легко и вольготно. Настоящий же литератор всякий раз приступает к новой вещи со страхом и пока ее не закончит — не знает никакого покоя.

Я убежден, что занятия литературой — дело святое, не терпящее никакого баловства, никакой «самодеятельности». За нашей спиной стоит такая блистательная литература, возвышаются такие гиганты, что каждый из нас, прежде чем отнять у них читателя, должен подумать, есть ли у него на это право и основания.

В подобном отношении к литературному творчеству меня постоянно укрепляли и укрепляют и товарищи по перу — такие, как Евгений Иванович Носов, Василий Иванович Белов, Сергей Павлович Залыгин, ныне покойный Федор Александрович Абрамов. Всегда близ-

ко у сердца чувствую, многому учусь у писателей помладше меня возрастом — Виктора Потанина, Валентина Распутина, Виктора Лихоносова — они очень хорошо работают в литературе, поддерживают и развивают высокую культуру русской прозы.

Я уже говорил, что мне везло и везет на людей совестливых, честных, тех самых, о которых говорится: если ты даже из меди сделан, потершись о золото, хочешь не хочешь — заблестишь! Жить и работать, сверяясь с их жизнью, совестью и книгами, очень трудно. Что и говорить, дружба настоящая всегда требовательна, строга. Но помогают в бою и с поля боя выносят только настоящие друзья.

И если я не запутался в жизни, к чему имелось множество предпосылок, ни единым пятнышком не испачкал своей биографии, вынес все трудности послевоенной жизни и с достоинством человека, который добросовестно выполняет свою работу, блюдя гражданскую опрятность и уважая собственное имя, делаю свое дело — причина тому тот самый стержневой корень, о котором я уже говорил, корень, уходящий в люлскую поросль. Нет страшнее доли — остаться человеку наедине с собою, заблудиться в потемках своей души, окаменеть в самом себе.

1975—1983

Виктор Астафьев



## Стародуб

*Леониду Леонову*

**Н**а крутом лобастом мысу, будто вытряхнутые из кузова, рассыпались десятка два изб, крытых колотым тесом и еловым корьем, — это кержацкое село Вырубы. Приходили сюда люди крадучись, один по одному, и избы ставили на скорую руку, стараясь влезть в них до стужи. Потом уж достраивались, вкапывались глубже, отгораживались высокими крепкими заплотами. И можно было в Вырубках увидеть раскоряченные, невзрачные избы за крашеными резными воротами, за тесаными заборами в ухоженных дворах. Впрочем, у иных хозяев эта наспех поставленная первая изба, первый приют поборников «древлеотческих устоев», сбежавших от утеснений «нечистых» новоповерцев, становилась потом зимовьем — иначе говоря, флигелем.

Мыс, на котором приютилась деревушка, был накрепко отгорожен от мира горными хребтами и урманом — тайгой. Лишь изредка по реке Онье мимо деревни проносились на плотах верховские жители, лихорадочно работая скрипучими потесами. Там, в верховьях, по соседству с кочевниками-скотоводами, в засушливых степях мыкали горе русские переселенцы — это они на сплав уходили и гоняли плоты по бешеной Онье, мимо упрятавшихся в горы раскольничьих скитов и сел, очень похожих на Вырубы, угрюмых, потаенных. Уже давным-давно нет в живых того, кто первым пришел на мыс, огляделся, настороженно прицеливаясь: горы сзади, горы спереди, горы справа, горы слева, и среди них с пеной на губах мчится, бушует Онья. Тесно Онье в скалах, жестко на камнях, невесело в ущельях. Только прибежит к плесу, успокоится немного, вздремнет, и опять впереди порог, шивера или перекат. Опять дерись, пробивай дорогу и смотри, как весело, буйно играют в струях таймени да хариусы.

Возле самого мыса, по ту сторону реки, в воде клыкастые камни, и всю-то летнюю пору деревня наполнена шумом, буд-

то никогда не затихают здесь ветра и шевелят, волнуют тайгу. И зимою возле вырубских шивер долго чернеют поляны, и почти до рождества слышен все затухающий шум. Ни по реке, ни по горам не пробраться к Вырубам — сгинешь. Знал тот неизвестный кержак, который свалил здесь первую листовницу на избушку, как и где прятаться от мира.

Очень опасным, труднопроходимым считался у плотогонов Вырубский шивер. Не зевай возле него. Здесь река почти внаклон, все сваливает к левому берегу. Не остерегись — и на ребро поставит плот, расщепает на камнях. изорвет в клочья. Так и случилось однажды — руки плотогонов оказались слабее реки, затащило на камни плот, крикнул он, захрустел скрепами и рассыпался.

Слабо, без всякой надежды кричали артельщики о помощи. Они знали, что никто из кержаков и не подумает кинуться в лодку спасать их. Нет резона спасать тех, от кого надежно спрятались. Зачем в селе чужие? Раздор от них, порча.

И надо же было так случиться, что малый парнишка с плота со страха уцепился за бревно, да так крепко, что ногти его впились в древесину. Бревно ударило о скалу, раздавило малому руку, но он все равно не отпустил бревна. Его покружило-покружило и кинуло на берег, к деревне.

Сбежался народ. Но сколько ни тормошили докучливые бабы мальчонку, сколько ни расспрашивали намеками, знаками, кто, мол, он, откуда, ничего добиться не могли. Парнишка с испуга лишился языка, смотрел на всех немигающими, подавившимися из орбит глазами и тряс головой.

— Свихнулся! — заключил сапожник Троха, и матери начали прогонять с берега ребятишек, боясь, как бы «тронутый» не покусал их.

Мужики стали держать совет: как быть с парнишкой?

Долго шумели, спорили и всем миром порешили: дурачка убирать.

Суеверие да «древлеотеческие устои» не знают жалости. И это суеверие подсказало людям, что мальчишку прибило к берегу не зря, что есть в этом дурное знамение и что не оберешься напастей, если оставишь его в деревне. Неспроста же получилось так, что все взрослые плотогоны в воду канули, а малый, почти бессильный человечикша уцелел. Убрать! У малого башка трясется и глаз дурной — светлый, водянистый и не моргает. Такой глаз не только корову, но и бабу в тягости изведет. Да и мало ли что еще может быть! Чужие нагрянут, табашника — исправника — приведут, тот учинит допросы, как да что и откупись от него попробуй. Нет уж лучше от мира подальше, грехов поменьше.

Берег быстро опустел. Подгоняя, как телят, любопытных ребятишек, бабы-староверки разбежались по домам, закрепшившая двуперстиями свои следы.

Из тех же бревен, что прибило от разбитого плота к берегу, мужики принялись сколачивать салик. Нет, уносить пар-

нишку они не собирались. Большой то грех! Они посадят его на плотик и оттолкнут. Плыви с богом! А куда, до каких мест доплывешь — это уж их не касается. Бог тебя послал, пусть бог и к месту определит. Захочет — до другой деревни убережет, не захочет — на первом пороге утопит. На то его божья воля.

Мальчик неотрывно смотрел на мужиков, суетливо орудовавших топорами, и пытался что-то понять. Но боль мешала ему это сделать. Он тихонько застонал, пополз с шорохом по камешнику и погрузил изувеченную руку в холодную воду. Мужики нахмурились.

Сапожник Троха высморкался и виновато сказал:  
— Перевязать бы ему руку-то.

Никто ничего не ответил, и Троха метнулся домой за тряпицей. Никакой бросовой тряпки не нашлось под руками. Жена Трохи, бедная баба, замученная нуждой, тяжким гнетом да презрением коренных жителей Вырубов — староверов, отпорола кружева от холщового рушника, который берегла еще с девичьих времен, и отдала его мужу со словами:

— Что делают, что делают!..

Троха обматывал руку мальчика желтой от времени и табачной пересыпки холстиной. До мужиков доносилось его виноватое бормотанье:

— Будь бы ты кабарга или какая другая зверюшка — добили бы тебя, и не маялся бы. А ты все ж таки человек, и делать этого невозможно, потому, стало быть мучаешься.

Мальчишка глядел на Троху и тряс головой. По лицу его картечинами катились слезы. Боль давила мальчишку. Троха осторожно опустил его на камень.

— Охо-хо-хо, отошел бы вот здесь-ка, схоронили бы мы тебя на мирском кладбище, душа твоя еще невинная, светлая... А то плыть за смертью тебе сызнова...

Мальчик пригих, закрыл глаза, и Троха, стараясь не шуметь камешником, отошел от него.

— Может, уснет, сонного и погрузим, ох-хо-хо! — Троха поднял глаза и робко произнес: — Неладно это, братцы...

— Не скули! — буркнул крижистый мужик с раздвоенной губой. — Мир постановил.

Троха сник. Против мира не восстанешь. Мир, он — сила. А мужик с заячьей губой осторожно поднял мальчика и понес к плоту. Увидев воду, мальчик дернулся, застонал и забился на чужих, по-деревянному твердых руках.

Трижды затаскивали мальчонку на салик, но он всякий раз соскакивал с него и захлебываясь слезами, карабкался на яр. Запаянанный кровью рушник развязался, мальчик наступал на него, падал. Кровь на раздавленных пальцах перемешалась с землей и песком. Из грязного комочка на месте пальцев торчали ослепительно белые косточки. Но и они, эти косточки, хватались за крапиву, царапали землю. Троха не выдержал, убежал за баню — от «ужасти». А мужики уже во-

локом затащили на салик малого человека и придавили коленями к бревнам. Мальчишка барахтался, выскальзывал, как рыбка, кусал трясущиеся руки мужиков. Внезапно он ослабел, завял, но и беспамяństwo не утомило его. Мокрое худенькое тело мальчишки все еще содрогалось. Мужикам казалось: часует малая душа, но ловится за жизнь.

— Воды боятся, — сказал кто-то сдавленным от страха голосом и совсем уж тихо: — Надо привязать, кабы снова не примчался в деревню.

— Некогда привязывать. Сталкивай, пока он сомлелый.

— Стяжек был, стяжек, — заторопился кто-то, — эх, на суше салик сколотили...

— Поторапливайтесь, божьи люди, пока у ребенка душа с телом не рассталась, — падет грех на ваши головы! — раздался насмешливый густой голос.

Вздروгнули бесстрашные на вид и робкие в душе старовры, будто голос с неба раздался. В суете они не заметили, когда к берегу пристала осиновая долбленка и из нее вышел большой чернобородый охотник Фаефан... По святцам — Феофан, но людские языки обкатали это имя, как вода обкатывает острые камни, сделали его более гладким для произношения.

Грузно ступал Фаефан по берегу, шагал так, что камни уходили в песок, а кержаки расступались на стороны.

Вся деревня знала что Фаефан водится с лешим, и погому боялись его. Да и сам он вроде лешего: длиннорук, волосат, нос его перешиблен, а под хохлатыми бровями чернущие цыганские глаза, которые так и пронзают насквозь, так и всверливаются в самое нутро.

Фаефан наклонился над мальчишкой, пальцем вспорол рубашонку, плеснул на бледное большелобое лицо мальчика воды. Медленно открылись затуманенные глаза, уставились на Фаефана.

— Живой! Ах ты, тайменёнок! А божьи люди удумали тебя на тот свет спровадить и рук не замарать...

Фаефан протянул волосатые руки к мальчонке. Тот отшатнулся. В горле мальчика что-то засипело, заклокотало, и внезапно вырвался мучительный, гнусавый звук:

— А-а-ама!

— Да не бойся, не бойся! Эх ты, ясна душа, еще не отличаешь зверя от человека!

Приговаривая, Фаефан поднял мальчика, обернул его полкой дождевика и шагнул на яр. Препраждая ему дорогу в деревню, мужики сгрудились нерешительной стеной. Белки глаз Фаефана яростно сверкнули:

— Сгинь, отродье, пока лихо не содеялось!

Берег пустел. Мужики, которые с облегчением, которые трусовато, засеменили по домам. Фаефан слишком хорошо знал нравы односельчан и потому громогласно объявил, ступив в деревенскую улицу:

— Если тронете хоть пальцем — порешу!

В ответ — ни звука. Только створки окон захлопываются. За ними короткая суета рук. Крестятся на медные иконки, принесенные еще прадедами в пазухах и холщовых сумках, на позеленевшие от времени распятия: «Убереги, господь, от постороннего глаза, укрепи веру в душе, спаси и сохрани!»

А Фаефан, по прозвищу Каторжанец, нес нового жильца по деревне, называя его тайменёнком. Это было самое ласковое слово из всех, какие знал Фаефан Кондратьевич.

\* \* \*

Жена Фаефана Мокрида встретила мужа во дворе, отогнула полу дождевика, глянула на притихшего парнишку.

— Эко горе бог дал! На печку носи его, я святой водой обрызжу. Только не жилец он, не жилец. Пустоглазай. Да и супротив желания в деревне.

— Каркай больше, кикимора! — цыкнул на жену Фаефан. — Я заступником ему буду! — Подумал, сощурился: — И ты тоже.

Мокрида вознесла глаза к небу, приложила к левому плечу два перста с погнутыми от работы ногтями.

— Всем нам господь-батюшка заступник. На все воля его...

Так и не понял Фаефан — осудила его Мокрида за то, что он приемыша в дом принес, или нет. Бесовски хитра и скрытна Мокрида, не сразу распознаешь, что у нее на душе. Давно уже правит она хозяйством, с тех пор как угодил в солдатчину Фаефан.

Сыскало однажды волостное начальство деревушку Вырубы в лесу — и сразу рекрутчина, налоги. Старики предложили рекрутам сжечься в молельне, дабы не обмиршиться в солдатчине. Никто заживо гореть не согласился. Тогда те же старики предложили взять сподручную поклажу: иконки, распятия да «устойные» книжки в котомы и двинуть всей деревней дальше, в леса, в «землю восеонскую, идеже нет власти, от людей поставленных».

Повыли, поплакали, повздыхали и никуда не пошли вырубчане. Тогда уставший Агафон — отец Мокриды — проклял их всех, заперся в молельне и три дня и три ночи молился без питья и еды, а на четвертый день поджег молельню и сгорел в ней.

В деревне Вырубы появился староста, сход; раз, а то и два раза в году здесь появлялось начальство в лице исправника и нагоняло на угрюмых кержаков холоду. Научились вырубчане обходиться с начальством и откупать рекрутов; но пока они научились это делать, хватили несколько молодых парней горькой солдатчины.

Диковатый, неуклюжий и фанатичный парень Фаефан отчего-то невзлюбился сразу франтоватому унтер-офицеру, и тот выдумывал для кержака одно дело грязней другого, насмехался над солдатом, бил обязательно при людях, но ни стона, ни сле-

зы, ни взятки выбить из таежника с тяжелым, лешачьим взглядом не смог. Однажды на ученье, во встречном рукопашном бою, унтер-офицер направил штык на Фаефана и, когда тот отшиб его своим штыком, коротко взмахнул прикладом снизу вверх, и Фаефан услышал, как хрустнул у него нос и хлынула на грудь кровь.

Фаефан на глазах у всей роты всадил унтер-офицеру штык по самое дуло винтовки.

Всю жизнь надлежало Фаефану проработать в забайкальском руднике за этот сквозной удар штыком, но кто-то кого-то сменил на престоле в Питере и всемилостивейше пожаловал свободу десятку-другому каторжников.

Чужим вернулся в Вырубки Фаефан. Ни старой, ни новой веры он не принимал. Он уже вроде бы ни во что и не всрил. Месяцами пропадал он в тайге, зверовал. Мокрида уже привыкла одна вести хозяйство и обходиться без мужа. Так даже лучше было. Она молилась, сколь хотела, как хотела, и блюла кержацкие устои строго, по-старинному, хотя ослабела, ох как ослабела у вырубчан древлеотеческая вера...

Как-то само собой получилось, что после «сжения мученика Агафона» Мокрида очутилась вместо уставщика и звалась не иначе как мать Мокрида. Фаефан по пьяному делу высмеивал ее. Но она умела не обращать внимания на «отступника» мужа и делала свое дело, а он свое.

За твердый характер, за то, что не скисла она в трудные годы, за то, что умела вести хозяйство и править людьми, уважал Мокриду Фаефан. Недолюбливал, но уважал. Он был уверен, что кто-кто, а Мокрида сумеет оборонить, когда надо, приемыша.

Язык к мальчишке возвращался медленно. Пальцы на руке отболели и высохли. Остались только мизинец да большой, вроде рогульки.

Культиявый, Культия, Култыш — так стали кликать в деревне Вырубы мальчонку. Он к этому быстро привык и другого имени никогда не знал и не помнил, хотя и нарекла его Мокрида Титом. Не привился Тит.

Был у Мокриды и Фаефана сын — Амос. Костлявый, увертистый парнишка — года на два старше Култыша.

— Вот братка тебе, — сказал Амосу Фаефан, — дружно живите, не забывай его сам и другим в обиду не давай.

— Н-ну, только мой устав во всем, — предупредил Амос отца.

— Ладно, пусть твой, абы не Мокридин, а то сделают из малого кликушу-стихирщика. Мне охотники нужны, не уставщики...

Фаефану нужен был помощник. Охотник. Мокриде — уставщик, да такой, чтобы в кулак зажал односельчан, в душах которых подгнили устои и вера древлеотеческая, православная вера, ради которой на огонь пошли бесстрашные раскольники, протопопы Аввакум и Иван Неронов, великомученицы Феодосья

Морозова и Евдокея Урussoва головы сложили и во славах погиб один из предводителей Соловецкого восстания, старец Геронтий.

Амос — вот кто радовал сердце матери. Прозорливость у него в глазах, ум потесненный, даже мать не всегда узнает, что он думает, но уж если возьмется за какое дело Амос, не оторвешь. Синяков себе наставит, руки в кровь порвет, а сделает. Вот такой уставщик нужен, такой властью своей покорит, волей.

Но мал еще Амоска, глуп. Увертывается от материнской кабалы. А в людях разброд. Укреплять надо веру. Чем? Как?

Копытка — лесная болезнь — свалилась на скот. Не отпугнули ее зарытые во дворах копыта, повешенные на колья черепа, болезнь косила коней, коров, овец. Не помогало чтение охранительных стихир и повсенощные стояния на молитве от мала до велика. Ског надал. Беда пришла в деревню. Повывелись охотники и рыбаки в Вырубах, повыводились добытки и промысловики, только пашней да скотом жили — и н<sup>а</sup> вот тебе: падеж, мор.

Прогневали отца-хранителя, задабривать надо. Жертвоприношение нужно — голой молитвой не ублажишь.

Жертва, жертва, жертва... Все чаще повторялось это слово, и Амоска замечал: глядят при этом материны молеельщицы на малого приемного брательника. Его не жалко, его сразу сбить хотели.

Мокрида задумалась, ночь на коленях простояла, отбивая поклоны перед маленькой полустертой иконой.

Утром объявила:

— Тита безродного, святую, неопятнанную душу господу богу угодно...

Пали вырубчане на колени перед Мокридой: потрафила мать-заступница, угодила. Кому охота свое дитя на огонь посылать!

Три дня и три ночи не давали есть малому Култышу, только водицы испить давали. Шили ему саван из домодельной колстины, крест самого мученика Агафона изготовили на шею мальчонки. Молилась Мокрида, косила глазом на Амоса. Потом позвала Амоса за баню, приказала, сунув сумку с харчами:

— Вверх по Онье, вверх по Онье до Изыбаша, к отцу. За ночь и день обернись, иначе...

На рассвете ударился плечом в тесовую дверь охотничьей избушки Амос, упал на замусоренный пол, отдышался, испил водицы и прохрипел всполошившемуся отцу:

— Брательника... — и показал на дотлевающие в печке поленья.

По чердакам и подпольям прятались от осатаневшего Фаефана вырубчане. Сама мать Мокрида боялась на глаза ему показаться. Побив посуду в доме и окна у соседей, Фаефан забрал с собой приемыша и снова уполз в Изыбаш.

Тысячу поклонов наложила на себя Мокрида за мужнин грех и на Амоса сотню.

«А на меня-то за что?» — с обидой думал Амоска, исподлобья глядя глубокими глазами на мать, но перечить не стал. Перечить матери он еще боялся.

Так семья разбилась надвое.

Несподручно быть с малым человеком в лесу. Всюду за собой таскать его по тайге невозможно, одного в Избушке оставлять боязно. Однако быстро пообвык Култыш в новой жизни. Да и характера он был уединенного, раздумчивого, не по возрасту углубленного. Сядет на взгорок по-над Оньей Култыш и сидит, бывало, часами, обняв колени. О чем он думал? Может быть, ни о чем. Просто сидел, просто дышал, впитывал хилой грудью животворные соки земные...

В внешнее разноцветье мальчишка заваливал избушку всякой цветущей всячиной. Придет в избушку Фаефан — на нарах цветы, на столе цветы, под матицей цветы и даже за ремешком фуражки и в петлях рубахи у парнишки цветы. Дух цветочный в избушке такой, что с ног валит.

— Вот молодец, вот молодец! — дивясь ненадоедному, странному характеру приемыша, хвалил его Фаефан.

Однажды взял за руку Култыша Фаефан и отвел на лысоглавый угор, что яйцом выпростался из гаежной шубы в устье Избуша. Здесь охотник показал мальчонке цветок с таким мохнатым и духовитым стеблем, будто все лесные запахи впитались в него.

— Стародуб! — непривычно мягко произнес Фаефан и рассказал приемышу о том, как в давние-давние годы появились в этих краях суровые, ни перед чем не гнущиеся, стойкие люди. Они пришли оттуда, где росли дубы, где росли яблони, груши, вишни и не было кедров и лиственниц. Они всему дали свои названия и самый целебный и красивый цветок назвали в честь любимого дерева — дуба. Так цветок этот, желтый и духмяный, сделался постоянной, неумираемой памятью о родном, навсегда потерянном крае. Сменялись поколения, умирали люди, исчезли те, кто притеснял и кого притесняли за приверженность к старой вере, но каждую весну зажигались ясным огнем по всей Сибири стародубы и роняли семена, чтобы никогда не переставала цвести земля, чтобы сердце человека наполнялось соком и духом ее и не истлевала в нем память о том, крае, который его родил.

С этого дня Култыш стал потихоньку бегать на угор, отыскивал стародубы и подолгу, не моргая, смотрел на них.

Так вот на природе, в охотничьей избушке, под суровым доглядом Фаефана рос Култыш, сизмалства перенимая все трудные охотничьи премудрости. А дома тянулся под потолок долговязый Амос. Был он костист, длиннорук, как отец. И глаза у него сидели в глубоких глазницах, только были они маслянистыми, чуть сонливыми, умиротворяющими. В глубине этих глаз таилась хитреца, пристальность, а в прищуре — высоко-



мерие. Фаефану чудилось, что сын его знает больше, чем говорит, и видит дальше, чем думают люди.

Отца Амос дичился, матери со скрипом покорялся, но при первой возможности делал все наперек. Особенно презрительно, как-то издевательски спокойно относился он к устоям староверов. Никакая стихира не разжигала его, никакая молитва не трогала. Он тянул все эти устои, как лошадь воз, хотя и без понукания, но и без всякой охоты. Уставщика из сына не получалось — это Мокрида уже видела ясно. Он отлучился от матери, вроде бы невзлюбил ее и был чужой отцу. Он стал тихонько потягивать медовуху и покуривать табак у разгульной вдовы-солдатки, и Мокрида не выдержала. Она сказала Фаефану, когда тот явился в село:

— Ну, отец, пора тебе и о родном сыне вспомнить. Он кобеливаться начинает. Возьми-ка ты его в дело...

Первый раз Фаефан Кондратьевич взял Амоса в дело, когда тому исполнилось девятнадцать лет. Охотились за маралами на солонцах. Сделать солонцы трудно, а сидеть на них того трудней. Нет такой охоты, которая бы требовала от человека столько выносливости, смекалки, осторожности и меткости в стрельбе, как охота на солонцах.

Слышал обо всем этом Амос и вроде бы из разговоров внал, что и как. Он даже помогал однажды таскать соль отцу и Култышу к речке Изыбашу.

Отец вбивал колья в землю на лесной куляжке, расшатывал их и в узкие лунки вливал крутой тузлук из соли.

И вот они пришли в этот самый Изыбаш. Амос не узнал того места, где два года назад отец солил землю. Лунок уже больше не было, зато черной раной зияла яма, выбитая копытами зверей. Вокруг ископыти росла всевозможная мелочь: дикая редька, ползун-горошек, пырей, чемеричник вперемежку с выпрысками елок и осинника.

Глухая, душная тишина. Писк мелкого мокреца, прижившегося возле солонцов. Значит, ходит зверье, раз густо поет комар. От речки, что несмело ворковала внизу, тянуло холодком, а с косогоров доносило угарным запахом багульника. Сквозь этот тугой, ладанный запах несмело просачивался медовый дух лабазника, накатывали волны терпкого, лекарственно-приторного марьиного корня.

Амос надеялся, что отец с Култышом закурят и предложат ему (своего табаку у него тогда еще не водилось). Но отец указал глазами на караулку. Они осторожно вползли в нее. Амос опять с удивлением принялся озираться. Он видел снаружи лишь кучу бурелома, насквозь простреленного шишками лесного морковника и травой-метлигой, а под ним оказалось хитрое сооружение из неотесанных бревен. Сооружение низенькое, но достаточное для того, чтобы стоять в нем на коленях. Торцы каждого бревна замазаны грязью или смолой листенницы — чтоб не белели. Впереди на неокоренных бревнах проделаны отверстия в виде бойниц. Каждое отвер-

стие обито берестой и косматым мхом, поседевшим на летнем солнце. «Это для того, чтобы не стукнуло ружье», — догадался Амос.

Ни звука, ни шороха не должен издавать здесь человек. Сдержанно дыша, Амос подполз к окошечку, на которое кивком головы указал отец, встал на колени и просунул свое ружье. Отец потыкал себя пальцем в лоб: дескать, думать надо, соображать. Амос вопросительно уставился на него. Отец рывком поднял курок его ружья. Вспыхнул Амос и отвернулся. Снаружи, как бы занесенная ветром, колыхалась пленка бересты. Пристально взглядевшись, Амос разобрался, что эта пленочка здесь неспроста, — она указывает направление ветра. Хвостик берестинки вытягивался в сторону караулки. Хиуз — легонький струистый ветерок, неспособный расшевелить даже пугливую осину, сочился из ущелья на людей. «Хитро!» — отметил Амос. — Так выбрали место, что здесь тяга всегда от зверя».

Заныли, завеселились мокрецы. И только сейчас Амос уразумел, почему отец тщательно осматривал свою и его одежду. Он велел зашить все дыры, засунуть травы в голенища ичигов, перевязать волосяной накомарник платком на шее. Амос посчитал все это пустой затеей и не зашил штаны в промежье. Туда и забрались комары.

Амос шевельнулся.

Отец показал ему кулак.

Затих парень, покосился вправо. Обрисованное полоской света, проникающей через окошечко, видно остроносое суховатое лицо Култыша. Молодой охотник сидел неподвижно, будто дремал. Было непривычно видеть его без трубки, которую, сколь помнил Амос, Култыш как засунул в рот еще в раннем детстве, да так с тех пор и не вынимал. Мать Мокрида была табашника по зубам и однажды вколотила ему трубку вместе с огнем в рот, но и это не помогло. В семье одержимой ревнивительницы благочестивых устоев появились два не менее одержимых курца — отец и Култыш.

«Вышколол его отец!» — ухмыльнулся Амос и стал смотреть в окошечко. Заря уже отцвела за дальней лесистой седловиной. Луна с подтаявшим боком выпутывалась из ячеистых облаков, то появляясь на секунду, то надолго исчезая с глаз. Бурьян и кустарник, окружавшие яму, напоминали лохматое облако, упавшее на землю.

Лес побратался с темнотой. Настал самый глухой час. Слышалась только гнусавая нудь комаров. Шевелились штаны Амоса от мокреца, набившегося в дыру. Руки его облепили эти мелкие, но больно жалящие комарики. Они лезли в глаза и особенно в нос, каким-то образом проникая под накомарник.

С хмельным писком комары косо вылетали в отверстие, мелькали черными искорками в лунном свете и падали в бурьян. Но на смену им прилетали другие. Они деловито гудели и столбились возле отверстия.

Амос даже вспотел. «Скорей бы уж луна и холод», — подумал он тоскливо и заметил: отец подает ему какие-то знаки. Долго не мог разобрать в темноте Амос, чего от него хотят, наконец догадался — отец показывает на руки. Парень обрадованно выпустил ружье и свирепо ударил ладонью правой руки по тыльной стороне левой. Рука его сделалась влажной от крови. Тут же он получил затрещину в ухо и свалился на бок.

— Я ж тебе в мох велел! — порывом ветра прошелестел гневный шепот отца.

Амос запоздало сунул руки в мох.

Упрямая луна все-таки выпуталась из облаков, как рыбка из липкой мережи. И все разом обозначилось перед глазами: головки цветов, куст калины в бурьяне, и все это, точно застигнутое врасплох, оцепенело от немного, могильного света.

Возле караулки обеспокоенно завозилась и затрещала дроздица, не покинувшая своего гнезда даже при людях. Амос почувствовал, как отец напряженно подался вперед. «Птица кого-то чует», — догадался парень. Когда луна заплыла вправо, за караулку, и лес, стоявший впереди, разомкнулся, Амос увидел меж деревьев марала. Он стоял с гордо вознесенными рогами, приподняв правую ногу, как нарисованный.

Отец больно даванул плечо сына: «Не смей стрелять! Рано».

Марал рванулся в сторону, затрещал кустами.

«Ушел!» — ахнул про себя Амос и боязливо соображал: не он ли уж чем напугал зверя?

Отец приложил к его губам жесткую ладонь: «Не дыши!»

И Амос послушно перестал дышать, удивляясь, как отец делает все совершенно бесшумно, будто сова. Амос до боли в глазах глядел туда, где только что стоял бык-марал, и неожиданно увидел его совсем в другом месте, за стволом сухого дерева. Впрочем, все деревья казались сейчас неживыми.

Зверь хитрил. Он долго хоронился за стволами деревьев, за выворотнями и ветлами. Но вот он тихо, несмело двинулся к соленой земле.

Несколько раз выходил он на кулигу, затем с шумом бросался в лес и замирал там. Амоса колотило. Он уже не подсчитывал, сколько может отхватить денег за кустистые рога-панты, которые кем-то и где-то перепродаются в китайскую землю. Толковали знающие люди, что из пантовой жидкости готовят такое зелье, попивши которого даже немощный старик в женихи годен делается. Очень хотелось Амосу попробовать эдакого диковинного питья: вкусное поди. Но сейчас ему было не до этого. В глазах туманилось, суставы одеревенели, лоб покрылся испариной. Грудь, как ему казалось, распухла от сдерживаемого дыхания. Комары грызли парня напропалую. Секунды и минуты ему уже казались часами. Он чувствовал, как к голове приливает кровь, тяжело давит виски. А марал все еще сторожил, хитрил. Вот он снова бросил тень рогов в лунную полосу и снова хватил в кусты. И тут

Амос дико закричал, выпустив из себя воздух и бешенство:  
— А-а, гда! — И грохнул из ружья.

Отец бил Амоса прямо в караулке, катая, будто трухлявый пенёк. Парень не оборонялся. Он только закрывал лицо руками. Фaeфан в потемках ударял кулаками о бревна, разбил суставы и, когда обессилел, выдохся, схватил сына за ворот и выбросил, как щенка, из караулки.

Култыш нащупал за пазухой трубку, закурил.

Фaeфан вырвал у него трубку, жадно затянулся.

Охота была испорчена.

Амос катился кубарем к речке и, хлюкая разбитым носом, вопил:

— Матери все расскажу! Колдуны-ы-ы!..

Он умылся в речке, попил из ладоней, трахнул камнем в то место, где пил, зарядил ружье, собираясь пальнуть в сторону караулки, да раздумал.

Сгранное дело: ему стало легче. Парень даже радовался, что наступил конец этой пытке, и решил, что лучше уж битым быть, чем сидеть закованным и чувствовать, как заживо съедает мокрец.

«Культи-то, Культи! — возмущался Амос. — Хоть бы шевельнулся! Я его от огня сберег, а он? А ежели б Каторжанец зашиб меня? У-у, оборотни! Отпились от мира-то, озверели!»

Амос остановился, послушал.

Ночь. Седая от луны ночь. Лес в речке темный, а в косогорах и на увалах серебристый, дышит знойким холодком. Запахи унялись, едва слышны. И такая тишина, что оторопь берет. Иногда только прошуршит бессонный зверек, промышляющий по ночам, да где-то грызет дряхлое дерево короед-червь. Будто и не случилось ничего, будто все приснилось Амосу: марал-пантач, недвижный Култыш, ругань отца, сладковато-приторная кровь, стекающая на губы, вкус которой почему-то казался ему похожим на жижицу из пантов, хотя он никогда ее и не пробовал. Но именно такой она ему представлялась — немного противной, раздражающей и до гошноты сладкой, щемящей и разжигающей то потайное, что скрыто до поры до времени внутри человека.

Амос зевнул, пощупал под деревом: не сыро ли? Прилег. Полежал, думая — прочитать молитву, как учила мать, или нет. И решил: не стоит, дома надоело. Он лизнул разбитые губы и, сглатывая слюну, подумал: «Жениться надо, а не молиться. Кто он такой, этот бог, чтобы ему постоянно кланялись и улещали его? Небось не пригнал быка на солонцы, только раздражил виденьем и увел, а я через это лупцовку заработал. Кулак у Каторжанца ровно каменюка. Погоди, подрасту, силы подкоплю, может, и моих кулаков отведаешь!» — погрозился Амос и, с хрустом потянувшись, блаженно зевнул, по привычке занеся руку перекрестить рот. Но в это время молчком налетел на него филин и шарахнулся в сторону. Парень опустил руку и угрюмо пробурчал:

— Долбану, так будешь знать, как с ума сводить православных!

Ни страха, ни робости Амос не испытывал, хотя и пытался представить, как он будет повествовать матери обо всех ужасах, какие довелось ему пережить в эту ночь.

Комары отступились от него и куда-то исчезли. Амос на всякий случай побросал перед лицом двуперстие и спокойно уснул, поближе придвинув ружье: на него он надеялся больше, чем на крест и молитву.

От холодка парень скоро проснулся, поводит глазами из стороны в сторону, пытаясь сообразить, где он.

В тайгу просочился рассвет и вытеснил лунное сияние. Просыпались птицы и пробовали свои голоса. Из травы высунулся утомленный ночной беготней длинноногий дергач, стал пить из речки. Он высоко забрасывал голову, чтобы стряхнуть капли вовнутрь. Амос внимательно рассмотрел птицу, которую человеку редко доводится видеть, ничего в ней особенного не нашел и поднялся. Дергач юркнул в траву.

Амос похлопал себя по карманам: нет ли там куска хлеба?

Ничего не обнаружив, наравал горсть черемши и, смачно похрустывая, отправился к устью речки Изыбаш, где стояла охотничья избушка.

За мыском, в густом черемушнике, мелькнуло что-то темное и исчезло в дырчатой валежине, лежащей поперек речки. Амос застучал по пустому стволу дерева прикладом. В отверстие сгнившего сучка, как в дверцу, выскочил зверек. Парень выстрелил по нему дробью. Зверек упал в речку. Проламываясь сквозь кусты и чащобу, Амос опередил течение, выловил еще живого зверька из воды, ударил его головой о камень и только после этого осмотрел.

Пушистый хвост, узенькая смышленная мордочка, круглые, не по голове крупные уши — соболю!

— Будет выручка, — довольнехонько погладил Амос зверька и, насвистывая, пошел к Изыбашу.

Там уже дымил таганок. Отец с Култышом прошли к стану где-то прямой дорогой.

— Во! Добыл!.. — с вызовом сказал Амос и бросил соболя к ногам отца.

Феафан Кондратьевич взял за хвост зверька и без зла, как показалося Амосу, даже с затаенной болью ударил им по лицу сына.

— У-у, отродье! Соболюшку загубил! Она только осенью выкунет, а сейчас у нее соболята. Осиротил, на мор обрек... Ух-ходи! Сегодня же уплывай домой! Ты враг природе, и охотника из тебя не может получиться!

— А ты друг, да? — тяжело усмехнулся Амос. — Тайга, значит, только для тебя с Культей сотворена?

— Уходи! Скройся с глаз! — вдруг рявкнул отец и схватился за ружье.

Откуда-то метнулся Култыш, упал на ружье. Гукнул выст-

рел, взрыв землю у ног Амоса. С Фаефаном Кондратьевичем случился припадок, Пена подернула его губы. Култыш навалился на отца, пытаясь разжать его руки. Но охотника так подбрасывало, корежило, что хрустели кости подростка, отчаянно боровшегося с ним.

Потрясенный Амос топтался вокруг отца и Култыша, свившихся в хрипящий клубок, и не знал, что делать. Ему было известно, что в молодости отец его ходил в «каторжанцах» и оттуда, с каторги, привез падучую. Но еще никогда не видел Амос, как валит отца эта падучая.

Было страшно.

— Ну чего разостраиваться-то из-за зверушки? — невнятно бормотал он. — Уплыву, уплыву, не надо мне этой вашей тайги. И около християнства дело найдется...

И в тот же день Амос отбыл в Вырубы.

Фаефан лежал на нарах слабый, разбитый и, проводив взглядом Амоса, горько сказал:

— Мокрида умница, а такого парня измякинила. Что из него теперь получится? Страшный человек может выйти, страшнее всех двуперстников наших, потому как умен, бес!

— Зря ты его так-то, — сказал Култыш.

— Чего — зря? — удивился Фаефан редкому возражению приемыша.

— Отпихнул от себя зря.

— А-а! — задумчиво протянул Фаефан. — Но если уж привечать его, то раньше следовало, теперь он материн сын, только похитрей ее и поспоровистей еще.

Так и не смог встать на ноги в этот раз охотник Фаефан. Старая болезнь долго корежила его и наконец доконала. Ночью с ним снова случился приступ. Фаефан Кондратьевич упал с нар, разбил затылок о половицы. Затащив отца на нары, Култыш сидел возле него и думал о том, что надо очень возненавидеть людей, вовсе отрешиться от них, чтобы бродить одному по тайге с падучей болезнью.

На рассвете Фаефан Кондратьевич открыл уже далекие, стынувшие глаза.

— Все... ОтходилсЯ Фаефан Кондратьевич, отмаялся... — С минуту помолчал, собираясь с силами. — Здесь похоронишь... Не желаю на кержацкое кладбище... Ты бойся их, бойсь... отродье... трусливое и злое... Бойся... В мир не ходи. Страшен мир наш...

Култыш выбрал место на взлобке увальчика, где сам часами сиживал в детстве. Видно с угора далеко-далеко. Весной здесь раньше, чем где-либо в округе, сходит снег и быстрее пробиваются стародубы. Разлив не достигает этого места, а говор Изыбаша отсюда слышен круглый год.

Хоронил Култыш отца своего один. Мать Мокрида, узнав о смерти Фаефана Кондратьевича и о воле его быть похороненным в лесу, сухо сказала:

— Оскоромился в миру, обмиршился и не захотел наше

кладбище поганить. Благочестивой души человек был, да жизнь искорежила.

— Много ты понимаешь! — презрительно буркнул Амос. — Может, он сам не хотел о нас поганиться...

Мать Мокрида наложила на Амоса за этакую дерзость сто поклопов и сама ночь напролет стояла на молитве, желая, чтобы пухом земля была лихому человеку и мученику Фаефану.

\* \* \*

Култыша жители Вырубов уподобляли раннему снежку. Нагрянул снежок неджанно-негаданно, убелил землю, а выглянуло солнце — и нет его: пропал.

Только не взяли жители деревни в расчет того, что после такого снежка озимь в поле зеленеет ярче, листья на деревьях делаются шумливее, полет птиц стремительней, и лишь недолговечное, хиленькое, что за жизнь держалось слабенькими корешками, увяло, угасло, умерло.

Железо калил огонь, человека — беда. В беду сразу становится видно, кто куда и на что годен. Беда приходит без спроса, сама распахивает ворота, и готов ли, не готов ли — принимай ее или не пускай, борись.

Беда без спроса пришла в Вырубы. Большая беда, самая страшная — голод. Он перещупал людей. Как они? Кто из них стоек? Кто нет? Кто куда гож? Голод, как война, выявляет сильных и слабых. Побеждают его только сильные. Появился в селе старый киргиз с внучонком. Первый вестник голода. Первый ворон.

Старик был сморщен, будто прихваченный морозом гриб. На черной голове у него синеватые пятна, должно быть, от давних болячек. За руку он вел косоглазого, худенького мальчика. Киргиз останавливался возле каждого двора, стаскивал лохматую шапку и, приложив ладонь к ладони, что-то торопливо бормотал и кланялся, кланялся. А малый диковато смотрел раскосыми глазами и молчал. Люди в страхе задвигали толстыми жердями — бастригами — ворота, кыскали на киргиза, гнали его от ворот, как нечистую силу.

Старый киргиз с мальчишкой протаскился из конца в конец деревни, постоял на росстани дорог, долго глядел на подернутый призрачной дымкой восток воспаленными, гноящимися глазами и повернул обратно. Он уже не ныл у ворот и не кланялся, а робко позвякивал шеколдой и царапался в доски, как приبلудный пес.

Утром киргиза обнаружили возле забора. На ногах, сложенных калачом он держал мертвого мальчика и, раскачиваясь всем телом, напевал что-то тягучее и заунывное.

Никто не решился погребовать старика.

Какая-то сострадательная хозяйка наконец бросила через забор кусок хлеба. Старик на секунду приоткрыл потернутые

пыльной тоской глаза, покосился на хлеб и снова закрыл их.

Так он просидел и вторую ночь.

Наконец люди не выдержали и стали показывать знаками, что мальчик умер и надо, мол, его схоронить. Киргиз кивал головой, соглашался будто бы, но люди отходили от него, и он снова с облегчением закрывал глаза. Тогда несколько мужиков взяли старика под руки, подняли и увели за деревню. Там, на травянистой елани, была выкопана щелка, и киргизу велели опустить в нее мальчика. От трупa уже шел худой запах.

Безучастно смотрел старик, как зарывали в землю внучонка, и только губы его шевелились — почти беззвучно, роняя какие-то заклинания.

А ночью всю деревню покоробил дикий вопль: «А-а-а-а... А-а-ай!» И людям чудилось — пришлый человек кричит: «Мал-лай!» Это было единственное нерусское слово, известное жителям Вырубов.

Шли дни.

Тоший киргиз, как неприкаянный, бродил по деревне, рылся в отбросных кучах, грыз какие-то кости и коренья, а ночами жутко кричал за околицей.

Несколько раз его выводили на дорогу, подталкивали в спину. Он тупо глядел на людей, покорно отправлялся, куда указывали, но в потемках снова пробирался к могиле внучонка.

Между тем второгодичная засуха снова почти доконала посе-вы на полях, пашнях и в огородах, и голод гулял по дво-рам деревушки, выхватывал оттуда сначала малых детей и стариков. Нынче замели вырубчане по сусекам последние зерна на посе-вы, картошку резали на части и сажали, думали: не обойдет господь милостью — уродит из этих крох пропитанье. А он снова гневом откликнулся господь-батюшка, снова изжег землю и труды людские.

В лесах начались пожары. Птица, зверь, все живое в стра-хе бежало из тайги. Иной раз по Онье проплывали вздутые, протухлые трупы лосей, коз, маралов. Одного лося кинуло на камень в шивере, и он стоял дыбом, открыв рот в безгласном реве. Потом его уронило и долго таскало по заводи вместе с обгорелыми колодинами.

При старанье да уменье еще можно было бы добыть рыбы в дальних речках, сыскать зверя в таежных крепях, но выве-лись добытки в Вырубах, выродились в них сметка, мужест-во и выносливость — остались удушливая, как сажа, вера, черная злоба да трусость. Боялись всего: тайги, в особенности пожаров таежных, окапывали от них рвом деревню и каждый двор канавой обходили. Но больше всего боялись гнева гос-поднего и семьями валились на колени, умаливали его скопом и в одиночку, пели старинные длиннущие стихиры, читали муд-рые книги отцов и праотцев, блюстителей божьих порядков — ничего не помогло! Голод давил людей, как гараканов, остав-ляя на земле черные пятна могил.



Ночами, и особенно в глухие вечера, в деревне становилось душно. Сажа тучами накатывала на деревню из тайги, слоем ложилась на крышах, липла на окнах и ликах икон, застила солнце, забивала горло людей. Ревела скотина, выли собаки, и голос старого киргиза сливался с ними. Устали голодные кер-жаки от этого воя. И когда из одного двора исчезла двухлетняя девочка, обвинили азиата в сглазе, увели за околицу.

Вовсе примолкла деревня, притаилась. Каждая семья теперь жила сама по себе, каждая боролась с напастью в своем дворе, в своей избе. Сначала люди ходили на кладонше провожать соседей, молились по привычке, читали стихиры, а потом уже хоронили всяк своих, без обязательных обрядов, а порой и без домовин.

В один из душевных вечеров, когда над деревней колыхалось марево и солнце, словно бы закутанное в мелкую красноватую шерсть, садилось за горы, в Вырубках появился Култыш. Был он уже в больших годах, но, однако, еще крепок в кости, подвижен, лицо его уже сморщилось, усохло. Из-под вытертой на сгибах беличьей шапки торчали завитушки седых свалывшихся волос.

Култыш удивленно глянул на потрескавшиеся под солнцем лодки, приподнял ухо меховой шапки, стараясь уловить какой-нибудь шум или лай собак, но ничего не услышал.

Охотник покачал головой, сокрушенно почмокал губами, подтянул свою лодку. Древнее, но хорошо сохранившееся оружие забросил за плечо, почти пустую кожаную суму взял в руку и побрел в деревню.

Рыжели переулки опаленной травкой, сникла даже живучая жалица-крапива, сделалась до ярости стрекучей. Бани в огородах не пахли свежим дымком. Да и в огородах пусто, словно поздней осенью, даже заметны тропки между гряд, а на них сеточки трещин. Кур не видно, горластых петухов не слышно. Прошла мимо Култыша девочка с одним всдерком по воду, глянула на него болезненно вялыми глазами и ничего не сказала: ни здравствуй, ни прощай.

Сердце у Култыша сжалось. Навалилась на Вырубы напасть и не покидает. Редкостная злая засуха второй год приходит в эти края. Первое лето вырубчане продержались. У кого запас был, кому соседи помогли, некоторые семьи выручил Култыш, давал мяса, рыбы, а нынче уже и помогать друг другу нечем, и в лесах безголосье: вымерло, выгорело все живое в лесах.

С весны занедужил Култыш ревматизмом, болезнь не выпускала его из избушки. Сам питался солониной да черемшой, ничего не привез с собой, а его небось ждут не с пустыми руками.

Беда в деревне. И не может Култыш помочь этой беде. Раньше бывало так: пала в чьем доме скотина, ушибся или умер кормилец, погорел ли кто — Култыш там, отдаст и рыбу, и мясо, и панты, и пушнину — все отдаст. Ему ничего и не

надо было, крѣме припасов, табаку, соли и хлеба. И так привычен и удобен сделался Култыш, что старообрядцы мирились даже с тем, что он из «поганных», и привечали его наперебой в любом доме, пить давали уж не из кошачьей посуды, а из своей.

Култыш постоял, постоял у широченных тугих ворот крюковатого мужика Урина, перекупщика пушнины и пантов, и несмело взялся за вензелем согнутое кольцо калитки. Позвякал. И тут же отдернул руку. Обожгло. Кольцо будто из горна вынуто. С минуту подождал и забренчал встревоженно, торопливо. Из дома раздался надсадный кашель, а потом крик Урина:

— Пошел, пошел, поганный! Зарублю!

Култыш очумело устоялся на ворота.

— Ты что, Ионыч! — робко спросил он, но Урин, должно быть, не расслышал голоса охотника и не откликнулся. А Култыш больше не решился стучать.

Он устало присел возле высокого заплота на испеченную землю и бессильно опустил плечи. Посидел, глянул вдоль улицы, непривычно пустой, пепельно-серой. Тихие, неприветливые избы. В окнах неподвижное пламя заката. Время, когда доят коров, когда ребятишки гоняют коней к реке купать и поить, а бабы поливают огороды.

Блаженное время — деревенский вечер! Но что-то в нем не то. Не хватает в веках утвердившейся, размеренной неторопливости, какая одолевает человека после трудового дня. Не доносится ребячий визг с реки, не звякает гулко подойник и не слышен вслед за ним утомленный бабий голос: «Да стой ты, одѣр!» Ничего не слышно, никого не видно. Лишь маячит среди улицы брошенная телега с пьяно раскинутыми оглоблями.

«Без добычи я им не нужен, сами зубы едят».

Взял Култыш кожаную, пропитанную звериным жиром суму и заковылял на зады, к дому своего покойного отца Фаефана Кондратьевича.

Дом стоял возле самого леса. За частоколом огорода сразу же начинался мшистый увал. Из него бил холодный ключ и разливался по огороду, до самой бани. В жаркие дни сюда заползали змеи, а в холодные весны все вымерзало. Но нынче в огороде этом, особенно за баней, зеленела островом густая трава, ершилась крапива попеременно с коноплянником, и не ко времени засияли ярким, нахальным цветом дикие мальвы. Култыш перелез через огород, подошел к бане, сложил в ней свой багажишко. После этого снял мокрую от пота шапку и полушубок, присел на позеленевший, замытый банной водой порог.

Хозяйствовал в доме Фаефана Кондратьевича, и уже давно хозяйствовал, Амос. Женился он еще при жизни матери и оттер Мокриду в сторону от хозяйства, поразогнал всех кликуш и странниц, коих та вечно пригревала да прикармливала. Амос дармоедов и пустопорожних людей терпеть не мог, вел хозяй-

ство толково, исправно и за это почитался в деревне. Глава схода — старшина — наметил его на свое место: дескать, сам я наверховодился, постарел, пора и на покой.

Если Кулгышу случалось по пьяному делу забрести в свой двор, он обычно спал в бане или на сеновале. Амос не прогонял его, но и приветных слов не говаривал. Никогда они не были особенно близки друг с другом и не чувствовали себя сродственными, а после той памятной охоты на марала вовсе разошлись они. И когда умер Фаефан Кондратьевич, порвалась вроде бы последняя нитка, связывающая их.

Выкурив трубочку, Култыш снова наполнил ее табаком, набрал дров в предбаннике и затопил каменку. Из мешка он вынул котелок, черный и помятый, начерпал воды в ключе.

В доме заметили дымок. Воротца, сделанные из ровненького осинника, распахнулись, и появилась Клавдия — жена Амоса. Миловидна, несмотря на худобу, с большими карими глазами, в глубине которых застоялась давняя усталость и грусть.

— Здравствуй, Култыш!

— Здравствуй, Клавдия, здравствуй! — быстро отозвался Култыш, и в голосе его проскользнула робость. — Как живете, как ребятишки?

— Живы пока, слава богу, — со вздохом проговорила Клавдия. — А как ты? Что-то долго не появлялся? Мы уж думали — помер.

— Едва и не помер, — без всякого огорчения, словно бы даже с оттенком радости, подхватил Култыш. — Сковырнула меня хвороба, с весны в Изыбаше валялся. Вот отдышался, дай, думаю, на люди покажусь, ан не пускают... — уже с обидой заключил Култыш.

— Ты бы голос подал, — сказала Клавдия. — Киргиз с внучонком тут был, кричал сумасходно по ночам, и ровно на голос его нищие повалили. Вот все наши благочестивые и заперлись. — Клавдия помолчала и прибавила: — Мрут нищие, и благочестивые тоже. Никого не щадит голод.

— Экая ведь беда! Никто не гадал, не чаял, — сокрушенно покачал головой Култыш и виновато развел руками: — И я вот явился с пустой сумой, занедужил...

— Всех не обогреешь, не накормишь один-то...

Оба надолго умолкли. Клавдия встряхнулась, подбросила березовых дров в каменку и взяла ведра.

— Согрею воды, помоешься. Из тайги ведь.

— Коли можно, так хорошо бы, — обрадовался Култыш. — Вша на хворого навалилась, страсть.

Клавдия принесла воды и сказала:

— Исподники тятины вроде бы где-то есть еще, схожу.

— Да ладно, ладно, обойдусь! Загундосит сам-от.

— Погундосит и перестанет, — спокойно уронила Клавдия и пошла из огорода.

Култыш проводил ее задумчивым взглядом. Под ситцевой

блеклой кофтой обозначились острые лопатки Клавдии. Из-под завязанного на затылке платка виднелись темно-русые, отливистые, как орех, волосы. Посеклись они, засалились. Култыш протяжно вздохнул, зажмурился и сидел неподвижно, навалиясь на дверной банный косяк.

Он помнил Клавдию другой.

Хоть и вырос Амос под крылом у лютой староверки, но часть Фаефановского норова все же переселилась в него и оказалась неистребимой. Иногда он становился таким поперёшным, что даже властная мать Мокрида не могла ему укорот сотворить. Так, наперекор матери, взял Амос и женился не на той невесте, которую нарекли ему, а на девушке из семьи сапожника Трохи. Из бедной, многочисленной и самой непутной, по мнению староверов, семьи, нуждой загнанной в Сибирь все из той же Расей.

Пожалуй, и еще кому-то хотел досадить Амос своей женитьбой...

Култыш и Фаефан Кондратьевич любили заходить к компанейскому мужику Трохе, слушать его сыпучую быващину, одобренную прибаутками, присказками. В ершистой голове Трохи хранилось былей и небылиц не меньше, чем шпилек в берестяной коробке, что стояла перед ним на верстаке. Выпив вместе с охотниками, Троха утрачивал бодрую веселость и начинал слезливо печалиться, проситься в лес:

— Возьмите. Не могу здесь. Улово\* — не деревня. Я вам хоть что делать стану: сумы таскать, похлебку варить, обутки опять же догляжу...

— Куда тебе? У тебя рукомесо и семья.

Однажды Троха в шутку, а может и всерьез, бухнул Фаефану Кондратьевичу, показывая на большеглазую, еще нескладную Клавдию:

— Вот девка. Дочь моя. Начнет Култыш женихаться — за него отдам. Но в улово не кину.

Трохе что? Троха запустил слово, как парнишка камень с ремня, и забыл. А оно пало в тихую душу парня, и пошла по ней круги, взбаламутилось все там.

Ходит по лесу Култыш, улыбается, губами шевелит. Работать возьмется — откуда сила, чертоломит так, что Фаефан Кондратьевич за ним, бывало, не угонится. Пятьдесят верст для парня стали не околица. Чуть чего, норовит в деревню сбегать, хоть на дом Трохи поглядит, и то ладно. Заходить в гости к Трохе один почему-то уже стеснялся.

Но умер Фаефан Кондратьевич, и заслонила эта беда, эта непоправимая потеря все на свете от Култыша. Боялся даже на день могилу оставить. Думал, затоскует без него отец.

Зима пошла.

\* Улово — водоворот, круговое течение на быстрых реках. (Здесь и далее примечания автора. — *Ред.*)

Длинной она показалась Култышу в одиночестве, без отца. Но вот с мягким шорохом повалилась кухта с деревьев, а потом зачастила капель. До самой до земли обвисли с низкой охотничьей избушки сосульки, похожие на светлые морковки. И вытяяло окошко, и глянула избушка на свет белый глазом, одним своим глазом, и поймала им солнце. Распахнул настежь двери Култыш, и одуряющий, переполненный соками нарождающейся весны воздух потеснил из избушки застоявшийся угар.

Пришел конец зимней охоте. Завеснило в тайге. Завеснило и на душе молодого охотника. Вот уже и лед на Онье отъело от берегов, наступили весенние распары, и покатились, понеслись с гор ручьи. Оголилась могила Фаефана Кондратьевича, и сразу проткнулась, взялась на ней и засветилась зеленая травка. И думал Култыш: это, скрытая от людей, душа родного человека оттаивала и прорастала травую.

Потерял Култыш сон. Отчего — и сам не знает. Нет ему покоя. Выбежит ночью из избушки, ринется в лес, проваливаясь в рыхлом снегу, без одежды бродит там, оглаживая рукой клейкие вершинки пихт, — ищет успокоения и не находит.

Даже в лесу не находит.

Как-то пробродив до самого утра, Култыш и понял, все понял и заорал на весь лес:

— Клавдия! Я приду! Я скоро! Погоди до стародубов!

По годам, по виду Култыш — мужик, а остался все тем же вроде не от мира сего парнишкой. Хотел он, непременно хотел идти сватать Клавдию с цветками стародубами. Они зацветают вслед за подснежниками и медуницами — эти ярко-желтые, с горящими углями в середине цветы. И чем больше они сохнут, тем шибче пахнут.

У Изыбаша стародубы появлялись прежде всего на том угоре, где покоился отец. Каждый день прибегал туда Култыш и смотрел на царственно пышные всходы. Зажали они в тугой зеленой щепоти цветок и не выпускали. Подгонял их Култыш: «Ну быстрее, быстрее!» Считал, что мало им тепла от вешнего солнца, опускался на колени и дышал, дышал на каждый стебелек.

А весна все размашистей шагала по тайге. Гнала друг за другом удалые, недолговечные ручьи. Распустила шишки вербача, завесила сережками березник и ольховник, прибавила звону птичьим голосам, одурманила хмельным воздухом, перепоила всех допьяна.

Набух, вспучился, посерел лед на Онье.

И в тот день, когда вспыхнул на угоре и засветился первый в нынешнюю весну стародуб, охнула, зашумела и сломалась река.

Схватил Култыш стародуб и понес его своей невесте под рубахой, а за плечами мешок, полный соболиных, беличьих и горностаевых шкурок. Всю завалит, с ног до головы, свою невесту мехами Култыш, а в волосы ей вплетет он солнышко!

Пусть горит!

Пусть все знают — тайга женит своего сына!

Амос не дарил Клавдии ни цветов, ни мехов. Он поступил по-обычному: подпоил Троху и высватал его дочь.

В тот особенно беспокойный день, когда Онья, всю зиму копившая силу подо льдом, со скрежетом и гулом раскалывала камни, валила, как былинки, прибрежные деревья, в Вырубках началась степенная старообрядческая свадьба, на которой много пили, еще больше занимались иконоцелованием, молились, кудесничали и шушукались.

И вдруг чей-то крик в клочья порвал свадебную нудь, сдул ладанный угар, смешанный с запахом медовухи-опьянителей:

— Человек реку переходит!

Словно шапкой смахнуло людей из-за стсла. Все высыпали на берег.

Насупился Амос.

Побледнела Клавдия. Прижала кулаки к груди, будто боялась: выпадет сердце. Сама не своя поднялась она и пошла из избы медленно, как во сне. На широкой белой заплате среди реки темнела одинокая фигурка. И льдину и фигурку кружило, волокло в каменный шивер. Побежала Клавдия к реке, забыла подобрать подол длинного платья, наступила на него. Хрясь! Со скрежетом лопнула холстина.

— Куда торопишься? Зря! — Она и сама знала — поздно, да ноги несли. А человек на реке все шел и шел неустрашимо вперед — грудью на Онью, на людей, на эту богом забытую деревушку.

Человека. относил. Он перебирал ногами, как горячий, нетерпеливый конь, ждал подходящую льдину. А она неслась кругами, точно огромное блюдо, смалывала в крошку острые края, рубила клыки встречными льдинами. Вот сунулась, как уют, в нее узкая, что щука, льдина, вперлась между пластинами — и к человеку. Взялся он на жерди, мелькнул в воздухе и сразу же на следующую глыбу, прошитую капелью.

Еще прыжок, еще! Ближе берег. Деревня ближе. Дальше ревуший шивер. Совсем рядом тихое улово. Льдина, другая, гремя! Сорвался. Упал.

— Ах, оглашенный, утоп! —

Но человек появился снова и снова рванулся к берегу, где суетились и очумело орали люди. Бежать и прыгать стало нельзя — намок. Но человек не сдавался. Он бросал жердочку со льдины на льдину и, чуть коснувшись ее ногами, перемахивал через полыньи.

Река редела, кромсала лед, рушила зимнюю твердыню. Открывались, исчезали кипящие полыньи, звонкими веретенцами рассыпались льдины, и все время метались по реке черные молнии, распластывали их, рвали в клочья. Сошлись две льди-

ны в шивере, вздыбились на камне, уткнулись тупыми лбами. Выше, выше, выше встают они, яростные, в последней смертной схватке. И на мгновение замерло все кругом, приостановилось, и от затора, запечатанного на шивере двумя льдинами, волной покатилась на берег вода.

А человека нет, канул, погиб.

Да и что он в сравнении с этакой силищей: мураш. Но грохнулись льдины, разбились в звонкие дребезги, опала, снова пошла замершая было река, дала простор глазу — и все увидели его.

Он боролся.

Он мчался теперь не поперек реки, а чуть наискосок — в понизовье.

Понял, видно: не взять грудью Онью-реку.

Охнул, засуетился онемевший было народ на берегу.

— Назад вертайся! — кричали ему.

— Сгинешь!

— Хоть мешок-то кинь! — махали рукой, показывали: — Мешок-то! Э-эх, не слышит!...

— Доску лови!

Кто-то швырнул в воду плаху. Поймал ее человек и снова рванулся вперед, дерзкий, стремительный!

В трех верстах ниже села он вымахнул на берег, поскользнулся, упал.

Подбежали люди, подняли: Культя!

Глаза его горят, в них еще не угасла ярость схватки. Бел парень, что льдина, но смеется, во весь рот смеется.

С детства тронутый — всем это в деревне известно, потому, стало быть, и ринулся в такую стремнину, смерти не убоявшись, потому, стало быть, смеется.

Тронутому что, тронутому все потеха.

Но вдруг перестал смеяться парень, глаза его потухли, еще больше побледнело лицо. Клавдия в разорванном платье прибежала, остановилась, не зная, что сказать. Рядом пристроился Амос и уронил, как булыжник в воду:

— Что, поздравить нас торопился? Дуй!

Култыш вынул из-под рубахи мятый, но все еще светящийся стародуб, вложил его в безжизненные, податливые пальцы Клавдии.

По берегу сыпанулся смехок: эти люди никогда и никому цветов не дарили. Разве только покойникам, да и те из древесных стружек. Култыш с ненавистью глянул на толпу, ждущую потехи, и сжал кулаки:

— Слякоты! Слякоты! Слякоты! Слякоты!..

Он бросил к ногам Клавдии суму с мехами и пошел обратно. Шел медленно, опустил безвольные руки, но у самой воды снова вскрикнул, как раненый, и пошел махать со льдины на льдину.

Толпа шарахнулась и замерла.

Никто уже не посмеивался, не орал, не ойкал. Люди с ужасом и недоумением наблюдали за тем, как уходил человек, дальше, дальше, по зыбучему, неверному льду.

Лишь Троха-сапожник порывался бежать вслед за Кулышом. Но его схватили, ахнули оземь, придавили коленями.

Он плакал навзрыд и с отчаянием бился лицом в грязную землю.

Клавдия была намного моложе Амоса, ладна телом, хороша лицом. Большие карие глаза ее смотрели на всех открыто, прямо, с каким-то дерзким вызовом. Староверы не любят такого взгляда. В деле она оказалась хваткой, мужику не уступала. Пока не умерла свекровь, жилось Клавдии трудно. Мокрида привыкла главенствовать в доме и все подчинять своим приколам, своей вере.

Амос вывернулся из ее рук — она невестку подмяла. Любила Клавдия, как и ее разудалый папаша, спеть и сплясать, но ее приструнили, стали отучать от таких зряшных занятий. Молиться с лестовкой в руке утром и вечером, перед сном и после сна, перед едой и после еды.

— Неужто так вот всю жизнь? — пробовала жаловаться Клавдия Амосу.

Он ухмылялся:

— Ничего. И по-нашему жить попробуй, в строгости. Вера наша прямым человека делает, как кол. Бей обухом по нему, в землю вколачивай — молчит. Молчи и ты. Терпи. Я вон сколько лет терпел. Не тебе чета — мужик все же.

В бедной, безалаберной семье Клавдии никогда не было такого унылого гнета.

Иной раз Клавдия крадучись пробиралась домой. Навалившись на плечо отца, от которого всегда пахло прелой кожей, дегтем и самогонкой, выплакивалась вволю. Троха суетливо дергал черными пальцами свой висячий нос и проворно орудовал молотком, забивая деревянные шпильки в старую обувь. Молоток нет-нет да и срывался, попадал по пальцам. Остервенившись, Троха давал по затылку малому — Изотке, который лез под руки, или вынимал из лоханки лоскут моченой кожи и тянул его зубами, как резину.

После того, как дочь уходила, Троха в дымину напивался, и тогда в окна летели сапоги, нчиги, опорки:

— Натё... Сами починяйте! Заели жизнь мою и дочернюю, зипунщики мохнорылые, под горшок стриженныя-а-а...

Вырубчане относились к Трохе, как и ко всякому поселенцу, с высокомерной снисходительностью. Тем более что Троха даже иноверцем не был. Он никак не молился. Словом, вовсе бросовый человечешка — ведь безверный, что беспорточный, весь в наготе. Однажды мужики взялись было учить Тимоху кулаками и палками уму-разуму и почтению к «опчеству». Больно уж он срамил всех накануне, терпежу не стало. Но налетела Клавдия с топором, ворвалась в толпу мужиков, и не разбежись они, пожалуй, кое-кто и несдобровал бы.



Что только сотворилось с бабой! Неслыханное дело — на мужиков пошла!

Дикой прозвали с тех пор Клавдию кержаки, утверждали, будто тронулась она, и не раз интересовались, как это Амос до сих пор цел и невредим. Он показывал костлявый кулак: — Вот он, бабий ундр!

Бахвалился мужик. В душе он и сам побаивался «дикой» и никогда не смел ее даже пальцем тронуть.

Будто в отместку кому, Клавдия привечала охотника Култыша и всем давала понять, что был он и остался близкой родней. Амос ревниво следил за ними, но виду не показывал, донимал только ехидными насмешками.

А Култыша, как он ни противился, влекло туда, где жила Клавдия. Себе же он объяснял это тем, что в нем жила неистребимая любовь к памяти отца. Но была, конечно же, была и другая причина. И чем больше тянуло его в этот дом, тем реже он появлялся в селе. А если и появлялся, то стороной обходил родное подворье, выпрашивался ночевать к другим хозяевам, чаще всего спал у Ионыча, у перекупщика.

Не пустил сегодня Ионыч. Переломить себя пришлось. И вот теперь он снова здесь и снова говорил с Клавдией. Амос узнает, будет подковыривать его, нехорошо шутить над Клавдией. А может, и не будет? Годы ведь многие прошли. Амос сохранился лучше Култыша. Но и его уже добрым молодцем не назовешь, да и время вон какое страшное. До шуток ли?

Распахнулась деревянная створка. В огород ступил Амос. За ним Клавдия. Сделался Амос еще суше и ровно бы в росте подался. Седина обметала голову Амоса, как хрупкий ледяной припай темную полынь. Глубоко сидящие глаза оплела сетка морщин, брови козырьком сунулись к переносью. Большой кадык в синеватых жилках, шея тонкая, будто у мальчика.

Хозяин подал руку, крепко даванул пальцы Култыша и пристроился рядом с ним. Охотник отодвинулся, озадаченно покашлял.

— Чего в избу не идешь? — спросил Амос, протягивая Култышу кисет. «Поперёшный» Амос курил, ел пряженики, коржики, стряпанные на дрожжах, и даже пил самогон и бражку с хмелем, что у староверов считалось одним из самых злых грехов.

— Да так вот, дошел до баньки и сажу вот, — забормотал Култыш.

Амос кинул на Култыша косой взгляд, облизал бумажку: — Ладно уж городить-то! Ступай в избу, чай, не чужая.

Култыш засуетился, отыскивая суму.

— Я принесу, принесу, — обрадованно замахала рукой Клавдия.

— У меня там гостинец ребятишкам — черемши соленой туесок.

— Им бы мяса, — сумрачно выдохнул Амос, — вовсе ото-щали...

— Нету мяса. Хворал я, — начал оправдываться Култыш.  
— Ушел зверь из лесу? — спросил Амос, пропуская Култыша во двор.

— Весь способный перекочевал. Увечные звери да коровы с телятами еще кое-где остались. На солонцы одна ходит.

Брови Амоса шевельнулись, глаза сощурились. Все тем же утомленным голосом, но уже приветливей он обронил:

— Полушубчишко-то брось под навес, сама его табаком пересыплет. Вшей небось больше, чем овчины?

— Есть вша, есть. Что ты с ней, с окаянной, сделаешь...

Ночью Култыш исчез.

Пошла Клавдия утром на сеновал будить его и не нашла. Даже сено примятое Култыш завернул козырьком и сунул к стене. Ни ружья, ни сумы в сене не было.

— Форменный нечистый дух! Свалится — не поймешь откуда и сгинет невеста куда, — развела руками Клавдия.

— Зря ты его поносишь вонючим словом, — ухмыльнулся Амос, сидевший на крыльце. — Ангел он непорочный, и крылышки у него под вшивой шубой снежные, лебединые. Улетел он на этих крылышках ангельских заповеди исполнять.

— Паясник старый, чего мелешь? Сказывал он тебе, куда наладился?

— Где же он скажет! От меня он на пудовый замок душу запер и ключ в Онью кинул.

— Слабый он еще после болезни и тощий — пропадет в тайге.

— Н-ну, пропадет! Скорее мы здесь пропадем.

— В пустой тайге хоть кому гибель.

— Тайга, она тоже для кого мачеха, а для кого и мать родная. Для одних пуста, для других густа. Завтра или послезавтра явится твой беспалый, помани мое слово, — заключил Амос, почесывая мослатую грудь, — и не с пустой сумой...

Култыш приплыл на другой день под вечер. Посреди лодки, накрытая березовым корьем, была сложена крупно разрубленная туша лося. В кормовом отсеке лодки плескалась бурая от крови вода. Пока Култыш отчерпывал воду деревянным ковшиком на берег сбежались мужики, а за ними бабы и ребятишки. Молча и выжидательно толпились они возле лодки. Култыш окинул взглядом темных от голода, как бы осевших к земле кержаков с проваленными, тускло светящимися глазами. Перевел взгляд на яр. Все так же ершился крапивой яр, и на выступе стояла все та же черная баня, только углы у нее местами отгнили и отвалились. По этому яру когда-то бежал маленький человечиска, хватаясь за землю, за крапиву, наступая на полотенце, на желтое от табачной пересыпки полотенце, которое яркими петухами испятнала кровь.

— Трофим Матвеевич здесь? — тихо спросил Култыш.

— Троха, а Троха! Тебя! Култыш тебя требует! — эхом прокатилось по берегу, и вперед несмело просунулся босой, кривоногий Троха и смущенно подергал себя за нос все еще

полосатыми от дратвы пальцами, хотя он давно уже ничего не чинил и не шил.

— Топор принеси, Трофим Матвеевич. — При людях Култыш упорно навеличивал Троху, чем приводил его в крайний конфуз.

— Топор принеси! — снова колыхнулось по берегу эхом.

— Есть, есть топор, вот он! — И вот уже из рук в руки пошел топор, и двое обессиленных мужиков услужливо катили к лодке чурбак.

Култыш скинул на воду корье, и дрогнули лица людей на берегу, затрепетали ноздри. В лодке горой лежало мясо! Ребятишки кинулись в воду, вылавливали корье и слизывали с него сукровицу. Никто на них не цыкнул. Все смотрели на мясо и нетерпеливо переступали, готовые кинуться, разорвать, растащить, схватить эти розовые куски, сулящие силу, а значит, и жизнь, хоть ненадолго.

Но голод сделал людей покорными. Они ждали.

Култыш неторопливо выколотил трубку о борт лодки, еще раз исподлобья глянул на кержаков и положил на чурку переднюю лопатку сохатого. Она весила пуда полтора. Он прицелился топором раздвоить лопатку повдоль, уже замахнулся было и внезапно опустил топор.

— Бери, Трофим Матвеевич!

Троха не двинулся с места. Он стоял как вкопанный.

— Бери, говорю, — повторил громче Култыш. — Все бери!

— Куда же столько? — залепетал вконец растерявшийся Троха. — Хоть фунта три-четыре. И на том за милость вашу бога молить.

И то, что жалок был Троха, и слова говорил такие жалкие, и как к уездному начальству обращался на вы, вывело из себя Култыша. Он схватил грузную лопатку, хрястнул ее на плечо Трохи, так, что тот присел под тяжестью.

— Убирайся.

Троха послушно засеменил вверх по яру. Он раскорячивался от груза, хватался рукой за крапиву, но мясо держал крепко.

— Повезло! — выдохнул кто-то.

Со свирепостью рубил Култыш лосиную тушу. Не рубил, а прямо-таки крушил и, сунув мясо в протянутые руки, задышливо кричал, будто от себя рвал куски:

— На! Убирайся! Н-на! Убирайся! Н-на! Убирайся!

И вот он остался один на берегу. Помыл руки, вынул трубку, сел на борт лодки. В деревне сплошь задымили трубы. Руки Култыша дрожали.

Амос и Клавдия на берегу не появлялись. Култыш завалил губастую голову лося в мешок, сложил, как поленья, в беремя лосиные ноги с травинками в раскопытые и устало побрел к дому Амоса.

Пряча злую усмешку, Амос глянул на приношение Култыша и пророкотал:

— Что ж, для голодных зубов и кость благо! Баба, топи баню, охотник с промыслу вернулся.

И больше не сказал ничего. Култыш виновато опустил голову.

После бани непривычно чистый, причесанный Култыш сидел за столом. Возле него ребяташки-племянники. В рот смотрят Култышу — неустрашимому зверобою. Клавдия стала поздно носить детей, племяши были еще малы. Култыш гладил головы мальчишек, рассказывал им про лес, про Изыбаш. У старшенького глаза большие, приветные. У матери его когда-то были такие же. Прижал его Култыш к себе, шепнул на ухо:

— Подрастай! В тайгу возьму. Голубой камень покажу, стародубов нарвем...

Прислонилась спиной к шестку Клавдия, загорюнилась, вспомнив что-то.

Амос сумрачно крикнул и выдворил сынов сначала из-за стола, а затем жестом приказал им выметаться на улицу.

— Чтобы не докучали, — пояснил он.

Хозяин тоже в бане попарился. В новой сатиновой рубаше, шуршащей, как тонкая кожа, поместился он супротив Култыша. Костлявые руки Амоса, рябоватые до запястий, тяжело лежали на столе.

Деловито, без суеты пили затхлый от давности самогон. Култыш быстро хмелел. Амос радушно подливал ему.

— Дак чего ж ты сохатого завалил, а корову оставил? — между делом полюбопытствовал хозяин.

— Говорю, телок у нее — подрастет пусть, на жительство определится, — обсасывая мокрые усы, отозвался Култыш.

— И телка взял бы. Гляди, голодуха какая...

Култыш часто замигал веками, и Амос только сейчас обратил внимание, что на этих веках нет ресниц. «Выболели от укусов комарья и мошки», — догадался он.

— Выходит, что на вашем знаменитом Изыбаше ноне только вошь и водится...

— Оскудел Изыбаш. Мертво и даже жутко. Встанешь утром — ни голоска птичьего...

Амос придвинул Култышу деревянный бокал, сделанный из березового корня. Култыш выплеснул самогон в рот, сморщился, отыскивая глазами закуску. Амос резко сунул ему чашку с головизной. Култыш обошел чашку рукой и зацепил щепоткой капусты.

— Чего убоину-то не ешь? Твоя.

Култыш поперхнулся, прожевал капусту и сумрачно молвил:

— Не могу. Против воли сохатого добыл. Не могу.

— Это как понимать?

Култыш задумался, потупил взгляд, сник весь.

— Нет горше дела, чем добивать.

— Смотря кого.

— Хоть кого. Слабого только слабый бьет.

— Ха, ей-богу, слушать тошно! Будто он всю жизнь овсяным киселем питался, — взъелся Амос.

— Я ослабелого зверя никогда не бивал, самку в тягостях не трогал, гнезд не зорил...

— Говори, — махнул рукой Амос. — Бабе моей говори — она восчувствует, а мне заливать не след...

— Не бивал! — стукнул кулаком Култыш. — И этого не тронул бы ради себя. Я его из огня выгнал, к рассолу выгнал. Ушибло, опалило его. Но он бы выжил. А я его... Он ведь там у рассола и лежал. На пять сажен подпустил. Доверился. А я его...

Култыш скрипнул зубами. Амос сочувственно покачал головой, принялся сокрушаться:

— Господи-святые! Ничего не пойму! Тот человека уколошил, а этому елейную блажь в голову вогнал. Дурак он был! И ты дурак! Простофиля и дурак! — снова вспылел Амос и заорал на всю избу: — А тебя, тебя пожалеют? Ты им мясо роздал, душу свою бабью истерзал. А попади в огонь, они тебя выгонят к рассолу? Они тебя дальше, в пекло, в пекло загонят. Хотели уж снова, растяпа ты, ничего не знаешь. Любят кержаки, когда люди на огне жарятся. Ране сами себя жгли, а теперь оскудодушили. Теперь они других на уголья. А ты им мяса! — Давай! Вали! Ангел с крыльями! Когда гореть будешь, они этими крыльями жар под тебя подгребнут. Со святыми упокой, скажут, со святыми упокой!..

Совсем прибил к столу Култыша Амос, совсем расшиб его словами этими. Клавдия врезалась в разговор:

— Ну, будет, будет, чего взбесился? Чего напустился на человека? Ему и без того тошно. Не тебе о его душе пекчись. Выпивайте уж лучше да ладом говорите. А то вы, как вода с огнем. Сойдетесь раз в году и ну кипеть. Родные все-таки, хоть по дому, да родные.

Амос утих, покашлял, достал корчагу с самогоном из-под стола, налил, подвинул пальцем посудину Култышу:

— Напейся уж, что ли? Может, полегчает. Уродил бог чуду. Пей!

Култыш опять одним махом выплеснул в рот самогон. Амос повел разговор ладом.

— Так говоришь, корова-то все-таки осталась?

— Куда она с ребяенком-то?

— Уйдет!

Култыш хотел что-то ответить, да махнул рукой: дескать, хватит про это, и попытался затянуть песню. Захмелел охотник. Голос его дрожал и чуть сипел:

Тю-рима, тю-рима, какое слово!

Гля все-ех позо-орно и страшно-о.

А гля-а-а меня совсем друго-ойе,

Пр-ривык и тю-рима давным-давно...

— Тяти-покойника любимая... — затряс головой Култыш,

роняя частые слезы, — Фаефана Кондратьевича... Э-эх, человек был! Челове-ек! Клаша, а Клаша, ты тятю-то помнишь? Фаефана-то Кондратьевича?

— Как же, как же, помню, — стараясь угодить пьяненькому Култышу, заторопилась Клавдия. — Бродни ему мой тятя всегда чинил. Гуляли они вместе. Самондравный был человек, но добрый. Мне одна зайчонка приволок... Как живого вижу... Ты бы закусывал хоть капустой, раз уж сохатина тебе не к душе...

— Отец-то твой горюн, посмотрел я давеча на него...

— А-а, — тряхнула горестно головой Клавдия и отвернулась, подняв передник к глазам.

— Худо тестю, худо. Можно сказать, только нашей милостью и жив. Обутки ноне никто не чинит. До обуток ли? — И, что-то сообразив, Амос быстро приказал Клавдии: — Сбегай-ка за ним. Пусть с нами выпьет. — Хозяин хлюпнул носом: — За тятю, Фаефана Кондратьевича, царствие ему небесное...

— Дай я тебя поцелую! — полез через стол умилившийся охотник.

Клавдия встревоженно глянула на хозяина, постояла и пошла за Трохой.

Под поцелуй выпили еще, и Амос с прежней настойчивостью повернул разговор на охоту, на зверя. А Култыш все пытался запеть и твердил:

— Мор в тайге. Мо-ор! Всемирный мор, конец свету. Прогневали матушку-кормилицу...

— Ну, мор! Закаркал, едрена мать! — сердился Амос. — Сохатого свалил, еще корова ходит, а он — мо-ор, мо-ор! Добыл бы ее да не раздавал попусту, с деньгами был бы. Побаловал кержаков сохатинкой — и будя. Пусть тряхнут кошельком, а то обсевком голым и сдохнешь...

Култыш, взбывчившись, глянул на хозяина. Амос тоже уставился в упор, будто на мушку взял.

— Ведь врешь, брешь про корову! Толкуешь, что даже в Изыбаше пичуги малой не осталось... А уж коли в Изыбаше нет...

— Ах, Амос, Амос! Да разве один Изыбаш в тайге? Разве, кроме его, нету мест золотых? Курушка, Серебрянка, Медвежья падь... Э-э, не знаш ты, чужая тайга...

— Ты много знаш! Врать только! В Медвежьей пади все выгорело. А Курушка? Чего на твоей Курушке осталось?

— Да ничего почти что. Харюз только в речке, — подтвердил Култыш.

— Да и Серебрянка уже отсеребрилась, кладовка-то ваша опустела, и мышей даже нету — мужики сказывали.

— Чего мужики сказывали? Если бы мужики там побывали, от коровы и шерсти не оставили бы! Сказывали! Кишка тонка у твоих мужиков на Серебрянку ходить!

— Так уж у всех и тонка? — вызывающе усмехнулся Амос.

Култыш подозрительно уставился на хозяина, потер кулаками виски.

— Ну, ну, не беленись! Давай еще хлебни да закусывай хоть капустой. Свалишься с копытов долой... — заторопился Амос.

Но Култыш уже был готов. Когда Клавдия вернулась домой, он лежал на полу, положив под голову кулаки, и тоненьким, угасающим голоском тянул:

Тю-рима, тю-рима, ка-а-акое слово...

Клавдия затащила его в горницу, на половики, сунула под голову плоскую подушку. Пришел Троха, выпил, за нос себя суетливо подергал и скоро уже лежал рядом с Култышом, плакал, называя его благодетелем и прочими хорошими словами.

Амос поднялся из-за стола почти трезный, коротко бросил жене:

— Собери соли в дорогу, котелок, сухаришек.

Он снял со стены много раз чиненное ружье отца, Фаефана Кондратьевича, дунул в стволы, щелкнул курками.

— Ты куда? — испугалась Клавдия. — Не смей! Подожди Култыша, согласуйся, воровски не смей! Таежный закон за-был?!

— Сейчас голод всему закон! — отрезал Амос и с силой отстранил ее.

\* \* \*

Амос спешил. Он толкался шестом по обмелевшей Онье так, что узенькая осиновая долбленка на перекатах зарывалась в воду по самые борта. Силенка у него еще сохранилась. Сам он и его семья голодовали меньше других жителей Вырубов. Старая, заведенная еще при отце привычка сгодилась. В семьях охотников всегда сушат сухари. Зачерствел ли хлеб, получились ли у стряпки неудачи, куски ли со стола, краюшки ли с покоса — все на сухари. На полатах накопилось несколько мешков сухарей, потому что после смерти Фаефана Кондратьевича их мало употребляли. Иногда только в охотку со шами ели ребятишки, да если Култыш забредал, Клавдия насыпала сухарей в его суму или нищим подавала. Капуста еще с прошлого года осталась. Свежая картошка вот-вот появится, она уже с воробьиное яйцо — Амос глядел. Ботву свеклы, брюквы и листики капусты Клавдия уже во щи крошит.

Нет, не умрет Амос с голоду, и детишки не умрут. Может, и деревня помаленьку поднимется. Месяц-другой протянут жители Вырубов и, глядишь, тоже начнут огородным пользоваться. Правда, в огородах не ахти какросло, но все же зелень — еда. Ну, а за эти два месяца многие перемрут, ой многие...

«Прогневали, видно, косматого!» — подумал Амос и поди-

вился на себя. Вот опять бога помянул. А сам ведь в душе-то знает, что это лишь пугало для людей, узда невидимая. Уму и смекалке Амос доверял больше. Еще с детства он твердо уразумел, что бог-то он бог, да сам не будь плох. Правда, по наущению матери исполнял Амос ритуалы и правила староверов, но на самом деле оставался к ним совершенно равнодушным. Вон они, соседи-то, ждут, что бог подаст, — и мрут, как мухи. А он не станет ждать, он добудет мяса, и эти же соседи придут к нему и начнут канючить, делая вид, будто ничего не знают и знать не хотят: по-божьи или нет сделал Амос, сходявши воровски на чужие солонцы.

Что же касается Култыша, так его в расчет брать не стоит. Для него бог — тайга и превыше всего — таежный закон. Но защитить этот закон он один не в силах. Каждый закон, худой ли он, хороший ли — миром создается и держится миром.

Амос равномерно перебрасывал и перебрасывал шест. Горели ладони, ломило поясницу, сохло во рту. Он время от времени зачерпывал жилистой рукой воды, отпивал глоток, вытирал рубахой лицо и снова гнал лодку вперед.

Отошалаея Онья бестолково билась на перекатах, урчала в шиверах, гремела на порогах. По крутым берегам ее неподвижно стоял березник со скрюченными коричневыми листьями. Даже сосны, и те порыжели. Солнце беспощадное, вовсе не сибирское солнце сжигало все, высасывало из скудной скалистой почвы последние соки. По узеньким берегам-бечевкам торчали прошлогодние остожья. Трава на них реденькая, ершистая. Сено нынче вырубчане не поставили. Падет скотина, совсем обнищает деревня.

С радостью вспомнил Амос, как он мало-помалу подкашивал да подкашивал траву в огороде и набил почти полный сеновал. Трава на мокрой земле нынче, как тесто на опаре, поднимается. А кто не велел соседям пригородить ключ?

К вечеру с гор понесло гарью. Амос поднял голову. Высокое, изнывающее от жары небо затягивало темной пленкой дыма. Яростное, немое солнце пекло немилосердно даже в предзакатные часы.

Впереди показалась черная полоска. Должно быть, несколько дней назад лесной пожар подступил к речке, потоптался возле нее, зашипел, забегал вдоль берега, подобрался к самой воде и по упавшей лесине или веточкой, подхваченной ветром, перекинулся на другую сторону и ушел в глубь тайги. Лишь трупелые валежины и высокие пни курились синенькими струйками, словно только что задутые свечи. По воде хлопьями плыли сажа и листья. Дышать сделалось трудно. К берегу подбивало обгоревших на лету птиц. Амос выловил из воды копалуху — глухарку и тут же отбросил. Она уже протухла. Подумав, он все же подобрал птицу, зажарил на углях и, преодолевая отвращение, жевал, жевал, стараясь думать о чем-нибудь другом. Вдруг скривился, вырыгнул на ладонь вонючую кашку и шлепнул ее о камни:



— Себя омманешь, а брюхо нет, — проворчал он и размочил в воде сухарь.

После этой остановки всю ночь шел на шесте, задыхаясь и слабая, однако к утру миновал пожарище и обрадовался.

Огонь, только он мог воспрепятствовать Амосу и остановить его. Но пожары уже объединились воедино, смахнули жизнь с горных хребтов и обрушились на предгорья, угоняя кочевников-скотоводов в голые степи.

Вот и Серебрянка — звонкая речка. Укрытая горами, лесом и кустарником, она неожиданно выныривала из непроходимой гущи, раздвигаясь на камне и двумя прозрачными крылами слетала в Онью.

Амос затащил лодку в кусты, забросал ее ветками. Отаболившись, согрел чаю, заварил парочку сухариков, похлебал и лег спать. Спал недолго, беспокойно. Проснулся в поту и, лежа на животе, долго, с захлебом пил студеную воду из Серебрянки.

Палило солнце. Амос озабоченно потянул носом. Запах гари едва слышен. Захотел было почесать Амос спину длинной рукой, да не достал самого зудящего места и, прислонившись к дереву, поцарапался спиной о него. Затем собрал мешок, сунул топорик за пояс, поглядел из-под руки на солнце и на всякий случай помахал двуперстием у груди.

— Благословясь. — И шагнул в густые заросли, как в душную баню, пахнущую распаренными вениками.

Там и сям перепоясывали речку черные ремни отбушевавших пожаров. Подлесок обуглился, вершины ольховника и черемушника были траурно темны. Однако половина их еще жила — у комлей, возле воды топорщилась листва. Ни шороха, ни писка, ни птичьей возни в лесу.

Мертво.

Лишь голос беззаботной Серебрянки звучал неугомонно да одиноко, и оттого совсем тоскливо ныли квелые от зноя комары. Зато слепней было много. С лету, как пули, они ударились в разопревшую шею Амоса.

— Ах, нечистая сила, на тебя и мору нет! — сквозь зубы ругаясь, шлепал себя по шее Амос и швырял горсти битого гнуса в воду.

Голос человека гулко разносился по лесу, погруженному в нехорошую тишину, поэтому он и старался говорить меньше и как можно тише.

Будто осенью, с шорохом опадали листья. Ягодники в лесу посохли. Даже смородинник в речке, и тот опустил водолюбивые листья. Ягоды на нем почернели раньше времени. Амос срывал мелкую смородину, давил ее языком и, думая о чем-то совсем другом, сокрушался:

— Вот напасть так напасть! Ягода, и та зачичеревела! Этакой страсти не упомяну...

Часто попадались змеи. Амос сначала суеверно содрогался, а потом срубил березку с выпуклым наростом и бил дубинкой

гадов, люто матюкаясь, точно они, эти твари, были повинны в том бедствии, какое обрушилось на родной край.

Далеко за полдень Амос неожиданно увидел сломленную рябинку. Прошел было мимо, но какая-то догадка шевельнулась в голове, и он вернулся, обследовал деревце. Вершинка его указывала в верховья речки. Прошел саженой двести, опять сломленное деревце, и опять рябинка.

— А-а, Культа двупалая, твоя работа! — громко, точно встретив попутчика, воскликнул Амос, утомленный тишиной и одиночеством.

Рябинка — деревце хрупкое, самое подходящее для того, чтобы сломить на ходу. Своя метка, свой указатель — рябинки же всегда надламывал и отец Фаефан Кондратьевич. Это Амос хорошо запомнил из разговоров. Он-таки сумел многое на ус намотать из этих разговоров. Пусть следов человеческих здесь нет, одни только рябинки, вроде бы ветром или зверем сломленные, а он твердо знает: солонцы скоро!

Но до солонцов оказалось добраться не так-то просто. Серебрянка в устье игривая, по-детски шалая, вроде бы заманивает, зовет картавеньким говорком идти по галечному берегу или по еланям и кулигам, примкнувшим к ней. Но в глубине тайги, сдавленная горами, речка бьется судорожно, как синяя жилка. Булыжник, плитняк, ослизлый от сырого зеленого мха, сплошь завалил ее. Слоистые бока скал нависали над речкой так низко, что в иных местах Амос пробирался под ними ползком и уже всерьез крестился, боясь, что его придавит, как крысу ловушкой, или змея из трещины жоганет.

Метки Култыша больше не встречались. Должно быть, охотник знал обход этих гиблых мест. Да и рябинника не было. В ущелье рос только бесплодный боярышник с острыми шильцами, рянащими лицо; гнезда марьиных кореньев да развалистые ветви молитвенно тихих папоротников. Если бы Амос знал таежные приметы, он не опасался бы змей в этих местах. Там, где растут марьины корни, или, как их еще называют, лесные пионы, змеи не водятся.

«И до чего же народ легковерный! — злился Амос, утирая расцарапанное в кровь лицо. — Из полена бога ему сделают и подсунут — за настоящего примет; на медной пластинке тыкову с глазами изобразят и скажут: «Мать-богородица» — поверит; увидит речку, снаружи веселую, — Серебрянкой назовет. А какая она, к лешему, Серебрянка?! Лихоманка! Вот как пристало бы ей зваться!»

Наконец речка разъединилась, и Амос остановился на развилке, удрученно соображая: куда же идти? Ущелье волнами отваливало на стороны. Углом возвышался лесистый косогор, не тронутый пожаром. Присел на камень Амос, облил себя водой из котелка, гулко екая кадыком, точно конь селезенкой, напился. Спрятал котелок, задумался. Потом разулся, перемотал запотелые портянки, поднялся.

Тяга воздуха в ущелье, ровно в трубу. Лесок подходящий

для солонцов. На Изыбаш похоже! «Здесь, здесь должны быть солонцы!» — металось в голове Амоса. Послунявил палец, подставил — точно, как он и думал, тянет с косогора.

Неожиданно на гладком, будто отполированном стволе молодой пихты Амос увидел заплывшую белой смолой царапину. Потер рукавом, но смола только размазалась и вовсе затянула царапину. Осторожно выскоблил ее носком топора и пристально всмотрелся. «Ох, не случайная это царапина! — покачал головой мужик. — Из двух одно: или медведь когти точил, или Култыш метку сделал».

Отшел Амос шагов десяток — опять царапина, примерно на том же расстоянии от земли. Прикинул по росту Култыша — точно: метка! Заторопился Амос, но ступал как можно осторожней, предчувствуя, что вот-вот набредет на солонцы.

И он их скоро отыскал. Серебрянка раздвоилась и запуталась где-то в густом, забуреломленном лесу. С косогора, нависшего в развилке, виден край неба вдали. Должно быть, там садится солнце. И там же маячит дерево со сломанной вершиной. Совсем недалеко от развилки речки, но все же на таком расстоянии, чтобы голос ее не глушил лесные звуки, посолена земля. Звери или один зверь — Амос не мог определить — недавно стали ходить сюда.

Ямка, выбитая копытами и вылизанная языками, еще невелика.

Амос не стал приближаться к ямке. Он отыскивал глазами караулку, однако ничего похожего не обнаружил. Тогда он поднял голову, предполагая, что вместо караулки на каком-нибудь дереве налажен лабаз, но и лабаза не оказалось. Он чуть было не ругнулся вслух, однако вовремя закусил язык.

Прислонив ружье к огромной сухой осине — из таких в Сибири делают лодки-долбленки, — Амос сел, пытаясь документать, где подкарауливал зверя Култыш. Не сидел же он посреди поляны, лесная кикимора!

Ходить много возле солонцов Амос остерегался. Стоять тоже не было времени. Неслышно ступая, высунулся к поляне и еще раз огляделся. Проем в вершинах леса против, и воздух тянет оттуда. Амос глазом прицелился на сломленное дерево и подтвердил свою догадку: вершина дерева срублена для того, чтобы не застила зорькин свет.

«По всем признакам караулка должна быть тут, где я стою. Но ее нет!» — все больше вскипал Амос.

Он уже решил устраиваться возле старой, в несколько обхватов осины, наскоро прикрывшись корьем и мохом. Надеялся на дикую удачу и почти загодя был уверен, что дело это бесполезное: марал, а в особенности маралуха с теленком так строжи, что любое, даже самое мало-мальское изменение на солонцах отпугнет их.

Отец Фаефан Кондратьевич сказывал, будто однажды он вырвал горсть пырея, выросшего перед окошечком караулки, и зверь перестал ходить на солонцы. Если, к примеру, вырастет

на солонцах пучка — купырь — и будет мешать — ее нельзя вырвать: марал заметит. Он знает и помнит каждую былинку в опасном месте или на пути к водоюю. Надо слегка подрезать растение ножом, зверь на ходу уронит его — вот это другое дело. Это он тоже запомнит.

И все же Амос рассудил так: будь что будет, не зря же он тащился в такую даль. Принялся искать корье. С той стороны осины, что не видна от ямки, слегка отвалился широкий пласт коры, будто подточенный червями. Рванул мужик кору с силой, но пласт отделился легко, без шума. И тут Амос не удержался, громко и восхищенно ругнулся:

— Во, ушлый! Ну и голова-а!

Под пластом оказалось замаскированное отверстие в дупле осины. Амос просунул туда узкую голову. Да, вот она, караулка! Прямо перед глазами — небольшая дырка. Должно быть, отверстие было совсем маленькое, и Култыш расширил его ножиком, оставляя мелкую стружку здесь же, на оконце. Словно бы короед или дятел работал. В дупле под ногами мох, а под мохом пенек. Оконце высоко, и Култыш, судя по всему, вставал коленями на чурбачок, чтобы хорошо видеть, что делается на солонцах. Вползать в убежище нужно было на карачках, как в нору. Амос еле протиснулся туда. Шевельнувшись невозможно. Кость у него шире, чем у хозяина солонцов.

С великими усилиями загородил Амос пластом коры лаз в дупло. Чурбачок из-под ног выкатил наружу. Все равно гесно. Дупло как бы сжимало плечи Амоса, но он решил все стерпеть и постепенно обсадился в этом тесном, душном нутре дерева. Ружье просунул в оконце, пошарил глазами по поляне, по лесу, по небу. Было еще рановато, но вылезать из дупла Амос не осмелился. Пусть лишний час-два просидит, зато уж больше никого и ничего не потревожит.

Чтобы все было в порядке, Амос на всякий случай прочел «Начало» — молитву всех молитв, а потом уж все подряд, какие знал. Не убудет его, если лишний раз перекрестится и лишнюю молитву прочтет, а это может сгодиться.

— «Боже милостив, буди меня грешного, создав имя господи, помилуй мя, господи, без числа согрешима, господи, помилуй... Печать на мне Христова, Николин ключ, богородицын замок...»

На охоте, в тайге, в одиночестве, даже человеку неверующему лезет в голову разная блажь, и он становится суеверным, начинает верить не только молитве, но и наговору, приметам. Амос же с детства был приучен ко всякого рода заветам и попытался в дополнение к молитвам вспомнить еще и наговоры:

— Как подходит мир-народ к живогворящему кресту, как приходит солнце встречь земли-матери, безотпятошно, безоглядошно, безоговорочно, так бы шли-бежали рыскающие звери к солонцам мо... к солонцам этим, — поправился Амос, — безотпятошно, безоглядошно, безоговорочно. Амины!

Тем временем солнце снизилось за дальние увалы, но еще долго колыхалось над окоемом знойное марево. Небо запекалось, краснело и постепенно темнело по краям, будто покрывалось окалиной. Из-за осины, от развилки Серебрянки, крадучись, выползла удушливая, как чахотка, ночь. Уже чуть не все небо запахло сероватой хмарью. Но за сломленным деревом, за далекой далью все еще не остыла раскаленная лепешка. От нее к солонцам сочилась багровая струйка и густела с каждой минутой, как бычья кровь. «Страсть какая — быть одному в тайге, — поежился Амос. Морила усталость, ныли ноги и руки. — Подремлю маленько, ночью свежей буду», — сказал себе и уронил голову на грудь. Это все, что он мог себе позволить для удобств в туго сжавшем его дереве.

Под рубахой забегали, защекотали муравьи. Амос передернул плечами, но глаз не открыл. Винный дух устоялся в пустой осине. Он дразнил Амоса, туманил мозги. В дереве продолжала гнить мягкая, волокнистая сердцевина, и труха с легким шорохом осыпалась сверху.

Под этот чуть слышный шорох забылся Амос.

Приснился ему Култыш. Он все силился запеть: «Тюрима, тюрима, какое слово!..», но ничего не выходило у охотника. Беззубый рот его открывался и закрывался. Амос ждал, напряженно ждал песню, однако вместо песни послышался хруст и высунулись зубы, длинные, белые и загнутые, как клыки, а потом клыки зашевелились, поползла изо рта белая змея и ощерилась на Амоса собольей головой. Откуда-то взялся отец, схватил змею за хвост и принялся хлестать ею по голове долгого парня. Амос понял: это его бьют, попытался крикнуть и не мог, рот свело, заполнило вязкой мягкостью.

Дернулся Амос, открыл глаза и долго не мог очухаться. Пришел в себя только после того, как сердце, сбитое с ровного хода дурным сном, перестало частить и пошло, как надо.

«Прости, господи!» — смиренно пошевелил губами Амос и прислушался. Все так же рыхлым снежком осыпалась гнилая труха за шиворот. В ноздрях сделалось до того щекотно, что неудержимо потянуло чихнуть. Амос испуганно зажал нос. Он готов был скорее умереть, чем издать какой-нибудь звук. Не знал ведь, сколько времени проспал. «Может, зверь-то уже на солонцах?» — медленно вытягивая длинную шею, испуганно подумал он. Захрустела спина, защелкали суставы сухим хворостом. «Только бы руки не закозлились да глаз не застлало бы от отощания, остальное выдержу», — твердо решил Амос.

Как и в ту давнюю ночь в Изыбаше, на небо напозла чуть ущербная луна. Но какая-то рябь все время набегала на нее, и Амос не сразу уразумел, что все тот же дым от дальних лесных пожаров. Он потянул носом и уловил едкий запах. «Хорошо это, у зверя чутье отшибает гарь. Корова-то, поди, нажралась и ушла? — И тут же спохватился. — А может, вовсе перестала ходить?»

Начали разбирать Амоса те сомнения, коих бывает полно

у охотника с ненаметанным глазом. Иначе он бы еще давеча по следам заключил, ходит зверь на солонцы или нет.

Впереди что-то мелькнуло. Амос рванулся и больно ударился носом о стенку дупла, но даже и внимания не обратил на это. Дрожащие пальцы его уцепились за спусковой крючок ружья. Однако сколько Амос ни напрягался, обнаружить больше ничего не мог. Только начал успокаиваться, думая, что ему померещилось, впереди опять ровно бы мячик упругий подскочил.

Амос оцепенел.

В это время рябь рассеялась на минуту, и он увидел у ямы зайца. Насторожив уши и приподняв передние лапы, заяц слушал. Послушал, послушал и кувырк в ямку. Лизнул соленой земли и опять начеку. «Холера! — беззлобно плюнул себе на грудь Амос. — Тоже бережет свою душонку, стервец! Надо быть, пожары его сюда загнали». Но слишком уж часто заяц исчезал и появлялся. И немало времени прошло, пока Амос догадался: зайцев-то двое, и они поочередно один другого сторожат.

«Артелью пасутся. Хорошо это. Кулья говаривал: когда заяц на солонцах, марал идет смелей, меньше опасается».

Долго следили пристальные глаза человека за возней большухих. Но они до того разлакомились, что не чуяли глаза, от которого содрогаются и бегут любые звери. Амос до того засмотрелся, что и не заметил, как из кустов выскочил еще зверек и бесшумно подбежал к ямке. У него были тоже большие уши, гибкая, как у змейки, шея и тоненькие, паучьи ножки. На узенькой мордочке в свете луны стеклками поблескивали глазенки. «Это же теленок!» — ахнул от неожиданности Амос и зажмурился, памятуя о том, что зверь страшно чуток к человеческому глазу. «А у меня глаз-то урочливый».

Однако не удержался Амос, тут же разомкнул ресницы и принялся отыскивать корову. Она стояла чуть поодаль, подозрительно приподняв голову. Затем сделала несколько мелких шажков, едва слышно прошелестела губами, видно, разрешала своему детенышу отведать соленой землицы — звериной сласти.

Но малый не ждал позволения. Он уже припал на колени и вкусно причмокивал. Длинные уши его пошевеливались, как ольховые листья. Мать приблизилась к ямке, грозно мотнула головой, и зайцы отпрянули. Однако соль манила, так манила, что и природный страх и всякое уважение к сильному забыли косоглазые. Они настырно лезли к солонцам. Тогда маралуха бросилась на них, занесла ногу, намереваясь сразить копытом всякого, кто осмелится докучать ее дитю. Зайцы ловко увернулись, припали за кустом, выжидая.

«Господи, баслови!» — опять беззвучно зашевелил губами Амос, повторяя «Начало», а сам в это время тщательно целился в корову, явственно видимую в лунном пятне. Зайцы урвали-таки удобный момент, перемахнули через куст в ямку. Теленок

пугливо шарахнулся, фыркнул. Мать метнулась к нему и на секунду ушла с прицела.

И тут Амоса осенило: «Ребенка не кинет, а он, глупой, может и удрать. Обоих надо брать. Крышка!»

Мушки не видно. Лишь маленькая искорка подвинулась и замерла под тоненькой фигуркой мараленка.

Занемевшие пальцы рванули спуск.

Искру загасило пламя.

Расколослась ночь.

По горам и дальним седловинам покатился гул, смахивая душную тишину. И все, что еще оставалось в лесу живое, ринулось в темноту, треща кустами, суматошно натываясь на деревья.

А тоненькие, как у комарика, ножки мараленка подломились, и он сунулся мордочкой в такую вкусную землю, которую, сколь ни лижи, досыта не налужишься. Теленок еще попробовал ползти в родной лес, выцарапывал копытцами траву и корешки, еще заблеял чуть слышно — и утих.

— Ну, один испекся, — облегченно выдохнул Амос. Он провел языком по пересохшим губам и забормотал: — Не уронится и не призорится мать сыра земля, и да не уронится и не призорится промысел мой, добыча моя. Амины!

Маралуха еще бежала, гонимая ужасом. Трещали сучки под ее стремительными ногами. Но вот шаги ее стали замедляться, треск и шелчки прекратились. Она остановилась, помолчала, чутко вслушиваясь в ночь. Чуть-чуть прошлепала губами, призывала дитенка.

Никакого ответа.

Она позвала еще раз — громче, тревожней.

Ждала минуту, другую, от нетерпения переступая с ноги на ногу. И вдруг закричала на весь лес так дико, что даже у человека покорило спину, и он занес руку перекреститься.

Шорох приблизился.

Мать еще не теряла надежду отыскать и дозваться мараленка. Она кружилась возле солонцов и, прищелпывая губами, настойчиво звала его. Шаги ее, то медленные, крадущиеся, то нервные, стремительные, доносились отовсюду. Можно было подумать, что вокруг солонцов мечется несколько зверей.

От гнева и страха дрожали у маралухи ноздри, все мускулы были напряжены. Она останавливалась, смотрела, слушала — не выскочит ли быстроногий детеныш, не побежит ли навстречу ей. Она переваливала язык, готовый облизать дитя от кончиков ушей до светленьких копытцев.

Тишина.

Был гром, а теперь тишина.

Медленно, как бы пробуждаясь от душевного сна, дышал лес, и между ним просочились только ей слышные струи воздуха, а вместе с ними страшный запах крови. Маралуха снова пронзительно крикнула и заметалась возле солонцов.

— Э-э, чтоб тебя, худая немочь! — свирепым шепотом бра-

нился человек, напряженно всматриваясь в предрассветную мглоу.

Луна скрылась.

Небо заволокло тучами, а может, и дымом.

«Или дождик будет?» — постарался отвлечься Амос, но слух его был напряжен до предела.

Невыносимо тяжело сидеть.

Пошевелиться бы.

Суставы, шея, все оостамело от неподвижности, а маралуха не подходит. Мечется, будто безумная. «Что как бросит? Вот тогда и выгадаешь, рябой ирод!» — побранил себя Амос.

Сделалось свежей.

Влагой потянуло в отверстие дупла.

«Будет, будет дождь, — радовался Амос. — Раньше бы требовалось. Ну, ну, чего же ты, язва, плясешь? Иди же, иди!»

Надоело ждать.

Снова, как в молодости, в ту первую охоту, одолевало желание садануть из ружья, чтобы чертям и тем тошно сделалось. Но он уже не тот сосунок, чьего духу не хватило даже на полночи. Последним усилием он заставляет себя сидеть неподвижно. Выдюжит, непременно выдюжит. Но уж тогда он резанет эту комолую скотину, резанет.

Далеко за обезглавленным великаном-деревом, должно быть кедром, порозовела кромка неба, стали видны облака.

Амос с ликованием воззрелся на них.

Давненько он не видел ни одного облачка на небе. Клочками старательно расчесанной кудели несмело напозлали они из-за гор, гасили звезды. Коснувшись розовенькой полоски зари, вспыхивали по краям, бездымно таяли.

И вот когда уже посветлело полнеба, когда из леса поспешно потекла темнота, высвобождая одно по одному деревья, кусты, пни и валежины, мать, не таясь больше, с гордо поднятой головой вышла из леса и рванулась к лежавшему на поляне мараленку.

Амос не допустил ее близко. Стиснув зубы, он выстрелил в отвислую грудь коровы и, когда она стремительно метнулась, ударил еще раз вдогонку — это уже со зла.

Вместе с пулей вылетело зло.

Залихорадила, затрясла охотника радость.

— Пришла, пришла, голубушка! — приговаривал он и с удовольствием слушал хриплый от долгого напряжения голос. — А ты думала человека перехитрить! Не-ет, человек, он...

Амос болезненно охнул, пытаясь выбраться из дупла. В ноги вонзилось множество иголок, будто ими переполнены ичиги. Дрыгнул ногами, пошевелил головой, руками, разгоняя кровь, — едва расходился.

— Вот ведь до чего довела! И надо же такую охоту выдумать?! Тыфу! Только с голоду да поневоле и стерпишь.

Выполз на поляну, полной грудью вдохнул хвойный воздух, тронул ногой белобрюхого теленка, ухарски сдвинул на



глаза шапчонку Амос и, ухмыляясь довольно, пошарил в за-  
тылке:

— Сейчас мы тебя, милоч, распотроши-им. Вот посмотрим, где сама, и распотрошим..

Как бы ни была смертельна рана, марал, какой-то неведомой силой, наверное, даже не силой, а остатним вздохом, последним рывком всегда чутко напряженных мускулов делает бросок. Иногда сил хватает пройти еще двести — триста сажен, но он никогда не падает там, где его ранят.

Отыскав следы маралухи, на которых рядками клюквы рассыпалась кровавая потечь, Амос удовлетворенно потер руки:

— Далеко не уйдешь! Сыщу!

Он закурил, судорожно закашлялся:

— Ну и... о-о... кха!.. охота! Мать ее так! Кха-кха! Дыхало  
вс... кха-кха... сперло...

Наконец он прокашлялся, отдышался, снова торопливо выплюнул слова «Начала» и принялся свежевать мараленка. Одним махом умелого крестьянина, сызмальства привыкшего забивать и обрабатывать скотину, он развалил мяконький живот. Ноздри Амоса алчно запульсировали.

— Ах, мясо-то! Мясо! Нежно, пахуче! И жирен, чертенок! Жире-он! Заботлива мать была. В бескормном лесу еду находила! Нагулял жиру, нагулял. А сама небось тоща. Вечно так: в теле мать — дети тощи, в теле дети — мать костями стучит. Ну, с удачей тебя, Амос Фаефаныч! Будут и денежки и свежинка!.. Пофартило! А ты, Культия, паси теленка-то... Х-хы, простота! С твоей бы сноровкой озолотеть можно! Умна голова, да дураку досталась!..

Знал Амос: худое, пакостное дело учинил он, и вот пытался охальными словами, как камнями, завалить сосущую тревогу в сердце, пытался ухарем представиться и убедить себя в том, что он, а не кто иной, прав. И плевать ему теперь на все и на всех! Плевать, и только!

Он выбросил кишки теленка прямо на солонцах, отрезал ноги, голову, бросил здесь же. Запакостил солонцы, но ему на них больше не бывать. Медведь явится, сожрет. Какое дело ему, Амосу, до того, что там, где побывает медведь, может быть, год или два не появится марал. Ему, Амосу, теперь дай-бог вытаскать мясо к лодке да незаметно, желательно в поздний час, приплавить его в деревню.

А там!..

— Там — «Амос Фаефаныч, пособи! Амос Фаефаныч, выручи! Амос Фаефаныч, за ценой не постоим!»

И Амос Фаефаныч выручит, лишка не возьмет. Он не шкуродер. Придет время, односельчане и его выручат, подсобят на пашне, помогут с мельницей.

Есть у Амоса думка свою мельницу поставить. Ух, тогда держись! Потечет хлебец! А Култыш пусть бережет теленка-то! Пусть! Без штанов на этом свете жил, без штанов и на том свете перед непорочными девами явится...

Закипела вода в котелке.

Самое нежное мясо выбрал Амос — грудинку с молодым хрящиком. Нетерпеливо тыкал он палочкой в мясо, судорожно сглатывал слюну. Не выдержал искушения, махнул рукой и сам себя урезонил:

— Горячо — сыро не бывает! — И поспешно схватил подолом рубахи дужку котелка.

Тут же у огня, громко чавкая, жевал, давился круто посоленными кусками мяса. Ел без сухарей. Чтобы мясо скорее стыло, вывалил его на зализелую от сухости траву. По губам Амоса, треснувшим от жары, и по грязным, тоже потрескавшимся пальцам стекал жир. Амос облизывал пальцы, мурлыкал:

— Славно! Ах, славно! Не уварилось мясо-то, ну да в брюхе доварится... Житье! Ей-бо!

Вспомнил Култыша, злорадно рассмеялся: «Спасибо за убоинку!» Стел все мясо до последнего хрящика, попил жижи из котелка через край, с рокотом икнул, кинул двуперстием крест у рта и вытянулся возле затухающего огонька.

Дремота навалилась сразу, но мухи облепили лицо, замазанное жиром.

— Ф-фу, язвы! — закричал Амос, отгоняя мух, и недовольно поднялся после благодушного потяга. Звонко треща суставами, собрал куски мяса в мешок и, преодолевая сытую разомленность, двинулся на поиски маралухи.

Прошел Амос двести—триста сажен — нет маралухи. Недовольно пофукал носом и последовал дальше. Примятая трава, выбитый мох и багровые капли вели в косогор.

— В гору не уйдешь! Вот уже выдыхаешься! — обрадовался он, заметив шерсть на корявом стволе расколотой зимней стужей лиственницы. Во время остановки наваливалась маралуха на дерево.

Однако миновал Амос одну гору, другую, а следы вели все глубже и глубже в тайгу. Крови на следах становилось меньше. Лишь изредка мелькали маленькие кляксочки на листиках, на траве либо на невзрачном желтеньком цветке с грозным названием «зверобой». Вот ключик лесной.

Возле него корова лежала, отдохнула.

— Напилась, напилась ведь, подлая! — взвыл Амос, зная по рассказам бывалых охотников, как живительно действует водичка на раненого зверя, у которого огненный пал бушует внутри.

Еще седловину одолел Амос, прислушался — ни единого звука не слышно. Тайга как будто притаилась.

Устал Амос, изнемог.

С трудом собрал дровишек, развел костер, поставил котелок с мясом, но так и не дождался, когда оно сварится, уснул.

Спал долго.

Проснулся, когда уже совсем ободняло.

Жадно набросился Амос на переварившееся мясо. Вода из

котелка выкипела, и подгорелое мясо похрустывало на зубах.

И в этот день не нашел Амос маралуху.

И без того встревоженное сердце будто иглой боярки царапнуло:

— Да какая же нелегкая тебя тащит? Все одно ведь не уйдешь! — ворчал по-домашнему однотонно, словно бы на ребятишек, Амос. Но уловка не удавалась, страх вошел в сердце, когтями впился в него, хотя Амос в этом себе еще не признавался.

Ночью не спалось.

Расстроился желудок, и он несколько раз отбегал в ближние кусты. «На тощее брюхо недоваренного мяса нажрался! Башка еловая!» — запоздало ругал себя Амос.

Утро наступило хмарное.

Погода явно налаживалась перемениться. Небо сплошь затянуло тучами. Дождь собирался трудно, как бы все еще не решаясь залить лесные пожары, окропить изнывающую от зноя землю.

Амос торопился.

Понимал мужик: пройдет дождь — зверя ему не найти. Смоет следы маралухи, а он ведь не Култыш. Тот умеет каким-то своим особым нюхом отыскать в тайге все, что ему требуется. Тайга для него что собственный дом и двор для Амоса, где известно хозяину все, вплоть до ржавого гвоздя, вбитого в стену бани для лошадиной уздечки.

Разом возникла горбистая, обожженная грива. На земле мох, на деревьях мох, на валежинах мох, и даже на ржавых камнях проплешистый ядовито-зеленый мох. Лес наполовину сух. По моху сплошная россыпь чуть закрасневшей брусники, и сизым, едва-едва заметным дымком подернулась круглорылая черника. Тих лес. Мох скрадывает все звуки, глушит шаги.

На гриве маралуха стала делать лежки.

Амос облегченно перевел дух.

Теперь все! Он скоро настигнет корову и с каким же удовольствием всадит ей еще одну пулю! На ходу Амос наклонялся, обдаивал пальцами брусничник и высыпал упругую ягоду в рот. «Чего-то весь живот ожгло, может, от ягоды полегчает?»

За гривой, в темно-зеленом лесу, змеилась, петляла, как пьяная, шаталась из стороны в сторону речка.

Амос осмотрелся.

Речка показалась знакомой.

Он хлопнул себя по бедрам:

— Да ведь это Серебрянка! Вот зануда корова, бродила, бродила и снова к солонцам подалась. А того не возьмет в разум, что сосунок-то ее в сумке следом за ней ходит...

Маралуха пошла вниз по речке.

Она часто пила, видимо, не решалась удаляться от воды.

Амосу уже несколько раз чудилось, что он видит ее, медленно продирающуюся сквозь заросли, слышит вроде бы хрип-

лое дыхание. Он хватался за ружье, спотыкаясь, бежал в кусты и обнаруживал там лишь свежие, расплзающиеся следы.

Наконец он увидел маралуху на маленьком мысочке, усыпанном белой галькой. Как пила мать из речки, припав на колени, так и умерла. Голова ее с открытыми глазами упала в воду, и речка, натываясь на запруду, по-щенячьи урчала, обсасывая белый, вывалившийся язык.

— У-у, падла! — пнул Амос маралуху в куцый зад с нежными подпалинками.

Маралуха чуть посунулась в речку. Замусоренная сожженной листвой, шишками хмеля, веточками и сухой ягодой вода рванулась валом.

Со злобой выхватил Амос корову на берег. И хотя ему нездоровилось, он решил сегодня же уйти к Онье.

Прежде чем обихаживать маралуху, Амос полежал на обмысочке. В шерсти и в разъеденных комарами ноздрях коровы уже копошились мелкие муравьи. Присаживались на нее паузы и слепни. Потыкавшись жадными до крови носами, они с недовольным жужжанием отрывались от маралухи и набрасывались на Амоса.

Живот коровы был светленький, в пушистой шерсти.

Маленькое вымя матери сморщилось, соски посинели. Поморщился Амос, глаза отвел и с приторным равнодушием зевнул. Но его все-таки стошнило. Губы мужика передергивало ознобом, бурлило в брюхе и завывало так, будто там делили добычу голодные коты.

С кряхтением и охами Амос ощупал живот. «И чего это со мной содеялось?» — думал он, спеша за куст.

— Нажрался, нажрался мяса-то жирного, духовитого! — забарабанил Амос в свой костистый лоб с провалинами на висках. — Кобель беззубый, до старости дожил — ума не нажил! Шутейное дело — в тайге захворать!..

С трудом ободрал Амос корову.

Превозмогая слабость, сделал лабаз на дереве и поднял туда мясо. В мешке он оставил немного телятины и добавил к нему мягкий кусок от маралухи. «Первая ноша должна быть невелика, — так рассудил Амос. — Вот когда дорогу покороче к Онье сделаю, разомнусь, хворь одолею, глядишь, благословясь, перетаскаю всю добычу».

Можно бы, конечно, за мужиками сплавать. Найдутся сейчас такие, что даже с чужих солонцов согласятся поживиться, но больно артельно получится, делить надо. И тогда прости-прощай мельница на долгие годы. «Нет уж, как-нибудь сам справлюсь. Сам мясо переправлю, сам раздам, пожалуй, раздам вовсе бесплатно — народ оплатит потом мне за щедроту усердием и почтением. И мельницу люди миром соберут». Это будет единственная мельница на Онье. Изю всех деревень зимой потекут к ней обозы с зерном. Примол знатный будет, а если с умом поставить жернова да небольшую, совсем маленькую утку муки подладить, вовсе в хлебе купайся. Вот тогда дай бог

год, на нынешний похожий, — не одну деревню обротаает Амос Фаефанович.

Обламывая коричневые, как ореховая скорлупа, зубы, Амос упорно разламывал плесневелые сухари, а сердце млело от сладостных мечтаний. И только боль в животе отравляла хорошие думы.

«Какая-то трава ведь есть от живота или корни? — пытался вспомнить Амос и не мог вспомнить. — Кулья, тот бы сыскал. Надо было, пожалуй, вместе с ним. Но он опять за так раздал бы мясо, развеял бы добро по ветру. Да и не сговорить бы его. Ему теленочка жалко. У-у, вшивец!»

Злые, шальные думы наползают на сладостные мечты. Че-харда в голове Амоса. Страх его разбирает. Он бредет пошатываясь, а котомка за плечами делается все тяжелей и тяжелей.

Остановился Амос на изгибе речки, брови на переносье собрал, пососображал туго и вынул кусок мяса, бросил его в омут, под корни черемухи. На черемухе метку топором сделал.

Но легче не стало.

Схватившись за живот, тащился Амос.

Впереди него возникла мокрая от ключей скала, густо заваленная ветровало, заросшая волчатником, малинником, кипреем, горной сиреневой ромашкой, ярко-красными саранками, примулами и прочей благодатью. За этой густой-прегустой зарослью сухой распадок. Свет от него небесный струится, ровно бы камни голубого цвета, да и в траве тоже кое-где голубеют камни. «Вовсе извела хворь — уже синё в глазах», — ужаснулся Амос и еще раз глянул на голубое ущелье, поморщился: обходить придется.

Речка, пожурчав в непроходимой дурнине, которую даже пожар обошел, заползла в гиблые овраги, где-то раз-другой проворковала и вдруг замолкла и куда-то делась. Козырек бровей вовсе скрыл воспаленные глаза Амоса. Догадка щемящей волной пошла от самого сердца, хлестанула в его голову, и он бессильно уронил руки:

— Да ведь это не Серебрянка!

Подскочил Амос, воямился в переплетенные заросли, кувырнулся в овраг, упал, оцарапался.

Ветви жалицы, малинника хлестали его по лицу, но он карабкался из оврага, попал в безмолвный распадок. Уже не боясь змей, хватался за голубые камни, с шумом ронял их.

Вот и вершина.

Откуда только сила взялась — так быстро вымахнул Амос на нее. Соскользя, ринулся вниз, чуть не наступил на затаившегося барсука, вздрогнув, послал вслед ему проклятие.

Скалы предостерегающими перстами маячили в вышине, и от каждой из них сочились, били ключи, но речки не было.

Унырок!

Подлая штука этакая речка — лесная колдунья. Бежит

она себе по тайге, заманивает, а потом раз — и нету! Зарницей мелькнула и угасла.

Затравленным зверем метался Амос между скал, отыскивал выход унырка. Он уже забыл про котомку, не чувствовал тяжести. Даже эта нудная судорога в желудке на время прекратилась. Где-то обронил топор, порвал стеганный шабур, но все еще бежал, выкидывая длинные ноги.

Речки не было.

Амос, задыхаясь, вскарабкался на крутую седловину. Огляделся. Тайга. Кругом тайга, тихая, угрюмая и настороженная. А над нею клыкастые скалы. От тишины в ушах звенело. Он икнул, тошнота подкатила к горлу, захлестнула дыхание.

— Завела! Завела-а-а! Оборотень — не корова! — схватился за голову Амос, и забились сумка на его спине, будто в ней ожил теленок. Голос Амоса сделался тонким. Уже без слов, с отчаянием и обреченностью он разрубил таежный покой воплем: — А-а-а!

Тучи опустились низко.

Лес помрачнел и глухо зашумел. Неуверенно, как бы примериваясь, тронули сухую, шуршащую траву первые капли дождя. Дождь приближался, наступал из глубины тайги чуть слышными шажками.

— Слава тебе, господи! — умильно пропел Амос, обессиленный слезами, и повернулся лицом к небу.

Глаза, щеки, лицо защекотали мелкие капли. Лохмы туч набрякли, потемнели, собираясь с силами, коих хватило бы залить пожары, омочить исстрадавшиеся леса, оживить то, что еще не успело умереть.

— Боженька! Ты ведь добрый! — неожиданно для себя завел Амос. — Вот дождика послал и без грозы. А после такой жары вон какие грозы бывают. Так помоги и мне. Ну, чего тебе стоит, выведи!.. Либо болезнь утихомирь...

И, чувствуя, что нет у него никакого права на такую просьбу, Амос замолк, в душе проклиная себя.

Тайга шумела слитно и величаво, расправляя широкие плечи. Каждая веточка, каждый листик, каждая былинка, каждый цветочек распрямлялись, подставляя свое исхудалое тельце живой благодати. Знойное оцепенение спало, кругом слышался умиротворенный шепот.

Тайга начиналализывать раны, и никакого дела ей не было до человека, распластавшегося у ее ног.

Слушал Амос, слушал с закрытыми глазами эту пробуждающую жизнь и понял: никто — ни всевышний, ни эта заново ожившая тайга — ему не поможет.

Он встал, прикусил губу, заглушая стон. Голова кружилась.

В горле и во рту горькая сухость. Упрямо выгнулся вперед мужик, точно боднуть кого прицелился, и двинулся длинной одинокой тенью по лесу. Прошагал немного, остановился,

прислушался к животу: гнетет, тянет. Одышка появилась, жар волнами ходит внутри. Развязал Амос мешок, подержал в руках мягкий розовый кусок мяса, страдальчески покривился и бросил его в сторону. Отошел немного, вернулся, намереваясь забросать мясо ветками, хватился — нет топора. Тогда он безнадежно вздохнул и заковылял дальше.

Ноги Амоса заплетались, но он не позволял себе лечь. «Главное — идти, главное — не садиться», — стучала в голове одна мысль. Он неуклюже полез через колодину, упал с нее и расслабленно подумал: «Верно, уж больше не подняться...»

Поискал глазами воды, но ее поблизости не было.

Земля жадно впитывала влагу.

Амос пососал сырой мох, стряхнул на лицо капли с нижних веток пихты и забылся, чуть посунувшись под валежину. Несколько раз просыпался, пытался встать, но руки подламывались, долило к земле.

Он надолго утих.

Очнулся от холода. Все на нем промокло. Заохал, сел — из глаз мухи полетели, во рту горечь, как с похмелья, в голове звон, что-то призрачное кружится перед глазами. Вот ровно бы человек мелькнул, вот прынула в сторону маралуха, вот зажурчало, полилось на него. Нет, мимо куда-то, в провальную пустоту.

— Пить! Пить! — открыл рот Амос, стараясь поймать этот стремительный, оглушающий поток, который зыбал, качал его, мчал на огненно-жгучих волнах неведомо куда.

На секунду Амос очнулся, облизал влажные от дождя губы. Шум не прекращаясь. Где-то совсем близко метался поток. Он звал, он требовал, чтобы человек поднялся, пришел к нему, упал бы в холодные волны и поплыл, поплыл...

Срывая ноги, Амос хватался за ствол ближнего дерева.

Поднялся.

Шагнул.

Ноги переламывались в коленях. Он шевельнул испекшимися губами, творя несвязную молитву, и побрел от дерева к дереву, как пьяный. Обхватывал стволы, прижимался горячей шетинистой щекой к холодной коре, подолгу отдыхал.

Дождь измельчал и сеялся, сонно шурша по задумчивой, разломленной тайге. Сумерки незаметно смешались с дождем.

Приближался вечер. И эта напользающая со всех сторон темень сдавила, стиснула Амоса. Он воздел руки к небу:

— Уверую! Навсегда уверую! Только помоги!..

Глухо и равнодушно шумела тайга.

Шум ее вместе с темной надвигался на человека. Вспомнил он что-то и, уже обращаясь не к небу, а к этой зловеще настроенной тайге, запричитал:

— Тятя! Тятенька! Прости меня, окаянного! Прости-и-и! Фаефан Кондратьевич, родимый, для деток, внуков твоих сердешны-ы-ых! Култыш, брательник, выручи! Тебе не впервой за зло добром платить! Каюсь! Каюсь! Каю-у-у-усь! — Бился лицом

Амос о шишकाстый корень дерева, целовал его, а гайга шумела все так же слитно и могуче. Она сомкнулась, вовсе затемнела, и эта стена, из которой не было выхода, все надвигалась и надвигалась на человека.

Сам не зная, что делает, подгоняемый страхом и жаждой жизни, Амос ночью пополз куда-то и внезапно услышал голос родника. Он по-сумасшедшему, с клекотом в горле захрипел, всхлипнул, заслышав этот живой голос, и рванулся к нему.

Долго мочил голову Амос в холодной воде, облизывал стекающие на губы струйки, соленные от слез, и трясся в покаянном плаче.

— Господи! Помог, помо-ог! Милостивец! Тятя простил!

Ружье и котелок Амос давно уже потерял. Холщовый домотканый шабур изорвал в клочья. В лохмотьях, в ичигах, раскисших от воды, свернулся трясущимся комком возле живого родника и впитывал его сердцем, головою, всем своим нутром, радовался его голосу, как ничему в жизни еще не радовался.

Шуршал дождь.

Было то тихо, то ветрено.

Сияло солнце и скатывалось за горы.

Звезды протыкали ночь. Выплывала луна с подтаявшим боком. Амос силился что-то вспомнить и не мог. Все перепуталось, стерлось и поблекло в памяти.

Где-то за вершинами леса приходил и уходил рассвет, а он все лежал и лежал, уже безразличный ко всему, даже к говору родника, лежал покорный, смирившийся, то просыпаясь, то впадая в забытье.

С трудом открывая глаза, видел Амос над собой по-братски обнявшуюся тайгу. И думалось ему, это она, тайга, не пропускает слабый шепот его до неба, до Спасителя. Это она душила его, забрасывая колючими холодными лапами, и слой этих лап делался все тяжелей и толще, и втискивал он его в землю, давил грудь, что каменная плита.

А лес все шумел, накатывал волнами, как бескрайное море-океан, всесильный, неумолчный и вечно живой.

—

\* \* \*

В тот день, когда на Вырубы наконец-то полил дождь и во всем — в природе, в деревне, в людях — наступило благодатное облегчение, Клавдия, не глядя на Култыша, сказала ему:

— Надо искать самово.

Култыш на это сердито отрубил:

— Я его в тайгу не посылал. — Схватил полушубок и подался на сеновал.

Как бы ненароком, Клавдия забрела туда, выбрала из гнезд яйца, поправила на жерди веники и снова заговорила, обращаясь к Култышу, который делал вид, будто уснул:

— Детишки ведь у нас, Култыш.



Охотник резко приподнялся, отодрал от щеки лист и твердо отчеканил:

— Я не посылал его в тайгу грézить!\*

Губы Клавдии дрогнули. Сморщился подбородок, ямочка на нем сдвинулась вбок, и сделался он похож на дряблую репу. Клавдия разом подурнела, и стало видно, что она все-таки баба, самая обыкновенная баба.

— Зачем было тогда болтать про эту Серебрянку? Зачем?

— Вытянул он у меня секрет самогонкой. Как удой, вытянул. Иуда он! — Култыш встал, отряхнулся и резко продолжал: — За это знаешь что бывает?

Да, Клавдия знала, что за это бывает, — самосуд! Смерть. Неписанный таежный закон оберегал охотников от воров. Закон этот был жесток и неумолим, как и сама жизнь охотников. Он давал право жить и охотиться только тому, кто знал тайгу, умел, когда требовалось, трудиться до последнего вздоха, гнать зверя до того, что в глаза наливалась кровь и сердце отказывалось работать. Нет большего преступления, чем обокрасть охотника, лишить его добычи.

В кожаных сумках через перевалы и буреломы носит дорогую соль охотник, года два-три приваживает зверя, чтобы потом добыть его, и вот найдись человек и убей этого приваженного зверя, ограбь охотника, лиши его еды. «Вору в тайге нет места. Вору в тайге смерти!»

Клавдия знала это. Она спустилась с сеновала, долго плакала, прислонившись к деревянному косяку. Выплакалась, загремела коромыслом, дала затрещину одному из сынов, подвернувшемуся под руку, и тот заревел на весь двор.

Култыш слышал, как она ворчала, называя кого-то кибасом\*\* на шее, «жадиной», который хватает, хватает и подавиться не может.

«Это о муже», — догадался Култыш.

Дальше пошло о нем:

«Сидел всю жизнь в гайге сиднем, миловался с тайгой, целовался с пеньями и сам как пень стал — ни сердца, ни разуменья. Пришел, взбаламутил...»

Култыш крикнул, начал шарить в кармане, отыскивая трубку. Не переставая ворчать, Клавдия выхлопала холщовый мешок, зашила его. Надела мужицкие штаны, старые ичиги, подвязалась платком, сунула за пояс топор и распахнула двери сарая.

— Слышь, ты! — крикнула она громко: — Домовничай тут, а ружье мне дай!

Култыш приподнял голову. В светлом квадрате ворот стояла Клавдия, коренастая, крепкая, решительная. И лицо ее было сейчас совсем не такое, что видел охотник всего час назад. Неподдельной, уже зрелой, утвердившейся красотой и

\* Грézить — делать что-то нехорошее.

\*\* Кибас — грузило у сетей.

статью всяло от этой женщины, немного омужичившейся в трудах и заботах.

— Ладно, не дури! — буркнул Култыш, спускаясь по лесенке. Он знал, что дикáя пойдет куда угодно, чтобы выручить пусть постылого, но все-таки живого человека из беды. — И сама пропадешь, и дегишек осиротишь, — бубнил Култыш, пытаясь стянуть мешок с ее плеч.

Клавдия отстранилась.

— Ружье давай! — и прибавила: — Не думала, что ты такой злопамятный!

Култыш понял намек, смутился.

— Не дури, говорю, — уже испуганно твердил он, — что тебе тайга-то, коровий выгон? Один дурак забрался в нее, и ты туда же?

— Не твою ума дело! — отрезала Клавдия. — За то, что он таежный закон нарушил, — казните, но в лесу бросать человека никакой закон не дозволяет. Да и голод его туда погнал. Голод! Разумей это. А-а, где тебe! Ружье дашь или нет?

— Заладила: ружье, ружье! Чего ты с ним, с ружьем-то, делать станешь?! Это ведь не помело! — недовольно брюзжал Култыш. — А что касася голода, так я тоже не без сердца, хоть и пням молился. Но он опередить меня решил, покорытиться на беде людской. Вот и кукует теперь в лесу.

Култыш натянул засохшие ичиги, проверил в патронташе заряды, забрал свою суму и двинулся со двора. Клавдия догнала охотника возле ворот, сдернула кожаную суму с его плеч.

— Куда без сухарей-то?

— Я без еды в тайге не буду.

Клавдия не слушала. Она пересыпала из своего мешка сухари в суму Култыша, бросила узелок с солью, смягчилась:

— Ну, с богом! — Хотела еще что-то добавить, да отвернулась. — Ступай уж! Бабий язык и бабьи слезы в деле не помеха...

Култыш скосил на нее светлый глаз, чуть покачал головой на прощанье и спустился к речке.

\* \* \*

Он пришел на серебрянские солонцы лишь ему ведомой дорогой, потратив на переход от Оньи часа два, не больше. И все время дивился он на Клавдию. «Гляди, как расходилась! Гляди, какими словами оглоушила! Баба она справедливая. Пожалуй, справедливей ее и не встречал никого. Только покойный отец...»

Долго стоял Култыш среди обезображенных солонцов, навалившись грудью на палку, насупив усохшее лицо, и наконец горестно выдохнул:

— Враг, ты и есть враг! Покойник-батюшка зряшных слов

не говорил. И понапрасну тебя жена защищает, по слабости своей бабьей...

Собрал Култыш изъеденные горностаями кишки мараленка, унес подальше и закопал. Кострище тоже убрал, все до уголька. Непростительно намял в пригоршне семян морковника, побросал их на выжженную плешинку.

Ночевал Култыш уже далеко от солонцов.

Дождь смыл следы маралухи и человека. Но охотник по каким-то лишь его глазу приметным следам отыскал первую остановку Амоса. Утром вскипятил чайку, размочил сухариков, посолил варево покруче и выхлебал.

В тайге стоял туман, первый в нынешнее лето. Все — и лес и земля — уже влопсаль наполнилось влагой. Тайга дышала спокойно и глубоко. Дым от оюнька стелился низко, головни чуть слышно шипели и пощелкивали. Пихтач посизел от сырости, на колючих ельничках, на самых макушечках остроносых шишек дрожали крупные капли. С длинных игл кедровника, духовитых и мягких, скатывались росные дробинки в седой мох. Лиственницы распустили мягкие зеленые кисточки и сомлело замерли, боясь шевельнуться. На мхах бездымно горели кисти брусники, и сплошь пятали землю блестящие от росы разноцветные грибы сыроежки. Покой в гайге. Благодать!

Култыш остатками чая залил огонек, с кряхтеньем просунул руки в лямки сумы и двинулся дальше, шаркая ичигами, моховыми от росы. Иногда он останавливался, наклонялся и, точно читая какие-то письма, в силу стародавней привычки вел разговор с самим собой:

— Эх ты, охотник — горе луково! Вот ты лежал, а вон в ста саженьях — корова. Она тебя все время видела, а ты ее нет, потому как глаза тебе дадены завидующие и оттого незрячие. Медведя бы на тебя стреляного, на сукиного сына. Он бы у какой-нибудь колодины сереб тебя, показал бы, как с открытым хлебалом зверя преследовать...

В том месте, где Амос хватал недозревшую бруснику горстями, Култыш на минуту задержался и укоризненно покачал головой:

— А зеленцу-то не надо бы есть, лучше бы в кипяточек ягоду бросить, а разумней того — марынного корешка выкопать — это ж напервейшее средство от живота... Эх, люди! Где вы только выросли?

Здесь же, на брусничнике, Култыш спугнул выводок рябчиков и, чтобы не разогнать их совсем, рассуждал уж молча: «Вот и птица возвращаться в гайгу стала. Жизнь-то, она непоборима, не-ет, брат, ее не застрелишь, не выжгешь огнем-полымем. — Охотник приложился, сбил из ружья молоденького рябчика, припавшего к сучку. — И похлебку нам тайга-матушка сподобила».

Совсем близко чифиркнула рябчика, собирая рассыпавшийся выводок. Култыш сказал ей:

— Все, все, боле не трону. Боле мне не надо!..

Было еще рано, и вполне хватило бы времени до темноты минут переждать, но, видно, устал тасжный бродяга. Приготовил он дровец на ночь, под бок пихтовых лапок набросал, портянки возле огня погрел, обулся и долго лежал возле огонька, посасывая трубочкой.

Думал. В дремоте, как в крупноячейной мереже, путались, лезли одно на другое видения разные: вот отец Фаефан Кондратьевич манит, зовет. Он в последнее время почему-то чаще и чаще всплывал перед Култышом. Должно быть, свидается скоро.

Пригрело ногу, накалился кожаный ичиг. Не открывая глаз, отодвинулся Култыш. Клавдия выплыла из зыбучего сна, молодая, в белом платье, со стародубом, уронившим голову. Такой, и только такой, она виделась ему всегда. Ведь до самой той минуты, до ледохода, она была в его мечтах и помыслах. Его нареченная... Наверно, тоже родились бы у них дети — двое. Два сына. Нет, сын и дочь. Нет, лучше много сынов, много дочерей.

Тайга...

Утром Култыш едва разломался. Глянул на небо — светло. «Провалился, старый лодырь. Спешить теперь надо. Но должен же я чаю попить или нет? — злился он неизвестно почему. — Без чаю куда я годеи? Обессилею вовсе...»

Скипятил чайку с брусничником. Пил. Откуда-то издали смотрели на него гневные глаза:

«Злопамятный ты!» Выплеснул чай Култыш, сердито бросил котелок в суму и подался в гору.

За перевалом он наткнулся на лабаз, приюхался — мясо уже припахивало. Он перетаскал маралину в речку, смыл с нее слизь, и, отыскав холодный ключ, сложил все куски в воду. С собой он не взял ни одного куска, только хитро усмехнулся, поцарапав рогулькой левой руки переносье. Пошел вниз по речке.

Возле черемухи с меткой вынул из воды большой кус вымытого до белизны мяса и буркнул:

— Чего, Амосушко, тяжко краденое-то?

И снова сердитый голос, рядом, за деревьями, совсем близко: «Голод его погнаи, голод! А-а, где тебе...»

Плюнул с досады Култыш. Отрезал кусок мяса, поставил варить. Стараясь отогнать душевную смуту, пытался думать о чем-нибудь другом и не мог.

Тем временем сварилось мясо. «Чье мясо? Ты что думаешь, тайга только для тебя сотворена?»

— Тьфу, нечистый дух! — плюнул еще раз Култыш и без всякой охоты поел. Долго потом выковыривал былинкой что-то из нескольких уцелевших зубов, глядя на голые утесы, вздыбившиеся среди тайги.

Там унырок.

Там голубые камни — богатство земное.

Дальше этого места Амосу не уйти. Лежит, поди, охотничек.

помощи ждет и крестится со страха, видя кругом голубое сияние.

В неприступный уголок упрятала тайга голубой камень — красу земную. Два человека знали это место — отец Фаефан Кондратьевич да Култыш.

Незадолго до смерти привел его сюда отец, показал голубые камни, плиты, валяющиеся в распадке унынувшего в землю ручья, который в давней давности, как и все речки, тоже бежал по земле, кроил горы и утесы.

— Небесный камень. В городах мрамором его называют, — сказал Фаефан Кондратьевич и, вздохнув, добавил: — Вся гора голубая. Тайга мохом, оврагами да ветровалом и бурьяном заслонила ее от людского глаза...

Поднял Култыш плппочку — не камень это, а осколок весеннего неба, нежно-голубой с блестками звездочек. Рукой погладил — что льдинка гладкая, холодная.

И сотворится же такое чудо!

А Фаефан Кондратьевич рассказывал, как в солдагах служил и стоял однажды караулом в губернаторском доме. Какие-то бунтовщики бомбу в царя запустили. Губернатор тоже испугался и огородил свою персону военной силой. Там, в губернаторском доме, Фаефан Кондратьевич видел колонны из камня, и тот камень мрамором звался. Только был он коричневого цвета с белыми полосами. Куда тому камню до небесного!

Потом на каторге он повстречался с «бунтовщиками» и многое от них узнал. Бесстрашные они были люди, но телом жидки. Не выдержали каторги, многие сломились, поумирали.

— И мой тебе наказ, — говорил Фаефан Кондратьевич. — Как наступит время, пойдя к людям и укажи им небесный камень. Пусть пользуются для радости. А пока в тайге оставайся. Кость хрупкая у тебя — изломают. Тут ты царь, там рабом станешь.

«Без малого тридцать лет прошло с тех пор. Лежит небесный камень, ждет часу своего. Дождется ли? Лежит камень, и я возле него караульщиком. Олешачился вовсе, уж не пойму, что к чему. Вон Амос таежный закон нарушил, а меня Клавдия виноватит. Чья же правда-то? Чья? Люди ведь зверей всякого зверя».

Загорюнился Култыш. Глаза его повлажнели, как у пьяного. А тайга кругом перешептывалась, словно бы успокаивала охотника: «Не расстраивай себя, Култыш, иди в лес, иди глубже, дальше, утешься...»

И охотник шел. Медленно шел, сгорбившись, с опущенной головой. Неладно было у него на душе.

Но вот Култыш поднялся к унырку, вскинулся, охнул:

— Вовсе заблудился охотник-то! Вот те и на!

Быстро-быстро засеменил Култыш, хватался за кусты на крутом спуске, скользил и, как бы оправдываясь, бормотал:

— Влево, влево забирать надо. Это же Малая Серебрянка. А во-он гора плешатая, там тебе Малая Серебрянка с Боль-

шой стекаются. Из горы из этой выныривает — и здорово живешь! Н-да, худы твои дела, Амос, худы! Тайга — клад, но с чистым сердцем надо к нему притрагиваться...

Недалеко от унырка ушел Амос — всего несколько верст. По кругу метался.

Култыш обнаружил его возле родника. Лежал Амос кверху лицом с широко открытыми остекленелыми глазами. Щемило и стискивало сердце Култыша, когда он стоял над сводным брагом. Тяжелая дума давила охотника, скорбно томила душа. Пропал человек, пропал дешево, бесславно. Разве для этого он рождался?

В одном глазу Амоса, как бельмо, отражалось белое облако, а в другом, словно в зеркале, неподвижно стояла вниз вершинной темная ель. Губы покойного были зелены. В горсти зажат пучок травы. Должно быть, в свой предсмертный час Амос, как собака, ел траву, еще цеплялся за жизнь.

Култыш зашпиновал сначала правый, потом левый глаз Амоса, сложил окостенелые руки на посиневшей груди.

Изредка бросая взгляды на покойника, лежавшего у воды, Култыш поел. После еды отдохнул и стал собираться в дорогу. Срубив две небольшие березки, он перехватил комли их опояской. На вершины березок положил покойника. Был Амос тощ, но тяжел. Култыш привязал покойника к волокушам. Топор, ружье, мешок Амоса и свои пожитки оставил в тайге, а сам впрягся в волокуши и неспешным усадыстым шагом двинулся к Онье.

Под шум волокуш, под шелест леса Култыш думал и молча рассуждал о жизни и смерти и, конечно, о тайге. И в который раз таежный скиталец приходил в этих молчаливых рассуждениях к мысли, что великая сотворительница тайга все предусмотрела и все сделала правильно. Одному зверю дала когти и зубы — добывать корм; другому — быстрые ноги, тонкий слух и даже четверо норок\*, чтобы ими упасти свою жизнь; птице — крылья. Человеку же дан только ум, да и то не всякому. Крыльев, быстрых ног, когтей и прочего ему выдавать не полагалось, потому как, имея это человек, он давно бы истребил все вокруг и сам издох бы смертью голодной. Даже без крыльев, без когтей человек все живое истребляет. На войне, солдат рассказывал, несчетное количество людей побито. А на каторге, отец говорил, по костям человеческим тачки катали.

Так думал Култыш под шорох волокуш, на которых лежал бескрылый человек. Ни жалости, ни сострадания к нему Култыш не испытывал. Все, что делалось в тайге, по его разумению, не нуждалось в осуждении или сомнениях. А вот в миру у людей следовало бы кое-что перевероршить, следовало бы...

На похороны Амоса Фаетановича собрались мужики и бабы почти изо всех домов. Чинно молились кержаки, читали над усопшим стихиры из толстой, поточенной мышами книги.

\* Норка — отверстие для дыхания.

Ни одного осуждающего голоса, ни одного укора никто не бросил. Все шло, как полагалось. Мясо, добытое Амосом, Култыш приплавил, роздал по селу. Его приняли, сварили с зеленью, пошедшей в рост после дождей, и, садясь за еду, все говорили: «Господи, упокой душу раба твоего Амоса Фаефановича, прости ему прегрешения большие и малые...»

«Стало быть, таежный закон существует не для всех, — думал Култыш. — Да и нет, видно, на свете таких законов, которые оградили бы человека от бед и напастей. А раз нет таких законов, значит, и счастья человеку нет».

На веревочных вожжах под тихие всхлипы медленно пополз чуть накренившийся гроб с телом Амоса. Родственники бросили по горсти земли в могилу. Подумал, подумал Култыш и тоже зачерпнул калеченой рукой землицы.

— Не замай! — жаркодохнул кто-то в ухо Култышу.

— Ишь, какой родич сыскался! — раздалось громче.

— Погубил человека, сволочь!

— Не он бы, так и не пошел бы Фаефаныч в эту распроклятую тайгу...

— Укокошил он его, люди! Ей-бо, укокошил! Сколько дён по тайге шлялся. Живым бы застал ишо.

— На-ме-ренно не торопился...

Култыш сначала загравленно озирался, а потом сник, опустил голову. Что делать? Со зверем он бы еще совладал, а это ж люди, человеки!

Он знал, нутром чувствовал, что вся эта задавленная голодом, озлобленная суеверным страхом толпа, кольями забившая старого жалкого киргиза, жаждет отдушины, хочет облегчить душу. Кто-то ж есть виновный в тех бедах, какие на них свалились? Не бога же виноватить!

Сдвигается толпа вокруг охотника, точно лес в ненастье. Полегоньку, будто бы ненароком, еще трусовато, но смелея от страха, подталкивают кержаки охотника к краю могилы. Губы с особым усердием крестятся. Расширяются глаза у людей. От бешенства кривятся, бледнеют губы. На тупых, испитых лицах судорога. Да и нет уже лиц, есть маска, как бы высеченная из камня. И в складках этой маски тысячелетняя боль, смешанная со страхом и злобой.

— Каторжанца! Стросток! — подхлестывают себя люди.

— От него злобство на нас перенял!

— Он напасти принес!

— Бедой на село свалился...

— Змею пригрели! Тогда еще, на салике, оттолкнуть следовало!

— Чего слова тратить? Спускай его!..

Теснее сдвигается толпа и все настойчивей подталкивает к могиле Култыша. Оступись, упали — моментально землей забросают, а потом будут сидеть на запорах, обходить стороной кладбище, шарахаться в собственных домах от загробных видений и молиться, молиться.

Потрясенная Клавдия подняла голову, пыталась что-то понять. Она шевелила побелевшими губами, но ее не слышали. Тогда Клавдия закричала на все кладбище:

— Люди, опомнитесь!..

— А-а, полюбовника защищаешь!..

— У нас скот пал, дети вымерли!

— Мужнюю веру осрамила, поселенка тряпичная!..

— Молчать! — раздался тонкий, сломавшийся от невыносимого усиления голос Култыша.

Это молчать, слышанное только от исправника ошарашит людей.

Култыш вдруг распрямился, до синевы сомкнул губы и двинулся на толпу.

— Чего у меня в горсти? Чего? — настойчиво совал он руку мужикам, и они пятились от него, будто держал он в руке порох, который уже вспыхнул и вот-вот рвануть должен. — Что, я вас спрашиваю? — не унимался Култыш и, запкаясь, как в детстве, сам себе ответил: — З-земля! А вы откуда взялись? Из з-земли! А тайга откуда взялась? Из з-земли! Так почему же татями живете на ней и бонгесь ее, как мирового судьи?

Охотник передохнул, горькая усмешка тронула его губы.

— Порешить? Закопать? Валяйте!.. Меня бояться нечего: я смертен. А вот она, — показывая через плечо на увалы, продолжал Култыш, — она нет! — И кивнул головой на темную, как ночь, могилу. — Он не чета вам был, покрепче костью, а и его смяла тайга-то! Э-эх вы!

Не оглядываясь, Култыш швырнул из горсти землю в могилу. Она дробно рассыпалась на крышке домовины.

Сделалось совсем тихо.

Люди чего-то ждали, пряча глаза друг от друга. Но ничего больше не сказал Култыш, не развеял тягости, давившей сердца этих людей, не повел их за собой. Да и не пошли бы они за ним. Чужой он им. Всем чужой. И они ему тоже чужие.

В тайгу! В тайгу!

Отряхнул охотник штаны, вытер о них руки и пошел. Люди молча расступились перед ним. Они знали: теперь он уходит от них навсегда, и не пожалели об этом. А лишь позавидовали, что этот человек был таким, что перед ним все они и даже смерть были бессильны.

Ушел он, и больше в селе его не видели.



# Ода русскому огороду

**П**амять моя, память, что ты делалась со мной?! Все прямее, все уже твои дороги, все морочней обрез земли, и каждая дальняя вершина чудится часовенкой, сулящей успокоение. И реже путники встречь, которым хотелось бы поклониться, а воспоминания необходимые живой душе, осыпаются осенним листом. Стою на житейском вегрю голым деревом, заывают во мне ветры, выдувая звуки и краски той жизни, которую я так любил и в которой умел находить радости даже в тяжелые свои дни и годы.

И все не умолкает во мне война, сотрясая усталую душу. Багровый свет пробивается сквозь немую уже толщу времени, и, сплюснутая, окаменелая, но не утерявшая запаха гари и крови, клубится она во мне.

Успокоения хочется, хоть какого-нибудь успокоения. Но нет его даже во сне, и во сне мучаюсь я, прячусь от взрывов и где-то за полночь начинаю с ужасом понимать: это уже не та война, от теперешних взрывов не спрятаться, не укрыться, и тогда покорно, устало и равнодушно жду последней вспышки — вот сверкнет бело, ослепительно, скорчит меня последней судорогой, оплавит и унесет искрой в глубину так и не постигнутого моим разумом мирозданья. И вижу ведь, явственно вижу искорку ту, ощущаю ее полет. Оттого вижу, что был уже песчинкой в огромной буре, кружилась где-то между жизнью и смертью, и совсем случайно, капризом или волей судьбы не унесло меня в небытие, а сбросило на изнуренную землю.

Сколько раз погибал я в мучительных снах! И все-таки воскресал и воскресал. На смену жутко гудящему огню, гремучему дыму взрывов неожиданно хлынут пестрые поляны в цветах; шумливая березовая роща; тихий кедрач на мшистой горе; вспененная потоком река; коромысло радуги над нею; остров, обметанный зеленым мехом тальника; степенный деревенский огород возле крестьянского двора.

И лица, лица...

Явятся все женщины, которых хотел бы встретить и любить, и уже снисходительный к ним и к себе не протягиваю им руки, а вспоминаю тех женщин, которых встретил и любил на самом деле. С годами я научился утешать и обманывать себя — воспоминания об этих встречах сладостней и чище самих встреч...

Память моя, сотвори еще раз чудо, сними с души тревогу, тупой гнет усталости, пробудившей угрюмость и отравляющую сладость одиночества. И воскреси, — слышишь? — воскреси во мне мальчика, дай успокоиться и очиститься возле него. Ну хочешь, я, безбожник, именем господним заклинать тебя стану, как однажды, оглушенный и ослепленный войною, молил поднять меня со дна мертвых пучин и хоть что-нибудь найти в темном и омерзвелем нутре? И вспомнил, вспомнил то, что хотели во мне убить, а вспомнив, оживил мальчика — и пустота снова наполнилась звуками, красками, запахами.

Мне говорили: этакая надысь не пройдет даром! Буду я болен и от нервного перенапряжения не доживу сколько-то лет, мне положенных. А зачем они мне. Эти сколько-то лет, без моего мальчика? И кто их считал, годы, нам положенные?

Озари же, память, мальчика до каждой веснушки, до каждой царапинки, до белого шрама на верхней губе — учился когда-то ходить, упал и рассек губу о ребро половицы.

Первый в жизни шрам.

Сколько потом их будет на теле и в душе?

...Далеко-далеко возникло легкое движение, колыхнулась серебряная нить, колыхнулась и поугасла, слилась с небесным маревом. Но все во мне встрепенулось, отозвалось на едва ощутимый проблеск памяти. Там, в неторопливо приближающемся прошлом, по паутине, вот-вот готовый оборваться, под куполом небес, притушив дыхание, идет ко мне, озаренный солнцем, деревенский мальчик.

Я тороплюсь навстречу ему, бегу с одышкой; переваливаюсь неуклюже, будто линялый гусь по тундре, бухаю обнажившимися костями по замшелой мерзлоте. Спешу, спешу, минуя кроволития и войны; цехи с клокочущим металлом; умников, сотворивших ад на земле; мимо затаенных врагов и мнимых друзей; мимо удушливых вокзалов, мимо житейских дряг; мимо газовых факелов и мазутных рек; мимо вольт и тонн; мимо экспрессов и спутников; мимо волн эфира и киноужасов...

Сквозь все это, сквозь! Туда, где на истинной земле жили воистину родные люди, умевшие любить тебя просто так, за то, что ты есть, и знающие одну-единственную плату — ответную любовь.

Много ходившие больные ноги дрогнули, кожей ощутив не тундровую стынь, а живое тепло огородной борозды, коснувшись мягкой плоти трудовой земли, почуяли ее токи, вот уже чистая роса врачует ссадины.

Много-много лет спустя узнаёт мой мальчик, что такой же, как он, малый человек, в другой совсем стороне, пережив волнующие минуты полного слияния с родной землей, прошепчет со вздохом: «Я слышу печальные звуки, которых не слышит никто...»

...Беру в свою большую ладонь руку мальчика и мучительно долго всматриваюсь в него, стриженного, конопатого, — неужто он был мною, а я им?!

\* \* \*

Дом мальчика стоял лицом к реке, зависая окнами и завалинкой над подмыгым крутоярём, заросшим шептун-травой, чернобыльником, всюду пролезающей жалицей. К правой скуле дома примыкал городьбою огород, косо и шагко идущей вдоль лога, в вешневодье залитого до увалов дикой водою, оставлявшей после отката пластушины льда и свежие водомоины — земельные раны, которые тут же начинало загибать зеленой кожей плесени. По чуть приметной ложбине вода иными веснами проникала под жерди заднего прясла, разливалась под самой уж горой, заполняла яму, из которой когда-то брали землю на хозяйственную надобность. В яме-бочажине, если год бывал незасушливый, вода кисла до заморозков, лед на ней получался комковатый, провально черный, на него боязко было ступать. В бочажине застревали щурята, похожие на складной ножик, и гольяны, проспавшие отходную водотечь. Щурята быстро управлялись с гольянами, а самих щурят ребяташки выдергивали волосяной петлей, либо коршунье и вороны хватали, когда они опрокидывались от удушья кверху брюхом — в яму сваливали всякий хлам.

Летом бочажина покрывалась кашей ряски, прорастала вдоль и поперек зеленой чумой, и только лягухи, серые трясогузки да толстозадые водяные жуки обитали здесь. Иной раз прилетал с реки чистоплотный куличок. «Как вы тут живете? — возмущался. — Тина, вонь, запущенность». Трясогузки сидят, сидят да как взвываются, да боем на гостя, затрепыхаются, заперевытываются, что скомканные бумажки, и раз! — опять на коряжину либо на камень синичкой опадут, хвостиком покачивают, комара караулят, повезет, так и муху цапнут.

С гор наползали, цепляясь за колья огорода, лезли на жердь нити повилики, дедушкиных кудрей и хмеля. Возле бочажины незабудки случались, розовые каменные лютики и, конечно, осока-резун. Как без нее обойдешься?! Среде лета огородную кулижку окропляло солнечно-сверкающим курослепом, сурепкой, голоухими ромашками, сиреневым букашником, а под них, под откровенно сияющие цветы и пахучие травки, лез, прятался вишневый лук, золотушная трава, несъедобная колючка. Кулижку не косили, привязывали на ней коня, и он лениво пощипывал на верхосытку зеленую мелочь, но чаще

стоял просто так, задумчиво глаза в заречные дали, или спал стоя.

Ни кулижку, ни огородные межи плугом не теснили — хватало пространства всем, хотя и прижали горы бечевкой вытянувшуюся деревушку к самой реке.

Левого прясла у огорода не было — семья мальчика придерживалась правила: «Не живи с сусеками, а живи с соседями», — и от дома и усадьбы, рядом стоящих, городьбой себя не отделяла. Впрочем, межа тут была так широка, так заросла она лопухами, коноплей, свербигой и всякой прочей дурниной, что никакого заграждения и не требовалось. В глухомани межи, вспененной середь лета малиново кипящим кипреем и мясистыми дяками, доступно пролезать собакам, курам, мышам да змейкам. Случалось, мальчик искал в меже закотившийся мячик или блудную цыпушку — так после хоть облизывай его — весь в кипрейном меду. Густо гудят шершни в межах, вислозадые осы и невзрачные дикие пчелы; титьками висели там гнезда, словно бы из обгорелых пленок слепленные. В них копошилось что-то, издавая шорохи и зудящий звон. Непобедимое мальчишеское любопытство заставило как-то ткнуть удилищем в это загадочное дырчатое сооружение. Что из того получилось — лучше и не вспоминать...

Баня шатнулась в лог, выпадывая из жердей, точно старая лошаденка из худой упряжи, и только заросли плотного бурьяна, подпершие баню со всех сторон, казалось, не давали ей укатиться под уклон. Зато воду на мытье и поливку таскать было близко, зато лес рядом, земляника, клубника, костяника, боярка зрели сразу за городьбой.

На хорошем, пусть и диковатом приволье располагалось родное подворье мальчика, и небогато, но уверенно жилось в нем большой, разнокалиберной семье. Народ в семье был песенный, озороватый, размашистый, на дело и потеху гордый.

Из бани, чтобы попасть во двор, надо пересечь весь огород по широкой борозде, которую чем дальше в лето, тем плотнее замыкало разросшейся овощью. С листьев брюквы, со щеко-чуших кистей морковки, с твердо тыкающихся бобов — всюду сыпалась роса, колола и щекотала отмытую кожу, а мелколистая жалица-летунья зудливо стрекалась.

Но какая это боль и горе после того, что перенес мальчик в бане?!

Из ноздрей, из горла выдыхивалась угарная ядовитость, звон в ушах утихал, не резал их пронзительной пилой, просветляясь, отчегливей видели глаза, и весь мир являлся ему новосотворенным. Мальчику все еще казалось, что за изгородью, скрепленной кольями, нет никакого населения, никакой земли — все сущее вместилось в темный квадрат огорода. Леса, горы по-за логом и задним пряслом, примыкающим к ува-

лу, там все равно. что в телефоне, висшем в славной конторе, — все скрыто: говорит телефон, а языка нету! Вот и постигни!

Нет, за огородами еще огородами дворы с уличней скотиной. дома, роняющие тусклый свет в реку, люди, испрошенные, умчротворенные субботней баней. И в то же время ничего нету. Совсем бы потерялся мальчик в ночном подзвездном мире и забыл бы себя и все на свете, да вон в молочном от пара банном окне мутнеет огонек, выхватывая горсть пырея на зачалинке. Громко разговаривает в бане, стегая себя веником повизгивает истомно женский род. Там, в бане, две родные тетки, замужние, еще три девки соседские затесались туда же. У соседей есть своя баня, но девки хитрованки под видом — бли же, мол, воду таскать, сбиваются в крайнюю баню. «Молодые халды! Кровя в их пышут!» — заключает бабка. Да уж пышут так пышут! И двойной, если не тройной умысел у девок, набившихся в баню вместе с замужними бабами: выведать секретности про семейную жизнь, надуреться всласть и еще каких-никаких развлечений дожидаться.

Клуб им тут, окаянным!

Пять человек в бане было, да еще он, мальчик, шестой путался под ногами, и стеснял чем-то девок. Ну они его быстренько сбили, чтобы остаться в банной тайности одним, ждать, не заглянут ли парни в банное оконце — таким манером парни намечают предмет будущего знакомства в натуральном виде.

Стекло от пара мутное. Надо его рукавом вытереть либо подолом рубахи. Навалятся парни друг на дружку, чего увидят — не увидят, а дыхание в груди сопреет, затмение в глазах, гул в голове колокольный, от азарта, от слепости выдавят стекло! Грех и беда! Парни окно нарушат, девкам же быть родителями срамленными, в которой семье построже, так и за волосья трепанными. Но сторожки и чутливы девки, ох, чутливы! Улавливают алчно горящий взор еще до приближения к окошку и, обмерев поначалу от знобящей, запретной волнительности, разом взвизгивают, давя друг дружку, валятся с полка, задувают лампу, а во тьме, одурев окончательно, плещут из ковша в окно и никак не могут попасть кипятком в оконный проруб — как бы, упаси боже, и в самом деле не ожечь глаз, что подсекает девичье сердце на лету.

Голова и размягчавшееся тело мальчика остывают, укрепляясь. Увядавшее от жары сознание начинает править на свою дорогу; шея, спина и руки, сделавшиеся упругими, снова чувствуют жесткие рубцы холщовой рубахи, плотно облепившей тело, чисто и ненасытно дышащее всеми порами. Сердечко, птичкой бывшее в клетке груди, складывает крылья, опадает в нутро, будто в гнездышко, выстеленное пером и соломками.

Банная возня, вопли, буйство и страх начинают казаться мальчику простой и привычной забавой. Он даже рассмеялся и освобожденно выдохнул из себя разом все обиды и неудовольствия.

Губы меж тем сосали воздух, будто сладкий леденец, и мальчик чувствовал, как нутро его наполнялось душистою прохладой, настоящей на всех запахах, кружащих над огородом, будто над глубокой воронкой: растущей овощи, цветочной пыли, влажной земли, окропленной семенами трав и острой струйкой сквозящего из бурьянов медового аромата.

Где-то во тьме чужого огорода раздался сырой коровий рев — дералуло из бани чадо, которому отскабливали ногтями гыпки, драли спину волосяной вехоткой. Хрястнула затрещина, бухнула банная дверь — и горестный голос беглеца одиноко и озабоченно затерялся в глухотемн. Суббота! Вопят и стонут по деревенским баням терзаемые детишки. Добудут они, сердечные, сегодня столько колотушек, сколько за всю неделю не сойдется.

Мальчик обрадованно поддернул штаны — у него-то уж все позади!

Ковырнул из гряды лакомую овощь: «Девница в темнице — коса на улице». Мала еще «девица»-то, и рвать ее не влечено, да никто не видит. Потер морковку о штаны, схрумкал, размотал огрызок за косу и метнул его во тьму.

Такое наслаждение!

А ведь совсем недавно, какие-нибудь минуты назад, подходил конец свету. Взят он был в такой оборот, ну ни дыхнуть тебе, ни охнуть. Одна тетка на каменку сдает, другая шайку водой наполняет, девки-халды толстоляхие одежонку с него срывают, в шайку макают и долбят окаменелым обмылком куда попало. Еще и штаны до конца не сняты, еще и с духом человек не собрался, но уж началось, успевай поворачивайся и главное дело — крепко-накрепко зажмуривай глаза. Да как он ни зажмуривался, мыло все-таки попало под веки, и глаза полезли на лоб, потому что мыло варят из вонючей трябухи, белого порошка и еще чего-то, вовсе уж непотребного — сказывали, в мыловарный котел купорос кладут, собак бросают и даже будто бы ребенков мертвых...

Вырываясь из крепких сердитых рук, ослепший, оглохший, орал мальчик на всю баню, на весь огород и даже тальше; пробовал бежать, но запнулся за шайку, упал, ушибся. Ругаясь, чиркая черствыми сосисами грудей по носу, по щекам, по губам, тетки вертели, бросали мальчика друг дружке и скребли, скребли, так больно скребли! Отплеываясь от грудей еще брезгливей, чем от мыла, сторонясь и везде натываясь все же на них — от женщин в бане куда теснее, чем от мужчин! — уже сломленно и покинуто завывал мальчик, ожидая конца казни. В заключение его на приступок полка завалили и давай охаживать тем, про что бабка загадку складную сказывала: «В поле, в покате, в каменной палате сидит молодец, играет в щелкунец. Всех перебил и царю не спустил!» Царю! А он что? Хлещите...

В какой-то момент стало легче дышать. Далеко-далеко в черней мерцающей звездой возник огонек лампешки. Старшая

тетка обладала надоедого племянша с головы до ног квелою водою, пахнувшей березовым листом, приговаривая как положено: «С гуся вода, с лебеда вода, с малого сиротки худоба...» И от присказки у самой обмякла душа, и она, черпая ладонью из старой, сожженной по краям кадки еще и холодаыночкой освежила лицо малому, промыла глаза, примирительно воркуя: «Вот и все! Вот и все! Будет реветь-то, будет! А то услышат сороки-вороны и унесут тебя в лес, такого чистого да пригожего».

Нутро бани смутно обозначалось. Литые тела девок на остывшем полу, бывшие как бы в куче, разделились, и не только груди, но и косматые головы у них обнаружались под закоптелым потолком. Мальчик погрозил им кулаком.

Девки взвизгнули, ноги к потолку задрав, и принялись громко лупцевать друг дружку венниками, бороться схватились, упали с полка, чуть лампу не погасили. На деревне поговаривали, что девки любят прятаться в теплых банях с парнями, а соперницы подпирают бани кольями, учиняют посрамление, на крик сбегаются матери и принародно таскают девок за волосы, а те зарезанно вопят: «Мамонька родимая, бес попутал! Разуменье мое слабое затмил...»

Ввергнутый в пучину обид, ослабевший от банного угара, с болью в коленях и в голове, уже оставленный и забытый всеми, хлюпая носом, мальчик отыскивал в глухом углу возле каменки свою одежонку. Свет все еще дробился в его глазах, и девки на полке то подскакивали, то снова водворялись на место, а мальчику так было жалко себя, так жалко, что он махнул рукой на девок, не злился уже на них, сил не было не только на зло, но и рубаху натянуть.

Соседская девка, еще не познавшая бабьих забот и печалей, главная потешница в бане была, она-то и вытащила из угла мальчика, тренькнула пальцем по гороховым стручком торчащему его петушку и удивленно спросила: «А чтой-то, девки, у него тут-о-ка? Какой такой занятный предмет?» Мгновенно переключаясь с горя на веселье, заранее радуясь потехе, мальчик поспешил сообщить все еще рвущимся от всхлипов голосом: «Та-ба-чо-ок!»

«Табачо-о-ок?! — продолжала представление соседская девка. — А мы его, полоротыя, и не заметили! Дал бы понюхать табачку-то?»

Окончательно забыв про нанесенные ему обиды, изю всех сил сдерживая напололам его раскалывающий смех, прикрыв ладошками глаза, мальчик послушно выпятил животик.

Девки щекотно тыкались мокрыми носами в низ его живота, и раздражались таким чихом, что уж невозможно стало дальше терпеть, и, уронив в бессилии руки, мальчик заливался, стонал от щекотки и смеха, а девки все чихали, чихали и сраженно трясли головами: «Вот так табачок, ястри его! Крепче дедова!» Однако и про дело не забывали, под хохот и шуточки девки незаметно всунули мальчика в штаны, в ру-

баху и последним, как бы завершающим все дела хлопком па-  
заду вышибли его в предбанник.

Такая тишина, такая благодать вокруг, что не может маль-  
чик уйти из огорода сразу же и, пьянея от густого воздуха  
и со всех сторон обступившей его огородной жизни, стоит он,  
размягченно впитывая и эту беспредельную тишь, и тайно  
свершающуюся жизнь природы.

Пройдет много вечеров, много лет, поблекнут детские оби-  
ды, смешными сделаются в сравнении с обидами и бедами на-  
стоящими, и банные субботние вечера сольются и останутся  
в памяти дивными видениями.

...На твердых, круто согнутых коленях деда сидит челове-  
чек. Дед обломком ножа скоблит располовиненную брюкву и  
коричневым от табака пальцем спихивает с поцарапанного  
бруском лезвия истекающую соком мякоть в жадно распа-  
нутый зев. Пошевелит языком малый, сделает вдох — и ла-  
комство живым током прошибает его вздрагивающее чрево, рас-  
текается прохладно по жилам. «Вот так варнак! Вот так вар-  
начина! Не жевавши мякает!» — сокрушается дед и, кося на  
малого ореховым глазом, убыстряет работу, чтобы и самому  
голакомиться брюквенной скоблянкой. Но внук никакого роз-  
дыху не дает ему и без усталости держит разинутым ловкий рот.  
Если дед все же вознамерится понести к своим усам ножик  
с лакомством, малый, клюнув ртом, схватывает с ножа крошево  
и по-кошачьи облизывается. «Обрежешься!» — стучает его  
по лбу черенком ножа дед и с удивлением обнаруживает: одна  
лишь видимость от овощей осталась, обе половинки брюквы  
превратились в черепашки. Дед нахлобучивает на голову внука  
половинку брюквы, спихивает его с колен и отправляется в  
огород, что-то ворча под нос и сокрушенно качая головой.

Посидев на нагретых за день плахах крыльца, мальчик  
сбрасывает с головы брюквенную камилавку, и куры со всех  
сторон кидаются доклевывать черепашку. Мальчик опрокиды-  
вает водопойное корыто, взбирается на него и глядит со двора  
через частокон в густо заросшее пространство огорода.

Раздвигая развесистые седые листья, дед ходит согнувшись  
между гряд, отыскивает брюкву покруглей, без трещин и зе-  
леной залысины. «Де-е-е-еда-а-а!» — кричит мальчик, давая  
понять, что он его видит и ждет. Дед, погрозив внуку перстом,  
учеливает наконец брюкву, вытаскивает ее за хрупнувшие кос-  
мы из рыхлой земли и, ударив ею об ногу, поднимает вверх  
и осматривает белорылую, с грязной бородой овощ: нет ли  
червоточины и других каких изъянов. Мальчик нетерпеливо  
перебирает ногами: «Скорее, деда, скорее!»

Дед ровно бы его и не слышит, бредет по сомкнувшейся  
борозде, будто по зеленой речке, за ним шуршат волны; словно  
за кораблем, остается вспененный след, медленно растворяю-  
щийся вдали, — листья, ботва, метелки трав с недовольным  
шорохом выпрямляются, встают, занимая свое постоянное ме-  
сто на земле.



И снова дед сажит внука на твердые, заплатами прикрытые колени, скоблит брюкву, ворчит, сгущает матого черенком по лбу, пока насытившийся, убаженный пузан не зашпелит ртом заторможенно, лениво, и глаза его не начнут склеиваться, а маленькое тельце, что слабая былка, отягощенная росой, прикинется к выпуклой груди деда и в теплом ее заветрии распустится доверчиво и защищенно.

И тогда совсем осторожно, совсем почти неслышно дед скоблит ножиком брюкву — он сладкоежка, дед-то, и шевелит беззубым ртом, двигает крутыми челюстями, озираясь — не видит ли кто, как он впал в детство, и для маскировки ворчит в бороду: «Ат ведь варначина! Ат ведь неслух! Умаялся!» — и пытается есть и петь одновременно, покачивая на коленях внука: «Трынды-брынды в огороде, при честном при всем народе...» Но тут же стопорит с песней — дальше в ней слова не для внука. Вот уж подрастет, ума накопит внучек, глядишь, до чего самому дойдет, чего от старших нахватается, а пока шабаш, пока мри, дед, не дай бог, сама услышит!

Мальчик не может понять, спит он или еще не спит? Ему хорошо, уютно на коленях, под щекочущей бородой деда, за которую, в знак благодарности, надо бы теребнуть старого, но разморило так, что даже руку поднять нет сил, да и видется начал очень знакомый голозадый человечек — вот он перебирается руками по частоколу, пытит, продвигается к жердяным воротцам. Неровность какая-то под розовую ступню или меж пальцев подвернулась, закачался малыш, упал голым местом в крапиву. Рев. Слезы. Бабка, выдернув вицу из венника, сечет крапиву, приговаривая: «Вот тебе! Вот тебе, змея жалочая!..» — и всовывает вицу в руку мальчика. Он со всего плеча лупцует крапиву, аж листья летят и тем утешается, по щеке катится оставшая слеза, и, слизнув ее, солоноватую, языком, малый делает еще одну попытку встать на ноги и двинуться вдоль частокола на кривых, подрагивающих ногах.

А сзади хвалят, поощряют, тормозят: «Эдак! Эдак! Эдак, дитятко!»

И вот наконец наступило жуткое, ослепляющее счастье первого самостоятельного шага! Мальчик отпустился от городьбы и на неверных, жидких еще ногах ковыльнул по двору. Все в нем остановилось, замерло: глаза, сердце, дух занялся, и только ноги, одни ноги шли и сделали два огромных, может быть, самых огромных, самых счастливых в жизни шага!

Чьи-то руки подхватили его, уже падающего наземь, подхватили и с ликующим возгласом: «Поше-ел! По-ше-о-о-ол!» — подбросили вверх, в небо, и он летал там, кувыркался, а солнце то закатывалось во двор, приближалось вплотную к глазам, то мячиком отскакивало за огород, к лесу, на хребтины гор. Пронзенный восторгом победы, захлебнувшийся высью, мальчик ахал, смеялся, взвизгивал и, не сознавая еще того, первый раз ощутил отраву жизни, которая вся состоит из такого вот опасного полета, и только сознание, только вечная надежда:

под тобой, внизу, есть крепкие руки, готовые подхватить тебя, не дать упасть и разбиться о твердую землю, — рождает уверенность в жизни, и сердце, закатившееся в какой-то дальний угол обмершего нутра, разожмется, встанет на место, и сам ты не улетишь к «сдрене-фене» — по выражению бабушки, несправимого, как заверяет бабка, ругателя и богохульника.

Примыкающий к задам дворовых построек клочок жирной земли, забранный жердями, удобренный золой и костями, был прост и деловит с виду. Лишь широкие межи буйным разноростом да маковый цвет недолговечным полыханием освещали огород к середине лета, да и мак-то незатейный рос, сиреню-кого либо бордового, лампадного цвета с темным крестиком в серединке. В крестике бриллиантом торчала маковка, пушисто убранная, и в пухе том вечно путались толстые шмели. «Кину порохом, встанет городом», — сеючи мак, вещала бабка. Была и еще одна роскошь — непроходимым островом темнел среди огорода опятанный беленькими цветами горох, который без рук, без ног полз на бадог. Иным летом в каргошке заводился десяток-другой желтоухих солноворотов, часто до твердого семечка не вызревавших, но беды и слез все-таки немало ребятам от них было. Широкомордые, рябые подсолнухи притягивали к себе не только пчел и шмелей, вечно в них шарящихся и роняющих яичную пыльцу, они разуживали удаль юных «огородников». Продравшись в огород, поймав солноворот за шершавый, «под солдата» стриженный затылок, налетчики клонили его, доверчиво развесившего желтые уши долу, перекручивали гусиную шею, совали под рубаху и задавали тѣку в лес, пластая штаны о сучья городьбы. Везде и всюду, как известно, ссут для воров репу и горох, а в селе мальчика — подсолнухи. И вот что непостижимо: изловив в огороде младого налетчика, тетеньки и особенно дяденьки, сами когда-то промышлявшие огородным разбоем, с каким-то веселым, лютым сладострастием полосовали жалицей по беззащитному заду лиходеев.

Сожжение на костре — забава по сравнению с сибирской жалицей. На костре, если дрова хорошие, — пых — и сгорел! А вот после жалицы неделю две свету белого не видно, ни сесть, ни лечь. Выть, только выть, слезами обливаться и каяться перед бабкой, умоляя ее помазать сметаной место, подвергнутое истязанию.

Что еще красивого было на грядках? Нюхотки! Невесть откуда залетевшие, взойдут они, бывало, и до самых холодов прожигают углями гущу зелени. Табак еще украдкой цвел на бросовых грядках. Добрые гряды под табак ни одна крестьянка не отласт, считая растение это зряшным и делая потачку мужикам только потому, что без них, без мужиков, в хозяйстве не обойдешься и никого не родишь, и, стало быть, продление роду человеческого остановится.

На межах, гам разнообразней и свободней все. Там кто

кого задавит, тот и расцвет, дуря от собственного нахальства. Конечно же, конопля, полынь, жалица, репейники да аржанец-пырей любую живность заглушат. Однако ж нет-нет да и взнимутся над тучей клубящимся бурьяном стрелы синюхи, розетки пижмы, либо татарник заявит о себе. Властно оттеснив мускулистым телом тощую мелкоту, оцетинясь всеми колючками, обвесится татарник круглыми сиреневыми шишками и живет долго, цветет уверенно; или взметнется над межей нарядный коровяк, сияет дураковатым женихом, радуется самому себе.

От ранней весны и до самой зимы, изгнанный отовсюду, клягый-переклятый, лопатами рубленный, свиньями губленный, у заплотов, в устье борозд, на межевых окраинах шорохтел длинными ушами непобедимый хрен.

Ну вот и вся, пожалуй, краса, весь наряд и все прелести русского огорода. По весне природа на речине мальчишка чуть беселей, да вся она по-за огородом, вся по хребтам, поймам речек, лугам, еланям. Зато весной раздолье в огороде какое!

Поставив в церкви свечку, помолившись святым отцам, охранителям коней, в первый день мая по старому стилю выводил дед лошадей в огород, к плугу, а бабка тем временем почесно кланялась с крыльца ему — пахарю, молилась земле, огороду, лесу. Лемех легко, заборного входил в огородную пуховую прель, играючи шли с плугом конишки, пренебрежительно махали хвостами, отфыркиваясь: «Разве это работа?! Вот целик коренить — то работа!»

Серая фигура деда, темная на спине от пота, горбится над плугом, и бежит по запяткам его вилочей змейкой ременный бич. Нестерпимо манит приступить ногою бич. Дед сердито подбирает рукой черенок, чтобы жогнуть внука, и жогнет, коли не поспеешь в рыхлую борозду упасть. «Ну погоди, бесенок! Опояшу я те, опояшу!»

В конце борозды дед выворачивает плуг из земли и располагается возле бочажины — подымит. Бабка, подрубив лопаткою свет, стоит на крыльце и обсуждает сама с собою поведение деда: «Как борозда, так и папирёска! Как борозда, так и папирёска! Ты к Петровкам-то справишься ли?!» — «Не-е, к Ильинну дню, если бог пособит!..» — хмыляется дед и свойски подмигивает малому, каково, дескать, мы ее!..

Хватив дверью избы гак, что скворцы и галки в бороздах подпрыгивали, будто от выстрела, бабка исчезала, а мальчик с дедам смотрели в огород, половина которого как бы вывернута черной овчиной наружу, другая же в серой пленке, оставшейся от снега.

На пахоте происходило обжорство: скворцы, галки, вороны хватали и хватали студенистых червей, обнаженных и порезанных плугом. Боязливые рыжие плишки, и те промышляли на пахоте, вихляясь над бороздами; даже малая мухоловка сидела на жердн и, дождавшись своего момента, спархивала вниз и, чего-то ухватив с земли, несла на городьбу и торопливо

склеивала. Лесные птички спускались с гор к огороду и терпеливо ждали, когда налопаются и задремлют важно, хозяйски вышагивающие по бороздам нарядные и сытые скворцы, напоминающие сельских купчиков. Не выдержав искушения, птицы, мелькнув над городьбой, уносили с борозды козявку, жука, личинку какую, а скворец уж непременно в погоню — такая загребущая скотина! Да где ему настичь стремительную дикую птаху, та юрк — и в кустах!

Пахать черноземные огороды легко, боронить и вовсе удовольствием. Наперебой лезли парнишки на спину коня, таскающего борону по огороду, затем к плугу приспособлялись, и когда их возраст подходил годам к десяти, они и на пашне, и на сенокосе уже умели управляться с конем, и в застолье уж лишними не числились, сплели твердо среди работников, ели хлеб и огородину, своим трудом добытую.

Тяпки в тех местах никто от века не знал. Картошку не окучивали — огребали руками. Назем в землю не клали, его вывозили за поскотину. Лишь малую часть его использовали на огуречные, «теплые» гряды. Ворочали их почти в пояс высотой. Лунки выгребали такие, что чернозема в них входила телега.

В ночное время (от сглазу) бабка с наговорамн закапывала в грядку пестик, похожий на гантель, для развития мускулатуры употребляемую. Пестик утаивался в грядку для того, чтобы огурец рос как можно крупнее.

В согретой гряде напевали серебристые грибки и тут же мерли, ровно ледышки, истаявали бесследно. Выступали реснички травы в борозде, кралась на грядку повилика и в душу сеянцы начинали закрадываться сомнения: всхожее ли семя было? Но вот в одном-другом черном глазу лунки узким кошачьим зрачком просекалось что-то. Примериваясь к климату, промаргиваясь на свету, зрачок расширялся и не сразу, не вдруг обнаруживал два пробных, бледных листика Настороженные, готовые запахнуться от испуга, они берегли в теплой глубине мягкую почку огуречной плоти, робкий зародыш будущего растения. Пообвыкнув, укрепясь, собравшись с духом, два листочка выпускали на волю бойкий шершавенький листок, а сами, исполнив службу, отдав всю свою силу и соки свои, никли к земле, желтели и постепенно отмирали, никому уже не интересные и никем не замечаемые. Огуречный листок, воспрянув на свету, тоже робел от одиночества, простора земли и изобилия всякой зелени, принимался недоверчиво к лету, зябко ежась и цепenea от ночной изморози.

Нет, не закоченел до смерти огуречный листок, удержался и потянул по зеленой бечевке из мрака навозных недр лист за листом, лист за листом, там и усики принялись браво завынчиваться на концах бечевки, пополз листной ворох в борозды, так и прет друг на дружку. И, как всегда неожиданно, засветится в одной из лунок, в зеленом хороводе, желтенький цветочек, словно огонек бакена среди зеленой реки.

Живая искорка — первовестник лета! Первый цветок этот всегда почти являлся пустоцветом, погому что солнца, тепла и сил его хватало лишь на то, чтоб цвести. Но, как бы указав дорогу цветам более стойким, способным и плодоносить, пустоцвет быстро угасал, свертывался, и его растеребляли и съедали земляные муравьи.

Под жилистыми листьями, под зелеными усатыми бечевками светлело от желтых оюньков, гряда, что именниный пирог, пламенела цветами, и хоровод пчел, шмелей, шершней, ос вел га них шумную и хлопотливую работу. Глядь-поглядь, в зеленом притихшем укрытии уже и огурчишко ловко затаился, луныристый, ребристый, и в носу у него шушулиной сохлый цветок торчит. Скоро выпала шушулина, и под ней скромно и чисто заблестело белое рыльце огурца, лучиками простреленного до круглой жупки. Зябкие прыщи, морщины выровнялись, огурец налился соком, заблестел, округлился с бсков, и ему тесно стало под листьями, воли захотелось. Вывалился он, молодой, упругий, на обочину гряды, блеснит маслянисто, сияет, наливается и укатиться куда-нибудь норовит.

Лежит огурец-удалец, дразнится: семейство ревниво следит друг за дружкой, особенно за мальчиком, чтобы не снял он огурец-то, не схрумкал в одиночку. Съесть огурец хочется любому и каждому, и, как ни сдерживайся, как ни юли, проходя по огороду, обязательно раздвинешь руками резные цепкие листы, подивуешься, как он, бродяга, нежится в зеленом укрытии, да и поспешишь от искушения подальше.

Но, слава тебе господи, никто не обзарился, не учинил коварства. Уцелел огурец, белопуный молодец! Выстоял! Бабка сорвала его и бережно принесла в руках, словно цыпушку. Всем внучагам отрезала бабка по пластику — нюхнуть и разговеться, да еще и в окрошку для запаха половина огурчика осталась.

Окрошка с огурцом! Знаете ли вы, добрые люди, что такое окрошка с первым огурцом! Нет, не стану, не буду об этом! Не поймут! Фыркнут еще: «Эка невидаль — огурец! Пойду на рынок и куплю во какую огуречину — до-о-ол-гую, тепличную!..»

\* \* \*

Огуречная гряда располагалась ближе к воротам, чуть в стороне от остальных гряд и почему-то поперек всего порядка. Ровными рядами, вроде ступеней на городской пристани, катились овощные гряды до середины огорода. На одной из них, самой доступной, чтобы ногами попусту другую овощь не мяли, пышно зеленело ребячье лакомство — морковка. Две-три гряды острились стрелами репчатого лука. Следом, опуснив серые ребристые стебли, вкрадчиво шелестел лютый фрукт — чеснок. В стороне от тенистых мест, чтобы солнце кругло ходило, и от сгурцов подальше — огурец и помидор не спутники в роду-племени огородном — к лучинкам привязаны тощие-претошие

дудочки с цветными аптечно пахнущими листьями. После прелой изыяной полутеми, где росли они в ящиках и горшках, помидорные серенькие саженцы словно бы решали, что им делать — сопротивляться или помирать в этой простудной стороне? Но вокруг так все перло из земли, так ластилось к солнцу, что и помидорные дудки несмело напрягались в кружево листьев, пробно зажигали одну-другую бледную звездочку цветка, а вкусив радости цветения, смелели, лохматились, зеленые бородавочки из себя вымучивали, после уж, под огородный шумок да под земельный шепоток, обвешивались щекастыми кругляками плодов, и ну дуреть, ну расти — аж пасынковать их приходилось, обламывать лишние побеги и подпирать кусты палками, иначе обломаясь, рухнут ветви от тяжести.

«Под дубком, дубком свилась репа клубком», вечно у нее лист издырявлен, обсосан — все на нее тля какая-то нападает, лохмотья иной раз одни останутся да стерженьки, но она все равно растет, выгуливает плотное тело, понимая, что радость от нее ребятишкам. Как-то отчужденно, напористо растет свекла, до поры до времени никем не замечаемая, багровеет, кровью полнится; пока еще шебаршит растрепанно, но тужится завязаться тугим узлом капуста. «Не будь голенаста, будь пузаста!» — наказывала бабка, высаживая квелую, блеклую рассаду непременно в четверг, чтобы черви не съели. Широко развесила скрипучие, упругие листья брюква, уже колобочком из земли начиная выпирать. Обочь гряд светят накупью цветов бобы, и сбоку же, не обижаясь на пренебрежительное к себе отношение, крупно, нагло и совершенно беззаботно растут дородные редьки. Шеломенчихой их обзывает бабка. Шеломенчихой — вырви глаз! Миром оттерли шалопутную бабку Шеломенчиху на край села, почти в урём. А она и там в землянухе своей без горя живет, торгуя самогонкой, твердо выполняя бабье назначение. «У тебя ведь и зубов-то уж нету почти што, а ты все брюхатеешь!» — возмущались бабы. Шеломенчиха в ответ: «Ешли пошариться, корешок еще найдется!..»

За баней, возле старой черемухи, есть узенькая расчудесная гряда, засеянная всякой всячиной. То бабкин каприз — всякое оставшееся семя она вольным взмахом развеивала по «бросовой» грядке, громко возвещая: «Для просящих и ворующих!»

У леса, спустившегося с гор и любопытно плящущегося через заднее прясло, темнела и кудрявилась плетями труженица картошка. Она тоже цвела, хорошо цвела, сиреневое и бело, в бутонах цветников, похожих на герани, ярели рыженькие пестики, и огород был в пене цветов две целые недели. Но никто почему-то не заметил, как цвела картошка, лишь бабка собрала решето картофельного цвету для настоя от грыжи. Люди ждут не чем она подивит, а чего она уродит. Так в жизни заведено — от труженика не праздничного наряда и увеселений требуют, а дел и добра. Его не славословят, не возносят, но когда обрушивается беда — на него уповают, ему кланяются и молят о спасении.

Ах, картошка, картошка! Ну разве можно пройти мимо, не остановиться, не повспоминать?

Моему мальчику не довелось умирать от истощения в Ленинграде, даже голодать подолгу не приходилось, но об огородах осажденного города, размещенных на улицах, в парках, возле трамвайных линий и даже на балконах, слышал он и читал. Да и в своих краях повидал огороды военной поры, вскопанные наспех часто неумелыми, к земляной работе не способными руками. Не одни ленинградцы летом сорок второго года молниеносно кланялись кусту картошки, дышали остатным грудным теплом на каждый восходящий из земли стебелек.

\* \* \*

Первой военной весной мой мальчик, ставший подростком, учился в городе и вместе с фээзошной ордою бродил с саками по студеной горной речке, выбрасывая на берег склизких усачей, пескарешек, случалось, и харнус либо ленок попадался. Рыбаки делали свое дело, грабители свое. Они лазили по вскрытым лопатами косогорам и из лунок выковыривали картошку на уху, чаще всего половинки картофелин либо четвертушки. Летом, когда всюду, даже в дачном сосновом бору, меж деревьев взошла картошка, приконченно рыдали и рвали на себе волосы поседевшие от войны эвакуированные женщины, не обнаружив на своих участках всходов. Многие из них на семенной картофель променяли последние манатки, даже детские обувочки и платица... И не становилась ведь поперек горла та, омытая слезами, картошка!

Забыть бы про то черное дело, снять с души пакостный груз! Да разве возможно наедине-то с собой лгать?

Если уж по уму да по совести и чести — спаситель наш — огород! Тут и голову ломать незачем. В огороде же том главнейший спаситель — скромное, многотерпеливое существо, участью-долей схожее с русской женщиной, — картошка!

В честь картошки надо бы поставить памятник в России. Поставлены же памятники гусям, спасшим Рим. В Австралии будто бы есть памятник овце. Последнему волку Европы скульптуру изваяли! Ну если уж картошке монумент неловко воздвигать — плод все же только, овощ, тогда тому, кто нашел этот плод в заморских землях, выделил его среди прочих диких растений, в Россию завез и, рискуя головой, внедрял на русской земле. Был ведь в старые, темные времена и картофельный бунт!

В горах и под горами, в болотах и песчаниках, на глине и камешнике, меж деревьев и в новине, на вспольях, на отвалах, на вырубках, на гарях, на всякой бросовой почве само собой вылезит на свет и живет растение, почти не требующее ухода и забот — прополи, окупь, и все дело. Есть места, где, задушенная дымом и сажей, никакая тварь не выживает, ничто не растет, даже крапива и всякая жалочая травка сдалась, кар-

тошка, набравши цвет, тут же его, почернелый, тряпичный, роняет, и все равно плод в земле наливается и кормит людей! Что есть, скажите, лучше этого растения? Хлеб? Да! Однако хлебу сколь воздано! Сколько о нем спето! Так отчего же, почему же мы, российские люди, не раз, не два спасенные картошкой от голода и мора, забыли про нее? К слову сказать, воин наш, русский, многим обязан ей, родимой картошке! Где угодно готов это утверждать!

Фронтовые дороги длинные, расхляпанные. Пушка идет или тащат ее; танк идет, машина идет, конь ковыляет; солдат бредет вперед на запад, поминая к разу кого надо и не надо. А кухня отстала! Все-то она отстает, проклятая, во все времена и войны отстает. Но есть солдату надо хоть раз в сутки! Если три раза, так оно тоже ничего, хорошо три-то раза, как положено. Один же раз просто позарез необходимо.

Глянул солдат налево — картошка растет! Глянул направо — картошка растет! Лопата при себе. Взял за пыльные космы матушку-кормилицу, лопатой ковырнул, погянул с натугой — и вот полюбуясь: розоватые либо бледно-синие, желтые или белые, что невестино тело, картохи из земли возникли, рассыпались, лежат, готовые на поддержку тела и души.

Дров нету, соломы даже нету?! Не беда! Бурьян везде и всюду на русской земле сыщется. Круши, ломай через колено, пали его!

И вот забурлила, забормотала картоха в котелке. Про родное ведь и бормочет, клятая! Про дом, про пашню, про огород, про застолье семейное. Как ребятишки с ладошки на ладошку треснутую картоху бросают, дуя на нее, а потом в соль ее, в соль и — в рот, задохнувшись горячим, сытным паром.

И нет уж никакой безнадежности в душе солдата, никакого нытья. Замокрело только малость в глазу, но глаз, как известно, проморгается!

Поел картошки солдат, без хлеба поел, иной раз и без соли, но все равно готов и может вперед двигаться, врагу урон наносить.

Случалось, воды нет. В костер тогда картошку, в золу, под уголья. Да затажное это дело, и бдить все время надо, чтоб не обуглилась овощь. А когда бдить-то? В брюхе ноет, глаза на свет белый не глядят от усталости. Значит, находчивость проявляй — в ведро картошек навали, засыпь песочком либо землей, чтоб не просвистывал воздух, и через минуты как-нибудь кушайте на здоровье продукт первой важности, в собственном пару! А то еще проще простого способ есть: насыпь полную артиллерийскую гильзу картох, опрокидывай ее рылом в землю, пистоном вверх, разводи на гильзе огонь, а сам дрыхни без опаски. Сколько бы ты ни спал, сколько бы ни прохлаждался — картофель в гильзе изготавится так, что и шкурку скоблить ножом не надо — сама отлупится!..

Нет, я снова о памятнике речь завожу! Картошке, из которой люди наловчились по всему белу свету готовить с лишком



две тысячи блюд, опоре нашей жизни — никакого внимания. По гривеннику всем людям труда — главным картофеледам — собрать, и пусть самые талантливые художники, самые даровитые скульпторы придумают памятник! Тот, кто умеет сочинять гимны, должен найти самые торжественные слова, и самые голосистые певцы споют картошке гимн на самой широкой площади, при всем скоплении народа.

Не знаю, кто как, я плакал бы, слушая тот гимн!

\* \* \*

Мальчик идет по заросшей гродинке из бани. Жилки травы-муравы, стебли подорожников попадают меж пальцев; трепично-мягкие цветки гусятника, головки дикого клевера и ворожбы щекочут промытые, чуткие ступни ног. На меже сверкает конопля, сыплют семя лебеда и полынь, шебарша по листьям лопухов и застарелого морковника. Жилица, пучка, жабрей, черпобыльник чуть слышно шелестят, а вот белена и лопушистый хрен будто в мокрой шубе. Бочком меж них хотел проскользнуть мальчик — не вышло, штаны намокли, тяжелеют и сползают с живота.

Вот и борозда, что широкая дорога, тоже вся поросла пастушьей сумкой и ползучей липкой мокрицей. Удалившись на такое расстояние, где не слышны плеск воды, шум пара на каменке, аханье веников, шальные взвизги девок, мальчик озирается осторожно и присядает на корточки у межи, отделяющей огород соседей. Затаив дыхание высматривает сквозь чашу бурьяна и тонкого аржанца, будто сквозь густой отвесный дождь, одному ему ведомое гайнство.

Конечно же, как у всякого делового человека, тайн у него дополна, и он их может поведать другу или дедушке. Вот, к примеру, за баней черемуха. Старый ствол ее умер и засох, вершина обломилась, упала, изорвав сплетения хмеля, опутавшего ее, и прееет теперь черемуха в межевой гущине, от пня наперегонки рванулись коричневые гибкие побеги. Черную кору упавшего дерева сорвало ветром, комель подолбили дятлы, источили короеды и муравьи.

В сухой выбоине старого пня, под навесом рыжего гриба-тутовика устроилась на жительство птичка-невеличка, тихая мухоловка с алой грудкой. Возле нее хахалем вертелся мухолов, которому хотелось петь и веселиться, но хозяйственная, смиренная мухоловка успокаивала его, грустно и терпеливо объясняла, что живут они в соседстве с людьми и следует вести себя скромно. Мухолову семейный прижим надоел, он подался в другое, видать, более разгульное место.

Оставшись покорной вдовицей, мухоловка накрыла маленьким телом гнездышко, и скоро под нею оказались яички чуть больше горошин. Из горошин тех выклюнулись гадки, на маму совсем не похожие птенцы, но они быстро начали выправляться, и то на голове, то на заде перо у них высывалось, ра-

хитные пуща усохли, башка вытянулась в клюв, сделались птенцы как птенцы. Пустое гнездышко лежит в черемушном пенке, мухоловка с ненасытным, писклявым семейством переселилась в межевые заросли — смекайте, дескать, деточки, сами пропитанье, я уж совсем измоталась без мужа. Она и сейчас вон подает голосок из бурьяна: «Ти-ти! Ти-ти! Ти-ти...» — «Спите, спите!» — птенцов увещевает, а у мальчика тоже рот потянуло зевотой — пора отправляться на боковую.

Да, напомнила ему мухоловка другую птичку — белобрюхую ласточку, что каждое лето лепила себе гнездо под застрехой аргельного амбара.

Ласточка с ликованием носилась над рекой, взмывала вверх, к облакам, падала на воду, кружилась над домами, над лесом, над горами, впархивала во дворы, сделав вид, что совсем сна сюда случайно угодила, стремглав неслась по улице над самой дорогой, щечбча, чурлюкая, всех извещая, что прилетела она из дальних стран и так стремилась к родной сибирской деревушке, прошла сквозь такие расстояния, беды и бури, что совершенно теперь счастлива и, отпраздновав возвращение, порезвившись в радости, сразу же возьмется за дело, отремонтирует гнездышко под застрехой, высидит детей и станет ловить комаров и мошек, и пусть люди не беспокоятся, что она все будет играть, играть и совершенно потеряет голову.

Не потеряла ласточка голову и помнила о своем назначении, думала о будущих птенцах. И все же... все же счастье возвращения ослепило ее, она охмелела и забылась. А маленьким и беззащитным существам никогда не следует забываться.

Прищурив меткий глаз, мальчик метнул камень и сшиб белогрудую ласточку над огородом. Дрожа от охотничьего азарта, он схватил птичку с гряды, услышал ладонями, как часто, срывисто бьется крохотное сердце в перьях. Клюв открывался беззвучно, круглые глаза глядели на мальчика с ужасом, недоумением и укором...

В руку перестало тыкать, глаза птички подернулись туманом вечного сна, головка опала. Раскрывая ногтями скорбно сжатый клюв, мальчик пускал в него теплую слюну, пальцами поднимал голову, крылья птички, подбрасывал ее, надеясь, что пичужка снова полетит, но птичка скомканно опала на землю и не шевелилась.

Мальчик выкопал стеклом могилку в тени черемухи, устелил ее палыми листьями, завернул ласточку в тряпицу и закопал. «Шило-мотовило под небеса уходило, по-бурлацки певало, по-солдатски причитало...» — вспомнилось ему бабушкино присловье. Вспомнилось, как стояла она на крыльце, глядя из-под ладони на ликующую ласточку, крестилась: «Вот еще одно лето нам ласточка на крылышках принесла...» И, не переставая умильно улыбаться, тыкала концом платка в уголки глаз.

Долго и недвижно сидел мальчик под черемухой над маленькой могилкой птички, не мог понять смерть, но первая

четкая мысль все же вызрела в нем: «Я никогда никого не буду больше убивать».

Наивный мальчик! Если бы все в мире делалось по желанию и разуму детей, не ведающих зла!

За весну на птичьей могилке выросла трава, другим летом поднялась и кудряво зацвела пестрая саранка. «Эта ласточкина душа вылетела из темной земли», — подумал мальчик.

Много секретного в огороде! В межах, за постройками, за баней, за городьбой — везде секреты, там вон, у глухой соприрелой стены сарая, секрет особенный — второй год там растет маленькая, но уже кудрявая бузина-пишалка, и никто-никто не знает, что она там растет, и только когда пишалка делается выше мальчика и появятся на ней мелкие, алого цвета ягоды, он покажет ее деду. На дальней гряде, что против бани, после каждой пахоты мальчик находит костяные бабки. Ровно бы кто их рождает в земле, и весной они солдатами выпрыгивают наверх. Еще из секретного сусликовая нора возле горы была, но веснами сверху катился снеговой кипун. Пьяно дуря, он летел в лог с гамом и лязгом; казалось, до того разойдется, что в конце концов не только мальчишково подворье, но и все село смоеет в реку. Каждую весну кипуном вымывало сусликов из норы, и не выдержали терпеливые зверюшки мучений, умерли от простуды или подались с хилого места в горы, на пашню.

Весенними потоками в огород натаскивало всякой всячины: камешник, семена трав, диковинные выворотни, старые маральи рога, скелеты погибнувших птиц, луковицы цветов.

Как-то уронило жерди и забросило в огород куст смородины. Мокрый был и живой куст, поймался корнем за бок бочажины, растет, жирея с каждым годом и раздаваясь, и черные ягоды начал рожать, не поспеешь их ощипать — воронье или дрозды склюют, поздней осенью по воде бочажинный ветер гоняет листья смородины. Но вот беда — лягушата под смородиной летуют, а на лягушат черная змеюга охотится. И прежде чем подступить к смородине, мальчик швыряет камни в куст, топает ногами, кричит, сатанея от нагоняемого на себя гнева.

Целый мир живет, растет потомство, шевелится, поет, плачет, прячется в плотно сомкнувшейся зелени огорода. Кузнецы вон взялись за дело, секут по всей округе траву под корень.

Один кузнец проспал, видать, назначенное время и разогревает в себе машинку. Сердитый звук: «З-з-зык! З-зык!» — раздается в капусте. Сказывают, будто козявка эта прыгучая издает звуки крылами, но мальчик твердо верит — в брюхе у нее есть игрушечного размера сенокосилка.

\* \* \*

Не все огороды на селе строги, деловиты, незбылемы. Наземный народ со всячинкой селился в этих местах, и всяк распорядился землей как хотел и умел.

Если крестьянская изба напоминала ликом хозяина, то огород всегда по хозяйке, по характеру ее и сноровке. Вроде бы вот они рядом, огороды, земля одинаковая, солнце одно и то же греет, дожди одни и те же на гряды с неба брызжут, воду на поливку из той же реки на коромыслах носят — ан фасон и урожай огородов разный, значит, и ход жизни в двух семьях несхожий.

У одной хозяйки огород что светлица: грядки к грядкам ровенькими нарядными половиками расстелены, морковные гряды, присыпанные опилками, чтобы тля всякая не портила, поднимаются сдобными пирогами, борозды меж гряд глубокие, все посажено к месту, все рядом да ладком; которая овощь водолюбива — поближе к воротцам; которая и от дождя вырастет, та подальше, чтоб не мять ее лишку, не топтать зазря землю и борозды не спускать ногами.

У другой бабенки на огород глянь и сразу определишь: расгяпа, межедомка, может, и пьянчужка. Гряды так, и сяк у нее в огороде: одна узкая, другая широкая, борозды не прокопаны, криво, кой-как натоптаны; овощь где густо плюнута, где ветром дунута; воду льет без разбора и смыслу, то два раза на дню, то по недели ни росинки. Понятно: в таком огороде сорняк из низких борозд на гряды прет, давит всякое полезное растение, обескровливает его. Ребятишки, свои и чужие, партизаны в таком огороде, зеленцом еще овощь таскают, оголяют огород, и живи как хочешь, ешь хлеб с кырлыком, с сорняком стало быть, а на одном хлебе немного наработаешь, да и не хватит хлеба до нового урожая без хорошего приварка.

Везде и во всем любовь нужна, радение, в огородном же деле особенно. Красота, удобство, разумность в огороде полезностью и во всем хозяйстве оборачиваются. Есть хлеб, есть овощи, сыты работники и дети, обихожена скотина, значит, и в семье порядок, ни ругани, ни раздоров, все довольны собой и жизнью, уважительны к соседям, независтливы, гостя посадят не за полый стол, и самим не стыдно на люди показаться. А чем одежда, обувь и уважение людей добыто? Раденьем! Трудом! Уверенность, солидность в жизни дает человеку земельный упорядоченный труд!

Надо сказать, что землей баловались и вели хозяйство как попало все больше поселенцы — перекасти-поле. Они и городьбу-то порой не ладили, вместо огурцов и помидор, требующих труда, каждодневной поливки и прополки, сажали цветы. Один бывший каторжник, веселый человек, ягоду посадил. Ягоды в той местности носили из лесу, и вот тебе на: огородную землю ягодой заняли! И называлась та ягода не черницей, не земляницей и не брусницей — вик-то-ри-ей!

Викторию ту лихие деревенские «огородники» еще зеленую выдрали с корнями и съели, ничего ягода, хрушкая, одно-ко с лесной не сравнишь — воды в ней много и духом слаба.

Больше в селе викторию сажать никто не решался, и постепенно о ней все забыли. И не случалось бы больше огород-

ных причуд, если бы бабка мальчика не была выдумщицей и не приплавила бы из города чудные какие-то семечки: одно плоское, сердечком, на огуречное похожее, но гораздо больших размеров. Посадила бабка то семечко на самом конце гряды, возле бани, и поскольку не всрила в его полезные свойства, за-была про него. Другое семя — хлеще того! — смахивало на дедушкин зуб, коричневый от табаку, костяной твердости. Бабка размочила семя в чашке вместе с бобами и небрежно воткнула меж луковиц.

Долго ничего не появлялось из земли. Сорная трава мушиной гущиной по всему огороду расплзлась. Людское и ребячье наказание — трава. Поли ее, проклятую, ломай все легю поясницу, отсиживай ноги, истязай до трещин руки, жалься о «крапиву до пузырей»...

Крестьянское дигя как-то само собой и в огороде оказывалось — не на кого оставить в избе, на дворе грязно, скот, собаки, вот бабка или тетки и прихватят мальчика с собой. Лазит малый словно в непроходимых дебрях, того и гляди потеряется насовсем. А девкам развлечение: «Девки, а где же у нас парнишко-то? Не видагь че-то? Уж не заблудился ли? Курицы его не заклевали бы! А-у-у-у!» — приподняв лицо от гряд и глядя на загородный лес, кричали тетки.

Малый — не промах, западет в борозде под листья, и ни гугу. А тетки его ищут, тетки его ищут! Бабка клянет их, ругательски ругает: «Вам бы, халдам, токо беситься! Токо бы зубоскалиты! Робить кто будет, нечистый ваш дух?!»

Жутко в борозде под листьями лежать, рядом с глазом мохнатая гусеница лист дырявит, лап у нее сколько, глазу ни одного. Тут же острыми клыками усатый черный жук перекусывает муху пополам. Носорог брюкву точит, аж головой в кругляк влез! Серые слепни мальчика тычут, до крови кусают, мошкэ тоже не дремлет, в нос, в уши, в глаза набивается, разъедает их — долго не выдержать, выскакивать надо из укрытия, но раздвигаются прохладные кущи, солнце в глаза бьет, крик над головою: «Во-о-он он где, варначина! Имай его!»

С хохотом и звоном ударится малый бежать по огороду, тетки следом за ним, кричат, ловят и до самой реки его, совсем уж ошалелого, допрут, а там ну брызгагься, ну дуреть, норывают малого в воду плюхнуть. Он уцепится за тетку, с мясом не оторвешь, орет, призывая бабку на помощь. Бабка тут как тут, катится с яру, машет хворостиной. «И-и-я-а-а-а вам, кобылищи экие! Вот отхожу которую! Глико, почернел весь парень — перепугали!» Девки врассыпную, на ходу кофтенки, юбки сбрасывают — и бултых с визгом в воду, машут руками, ногами бьют, брызги до небз! Бабка по берегу бегаз, хворостиной машет, никого достать не может.

Утихомиранные, освеженные водой, снова плетутся работники в огород, под палящее солнце, и малый ковыляет следом. Мошкз жрет, паузы пудями бьют, комар тоже своего не упустит, к вечернему мороку явится.

Помаленьку да полегоньку от игр и забав переводили мало-го человека к работе, незаметно, вроде играючи, проделывали «профорIENTATION» — учили сорную траву отличать от огородины: «Вот свеколка взошла, а вот вместе с нею лебеда, полынь и гречка дикая. Они и цветом, и фигурой под свеклу обрядились, но все одно не обмануть им глазу человеческого, с исподу глянь — в пыльце она седой и цвет багряный пожизне у их; мокрица, дрема и манжетки под редиску и репу рядятся да скорёнько расти норовят и тем себя выдают. Ну а за морковь чуть ли не весь травяной мусор ладит сойти — и мышехвостики, и куриное просо, и клоповник, и всякая дрянь такими невинными ресничками на свет белый является — ах распахнулись реснички и нету меж них лапочки морковной, кружевца зелененького!..»

У всякой-то овощи, у всякого злака, оказывается, есть двойник, иной раз много двойников-кровопийцев, и все-то они хитры, коварны, напористы. Пока изваженное да избалованное человеком огородное растение укоренится, пока с духом соберется, закаленные в вечной борьбе сорняки не дремлют, идут вглубь, захватывают пространство, цепляются в земле и на земле за что придется, душат, соки из овощи сосут, обескровливают огород...

Сколько игр недонграл из-за копотной работы мальчик?! Сколько ребячьих радостей недополучил, потому что следом за «профорIENTATION» начиналось и «трудовое воспитание». Было оно просто и, как выразились бы нынешние высокоумные педагоги, — «эффективно-действенно». Мальчика, отлынивающего от утомительного труда, брали за ухо: «Хочешь есть — работай!»

Однажды полон мальчик луковую гряду (морковные и другие гряды с мелкоростом ему еще не доверяли, лук можно, лук хорошо различается), полон, ноя под нос тягучую песню, отмахиваясь грязными руками от мошкеры, звенящей рыжей осы, и внезапно пальцы его ухватили непривычное для рук, крепкое растение, упругой щепотью пропоровшее землю. Приглядевшись, мальчик сообразил — оно! Взошло! Вот тебе и на! Не верилось, что есть в костяной середке семени живина, способная воспрянуть и прорасти, а оно вот проросло, изобразилось!

Как мальчик ухаживал за тем растением! А оно, радуясь заботе, поливке и черной земле, высвобожденной от сорняков, перло без устали вверх, опуская одно за другим ременные шероховатые листья. «Ух ты, матушки мои!» — захлебывался восторгом создателя мальчик и мерился с загадочным созданием природы, норовившим обогнать его в росте.

Благоговейно притих мальчик, когда обнаружилась в пазухе длинных скрипучих листьев куколка, завернутая в зелень пеленок. За ней другая, третья. Детенышам холодно было северными ночами, они изморозью покрывались, но все же пережили природные невзгоды, и чубчик белый-белый у каждой

куколки из-под одежек выпрыснулся. «Ух ты, батюшки мои!» — прошептал мальчик, совершенно потрясенный, и, не поборов искушения, расковырял пеленку на одном детеныше и обнаружил ряды белых, одно к другому притиснувшихся зерен. Зажмурившись, мальчик куснул зерна, и рот его наполнился сладким, терпким молоком. Об таком диве невозможно было не поведать людям. И люди эти — соседские парнишки, без лишних разговоров слопали то диво вместе с белыми чубчиками, с хрусткой палочкой, заключенной в середку сладкой штуковины.

Доживет мой мальчик и до той поры, когда захлестнет всех кукурузная стихия, с недоуменнем узнает однажды, что и в его родной деревне, где иным летом картофель в цвету быют заморозки, лучшую землю пустят под «царицу полей» — ту самую забавную штуковину, которая как-то пенароком выросла в огороде один раз, да и то до сметанно-жидкого зерна лишь дошла.

\* \* \*

Военные пути-дороги приведут моего мальчика к спаленной крестьянской усадьбе, и вид пожарища, уже облитого дождями, сгоревший огород потрясут его своей космически-запредельной осылостью и немотой.

Черная картофель с вылупившимися балаболками, скрюченная сверху и чуть живая снизу; редьки и брюквы в черных трещинах; одряблые, простоквашно-кислые дыни: унылые морды подсолнухов с космами свернувшихся листьев — все в огороде оглушено серым тленом, ночной тишиною. Черные вилки капусты блазнились головами вкопанных в землю людей; гнойно сочащиеся помидоры — недожаренным мясом с подпаленной мускульной краснотою; белые, сваренные огнем сплетения лука — клубками поганых глистов.

Поперек гряды на рыжих огурцах лежала женщина в разорванной полотняной сорочке. Яростными бельмами сверкали ее остановившиеся глаза, в зубах закушены стон и мука. К груди женщины, будто бабочка-капустница, приколот ножевым штыком мальчик-сосунок. Когда наши солдаты вынули штык из жиденькой его спины и отняли от материнской груди, всех сразило умудренно-старческое личико ребенка. В довершение ко всему откуда-то взялась хромая цыпущка. Осипло клохча, припадая на тонкий сучок перебитой лапки, она рванулась к людям, ровно бы ведая — наши, русские вернулись, и она, единственная на убитом-подворье живая душа, приветствовала их и жалилась им.

Доведется моему мальчику хоронить ленинградских детей, сложенных поленицами в вагоне, умерших от истощения в пути из осажденного города. Побывает он в лагере смерти и не сможет постичь содеянного там, потому что, если постичь такое до конца, — сойдешь с ума. Перевидаает он тысячи убитых солдат, стариков, детей, женщин, сожженные села и горо-

да, загубленных невинных животных. Но тот огород, с черными вилками капусты на серой земле, гряду с червиво свитым бетым луком, ребеночка, раслятого на груди матери, оскаленное лицо молодой женщины, до конца сопротивлявшейся надругательству, цыпушку, инвалидно припадающую на остренькую лапку, он будет помнить отшибленно ото всей остальной войны — намертво врубилось в него то первое потрясение.

В пышных украинских огородах помидоры вызоривались не как дѣма, не в старых валенках и корзинах на полатах, а просто среди гряд на кустах; не из садовки, из сеянца здесь вырастали луковичы в кулак величиной. Темнокорые гладкие баклажаны одавливали кусты, и, не зная названия овощи, солдаты называли их соответственно форме — хреновинами. Кукуруза росла полями, початки созревали на ней до желтизны, и молотили их тут на зерно, белые чубчики и стержни не ели, ими топили печи, потому что тайги здесь нет и с дровами туго. Подсолнухи росли тоже полями — и желтые тучи поднимались над пашней, когда дул ветер, и воровать солнцевороты здесь не надо было, бери, ломай сколь хочешь, шелуши семя. Арбузы валялись беспризорно на земле, и, коль смотреть издаля, вроде ни к чему они и не прикреплены, вроде их как попало с самолета по полю разбросали.

Без зависти, с пригасившей веселостью вспоминал мальчик, как греблись по-собачьи деревенские его корешки и он вместе с ними к плотам, проплывающим мимо села из теплых краев с торгом. Родная его река пересекала всю страну поперек, и если в устье ее еще стояли вечные льды, то в истоках уже созревали арбузы. Вытаращив глаза от надсады и жуткой глубины под животом, парнишки выстукивали зубами: «З-зу-зу-зу!..»

Выбрав из пестрой пирамиды что-нибудь загнившее, бросовое, плотогоны швыряли кругляш в реку, и, обалдевшие от холода, отталкивая друг дружку, парнишки пихали по воде носами, лбами, рылами арбуз к берегу, а он вертелся мячом на быстрине, усмывивал от них, и то-то переживаний было, то-то восторгу, когда наконец изнемогающие пловцы достигали берега и принимались с аптечной точностью делить рожденный в теплых краях расчудесный плод. Да редко, очень редко бросали с плотов арбузы. Чаще огрызенные корки. Но и коркам были рады ребятишки, съедали их вместе с красивыми полосами, считая, что такой драгоценный плод употребляется в пищу весь без остатка.

Фрукты, арбузы и всякие другие сахарные плоды и сам сахар на родине мальчика надежно заменяли парёнки из брюквы, свеклы, моркови. Да еще ягоды, которых гут столько рождалось, что иными летам не корзинами, коробами из тайги ягоду возили, отправляясь за нею семьями. Бабушка сказывала, когда он осиротел и не на кого было его оставить, вместе с зыбкой прихватывали малого в тайгу, привывали зыбку за



сук кедра — и на приволье, таежным духом утешенный, посыпывал он. Оберут ягодники одну елань, зыбку перенесут дальше, на другое дерево перевесят, а он, глупый, даже не почувствует «вакуации». Проснется же когда, заорет — ягодок в тряпочку намнут, засунут в рот — он и довольнехонек, чмокает пользительную сладь. «Учучкаешься, бывало, в чернице до того, что пуп сорвешь, хохотавши».

\* \* \*

Побывал с войском и за границей мой мальчик, повидал ухоженные огородики, где каждый вершок земли к делу, к месту, и порой ограду заменяют полезные кустарники: горькие дикие мандарины, гранаты, зерном похожие на российскую костянику, крепкий самшит, седовато-черный виноград. В поднебесье, на уступах скал, встречалось что-то похожее на огород, землю туда носили мешками и корзинами. Случалось, темные люди темной ночью уносили такой огород целиком и полностью, вместе с жалким урожаем и землю, обрекая на голодную смерть семьи горцев.

Дивился в далеких краях и зсмлях маковицам величиной с мячик, брюкнам в пуд весом, картошки капывал по ведру из гнезда, помидорами «дамские пальчики» боевые сто грамм закусывал, розовым луком, от которого окриветь можно, картофельную драчону приправлял, озоруя, в необхватные кавуны из автомата стрелял, любовался цветущими садами, даже черную розу зрел и царственную магнолию; и было, было, что уж теперь греха таить, в бессарабские виноградники по-пластунски лазил и как-то всю ночь давил там с одной смуглянской-молдаванкой оч-чень дурманное и сладкое вино.

Однако не напрасно говорится: «Хорошо на Дону, да не как на дому», — и перед глазами мальчика всегда был тот, жердями и бурьяном окруженный огород, где трудно росла овощь, вечно боявшаяся не вызреть из-за ранних холодов, украдчиво ползущих по распадку. В том огороде мальчик видел радугу. Одним концом она начиналась в зеленых грядах, а другой ее конец защемило в скалистом распадке. Радуга вся была из цветной пыли: маково-алой, подсолнушно-желтой, морковно-зеленой, и еще там был цвет совершенно неуловимый и недоступный глазу, такой цвет мальчик видел, когда нырял в воду с открытыми глазами, цвет немого царства, цвет голубовато-нежный, прозрачный. Вот в таком замороженном царстве обитали бесплотные тихие русалки и ангелочки с крылышками, какие нарисованы на бабушкиных иконах.

Мальчик, не сознавая своего порыва, двинулся на ему лишь слышный зов радуги, но радуга, околдовавшая его, отодвинулась к меже, опустилась в бурьян, и когда мальчик, жалься о крапиву и не замечая того, вошел в межу — радуга уже за оградой, в логу оказалась. И, опечаленный, он остановился —

радугу ему не догнать, не прикоснуться к ней. Радуга — это красивый несбыточный сон.

В сельском огороде случилось еще чудо: из семечка-сердечка, привезенного бабкой, вылупилось растение с громадными оранжево-орущими цветами и зеленой змеей изогнулось в жалце, из жалицы взялось на городьбу, с городьбы по углубани взобралось на крышу, уж к трубе подползало и куда б долезло — одному богу известно, да тут лето кончилось, ударил первый звонкий утренник. Унялась, объяла пронирыливая диковина, цветы ее могильно смялись, веревка мохнатого стебля сделалась студенистой, шершавые листья обратились в бросовое тряпье. Но какое удивление, какой восторг охватил малый да и взрослый народ, когда под листьями, в глубокой борозде объявился желтопузый, в банный котел величиною, ребристый кругляк. Нечаянно мальчик нашел затаившиеся в жалце еще два плода, продолговатых и тоже ребристых, что стиральная доска. Сгрёб мальчик под мышки бледнопузых этих поросят, домой доставил, будто счастливый золотоискатель самородки. Самой уж поздней осенью, когда проредилась и упала на меже дурнина, за огородом, почти в самом логу отыскалась еще одна тыкваина, но все нутро ее выклевали пронирыливые курицы.

С того лета по сию пору буйствуют в огородах далекого села тыквы, которые бабка за пузатость тоже называла шеломенчихами и нарадоваться не могла веселым, солнцегоким круглякам, молиться, говорила, надобно на неведомого базарного человека, который такое ей редкостное семя продал. «Пусть растет! Пусть фулюганит!» — кричала бабка, одаривая односельчан семенами буйного плода.

В войну тыквенная каша шибко выручала селян. Детям, своим и эвакуированным, ее как лакомство давали; больных на ноги тыквенная каша поднимала. Да и посейчас еще в трудовой семье мальчика нет-нет да и купят тыкву на базаре и заварганят — для разнообразия стола — кашу с молоком и пшенкой, едят да бабку за трапезой вспоминают: «Легкая рука у человека на овощь была!» Недаром ее сеяницей в селе нарекли, наперебой тасили садить и сеять особо капризную овощь — никто на селе лучше бабки не ведал, кого с кем мирить в огороде.

Если бы огород был памятен только тем, что вскормил и вспоил мальчика, дал ему силу и радость жизни, первые навыки в труде, он бы и тогда помнил его свято, и так же трепетно билось бы его сердце, как бьется ныне, когда по всей великой Руси обнажаются из-под снега, выгивают вспоротые квадраты земли на задах дворов, по-за селом, в опольях, на загородных пустырях, на склонах гор и подле железнодорожных путей, в болотинах и песках, возле озер и рек — повсюду, где обитают живые люди.

Не служат нынче молебнов при начале страды, не окропляют землю водою, освященной с иконы богородицы плодо-

рожня — Деметры, не приколдовывают хрушкой огурец с помощью зарытого в гряды пестика, да и сам огород сделался утомительным придатком жизни, особенно для горожан. С лопатами, с граблями, с мешками, на переполненных электричках, в автобусах и пешком приходится им тащиться за город на отведенный «участок».

Но не могут люди бросить землю, велика привычка и тяга к ней, вера в нее: а вдруг беда какая? Неурожай? Засуха? Война, не дай бог, снова? На кого и на что надеяться тогда? На землю. Она никогда не предавала и не подводила, она — кормилица наша, всепрощающая, незлопамятная.

Копает мальчик участок за огородом, ловит носом дух пре-лой ботвы, печеной картохи, нарождающейся травы, и видится ему качнувшаяся под берег изба, огород за нею с бурьяном, переломанным, измочаленным зимней стужей и ветрами. Снег за банею и под яром еще сереет, а в бурьяне уже кукишами торчит трава, которую и слепой знает, — жалица. По огороду и белых кофтах и платках старухи, ребятишки, девки рассыпались, сгребают прошлогоднюю ботву, зимний прах и хлам сметают в залитую до краев бочажину, песню заводят и тут же бросают ее, громко смеются, говорят про что-то, а голая всенная земля чадит синеватым дымком, угарно бредит теплом и зеленью.

В избе еще с февраля по всем окнам садовки в ящиках стоят, семя в старых посудинах мокнет, картошка на полу рассыпана — прорастает; бабка чесноковины членит на посадку, лук сортирует — ослепла бабка, и ноги у нее отнялись — на ошупь действует, не может жить без разнодолья.

На осиновых жердях, мокро сочащихся на срубах, привезенных из лесу затыкать проломленную городьбу, менять одряхлевшие прясла, сидит дед, закрутив обсекившиеся, но все еще франтоватые усы, табак курит — оч-чень он любит это занятие, курит и на коня глядит. Может, и не на коня, может, смотрит он в далекую задонскую землю, откуда еще молодым лихим казаком прискакал он в Сибирь с отрядом кого-то покорять, но сам был покорен и взят в полон разбитной веселой сибирячкой, да и застрял на веки вечные в северной стороне.

С гор вразнохлест катятся мутные потоки, проскабливают лед, и он, прососанный донной грязью, дырывается, киснет, будто перестоялое тесто. Вдоль лога и по увалам от ветренниц бело, хохлатки мохнатятся, баранчики желтыми ноздрями к весне принимают, кандык и саранки копай сколько хочешь, лакомься жирными луковками. Подле деда свои и чужие ребятишки толкутся. Выбирают таловые прутья, на вязанье резанные, пикульки из прутьев мастерят, дуют, свистят. Птицы от ребятишек не отстают, заливаются всякая на свой лад.

Чинят городьбу мужики, гребут хлам в кучу ребятишки и женщины. По всей российской земле, из края в край горят весенние костры, как и во все времена, идет уборка земли, словно горницы перед большим праздником. Ухают, блажат

истосковавшиеся по лугу коровы, кружит коршун над проталинами, трясет колокольцем жаворонок, утки плюхнулись в лог.

Нет уже деда и бабки, и огорода того, наверное, нету, да и дома тоже. Смыло его вешневодьем под яр, ударился он морщинистым лицом в обмытые рекой камни, и рассыпались его старые кости. Не блажат коровы, не блаженствуют в лужах чушки, не култыхает конь по старой меже — нету коней на селе, заменили их машины.

Но отчего, почему все прежнее видится и слышится так явственно? И сердце летит-летит в те незабвенные дали... Всю жизнь летит, в особенности вёснами, и никак не приземлится, вечно бредятся какие-то перемены в жизни, хотя ведь знает же — все на земле идет кругом, все в этом круге установлено разумной чередой: следом за весенними огнями и приборкой земляной труд начинается: пахать люди будут, боронить, сеять, в огородах овощ садить. Потом всходы пойдут. И снова, и снова, удивляя мир чудом сотворения, еще недавно бывшая в прыску земля задышит глубоко, успокоенно, рожая плоды и хлеб.

Цыпушки зачиликают во дворе и тайными ходами, с младенчества известными их маме, проникнут в огород. Люто ругаясь, бабы привычно станут выгонять их, поднимая на крыло; кого-нибудь из девок во время сева иль прополки чикнет забравшаяся под подол оса, и забегает девка по огороду, без разбору топча овощ. Парни-зубоскалы станут помогаться вытаскивать из укушенного места жальце. Девка — существо притчеватое, за насмешку над ней бог наказывает особо: на сенокосе найдет из гнезда попавшего под косу свирепого шершня, и оставшийся по вине косца бобылем шершень своротит просмешнику морду набок. Девки по очереди целовать укушенного примутся, исцеляя страдальца таким испытанным методом, а все другие парни станут завидовать и мечтать, чтоб их тоже укусила какая-никакая козявка.

Да если бы судьба одарила мальчика только этими радостями — и на том ей поклон земной! Но она щедрой у него оказалась и отвалила ему в детстве еще такое, что не каждому и во взрослой-то жизни выпадает...

Опустившись на корточки, мальчик высматривает сквозь межевые заросли свою главную тайну. В частом, отвесно падающем травяном дожде находит он просвет — то тропка, ведущая к соседям. В просеке бурьяна, сомкнувшегося вверх, слабо мерцает, множится отблеск света.

Там, за окном, в соседской избе, при свете лампы расчесывает девочка волосы, белые, мягкие, словно пух одуванчика. Девочку не видно, и окно не видно, однако мальчик знает: девочку помыли в бане, и она расчесывает волосы, глядясь в старое, большое зеркало, занимающее почти весь простенок меж окон. В недвижной глубине зеркала плавают звезды,

клешнйастые жуки, паутина по углам клубится, похожая на траву, прихваченную инеем.

Оттуда, из бездонных глубин зеркала, из растений, белых и недвижных, надвигается и смотрит на девочку другая девочка, лобастая, худющая, с широким ярким ртом, расширенными, слегка выпученными глазами. Такие глаза бывают у детей, когда им оспу на руке железкой процарапывают. Девочка водит гребнем по волосам, рассыпавшимся на костлявые плечи, на дугами выступившие ключицы, и в волосах просверкивают искры — аж дух захватывает от такой дьявольщины.

Девочка появилась в жизни мальчика ошеломляющим наваждением, как и должны появляться роковые женщины-присухи. Он чем-то занимался на задах огорода, возле бочажины, может, саранки копал, может, пикульку мастерил, может, медунцу рвал, может, ершей собирался рыбачить и сучил леску из кудели, привязав ее к жердям, и внезапно что-то услышал, почувствовал.

Он оторвался от дела, поднял голову и увидел ее.

На старой, изжитой граве, под которой пробудилась бойкая зелень, по другую сторону лога, заполненного до краев мутной водою, стояла и плакала девочка в синеньком плагишке. Сердце мальчика сжалось от насквозь его пронизвшей жалости — очень уж крупные слезы катились по лицу девочки и скапливались в некрасиво сморщенных алых губах. Да и худа, шибко худа была девочка, хвора, видать. А хворых мальчик жалел, потому что сам всю зиму «на ладан дышал». В руке девочка держала такие же, как ее платье, синие цветы в белом крапе. Присмотревшись, он различил: девочкино платье тоже в крапе и с белой оборкой, но полиняло от стирки, и белое на нем осинилось.

Девочка стояла меж толстых льдин, и перед нею из воды остро торчали вершинки краснотала, верба сорила пух, по березнику, ободранному отводинами саней — зимой через лог пролежала дорога, — порснули зеленые брызги, мохнато цвела боярка по разложью. Над головой девочки сияло солнце. Суслик стоял столбиком и чикал на девочку, не то ругая ее, не то стараясь напугать. На кучах назьма, вывезенного в лог и подмытого водой, дрались воробьи, свившись в клубок, так клубком и скатились они в холодную воду, тут же рассыпались по кустам и как ни в чем-не бывало принялись сушить себя клювами. По логу брели парень и мужик, волоча за собой сеть-одноперстку. Мужик был пьяный, спотыкался, валился боком в воду и обожженно завывал. Бордовая рубаха кровавым пузырем всплывала за спиной мужика. Парень обрывисто вылаивал: «Жми! Дави водило! Ко дну, ко дну! Не путай сети! Пьяная зараза! А-а-у-у-у-у-и-и!»

В самом углу лога, тонко залитого водой, где пену и сор кружило шальным горным потоком, свежее мелкотравье кипело от икряной сороги, и мужик с парнем затеяли черпануть рыбу сеткой, а девочка не понимала их намерений, плакала и за-

клинала: «Папочка, не утони! Миленький папочка! Не утони! Ой, папочка! Ой, папочка!..»

Зарыбачили сорогу мужик с парнем или нет? Дошли до вершины лога или запутали и порвали сеть о коряги — мальчик не запомнил. Но девочка в синем платье, с букетом диких ирисов, растущих за логом, возле муравейника, заливающаяся слезами, повторяющая неведомое в селе, такое смешное, непривычное, но чем-то к добру и ласке располагающее слово: «папочка», — заняла в сердце мальчика свое вечное место и всю жизнь являлась ему вместе с теми подробностями, которые задели его глаз, слух и укатились в глубину памяти: грязная сверху льдина, истекающая каплейю и стеклянно роняющая звонкие карандашники на землю, вода, ревущая в устье лога и смывающая рыхлый яр; корова, переставшая жевать и тупо уставившаяся на рыбаков; пастух, козырьком приложивший руку ко лбу и тоже наблюдавший за рыбаками; боярка, мохнато цветущая над головой девочки; шмель, спутавший голову девочки с белым цветком, шарился хоботом в пушистых ее волосах, и засгрявший в горле мальчика крик: «Акусит!»

Девочка приехала в село с родителями, отец ее брал подряды на выжиг известки. Поселилась семья по соседству с подворьем мальчика. Само собой, девочка стала набиваться в ребячью компанию, да не было у нее ни кукол, ни игрушек, только синее застиранное платье было и розовая линияла ленточка в пушистой растрепанной голове. Девочка собирала камешки на берегу, дышала на них, облизывала и показывала всем, какие они красивые! Деревенские ребята не умели понимать красоту, их окружающую, тем паче красоту камней, которые они топтали, прогоняли девочку называя «шкилетиной». Опустив голову с бантом, девочка уходила за лог, собирала разные цветы и, сплетая венки, прилаживала их на голову. А всем известно: ребенок, примеряющий на голову венец, — недолгий житель. И все время девочка пела нездешние, очень красивые и жалостные песни. Песнями своими жалостными, непротивлением злу и роковыми, ангельски-небесными этими венками проняла девочка деревенские стойкие сердца. «Злосчастливая, видать», — вздохнули сочувственно, по-бабьи, деревенские девчушки и приняли пришлую играть в «тяти-мамы».

Мальчик сразу, конечно, сообразил: быть ему «злостей» приежжей девочки — такой же он тощий, хворый, «злосчастный» такой же — и оказал сопротивление, отверг «шкилетьину» наотрез. Оставшись бобылкой, девочка не знала, как ей дальше жить, потому как без «тяти» никакой женщине существовать на земле невозможно. Мальчик был хоть и поперешный, но жалостливый, тиранить человека долго не мог. Крякнув для солидности, он наказал хозяйке, чтоб она все по дому спроворила и блюла себя, не то... а сам взял литовку — обломок бутылочного стекла, и отправился «на сенокос», и наметал стор «сена».

Девочки хозяйничали в заброшенном срубе, который в каж-

дой российской деревне оставлен бывал кем-то, ровно бы нарочно для прятков и разных детских игр и забав. Дожидаясь с работы «самово», хозяйки стряпали оладьи и шаньги из глины, гоношили постели из травы. Мальчикова «мама», ошалелая от счастья, выявила такое проворство в делах, что все девчухи ахали и подсмеивались, мол, хозяин не под стать хозяйке, хил, невзгляден и «ни шерсти от него, ни молока». «Ну и что? Ну и что? — заступалась за своего «тятю» хозяйка. — Зато смиренный, воды не замутит!.. И не пьющий по болясти».

Треснуть бы «самоё» за такие слова, но, обретая власть, девочка проявила неслыханный напор и в такой оборот взяла мальчика, что ни дыхнуть, ни охнуть, и покрепче «мужик» спасовал бы. Она не давала «мужу» делать тяжелую работу, заставляла отдыхать и набираться сил, а сама, костлявая, легкая, стремительно носилась по земле, управлялась со скотом, доглядывала ребятишек, кышкала коршунье — и все с песнями, с песнями, со смехом, с шутками. Зато как торжествовала подруга жизни мальчика, когда возвращались домой «тяти» других «мам». Не в силах переступить порог, шатаясь и падая, они ревели чего попало, требовали еще выпить, домогались, чтоб обнимали и утешали их в этой распроклятой жизни.

Всплескивая руками: «Я-а-ави-и-ился-а-а, красавец ненаглядный! — девушки набрасывались на своих «красавцев». — Ковды ты, кровопивец, выжрешь всю эту заразу?! Ковды околеешь? Ковды ослобонишь меня, несчастну-у-у! Да штоб тебе отрава попалась заместо вина! Гвозди ржавые заместо закуски!» При этом «мамы» целились накласть по заправке «мужьям», а те ярились: «Игде мое ружье? Игде моя бердана семизарядна? Перрыстреляю всех, в господа бога!..»

«А мой не пьет и не курит! Я за им, как за каменной стеной!» — подперев рукой щеку, сочувствуя подружкам, хвасталась мальчишка «мама». Угнетенный ее добротой, униженный инвалидным положением, опекой, всего его опутавшей, сковавшей, не желая смиряться со своей участью, мальчик крикнул однажды: «Навязалась на мою голову!» — и сиганул с отчаяния в лог.

Коренная вода еще не укатилась из лога, земля тоже не «отошла» от донной мерзлоты — мальчик простудился и снова заболел.

\*\*\*

Ему виделась мулька с пузырьком. Пузырек был когда-то икринкой, даже оболочкой икринки, и помог мулке, выткнувшись из икринки, подняться с давящей глуби к воздуху, к свету, к теплой, прибрежной воде. Но пузырек отчего-то не отделялся от мульки, похожей на личинку комарика, а не на рыбу, и она мучилась, стирая его об воду, судорожно дыша крошечными щелками жабер.

Объединившиеся в стаю мульки уже не слепо, а с осознанным страхом метались от опасности, учились кормиться. Движимые братством, тягой ли к мучительству, мульки стрелочками подлетали вверх и теребили рыбку за пузырек. Обессиленная мулька легла боком на дно, и ее покатило течением словно серебрушку, — и уразумел тогда мальчик: жизнь начинается с муки и заканчивается мукой. Но между двумя муками должно же быть что-то такое, что заставляет и неразумную рыбку как истово сопротивляться обрывающему все страдания успокоению.

Затянутый пузырьком, повисший в небесах над бездонной глубиной, в одном шаге от мягко обволакивающего покоя, мальчик сопротивлялся смерти, пытался прорватьдушный пузырек, отлепиться от него и скорее свалиться под крышу беспокойного, часто невыносимого, жестокого, гулевого, скандального дома, в котором ютится и множится необузданно дикая и все-таки заманчивая жизнь.

Пузырек был тонок, непрочен, но сил у мальчика осталось так мало, что он не мог прорвать его. Пузырек вбирал мальчика в удушливую слизь, всасывая в себя все самое нужное, самое интересное из жизни мальчика, окружая его водянистой пустотой, немой, непроглядной и бесцветной. Лишь редко-редко что-то проскальзывало в мутной жиже. И начала кружиться над мальчиком ласточка. «По-бурлацки напевая, посолдатски причитая...» — та самая... Глухие, однотонные звуки проникали через пленку пузырька, достигали слуха мальчика, и он догадывался — это его стон, которым просил он, чтоб в плавающей жаркой мути появилось что-нибудь такое, что вызволило бы его из удушливого пузырька, проник бы хоть один глоток чистого, прохладного воздуха, появилось бы хоть чье-то лицо.

И он дозволялся-таки!

Ему явилась «жинка» с бантом в пушистых волосах, приветствуя его покаянной улыбкой, зовущей за пределы томительного одиночества и покорности, занимающейся в изможденном теле.

«Возьми! Возьми за ручку!» — послышалось издалека. Девочка тряхнула головой — и в глазах мальчика запорхали лохмы одуванчиков. Уверенно, как фельдшерница, девочка жала слабые пальцы мальчика и очень уж как-то пронзительно, требовательно и нежно глядела на него. И уразумел тогда мальчик: женщина есть всего сильнее на свете, сильнее даже всех докторов и фельдшеров. Те учатся по книжкам несколько зим, а она тысячи лет создает жизнь и исцеляет людей своею добротой. На что мала, невзрачна эта вот девочка, но уже умеет управляться с больным и помогать ему. Она прижала руку мальчика к своему прохладному выпуклому лбу и, дрожа от корящей жалости, прошептала: «Ну, назови меня шкилетиной, назови!»

Никто, кроме матери, не мог предложить такое неслыхан-



ное бескорыстие, никто! Но матери у мальчика не стало давно, он ее даже не помнил. И вот явилась женщина, способная на самопожертвование, доступное только матери. И хотя был он слаб, испечен болезнью, все-таки почувствовал себя мужчиной и не воспользовался минутной женской слабостью, этим рвущим душу благородством. Вознесенный подвигом женщины на такую высоту, где творятся только святые дела, он с мучением отверг ее жертву. И тоже поднятая мужским рыцарством до небес, задохнувшаяся от ошеломляющих чувств, способных спалить женскую душу дотла, она самозабвенно, больно принялась стучать себя в узенькую грудь его костлявой рукой, поспешно, чтоб не перебили, захлебисто выстывая: «Шкилетина! Шкилетина! Шкилетина!»

Слезы хлынули из глаз мальчика и прорвали пузырек. Он прижал ладони к глазам, чтоб девочка не видела его слабости. А она ничего и «не видела». Остановив прожигающие насквозь ее нутро бабьи слезы, обыденно и в то же время с умело скрытым, взрослым состраданием, она деловито и покровительственно уговаривала: «Ну уж... Че уж. Ладно уж... Бог даст, поправисси!»

Тетки, бабушка, соседи уверяли потом — выздоровленье приостекло от святой воды, от молитвы, которую бабка творила дено и ночью, от настоя борца и каменного масла, но мальчик-то доподлинно знал, отчего перемог болезнь, а вот, поправившись, стал дичиться девочки. Она чувствовала тайну, меж ними зародившуюся, лишившую их свободы, и терпеливо ждала, когда мальчик первым, как и полагается мужчине, подойдет и предложит: «Давай снова играть вместе!» Ждала, ждала и сделалась выше его ростом, избегать парнишек стала, не играла уже в «тяги и мамы» в заброшенном срубе, в лес ходила только с подружками, нагишом при всех не купалась.

Известкарь меж тем выкопал печь в берегу, выжег и загасил в яме известку, после гулял широко, раздольно, взбудоражил все село. Пропив получку, погрузил семью в лодку да и отбыл тихо-мирно в неизвестном направлении.

С рождения укоренившаяся в мальчике вера: все, что есть вокруг, — неизбежно, постоянно, никто никогда и никуда не денется из этого круга жизни — рухнула! Он был так потрясен, что несколько дней не уходил с берега и, глядя на пустынную реку, причитал: «Уплыла девочка!.. Уплыла девочка!..»

Много лет он носил в себе беспокойство и тоску и так ждал девочку, что она взяла и пришла к нему однажды. В другом платье, в другом облике, но все равно пришла, и он, истомленный долгой разлукой, мучительным ожиданием, счастливо выдохнул, припадая к ней: «Девочка моя!»

Но та, что исцелила его в детстве, осталась в нем таким ярким озарением, что и до сих пор стоит перед ним все в том

же синем платишке, все с теми же цветками в руке — дикими ирисами.

Все так же, все то же, только высветленной, ярче, солнечней сделалось там, в далекой дали, грязная льдина рассыпалась алмазами; взбулгаченный лог поголубел, берега его обметало золотом калужника; воробьи, обратившись в радужных зимородков, расселились по гибким прутьям краснотала; боярка душистая, мохнатая, уж не боярка, а какое-то заморское растение; канули в небытие пьяный мужик и парень, завывающие от холода; корова, пустившая жвачную слюну до земли, пастух в драных бахилах, навозные кучи в логу. И девочка была не «шкилетиной» карзубой, с диковато-шалыми, навывкат, глазами ребенка, она сглая стройной, голубоглазой, и ленточка в ее волосах, что цвет шиповника, розовая-розовая, и платье на ней беленькое, новое — подол до самой травы. И тогда, за логом, при их первой встрече девочка не плакала, девочка смеялась, колокольцем названивая, и солнце сияло над ее головой, и небо было высокое-высокое, чистое-чистое, голубое-голубое, как ее глаза, — это он помнит точно!

Померк свет на тропе — унесли соседи лампу из горницы в куть, чаевничать будут долго, с чувством, штук пяток самоваров опорожнят, прежде чем сморятся и отойдут ко сну.

Затемнел, стеной сомкнулся межевой бурьян: пырей, что дождь, долговяз, в земле увяз. Мальчик распрямился. Хрустнуло в коленях, иголки посыпались под штанами по ногам, плавающую по лицу улыбку свергло зевотой. Над мальчиком пролетел, вертунулся и упал тенью за межу козодой, настигший жука-хруща. За городьбой, в лугах, гулко билось коровье ботало, и в тон ему, размеренно и заупокойно, кричала ночная птица в горах, которую мальчику видеть не доводилось, но все равно он обмирал от ее голоса, она снилась ему в виде огромного коршуна с чертячьей головой и коровьими рогами. Над огородом, словно над озером, воронкой кружило чистые парь. Выше меж, выше белеющих в темноте подсолнухов, выше горохового острова катилась из распадка прохлада. По логу она спускалась к реке, устаивалась под ярами, издырванными береговушками. Но меж гряд, в политой на ночь овощи устоялось скопившееся за день тепло. На самом утре, когда перестанет качать было ночная птица в горах и угомонится мухоловка, студеные токи просочатся по логу с гор, из лесов, и все тогда на грядах засеет осыпью росы, и огород сонно утихнет, распустится листом, склонится к земле в дремном умиротворении, наполненном влагой, ожидая тепла, солнца.

Мальчик не слышал, и никто никогда не слышал и не видел, как идет в рост всякое растение. «И не надо этого видеть». Ведь вот же он, мальчик, не заметил, как сам-то рос, поднимался, значит, есть таинство не только в сотворении жизни, но и в движении ее, в росте.

Мальчик умом, и не умом даже, а природой данным наитием постигает замкнутый, бесконечный круг жизни и, хотя ничего

еще понять не может и объяснить не умеет, все же чувствует: все на земле рождается не зря и достойно всякого почитания, а может, и поклонения. Даже махонькие мушки с чуть заметными искорками крылышек на вытянутом сереньком тельце занимают свое место на земле и свою имеют тайность.

Когда мальчик шел в баню и тетки, сердитые оттого, что навязали им мало, торопили его, дергая за руку, он заметил клубящихся над грядами мошек. Распадок струил закатный свет в огород, и в этом остатнем проблеске, будто на вытянутом полувике, столбились, как говорят в народе, «толкли мак», серенькие мушки. Мальчик утянул голову, опасаясь, что его облепят, искусают мушки, но они лишь колыхнулись, отодвинулись в сторону и снова влились в полосу света, искрами за-сверкали в нем.

Не было им дела ни до кого. Захваченные благоговейным танцем любви, который казался бестолковой толчеей, мушки, изнемогающие в короткой губительной страсти, правили свой праздник, переживали природой подаренное им мгновение. Танец на угасающем луче, миг жизни, истраченный на любовь, маковым зерном уроненная в траву личинка — и все. Но они познали свое счастье. И другого им не надо. При ярком свете, при жарком солнце мушки ослепли и сгорели, и крохотные их сердца не выдержали бы другого, большего счастья, разорвались бы в крохотных телах...

Сероватая темь стоит в распадке. По отдельности выступает каждая жердь огорода, вылуженно блестит от сырости. На полянку легла четкая тень городьбы и деревьев, стоящих по горам. Мерно шумит, даже не шумит, глубоко, слышно дышит, стиснутая горами река, и от нее идет переменчивый, зеркально отраженный свет к небу, где мерцают бледные, на помидорный цвет смахивающие, незрелые еще, летние звездочки.

А мушки упали наземь, в капусту. Вялые, ко всему уже безразличные, две или три из них коснулись шеи мальчика, заползли под холщовую жесткую рубаху, приклеились к потному телу. На капусте сыщет, склюет мушек зоркая птичка — мухоловка и целым пучком снесет их в клюве своим зеворотым детишкам, а те, питаясь, будут быстро расти и оперяться, капуста же, избавленная от тли, ядрых примется и, как поп, который хоть и низок, обрядится во сто ризок. В реку упавших мушек будут хватать мулявки и от пищи становиться рыбами — мушки и мертвые продолжают служение более сильной, продолжительной и устойчивой жизни. Стало быть, все эти букашки, божьи коровки, бабочки, жуки и кузнецы, едва ползающие от сырости по брюкве, — все-все они есть не зря, все они выполняли назначенную им работу, все что-то делают на земле, а главное, живут и радуются жизни.

Ну а сорняк на грядах, жалица эта проклятая, сороки, жрущие мухоловкины яйца, кусучие слепни и пауты, которым ребята учиняют фокус — вставляют в задницу соломинку и отпускают с таким трофеем на волю? А гадюка шипучая в смо-

родине, а комары, а мошка, а клещи в лесу?! Этим кровососам, сволоте этой, теснящей и жрущей все разумное и полезное, тоже, значит, торжествовать и радоваться?! Ах ты, бабюшки мои! Чудно-то как! И спросить не у кого... Бабка дома, дед в баню собирается, тетки моются, дядья коней в луга угнали, земля молчит. Не у кого спросить.

Сам думай, сам ищи ответ, раз задачу сам же себе задал, а тут сморило всего, спать тянет, думать ни о чем не хочется...

Да ну их, все эти вопросы и задачи! Потом, потом, когда вырастет, само собой все и ответится, и решится, а пока, обмякший от накатывающего сна, мальчик идет к калитке, неся в сердце умиротворение, сопротивляясь дремоте и невнятно повторяя себе под нос: «Сон да дремота — поди на болото!»

Нашарив волглую веревку, мальчик снимает ее с деревянного штыря и еще раз оборачивается к огороду, наполненному живыми существами. По-за огородом, в лугах, идет истовая, дружная косьба. Стрекотом кузнечиков так все переполнено, что уж слит тот многомоторный звук воедино с ночью, с земной утишенностью, даже плотнее он делает ночную тишину. Тот кузнец, что продрыхал в капусте, разогрелся, распалил себя, искупая свое упущение, звончее всех строчит из огорода в небесную высь, сдается, пучеглазый этот стрекотун даже зажмурился в упоении.

Дух плодов и цвета, вобравший в себя ведомые мальчику запахи, уверенно стоит в чаще огорода, оттесняя запахи леса, и трав, и бурьянов. Но и в этом запахе, как бы паря над плотным дымчатым слоем, буйно звучит лютый дурман табака, угарно-горького мака, лопухо прикрывшегося серой шапочкой на ночь. Маленькую маковку с белым еще семенем в середине берегут от холода метляками слипшиеся лепестки. Запахи моркови и укропа точат нос, но глушит его резко зацветающая, маслянистая конопля, которую кидает ветер блошкой, а она натрясет полное лукошко. Однако ж и ладаном воняющую коноплю, и лежалой хвоей отдающий укроп, весь огородный, трудовой дух забьет поутру, после восхода солнца навально катящимися с гор, упругими волнами разогретой серы-живицы со стволов сосняка, кедров, лиственниц и елей.

\* \* \*

Из пухлой, залитой зеленой гущиной пластушины ланосной земли, возделанной человеческими руками, над которой если и ветер гулял, то пухлым казался, невозможным, навеки канувшим представлялось то время, когда пустой, ровно бы военное нашествие переживший, истыканный, искорябанный, лунками израненный, будет стариковски уныло прозябать огород.

...Кучи картофельной ботвы как попало разбросаны по огороду. На сквозном ветру колючий осот бородой трясет, сопливая паутина обвисла на исхудалой, растрепанной межевой дурнине, ястребинка сорит грязным, дрянным семенем; розетки

дикого аниса, жабрей, лебеда, чернобыльник осыпаются, цепляются за все, а уж репейник, что дедушка, осердился, в бабуску вцепился, ну везде-везде он: в хвостах собак и коров, в гривах коней, в рубашках, в штанах и даже в башке, в волосьях царапается и уцепится — выдернешь с горстью волос. От кого и радость, так это от хрена — зеленеет бродяга, бодрится молодо, из бурьянной глухомани он, словно из кутузки, на свет божий вывалился, радехонек воле.

Сбежались тучки в одну кучку, березы в лесу понизу ожелтелились, коровы, кони и собаки спиной к северу ложатся, перелетные птицы в отлет дружно пошли — верные ворожеи: быть скорому ненастью, быть ранней осени.

Остающиеся в зиму птички грустны, нахохленны. Сытые вороны угрюмо сидят на коньке бани, по веткам черемух обвисли, на пошатнувшихся кольях окаменели, могильно-скорбные, задумались они о жизни, впали в тягучую тоску иль дрему. Паутина перестала плавать в осиянном поднебесье, плесенью опутала она прокислые листья бурьяна. Обнажились в межах мышинные и кротовые норы. За баней в предсмертно и оттого яростно ошетилившейся крапиве обнаружилась цыпушка, которую искали все лето, мертвая, пустоглазая, почему-то ни мышами, ни собакой не тронутая. Татарник шишки раскрыл, сорит из них волокнистый пух. Носит пух по-над огородом и пустой землею, бросает в чашу, гоняет по реке. Хариусы, скатившиеся на зиму из мелких речек, принимают пушинки за муху иль метляка, выпрыгивают наверх, хватают их, после сердито головой трясут, выплевывая липкую нечисть из рта.

Светла вода, светел и прозрачен воздух, но и река уже берется со дна дремотой, в воздухе день ото дня все меньше сини, туманы по утрам плотнее, и лампы в избах засвечивают рано. Перезрелая, но все еще темнолистая конопля, качнет ее, чуть тронет ветром, засорит свинцовой дробью. Ребятишки заворачивают коноплю в половики, бухают палками. Провеяв семя на ветру, горстями сыплют его в рот, хрустят так, что беззубые старики завистливо сердятся, гонят ребятишек заниматься молотьбой по-за глазами.

Щеглы, овсянки, чижи, синицы из лесу на огороды слетелись, шелушат репейники и коноплю. Воробьи, по-здешнему чивили, объединились в стаи и такие побоища поднимали, что по всему селу гомон разносился, над межами пух и перья летели. Мятые, растрепанные, летошние чивили жаловались: «Что мы, что мы нехорошего сделали? Учили воровать? Воруем! Учили чирикать? Чирикаем! Чем мы, чем мы не угодили папе с мамой?!» Старый воробей, со спины коричневый, по груди и пузцу седой от жизненных невзгод, глядел из-под лопушьего листа на эту серую мелкоту, исполненный беспредельной горести: «И это мои дети?!»

Деловито чирикнув, он спархивал в сухой бурьян. Опасливо, один по одному, следом за ним в межевую глушь ныряли

и молоденькие чивили. Из кормных зарослей начинали раздаваться такие восторженные возгласы, такое восхищение папой, что он снизошел — выслушал похвалы в свой адрес. Оказывается, возня, побоище были всего лишь маневром, с помощью которого вырабатывалась не только храбрость, увертливость, но и смекалка — семя с кустов конопли вытряхивалось на землю — и клюйте его, набирайтесь сил, дети! «Ну папа! Вот это папа! Где вы, где еще вы можете найти такого папу!» — заливались жирующие чивили.

В печальные, закатные дни осени какое-то неприкайное, виноватое объявится ненадолго солнце, и на затужалой земле очнется, воспрянет какая-никакая поросль — вяло, бледно зазеленеет день-деньской мокрая отава; один-другой цветок кульбабы засветится; бабочка над огородом запорхает; сонный шмель загудит, слепо тыкаясь во что попало; из старой черемухи ящерики на теплые бревна бани выбегут; кузнецы попросят литовки точить, на огуречной гряде, вроде бы уж на смергь убитой, среди желтой слизи вздымается одна-другая плеть. Болезненные цветочки, похожие на окурки, родят тоже болезные, «не божецкие» плоды с худым, пупыристым задком иль с рахитно вздутым пузцом, головастика выдадут иль в загогулину плод изогнут, а то уродливыми близнецами они слепятся...

Огурчики, травка, блеклый цветок, вялая бабочка над огородом, отрывистое чиканье кузнецов — последний вскрик золотой осени. Скоро, совсем скоро заскорбнет земля от ночной стыни, и как-нибудь, еще до рассвета отбелится тесовая крыша бани, засверкает искристо ствол старой черемухи, захрустит под ногами топтун-травка, ломкими сделаются лопухи хрена, бочажину охватит морщинистым ледком. Падет пронзительная тишь на округу, и еще далекое, еще не слышное утро белым вздохом найдет печальное, едва уловимое предчувствие зимы. А перед самым мясоедом на небе кто-то примется теревить гусей, и устало присмирившую, успокоенную землю покроет белым пухом.

Нет, не думает мальчик о холоде и зиме, не хочется ему об этом думать, как не умеет и не может еще он думать о старости и о каких-либо жизненных невзгодах — виденье осени лишь вскользь коснулось его души, согретой мягким, благостным теплом, и исчезло без следа.

\* \* \*

Мальчик закрывает калитку, по-хозяйски старательно заматывает веревку. Все в нем напилось огородными духмяностями, аж ноздри точит и на чих позывает. Во рту шершаво, словно от недоспелой черемухи, хочется парного молока, а оно, знает мальчик, стоит в белой фарфоровой кружке на кухонном столе, прикрытой ржаным ломтем хлеба.

Возле дощатой калитки оставлены опорки. Во дворе земля

истолчена скотом. Мальчик, нащупывая опорки ногами, замечает свет в кухонном окошке, и совсем хорошо на сердце делается: увидеть «нечаянно» свет в родном доме — к счастью! Под навесом, звякнув цепью, отряхнулся Пират, знаменитый тем, что у новопоселенки-фельдшерицы, квартирующей вместо известкаря, выследил он похожую на тушканчика японскую собачонку и съел ее, приняв за лесную зверушку. С тех пор Пират пожизненно посажен на цепь, безутешно же рыдавшая по собачке постоялица обзывает его смешным, нерусским словом «каннибал» и боязливо, боком скользит по двору, когда приходит за молоком, хотя пес не только кусаться, но и лаять перестал от конфуза и лупцовки, полученной за погубление заморской собачки, стоившей дороже подвинка и питавшейся исключительно пряниками.

Сунув ноги в холодное нутро опорок, мальчик зашел под навес, потрепал по пыльному загривку мученика-пса, сделавшего одну-единственную промашку в жизни, но не прощенную людьми. Сами-то себе они ой сколько прощают! Пират признательно облизал лицо мальчику и, старчески вздохнув, полез обратно в конуру.

В просквоженной добротой и теплом груди мальчика шевельнулась и обмерла нежность напополам с жалостью, захотелось ему кого-нибудь обнять, стиснуть, сказать что-нибудь хорошее. И еще — вот ведь оказия какая! — заплакать приспело. Обхватить руками Пирата, нет, все обнять, что шевелится, светится, поет, свистит, растет, цветет, стрекочет, шумит, звенит, плещется, пляшет, бушует, смеется, — прижаться ко всему этому лицом и заплакать, заплакаты!..

Истлевает паутинка, уплывает, рвется, оставляя серебряный отсвет. Я пытаюсь удержать в себе хотя бы отблеск дивного видения и какое-то время оголенным сердцем чувствую едва осязаемое касание дальнего света, вижу дымчатую даль, и во мне живут звуки, запахи, краски, принесенные памятью.

Спит моя родная земля, глубоко спит, натруженно дышит, и витают над нею беды и радости, любовь и ненависть — и все горит, все не гаснет моя серебряная паутинка, но свет ее отдаленней, слабей, утихают во мне звуки прошлого, блекнут краски, чтоб снова озариться, засиять, когда сделается мне невыносимо жить и захочется успокоения. Хоть какого-нибудь...

Глубоко вздохнув, мальчик кладет теплую ладонь под теплую щеку. Пусть смотрит он свои легкие, радужные сны.

Грозные сны досмотрю за него я.

# Где-то гремит война

Группу и профессию в ФЗО я не выбирал — они сами меня выбрали. Всех поступивших в училище ребят и девочек выстроили возле центрального барака и приказали подравняться. Строгое начальство в железнодорожных шинелях пристально нас оглядело и тем парням, что покрупнее да покрепче, велело сделать шаг вперед, сомкнуться и слушать. «Будете учиться на составителей поездов», — не то объявили, не то приказали нам, а слов о том, что идет война и Родина ждет, тоже не говорили, потому что и так все было понятно. Из того, что отобрали в составительскую группу самых могучих парней и не допустили в нее девочек, мы заключили, что работа нас ждет нешуточная, и кто-то высказал догадку: не глядя на военное время, нам выдадут суконную форму и поставят на особое питание.

И хотя предсказание это оказалось поспешным и не сбылось, мы все же склонны были считать и считали себя людьми в желдоручилище особенными и постепенно приучили к тому, чтобы нас таковыми считали ребята и девочки из других групп, не протестовали бы, когда нам перепали поблажки в виде внеочередного дежурства на кухне, в хлеборезке или поездки домой, и опасались нарушать внутренний режим, если в корпусах стояли наши дневальные.

Давно уж я отзимогорил на Базаихе у дяди Васи и самого дядю успел проводить на фронт, обжился в восьмой комнате нашего общежития, сдружился с ребятами и на практике познал, что работа и на самом деле ждет нас не просто нешуточная, но и опасная. Словом, и жизнь и учеба для меня да и для всех ребят сделались привычными буднями, как вдруг незадолго до Нового года получил я из родного села от тетки Августы письмо в несколько строчек, которым слезно молила она навестить ее, — и очень встревожился.

За время учебы ни разу не получал я из деревни писем,



никуда не отлучался, и когда показал письмо мастеру группы, Виктору Ивановичу Плохих, который, супротив своей фамилии, был человеком хорошим, не без оснований назначенный дирекцией в самую трудную группу, то он, прежде чем отпустить меня, долго и хмуро соображал — учились мы скороспешно, железнодорожный транспорт был оголен военками в сумятице первых военных месяцев до того, что даже с фронта скоро начали отзывать железнодорожников, и потому выходных нам не давали, никуда нас не отпускали, словом, держали строго, по-военному.

Мы сами выискивали возможности и способы прятать друг друга на поверках и подменяться во время практики и, сколь мне помнится, Виктора Ивановича Плохих, давшего возможность распоряжаться нам собою, не подводили. Все теоретические, но больше практические занятия оценивались в группе нашей только на пятерки, и горе было тупицам, с которыми занимались мы сами, вколачивали в них науку и доводили до уровня. Они и сейчас, наверное, не могут забыть того труда и пота, который потратили в ту военную зиму, чтобы заучить пэтээ — правила технической эксплуатации, железнодорожной сигнализации, грузоподъемность вагонов, паровозов и прочие транспортные премудрости.

В длинном пальто, отяжеленном двумя пайками хлеба, упрятанными в карманы, вышел я из общежития под вечер. Никаких паек не полагалось мне выдавать, но Виктор Иванович Плохих и староста нашей группы Юра Мельников были теми руководителями, которые брали и не такие крепости, как хлеборезка Васеева Наталья. Она сказала: «Будь вы прокляты! До смерти надоели!» — но пайку за вечер и за утро все же отпластнула.

Я выдрал листки из тетрадки по теории пэтээ, завернул в них горбушки и отправился в путь, памятуя, что греет хлеб, а не шуба.

Фэззошные ботинки издавали на морозе технический звук. Они всхлипывали, постанывали, взвизгивали, словно давно не мазанный кузнечный молот или подработанный клапан паровоза. Такая обувь для сибирской зимы — не обувь, но про пальто ничего не скажешь. Пальто знатное. Оно, правда, не по росту мне, однако красивое и с особенными запахами. В каждом порядочном колхозе есть тулуп или доха общего пользования, у нас в группе вместо дохи вот это пальто с каракулевым воротником. Пальто грубошерстное, колкое, каракуль что металлический шлак, но все же это не фэззошная телогрейка длиной до пупка. Чужевато мне пальто, да я постепенно обживал его, обнюхивался. Очень оно тяжелое и пахнет разнообразно: табаком, мочалом, тлеющим сукном, но больше всего — вагонной карболкой. Совсем отдаленно, чуть ощутимо, будто вздох о мирных временах, доносился из недр пальто запах нафталина.

Пальто прибыло в школу фэззо из города Канска, на Юре

Мельникове. Наряжен был Юра еще в голубой шарф, в дымчатого цвета бурки и кожаную шапку, тоже с каракулем. Мы выбрали Юру старостой группы, и, думаю, в выборе этом первую роль сыграл Юрин наряд, как потом выяснилось, ему не принадлежащий. Все добро, надетое на него, было дедушкино. Бабка до поры хранила его в сундуке. Но бабка умерла вслед за дедом, Юра вынул добро из сундука, надел на себя, свою одежонку загнал на базаре и поехал куда глаза глядят.

Поезд остановился на станции Енисей.

Юра пошел посмекать насчет еды, и, пока уминал соленую черемшу, поезд ушел, а Юра, чтобы скоротать время, читал разные объявления и наткнулся на призыв поступать во вновь открытое фзэо № 1. Поскольку оказалось оно рядом со станцией, Юра отправился в желучилище, принят был туда без промедлений, к обеду оформлен на довольствие, к вечеру определен на койку, а через сутки — вознесен в начальство.

Шарф и шапку мы проели в честь знакомства, пальто, поразмыслив, оставили. В группе хотя и молодой, но очень смекалистый народ. Нам надо было выжить в такое тяжелое время, и не только выжить, но и обучиться профессии, поэтому мы постоянно смекали, где чего промыслить, как выгодно пройти практику и в тепле — тактику, то есть классные занятия.

Повизгивали мои ботинки, постукивали, побрякивали, и под их разнообразное звучание хорошо думалось о ребятах, о дороге, о надвигающихся сумерках.

О том, что ждет меня в селе, я старался не думать, потому что не хотелось мне думать о тревожном. Тревоги и без того вокруг — хоть отбавляй: в зиме, в улице, в машинах, хрипло гудящих, в скрежете поездов, в заводских трубах, в небе и в сердце моем.

Я миновал Базайский деревообделочный комбинат, что был за железнодорожной линией, круто поворачивающей к реке и двум мостам через нее. По взвозу, заваленному древесной крошкой, опилками и корой, где катом, где бегом спустился я вниз, на лед, и сразу почувствовал, что мороза здесь больше и по реке тянет колкий ветерок. Мимо железнодорожных мостов, мерзло и гулко звякавших под эшелонами, я поспешил на другую сторону Енисея, где спускался от города санный путь к нашему селу. Ботинки мои чэтэээ запели еще громче, еще техничней на тропе, твердо утоптанной, остекленелой от мороза. На базайской стороне зимника не было, все зимние дороги кончались за Лалетинским опытным садом. Там, в саду, все еще жила и работала тетя Люба с Катенькой. А дядя Васи, не Сороки, а того, что дядя мне с потылицынской стороны, уже в живых нет. Его убили на войне. Я как-то был у тети Любы. Она поила меня чаем с вареньем из маленьких горьковатых яблок — ранеток. Катенька училась во втором классе, и, когда пришла домой, я ей напомнил песенку, которую она пела, приехавши с дядей Васей и с тетей Любой к бабушке в гости:

Ты, сорока-белобока,  
Научи меня летать  
Невысоко, недалеко...

Катенька устало поглядела на меня,<sup>1</sup> а тетя Люба — угодливая душа, попыталась за нее улыбнуться: помним-де, помним...

Больше я к ним не заходил.

Бабушка моя, Катерина Петровна, эту зиму ходила по людям, правда, не по чужим, по своим, но все же я знаю, что такое выглядывать куски за чьим-то столом. Она всегда называла себя ломовым конем, потому как работала всю жизнь, точно ломовой конь, но и ела она по работе — вдосталь — крепкой и здоровой крестьянской пищи. А ей дали карточку на двести пятьдесят граммов хлеба. Она недоедала, «замерла», как сама жаловалась мне осенью; смирила гордость и пошла сначала к Зырянову, потом к Кольче-младшему: Зырянов работал бакенщиком у Манского шивера. Кольча-младший тоже бакенщиком пошел, его пост верст пять выше Зырянова, у реки Минжуль. Бабушка кочевала из одной избы бакенщика к другой, потому что здесь только и могли ее покормить, остальные сыновья и дочери сами жили голодно, военным пайком.

Что же случилось у Августы? Без причины она не позвала бы меня. А причина какая сейчас может быть? Беда. Только беда.

Что делается вокруг? Зима. Голодуха. На базарах драки. Втиснутые в далекий сибирский город эвакуированные, сбитые с нормальной жизненной колеи, нервные, напуганные, полураздетые люди, стиснув зубы, преодолевают военную напасть, ставят заводы, куют, точат, пилят, водят составы, крутят руль, кормят себя и детей. И, как нарочно, как на грех, трещат невиданные морозы. И прежде в Сибири зимы бывали не бархатные, однако ж сытые чалдоны, одетые с ног до головы в собачьи меха, не особенно их признавали. Еще и нынче нашего брата, обутого в фэзэошные ботинки и телогрейки, чалдоны с гонором корят: «Хлипкие какие парни пошли! Вот мы ране...»

Что же все-таки случилось у Августы? Что?

«Вжик-вжик-вжик!» — наговаривают мои ботинки. Носки у них широкие, лобастые, рыло вздернуто кверху. Между подошвами и передками полоска снега — похоже на широкий наливший рот. Резвые ботинки! Жалко — размером маловаты. Обувь завезена в фэзэо из расчета на юношеское поколение, и крайний размер мой — сорок третий. По такой зиме надо бы размера два в запас. Положить в ботинки шубные стельки или кошму, потом портянку потолще намотать, суконную бы, да газету сверху...

Ветерок ничего, военный, тянет из наших мест, из енисейского скалистого коридора. Каленый ветер. Каменный. Такой пробирает до души.

Я повернулся к ветру спиной, снял шапку, и, пока развывал тесемки, на мою стриженую голову ровно бы железное

ведро опрокинулось, аж стиснуло голову. Шапка надета, тесемки завязаны. Коротковагы уши у фэззошной шапки, сэкономили на ушах. Ну да ничего. Пальто зачем? Поднял воротник пальто — и сразу стало душно, глухо, запахло старым-старым сундуком. Небось сундук был такой же, как у бабушки, весь в жестяных лентах, с генералами и переводными картинками внутри и с таким количеством загадочного добра, что уж и музею в зависгь такой сундук.

Никогда не думал, что возле города Енисей так широк. Пока добрался до осенней дороги у речки Гремячей, от которой считается восемнадцать верст до нашего села, посинело на реке, вегер как будто унялся, припал за торосами, но студено, ох как студено вечером на зимней реке.

На мостах, проступивших из мерклой стьни темными фермами, спутанными в крупночешистую мережу, за быками, вмерзшими в лед, и за насыпью, в городе что-то грозно ворочалось, бухало. Все звуки были утробные, приглушенные, тяжело отдавались они в мерзлой земле, сотрясали железо и камень.

Гнетущее беспокойствие было в этой туманной студеной глуши, маневровые паровозы кричали надрывно, и гудок, в доке, возвестивший конец смены, был сипл, устало протяжен, без эха. Он прошел поверху всех шумов и остыл, смерзся с ними, как смерзается неровным наростом гнойно-желтая наледь со снегом и льдом.

У моста говорило радио, если точнее сказать, оно шебаршило утомленно и невнятно. Я всегда любил слушать радио с шорохами, тресками, завываньями. Мне чудилось что-то загадочное и казалось: вот-вот сквозь барахольную неразборчивость прозвучит неземной, обязательно женский, голос. Я и так уж в силу своего возраста жил в постоянном ожидании необычайного, а когда слушал неразборчивое радио, весь напрыгался, чтобы не пропустить тот миг, тот неведомый голос, который назначен будет мне.

Я пошел быстрее от города, от речки Гремячей, от тревоги, пропитавшей все насквозь, даже воздух; от тяжелых железных мостов, на которых грохотали и грохотали составы на запад, на фронт. Рывающими гудками они всё распугивали на стороны, черной железной грудью сметая людское скопище, раздвигая перед собой мороз, останавливая встречные пассажирские поезда, сборные товарняки, коверкая расписания и железнодорожные графики — все условности мирного времени.

Наверху, возле речки Гремячей, возле протесанной в скалах дороги, ныне уже осыпавшейся, стояла избушка, и в ней мутно светилось окно. Много-много лет потом будет мне сниться тот огонек, потому что неудержимо меня потянуло в его тепло. Но я преодолел себя, побежал проворней, придерживая рукою воротник пальто у подбородка. Ботинки мои уже не наговаривали, а голосили, и хотя возле каменных обрывов нестерпимо жгло и закупоривало морозом дыхание, идти все же было легче, чем на открытом месге.

✓ Но как только миновал я окутанное сумерками крутогорье и очутился за перевалом возле пологого берега, где прежде размещалась многолюдная слобода, меня так опалило ветром, что я задохнулся и подумал: «Не вернуться ли?»

Мне оставалось идти верст пятнадцать. Надвигалась ночь. Ветер тронул и потянул с горосов и сугробов снега. Пока он раскуделивал их, прыл над самой дорогою, скручивал в веретё и пошвыривал обрывки за гребешки торосов, за воротник пальто, в лицо и глаза — было не столь холодно, сколь глухо. Но когда весь снег подымет ветром да понесёт?..

Ботиночки-то, чэтэзэшочки-то, вон они, постукивают чугуно, побрякивают, попробуй выдохнись...

На этом берегу, мимо которого я сейчас спешу, ютились когда-то маленькие избушки из фанеры, из досок и разных горбылин. Вокруг избушек полно было маленьких огородов. Обитатели игрушечного городка переселились сюда из Расей. Расей у нас звалось все, что за Сибирью, иначе говоря, за нашим селом. А уж за городом — конец земли. Обитатели слободы называли нас кацапами, и увозили они из нашей деревни назём на подводах.

Переселенцы были очень трудолюбивы и голосисты. Они пели: «Ой ты, Галю», «Закувала та сива зозуля» и «Гой, куме, нэ журысь!..» Они пели и гуляли, но не дрались, чем очень озадачивали красноярцев, которые все делали с маху и в работе вели себя, как в драке. Те, из Расей, работали себе тихо-хотько, мирненько, но получалось так, что чалдоны еще заглядывали на реденькие всходы в своих огромных огородах, гадая, чёго вырастет — трава или свекла, а пришлые тем временем уже весело, распевно гомонили на базаре и одаривали, именно одаривали покупателей редиской, луком, затем и ранними огурцами и красными помидорами. Наши овсянские гробовозы дивились такому чуду, пытались подпавивать самоходов, метились выведать «слово».

Самоходы посмеивались, толковали — никакого секрета нет, все, мол, дело в навозе. Чалдоны этому веры не давали. «Ох и хитрые, язви их, эти самоходы! Не выпускают секрету!»

В голодный год не до куражу сделалось, и кое-кто из наших селян попробовал класть навоз в огородах — овощ пошла крупнее. Однако ж чалдоны, и в первую голову моя бабушка, по привычке горячились: «Да штабы всякое дерьмо исти? Да пусть его хохлы сами лопают!..»

Самоходы научили наших и зерно молотъ ручными жерновами, крахмал добывать из очистков картофельных, и мерзлую овощ с толком использовать, и многому другому научили. Они не были избалованы землей, тайгою и изворотливей жили на свете.

Давно уж нет переселенческой слободы. Разбрелись по разным местам ее обитатели, осели в городе, в деревнях, породнились, перекумились с чалдонами, а дело хорошее — память добрая — и песни их глосистые выросли в нашу землю.

Неподалеку от бывшей слободы, где никаких домиков уже не угадывалось, а сорили там по ветру заросли пустырной растительности и незаправдашно ярко, по-детски беззаботно, многооконно светилась школа глухонемых, меня посетила мысль: свернуть в тепло, переночевать, переждать непогоду. Но вокруг школы помигивали огоньками какие-то пристройки, подсобные помещения темнели, побреживали собаки — тоже небось охрана? В этой школе учился нелегкой своей грамоте и столярному ремеслу мой любимый братан — Алешка.

Хорошо ему там, чучелу-чумичелу, привычно среди своей братвы, а зайдешь — и начнется: кто да чего? Да почему? Надо объяснять на пальцах: родня, мол, тут моя, братан Алешка, что, мол, росли мы вместе, что иду я к его матери. Письмо покажу в крайности.

Выросли мы с Алешкой. Набедовалась бабушка с нами. Как-то она сейчас? Плохо ей. Но ничего. Вот фэзэо закончу, стану зарабатывать хорошо и возьму ее к себе. Мы с ней ладно будем жить. Равноправно. Бабушка шуметь на меня станет. Пусть шумит. Я уж не буду огрызаться. Пусть шумит...

С думами я не заметил, как миновал место бывшей слободы и школу глухонемых. По берегу пошли дачи, сплошняком стоявшие в сосновом и березовом лесу. Лес подступал к самой реке, и веснами его подмывало и роняло. Летом дорога протекает там, поверху, и весело бывает идти краем берега, дачными тропами и глядеть на резво играющих в мяч людей, купающихся, гуляющих, на этот, несколько непонятный деревенским людям мир. Вечерами в рощах играла музыка, от которой сладко сосало сердце и чего-то хотелось: уйти ли куда-нибудь и с кем-нибудь или заплакать. Танцы были в разных местах. После танцев мужики и парни водили девушек по лесу, прижимали их спиной к деревьям.

В тот год, когда утонула моя мать, я жил недолго в одном из здешних домов отдыха и все вызнал. Зырянов работал тогда плотником в дачном поселке, устроил меня на месячное бесплатное питание в казенную столовую, но выдержал я только неделю такую жизнь и запросился к бабушке, которая и забрала меня домой, к сердитому неудовольствию Зырянова и тетки Марии.

Любопытно устроена человеческая жизнь! Всего мне семнадцать лет, восемнадцать весною стукнет, но так уже много всего было — и хорошего, и плохого.

Про галушки вот вспомнилось. Самое, пожалуй, приятное и бурное событие в моей нынешней жизни.

Галушки продавали в станционном буфете к приходу поезда. О них вызнали фэзэошники, эвакуированные и разный другой народ, обитающий на вокзале. Буфет брали штурмом. Круто посолненное клейкое хлебо-во из ржаной муки выпивалось через край, и дно глиняных мисок вылизывалось языками до блеска. Пассажирам галушек не доставалось. Тогда в буфете стали требовать железнодорожный билет. Предъявишь билет — по-

лучишь миску галушек, два билета — две миски, три билета — три. Стоило хлебово копеек восемьдесят порция — цена неслыханная по тем временам. На копейки уже ничего не продавалось, кроме этих вот галушек и билетов в лилипутный театр, военным ветром занесенный на станцию Енисей.

Галушки варились в луженом баке. Перед раздачей бак выставляли в коридор — для остужения, так как люди оплескивали друг дружку у раздаточного окна, да и кустарного обжига миски горячего не выдерживали — трескались.

Ребята углядели бак и решили унести его целиком и полностью.

Операция была тонко продумана.

Мы подобрали из группы путеобходчиков парня говорливого, с туповатой и нахальной мордой. Якобы не зная броду, затесался он в воду — вместо вокзала — на кухню станционного буфета, и, пока гам «заговаривал зубы», мы проделали железный лом в проушины бака и уперли его домой.

Сначала галушки хлебала наша группа и проныра путеобходчик. Сверху было жидко. Мы вынули из-под матраса доску, отломили от нее ошепину и шевелили ею хлебово. Со дна, окутанные серым облаком отрубей, всплывали галушки, и тут, наверху, их, будто вертких головастика, с улюлюканьем поддевали ложками.

Наевшись до отвала, мы позвали девчонок из соседнего барака и передали им ложки. Галушек в баке почти не осталось, мы их зарыбачили, но хлебать еще можно было. Девки споро работали ложками и время от времени восторженно взвизгивали — из глубины бака возникала галушка. «Лови ее! Чепляй! Не давай умырнуть! Пап-па-а-ала-а-а-а! Рубай, девки, чтоб кровь в грудях кипела!..» — орали мы.

Управившись с галушками, поручили мы дневальному отнестись на чердак посудину и закатить ее подальше, в темень. Дежурный надел через плечо винтовку с вывинченными от скуки шурупиками, допил остатки варева через край, очумело потряс головой — солоно на дне, и все сделал, как было велено.

Сытые, довольные, мы вместе с девчонками пели песни, первый раз, кажется, после того как поступили в училище, и у нас получалось хоть и не так слаженно, зато дружно. Я так разошелся, что исполнил соло: «О маленькая Мэри, кумир ты мой! Тебя я обожаю, побудь со мной!..»

Девки начали переписывать песню про Мэри — так она им поглянулась, и попросили продиктовать что-нибудь такое же изысканное, про любовь. Я напряг память. «Это было давно, лет пятнадцать назад. Вез я девушку трактом почтовым. Вся в шелках, соболях, черно-бурых лисах и накрыта платочком шелковым...»

Ребята завистливо пригхли, а я становился все смелей и смелей и поражал девчат своей памятью, диктуя без роздыха: «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды..», «Я брожу

опять в надежде услышать шорох и плеск весла. Ты что ж не выйдешь ко мне, как прежде?..»

В тот вечер я, может, покори́л бы если не всех девчат, то уж хоть с одной заимел бы знакомство. Была там из кондукторской группы, смотрела на меня, рот открывши, в берете, в новой телогрейке, с косами — красивенькая. Я уж и диктовать-то рассеянно начал, путаться стал, и до чего дело дошло бы, одному богу известно, как вдруг, оттолкнув дневального, с грохотом ввалился в наше общежитие зав станционным пищеблоком. «Жулики! Засажу! — кричал он. — Засажу! Всегда в первую очередь отпускал! А вы?!»

Дурак он, тот станционный буфетчик! В людях совсем не разбирается. Разве горлом фэззошника возьмешь? Мастера, замполит, комендант, директор — вон какие люди. Генералы почти! — и те с нами вежливо: «Вас назначили», — говорят. «Вы обязаны...», «Вас просят», «Вы на дежурстве» и так далее.

— Минуточку, гражданин! — поднялся с кровати староста нашей группы Юра Мельников и солидно помолчал. — Вы по какому праву врываетесь в молодежное общежитие, напав на часового в военное время? — Юра сделал паузу, еще более солидную. — И почему позволяете себе в присутствии девушек оскорблять молодое рабочее пополнение?

Ах, как я жалею, что не было у нас фотоаппарата. Хотелось бы мне сохранить на память карточку того буфетчика! Моментальную.

Он еще хранил спесь и надменность, то самое выражение, которое носили в войну на лице работники разных пищеблоков, но разгон иссяк, душа его и мысль сбились с заданного настроя, и он забормотал что-то насчет бака, который совсем недавно выудили цыгане за большие деньги, насчет норм, перерасходов и ответственности.

В дебаты вступила вся наша дружная составительская группа, гость наш — путевой обходчик, затем и девки. Буфетчик был сокрушен и раздавлен. Дело дошло до того, что тот же дневальный, которого зав сорвал руками с поста, пхнул его прикладом в зад.

Вот так-то, дорогуша. Ты грудью на массы? Но если массы спаяны — они сила! А если их к тому же возглавляет такой человек, как Юра Мельников, — сила двойная! Он умрет за коллектив и за каждого члена коллектива тоже. Вон он мне пальто дал, пайки выхлопотал. Иду я, а карманы так приятно оттягивают! И могу я пайки слопать, но могу и повременить.

Дальнейшая работа по устранению конфликта велась уже не через зава, а через раздатчицу буфета, Кланю Сыромятникову — землячку Юры Мельникова и близкую знакомую моего ходового дяди Васи.

Бак, вылуженный цыганами за большие деньги, был возвращен в пищеблок с условием, что отныне и до скончания века галушки любому фэззошнику будут выдаваться вне очереди, без предъявления желдорбилета. И всякий другой продукт,



изредка попадающий в буфет, как-то: соленая черемша, грузди соленные, квашеная капуста, вареная свекла — тоже отпускаются фэззошникам на льготных условиях.

Бак с галушками больше не выставляли в коридор станционного буфета, зав на всякий случай здоровался со всяким лицом, хоть чем-то смахивающим на учащегося трудовых резервов.

Дорога отвернула в сторону от крупно и густо заторошенной косы. Берег с мерзло потрескивающим лесом и домами огнесло в серую, густую наволочь. Перестали взвизгивать ботинки.

Заносы.

В спину ударило ветром. У щиколоток, возле раструбов ботинок ноги взяло в железные кандалы. Домов не видно. Огни школы глухонемых загасли. Ни искорки, ни звездочки, ни подводы, ни путника на дороге, ни отголоска жизни. Ветрено. Холодно. Тесно в торосах. Одиноко в ночи. Надо нажимать. Надо идти. Теперь только идти и идти. Раз уж не свернул на сгонек в Гремячей, постеснялся обеспокоить людей в школе глухонемых, где, конечно же, из-за фэззошника установили бы на ночь дежурство. Такая уж слава у нашего брата: фэззошник и арестант почти на одной доске. «Ладноть, живы будем — не помрем! — заметив впереди темнеющий остров, подбодрил я себя. — Давай об чем-нибудь сердечно думать. Ну хоть бы о кондукторше с косами».

Как познакомиться с нею? Может, записку написать? Как ее зовут? Не спросил. Вот недотепа! Мне почему-то кажется, зовут ее Катей. Всех девушек с косами, по которым бусят волосинки, выбиваясь из ряда, у которых надо лбом завитые колечки, повернутые друг к дружке хвостиками, пухленькие, удивленно приоткрытые губы, глаза стеснительные, то и дело запахивающиеся ресницами, — всех таких девушек зовут Катями и Сонями. Такие девушки очень трогательны сердцем, правом кроткие, чувствительны к песням и стихам. Этой Кате-Соне надо послать письмо с эпиграфом, да с таким, чтоб сердце от него дрогнуло и обомлело. «Мне грустно и легко, — написать. — Печаль моя светла. Печаль моя полна тобою!.. А. С. Пушкин».

Мне грустно и легко...

Нет, не грустно и не легко, после шестнадцати отчего-то мне очень одиноко сделалось, так одиноко, как не было даже в игарской парикмахерской, и все мне хочется куда-то уехать, убежать. Зачем я такой уродился? Вон ребята как живут. В картишки перекидываются, на танцы в красный уголок бегают, девчонок потискивают в коридорах, иной раз вывертывают в обшестожитии пробки или по-другому портят электричество, чтоб тискать их в темноте. А я этого не умею. Имя у девушки и то постеснялся спросить. Размазня!

Вот и остров. На нем нет доброго леса. На нем несколько старых, неуклюжих и каких-то неприкаянно одиноких тополей,

вершины редких тальников, свистящих на ветру, да сигнальный щит, у которого доски приколочены вразбежку. И хорошо, что вразбежку. Раз негде укрыться, стало быть, надо шагать.

Шагать, шагать и шагать.

Приверху острова выдуло до гальки. Со льда, горбато выгнувшегося на обмыске, счистило снег. Лед провальню темнел, и дорога исчезла на нем. Сначала еще заметны полосы от полозьев, выбоины подков, царапины, трещины. Но все исчезло, размылось в белом: и полозновица, и выбоины, и царапины.

Я разбежался. Чэтэзэ мои закричали и покатали меня по мраморно гладкому черному льду. Я еще разбежался, еще катнулся. Ветром меня заносило, развевало, а я упорствовал. «Кати-и! Все равно, как голый лед кончигся, пойду по дороге».

По дороге! Но где же дорога?

Торосы. Торосы. Снег. Сугробы. Снова торосы. Дороги нет. Я одолел один занос, другой. Рваным лоскутом темнело озеро голого льда. За ним тонким слоем снег. Еще озерцо, поуже, поменьше. Полоска снега. Россыпь темных пятен, будто перья отеребленного глухаря, но перья крутит, заносит, поднимает куда-то. И реже пятна голого льда. Значит, я ухажу от приверхи острова. Значит, я иду ладно и вот-вот выйду на дорогу.

Единственный мой ориентир — торосы. Козырьки льдин наклонены по течению, подобно трамплинам. Идти встреч им трудно. О зубья льдин больно ударяются кости ног, особенно колени. И оттого, что замерзли ноги, руки, весь я заколел, боль от ударов такая, что стукнусь о льдину — и сердце схватывает, в глазах просверки и сразу темень. Самого себя не видеть.

Катанки бы. Хоть подшитые. Есть же на свете такая обувь — каганки! Утром их вынут из русской печи. Насунешь — и ноги попадут в сухую да такую мягкую теплоту, что долго-долго радостно всему телу. Что может быть уютней такой обуви? Но люди изобрели ботинки. Чэтэзэ! Зачем?

Зачем я не остановился в школе глухонемых? Мы бы так хорошо потолковали с Алешкой, и он сказал бы мне, что стряслось дома. Редко мы видимся ныне с Алешкой. Война всех сделала занятыми. Но если встретимся, Алешка обнимет меня и давит так, что я дня три не могу владеть шеей. Он и сегодня свернул бы мне шею от радости. Ну и пусть. Может, мне и не надо в село? Может, блажь Августе в голову ударила? Ребятишки. Нужда. Выдохлась — пожаловаться охота. Кому пожаловаться-то?

А может?..

Нет, об этом я не буду, не хочу думать, не стану!

Дороги нет. Пропала дорога. Бесы-лешаки из-под ног ее вынули. Никогда мне в голову не приходило, что можно потерять торную санную дорогу. Не в лесу, не в тайге, на реке потерять!

Уметь надо!

Какой повальняк ветер к ночи. Всего меня продувает. Оде-

жонка на мне легка и тонка сделалась. Даже пальто Юры Мельникова не стоит против сибирского ветра-звездун. Ах, пальто ты, пальто! В вагоне, может, и хорошо в тебе, но здесь не шибко. Велико ты мне, и поддувает всюду. Колом стоишь, деревянное сделалось.

Хорошо, что ребята дали пару теплого белья. Миша Татаренко, парень из тех самых самоходов, что жили когда-то в слободе, отвалил бабью меховую душегрейку. А вот штаны тонки. Варезки коротки. Шапка мала. Ботинки — чэтэзэ — веселы, да тесноваты. Все на мне залубенело, ровно в мочальные ленты я обернут.

И дорогу я потерял. Нет дороги.

Ветер. Снег. Холод. Сибирская погодка. Нашенская.

Катанки бы и доху, да шубные рукавицы, да шапку меховую против такой погоды...

Ах, пальто ты, пальто! Кто тебя придумал, кто?..

В школе я сочинял стишки. Разом сочинял и про все. Дивились ребята моему таланту. Из-за стихов я плохо учился по математике, потому как считал, что человеку, умеющему составлять стишки, математика ни к чему.

Война пришла и все перемешала,  
Всю жизнь она поставила дыбом!  
Да, трудно нам, и отступаем мы сначала.  
Но все равно вколотим фрицев в гроб штыком!

Эти стишки я сочинил для первого номера стенной газеты желдоручилища и подписался — Непобедимый.

Непобедимый! Вот околею здесь, так буду непобедимый! Скотина! Дубина! Идиотина! Тьфу ты, опять стишки!

Начались сугробы. Забрался я в огромные, кучами вздыбленные, язвенно лопнувшие торосы — такие бывают на высушившихся из воды камнях. Куда я ни ступлю, всюду здесь льдины стоят торчмя, острые, гладкие, меж них рыхлый снег. Я зацепился полрой пальто за льдину и рухнул грудью на что-то твердое. Пошупал — камень, маковка камня, зализанная водою. Вокруг него позванивали на ветру льдинки. Я привалился к камню. Он был стылый и гладкий, но под ним, в онемелой глубине, жила река. За камнем, в водяном заветрии, стояли таймени и ждали весны и тепла. И тот таймень, что бродень с меня когда-то стянул, быть может, тут же стоит и посмеивается, тварина: опять ты, малый, впросак попал!

Был бы я рыбой, про войну ничего бы не знал. Стоял бы сейчас в сонной глубине, а по весне рванул бы в верха — икру метаты!

Добраться бы мне сейчас до дач, пусть нетопленных, холодных, да все же в лесу стоящих, со стенами, с крышей. Отогреть доски с окон и в печь их...

Надо искать берег, дачи. Лежать нельзя. Минуту я лежу, не больше, но уже щипнуло запястье руки и большой палец ноги, давно еще обмороженный. Я знаю, как такое бывает.

Вдруг стеклянной резью пластанет по живому, в глубь тела войдет тонкая игла, и это место перестанет «слышать». Другая игла, уже быстрее, вопьется рядом с нею, и еще частица твоего тела отделится от тебя...

И тут же потянет в сон.

Знаю. Все знаю, а встать не могу. Даже шевелиться не хочется...

Да что такое особенное случилось? Потерял дорогу? Ну и... Подумаешь, дорога! Я на родной реке! На той реке, по которой плавал, ходил, ездил на моторке, на лодке, на лошади, ходил на своих двоих. Мне здесь с самого детства все знакомо. Каждый выступ берега. Каждый остров. Каждая скала. Шалунин бык. Собакинский остров. Совхоз Собакинский...

Вот интересная тоже штука: совхоз только на моей памяти переименовывали не одна. Он, кажется, назывался «Красный луч», «Коммунар», «Пионерский» и еще по-разному, но как был окрещен чалдонами Собакино в честь речки, на которой имел неосторожность разместиться, так Собакинским и остался. Чтобы чалдона с места своротить, шибко много всего надо. Ты ему: «Стрижено», а он тебе: «Брито». И все тут.

Собакино ты, Собакино! Где ты есть, Собакино? Мне бы берег найти, не ходить по кругу чтобы, тогда б я добрался до тебя, Собакино. А там люди живут. Кони есть. Собаки есть. Хоть бы они забрежали. Но в такую погоду собаки под лавками спят. В такую погоду добрый хозяин...

Это мне все нипочем! Это я, упрямый чалдон, фэзэошник-уркаган, рванул к тетке в гости! Наперекор стихиям! Молодецкой грудью на преграды! Непобедимый! Герой! Иван-царевич! Дерьмо собачье! Видно, и впрямь, что тупо сковано — не наточишь, что глупо рожено — не научишь. Видел же, видел... когда от дока спускался, что ничего хорошего на небе нет с городского края в лохмах серых оно, с той стороны, где село родное, над перевалами разошлись тяжелые пластушины, голубенькое обнажили. Далеко-далеко, глубоко-глубоко, голубенькое-голубенькое. Как взгляд одной девчонки, с которой я учился в третьем классе и о которой никогда ничего и никому не скажу. Знал — нечего хорошего ждать. К стуже, к пурге такое небо. Приметы сами в меня впитались. На лоне, как говорится, рос. Но вот вспомнился мне взгляд третьеклассницы, подарившей на уроке труда платочек с буквами «Н. Я.», потом о Кате-кондукторше мысль пошла, и все я на свете позабыл. Чувствительный какой!

Я пересилил себя, заставил подняться. Иду, спотыкаясь о торосы, падаю. В рукавицы начерпался снег. В ботинки тоже. Вытряхивать некогда. Останавливаться нельзя. Мне конец. Скоро конец.

— Э-э-э-эй! — крикнул я прерывающимся голосом. — Э-эй, кто-нибудь!..

Безнадежно это. Однако ж на то я и чалдон, чтобы верить в чудо, в наговор, в приворот, в сглаз и в прочую чертовщину.

Остановился. Вслушался. В голове начала гудеть от напряжения кровь.

Никакого чуда нет. Чудо в тепле, за печкой живет. Чудо слушает сказки, вой в трубе. Чудо мохнатое, доброе, домовитое. Чудо — пуховый платок покойной матери на больных ногах. Чудо — руки бабушки, ее ворчанье и шумная ругань. Чудо — встречный человек. Чудо — его голос, глаза, уши. Чудо — это жизнь!

Я не хочу умирать.

Мне семнадцать лет. Только еще семнадцать. Я еще не окончил фэзэо, еще никакой пользы людям не сделал, той пользы, ради которой родила меня мать и растили меня, сироту, люди, отрывая от себя последний кусок хлеба. Я и любил-то всего еще одну девчонку, в третьем классе, и не успел ей сказать о своей любви. Я только берег ее платочек с буквами «Н. Я.», что значит Нина Якимова, даже не утирал платочком нос и стирал его редко, чтоб он не износился...

И кондукторше Кате записку не успел написать.

Нельзя мне умирать. Нельзя. Рано.

Лицо мое мокро. Губы соленые. Только теперь, когда выдохся и снова упал, обнаружил, что причитаю я по-бабушкиному, в голос:

— Бабушка! Бабушка, миленькая! Где ты? Пропадаю!..

Я делаю то, что делают все люди на свете в свой последний час, — зову самого дорогого человека.

Но он не слышит меня.

Всегда слышала меня бабушка. Всегда приходила ко мне в нужную и трудную минуту. Всегда спасала меня, облегчала мои боли и беды, но сейчас не придет. Я вырос, и жизнь развела нас. Всех людей разводит жизнь. Зачем я хотел скорее вырасти? Зачем все ребятишки этого хотят? Ведь так хорошо быть парнишкой. Всегда возле тебя бабушка...

От слез сосылились ресницы, губы свело холодом. Я привалился плечом к торосу, уткнул голову в каракулевый воротник, меж кучерявинок которого набился и затвердел снег.

Я сдался.

Но нюх и слух мой были еще живы, и живым, неостывшим краем сознания я уловил скрип подвод, голоса, лай собак. Недоверчиво высунув голову из твердого каменноугольного воротника, прислушался. Порыв ветра хлестнул в лицо сыпучим, перекаленным снегом и донес слабый отголосок собачьего лая. Недовольное такое тявканье сварливой шавки, скорее всего дачной. Дачные люди почему-то добрых собак не держат.

Я вскочил и поспешил на этот лай. Через какое-то время приостановился, напрягся.

Ничего не слышно.

И тогда я побежал, чтобы поддержать в себе тот порыв, ко-

торый поднял меня из сугроба, и ту надежду, которая занялась в душе. Я уверял себя, что лай был, брехала шавка дачная, близко, рядом. Я хитрил сам с собой, обманывал самого себя и, странное дело, верил в обман, может быть, оттого, что больше мне верить не во что было.

В какой-то момент я обнаружил, что идти мне сделалось еще труднее, и не сразу уразумел, что карабкаюсь на крутизну. Берег!

Наткнулся на крутой, подмытый берег. Мне стоит только подняться на него и...

Я сделал шаг, другой и вместе с накопившей кромкой снега провалился в тартарары. Пальто цеплялось за какие-то выступы, ноги и руки било о твердое, в голове деревянно брякало от ударов и озарялось вспышками.

Ну вот прилетел куда-то, сверзнулся. Лежу в какой-то дыре. Ветра здесь нет, он шел сверху, надо мной.

Оттуда, сверху, порошился снег, хрустел на зубах. Я повернул голову туда-сюда, слева и справа, впереди и сзади было темно, какие-то стены всюду.

Что, я в могилу провалился? Замуровало меня?

Открытие это нисколько не потрясло меня, так я отупел и устал, что оттого лишь, что не было ветра и снег не хлестал в лицо, мне сделалось лучше. Я отдыхал, приходил в себя, а сверху все шуршал крупую и сыпался, сыпался снег. Сыпался пригоршнями, порциями.

Порция! Почему мне вспомнилось слово «порция»? Я собирал растрепанные мысли в кучу, пытался дать им ход. Память билась около желдоручилища: мастер Виктор Иванович Плохих, Юра Мельников, галушки в баке, греет хлеб, а не шуба. Та-ак. И мышь в свою норку тащит корку. Та-ак. Нету хлеба ни куска — в нашем тереме тоска. Та-ак. Каков ни урод, а хлеб тащит в рот...

Да у меня же в кармане хлеб! Порции! Две пайки! Вечерняя и утренняя! По двести пятьдесят граммов в каждой. Целых полкило! Батюшки святы, пропал бы и хлеб не съел!..

Я сдернул рукавицу, засунул руку в карман. Вот она, пайка. Вот он, хлебушко! Уголочек хлебного кирпича. Виктор Иванович попросил отрезать горбушку — всегда кажется, горбушка больше сердинки. Мастер знает — путь не близок, знает, что тетке кормить меня нечем. Мастер все знает. Мастер у нас — голова!

Я ем. Рву горбушку зубами. Жую кислый хлеб с вялой, но живой коркой и чувствую, как жизнь, было отдалившаяся от меня, снова ко мне возвращается. От хлеба, пахнущего пашней, родной землей, жестяной формой, смазанной автолом, идет она ко мне, эта жизнь, захлестнутая бурей, снегом и железом.

В одной книге я вычитал, будто жизнь пахнет розами. «Это было давно и неправда!» — так сказали бы фэзэошники-уркаганы. Такая жизнь, если она и была, так мы в нее не верим. Мы живем в тяжелое время, на трудной земле. Наша жизнь

вся пропахла железом и хлебом, тяжким, трудовым хлебом, который надо добывать с боя. Мы и не знаем, где и как они растут, розы-то. Мы видели их только в кино и на открытках. Пусть они там и растут, в кино да на открытках. Пусть там и растут.

Дороже всего на свете хлеб. Хлеб! Тот, у кого нет хлеба, этой вот кислой горбушки, не может работать и бороться. Он погибает. Он уходит в землю и превращается в червяка. Его насаживают на крючок. И клюет на него рыба. Таймень клюет, может, даже пищуженец, совсем бесполезная, срамная рыба...

— Врешь, не возьмешь! — кричал я, оживленный хлебом.

У меня получалось «ёш-ш-ш!». Однако ж не зря съел я хлеб. Кровь шибче пошла по жилам, голова стала соображать лучше, как говорится: которая курица ест, та и несется, а которая несется, у той и гребень красный. Надо зажечь листки от пэтээ, в которые был завернут хлеб. Зажечь, согреть руки, осмотреться.

Листки от пэтээ горят хорошо, но грева от них мало. Я выдергиваю листочки из второго кармана, и пайка, еще одна, остается в кармане нагая. Пальцы начинают щупать друг друга, и я затеняю немыслимое дело — закурить.

В брючном кармане, в бумажном пакетике, завязанном в платочек с буквами «Н. Я.», есть табак. «Смерть Гитлеру!» — табак называется. Его привезли ребята из Канска и дали мне в дорогу. Табак черен, будто деготь. Это не табак, это бумага, пропитанная никотином. И когда зобнешь от сигарки...

Кручу сигарку. Кручу ее пальцами, губами, зубами. Я должен ее скрутить. Должен!

И я закурил. От спички закурил. Спички тоже привезены из Канска. Коробка у меня нет. Спички — десяток штук — насыпом в кармане, и картонка, облитая смесью, об которую зажигаются спички. У меня есть еще в запасе кресало. Но с кресалом сейчас не сладить.

Я курю. Кашляю и курю. Боюсь одного, чтобы не погасла сигарка. Говорят, табак приносит вред. Твердят об этом с самого детства. Всем твердят, и все согласны — курево вредно, губительно. И всё же курят.

Почему? Ответа я не знаю. Мне еще нужно выбраться отсюда, побывать на фронте, и тогда уж я точнее смогу ответить на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. А пока я всего лишь фэзэошник-недомерок. И табак оказывает мне сплошную пользу.

Пока я крутил сигарку, переводил спичку за спичкой, пока прокашливался от первой затяжки, пробравшей меня до кишок и дальше, понял, где я нахожусь, и осмыслил свое положение.

Провалился я меж двух штабелей бревен. Вроде бы ничего не переломал: ни руки, ни ноги. Может быть, потому, что штабеля эти мне известные? Лес в штабеля я возил вместе с дя-

дей Левонтием и с моим вечным другом и мучителем Санькой, который поздней осенью ушел на фронт. Воюет Санька, а я вот тут загораю. Погибать взялся. Да если уж погибать, так с музыкой, ладом погибать! На войне, в бою, с народом вместе. Чтoб врагам жутко было.

И я увидел себя на коне, с саблей в одной руке, со знаменем в другой. Впереди народишко какой-то мельтешит, а я рублю, а я крошу врагов в капусту!

— Ур-р-ра-а-а-а! — ударил во что-то кулаком и от боли очнулся. Заснул! И во сне кино начал видеть военное. А никакого кина нет. Ветер свирепствует, гудит в штабелях.

В конце лета я выехал из Игарки и подал документы во вновь открытое железнодорожное училище фэзэо, а пока им дали ход, пока начались занятия, надо было чем-то кормиться, добывать паек. И дядя Левонтий, обношенный, поугрюмевший, заметно сдавший, взял меня выкатывать лес на бадogi. От военной пайки поослабел дядя Левонтий, потому и не удержал плоты возле Караульного быка, не учалил их к месту. Его прошвырнуло течением вместе с плотами на несколько верст ниже известкового завода, и пришлось бревна выкатывать у Собакинской речки.

Ну, не бывает худа без добра! Не случись этого, что бы со мной было теперь? Везучий я человек, везучий!.. Не колдун, конечно, а все же...

Стоит мне сейчас набраться сил, выбраться наверх, и совхоз Собакинский — вот он! Дома — вот они! Дело за небольшим — выбраться.

И выбрался. Не сразу, конечно. Сначала пытался подтягиваться на руках, но пальто было слишком тяжелое, а силенки во мне осталось мало. Я срывался и падал, сшибая о бревна локти, колени, разбил подбородок, разорвал под мышкой пальто. В дыру сразу же проник холод, начал остро когтить грудь.

Вплавь я сумел выбиться наверх. Сначала шел меж штабелей по снегу, потом брел, когда сделалось по горло и почувствовал, что нахожусь у самого среза осыпавшегося яра, — поплыл по снегу, отталкивался ногами, гребся руками, перекачивался мешком, работал локтями, спиной, шеей, головой — всем, что еще во мне было живое.

И когда можно было встать и пойти, я все еще не верил себе, все еще барахтался в снегу, пока руки в заледенелых варежках не застучали о твердую полозницу. Я поскреб полозницу, заполз в желоб дороги, раскопал темные катышки конских шевяков, понюхал рукавицу. Она пахла назьмом, конским живым назьмом. Кони прошли по дороге совсем недавно!..

Я стер с лица снег и увидел вблизи заплот, за ним, илтам, где он кончался, неяркий, деловитый огонек светился. Низко, у самой земли, и рыльце окна сонно покоилось в проеме снежного сугроба — ровно бы продышал огонек себе дырку в снегу.



Ошеломленный видением, запахом жилья, конского назьма, древесного дыма; какое-то время стоял я под ветром и боялся верить себе.

Огонек в низком окошке заморгал, сморился, померк. Он еще выбился раз-другой из серой мути, еще порябил солнечным бликом, но тут же рассеянно дрогнул и загас.

Поблазило мне: и огонек, и запах жилья. Но в мокрый нос, в неживое мое лицо било запахом назьма, дымом било. Я заставил себя идти на запах дыма и нашел то, чего искал. Огонек внезапно оказался передо мною, все такой же приветливый, деловитый. Никто его не гасил. Просто закручивало ветром дым из трубы, бросало его куда попало, порою захлестывая окошко у земли.

«Ах ты какой! Ах ты какой!» Обругать огонь по-крутому я боялся. Разом сделался бравый ругатель-фэзэошник суверен и страшился, что от нехорошего слова, от неосторожной мысли все может взять и исчезнуть.

Я перебирался по бревнам, в рыхлых заметах подле зава-лишки, не решаясь отпустить от избушки. Я искал дверь и никак сыскать ее не мог. Если бы во мне сохранилось хоть сколько-нибудь шутливости, я бы сказал: «Избушка, избушка! Повернись к лесу задом, ко мне передом!» — и сразу нашел бы дверь. Но я не только шутить, я ни говорить, ни думать не мог. Сил во мне не осталось совсем. Меня охватило томительное желание сесть возле избушки в снег, прижаться к бревнам, вдавиться в них и погрузиться в сладкое забытие. Это так славно: сесть в заветрии, закрыть глаза и верить, что тут, возле человеческого жилья, пропасть тебе не дадут.

Вот так, расслабившись, люди замерзают у самого порога, у дверей жилья. И если бы не запах дыма, что сверлил мне ноздри, густым дегтем плыл мне в горло, я перестал бы карабкаться по глухой стене избушки, рассчерченной снегом в пазах. Я бы плюхнулся в снег и уснул.

Но беспокойным флагом метался дым над землею и напоминал все только живое, теплое: субботнюю баню с легким угаром, после которого будто и не дышишь, а хлебашь воздух, как ключевую, зуб ломящую воду, печку русскую с тихим, верным теплом; вороватый шорох тараканов в связках лукавиц и в лучине; кислотовато-умиротворяющий запах квашни и прело-сладкий дух паренка из кути; звяк подошвы и шорох молока в волосяном ситечке; голос бабушки, привставшей на припечек: «Пей, пей парное — скорее поправишься...»

Запах дыма! Привычный с детства, до того привычный, что перестаешь его замечать. Порой и досаждаешь на него, когда ест им глаза. Но нет ничего притягательней и слаще дыма. Нет. Где дым — там огонь. Где огонь — там люди. Где люди — там жизнь..

Вот она, дверь. Вот деревянная скоба, сколотая в середине, да не могу я ее открыть. Опустившись на приступок, оплесканный водой, на пристывшую к нему солому, на втоптаный

в лед голик, я царапаюсь в дверь, как пес лапою, а в щели двери несет душной теплотой — вроде бы хомутами пахнет.

— Кого там лешак принес?

Я попытался ответить, но только мычанье выбилось из мерзлых губ. Слезы мешали словам. От дыма ли, от радости ли они катились и катились по скользким, ознобленным щекам, попадали в рот.

— Да кто там?

— Дяденька, помогите ради Христа! — сказал я, как ду малось мне, громко, на самом деле промычал какую-то невня тину.

Со мной произошло то, что происходило со многими чал-донами прежде и теперь — в крайнюю минуту они вспоминали Спасителя, хотя во здравии и благополучии лаяли его. На фронте не раз мне доведется увидеть и услышать, как неверующие люди в смертный миг вспомнят о боге да о матери, а больше ни о чем.

Но нет у меня матери, и бабушка далеко.

За дверью кряхтенье, скрип нар, нудный голос.

— А-а-ть твою копалку! Токо-токо ноженьки успокоились, токо-токо, ангелы над башкой закружились, и вот лешаки ка-кого-то полуношника несут... И че ходят?..

Чалдон! Доподлинный чалдон! Пока встает и обувается, уж поворчит, поругается. Но пустит. Обязательно пустит. Обогре-ет, ототрет, последнее отдаст. Однако ж ответит при этом ду-шеньку, налается всласть.

Чалдон, родной, ругайся, как хочешь, сколько хочешь, но открывай! Скорее открывай!..

Чугунная плита об одну дырку — в огненных молниях. В трещины и меж кирпичных стенок выхлестывал дым с пла-менем. Избушка наполнена гулом и дрожью. Волнами наката-ет жара. В гуле печки, в ее потрескивании, неожиданно громких хлопках что-то дружески бесшабашное. Так и хочется обхватить эту кособокую, неумело слепленную печурку с трес-нутой плитой.

Но нет мне хода к печке.

Я сижу на дровах, ноги мои в лохани с водой, правая рука в глиняной чашке. На печку я смотрю, будто собака на кость, которую ей пока не дозволено брать. И только потянусь я к печке рукой или грудью, хозяин этой избушки на курьих нож-ках кричит мне:

— Нельзя! Нельзя-а-а!

Он сидит на нарах, привалившись грудью к столу, исколо-тому шилом, избитому гвоздями.

Отдыхается. Уработался.

Он оттирал мне снегом ноги, правую руку, побелевшую до запястья. Лицо он посчитал предметом второстепенным, и когда добрался до него, было поздно. Лишь сорвал суконной рука-

вицей отмерзшую кожу со щек и правого уха. Почему-то я всегда зноблюсь правой стороной, а ранюсь и ломаю все с левой стороны.

Шорник растрепан. Его лохматая тень шарахается по избушке. Наконец он отдышался, утер потное лицо подолом рубахи и зачесал волосы назад женской гребенкой. Я потихоньку скулил и всякие подробности отмечал лишь мельком, в сознании моем они не задерживались.

— Задал ты мне работы! — заметил шорник и ободряюще поглядел на меня.

Во рту с правой стороны его обнаружилось пустое место. Но уцелевшие зубы белы и крепки, видать, серу с детства жевал человек и укрепил зубы. Я отвлекся на секунду, разглядывая шорника, затем снова запел от жжения и боли.

— Дак чей будешь-то? — не оставлял меня в покое шорник. По мягкости и приветливости его слов я определил — можно к печке. Но он повысил голос. — Не лезы! Не ле-езы! Дурная голова! Такая резь начнется — штаны замочишь! Потылицыных, значит? Катерина Петровна Потылицына кем доводится тебе? Ба-бушка!

Шорник всматривается, но лампешка с половиной горелки светила за его спиной на окне, и он, должно быть, плохо различал меня. Хозяин избушки до странности гол лицом — ни бороды, ни усов, лишь из черной бородавки, с копейку величиной, прижавшейся на подбородке, торчат седые волосы и отсвечивают, когда он поворачивается к лампе. Голова его стрижена без затей, под кружок. Седые волосы, ровно подсеченные ножницами, спущены низко и зачесаны за уши. Мерещится мне, что мочки ушей проколоты. Голос шорника сипл и раздражителен. И вообще человек он сердитый, видать, тогда как все шорники и сапожники, мною прежде виденные, — народ пьющий, прибауточный, веселый. Те, у которых моя бабушка говаривала: «В поле ветер, в заду ум!». «Знать-то он из цыган!» — почему-то решил я, но отгадывать шорника, занимать им дальше мне в общем-то невозможно. Не до него мне.

Лицо распухло, ошпарено будто или осами искусано. Ноги рвет, руки рвет. Я все так же однотонно, по-щенячьи скулю. Столненный шорник глядит в мою сторону и, трудно собирая из слов фразы, сообщает:

— Была здесь Катерина-то Петровна, днесь завертывала. Я перестал скулить.

Шорник стянул с ног валенки и грел их над плитой.

— Из городу плелась, от старшего Кольчи. У него скоко-то на хлебах жила.

«Да он же заговаривает мне зубы! Отвлекает меня!» — сделал я неожиданное открытие и кивнул на жестяную банку, где луковой шелухой желтели бумажки от окурков.

— Вы, слушаем, не курящие?

— Курящие! Да еще как курящие! — тоскливо вздохнул шорник. — С вечеру конюха починялися и сожрали весь табак.

Теперь хоть задавися. — Какое-то время он слушал ветер за избушкой, затем протяжно вздохнул: — И кто курить придумал? Без хлеба выдюжу, без табаку нет, ать его копалку!

Радый до бесконечности, что хоть чем-то могу отблагодарить человека, который, догадываюсь я, греет для меня катанки, а сам в кожаных опорках топчется у плиты, я предложил ему вынуть из моего кармана пакетик с черным табаком. Шорник кинул валенки за плиту, разом забыл о них и суетливо шарил в моем кармане, ровно обыскивал меня. Затем поспешил в столу, на свет. Онорок с него спал. Он искал его ногою, а сам не дышал и с аптекарской бережливостью развертывал бумажку с табаком.

Он так и не сыскал ногою опорок.

Подобрав стыпущую от пола ногу по-птичьи под себя, он скрутил цигарку, с мычанием приткнулся к лампе, почти все пламя вобрал в себя, затянулся, хлебнул дыму и закатился далеко возникшим, беззвучным кашлем. Его колотило изнутри, зыбало так, что волосы на голове подпрыгивали, вытряхнули гребенку и рассыпались соломой.

Промельком сверкнуло — дедушка на бревне, цигарка, светящаяся в вечерней первотеми, колуном раскалывающий тишину кашель...

Я уж начал вынимать ноги из лоханки, чтоб отваживаться с человеком, но тут он разразился хриплым звуком — стон пополам с матюками и, когда маленько отдышался, отплевался, вытер подолом рубахи слезы, оглядывая экономно скрученную цигарку, восторженно крутанул головой:

— От эт-то да-а-а! От эт-то табачо-ок!

— «Смерть Гитлеру!» называется.

— Смерть, значит? Гитлеру, значит? Уконтромят его скоро. Вечор конюха — бабы сказывали: сообщенье по радио было, пожгли будто германца видимо-невидимо под Москвой огненной оружей. Германец-то зампреенье просит, наши не дают. Капут, говорят! До окончательной победы... Э-э, ты чего ноги-то вынул? Не ломит уж? Тогда катанки мои насунь. Катанки, катанки, — засуетился хозяин, оживленный до крайности, будто хватил не табаку, а стакашек водки. — Допрежь ноги-то оботри. Во онуча, ей и оботри. Рушников у меня нету...

Наконец-то я у печки! Но усичть долго не могу — лицо рвет, выворачивает, словно рукавицу, хотя шорник и смазал мне его гусиным салом и уверял: заживет, мол, до свадьбы...

На плите пеклись картошки и пригоршня овса. Овес шевелился, подпрыгивал и лопался по брюшку. Шорник помешивал овес пальцем, исполосованным дратвою, и теперь его совершенно голое лицо в темных и мелких складках я рассмотрел подробней. Короткая шея обернута старым женским полушалком и по-бабы повязана под грудью. Мочки ушей и в самом деле проколоты.

— Шелуши, шелуши! — ткнул пальцем в овес шорник. — Скоро картошки поспеют, чай сварится. Погреешь нутро-то.

Самогону бы, да где его возьмешь? Такое время наступило... Ох-хо-хо-о! — во вздохе мне снова почудилось что-то бабье.

Шорник покурил и сделался мягче лицом, суетней и хлопотливей, может быть, оттого, что начал я внимательней следить за ним, и он застеснялся меня, как стесняются нормальных людей горбуны, калеки и всякие эти, как их?

Я пробовал взять с плиты щепотку овса, но не мог — так распухли пальцы.

— Ать твою копалку! — ругался шорник. — Худо пальцы-то владеют? Ах ты грех! Ну, сейчас, сейчас... — Он сгреб овес в консервную банку из-под окурков и поставил ее передо мною. Я цеплял языком накаленный, поджаристый овес из банки и шелушил его, будто семечки.

— Вкусно как!

Тем временем допеклись картошки, забулькал в жестяном чайнике кипяток. Шорник бросил в него жженную корочку, подождал маленко и налил мне чаю в алюминиевую кружку, себе в стеклянную банку из-под баклажан. Я хватил губами металлическую кружку с одного, с другого края и не мог отхлебнуть — горячо. Шорник дул в свою банку, шурился и сочувственно следил за мной.

— У меня есть кусок хлеба в кармане, — показал я на пальто, висящее за печкой, на хомуте, будто на человеческой фигуре.

— Картошек поешь покуль, хлеб побереги — не к мамке на блины идешь.

— Да я... Я вам хотел предложить...

Хозяин скользнул по мне глазами и с серьезной грубоватостью успокоил:

— Обо мне не хлопочи. При конях.

От чая ослаб я, осовел и беспрестанно шоркал рукавом по носу.

— Платок же у те, — показал на мой карман шорник. Гудда он всунул платочек с буквами «Н. Я.», в который была завернута бумажка с табаком. Мне подумалось — это неуклюжий намек.

— Курите, пожалуйста, если хотите.

— А ты? Сам-то как же?

— Я так. Несерьезно.

— А-а, тогда другое дело! Совсем тогда другое дело! — охотно поверил в мое вранье шорник. — От табачка не откажусь. А ты не привыкай! Не балуйся. Это такое зелье клятое. Не привыкай, парень! — Движения его снова сделались суетливыми, и он снова сронил опорок с ноги и нашаривал его, но только запнул дальше под нары. Потом он закатился, точно дите в коклюше, опять скрипел мучительно, со сладостью кашляя и ругаясь.

В плите прогрелось. Лампешка на окне зачатила пуще. В углу, за хомутами, начали бегать мыши. Наступил поздний, наверно, уже предутренний час.

Шорник прилег на нары и освободил для меня место у стены. Ноги шорника то и дело потягивало судорогой. Он пытался найти им место, уложить поудобней, чтобы не ломило их. Но болели ноги, и в коленях хрустело, щелкало так, будто ходил он по ореховой скорлупе или наступал ими на пересохшую шепу. Знакомая мне болезнь. Помаялся в детстве. Нынче ничего. Поноют, поноют в суставах ноги и перестанут. Молодость, видать, сильнее болезней, отпихивает она все хвори к старым летам. Все скажется после: и фэззошные ботинки, недоеды, недосыпы, и ночи на берегу весенней реки, и купанье в заберегах, и игарская парикмахерская, и эта гибельная ночь на зимней реке...

— Ох, ноженьки вы мои, ноженьки! — бормотал шорник. — Чтоб вы уж отболели, отвалились. Туды ли, суды ли... «Смерть Гитлеру!» Придумаю ж! Лампу уверни, коли не нужна. Вовсе-то не гаси. Мало ли? Война. Всех она с места стронула. Люди ходят и ездют туда-сюда. Понесет лешак такого же ероя, а огонек вот он. Моргат...

Голос шорника маячил, растягивался, будто куделя на прялке, перешед в мык, и мык слился с беспокойным, прерывистым храпом, который то и дело сменялся короткими стонами, и все сучил и сучил шорник ногами, отыскивая им подходящее место. Сипело в догорающей лампе. Огонек ее перестал колыхаться. Избушку не шатало ветром, не ухало в трубе, не стучало на крыше, лишь хрустел на стеколке окна растекающийся ледок да сонно шуршало за стеною по бревнам.

«Да-а, стронула», — нагладевшись, как терзает сонного человека болезнь, повторил я про себя.

Все торопятся, все бегут, иной раз уж и сами не знают, куда и зачем. Совсем сбиты с панталыку коренные жители Сибири. Они привыкли к вековечному, замедленному и неизбежному укладу жизни. Люди, не знавшие бар и не шибко жалующие дисциплину, казенные распорядки, они не вдруг поняли случившееся. Недостатки военной поры, в особенности нехватку хлеба, на первых порах переживали беспечно — голодный-то тридцать третий год давно прошел, забылся, — получивши на месяц муку, женщины замешивали ее в одну квашню, стряпали вкусно, пышно, ели кому сколько влезет, а после пухли без еды.

Война еще научит чалдонов, вернее чалдонок, всему: стряпать — муки горсть, картошек ведро; собирать колоски; перекапывать поля с мерзлой картошкой; есть оладьи из колючего овса; пахать на коровах; таскать на себе вязанки; высокие сибирские заплоты, где и ворота — свалить на дрова, открыто жить, вместе со всеми тужить и работать, работать, работать — скопом, народом, рвя жилы, надрываясь, поддерживая друг дружку.

Я всегда думал, что война — это бой, стрельба, рукопашная, там, где-то далеко-далеко. А она вон как — везде и всюду, всех в борьбу, как в водоворот, ко всякому своим обликом...

Время от времени еще вздымался с реки порыв ветра, и тогда сжимался огонек в лампе, вдавливало в трубу дым, он начинал пухнуть, в печке делалось ему тесно, и в щели, меж кирпичей, в подтопок тянуло удушливой чернотой, которую тут же свертывало, всасывало обратно в трубу, и дым, словно колдун-Черномор, качнув бороною, улетал вверх, раздувало и несло следом искры, взрывалось по всей печи пламя.

Дверь обмерзла в щелях и в пазах. На грязном полу, наваленном лоскутьями кожи, мякиной, клочками сена и соломы, кинжально заострилась полоса, и на пороге, в притворе толсто обозначился нарост льда. Я подбросил в печку колотых сосновых дров, наверх два кругляшка сырой березы и какое-то время сидел, слушая гуденье в трубе и пощелк разгорающейся печки.

Меня трясло.

Я глотал и глотал чай, стараясь выгнать из себя промерзлость, тем временем снова засветились щели в плите, заходили по ней молнии, сильнее запахло смолою, потными хомутами, седелками, шлеями, развешанными вдоль стен, наваленными в угол избушки и под стол. На столе нехитрые приспособления, шорницкий инструмент: банка с гвоздями и шпильками, шилья, наколюшки, самодельная игла, на косячке окна жгут свита проваренная дратва с вкрученными в нее медными проволочками. Выше, над надбровником окошка, совсем уж ни к селу ни к городу — плакат закопченный. Изображен молодой человек со значком на груди. Бодро вышагивал он на лыжах вдоль опушки красивого березника. Внизу плаката били по глазам красные буквы: «Будь готов к труду и обороне!»

«Будь готов! — пожалуй, был бы уж готов, если б...»

Я еще раз обвел взглядом шорницкую, прислушался к сонным стонам шорника и вяло заключил: «Да, конечно, пожимал бы теперь лапу небесному привратнику...»

И тут же увидел привратника, с лицом постным и строгим, смахивающим на коменданта нашего фэзео. Он босой шел по ухабам снега, с позолоченной уздечкой в одной руке, хомут с веревочными гужами был у него на другой. Взгляд святого умоляющ, скорбен, но я твердо заявил: «На фэзеошника никакой хомут не наденешь! Ни в чертей, ни в святых фэзеошник не верит. Мастеру верим! Мастер у нас — Виктор Иванович Плохих. Не знаешь такого? Тогда ни хрена ты не знаешь! А еще комендант! Думал — не узнаю! Крылышки приделал! Песочить за самоволку явился? На-ко вот!..» Я попытался сложить кукиш, но пальцы не лезли промеж друг дружки.

Шорник не дал досмотреть этот жуткий, чудной сон.

— На место! Пошел, пошел! — словно псу, подавал он команду, подталкивая меня к нарам, а я, промаргиваясь, пялился на него и понять не мог — где я? Что я? Шорник заругался в копалку, подхватил меня, будто пьяного, под мышки, подволок к нарам, ткнул носом во что-то пыльное, пахнущее

сеном и лошастью. В том, как вел меня шорник, и в том, как заботливо подсунул мне какую-то лопотину в голову, вроде бы бесцеремонно, однако ж так, чтобы боли не причинить, укутал мои ноги, — во всем этом было что-то все же женское, вроде бы и бабушкино даже, воркотня шорника и та напоминала бабушкину воркотню. И когда на меня тяжело ухнуло пахнущее снегом и чуть, совсем уж чуть — вагонной карболкою пальто Юры Мельникова, я подождал бабушкиного: «Спи, господь с тобой! Христос с тобой!..»

Но ничего более не последовало, и я разомкнул глаза.

Лампы на окошке нет. Она стояла в углу на чурбаке. Над чурбаком с хомутом в коленях склонился шорник, подпоясанный серым дырявым фартуком. Перехватив мой взгляд; он недовольно бросил:

— Утро скоро.

Да, бабушки все-таки нет. На улице метель, и я не маленький, и где-то далеко-далеко гремит война, и люди спят в снегу, и Санька Левонтьевский там, на улице, в такую стужу. Метель вое, замечает все и Саньку тоже...

Я покатился меж штабелей, в яму ли, в преисподнюю ли, словом, в какую-то жуткую бесконечность и заорал от ужаса, но сном подрубило мой крик.

Во сне я ходил по снегу босой, будто архангел небесный, затем — по горячий, докрасна раскаленной плите и проснулся оттого, что жгло ступни ног, пекло и коржило лицо.

— Стой ты, одер! Стой, морда твоя свинячья! — услышал я с улицы, еще окончательно не проснувшись и не придя в себя.

Избушка в сером, скорбном свете. Лампа погашена. В плите едва краснеют теплые уголья. Хомутов на стене нет, и оттого в избушке сделалось просторней. Обнажилось на стене множество деревянных штырей, железных крючков и зацепов. Старое седелко с оторванной подпругой брошено на чурбак. За плитой бегают мыши, коротко попискивают, собирая корм. Одна мышка прилипла к бревнам, взбежала по стене, поточила зубом сыромятную уздечку на гвозде, вдруг поймала мой взгляд, птичкой спорхнула и подала сигнал тревоги.

На время все стихло. Я поискал глазами ботинки. Присунутые подошвами к кирпичной стенке плиты, стояли они, покоробленные, расшеперенные.

Я пощупал лицо, оглядел руки, ноги. Шорник спас мои ноги, спас руку — и на том спасибо. Но лицо обморожено, щеки распухли, ухо вздулось, словно от ожога. И все же я дешево отделался.

И надо поспешать... Гостям — стол. Коням — столб. Пора. Но, известное дело: кто часто за шапку берется, тот не скоро уйдет. И какое-то время я нежусь в постели, лежу, размяченно вытянувшись, гляжу на молодого плакатного человека, спешащего к труду и обороне, собираю и привожу в порядок мысли, разбитые сном. Но пора! Пора!



Оттолкнувшись от нар, я тут же схватился за стенку — ноги, спину, все кости больно. Побился я ночью. Надо разминаться, надо разламываться, иначе раскиснешь. Я присел раз-другой, поболтал руками и ногами, словно на уроке физкультуры, затем схватил ботинок, сунул в жестяное его нутро ногу, а она не лезет. Я пощупал в ботинке — свежая сенная стелька зашуршала под пальцами. Я опустился на пол у печки, и подмыло нутро мое. Но раскиснуть я себе не дал, рывком, как будто кто-то видел мою слабость, надернул ботинок, другой, стянул их сыромятными ремешками, заменяющими шнуры, замотал фэзэшным полотенцем шею и залез в разорванное под мышкой пальто.

Прощально огляделся: тусклое окно, на нем пятилинейная лампа с нагоревшим самодельным фитилем; нары в темном углу из скрипучих горбылин, застланные сеном и поверху — старой овчиной; изголовье из половины соснового чурбака, покрывающего хомутной кошмой и тряпьем; чайник на плите, второй век живущий; алюминиевая гнутая кружка, иголки, проволочки в щелях бревен, окно, будто в бане, — черное, плакат с физкультурником — эту избушку, пропахшую конскими потниками, дымом, жженой картошкой и овсом, я постараюсь не забыть, если возможно, не забыть всю жизнь.

Позднее, гораздо позднее, через много-много лет, попробую я разобраться и уяснить, откуда у человека берется доподлинная, несочиненная любовь к ближнему своему, и сделаю совсем близко лежащее открытие — прежде всего из таких вот неказистых избушек, изредка встречающихся на расстанях наших дорог.

А за дверью все скрипели и скрипели сани, бухал ковш по обмерзлой кадке, фыркали лошади, и под их подковами, точно под моими ботинками, придавленной зверушкой пищало, хрупало.

— Постромку-то, постромку подбери! — слышался все тот же скрипучий, одышливый голос. — Конь ведь, ко-онь, а не яман! Рабо-отнички, ать вашу копалку!.. Где вы токо и родились? Чему учились? Да стой ты, одер совхозный...

Распахнув дверь избушки, я остановился, захлебнувшись морозным, резким воздухом.

Ветра нет.

По ту сторону реки, над Селезневским утесом возшло круглое оранжевое солнце. Было, как и всегда после сильной метели, недвижно, тихо, даже виновато-тихо. Леса заснеженные, утесы с белыми прожилками по расщелинам и падам окутаны стынью. Под деревьями, у заборов, в логах и возле конюшни — свежие наметы, еще не слежавшиеся в пласты. С бугров и от крыльца избушки снег весь счистило. Избы совхоза, наклонно сбегające с обоих косогоров к речушке Собакиной, уже с растворенными ставнями. Возле школы катаются и гомонят ребятишки. Над конторой увядшим маком обвис заиндевелый флаг. На ферме орут свиньи. Одна вырвалась из во-

рот и, ослепленная солнцем, запрыгала туда-сюда, норовисто взбрыкивая ядреным задом.

Шорник в подшитых кожей валенках с неровно разрезанными сзади голенищами катко бегал вокруг сгрудившихся подвод, сосал сигарку, приклеившуюся к губе, и отправлял подводу за подводой. Он был шорником и старшим конюхом — догадался я и поблагодарил его за приют.

— Не за что, не за что, парень, — отмахнулся шорник и еще нашел минуту между делом бросить: — Катерине Петровне поклон скажи. Дарья Митрофановна, конюшиха из Собакино, кланяется.

— Кто-о?

Дарья Митрофановна глянула на себя, на заеложные ватные брюки, на катанки, подшитые крупной строчкой, на туजूрку с оторванным карманом. Она выплюнула сигарку, подобрала волосы под шапку, затанула полushалок на груди и первый раз за все время, как мы встретились, улыбнулась:

— Да ты неуж не узнал меня? Дашухой прежде звали. Не вспомнил? Вот дождала! — обратилась она к коновозчикам с улыбкой и развела руками. — Я ж кума бабушке твоей буду. Василья примала. Пишет ли он с войны-то? У кумы запаматовала просить.

Сколько же раз мне, вахлаку, эта самая Катерина Петровна вдалбливала и словом и действием: не будь лишку к людям приметлив, будь лучше к людям приветлив, а я все вляпываюсь мордой в дерьмо. И желая, как обычно, вывернуться, загладить неловкость, я хотел сообщить Дарье Митрофановне скорбное — нет ее крестника, уже нет — убили Василия Ильича на войне. Но лицо женщины было озарено такой простодушной улыбкой, такое на нем было застенчивое удивление самой собою, что не захотелось мне огорчать ее в такую минуту, и, пробормотав под нос слова благодарности, я упал на уцелившуюся с горы подводу и уже издали, с Собакинской речки, по которой раскатисто выбегала дорога на Енисей, помахал Дарье Митрофановне. Неловко — не вспомнил человека. Стало быть, давно видел. Но тут и оправдание есть: во-первых, у бабушки кумовей — хоть лошадиную голову приставь — всех не упомнишь! Во-вторых — время и война успели изменить до неузнаваемости эту бабушкину куму.

Подвода скрипела и мерзло подпрыгивала на ухабах. Торцы бревен тех штабелей, меж которых я провалился ночью, круглыми дулами целились из снега. Под бревна набило снега, и они слепились одно с другим, а сверху козырьками припаялись белые пластушины. На такую вот пластущину и ступил я ночью...

Только-только, на самом, должно быть, утре, унялась метель, и все было наполнено утомленным роздыхом межпогодья.

Могло вот-вот снова подуть, но пока кругом белый покой.

Из мерзлого марева чуть проступал темными гальниками и сверкающим на приверхе льдом остров. Как это ни удивительно, шел я в ночи единственно правильным путем — по целику, меж торосов, срезая путь. Видно, в родных местах и слепой ходит как надо! На дороге — она от приверхи острова сворачивала влево, к устью Большой Слизневки и накосе пересекала Енисей, — на дороге этой я бы замерз или ознобился до инвалидности.

Прячу помороженные ухо и щеку, смазанные гусиным жиром, в воротник пальто. Тепла и от тьги и от другого мало, но дыханием отгоняет щипучую стужу. Полотенце и воротник обросли куржаком. Сквозь расчёс куржака видно дорогу, помеченную вехами, елушками, вершинками пихт, сучками, палками.

По дороге вытянулись совхозные подводы. Над рекой примерз к нему полуколечком тощий серпик и светится над дугами зябкий, никому не нужный, привязался и светится. Ночью надо светиться, когда люди блудят и погибают по дурости или по нужде, чтоб «месяшно» было. Лошади трусят неспешной рысцой, подпрыгивает месяцок вверх, катится вместе с нами куда-то беззаботно. Скрипят сани, повизгивают полозья. На свежих ночных заметах сани бурлят, визг полозьев и шелк подков притихают, отводины саней скатываются то влево, то вправо. На подводах через три-четыре лошади маячит забившийся в голову саней седок — баба или парнишка.

Торосы кругом, зубья льдин, заметны новины. Пофыркивают лошаденки мохнатыми от куржака мордами. Ни колокольца под дугой, ни медного позвякивания бляшек, какими любили сибиряки украшать упряжь. Сбруи на лошадях — горе с луком: мочальные завертки, пеньковые вожжи; чиненные-перечиненные хомуты, веревочные узды.

Лошади и те успели обноситься.

Солнце поднялось выше и стоит над селом, завидневшимся с середины реки. Вокруг солнца поразмыло туманную муть, почти стерло месяцок, но солнце в рыжей шерстке и не греет. Оно зависло на пухлых дымах, поднявшихся высоко-высоко над домами. Крепкие листовенные избы крышами да трубами темнеют в сугробах.

Кажется, все успокоилось в селе, уснуло под снегом, лишь раскаленным металлом сверкнет окно на чьем-то подворье да взбрехнет собака. Лес, спустившийся с увалов к огородам села, недвижим и пестр. Огороды, как упряжь, сдерживают разбежавшиеся под гору дома, не дают им упасть с берега. А на реке бесконечно пересыпается искрами снег и льдины пускают ослепительные просверки в насупленные, темные скалы, внутри которых время от времени шелкает сухо, без отголоска — рвет морозом камень.

Все ближе село, завьюженное, безлюдное. В лохматой подмышке тайги кажется оно таким сиротливым и чистым, что шемит у меня сердце.

Я соскакиваю с подводы и тороплюсь к селу, черпая ботинками снег. Обоз обгоняет меня и начинает взниматься вверх по Большой Слизневке — за сеном. На этой речке была когда-то мельница, и я там рыбачил хариусов, а бабушка теряла меня. Теперь здесь лесоучасток, работает движок, у гаража трещат машины и фукает пламенем бункер газогенераторного трактора.

Как сильно успел я соскучиться по родному месту. Смутная догадка о том, что трудно мне будет вдали от него, начинает меня томить.

Мороз послабел, но ознобленные щеки болят. На улице мне встретилась незнакомая женщина с ведрами, должно быть эвакуированная. Из подворотни юшковского дома выкатился и залаял на меня пес, но тут же усмирился, подошел ко мне, понюхал карман, в котором был хлеб. Анна Юшкова сбрасывала с сарая сено корове, увидела меня, поздоровалась. Я спросил, где Васька, мой однокашник, и она со вздохом сообщила, что Ваську вызвали на приписку в Березовский военкомат. Я перевел дух, пошел медленней.

Село стояло на месте: дома, улицы, а значит, и весь мир жили своей неходкой жизнью, веками сложенным чередом. Однако порядочно домов исчезло, проданы в город, перевезены на известковый завод и лесоучасток. На месте домов дыры, словно не дома из жилых порядков, а зубы вынуты клещами из рта. Суровы ликом сибирские деревни, а на нашем селе, придавленном снегами и морозом, еще и скорбь какая-то невыносимая — нет мужиков, стало быть, и лошадей нету, не звенят пилы, не стучат колуны по дворам, не слышно веселых привычных матерков, но дымятся трубы, село живет наперекор лихому времени. С этой, именно с этой встречи с родным селом-деревушкой останется в душе моей вера в незыблемость мира. До тех пор, пока есть в нем она, моя странная земная деревушка, так и будут жить они сообща — деревушка в мире и мир в деревушке.

Вот и дом тетки Августы. Я торопливо крутнул витое железное кольцо и обрадовался, что ворота не заложены. Раскатился по крашеному полу сенок и ввалился в избу. Изба эта куплена лесоучастком, где работал шофером Тимофей Шамов — второй Августин муж. Незадолго до войны семью лучшего шофера-лесовывозчика переселили сюда.

В кути никого, но очень тепло здесь, слабенько тянуло чадом из только что закрытой русской печки, коровьим пойлом и брюквенными паренками.

— Здорово ночевали! — Я отодрал со рта обмерзлое полотенце и принялся поскорее расшнуровывать ботинки. Из горницы на голос выглянула Августа, маленькая, совсем усохшая, курносая.

— Тошно мне! Весь познобился! — закричала она, хлопнув себя руками. — Да кто тебя гнал в такую морозину? Тошно мне! Ладно, хоть бабушки-то нет. Приохалась бы...

Августа помогла мне снять пальто, размотать полотенце, раздернула зубами тесемки шапки, потому что от дыхания узел заледенел. Попутно делала она разные дела: ломала лучину, набрасывала в железную печку дров, ставила чугунок с похлебкой, забеленной молоком. Из горницы, держась за косяки, выглянула черноглазая Лийка и беленькая, пухленькая, с ямочками на щеках Капа. В глуби горницы отдаленно орала старческим, треснутым голосом Лидка.

— Идите ко мне! — поманил я Лийку с Капой. Но они не двинулись с места.

— Это ж дядя, — пояснила девочкам Августа. — Не узнают. Лицо-то шибко у тебя распухло. В синяках все. Дрался ли, че ли?

— Дрался. Ночью с бревнами. Ну, идите сюда. Хлеба дам.

Девочки осторожно приблизились и стали, руки по швам. Я отломил им корочку. Остатки пайки, заваленной в кармане, протянул Августе.

— Я ненадолго.

Августа убрала пайку в посудник.

— Лезь на печку. Там катанки старые, Тимофеевны, и тепло. Только-только печку скутала. Ись-то сильно хочешь?

— Терпимо.

— К Алешке не заходил?

— Не заходил.

— Че же не завернул-то? Он как прибежит на выходной, спрашивает про тебя. Тоскует.

— Может, на обратном пуги...

Я жался к теплой трубе, беленной известью. Снова разворачивало, пластало руки, лицо, ноги, ухо и всего меня колотило так, что клалась зубы.

Но я терпел, не ныл.

Скоро Августа скажет о своей беде. По ее лицу, по конопатым щекам, землисто подернутым, по губам, тоже ровно бы землею выпачканным, как будто съела она немытую морковку, и по глазам, темь которых просекает большая горячность, догадаться нетрудно, какая беда стряслась. Однако не хочется мне верить в нее, я боюсь услышать об этой беде и потому прячусь за трубу русской печки.

Место верное.

В детстве не раз прятался я за трубу от бабушкиного гнева, с разными мальчишескими бедами, секретами.

Лидка ревела в горнице все громче и требовательной. Лийка ушла качать ее. Капа по приступку забралась ко мне на печь. Я подхватил ее, погладил по светлой челке и усадил за себя, к стенке, на которой висели и вкусно пахли чесноковые и луковые связки. Капа широко растрепанными глазами глядела на меня, потом провела по моей щеке пальцем.

— Бо-оба. — От сочувствия у Капы глаза наполнились слезами.

Я принялся трясти луковую связку, чтобы отвлечь девчушку, не дать ей разреваться, а то не ровен час и сам с нею зареву.

Лидка все прибавляла и прибавляла голосу — грудь требует. Августа ровно бы не слышала ее, но вдруг сорвалась с месга, загрохотала половицами, рванулась в горницу, выхватила из качалки Лидку и, точно коня, начала дубасить ее кулаком. Материлась она при этом так страшно, с такой ямщицкой осатанелостью, что Капа прижалась ко мне и сам я ужасся, хотя мне следовало бы унять тетку.

— Подавись! — сунула Августа закатившейся Лидке грудь, а та, задушенная рыданиями, никак не могла ухватить губами сосец и все кричала, кричала. — Да жри ты, жри!.. — перегорелым голосом сказала тетка.

Лидка смолкла у груди, и только глубоко остановившиеся рыдания встряхивали ее маленькое тельце, но и они скоро утишились. Августа кормила Лидку, задремывая вместе с ней. Лицо ее чем-то напоминало лик на старой, отгорелой иконе, под которой она сидела. Мне хотелось, чтоб все так и осталось, чтоб тихо было, без слез, без матерщины и крика. И чтоб лицо у моей тетки просветлело хоть немножко.

Августа вздрогнула, отняла у Лидки грудь, сплелена ее, виновато вздохнула и опустила в качалку. Лийка, на всякий случай забившаяся под кровать, вылезла оттуда и принялась старательно зыбать сестренку, стянутую пеленальником, сытую и убаженную.

Баю-баюски, бай-бай,  
не ходи, музык-бабай...←

напевала Лийка. Капа, притихшая было и спрятавшаяся за меня, высунулась из-за трубы. Я приподнялся на локтях и тоже выглянул. Августа стояла, уткнувшись лбом в беленый припечек. Из открытого чугунка от похлебки шел на нее горячий пар. Она не чуяла пара, видать, забылась, вышла на какое-то время из этой жизни. Но вот она передернулась, будто от мороза, черпнула поварешкой из чугунка.

— Похоронная пришла, — не поднимая головы, тихо обронила Августа и убрала изо рта шерстку. Говорила она так, будто уверена была, что я высунулся из-за трубы и жду главной вести, о которой, хочешь не хочешь, сообщать надо.

Все-таки предчувствие оказалось точным.

Еще там, в фэзо, получивши теткино письмо, я почти с уверенностью определил: пришла похоронная. И Виктор Иванович Плохих, мастер наш, и ребята из группы, когда снаряжали меня в путь-дорогу, все, по-моему, догадывались, зачем покликала меня тетка, и своей заботой хотели облегчить мою дорогу. А я шел в ночь, в стужу, в метель, чтоб облегчить горе родному человеку. И не знал, как это сделать, но все равно шел. Приходят же посетители в больницу и помогают больному выздороветь, хотя не дают ему никаких лекарств, ника-

кого снадобья. Они просто приходят, разговаривают и уходят.

Капа снова погладила пальцами мою щеку, уже берущуюся корочкой:

— Бо-оба-а...

Она пыталась утешить меня. Я прижал ее пухлые пальцы с розовенькими ногтями к разбитым губам. Меня душили слезы.

— Иди поешь, — позвала Августа.

— Сейчас, — прокашлял я ссохшееся горло. — Бабушка куда ушла?

Я тянул время.

Мне боязно спускаться к Августе. Знаю, угадываю не глядя — она налила похлебку и стоит сейчас потерянно возле посудника, стоит и думает, зачем она к нему подошла и что собиралась делать. И, наверно, опять вынимает изо рта надоедную шерстку, которой, как я убедился, у нее там не было и нет.

— Бабушка-то? — переспросила Августа и начала шарить в посуднике. — К Марее ушла, к Зырянову...

Тетка Мария и Зырянов, как всегда, живут в большом достатке. Но я у них бывать не люблю, да и бабушка тоже. Однако война не считается с тем, кого и что ты любишь. Она принуждает людей делать как раз больше всего то, что им делать не по душе.

— Она знает? — Я задержался на приступке с катанком в руке.

— Знает. Уж приходила, причитала: «Ой да сиротинушки мои! Ой да прибрал бы вас господь...» — Августа утерла губы концом платка, но серая земля на них все равно осталась. — Отругала я ее. Рассердилась. Ушла. Ноги, говорит, большие моей не будет у тебя! Ну да знаешь ты ее. Совсем она дитем стала. Болит ознобленное-то?

— Болит. Пошли, Капа, суп хлебать.

Бабушка моя уж много раз заявляла, что ноги ее у Августа не будет, но вот поживет у Зыряновых мирно, тихо и явится куда, разоряться будет. И вообще всех нас, особенно меня, всегда влекло к моей бедной тетке, хотя и много у меня другой родни в селе, но та родня до полдня, а как обед — и родни нет. Другое дело Августа — эта последнее отдаст, и нет у меня ближе бабушки да Августа родни на свете. Замечал я не раз, что и Кольча-младший, да и другие дядья и тетки, хоть и судят Августу за ее крутой нрав, за грубость, но бывать у нее любят, точнее, любили, пока не было войны. Теперь все заняты и всяк перемогает свою войну.

Капа проворно спустилась за мной с печки, заголив пухлую заднюшку. Я одернул на ней платье с оборочками, усадил рядом с собою за стол, дал ложку и кусочек хлебца. Из-за косяка пристально чернели Лийкины глаза. Я поманил ее пальцем, дал и ей ложку.

— Девки! Ведь вы только что ели! — запротестовала Августа. Лийка с Капой перестали черпать похлебку.

— Ничего, ничего, пускай действуют! Пускай... Ты тоже бы поела, Гуса. — Я виновато поднял глаза и встретился с ее взглядом, чуть уже размягченным медленно поднимающимися слезами.

— Не идет мне в горло кусок-то. — Она размяла в горсти чесноковину, высыпала кривые, зубцы передо мной. — Беда ведь в одиночку не ходит. Одну не успеешь впустить, другая в ставни буцкает...

— Что еще? — Я уронил ложку, и Лийка проворно соскользнула за нею под стол.

— Яманы сено доедают.

— Козы?

Лийка сунула мне черенок ложки, и я сжал ее в руке.

— Какие козы?

Я ничего не понял. Коз у нас в селе нет. Были давно еще, у самоходов Федотовских, но так эти козы всем надоели, так зорили огороженные от крупного скота огороды, что чалдоны дружно и люто свели яманов, как они презрительно называли коз, и чуть было и хозяев вместе с ними не уходили по пьяному делу.

Августа, глядя в окно, подавленно объяснила: сено едят дикие козы.

Час от часу не легче! Вот уж действительно беда как полая вода: польет — не удержишь.

Прошрое лето выдалось дождливое, и, когда метали сырое сено, присолили его, чтоб не сопрело. Дикие козы стаями вышли из лесов. Раньше и охотник-то не всякий мог их сыскать! А теперь из-за глубоких снегов и больших морозов в горах наступила бескормица. Да и не пугал никто дичину выстрелами. Козы осмелели и сожрали иные зароды дотла, на Августинном покосе зарод раздергали до решетинника и вот-вот уронят его, а там уж которое сено доедят, которое дотопчут.

Как же они без коровы-то? Я не мог есть. Глядел на девочок, швыркающих похлебку, на Августу, прижавшуюся спиной к шестку, кутающуюся в полушалок и снова вынимающую изо рта темными пальцами шерстку. Мне холодом пробирало спину, хотелось заорать: «Перестань! Что ты делаешь?» — но я превозмог себя.

— Налей-ка чаю.

Августа достала из посудника большую деревянную кружку, резанную еще дедом из березового узла. Когда-то кружка эта была на заимке. Давно нет заимки, и деда нет, а кружка сохранилась. Сделалась она черна, на обкатанных губами краях у нее трещины. В трещинах различима древесная свиль, жилки видны. Августа налила кружку до краев, и из посуды слабо донесло весенней живицей. Всякая посуда мертва по сравнению с этой неуклюжей и вечной кружкой. Я не мог оторваться от кружки, от теплого душистого пара. Густо смешался в нем кипрейный и мятный дух да разные другие бабушкины травы заварены: зверобой, багульник, шипицы



цвет. Хочется лета. Всегда хочется лета, если пьешь чай с бабушкиными травками-муравками.

— Тошно мне! Чуть не забыла! — всплеснула Августа руками и повеселела взглядом. Она ступила на лавку, куда не могли добраться девчонки, и, вытянувшись, достала с верхней полки посудника бордовую тряпицу, удивительно мне знакомую. Покуда тетка разворачивала тряпицу, вспомнилось: это лоскут от бабушкиной, когда-то знаменитой праздничной кофты. В тряпиче оказались три древние, оплывшие от телесного гепла лампасейки и кусочек затасканного серого сахара.

— Любимому внучку, — лукаво сощурилась Августа и передразнила бабушку: — «Мотри, штоб девки не слопали! Я им давала, и будет!» Об том, что письмо тебе послала, она знает, — пояснила Августа уже без лукавой прищурки и ознобно подавила вздох, докатившийся до губ.

«Ах ты, бабушка, бабушка! Зачем ты ушла к Зырянову? С осени не виделись и когда теперь увидимся?» — кручинился я и колол сахар на маленькие комочки.

— Выпей хоть чаю, — кивнул я тетке. — Размочи нутро.

Она все время словно ружье на взводе. Это угадывалось по движениям, вроде бы вялым, обременительным, по словам, которые она говорила только по необходимости, и все по тому же щипку пальцами, которыми она то и дело вылавливала что-то изо рта и никак не могла выловить.

Я, как мог, отдалял неизбежную минуту.

Августа покорно налила себе чаю. Пьет. Чуть даже ожилилась. Рассказывает про бабушку, и в то же время научает девчонок, чтобы они не хрумкали лампасейки, а сосали бы их — так надолго хватит.

— Она ведь, толкую тебе, чистое дитя стала. — Августа всегда любила рассказывать про бабушку мою с подковырками, с улыбкою. — «Гуска, выходи замуж за линтенанта! Линтенант большу карточку получают». Я говорю — где его взять, линтенанта-то? В деревне нету, в город ехать недосуг — ребяташки не отпускают. «Я подомовничаю хоть два, хоть три дня. Ступай в город, глядишь, сосватаешься. Раз похоронная пришла, че сделаешь? И не зубоскалы! Время приспело такое — всяк спастись должен. У тебя ребяташки, и об них подумать следует...» Я говорю — сосватала ты меня раз за Девяткина, да сама я сосваталась за Шамова, и хватит! Приплод большой. В тебя удалась — родливая! Она сердится. На печь заберется и говорит, говорит, иной раз уж вовсе несуразное несет. Не тронулась бы... — Августа открыто, по-бабьи вздохнула. — Нынче это нехитрое дело. Тебе табаку принести?

— А есть?

— Дивно табаку, дивно. Тимофей летось насадил. В огороде место оставалось. Брюквенная рассада вымерзла. Он посеял семена турецкого табаку. Пускай цветет, сказал, девчонкам забава. А табак оказался — самодрал расейской. Я заламывала его, потом срубила, в бороздах держала, все делала,

как тятя-покойничек. Крепкуший получился — спасенья нету. Хресник мой, Кеша-то, пробовал — накашлялся.

— Ну-ка, ну-ка, притащи корня два.

Августа достала с чердака беремя густо воняющих корней табаку, и пока я сушил волглые листья на железной печке, пока мял их, чихал и свертывал сигарку, у меня прояснилось в голове.

— Вот что, — закуривши, начал я солидно, с расстановкой, как мне, мужчине, и полагалось говорить. Зря, что ли, Августа вызвала меня со станции Енисей, из школы фэзэо? — Вот что. Беда сейчас не у одной тебя. Многим внове беды. Тебе не привыкать. Обколотилась. Жить надо. Девки у тебя.

— Господи-и-и! — ударились о стену головой Августа и начала катать ее по тесаному, замытому бревну. — Господи-и-и! Кем мой век заеденный? Кто сглазил его? Сызмальства. С малолетства самого как взяло меня! Ну чем я, чем я хуже других? Марeya живет! Кольча тот и другой в чести и достатке. Все живут как люди, а я маюсь, а я бьюсь, как сорожина об лед...

Да-а, это уж, видно, кому какая доля выпадет. Восемнадцать лет Августа вышла замуж за грамотного, пьющего мужика по фамилии Девяткин. Из самоходов он был. Бедовый. Пал в пьяной драке, оставив на память Августе Алешку. Сколько горя, насмешек и наветов перетерпела Августа из-за Алешки, не перечесть. Алешка выдался в отца драчливым и в мать трудолюбивым. Как подрост, хорошо начал помогать матери и поддерживать ее, но сейчас он уже отрезанный ломоть, учится ремеслу. Он перворазрядник шахматист, по лыжам бьет все рекорды в школе. На селе про Алешку теперь говорят: «Вот те и на! Вот те и немтыры!..»

Еще когда Алешка был невелик, свела Августу судьба с Тимофеем Шамовым. Большая семья Шамовых переселилась на Слизневский участок из той самой слободы, которую вспоминал я вчера, когда топал по Енисею. Семья Шамовых была тиха, уважительна и работаща. Всеми она почиталась и на лесоучастке, и в селе нашем, безалаберном и приветливом. Однако и в этой семье выделялся мягкостью характера, какой-то юношеской застенчивостью старший сын Тимофей. Он из-за скромности характера так долго и не женился, должно быть. Тимофей даже Алешку как-то сумел к себе приручить, и тот от любви к нему, к отчиму, от благодарности, что ли, выучил и с блаженной улыбкой повторял: «Па-па! Па-па!»

«Ой, война ты война!» — Я стиснул зубы, креплюсь. Сейчас самое главное — терпеть и ждть, чтоб Августа вырелась, напричиталась. Иного средства от беды люди еще не придумали.

Тетка все катала и катала голову по щелястому бревну.

Я старался не смотреть на ее худую шею с напрягшимися жилами, на скошенный рот, в который ручьем бежали слезы. Меня и самого душило, и с трудом я держался, чтобы не за-

выть. Выдрать бы из головы горсть волос, если б они были. Изрубить бы чего-нибудь в щепье!

Августа рассказывала мне свою жизнь. И хотя я знал ее насквозь, все равно слушал — она затем и позвала меня. Больше ей теперь некому рассказывать о своей бабьей доле-юдоли, некому пожаловаться на судьбу.

Потом Августа сидела, безжизненно свесив руки, волосы у нее растрепались, лицо опухло; засветились красные жидки в выпаканных глазах, губы и нос тоже распухли.

— Хорошо, что ты пришел, — через большое время слабо и отрешенно вымолвила она. — Надумала я удавиться. И веревку припасла — дрова на ней осенить из реки вытаскивала. Алешка при месте, теперь не пропадет. Девчонки тоже приберут в детдом, кормить, одевать станут. А то и мне смерть, и им смерть... — Она сказала об этом так, как прежде люди говорили, что дом надо подрубать, кабы не завалился; что пора переходить с бадогов на другую работу — поясница отнимается; что на Манской гриве рыжиков и брусницы будет, по приметам, — хоть коробом вози.

Я сжал лицо руками, сдвинул обмороженные щеки, чтоб мне больно сделалось, меня шатало.

— Перестань! — завыл я и затопал ногами, боясь отнять от лица руки. — Перестань! — еще громче закричал я, хоть Августа ничего уже не говорила. Девчонки затопотили по шатким половицам и затихли, снова, должно быть, укрылись под кроватью.

Проснулась Лидка. Ее плач хлестко ударил по ушам.

— Да ты что? — размахивал я руками и горячим шепотом орал: — Ты понимаешь, че говоришь? Спятила! Не бабушка, ты спятила!

Меня колотило, как прошлой ночью промерзшего до костей колотило в шорнической. Пытаясь побороть этот сотрясающий все нутро озноб, я бегал по кути, махал кулаками, сбивался с шепота на крик и говорил, говорил какие-то слова о детях, о войне, о фэзэо, о вчерашней ночи, о том, как мне хотелось жить!.. Приводил всякие исторические примеры. Великих людей вспоминал, мучеников и мучениц, декабристов и декабристов; ссыльного Васю-поляка и других ссыльных, кои никогда не переводились в нашем селе. Пришла на ум недавно прочитанная книга о Томмазо Кампанелле.

— Вон Кампанелла — итальянец! — громовым голосом вещал я, бегая по кути. — В крокодиловой яме сидел! В воде по горло! На колу сидел — не сдавался! Даже книжку сочинял. «Город солнца» называется. Про будущее про наше. Как все станут жить в радости и согласье...

Тут я обнаружил — Августа внимательно на меня смотрит и слушает. Девчонки тоже вылезли из-под кровати и внимают с открытыми ртами. Я споткнулся среди кути и конфузливо умолк.

— Какой ты у нас умнай человек! Откуда же и берется?

Вот бы бабушка-то послушала... — Августа опять что-то поцепляла щепоткой во рту, затем промакнула платком лицо и отстраненно вздохнула.

Огонь прилил к моему и без того пылающему лицу, и я поскорее принялся крошить ножиком табак. Лийка полезла на скамейку — отрывать листок календаря на сигарку.

Тетка еще посидела, затем неторопливо повязалась платком. Ровно передышку она сделала среди трудного пути и снова снарядилась в дорогу, подготовилась к делам своим, вечным, миру не заметным.

Долго закуривал я, обстоятельно и никуда не мог спрятать глаза. «Оратор! — изничтожал я себя. — Олух царя небесного! Еще стишки бы почитал, песенки продекламировал...»

— Табак и в самом деле крепкий, — буркнул я, засовывая в пещку окурки. — Надо Кешу позвать..

Кеша парень хозяйственный. Вместе мы скорее обмозгуем обстановку и обязательно что-нибудь придумаем, хотя и говорится: деревенская родня, что зубная боль, да куда ж без нее? Припрет, так сразу о ней вспомнишь.

В детстве Кеша питался одним молоком, и оттого шея у него была тонкая, голос еле слышен, а глаза, как у теленка, с тягучей, сонной поволокою. Нрава он для нашего села неподходящего. Драться не умел и не любил. Если его дразнили, обирали, тыкали — молчал или плакал, и слезы катились по его незащищенному лицу так, что жалко становилось Кешу. Мы, его братья, родные и двоюродные, почему-то думали, что он больной, и обороняли наперешиб, и однажды я чуть было не утопил парнишку, нагло отобравшего у Кеши игрушки, что, впрочем, не мешало, как я уже рассказывал, обчищать братана, играя в бабки или в чикю.

Кончилось дело тем, что Кешу задирать и дразнить перестали даже такие оторвы, как Санька Левонтьевский, а он, довольный этим, играл сам с собою, мастерил из ивовых прутьев упряжь для бабок, рано научился плести корзины, потом вязать сети, плотничать, столярничать, огородничать.

Как-то незаметно для всех Кеша сразу из парнишки превратился в мастерового, домовитого мужика, и пока мы еще лоботрясничали, вытворяли разные штуки, не желая разлучаться с детством, он уже вел хозяйство, которое охотно уступил ему дядя Ваня, склонный больше к рассуждениям насчет работы, но не к самой работе.

Само собой, вся наша родня и особенно бабушка ставили Кешу в пример, восторгались его положительностью, а он стеснялся, что укором является, и всячески выслуживался перед нами. Слух был — Кеша до сих пор попивает вареное молоко из нарядного детского сливочника, только тетя Феня сливочник ныне не ставит на окно, скрывает слабость сына, потому как зачастила в дом девица с заречного подсобного хозяйства, тоже

положительная, с медицинским образованием, умеющая вязать носки и рукавицы, также строчить шторы.

— Как живешь? Все молочишко попиваешь? — Я, как всегда, встретил брата на зубоскальством.

— Корова стельна, — как всегда, отбился Кеша. Он забросил рукавицы на печь, повесил на гвоздь полушубок и прошел к передний угол. На нем была клетчатая рубаша со множеством пуговиц, аккуратно подшитые валенки с загнутыми голенищами. Кто-то лесенками подстриг брата, оставив косую челку, и полкорень истребил косичку, которая, сколь я помню, всегда сузликowym хвостиком свисала в желобок его худой шеи.

Кеша рассматривал меня, как это только он умел делать, с нескрываемым родственным сочувствием, и никакие мои фээзошные насмешки на него не действовали, вся его любовь ко мне и ко всем нам жила на его постноватом лице.

— Хоть бы с невестой меня познакомил, — продолжал я подначивать брата. — Мастерница, говорят. Пальто бы мне зашила, по-свойски.

— Лелька успела наболтать! — посмотрел Кеша в горницу, где убирала постели Августа и делала вид, будто нас не слышит. — Кака невеста? В Березовку вызывали, в военкомат, на освидетельствование. Призовут скоро.

Мы так давно и прочно приучили себя драться за Кешу, оборонять малого от всяких напастей, охранять уединенность его, что для меня не сразу, не вдруг дошло это сообщение. Но чем он лучше или хуже других, мой братан Кеша? Никто из нас для войны не рождался. Такие же, как он, мирные люди топают сейчас в запасных полках, колют на морозе, голоса: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» — и на фронт, воевать. Только трудно, ох, трудно будет братану там, в совсем другой, непригодной для него жизни, в казарменной тесноте, вдали от отца-матери.

И не заслонишь его собою.

Мы пилили с Кешей дрова, кололи чурки, я нет-нет да и поглядывал на него, пытаюсь представить брата в военной форме, в строю, в сраженье, и ничего у меня не получалось, а он угадывал мое беспокойство и непривычно много говорил — успокаивая не столько меня, сколько себя.

— Нано нак. Люни ж там всякие нужны. Может, при мастерских устроить?

Мы испилили дрова, нарубили табаку, оставили несколько вязанок корней — это уж на самый крайний случай. Табак-самосаду насеялось почти полмешка. Августа продаст его перекупщикам, которые стаями рыскали по деревням в надежде чем-нибудь поживиться. На вырученные деньги тетка прикупит сена. Если удастся отстоять и вывезти сено с Манской речки, с нашего давнего покоса, который перешел Августе, корову она, пожалуй, до травы дотянет.

А если нет?

Завтра мы пойдем с Кешей отбивать сено, если там есть еще чего отбивать. Затем сено нужно вывезти.

На ком вывезти? Когда? Вопрос!

Лошадь на все удалое село сохранилась одна — у дяди Левонтия. Он по-прежнему работал на бадогах, даже получил повышение — не то бригадиром, не то десятником стал. Много сейчас строилось в городе и возле города казарм, барачков для эвакуированных, заводы ставились, фабрики, свежие в Сибирь с занятыми фашистами земель, на известку возник небывалый спрос.

В избе дяди Левонтия чисто и просторно. Появились в ней занавески на окнах, половичок на сундуке, в переднем углу на столе — филейка с расшитыми по ней ниточными узорами; кровать, заправленная одеялом; над кроватью кот и кошка из цветной фольги, заключенные в деревянную, отделанную соломкой раму, — продукция эвакуированных, которую меняют по деревням на картошку. Тикают часы с гирькой. Маятник на месте, стрелки на месте, гирька на месте! В прежние времена эти часы разобраны были бы в первый же день, если не в первый час. И котов этих распотрошили бы орлы дяди Левонтия, и скатерку филейную ножницами истригли, и всё бы перевернули вверх дном, кроме русской печки разве. И содомила бы тетка Васенья, раздавая оплеухи, направо и налево, и гонялась бы за Санькой с железной клюкой.

Сейчас тихо в доме дяди Левонтия. Тихо и, среди всего этого добра, неуютно.

При моем появлении тетка Васенья оживилась, принялась крестить меня и себя, но креститься она не умела, и я от растерянности заухмылялся, смутил ее. И вот сидит тетка Васенья на низком курятнике у печки, петух просунул голову меж планок, клюет ее валенки, а она не слышит. Смотрит тетка Васенья на меня и тужится что-то вспомнить.

— Ничего, тетка Васенья, ничего! — забормотал я и ляпнул: — Держи хвост дудкой!

Тетка Васенья напряглась, собрала на переносы светленькие, беспомощные брови, старчески сунувшиеся к глазам.

— Хвост? Какой хвост? — Она испуганно озиралась, шагнула себя по юбке. — У-у. озорник! — погрозила она мне пальцем облегченно и поправила платок на голове. — Ох, какие вы с Санькой были! Ох, какие!.. А Санька-то в антилеристах! Где, отец, Санька-то? В какой местности? Он так все прописал, так прописал... Ну-ко, отец, расскажи-ко. — Тетка Васенья поерзала на курятнике, изготовилась слушать со вниманием, хотя, по всем видам, слышала Санькино письмо много раз и все знала наизусть.

— Да ведь ты же знаешь, какой он, Санька, Александра-то наш, — заговорил негоропливо, уважительно дядя Левонтий, окутанный дымом и поджидал, чтоб я подтвердил, какой он человек, Санька-то, мол, о-го-го. А я молчал и думал: «Вот по-

слушал бы Санька, с каким печтением о нем, клятом-переклятом, руганом-переруганом, вспоминают родители, которым он испортил сколько крови, что уж дивоваться приходится, как они еще живы».

— Письмо, вишь ли, пришло, — рассказывал дядя Левонтий. — Все честь по чести прописано, поклоны всем, здоровья пожелания. Складно так. А дальше закавыка! «О местности, где я нахожусь, написать не могу, хотя вы просите, потому что военная тайна. А чем тятя бадogi колет?» Все понятно, што военная тайна, што нельзя, стало быть, сообщать местонахождение. Но пошто Санька вопрос такой задал? Он же знает все про бадogi? Сам на них рабливал. Колотушка деревянная, топор, клин! — вот и весь прибор. Гадали мы с матерью, гадали, аж в голове загудело. Ничего не отгадали.

— Не отгадали, не отгадали, бестолочи! — подтвердила тетка Васеня. Лицо и глаза ее светились радостной нетерпеливостью. Она подняла руку, будто школьница, собираясь вступить в разговор.

— Погоди, мать, — остановил ее дядя Левонтий. — Вот на смену вышел, тогда я еще на рядовой работе стоял, — важно заметил дядя Левонтий, — колю бадogi, а вопрос Санькин не идет у меня из башки. Я вечером в сельсовет. Покрутили там, повертели письмо Александра. Обормот, говорят, он был, ваш Санька, обормотом и остался — не мог уж без фокусов отцу-матери написать. Тогда я сказал сельсоветским кое-што! И к учительше. Она дрова пилит, усталая, ничего не соображает. Помог я ей дрова напилить, в избу снес, а там у ей сестра с Кубани, эвакуированная, больная, и, скажи ты мне на милость, вмig она мне все и разобъяснила, остолопу. Клин! Понимаешь, Кли-и-ин! Вот гак! — Лицо дяди Левонтия сияло таким восхищением, тетка Васеня так хорошо по-куричьи хвоятала на курятнике, что порешил я продлить маленько ихнее ликование.

— Какой клин?

— Да город! Го-о-ород, оказывается, есть такой на свете! — простонал дядя Левонтий и утер выступившие на глазах слезы. — Как он их, а?

— Мозговитай, ох, мозговитай! — причитала тетка Васеня.

— Ну Санька! Ну-у Санька! — ахнул я. — Вот ушлый так ушлый! — И чтоб совсем уж убаготворить дядю Левонтия и тетку Васеню, прибавил: — Кто-кто, а такой человек, как Санька, и на войне не пропадет!

Что иногда значат для людей слова, обыкновенные слова! У дяди Левонтия и грудь, как в молодые, моряцкие годы, колесом сделалась.

— Да, Александра наш, он уж такой! Он уж так: либо голова в кустах, либо грудь в крестах! — заявил дядя Левонтий и укорил тетку Васеню: — Ты че это, мать, сидишь-то? Напой, накорми человека, после и вестей проси.

Тетка Васеня всполошилась, тетерей себя обругала и за-

гремела заслонкой печи. А дядя Левонтий трудно закричал и сказал, как будто оправдываясь:

— Совсем она у меня потерялась, совсем. Токо весточками от ребят и жива, — и покачал седой, ровно бы мохом обросшей головой. — Э-эх, ребята, ребята, матросы мои...

Переломившись в пояснице, он начал сосредоточенно крутить сигарку и сорил табаком на брюки, и все, что было за словами, читалось на его лице: как жили-то, дружно, весело, артелью непоборимой! Ну и што, што не всегда досыта едали? Не плакались! Ну и што, што гонял семейство по пьянке? С дурака какой спрос! Ну и што, што дрались и пластались меж собой братья и сестры? Зато чужому было никому их не тронуть. Орлы! Друг за дружку стеной.

Дядя Левонтий начал было прятать кисет в стеганные брюки, но вдруг приостановился, подумал и протянул мне кисет кури, дескать, возразь твой подошел.

Скобленный пол, тетка Васеня без сажи под носом; дом без ребятишек; слова «отец» и «мать» и скорбно сочувствующий взгляд дяди Левонтия, его степенность.

Полно, уж в тот ли дом я попал?

Тетка Васеня и дядя Левонтий, сколько мне помнится, всегда называли друг друга «он» и «она». Дядя Левонтий чаще: «размазня», «тетеря». Тетка Васеня: «мордоплюй», «костолом», «рестант» и в самые уж обиходные дни, то есть в дни получек «сам» или «хозяин».

Много в этом доме было народу, велика команда, и потому будет здесь много горя и слез. Одна похоронная уже пришла. Старший, тот самый, что водил когда-то нас по ягоды, погиб на границе. Двое удались в отца — моряками воюют под Мурманском, во флоте. Санька — истребитель-артиллерист. Татьяна, мне так и было сказано — Татьяна, а не Танька, и я даже суп перестал хлебать, — учится в городе на швею. Еще двое в ремесленном, в Черемхово, на шахтеров обучаются. Остался самый младший, да и тот зимой не при доме, в школе на Усть-Мане — десятилетки в нашем селе нет.

Я хлебал суп, хороший, наваристый суп с костью, но уж лучше бы как прежде — хлеб с водой, чем пирог с бедой. Тетка Васеня подливала мне и глядела, глядела на меня, с жалостью, с испугом, и я угадывал ее бесхитростные бабын печали: «Может, и тебя последний раз потчую...» Мне и неловко было, но не было сил отказаться от еды, ранить душу тетки Васени, лицо которой одрябло, как прошлогодняя овощ. А было всегда это простоватое лицо то в закопченности, то в саже и сердито понарошке. По врожденной ли доброте, из-за бесхарактерности ли ее, воспринимал я тетку Васеню раньше, да и бабушка моя, и все наши соседи, — как доверчивое дитя, способное одновременно и плакать, и смеяться...

Другое дело теперь. Вон слеза выкатилась, запрыгала по морщинам, будто по ухабам, упала на стол — такое горе, и такая беспомощность перед ним!



— Да будет, будет, — с досадливостью махнул на жену дядя Левонтий. — Ест же человек, кушает, а ты мокренью брызгаешь!

Тетка Васеня торопливо утерлась передником, сидит, опершись на стол, тупая, послушная. В позе, в лице, в движениях ее такая неизбывная, дна не имеющая тоска, что и сравнить ее не с чем, потому что не для горя-тоски рождался этот человек, и оттого это горе-тоска раньше других баб размоют ее, разотрут, как злая внешняя вода рыхлую пашню. Дядя Левонтий, мне кажется, понял это, боится за жену.

— Равно пустая кадушка рассохлась. — Дядя Левонтий говорил это так, будто и нет тетки Васени рядом, будто она уж его и не слышала.

Она и в самом деле не слышала ничего. Ей все безразлично оттого, что в доме ее пусто, нет гаму и шуму, не рубят ничего, не поджигают, все ей тут кажется чужим, и хочется попасть обратно в ту жизнь, которую она кляла денно и ночью, вернуться в тот дом, в ту семью, от которой она не раз собиралась броситься в реку. Вот теперь бы она никого из ребят пальцем не тронула, сама бы не съела, все им отдала, все им, им...

Дядя Левонтий подтянулся, построжел. Одежда на нем застегнута, прибрана, постирана — тетка Васеня убажает его вместо ребят. Из рубахи, как всегда малой, длинно высунулись большие, ширококостные руки. Бритые скулы на обветренном, длинном лице отчего-то маслянисто блестят. Он курит казенную махорку и пепел стряхивает в жестяную банку. Против осенней поры, когда мы выкатывали вместе лес, он заметно ожил, зарплату ему прибавили, и паек дополнительный идет. Не признать в нем того разболтанного, безалаберного мужика, который прежде куролесил и чудил так, что даже в нашем разгульном селе считался персоной особенной и на веки вечные пропащей.

Вспомнить только получку дяди Левонтия! Стол ломится от яств, объевшиеся ребятишки бегают с пряниками, конфетами, наделяя всех гостинцами, хохот, пляски — окошки, потолок, бревна в избе дрожат и вот-вот рассыплются от хора, рывкнувшего песнь про «малютку облизьяну». Санька-мучитель. Без потехи не вспомнишь, как пьяный дядя Левонтий таблице умножения его учил: «Скоко пятью пять?» И сам себе: «Тридцать пять!» «Што такое жисть?»

Не задает любимые вопросы дядя Левонтий. Некому и некогда.

— Че ж Августа чуждается? Почему не обратится? — укоризненно пробубнил дядя Левонтий, прощаясь. — Конешно, конишко занятой, уезженный до ребер, но в наших же руках! Обеспечим, коли надо, вдову Отечественной войны всем довольствием. Наш такой долг, работников тыла...

С открытым ртом внимал я дяде Левонтию. Он приосанился во время речи, преобразился, и понял я, что должность

у дяди Левонтия не меньше десятника, а то и выше хватай.

Быть может, я чего и сморозил бы в ответ на речь, но тетка Васея так расплакалась, когда я стал уходить, так рыхло и сиротливо сидела на курятнике возле печи, где она теперь, видать, сидит все дни, так по-детски, совершенно по-детски зажимала глаза тыльной стороной руки, что я заторопился на улицу.

Я стоял перед бабушкиным домом, промаргивался. Ставни закрыты. На трубе снег шапкою, будто на пне. У ворот не притоптано, даже в железном кольце ворот полосочка снега. Снег, снег, везде снег, белый, нетронутый. Мне хотелось снять фээзошную шапку, вцепиться зубами в ее потную подкладку. Движимый каким-то мучительным чувством, с ясным сознанием, что делать этого не надо, я все-таки перелез через заплот и оказался во дворе моего детства.

Не совладал с собой.

Всюду снег, невзাপравдашно белый, пухлый, и ни одного следочка! Подле навеса в беспорядке набросаны крестики птичьего следа, но и те не свежие. Амбар снесен, стайки тоже, остался лишь этот старый дощаной навес. Под ним стоял толстый, истюканый чурбак, на котором заржавели зубцы держалки. Дедушка всегда чего-нибудь мастерил на этом чурбаке. Снег слежался в его морщинах. Старые, порыжелые веники висели под навесом. В углу прислонены серые от пыли и оттого, что ими давно никто не пользовался, черенки вил и граблей. Меж досок засунуто сосновое удилище с оборванной кудельной леской. Вершинка у него не окорена — это мое удилище. Я всегда оставлял кору на вершинке, чтоб крупная рыба не сломала. Столько лет хранилось!

Неслышно пошел я по мягкому снегу к избе. На ступеньках крыльца лежал припорошенный полынный веник, на высунувшемся из-под крыльца метловище надета продырявленная подошница. Я смел веником снег с крыльца. Сметался он легко. Не удержался, заглянул в сердечко, вырезанное в кухонной ставне. Сначала ничего не увидел, но постепенно глаз привык к темноте и обнаружил давно не беленный шесток печи, на нем синяя большая кружка. В эту эмалированную кружку с беленькими цветочками наливали мне бабушка молоко. Пока выпьешь до дна, устанешь, и брюхо делается тугое-тугое. Бабушка пощелкает по нему ногтем либо щекает: «Самый раз на твоей пузе блох давить!»

Дно у кружки однажды продырявилось. Дедушка вставил вовнутрь кружок фанерки, и в кружке держали соль. Она и сейчас стоит с солью? Нет, кружка опрокинута. И соль у бабушки вывелась. Нынче она стоит немалых денег. Сколько я ни напрягался, сколько ни вытягивал шею, увидеть больше ничего не смог.

За желтым наличником торчали раскрошившиеся пучки

зверобоя и мяты. Я пошарил под травами — ключа там не оказалось — бабушка никого не ждала. И сама дома не живет — нечем отапливать такой большой дом. Да без людей хоть сколько топи — выстывает жилье.

Я стоял, глядел на желтую дверь, на скобу. Желтое в ней осталось лишь в сгибах. Огромный, тоже крашенный желтым замок. Желтый дверной косяк, в центре которого один на одном крестики, углем и мелом начертанные к какому-то святому празднику.

Мучительно, словно это было сейчас главное, пытался вспомнить, почему в нашем доме все окрашено желтой краской.

Вспомнил! Незадолго до смерти дедушки появился у нас с двумя ведрами чумазый моторист с буксира, подвалившего к берегу, и о чем-то таинственно шептался с бабушкой. Ведра с краской остались у нас, а моторист, спрятав что-то под рубаху, ускользнул со двора.

Вот тогда-то, дорвавшись до дармовой, как утверждала бабушка, краски, она и перекрасила в один цвет все — от пола до коромысла. Краска сохла чуть ли не все лето, ходить в избу надо было по доскам, ни к чему не прислоняться. Сколько колотушек добыл я в то лето — не перечесть. Зато когда высохла, бабушка нахвалиться не могла красотою в избе и своею хозяйственной предприимчивостью.

«Желтый цвет — измена! Красный цвет — любви! Зеленый цвет — ...» Что же означает зеленый цвет в Танькиной, в Татьяниной песне?

Опять какие-то пустяки. Сплошные пустяки в голову лезут. Надо уходить.

И я побрел со двора, в котором отшумело мое детство. Здесь было все: и игры, и драки. Здесь меня приучали к труду: заставляли огребать снег, выпроваживать весенние ручьи за ворота. Здесь я пилил дрова, вертел точило, убирал навоз, ладил трактор из кирпичей, сажил первое в жизни деревце. Здесь, среди двора, ставилась летом железная печка. На ней бабушка варила варенье. А я жарился подле, с терпеливой и твердой верой, что бабушка не выдержит характера и даст мне пенек с варенья или хотя бы ложку облизать. Здесь, под навесом, лежала утопленница мать, и меня не допускали к ней, но я все равно пробрался, посмотрел, и потом она долго приходила ко мне сонному. Меня лечили травой, опрыскивали святой водой. Отсюда же, из-под навеса, унесли на кладбище моего дедушку. На этом дворе, покрытом белым, нетронутым снегом, меж сланей летами торчали иголки травы, по ней валялся Шарик. В стайке вздыхала корова, в амбаре кричали курицы, исполнивши свое дело, и громче их, будто тоже хотел снестись, но яичко никак не пролезало, базланил петух. Бабушка держала петухов красных, драчливых, и руки у нее всегда были до крови исклеваны. Ворота заложены гладким бастригом, превращенным в заворину, тем самым бастригом, который забро-

сил когда-то в крапиву забунтовавший дед. Я подпрыгнул, ухватился за верхние бревна заплота, подтянулся и сел. Чего еще жду?

Окрика: «А ворот тебе нету, окаянная твоя душа! Вылезло тебе! Ворота не видишь, разъязило бы тебя в душу и в печенки!..»

Никто меня не окликнул.

Я спрыгнул в сугроб, наметенный подле забора, подошел к палисаднику. За тонкими осиновыми частоколинами краснела калина. Бабушка не собрала ее на зиму, чтобы сварить полезительной и сладкой кулэги. И пгицы почему-то не склевали ягоды, а калина из тех ягод, которые они склевывают раньше других и охотней других.

Видать, и птицы покинули забедованную землю.

Над Манской речкой луна, полная и прозрачная до того, что на ней видны проточины и темные лоскутья, должно быть, лунные горы и земли.

Зарод сена, в котором затаились мы с Кешей, высвечен луною, и нет ощущения ночи. Мы как бы попали в другое царство, где все околдовано сном, все призрачно и до звонкости остыло. Зарод сметан на бугре, отодвинувшем в сторону речку и клубящиеся ольшаники. Бугор гол, и зарод поставлен так, чтобы продувало его со всех сторон. Сено сметано рыхло, на шалашом составленном решетиннике. Зарод хорошо зачесан сверху и даже прикрыт пластушинами корья. Но все равно сено в нем осенью согрелось, подопрело, и не будь оно посолено, так и вовсе пропало бы.

Вокруг зарода пестреет козья топанина, снег усыпан черными шариками. Не один табун пасется здесь. И пасется давно. Зарод поддерган и сделаня наподобие кулича.

Мы с Кешей одеты в собачьи дохи, раздобытые на селе. Оба в подшитых больших валенках, меховых шапках и рукавицах-мохнашках. У меня еще замотаны пуховой шалью лицо и уши, оставлены только глаза, и смотрю я пристально на снег, истоптанный козами, на ближний, прореженный лес с коротко подобранными под себя тенями. Луна стоит почти над головою.

Я сжимал дяди Ванину двустволку, Кеша — дробовик, взятый у тетки Авдоты, недавно лишившейся мужа — Терентия. Он без вести пропал на войне. Так-таки и пропал, утерялся Терентий. В плен его лешаки унесли, героем ли погиб?

С удивлением смотрел я на оцепенелый, отрешенный мир, залитый светом луны, на белую поляну покоса в бесконечных пересверках. Накатывал морок на луну, выплывало невесть откуда взявшееся облачко, и тогда бугор темнел, по нему чешуйстыми рыбинами плавали тени. Лес за покосом делался плотнее, смыкался бесшумно. Но ясна луна, переставали бродить по снегу тени, и окутанный мохнатой дремою лес покоился на своем месте. Космы берез обвисли до белой земли,

и хотя много их, этих крупных, несрубленных берез, все же кажутся они одинокими. Вдовьей грустью наносит.

От луны четко пропечатались далекие утесы. Деревья в вышине словно обгорелые былинки, и все это: и горбатые выгибы перевалов, и темные скалы, ровно бы приклеенные к окоему, и деревья, как будто с детской небрежностью нарисованные, ближние ельники, увязившие ветки в снегу, и спутанные в ржавые клубки лозины, черемушники, ольшаники по извилистой речке — весь этот край, убаюканный тысячеверстной тишиною, никак не давал поверить, что где-то сейчас гремит война и люди убивают людей.

Никакой войны нет.

В древнем, замороженно-сонном царстве, среди заснеженных лесов, за этими дальними, волшебю светящимися перевалами, люди пьют вино за новогодними столами, поют песни и целуют любимых женщин. Все они желают друг другу счастья, никто из них не таит в сердце зла. Зла не должно быть в таком прекрасном, в таком тихом и чистом мире!

Как обворожительно подвиден лес. Зимний лес!

Хочется забыться, довериться ему, закрыть глаза и остаться в нем навсегда, погрузиться в мягкую вековечную дрему. Это так легко! Осторожно поднимаю руку, стягиваю шаль с одного уха. Ничего не слышно. Ни-че-го!

Какие тут могут быть козы? Что тут может быть живое?

Безуспешно пытаюсь я уверить себя в том, чего нет: Августа спит спокойно, бабушка моя, гордая и шумливая, не ходит по людям и не выглядывает куски, на всей земле моей тишина, — но впасть в самообман не удастся — даже в этом лесу, в горах этих, окутанных младенчески тихим сном, таится ощущение тревоги. Или тревога намертво ввелась в мою душу, как въедается пыль в легкие силикозников?

Острой занозой входит в сердце беспокойство. Ровно бы опухает оно. Не раз, не два будет потом вот так же бояться и болеть сердце, непрошено станут вонзаться в него какие-то недобрые предчувствия и обязательно сбудутся.

Наверно, в ту минуту, когда погибла фэззошница Катя, та самая, с косами, в беретке, которой собирался я сочинить письмо с эпиграфом, — заняло, стиснулось во мне сердце. За отсутствием сцепщика она пыталась перцепить паровоз у пригородного поезда, на котором проходила практику. Такая же, как она, соплюха, прошедшая за пять военных месяцев путь от кочегара до машиниста, расплющила девушку буферами.

Я не застаю ее, но узнаю, что звали ее не Катей, а Груней, Грушей, и что схоронили ее в братской могиле вместе с умершими в соседнем госпитале бойцами.

Много лет прошло. Девушку Груню небось забыли все на свете, а я вот отчего-то помню. Сдается мне, что она-то и была бы моей первой любовью. Впрочем, я много раз в жизни придумывал себе любовь, придумал, должно быть, и эту.

— Мне грустно и легко, печаль моя светла...

— Ты че шепчешь? Молитвы или наговоры? — Кеша уставился на меня, смотрит, рот открывши. Ресницы его густо обросли бахромой, бородака и усы, едва пробившиеся, тоже.

— Наговоры. — Я шевелюсь в сене и любопытствую: — Кеша, есть такие страны, где люди ходят сейчас босиком и без штанов. Верить?

— Не-а.

— А что война идет?

Кеша туго думает, затем поводит плечами, как будто стряхивает с себя неловкую поклажу. Сено начинает шуршать, и он затихает.

— И верю, и не верю, — выдавливая. — А твое-то какое нело? Че бредишь себя и меня? Молчи навай. Скоро принуд!

— Кто?

— Да яманы-то. — Кеша, отогнув воротник, обобрал с ресниц куржак и всмотрелся в меня пристальней. — Всега ты за всех мучаешься. Оттого жить тебе тяжельше. Тиха! Инут вроде?

Я поспешил отыскать рукой шейку ружья и отвернулся от Кешино го заиндевелого лица, на котором глаза от луны светились беззрачно, будто у идола. Кеша двинул меня локтем в бок, и я не вдруг, но очнулся, однако ничего нового на покосе не увидел.

Приподниматься начал. Ожило сено.

— Мри! — Кеша глазами показал мне на то место, где покос уголкем вдавался в лес и где еще по сию пору виднелись заросли, не скошенные из-за сырой погоды. Несъедобные там росли травы, больше медвежьей дудки в руку толщиной, из которых в детстве мы делали брызгалки, охотники свинец для пуль в них отливали. Широкие розетки дудочника роняли на снег семя. Шишки с елок и сосен нападали, и оттого все там пестрело. Синими жилками вились, сплетались заячьи и горностаевы следы. В кормных зарослях покосной дурнины, накрытых серой тенью леса, произошла какая-то перемена — сделалось там темнее, дудки по отдельности уже мало где различались, и что-то едва слышно пошурхивало, ровно бы кто задевал переспелые дудки и вершинки их прыскали летучим семенем.

Сердце стронулось с места. Дыхание во мне сперло. Я еще не увидел коз в тени леса, среди бурьяна, но почувствовал: они там, они пришли. Напряженно, до тумана в глазах пялился я на нескошенный уголок покоса и различил странные лоскутья на снегу. Из спутанных зарослей елок, осин и сосенок, из снежной опушки леса проступили тени, похожие на деревенские лавки с четырьмя ножками. На каждую лавку вроде бы брошена шапка, свесилось ухо. Скамейки стронулись с места, зашевелились, словно отражения на воде. От них отделилась тень, выдвинулась на белый покос, у нее объявились два острых рога.

Не сразу, но я сообразил, что луна скатилась к Енисею и

эта бесовская тень с бородою и рогами есть не что иное, как тень козла-гурана. Едва различной прожилкой гуран спаивался со своим, причудливо вытянутым, отражением, Задрав бороду, он процеживал ноздрями морозный воздух. Глаза его взблескивали, уши напряженно стояли. Козлухи, гураны и анжиганишки — малолетки — замерли в отдалении: ждали, когда вожак двинется вперед. Еще не весь табун вышел из леса. Угадывалось движение на опушке и под деревьями, с которых текла кухта, дыршила комьями снег. Дудки дребезжали, тренькали, будто слабо натянутые струны на своедельной балалайке.

Я слотнул слюну. Кеша придавил мое колено. Вожак ныром пошел по снегу, оставляя после себя глубокую борозду, остановился посреди бугра и снова задрал бороду. Я слышал, как он посапывает. Донесло запах старого козла.

Можно было стрелять.

Но Кеша опять давил мое колено и повел глазами в другую сторону. Я медленно перевел взгляд, куда он показывал, и чуть было не закричал. Там, во главе с другим, но уже безрогим гураном, стояла, рассыпавшись по нижней поляне, еще одна козья стая. Безгласно и бесшумно возникла она из этих гор, из белых снегов, из вылуженной ночи и двинулась в обход нас, на другую сторону зарода. Вожак там был или молод, или менее осторожен — к зароду козы бежали нетерпеливо, будто солдаты с проходящих воинских эшелонов за кипятком. Анжиганы отталкивали друг дружку, перепрыгивали через коз, глубоко проваливавшихся в снег.

Кеша взглядом приказал следить за тем козлом, что двигался к нам из дудочки. Козел, должно быть, не уловил никаких подозрительных запахов — дыхание наше глушило сеном, но все равно осторожничал, заметил, видать, куржак от нашего дыхания, возникший на сене, или потревоженный нами зарод, может, и лыжня, оставленная нами, насторожила его. Он не торопился, хотя козы другого табуна уже шумели сеном за нашими спинами, сопели алчно, взмывали, анжиганишки бодали друг дружку безрогими лбами, хмелея от соленого сена.

Осторожней и осторожней двигался к зароду вожак-гуран. Меня колотило, и я с трудом сдерживался, чтобы не заорать во всю глотку и не пальнуть. Подбористые в тални козлушки и тонконогие козлы пытались послушаться вожака, забегали вперед, рвались к сену. Гуран сердито мотал головой всякий раз, когда народишко его бородатый зарывался, поддел рогами чересчур резвого анжигана так, что тот отлетел в снег и больше вперед не совался.

Но вот рогатый гуран коротко мякнул — и весь табун толпой бросился к зароду. Лишь сам вожак прирос к месту, уперся в меня светящимся взглядом, будто пригвоздил к месту. Холодная струйка потекла по желобку моей спины, ни дыхнуть, ни охнуть, даже единым пальцем шевельнуть я был не в силах.

Кеша стиснул до боли мое колено, сыро выдохнул в ухо:  
— Его!

А я наметил глазами рвущегося вперед ушастого анжигана, того самого, которого отбросил рогами вожак.

Гурана мне стрелять не хотелось.

Дивен был вожак! Тонконог, грудаст. Рога у него набраны из толстых, к остриям утоньшающихся колец — различно на тени. Голова гордо вознесена, но все равно висит борода почти до снега. И эта борода, и умный покатый лоб, тревожная и гордая поза гурана навевали что-то древнее, легенду о жертвоприношениях, о библейских временах и притчах. Красавец был вожак.

И ночь красива и тиха была.

Никого мне убивать не хотелось. Но Кеша тут старший, я должен подчиняться ему. Так мы уговорились. Он и ружье мне дал получше, потому как не надеялся, что из расшатанного дробовика-брызгалки я попаду во что-нибудь.

Неохотно потянул руку из лохмашки, слабо надеясь, что Кеша остановит меня, сменит решение, я опять суну руку в обжитое нутро собачьей лохмашки, и рука обрадуется еще не выветрившемуся из рукавицы теплу.

Кеша не останавливал меня. Он прикладывался щекой к ружью, установленному на старые деревянные вилы, замаскированные в сене. И я, чтобы не опоздать, чтобы не упустить ту секунду, ради которой мы шли сюда из села в морозную тайгу, сидели здесь чуть ли не половину ночи, начал шарить по гладкой ложе ружья. Пальцы мои коснулись скобы и приклеились к металлу, накалившему морозом.

Я должен стрелять! Стрелять в этого мудрого козла с бородой чудаковатого волшебника Хоттабыча, в эту новогоднюю, зимнюю ночь, в тишину, в белую сказку!

Ударил я гурана почти в упор из обоих стволов. Задумался, замешкался, козел оказался вплотную передо мной, да и Кеша, приложившись, ждал моего выстрела.

Я ощутил толчок от ружья и еще до того, как вспух облаком черный дым из стволов, успел увидеть в проблеске пламени пружинисто прянувшего ввысь вожака. Кешин выстрел сухой лучиной треснул чуть позже. Сбросив с себя ворох сена, Кеша тонко завизжал:

— Есть! Есть! — и помчался от зарода.

Он проседал в снегу, падал, заваливался. За ним волочились полы собачьей дохи, и походил он на неуклюжую росомуху. А по покосу в беспорядке и панике разбегались козы. Они уходили скачками, проваливались по грудь в снег, блеяли, кричали. Анжиганишки судорожно бились в кустах, ломали их с треском.

Разбежались козы. Мгновенно исчезли в горах, растворились в ночи, в снегу. С деревьев еще какое-то время текла кукта. Но скоро все остановилось, утихло, и снова сделалось покойно в тайге. Лишь белый бугор, исполосованный вдоль и по-



перек темными бороздами и топаниной, да слабо, как изгоревшие свечки, дымящиеся катышки напоминали о том, что сейчас только что здесь были животные, много животных.

С боязливым любопытством я приблизился к козлу. Он был еще жив, хрипло дышал и дергался, подбрасывая свое непослушное тело. Он пытался ползти к лесу, но только выгребал яму в снегу и зарывался все глубже и глубже.

Я бил ему в грудь и, должно быть, угодил, куда целил.

Вожак приподнял голову, рванулся еще раз и осел на подломившиеся ноги. Так по-кроличьи, на лапах, лежал он и глядел на меня. По бороде его быстро-быстро капала в снег черная кровь. Я загородился ружьем, попятился было от козла, но неожиданная ярость ослепила и бросила меня на вожака, я бил по рогатой голове прикладом и, не слыша себя, вопил:

— А-а, шаман! А-а, оборотень! Че глядишь? Че глядишь? Сено жрал! Сено жрал!..

Хрустнула кость. Я проломил вожаку голову, затоптал еще живую, но уже вялую его тушу в снег и все кричал, кричал. Расщепал бы я приклад ружья, если б не подбежал Кеша.

— Ты че? Снурел? Совсем снурел! — оттолкнул он меня так сильно, что я упал и лежал вниз лицом в снегу, дрожа, но не остывая. Хватив губами мягкого, козьей мочой пахнувшего снега, я проглотил его и потрогал лицо рукавицей. Боль вернула мне живое ощущение, я высморкался, утер глаза и принялся заматывать шалью.

А потом сидел на сене тупой, выпотрошенный, братан вертел в руках тулку и виноватым голосом бубнил:

— Ружье-то тятино, голова! Поломал бы! — Неожиданно Кеша наклонился, пошарил и вынул из снега рога.

— Гляни-ко, отвалилися!.. — и протянул их мне.

Я пощупал их. Острые бородавки на рогах цеплялись за пальцы.

— Навно уж отвалиться имя нано, — пояснил Кеша, — а он носил, маялся, помогли мы ему... — и гыгыкнул: — Трофей по-горонскому называется. Отдашь своей шмаре. Возликует.

— Моя шмара рогов не любит, — сказал я и поднялся. Узнавши про Кешину ухажерку, конечно же, как истинный фээзошник, я не удержался, расхвастался — у меня, мол, тоже шмара есть, и не одна.

— А че любит-то? Конфеты? — вытаскивая лыжи из зарода, полюбопытствовал братан.

— Браслет ей надо золотой. А лучше — пайку черняшки.

— С претензией барышня. Они такие, горонские-то!

— Ты зубы не заговаривай! И не проболтнись... как меня тут родимец хватил...

— Че я, маленький, че ли... — Кеша сочувственно вздохнул: — Нервный ты человек, потому што жизнь твоя с детства...

— Н-ну, заве-ол! Еще попричитай, как бабушка.

— И попричитаю. И попричитаю! Я, может...

— Ладно, кончай! Говори, чего делать?

Кеша сопел, промаргиваясь на луну.

— Навай туши связывать! Эк ты его измолотил! Воин!

От Кешиноного избяного ворчанья мне сделалось легче, я стыдиться самого себя начал и хотел как можно скорее уйти с покоса, из тайги этой, мерзлой, чужой, даже как будто враждебной.

Связав широкие охотничьи лыжи, мы завалили на них застывшего вонючего козла, сверху примостили добытую Кешей козлушку с махоньким вымечком и темными, дамскими ресницами, полуприкрывшими мертвые глаза. Связав туши бечевкой, надели по одной лыже и побрели вниз, к Манской речке. Идти на одной лыжине по целику и волочь за собой кладь тяжело. В момент согрелись мы, сбросили дохи, привязали их поверх добычи, двинулись ходчее.

Скоро достигли санной дороги, потопали без лыж. Местами катились под гору, навалившись на мягкие дохи, под которыми моталась голова козла и бородой мела снег. Вся тягость схлынула, как только мы покинули зарод, и я уж радовался, что все так хорошо получилось — с добычей, коз на время отпугнули. Только глубоко-глубоко во мне таилось ощущение, будто в спину вонзился живой чей-то взгляд и, пронзивши меня, не отдалается, не исчезает, а как бы растягивается все дальше, все тяжелее провисающей над дорогой проволокой, конец которой соединен с густо темнеющей тайгой и мерцающими в небесах хребтами, где скрылись и залегли в снегах козы в мохнатой зимней шерсти. И в то же время меня все больше глодал стыд за ту слабость, которую я выявил на охоте и которую ни один мой селянин не захотел и не смог бы понять. У нас от веку жили охотой, и если ты взял в руки ружье — стреляй. Нет — сиди, как сапожник Жеребцов, на вытертой седухе, починай обутки — тоже промысел.

Мы миновали сплавный участок на Усть-Мане. От него доносился треск остывающих в ночи домов да запах едкого древесного дыма. Я потянул носом и вспомнил шорницкую, Дарью Митрофановну — надо будет занести ей на варено-два мяса, вот обрадуется женщина.

Чужая сделалась Усть-Мана без заимок. Казенное место с казенными службами. Но деваться некуда, многие наши односельчане работали здесь, бегая через горы летом и зимой, еще работали на Слизневском лесоучастке, на известковом заводе, на подсобном хозяйстве института, потому как село Овсянка, в котором колхоз так и не удержался, хотя канителились с ним долго, повисло как бы между небом и землей. Но большинство населения продолжало жить от земли: огородом, лесом и рекой, и теперь люди без определенных занятий, как их называли, получивши иждивенческие карточки в сельсовете, не знали где их отоваривать. Торговая точка в нашем селе, пережив все переходные названия — винополка, потребиловка, казенка, лав-

ка, кооператив, так и не достигнув солидного названия — магазин, переместилась в Слизовский лесоучасток и не скоро вернулась восвояси.

На Енисее дорога укатана обозами. Стужа меж скал не стояла, двигалась в одну сторону — вниз, всегда вниз, всегда по течению, даже зимой, видно, так уж в наших местах наклонена земля. Потные спины и разгоряченные лица начало сводить и корежить морозом. Я плотнее закутался шалью. Мы снова натянули дохи, впряглись в лямки, покатали.

По всей реке от прибрежных скал лежали зубчатые тени, однако дороги они не достигали, и ехать было весело. Лишь тень Манского быка перехлестнула дорогу. Мы ступили в полумрак тени, пошли медленней, тише, вовсе остановились.

Манский бык залит лунным светом. Вершина его металлически блестя. Сиротливо чернели наверху голые лиственницы. Тяжело вламывался бык в твердь Енисея. Обдутый ветрами, лед у подножия вспучился и растрескался. Камень быка резко очерчен по то место, докуда поднималась внешняя вода. Выше черты вспыхивали прослойки слюды. По ржавчине, выступившей из камня, наляпаны пятна ползучего плесенного мха, живого даже в такую морозину, когда и камень сам не выдерживает — лопается. В углу быка, в том месте, куда веками били две реки — Мана и Енисей, — зияла пустым жерлом губастая пещера. В холодной ее пастби белели наплывы льда.

В детстве мы боялись ходить сюда поодиночке, хотя в коренную воду у этого гиблого места здорово брал налим. Нам все чудилось, что пещера вот-вот каменно хрустнет челюстями и заглотит нас заживо.

У подножия утеса в трещины льда насыпался камешник. Под быком, под тяжелой его грудью, на льду там и сям остроуголые булыжники. Иные докатились до дороги, завалились в корыто, выбитое копытами коней.

Наверху, за лесистым загорбком утеса, где он отделился от хребта, из теплой трещины выходил ключ, роняя тонкие струи. Они катились по корням деревьев, по проточинам камней, стужа на лету схватывала воду, и потому весь утес был в многослойных ледяных наростах. Связки сосулищ висели на козырьках. Должно быть, от ржавчины сосульки были желтые, но под луною все они хрустально сверкали. В одном месте на пути ключа оказалась лиственница, и ее так заковало льдом, что ствол до середины был в панцире, на сучьях дерева рядами висели и крошились сосульки.

Вспышки в сосульках и слюдяных жилах, лунное мерцание на вершине утеса, шевеление и треск воды, дерево в панцире — создавали ощущение заморозки, потусторонности мира. Еще никогда не казался он мне таким потаенным и величественным. Его спокойствие и беспредельность потрясали.

И давно наметившаяся в моей душе черта сегодня, сейчас вот, под Манским быком, ровно бы ножом полоснула по мне — жизнь моя разломилась надвое.

Этой ночью я стал взрослым.

— Мне грустно и легко, печаль моя светла...

— Ты же все бормочешь?

— Стихи. Кеша. Пушкина стихи.

— Стишки-и-и? — Кеша оторопело уставился на меня. — Пойдем отсюдова скорее, — заторопился он и совсем уж испуганным, настойчивым шепотом повторил: — Пойдем, пойдем!

Долго оборачивался я на утес, будто ждал чего. И дождался. Сзади послышался гул, грохот. Обвалившаяся льдина ударила о подножие Манского быка, разорвалась шрапнелью, звонкие осколки рассыпались по реке, и снова все замерло.

Но долго нес я в ушах и в сердце гул, звон, грохот, который медленно утишала глубокая снежная ночь и тихое движение воды, кровью сочащейся из груди утеса, которому тоже суждена была роковая кончина, — его взорвут и сотрут с лица земли гидростроители через какие-нибудь полтора десятка лет.

Со скрипом, бряком вломились мы в теткин дом.

Августа суетилась вокруг нас, помогала раздеваться, спрашивала, всплескивая руками:

— Живы? Шибко замерзли-то? Я все поджидала, вот, думаю, застучат, вот застучат, и задремала... Лезьте на печь...

— Некогда. Мы дичину приперли. Сейчас чередить начнем.

— Да ну? Вот так охотники! Убоиной Новый год встретим.

Ночью же на кухне мы с Кешей свежевали козла и козлушку. Точнее, делом занимался Кеша, а я больше путался, бежал по кути, ронял посуду, мешал ему. Августа хлопотала возле Кеши, сноровисто и ловко орудовавшего ножом, подставляла тазы, ведра, чугунки и уверяла быстрым шепотом:

— Я все приберу... Все обихожу: и голову, и кишки. Ничему пропасть не дам.

Наутре мы покончили с делом. Полусонные уже, поели картошки, жаренной со свежей, ароматной козлятиной. Кеша убежал домой и унес в мешке половину козлушки. Я полез на печь, отыскал там пузырек с гусиным салом и еще раз натер им щеки и уши, взявшиеся сухой коркой.

— Заживат? — спросила Августа снизу, услышав запах старого, затхлого сала.

— Как на собаке.

Тетка приподнялась на приступок, поглядела на меня, подсунула еще одну подушку мне под голову.

— Мягче лицу-то будет. — Она хотела еще что-то сказать, но не сказала, а пошарила за кофточкой, достала вчетверо сложенную бумажку и протянула ее мне. Справка из сельсовета. В ней говорилось, что я задержался на неделю по причине болезни. И я догадался, почему девчонки последние дни не пили молоко. Тетка держала их на жиденькой похлебке, и они все время ныли, просили есть.

«Зачем ты это сделала?» — хотел я упрекнуть Августу, но

ее так легко было сейчас ушибить, и я сказал, что очень это хорошо. Со справкой, мол, я избегу нагоняя в фэзэо. Словно дитя, обрадовалась моя тетка тому, что справка пригодится.

Больше она спать не ложилась, топила печь, быстро и неслышно бегала по избе, а когда открыли магазин на Слизневском участке, сгребла кусок мяса и умчалась туда. Возвратилась она возбужденная, с чекушкой спирта, и сказала, что мы будем пировать.

Пировали вчетвером: я, Кеша, Августа и дядя Левонтий. Тетка Васеня не пришла, ей немоглось.

Прежде чем выпить по первой, я маленько поговорил. Люди ждали не столько выпивки, сколько разговору, и я не стал куражиться.

— Чего бы на земле ни происходило, а время идет, — начал я. — Наступает Новый год, и никому ничего тут не поделаться. И люди тоже, — я взглянул на Августа, — и люди тоже вместе со временем идут дальше. Раз родились, и в такое время жить им выпало. Никуда не денешься. Вот!

Августа, пригорюнившись, держалась за рюмку и слушала, затем длинно-длинно вздохнула, подняла глаза, протянула рюмку, чокнулась со всеми:

— Ладно. Чего уж там. Запили заплатки, загуляли лоскутки! С Новым годом, мужики! — Она с сибирской удалью хлопнула рюмку спирта, поддела на вилку гриб, пожевала и расхвасталась: — Гляди, Левонтий, племянш-то у меня, а? Скажет, так чисто по писаному! Заслушаешься прямо! Про одну книжку сказывал: в тюрьме человек сочинял. Калпанела по фамилии. В воде по горло сидел и сочинял...

— Н-ну? — приподнялся с табуретки Кеша.

— Слушай ты ее, — махнул я рукой в сторону Августы. — Будто не знаешь свою Лельку.

— Нет, Гуска правильно утверждает, — поддержал Августа дядя Левонтий. — Сельсовет у ее племянша на месте. — И дядя Левонтий выразительно постучал себя по голове.

— Да будет вам! — пресек я эту тему и потряс бутылкой так, чтоб в ней забулькало. — Давайте еще по одной.

— Говорят, нушá милей ковш! — поддержал меня Кеша. — А нонче ковш норуже нуши.

Пошло за столом веселье. Мы с Кешей рассказывали про охоту. Августа угощала нас, дядю Левонтия, девчонок мясом:

— Ешьте, ешьте, хозяйку тещьте!

Пестрели половики в горнице. Кровать с бойко взбитыми подушками, с кружевной зубчатой простыней, словно бы подбоченься, шагала куда-то на четырех ножках. На угловике скатерка с зелеными ромбиками. Возле сундука вершинка ели — отрубил кто-то и выбросил — не вмещалось дерево в избе, а тетка подобрала вершинку, поставила в горнице и клочья ваты на нее набросала.

Хорошо-то как в избе. Празднично!

Много болтал я в тот день за столом смешного. Тепло было

в избе и душевно до того, что Кеша закрыл глаза, скривил рот и затынул: «В воскресенье мать-старушка». Но всем вспомнилась бабушка Катерина Петровна, и сразу все начали сожалеть, что нет ее с нами за столом. Грустные песни сегодня петь не надо, веселые не к разу, да они и не приходили на память, веселые-то.

И чтобы поправить испорченное настроение компании, взялся я рассказывать, как перекутал с морозу женщину с мужиком в Собакинском совхозе и как шорничиха кашляла, отведав табаку «Смерть Гитлеру!».

Получилось у меня смешно.

Девчонки хохотали вместе с нами. Я пощекотал Капу, и она завизжала. Шум поднялся, переполох. Я догадался приладить себе на голову козлиные рога и бодать ими девчонок. Они с хохотом и воплями забились под кровать. Кеша и дядя Левонтий покатывались тоже и, как только девчонки объявлялись на свет, запевали: «Идет казара по большому базару, до кого дойдет, того забодет, забодет!» И не знавшие никаких игр и забав сестренки с топотом, вроссыпь бросались по углам, даже Лидка подпрыгивала в зыбке и взвизгивала.

— Ну, эту рыжу седня не уторкать будет, — разморенно качала головой Августа. — Не уторкать. Девки! Будет вам, будет! — несердито унимала она. — Наигрались уж.

Но Лийка с Капой еще долго не могли уняться, вертелись вокруг стола, теребили дядей.

Раскрасневшаяся, в пестреньком ситцевом платке и в такой же кофточке, Августа сидела, облокотившись на стол, и просила:

— Вы поговорите, мужики, поговорите или попойте. — Она уже не вынимала шерсть изо рта, и серая земля с губ ее почти стерлась.

Одну беду над моей теткой пронесло. Она потянет тяжелый свой воз дальше, одолевая метр за метром многими русскими бабами утопанную вдовью путь-дорогу. Но каким-то наитием, шестым или десятым чувством, там, в ночной остановившейся тайге, я постиг — война будет долгой, и на долю нашего народа, стало быть, прежде всего, на женскую долю падут такие тяжести, какие только нашим русским бабам и посыльны.

Лучше других знающий свою тетку, даже я дивоваться стану, как она выдюжила лихолетье и сохранила детей. Коровы семья все же лишится — весной ее променяют на семенную картошку. Лесоучасток умудрится выжить семью из дома в пустую избушку-развалюшку, откуда она переберется к бабушке под крышу, и уже совместно с бабушкой проедят бедолаги одну половину нашего старого дома и останутся жить в другой. Бабушка возьмется домовничать с детьми Августы, которая поступит на лесоучасток валить лес и до конца войны, пока не пригонят в наше село пленных японцев, по груди в снегу, вместе с вербованными и арестантами будет волохать в тайге.

И вот наконец-то легкая бабья работа — Августа наймется стирать на военнопленных.

Зубоскалка и добрячка, она быстро «отошла» на легкой работе и, жалеючи, сморкаясь, рассказывала о том, как ей жалко было забитых японских солдатиков. Даже в плену японские офицеры объедали солдат, заставляли работать за себя, выполнять и офицерам назначенную трудовую норму. Один офицер особенно лютовал, бил солдат палкою — рук не хотел марать. Бил он и того солдата, который помогал Августе носить воду с Енисся в прачечную.

— И зубит моего япошку, и зубит. А солдатик-то очкастенький, ростiku небольшого. Яшей я его звала, по-ихнему — Ямага, да выговаривать неловко, вот я и звала по-нашему. Да што ты, говорю, ему поддается? Дай ты ему хоть раз по морде. Нельзя, говорит Ямага, офицер, самурай... Мне чего... самурай?! Зачал бить как-то мово помощника, я вырвала палку да по башке самурая, по башке! Собирался он повеситься от бесчестья, сказывал Ямага, да не повесился, уехал с пленными домой. Жить-то всем охота, и самураям тоже...

И после веселого рассказа о пленных, давши мне отдохнуть, глядя куда-то поверх меня, тетка, треснуто и безоружно рассмеявшись, сообщает:

— А муженька-то я зря оплакивала. Жив-здоров товарищ Петров! Нашел себе помоложе, покраше... — Оказалось, Тимофей Шамов не убили на войне, он подделал похоронную, спрятался от семьи, предал ее.

Я, вроде бы уж все перевидавший и переслышавший, не верил тетке — надругаться над похоронною — самым святым документом — это не укладывалось в моей голове. Августа кротко вздохнула, сунула руку за надбровник окна и подала мне письмо со словами:

— Вот, погляди, полюбуюсь!

Письмо было от сестры Тимофея Шамова, которая я сама не верила происшедшему, пока не съездила к братцу в гости, а съездив и все узнав, сказала ему в глаза, что нет у него ни стыда, ни совести, и она его «больше за брата не считает...».

Да-а, новости! Впрочем, я-то зачем и чему удивляюсь! Мнечто, как любил выражаться мой папа, «в натури» известно, что война не только возвышала людей, она и развращала тех, кто послабее характером. Тимофей Шамов работал шофером у какого-то большого генерала и разболтался от сытой жизни. Недаром у нас — окопников — на фронте родилась поговорка: «Для кого война, а для кого — хреновина одна».

Но никакое предательство, никакая подлость даром не проходят. Один мой фронтовой товарищ утверждал, будто за всю человеческую историю ненаказанными остались всего несколько подлецов, не больше десятка, заверял он. Если не живых, то хотя бы мертвых подлецов постигало возмездие. Рок то или не рок, может, и простое совпадение — Шамов все-таки погиб — упал лесопогрузочный кран и задавил его.

Пора заканчивать рассказ. Но тянет вернуться в жарко нагретую избу, за новогодний стол, где мы сидели, осовевшие от сытой еды, от жидко разведенного спирта. Девчонки до гого разошлись-развеселились, что сплясали нам. Мы хлопали в ладоши и подтутыркивали им. Девчонки же пристали с просьбой спеть песню, какую всегда пела из подхалимских соображений самая хорошенькая из бабушкиных внучек, тети Любена Катенька:

Ты, сорока-белобока,  
Научи меня летать,  
Невысоко-недалеко,  
Чтобы бабушку видать...

По большому носу дяди Левонтия, захмелевшего от такой малой доли выпивки, покатались слезы. Швыркнул носом и протяжно выдохнул Кеша:

— Н-на-а-а...

И мне глаза жечь начало.

— А ну вас! — сказал я и полез на печку.

Сквозь сон слышал, как целовал меня в ухо обветренными губами дядя Левонтий.

— Не лезь ты к нему, не лезь! — настойчиво отдергивала его тетка. — Ему скоро в фэззу свою идти.

«Верно, пора. Отвыкать начал», — вяло подумалось мне.

Дядя Левонтий не подчинялся Августе, называл меня сиротинушкой, ронял на лицо мое теплые слезы и в который раз заверял, что любит потылицыньских пуще всякой родни, и если бы была здесь его дорогая соседushка Катерина Петровна, он обсказал бы ей все, и она поняла бы его, потому как прожили они век душа в душу, и если соседushка честила его иной раз, так за дело — шибко неправильно жил он в прежние времена, шибко.

Дядя Левонтий все же отлип от меня, но я какое-то время слышал еще, как вполголоса разговаривали Августа с Кешей, однако голоса их постепенно отдалились.

Сон мне снился все время один и тот же, точнее, сначала ничего не снилось, потом елка, а елка, было мне известно из старой книжки, снится к женитьбе, и хотя во сне дело было, все же я притих в себе, ожидая, как это будет выглядеть. Но вместо одной елки образовался колючий ельник — это уж к сплетням. Потом пошло-поехало: голый мужик — ну, это ничего, это к радости, глядь, а он на деревянной ноге — дальняя дорога, глядь, двери — это к смерти. Я побежал от смерти, упал, провалился куда-то и летел, летел в темную, бесконечную пропасть, ударяясь о что-то твердое. И сердце устало, и весь я устал, и готов был хрястнуться обо что-нибудь, разбиться в прах, лишь бы только не болтаться в пустой темноте. Измученный, задыхнувшийся, услышал я наконец детский плач, полетел на него и проснулся.

Капа, втиснувшись за трубу печи, дрожала и плакала. Я



хотел погладить ее по челке, но она боязливо втянула голову, сжалась вся.

— Что ты, что ты! Не плачь, не бойся.

Я свесился вниз. Никого дома нет. Кеша ушел. Лидка спала. Лия с Августой, должно быть, отправились доить корову и сунули Капку на печку.

Я оторвал от связки продолговатую луковицу, запихал ее в рот и стукнул себя по щеке кулаком. Пулей вылетела изо рта луковица и ударилась в стенку. Я повторил фокус несколько раз. Капа, малое дитя, перестала плакать и сама принялась обучаться фокусу у дяди-фэззошника.

Осторожно начал я выведывать у Капы, чего она так испугалась, и Капа, как могла, объяснила мне, что я мычал, дергался и махал руками.

Тяжело мне, видать, одному было, и я кричал во сне, звал людей на помощь.

# Пастух и пастушка

СОВРЕМЕННАЯ ПАСТОРАЛЬ

Любовь моя в том мире давнем,  
Где бездны, кущи, купола, —  
Я птицей был, цветком, и камнем,  
И перлом — всем, чем ты была!

*Теофиль Готье*

**И** брела она по дикому полю, непаханому, нехоженому, косы не знавшему. В сандалии ее сыпались семена трав, и колочки цеплялись за пальто старомодного покроя, отделанного сереньким мехом на рукавах.

Оступаясь, соскальзывая, по обледенелой щебенке поднялась на железнодорожную линию, зачистила по шпалам, и шаг ее был суетливый, сбивающийся.

Насколько охватывал взгляд — одна лишь только немая степь кругом, предзимо взявшаяся рыжеватой шерсткой Солончаки накрапом пятнали ее, и в небе над степью тяжелым облачным бредом проступал хребет Урала. Людей не было. Птиц не слышно. Скот отогнали к предгорьям. Поезда проходили редко.

Ничто не тревожило пустынной тишины. В глазах ее стояли слезы, оттого все плыло перед нею и качалось морем, и где начиналось небо, где кончалось море, она не различала. Хвостатыми водорослями шевелились рельсы. Волнами накатывались шпалы. К вечеру, ниже опустившиеся, молчаливо подступившие к земле громады хребта давили ее своей призрачной тяжестью.

Дышать ей становилось все труднее, горло спаивало сухостью, сердце то частило, то отваливалось в беззвучье, и казалось, что поднималась она по бесконечной шаткой лестнице.

У карликового километрового столба она остановилась, по-

дышала холодом, реющим над степью, вытерла глаза рукой. Полосатый столбик порябил-порябил и утвердился перед нею. Шевела губами, она повторила цифру, значащуюся на столбике, опустилась с линии и на сигнальном кургане, сделанном пожарными или в древнюю пору кочевниками, отыскала могилу с пирамидкой.

Была когда-то на пирамидке звездочка, но, видно, отопрела. Могилу затянуло полынью и травой — провололочником. Татарник взнимался рядом с пирамидкой, несмело цепляясь заусеницами колючек за выветренный столбик, и почти невнятный звук рвущейся струны ровно бы проскабливался изпод замершей травы.

Она опустилась на колени перед могилой.

— Как долго я искала тебя!

Ветер шевелил полынь на могиле, вытряхивал пыль и пух из жестяно бренчащих наперстков татарника, которые летом хранили в себе нити жаркого, игольчатого цветка. И сыпучие семена чернобыла, и трава, замершая, сухая, что лежала в бурых щелях старчески потрескавшейся земли, и жестяной звук почти уже пустых наперстков татарника, царапанье колючек о деревянный столбик пирамидки рождали в душе мелодию беспредельной, вечной, всегда заново переживаемой, никогда и никем до конца не испитой и неразгаданной человеческой печали, а пепельным тленом отливающая степь и угрюмо нависающий над нею древний хребет, устало и глубоко вдавшийся в равнину, и бельма солончаков, все так же холодно и немо отвсечивающие вдаль, делали эту печаль еще пространственной, запредельней, так что уж ни краю ни дна в ней не ждалось и не виделось.

Скорбно шелестели немощные травы, похрустывал костлявый татарник, звучало вечное утишение над вечным покоем, и ни время, ни люди были не властны над этим.

Она развязала платок, бережно прижалась лицом к могиле и ощутила лицом еще вовсе не остывшую плоть земли, хотя над нею все более ощутимо реял надвинувшийся с хребта холод.

— Почему ты лежишь один посреди России?

Больше она ничего не спрашивала.

Думала.

Вспоминала.

Рядом с ее лицом качалась, шелестела сухая, немощная травинка. Все бури мира, все буйство земли вобрала она в себя, утишила их собою, боязно храня в бледной луковке корешка, стиснутого землею, надежды на пробуждение свое и наше.

## Часть первая

### БОЙ

«Есть упоение в бою!» — какие красивые и устарелые слова!

*(Из разговора, услышанного в санпоезде, который вез с фронта раненых)*

Орудийный гул опрокинул и смял ночную тишину. Просекая тучи снега и тьму, мелькали вспышки орудий, и под ногами качалась, дрожала, шевелилась растревоженно земля вместе со снегом, с людьми, прикинутыми к ней грудью.

В тревоге и смятении проходила ночь.

Наши войска добивали почти уже задушенную группировку немецких войск, командование которой, как и под Сталинградом, отказалось принять ультиматум о безоговорочной капитуляции.

Взвод Бориса Костяева вместе с другими взводами, ротами, батальонами и полками ждал удара противника на прорыв. Машины, танки, кавалерия весь день метались по фронту. Вечером по прорытым в снегу рывинам выкатились на взгорok «катюши», поизорвали телефонные провода. Связисты, хватаясь за карабины, зверски ругались с эрэсовцами — так называли на фронте минометчиков с реактивных установок — «катюш». На зачехленные установки толсто навалило снега. Сами машины как бы приосели на лапах перед прыжком. Но не только прыгнуть, даже уйти назад они уже не могли — рывины, прорытые на взгорok, тут же занесло и под одно сровняло с белым голоземьем.

Часто и нервно вспыхивали ракеты, ломано обозначая передовые линии окопов противника. И тогда видно делалось стволы наших пушчонок, торчащих из снега, длинные спички пэтэ-эров, щитки пулеметов, за которые намело бугорки и, как немые картошки, насыпанные на снег, солдатские головы в касках и шапках.

В полночь злая и упрямая тыловая команда принесла пехоте супу и по сто боевых граммов. В граншеях началось оживание. Бодря себя говором и смехом, пехотинцы пугали тыловую команду: глухая, мол, метельная тишина, а враг — вот он, ползет, подбирается... Тыловики отругивались и торопили с едой, чтобы поскорее заполучить термосы, без которых они теряли всякое свое значение, да и старшина шкуру сдерет. Храбро сулились тыловики к утру принести гречневой каши с салцем и, если выгорит, водчонки.

Эрэсовцам еды и выпивки не доставили — у них тыловики балованные, пешком ходить разучились. Пехота по такой погоде оказалась пробойней. Благодушные пехотинцы дали похлевать супу и эрэсовцам. «Только чтобы по нас не палить!»

Гул боя возникал то справа, то слева, то далеко, то близко. А на участке взвода лейтенанта Костяева тихо, тревожно. Кончалось терпение, у молодых солдат не выдерживали нервы, хотелось им ринуться в крошечную темноту, разрешить неведомое пальбой, боем. Бойцы постарше, натерпевшиеся от войны, стойче переносили холод, секущую метель и неизвестность, надеялись: пронесет на этот раз. Но в предутренний уже час в километре, а может, в двух правее взвода лейтенанта Костяева послышалась большая стрельба. Сзади из снега ударили полуторасотки-гаубицы, и снаряды, шамкая и шипя, полетели над пехотинцами, заставляя утягивать головы в воротники оснеженных, мерзлых шинелей.

Стрельба стала разрастаться, густеть, накатываться. Завывали мины, немазано скрежетнули эрэсы; и озарились окопы грозными всполохами. Впереди, чуть левее, часто и заполошно таякала батарея полковых пушек — в этом ночном бою все было расставлено и распределено непривычно, не по уставу, и орудия, завязшие в снегу, приговоренные стрелять до последнего снаряда, прикрывали пехоту со всех сторон, а пехота подвижными группами должна была поспевать туда, где она всего нужнее будет, где противнику удастся пробиться, чтобы закрыть собою брешь.

Борис вынул пистолет из кобуры, поспешил по окопу, то и дело проваливаясь. Траншею хотя и чистили лопатами всю ночь и набросали высокий бруствер из снега, но все равно ходá сообщения забило местами вровень со срезами.

— О-о-од! Приготовиться! — кричал Борис, точнее, пытался кричать. Губы у него состылись, и команда получалась невнятная.

Помкомвзвода старшина Мохнаков поймал Бориса за полу шинели, уронил рядом с собой, и в это время ударило из снега струями трассирующих пуль, мерзло застучал пулемет, у которого расчетом воевали Карышев и Малышев, ореховой скорлупой посыпали автоматы, отрывисто захлопали винтовки и карабины.

Из круговерти снега возникла и покатила на траншею темная масса людей. С кашлем, криками и визгом ринулась она в траншею, провалилась, завязла, закопошилась в ней.

Началась рукопашная.

Оголодалые, деморализованные окружением и стужей, немцы лезли вперед безумно и слепо. Их быстро прикончили штыками и лопатами. Но за этой волной накатила другая, третья. Все перемешалось в ночи: рев, стрельба, матюки, крик раненых, дрожь земли, мерзлые, с визгом откаты пушек, которые били теперь и по своим и по немцам, не разбираясь, кто где. Да и разобрать уж ничего было нельзя.

Борис и старшина держались вместе. Старшина — левша, и в сильной левой руке он держал лопатку, а в правой — трофейный пистолет. Он не палил куда попало, не суетился. Он и в снегу в темноте видел, где ему надо быть. Он падал в сугроб,

зарывался, потом вскакивал и делал короткий бросок, рубил лопатой, стрелял и отбрасывал что-то с пути.

— Не психуй! Пропадешь! — кричал он Борису.

Дивясь его собранности, этому жестокому и верному расчету, Борис и сам стал видеть бой отчетливей и понимать, что взвод его жив и дерется, но каждый боец дерется поодиночке, и нужно знать солдатам, что он с ними.

— Ребя-а-а-ата-а-а-а! Бе-е-ей! — кричал он, взрыдывая.

На крик его густо сыпали немцы, чтобы заткнуть ему глотку. Но на пути ко взводному все время оказывался Мохнаков и оборонял его, оборонял и себя и взвод. Пистолет у старшины выбили или обоим кончилась. Он выхватил у раненого немца автомат, расстрелял патроны и остался с одной лопаткой. Отоптав место возле траншеи, Мохнаков бросил через себя одного, другого тощего немца, но тут выбился из тьмы еще один, с визгом, по-собачьи впился зубами в ногу старшины, и они клубком покатались в траншею, где копошились в снегу и комках земли раненые, от боли и слепой ярости воя и бросаясь друг на друга.

Ракеты, много ракет взмывало в небо. В коротком, полощущем свете проблесками возникали лоскутья боя, и в столпотворении этом то сближались, то проваливались во тьму, зияющую за огнем, тени людей, табуны людей, кучи людей, закрученных водоворотом боя.

Вдруг возникало на миг черное лицо с ощеренными белыми зубами, и снеговая пороша в свете делалась черной, пахла порохом. Ею секло лицо, забивало горло, и черная злоба, черная ненависть, черная кровь задушили, залили все вокруг: ночь, снег, землю, время и пространство.

Огромный человек, шевеля огромной тенью и развевающимся за спиной факелом, двигался, летел на огненных крыльях к окопу, крушил все на своем пути железным ломом. Сыпались люди с разваленными черепами, слышались вопли. Казалось, это пророк небесный с карающим копьем низвергся на землю, чтобы наказать за варварство людей, образумить их. У Бориса даже дух захватило от такой догадки. Но скоро он опомнился, стал стрелять из пистолета, да не мог попасть и попятился по траншее, уперся спиной в стену, перебирал ногами на месте, как во сне, не понимая, почему он не может убежать и что ему мешает?

— Бей его! Бей! — придушенно, сипло взывал Борис.

Страшен был тот горящий с ломом.

Тень его металась, го увеличиваясь на версту, то исчезая вовсе, и сам он, как выходец из преисподней, то разгорался каким-то ослепительным, вулканическим огнем, то темнел, проваливался в тряпичную чаду и копоти. Он дико выл, оскаливая зубы, хрипел в удушье, и чудились на нем густые волосы, и лом в его лапах был уже не ломом, а выданным в темном лесу дубьем. Руки его длинные, с когтями, ноздри зверино вывернуты, и уши как у негодыря — лопухами. Холодом, мра-

ком, лешачьей древностью веяло от этого двуногого существа, а полыхающий за спиной факел — будто отсвет тех огненных бурь, из которых возникло это чудовище, поднялось с четверенек и дошло до наших времен с неизменившимся обликом пещерного обитателя.

Мохнаков рванулся из траншеи, побрел, загребая валенками снег, сошелся с тем, что горел уже весь, обхватил его, накрыл собою, гасил на нем огонь или вдавливал его еще глубже в пламя.

— Старшина-а-а-а! Мохнако-о-ов! — Борис пытался забить новую обойму в рукоятку пистолета и выпрыгнуть из траншеи, но кто-то держал лейтенанта сзади за шинель и вел тонко, на последнем издыхе:

— Карау-у-у-ул! — Это Шкалик, ординарец Бориса, самый молодой во взводе боец. Он не отпускал от себя командира, пытался стащить его в снежную норку. Борис отбросил Шкалика и ждал, подняв пистолет, когда вспыхнет ракета. Рука его отвердела, не качалась, и все в нем вдруг заостенело, сцепилось в твердый комок — теперь он попадет, твердо знал — попадет.

Ракета. Другая. Пучком всплеснулись ракеты, и Борис увидел старшину. Он топтал что-то горящее. Клубок огня катился из-под ног Мохнакова, ошметки разлетались по сторонам.

Погасло.

Старшина грузно свалился в траншею.

— Живой! Ты живой! — Борис хватал старшину, ощупывал.

— Всё! Всё! Рехнулся фриц! С катушек сошел... — втыкая лопату в снег, вытирая ее о землю, задышливо выкрикивал старшина. — Простыня на нем вспыхнула... Страсть!

Черная пороша вертелась над головой, ахали гранаты, сыпалась стрельба, грохотали орудия. Казалось, вся война была сейчас здесь, в этом месте; кипела в растоптанной яме траншеи, исходя удушливым дымом, ревом, визгом осколков, звериным рычанием людей.

И вдруг на мгновение все опало, остановилось. Усилился вой метели.

— Танки! — разноголосо завопила траншея.

Из темноты нанесло удушливой гарью. Танки безглазо надвигались из ночи. Скрежетали гусеницы на морозе и тут же буксовали, немея в глубоком снегу. Снег пузырился, плавился под танками и на танках.

Тангам не было ходу назад, и все, что попадало на пути, они крушили и перемалывали. Пушки, полковые, две уже только, развернувшись, хлестали им вдогон. С вкрадчивым курлыканьем, от которого заходило сердце, обрушился на танки залп тяжелых эрсов, адским огнем озарив поле боя, качнув окоп, как люльку, оплавляя все, что было на нем: снег, землю, броню, живых и мертвых. И наши и чужие солдаты попадали в лежку, жались друг к другу, затискивали головы

в снег, срывая ногти, по-собачьи рыли руками мерзлую землю, утагивали под себя ноги, стараясь быть меньше, — и все это молчком, лишь загнанный хрип слышался отовсюду.

Гул нарастал.

Возле переднего танка ткнулся и хокнул огнем снаряд тяжелой гаубицы. Танк содрогнулся, звякнул железом и забегал влево-вправо, качнул орудием, уронил набалдашник дульного тормоза в снег и, бурвя перед собою ворох снега, слепо ринулся на траншею. От него, уже неуправляемого, в панике рассыпались и немцы и русские.

Танк, рыча мотором, брякая железом, зашевелился, навис грузной тушей над траншеей, над комочками людей, вжавшихся в землю. Повисев над ними как бы в раздумье, танк лягнул траками, повернулся с визгом, бросив на старшину и Бориса комья грязного снега, обдал их горячим дымом выхлопной трубы и, завалившись одной гусеницей в траншею, буксуя, рванулся вдоль нее.

Надсаженно, на пределе завывал мотор, рубили и перемалывали мерзлую землю гусеницы, что-то ныло в утробе танка и в щели, из-под брони выбрасывало белые и острые струйки газа, пара или дыма от стреляных гильз.

— Да что же это такое?! Что же это такое?! — Борис, ломая пальцы, вжимался в твердую земную щель.

Старшина тряс его, выдергивал, как суслика из норы, но лейтенант вырывался от него и снова лез, казалось ему, в глубь земли, а на самом деле барахтался в снежном намете, потому что щель с верхом завалили собой убежавшие от танка солдаты.

— Гранату! Где гранаты?

Борис перестал биться в снегу, вспомнил: под шинелью на поясе у него висели две противотанковые гранаты. Он всем раздал с вечера по две и себе взял, да вот забыл про них, а старшина или утерять свои, или использовал уже. Сдернув рукавицу, лейтенант сунул руку под шинель — граната на поясе висела уже одна. Он выхватил ее, начал взводить чеку. Мохнаков шарил по рукаву Бориса, пытался отнять гранату, но взводный, только что вырвавшийся из рук старшины, теперь яростно отталкивал его и нелепо, на карачках лез вслед за танком, который медленно, метр за метром, прогрызал землю, запахивал траншею, укрывая пашенным пластом не злаки, не зерна, а рассеянные по дну окопа человеческие тела.

— Пстой! Пстой, курва! Сейчас! Я тебя... сейчас! — Лейтенант бросал себя за танком, который никак не находил опоры для второй гусеницы, пытался встать на ноги, чтоб сделать бросок вдогон, но ноги, ровно бы вывернутые в суставах, не держали его, и он снова падал, гребся в снегу, натываясь на раздавленных, еще теплых людей.

Борис потерял рукавицы, наелся земли, однако держал гранату, как рюмку, боясь расплескать ее, и уже не кричал, а только плакал, слизывая с губ соленую грязь, неловко шорка-



ясь лицом о плечо, жестким ворсом шинели срывая настывшее мокро, чтобы не утратить из виду танк, который он никак не мог настичь и настичь который обязан был, потому что все: и жизнь, и пространство, и мысль — да не было ее, никакой мысли-то — было лишь мстительное стремление рубануть гранатой танк, рубануть, и все, — за этим и до этого ничего не было — ни жизни, ни смерти, ни боя, ни мира, ни людей, остались только он и машина — и миг для схватки с нею, который надлежало уловить лейтенанту.

Танк ухнул в глубокую воронку, задержался в судорогах. Борис завопил, завизжал ликующе, выпростался из снега, приподнялся и, ровно в чикку играя, метнул под сизый выхлоп машины гранату. Его обдало пламенем и снегом, ударило в лицо комками земли, забило все еще вопящий рот землю, катануло по траншее, будто зайчонка. Как жажнула граната, он уже не слышал, воспринял взрыв боязно сжавшимся нутром и сердцем, тоже чуть было не разорвавшимся от напряжения.

Танк дернулся, осел и смолк. Потекла с роликов и опала ребристая гусеница, раскатилась по снегу драной солдатской обмоткой. По броне, на которой с шипением таял снег, густо зачиркало пулями, и еще кто-то фуганул в танк гранату. Остервенело лупили ожившие бронебойщики, высекая синие всплески пламени из брони.

Почему-то угадывалась своя и чужая досада, что танк не загорается, не корчит его, не сжирает пламенем. Возник немец без каски, стриженный, в разорванном мундире, с привязанной за шею простыней. Он с живота строчил из автомата по танку, что-то крича и подпрыгивая. Когда в рожке кончились патроны, немец отбросил автомат и, обдирая кожу, начал колотить голыми кулаками по броне танка. Тут его и подсекло пулей. Он сполз под гусеницу, подергался и успокоенно затих. Простыня, надетая вместо маскхалата, пометалась на ветру и накрыла его точно саваном.

Бой откатился куда-то в сторону, в ночь. Гаубицы переместили огонь, тяжелые эрэсы, содрогаясь и хрипя, поливали пламенем уже другие окопы и поля, а те «катюши», что стояли с вечера возле траншей, горели, завязшие в снегу. Оставшиеся в живых эрэсовцы, смешавшись с пехотою, бились и погибали возле своих отстрелявшихся машин.

Впереди таякала полковая пушчонка, уже одна. Смятая, растерзанная траншея пехотинцев вела редкий ружейный огонь, да булькал батальонный миномет трубою, и вскоре еще две трубы начали бросать мины; затрещал припоздало и обрадованно ручной пулемет, а станковый молчал, и бронебойщики выдохлись. Из окопов то тут, то там выскакивали темные фигуры чужих солдат, от низко севших касок казавшихся безголовыми, и бросались во тьму, вдогон своим, с криками и плачем.

По ним редко стреляли, и никто их не догонял.

Заполыхали в отдалении скирды соломы, выплескивались в

небо неуместно ярким, праздничным фейерверком разноцветных ракет. И чьи-то жизни ломало там и уродовало. А здесь все стихло. Воронки, следы гусениц, развороченные окопы, убитых людей заносило снегом. На догорающих машинах эрэсовцев трещали, рвались патроны и гранаты; горячие гильзы высыпались из коптящих машин, дымились и шипели в снегу. Подбитый танк остывшей тушей темнел над траншеей. К нему тянулись, ползли раненые, чтобы укрыться от ветра и пуль. Незнакомая девушка с подвешенной на груди санитарной сумкой делала перевязки. Шапку она обронила и рукавицы тоже, дула на коченеющие руки. Снегом запорошило коротко стриженные волосы девушки.

Девушка исполняла свою работу. И всем надо было ее исполнять, преодолевая себя и ту расслабленность, которую давала передышка, расслабленность, особенно опасную в ночном бою, на разорванном и ломаном участке фронта. Надо было проверять взвод, готовиться к отражению новой атаки, если она возникнет, налаживать связь.

Старшина уже успел закурить. Он тянул из кулака сигарку, потому что табак выдувало из заветки ветром, и все поглядывал на тушу танка, угрюмую, недвижимую, забитую уже по щелям и в дуле орудия мягкотью снега.

— Дай мне! — протянул Борис руку.

Старшина не дал окурка лейтенанту, достал сначала рукавицы взводного из-за пазухи, а потом уж кисет и бумагу, не глядя сунул. Борис долго колдовал над сигаркой, лепил ее, мусолил, наконец, неумело скрученную, мокрую, прижег с трудом и закашлялся.

— Ладно ты его! — кивнул старшина Мохнаков на танк.

Борис недоверчиво смотрел на усмиренную громаду машины: такую силищу — такой маленькой гранатой! Такой маленький человек! Слышал взводный еще плохо. Во рту у него хрустела земля, да еще табаку полон рот набился. Он кашлял, отплевывался, в голову его ударяло, и вроде нимба возникали над старой шапкой круги, из глаз сыпались искры.

— Раненых... — Борис почистил в ухе. — Раненых собирать! Замерзнут.

— Давай! — отобрал у него сигарку Мохнаков. — Не умеешь курить, так не балуйся! — Он кинул окурочек в снег, притянул за ухо шапки взводного к себе. — Идти надо.

Борис снова стал чистить пальцем в ухе, выковыривать землю, потому что хоть близко орал старшина, а все как из воды иль из глубокой ямы будто.

— Что-то... Тут что-то...

— Хорошо, говорю, хоть цел остался! Кто ж так гранаты бросает!

Спина Мохнакова, погоны его были обляпаны грязным снегом. Ворот полушубка, наполовину с мясом оторванный, хлопался на ветру. Все качалось перед Борисом, и этот неслышно хлопающийся воротник тоже бил по голове, плоско,

будто доскою. Борис на ходу черпал снег, ел его, гарью и поро-  
хом засоренный, — живот не остужало, лишь остро пронзало  
все нутро, и клубившаяся там тошнота ненадолго обмирала,  
свертывалась в комочек под грудью. Лейтенант начинал ды-  
шать часто, глубоко, радостно, так что холод обдавал, кажет-  
ся, даже кишки, начинал ощущать звуки вокруг: вой ветра,  
крики раненых; раскаты далекого боя, сонным туманом оку-  
танная явь подступали ближе, отчетливей, и он видел все во-  
круг осознанней, не спутанно.

Над открытым люком подбитого танка воронкой завинчи-  
вало снег. Танк остыл, обмерз, по решетке мотора густо взо-  
шли белые иглы. Позванивало, трескаясь, железо, больно стре-  
ляло в зубы и в уши. Занесенная уже до половины снегом  
машина сделалась бесформенной и нестрашной. Старшина  
увидел девушку-санинструктора без шапки, снял свою, небреж-  
но насунул ей на голову и прихлопнул по макушке. Девушка  
даже не взглянула на Мохнакова, лишь на секунду приоста-  
новилась, погрела руки, сунув их под скоробленную холодом  
телогрейку, в расстегнутую гимнастерку, к груди.

Карышев и Малышев — бойцы взвода Бориса Костяева,  
подтаскивали к танку, в заветрие, раненых.

— Живы! — вскинулся Борис.

— И вы живы! — тоже обрадовался Карышев и потянул  
воздух носischem так, что тесемка развязанной шапки влетела  
в ноздрю.

— А пулемет наш разбило, — не то доложил, не то пови-  
нился Малышев.

Мохнаков влез на танк, столкнул в люк перевесившегося,  
еще вялого офицера, и тот загремел, будто в бочке. На всякий  
случай старшина дал в нутро танка очередь из автомата, кото-  
рый успел где-то раздобыть, посветил фонариком и, спрыгнув  
в снег, сообщил:

— Офицеры наглушило! Полна утроба! Ишь как ловко:  
солдат вперед, на мясо, сами под броню... — Он склонился  
к санинструкторше: — Как с пакетами, доктор?

Девушка отмахнулась от него. Взводный и старшина от-  
копали провод, двинулись по нему, но скоро из снега выта-  
щили оборвыш и добирались до ячейки связиста уже наугад.  
Связиста раздавило в ячейке гусеницей. Вместе с ним задав-  
лен немецкий унтер-офицер. В щепки растерт ящикек телефона.  
Старшина подобрал шапку связиста, выбил из нее снег о ко-  
лено, натянул на голову. Шапка оказалась мала, туго, до  
бледности стянула глыбистый лоб старшины. Шапка была на-  
сквозь пропитана потом, искусственный мех на ней скатался,  
раскрошился в серый шлак, и, может, оттого на ней, темной,  
холодной, заношенной, особенно ярко и празднично светилась  
капля звезды — совсем недавно, с неделю назад всей пехотной  
роте выдали новые, «настоящие» звездочки взамен жестяных,  
своеручно вырезанных бойцами из консервных банок.

В единственной уцелевшей руке связиста был зажат алю-

миниевый штырек — они употреблялись немцами для закрепления палаток, а нашими телефонистами — на заземлители. Немцам выдавали кривые связистские ножи, заземлители, кушачки и прочий набор. Наши бойцы все это заменяли руками, зубами и мужицкой смекалкой. Штырьком связист долбил унтера, когда тот прыгнул на него сверху. Тут их обоих и размочкало гусеницей.

Лейтенант отвернулся, заморгал на ветер, пытаясь остановить дрожь губ и вспомнить фамилию связиста. Но не вспомнил, оттого что связист был прислан из роты, а ротных разве всех упомнишь! Их там много, да и не держатся в пехоте связисты, выбивают их скоро. Лейтенант покашлял, обернулся и увидел бугорок на том месте, где лежали раздавленные танком связист и унтер-офицер, — старшина валенком нагреб на них снег, смешанный с комками земли, и теперь отдыхивался, вытирая лицо об ворот полушубка, сплевывая лезущие в рот волосы и в то же время зорко все вокруг оглядывая.

Четыре танка остались на позициях взвода, а вокруг них валялись полужанесенные снегом трупы. Торчали из суметов руки, ноги, винтовки, термосы, прогнимогазные коробки, разбитые пулеметы, все еще густо чадили сгоревшие «катюши», по заснеженным полям гоняло хлопья сажи.

— Связь! — хрипло выкрикнул полуглухой лейтенант и вытер нос рукавицей, заledenелой на пальце.

Махнув рукавицей у виска, — понятно, дескать, — старшина кивком указал лейтенанту на подбитый танк, где все прибавлялось и прибавлялось народу, сам пошел собирать тех, кто остался живым во взводе, велел откапывать ящики с патронами из забитой снегом щели, чистить лопатами ячейки и огневые гнезда; бойца, что казался поживей и посмекалистей, отрядил к командиру роты, а если не сыщется ротного, то и к самому комбату топать, — доложить обстановку, получить распоряжения и, может, едой или согревающим чем разжиться.

Из подбитого танка добыли бензина, плескали его на снег, жгли, сбрасывая в костер приклады разбитых винтовок и автоматов, трофейное барахло.

Санинструкторша отогрела руки, прибралась. Старшина принес ей меховые офицерские рукавицы, дал закурить. Сидя у костра на связистской катушке, санинструкторша неторопливо курила, закрыв глаза, и не то думала о чем-то, не то на коротке отключилась от всего и дремала. Не открывая глаз, она попросила свернуть ей еще сигарку, прикурила и, снова погружаясь в оцепенение, тихо о чем-то перемолвилась со старшиной.

Старшина полез в танк, освещая уже могильно студеное нутро его фонариком, и Борис подивился еще раз тому, как бывалые фронтовики быстро сходятся и понимают друг друга не то что с полуслова, а как бы даже и без слов вовсе, по какому-то внутреннему знаку или наитию. Такие же они люди-

человеки, с ногами, с руками, мерзнут, мучаются, страдают, а вот ровно бы все же из другого они племени, которое живет своей особой, очень сложной моралью и пользуется каким-то своим, труднодоступным для других людей, языком, в котором мало слов, но бездна необходимого на войне и, по окопным меркам, высочайшего смысла. Вот в понимании этого смысла, в постижении чего-то простого и главного на войне все эти — битые и перебитые, кровью умытые — воины и были родственны друг другу. Неловко было даже не то что сказать о них, но и подумать, что вот-де «за одного битого двух небитых...». Нет-нет! Борис это прошел, отмел он это давно: люди не игральные карты — дама бита королем, а король тузом! Ваша не пляшет!.. Настигали, и не раз, его такие моменты на войне, такими чувствами он проникался, что, если бы время, место да возможность, он бы шапку снял и поклонился всем старым, третий год войну ломающим бойцам, когда и машины-то уж износились, сломались, в переплавку пошли. В первую голову он поклонился бы вот этой, смертельно уставшей девушке с мужицкими прокуренными пальцами, с грязью в ушах, с синяками, напывшими под глаза, с желтушными от табака губами, — девушке, которой и возраст-то нельзя было определить, — может, девятнадцать, а может, все тридцать.

— Е-э-э-эсть! — заорал из танка, как из преисподней, старшина, и Борис даже вздрогнул, а девушка сидела все так же недвижно и только ниже, ниже клонилась к затухающему костру.

Булькая алюминиевой флягой, Мохнаков вылез из танка, и все глаза устремились на него.

— По глотку раненым! — обрезал Мохнаков. — И... немножко доктору, — подмигнул он санитарструкторше.

Она приняла флягу, отвинтила колпачок, налила в него жидкости, понюхала, попробовала на язык и только после этого прямо из горлышка фляги влила в готовно, по-птичьи широко открываемые рты раненых несколько согревающих глотков шнапса. Кричал и ничего не видел побелевшими глазами обгорелый водитель «катюши». Девушка осторожно ливнула шнапса в кровенящие, вздувшиеся от ожогов губы водителя, и когда он поперхнулся, брызнул шнапсом изо рта, она сожалеюще покачала головой, на мгновение замерла над ним. Крик водителя, стискивающий душу, снова взвился ввысь, из растрескавшихся губ гуще потекла кровь, сестра накрыла его с головою плащ-палаткой.

Раненный в ногу сержант попросил девушку убрать немца, который оказался под ним, — студено от мертвого. Выкатили на верх траншеи окоченного фашиста, растолкали на стороны, повытаскивали из траншеи и все другие трупы, соорудили над ранеными козырек из плащ-палаток, прикрепили углы к дулам винтовок — согрелись немного в работе. Хлопались железно плащ-палатки под ветром, стучали зубами раненые, гудел чугунно и утробно в люке танка ветер, и, то затихая в бессилии,

то вознося отчаянный крик до неизвестно куда девшегося неба, мучился водитель.

— Ну, что ты, что ты, браток? — не зная, чем его утешить, говорили водителю солдаты. — Криком-то разве поможешь себе?

Но он не слышал никого, и солдаты старались делать вид, будто тоже ничего не слышат.

Одного за другим посылали бойцов в батальон, но никто из них не возвращался. Санинструкторша отозвала Бориса в сторону. Пряча нос в спекшемся от мороза воротнике телогрейки, она стучала валенком о валенок и смотрела на потрепанные рукавицы лейтенанта. Помедлив, Борис снял рукавицы и, наклонившись к одному из раненых, натянул их на охотно подставленные руки.

— Раненые замерзнут. — Девушка снова прикрыла распухшими веками глаза. Лицо её, губы тоже распухли, багровые щеки ровно бы присыпаны отрубями — потрескалась кожа от ветра, холода и грязи.

Уже невнятно, будто засыпая с соской во рту, всхлипывая вбужженный водитель, все гудел в утробе танка ветер, и совсем захирел, едва шевелился в натаившей яме огонь костерка. Борис засунул руки в рукава и виновато потушился.

— Где ваш санинструктор? — не открывая глаз, спросила девушка.

— Убило.

Водитель смолк.

Девушка трудно расклеила веки. Под ними слоились, затемнив взгляд, недвижные слезы. Напрягшись, она ждала — не закричит ли водитель, догадался Борис и боялся, что и сама она вот-вот закричит, забьется. Но она не закричала, не забилась, и слезы из ее глаз откатывались туда, откуда поднялись.

— Я должна идти. — Девушка поежилась, постояла еще секунду-другую, вслушиваясь. — Нужно идти, — взбадривая себя, прибавила она и стала карабкаться на бруствер траншеи.

— Бойца... Я вам дам бойца.

— Не надо, — донеслось уже издали. — Мало народу. Вдруг что...

Борис тоже выбрался на верх траншеи. Срывая с глаз дрожащей ладонью настывшее мокро, он пытался увидеть во тьме фигурку девушки в кургузой, насквозь продуваемой телогрейке, но нигде никого уже видно не было.

Косыми полосами шел снег. Хлопья сделались липучей, и Борис решил, что метель скоро кончится: густо повалило — ветру не пробиться. Он возвратился к танку, постоял, опершись на гусеницу спиной.

— Карышев, собирайте все в костер! — угрюмо распорядился лейтенант и тише добавил: — Раздевайте убитых, чтобы накрыть, — показал он взглядом на раненых, — и рукавицы мне найдите. Старшина! Боевое охранение как?

— Выставил.

— К артиллеристам надо сходить. Может, у них связь работает? Ящики из-под снарядов раздобыть бы...

Старшина нехотя поднялся, затянул ту же полушубок и повололся к пушчонкам, которые так стойко сражались ночью. Вернулся скоро.

— Одна пушка осталась и четыре человека. Тоже раненые. Снарядов нет. Ящиков много. — Мохнаков охлопал снег с воротника полушубка и только сейчас удивленно заметил, что он оторван. — Прикажете артиллеристов сюда? — прихватывая ворот булавкой, спросил он.

Борис кивнул. Те же Малышев и Карышев, которым износу не было, двинулись за старшиной, а за ними потащились все, кто мог шевелиться, чтобы натаскать ящиков в огонь.

Раненых артиллеристов перенесли в траншею. Они обрадовались огню, людям, но командир орудия не ушел с огневой позиции, попросил поднести ему снарядов от разбитых пушек.

Так — без связи, на слухе и нюхе — продержались до утра. Как привидения, как нежити, появлялись из тьмы раздерганными группами заблудившиеся немцы, но, увидев русских, побитые танки, чадающие машины, укатывались куда-то, пропадали навечно в сонно окутывающей все вокруг снежной мгле.

Утром, уже часов около восьми, перестали ухать сзади гаубицы. Смолкли орудия слева и справа. И впереди унялась пушчонка, звонко ударив последний раз. Командир орудия или расстрелял все снаряды, или умер у своей пушки. Внизу, вроде бы под самыми ногами, в оврагах, стало быть, никак не унимаясь, харкались огнем, бухали два миномета, а вечером торчало их там из снега что пеньев на вырубке: отрывисто рыкали крупнокалиберные пулеметы; смешанно постукивали, щелкали, поахивали, соря искрами, высевая зерна трасирующих пуль, сподручные пехоте огневые средства.

Но вот куда-то в недоступную взгляду даль, по невидимым целям начали бить громогласно и весомо орудия большой мощности.

Пехота разом уважительно примолкла: огневые точки переднего края начали смущенно свертывать стрельбу. Даже два миномета, трахнув минами во что-то мерзлое, прекратили пальбу, уяснив, видать, что когда кузнец кует — лягушка лапу не сует.

Рывкнув на всю усталую ночную округу бравым, отлаженным залпом, редкостные орудия, — знатоки уверяли, что в дуло их может запросто влезть человек! — тратящие больше горючего в пути, чем пороху и снарядов в боях, высокомерно замолчали, но издалека еще долго докатывались толчки земли и позвякивали на солдатских поясах котелки, порожние со вчерашнего вечера.

Вот перестало встряхивать и воздух и снег. Дрожь под ногами и в ногах тоже унялась. Снег оседал, лепился уже без шараханья. Валил обрадованно, сплошно, будто он висел над

землей и копился, дожидаясь, когда тут, внизу, уймется военная стихия.

Тихо сделалось. Так тихо, что солдаты начали выпрастывать головы из снега, оглядываясь недоверчиво вокруг.

— Всѣ?!

«Всѣ!» — хотел закричать лейтенант, набирая воздуха в грудь, но издали снова долетела дробь пулеметов, рассеивающих по неоглядной пашне черной ночи светлячки семян, и жажнули из оврагов нацеленно минометы; а далеко-далеко, за кромкой неба, в другой вроде бы еще более черной и бездонной ночи всплыл и начал шириться в небе огонь огромного взрыва, — в состав с горючим или в склад с боеприпасами угодили, видать, дальнобойные орудия.

— Вот вам и всѣ! — прошептал лейтенант, когда толкнулась под ним земля, донесло не круглый, а протяжный, плоский гул взрыва и огонь с неба начал опадать в ту, другую ночь. — Всем быть на месте! Проверить оружие! — неожиданно для всех и для себя тоже закричал лейтенант, все еще не отрывая взгляда от низко севшего к земле огня, который пробивало по всей ширине белыми брызгающими всполохами, будто бросал кто в огненный омут булыжины.

— А-а-а-ев! А-я-я-яев! — услышал лейтенант и вздрогнул.

Голос приближался

— А-ан... Ая-я-яев...

— Вроде вас кличут! — наострил тонкое и уловчивое ухо бывший начальник пожарной команды сибирского зерносовхоза, а ныне рядовой пехотного взвода, стрелок Пафнутьев и заорал, не дожидаясь разрешения: — О-го-го-ооо! — Грелся Пафнутьев ревом.

И только он кончил орать и прыгать, как из снега вывалился солдат с карабином, плюхнулся возле танка, занесенного снегом до башни. Посидел малость, отдышался, нащупал под собой уже остывшего водителя, отодвинулся, вытирая исподом шапки мокро с лица.

— У-уф! Ищу, ищу! Чего же не откликаетесь-то?

— Ты бы хоть доложил... — Борис поджал губы, вынимая руки из карманов.

— А я думал, вы меня знаете! Связной ротного, — вытряхивая снег из рукавицы, удивился посыльный.

— С этого бы и начинал.

— Немцев расхлопали, а вы тут сидите и ничего не знаете! — забывая неловкость, допущенную им, затараторил солдат.

— Кончай травить! — одернул его старшина Мохнаков. — Угощай трофейной, коли так.

— Значит, вас, товарищ лейтенант, вызывают. Ротным вас, видать, назначают. Ротного убило у соседей.

— А мы, значит, тут, — насутился Мохнаков.

— А вы, значит, тут. — Связной протянул Мохнакову кисет. — Во! Наш саморуб-мордovorot! Лучше трофейной греет.



— Я ему про вино, а он про кино! — плюнул старшина. — Нам тут так дали прикурить, что долго никакого табаку не захочется... Ты девуку не видел? — все же принимая кисет и делая самокрутку, поинтересовался он.

— Не. А чё, сбегла?

— Сбегла, сбегла... Замерзла небось девка... — Мохнаков скользнул по Борису укоризненным взглядом. — Отпустили одну...

Натягивая узкие мазутные рукавицы, должно быть, с покойного водителя, плотнее подпоясываясь, Борис сдавленно проговорил:

— Как доберусь до батальона, первым делом пришло за ранеными. — И, стыдась откровенной своей радости оттого, что уходит отсюда, добавил громче, приподняв плащ-палатку, которой были накрыты раненые: — Держитесь, ребята!

— Ради бога, похлопочи, товарищ лейтенант. Холодно, мочи нет...

Борис и Шкалик брели по снегу без пути и дороги, полагаясь на нюх связного. Нюх у него оказался никудышным. Они сбились, долго кружили в полях, попали в овраги к минометчикам, и те чуть было их не перестреляли, приняв за плутающих немцев.

Связной оправдывался, досадовал:

— Ить вот же близко, рядом совсем... Это кружит нас. Он кружит!..

— Кто он? — Осененный нелепой догадкой, Борис даже приостановился от неожиданности. — Нечистый, что ли?

— А кто же еще? — перешел на шепот связной. — Он, он, собака!..

Борис, не раз и не два собиравшийся заорать на связного, даже застрелить его, если тот заведет их к немцам, вдруг расслабленно улыбнулся: ну, это уж черт знает что! Это уж надо быть воистину чалдоном суеверным, чтоб в таком столпотворении не утратить веры в нечистую силу, которая отсюда, из этой бойни, казалась совсем забавной, детской игрушкой.

— Ты вот что, шалопут и вещатель, припомни лучше, куда ветер тебе бил: в спину, в щеку, в нос?

Связной задумался.

— Навроде бы из заушенья дуло?.. Навроде в затылок. А так-то кто ё знает? Закружало, и все!..

— Из заушенья, с реки? Из оврагов? От лесу?

— Навроде бы как от лесу. Мягко навроде бы дуло, хвойно. И так вот: ш-ши-ши-ши-ы, лес, может, шерохтал, а может, и он?

— Да кто он-то?

— Ну, кто, кто? Говорено жа! Повторяй почаще да, громче, дак он те...

— Тьфу ты! Там же раненные остались! Погибают! А ты?!

Шкалик чуть в снег не упал, услышав, как руганулс лейтенант, — полная для него неожиданность.

— Сам говорил: немцев побили, турнули, никакой тут нечистой силы не осталось!.. — сдерживаясь из-за всех сил, продолжал Борис.

«Э-эге-е! Сказывай! — мысленно не соглашался с лейтенантом связной. — Молод больно и прыток, а я от их, от нечистых-то, натерпелся за жись страсти всякой...» Однако ругань подействовала на чалдона так же, как на чалдонского коня действует, — успокаивающе, он начал кое-что соображать, и не вдруг, не сразу, но попали они все же в расположение роты. Но там уже никого не было, кроме сердитого связиста с обмороженным от телефонной трубки ухом. Он сидел, укрывшись плащ-палаткой, как бедуин в пустыне, и крыл боевыми словами войну, Гитлера и особенно напарника, который уснул на промежуточной точке, телефонист посадил уж батарейки в аппарат, пытаясь разбудить его зуммером.

— Во! Еще лунатики объявились! — со злобной торжественностью приветствовал свиту Бориса связист, не отнимающий пальца от осы гудящего зуммера. — Лейтенант Костяев, что ль? — И, получив утвердительный ответ, проворчал: — Чего же не до полдня бродили?! — И нажал клапан трубки. — Я сматываюсь! Доложи ротному. Код? Пошел ты со своим кодом! Я околел до смерти... — Продолжая ругаться, связист отключил аппарат. — Ну, я ему дам! Ну, я ему дам! — повторил он и, вынув из-под зада котелок, на котором сидел, охнув, ковыльнул по снегу отсиженными ногами. — За мной!

Резво треща катушкой, то и дело продергивая в зазор катушки ошетиленные сростки проводов, связист сматывал провод и озверело пер вперед, на промежуточную, чтобы насладиться мстостью: пнуть напарника, если тот вовсе не замерз.

\* \* \*

Командир роты разместился за речкой. На окраине хутора, в бане. Баня излажена по-черному, с каменкой, — совсем уж редкость на Украине. Родом из семиреченских казаков, однокашник Бориса по полковой школе, комроты Филькин, фамилия которого была притчей во языцех и не соответствовала его боевому характеру, приветливо и даже чересчур приветливо встретил своего взводного.

— Здесь русский дух! — весело гаркнул он. — Здесь ба-ней пахнет! Помоемся, Боря, попаримся!.. — Был он сильно возбужден боевыми успехами, а может, хватил маленько горьчительного.

— Во война, Боря! Не война, а хреновина одна. Немцев сдалось — тучи. Прямо тучи! А у нас? — прищелкнул он пальцами. — Вторая рота почти без потерь, человек пятнадцать, да и те блудят небось, либо дрыхнут у хохлуш, оканные. Ротного нет, а за славянами глаз да глаз нужен...

— Зато нас напарили! Половина взвода смята. Раненых надо вывозить.

— А я думал, вас миновало... В стороне были... — смешался Филькин. — Но отбился же! — Тут же воспрянул он духом и приложился к глиняному жбану с горлышком. У него перебило дыхание. Он покрутил головой: — Во напиток! Стенолаз! Тебе не дам, хоть ты и замерз. Раненых выносить будем. Обоз не знаю где. Я им морды набью! А ты, Боря, на время пойдешь... Знаю, знаю, что обожаешь свой взвод. Скромный, знаю. Но комбат приказал — и все, не ломайся! Во, гляди сюда! — Филькин раскрыл планшетку и начал тыкать пальцем в карту. С отмороженного брюшка пальца сходила кожа, и кончик его был краснеющий и круглый, как редиска. — Значит, так: хутор нашим занят, но за хутором, в оврагах и на поле между хутором и селом — большое скопление противника. Предстоит добывать. Без техники немец, почти без боеприпасов и полудохлый, а черт его знает! Отчаялись. Значит, пусть Мохнаков снимает взвод, а сам крой выбирать место для воинства. Я пошукаю вторую роту. А пока войю с теми, что остались у тебя. Может, вся эта заваруха кончится скорей, чем тебя в чине повысят, и ты останешься со своим любимым взводом...

— Тебе все шуточки! — не принимая тона ротного, устало буркнул Борис. — Раненых убери! Врача пошли. Самогонку отдай, — показал Борис на жбан с горлышком.

— Ладно-ладно, — отмахнулся комроты, — возьму раненых, возьму, — и начал звонить куда-то по телефону, Борис под шумок решительно забрал посудину с самогонкой и, неловко прижимая ее к груди, вышел из бани. Посудину он передал Шкалику и приказал быстро идти за взводом.

— Возле раненых оставьте кого-нибудь, костер жгите, — наказывал он. — Да не заблудись.

Шкалик засунул в мешок посудину, надел винтовку за спину, помедлил, повздыхал, — побаивался один идти на передовую, но, не дождавшись никаких больше слов от командира взвода, махнул рукой у виска и нехотя побрел через огороды.

Занималось утро, а может, сделалось светлее оттого, что обвьяла метель. Еще взимался где-то в полях вал-другой снега и какое-то время катило его по равнине, но катило нехотя, без напора и там же, в полях, рассеивало белую сырь, перемерзлую, перетертую в стекло, и через овраги к хутору долетал уже обессиленный и вялый порыв, качал дымы, поднимал сажу над пепелищами, но не выл он, не швырял ошметья огня, не валил крыши.

Хутор занесен снегом по самые грубы. Возле домов стояли открытыми люками немецкие танки, бронетранспортеры. Иные не густо, но все еще удушливо дымились. Болотной лягушкой расшеперилась середь дороги разжужжалая легковая машина, из нее расплывалось грязное пятно, со сгустками бурой крови. Всюду воронки, комья земли, раскиданные взрывами. Даже на крыши набросана земля. Плетни свалены, хаты и сараи разворочены танками, побиты снарядами. По огородам,

возле сгоревших хат, неприятная, какая-то нищенски голая, вытаяла земля, и на ней редко, будто в старом мертвом рту, зубами торчали тупые кочерыжки. Воронье, молчаливое, сосредоточенное, черными лохмами возникало и кружилось над оврагами, над хутором, над все еще мглистыми и оттого все такими же отчужденными полями.

Воинская команда в заношенном обмундировании, подвывая, будто на сплав: «Ой, да еще разок!» — сталкивала вагами машины с дороги. Тут же суетился, бойко хлопал трубой, дребезжал всеми своими железными членами колхозный тракторишко, помогая воинству очищать от трофейной техники дорогу, подхватывая буксующие машины, услужливо подталкивая рыльцем подводы, и самый веселый, самый бравый был тут тракторист Хведор Хвомич, которого по причине порока сердца не взяли на войну, но он тут сам восвал, не жалея сердца, был связным у партизан и заверял, что сердце его и вовсе перестало болеть, а трактор он прятал в лесу, твердо веруя, что наши придут и машина еще послужит фронту и колхозу.

Хведор Хвомич, как его машина, тоже вроде бы побрякивал всеми частями. Драная телогрейчишка была надета прямо на нижнюю рубаху, к ногам его онучами были прикручены опорки, блестящие от мазута, да и губы у Хведора Хвомича фиолетовые, воздух он сглатывал судорожно, и скоро пришлось его из кабины вынать, покормить маленько, а главное — приодеть. Выяснилось: семью его немцы истребили, хата сожжена, напяливать же что-либо фрицевское на себя он решительно не хотел. Тыловики выдали ему подшитые валенки, гимнастерку, заштиту на животе, онучи, шапку, старую шинель.

Хведор Хвомич так обрадовался, что от волнения сердце у него зашло, и он стал есть снег, а потом переобулся, переоделся во все «наше», скомканное старье сунул в кабину трактора, предстал перед нестроевиками.

— Ну, як воно? Хлопцы?..

«Хлопцы» — все под полсотню лет — сказали:

— Добро!

И Хведор Хвомич, так хорошо и бойко державшийся, заморгал вдруг, посеменил за трактор, всплакнул там и виновато молвил, стирая с лица слезы пальцами:

— Бильшь цэ нэ повторытьс....

Горел костерок возле одной хаты, и у костерка грелись пожилые солдаты из тыловой трофейной команды. И пленные тут же у огня сидели, несмело тянули руки к теплу.

На дороге, ведущей к хутору, темной ломаной лентой стояли танки и машины, возле них прыгали, толкались экипажи. Хвост колонн терялся в еще не осевшей снежной мути. Хведор Хвомич, проезжая мимо пленных, плевался, показывая кулачишко, и неодобрительно говорил нашим солдатам, мирно сосуществующим с недавним врагом, «шо вин такой полытики нэ можэ понять...».

Взвод прибыл в хутор быстро. Солдаты потянулись к огонькам и хатам. Отвечая на немой вопрос Бориса, старшина живо доложил:

— Девка-то, санинструкторша-то, трофейные повозки где-то надыбала, раненых всех увезла.

— Ладно. Хорошо. Ели?

— Чё? Снег?

— Ладно. Хорошо. Скоро тылы подтянутся.

Согревшиеся в быстром марше солдаты уже смекали насчет еды. Варили картошку в касках, хрумкали трофейные галеты, иные и разговелись маленько. Заглядывали в баню, приножились. Но пришел Филькин и прогнал всех, а Борису дал нагоняй ни за что ни про что. Впрочем, тут же выяснилось, отчего он вдруг озверел.

— За баней был?

— Нет.

— Сходи.

За давно не топленной, но все же угарно пахнущей баней, при виде которой сразу зачесалось тело, возле картофельной ямы, покрытой шалашиком из будылья, лежали убитые старик и старуха. Они спешили из дому к яме, где, по всем видам, спасались уже не раз и просиживали подолгу, потому что старуха прихватила с собой мочальную сумку с едой и клубок толсто напряденной пестрой шерсти.

Залп артподготовки прижал стариков за баней — тут их и убило.

Они лежали, прикрывая друг друга. Старуха спрятала лицо под мышку старику. И мертвых било их осколками, посекло одежку, выдрало серую вату из латаных телогреек, в которые оба они были одеты.

Из мочальной сумки выкатился клубок, вытащив резинку начатого носка со спицами из ржавой проволоки. Носки из пестрой шерсти на старухе, а эти она начала, должно быть, для старика. Обута старуха в калоши, подвязанные веревками, старик — в неровно обрезанные немецкие сапоги. Борис подумал: старик обрезал их потому, что возьмё у немецких сапог низки и сапоги не налезали на его больные ноги. Но потом догадался: старик, срезая лоскутья с голенищ, чинил низы сапог и постепенно добрался до взъема.

— Не могу... Не могу видеть убитых стариков и детей, — тихо уронил подошедший Филькин. — Солдату вроде бы как положено, а перед детьми и стариками...

Угрюмо смотрели военные на старика и старуху, наверное, живших по-всякому: и в ругани, и в житейских дрызгах, но обнявшихся преданно в смертный час.

Все тот же вездесущий Хведор Хвомич успел сообщить, что старики эти приехали сюда с Поволжья в голодный год. Они пасли колхозный табун. Пастух и пастушка

— В сумке лепехи из мерзлых картошек, — объявил связной комроты, отнявши сумку из мертвых рук старухи, и начал сматывать нитки на клубок. Смотал, остановился, не зная, куда девать сумку.

— Дужэ тыхи та добры людыны булы, — вздохнул Хведор Хвомич длинно и устало. — Воны богу молились, а ции гады «з намы бог» на рэмню написалы и ось як божьих люды... Цэ ж... — Голос Хведора Хвомича стал набирать высоту, зазвенел, и он, услышав себя, деликатно смолк.

Филькин тоже длинно вздохнул, поискал глазами лопату и начал копать могилу. Борис взял лопату. Но подошли бойцы, больше всего не любящие копать землю, возненавидевшие за войну эту работу, отобрали лопаты у командиров.

Щель вырыли быстро.

Хведор Хвомич пробовал разнять руки пастуха и пастушки, да не смог и сказал, что так тому и быть, так даже лучше — вместе на веки вечные, а он вот...

Положили головами на восход пастуха и пастушку, закрыли их горестные, потухшие лица: старухино — ее же полущалком с реденькими висюльками кисточек, старика — ссохшейся, что слива, кожаной шапчонкой.

Связной бросил сумку с едой в щель и принялся лопатой кидать землю.

Зарыли безвестных стариков, бугорок лопатами прихлопали, кто-то из солдат сказал, что могила весной просядет — земля-то мерзлая, со снегом, Хведор Хвомич заверил, что как соберутся все селяне «до хутора», то и перехоронят старика со старухой и «всех братьев до миста свого определят».

Пожилой, долговязый боец Ланцов прочел над могилой складную, тихую молитву, и никто не осудил его за это: покойники-то старики. Лишь Хведор Хвомич удивленно уставился на Ланцова — червоноармеец, а знает молитвы! Сам Хведор Хвомич давно их забыл, в молодости в безбожниках хаживал и стариков этих — пастуха и пастушку — все агитировал иконы ликвидировать. Но они его не послушались...

## Часть вторая

### СВИДАНИЕ

И ты пришла, заслышав  
ожиданье...

*Я. Смеляков*

Солдаты пили самогонку.

Пили торопливо и молча, не дожидаясь, когда сварится картошка.

Пальцами доставали перекисшую капусту из глечика, хрустели, кричали и не смотрели друг на друга.

Хозяйка дома, по имени Люся, пугливо смотрела в сторону солдат, подкладывала сухие ветви акаций и жгуты соломы в печь, торопилась доварить картошку. Корней Аркадьевич Ланцов, расстилавший солому на полу, выпрямился, отряхнул ладонями штаны и боком подсел к столу:

— Налейте и мне.

Борис сидел у печки, грелся и отводил глаза от хозяйки, возившейся рядом.

Старшина Мохнаков поднял с полу немецкую капистру, налил полную кружку, подсунул ее Ланцову и криво шевельнул углом рта:

— Запыхивай, паря!

Корней Аркадьевич суетливо оправил гимнастерку, будто собрался нырять в прорубь. Судорожно дергаясь и всхлипывая, вытянул самогонку и какое-то время сидел оглушенный. Наконец наладилось дыхание, и он жалко пролепетал, убирая пальцем слезу:

— Ах, господи!

Скоро, однако, он, приглушив застенчивость, оживился, пытаясь заговорить с солдатами, со старшиной. Но те упорно молчали и глушили самогонку. В избе делалось все труднее дышать от табачного дыма, стойкого запаха буряковой самогонки и гнетущего ожидания чего-то худого.

«Хоть бы сваливались скорее, — с беспокойством думал взводный, — а то уж и жутко даже...»

— Вы тоже выпили бы, — обратился к нему Корней Аркадьевич, — право, выпили бы... Оказывается, помогает...

— Я дождусь еды, — отвернулся к печи Борис и стал греть руки над задымленным шестком. Труба тянула плохо, выбрасывала дым, — видать, давно нет мужика в доме.

Неустойчиво все во взводном, в голове покачивается и звенит еще с ночи. Разбил он однажды сапоги до того, что остались передки с голенищами. Подвязал их проволокой, а когда ходить вовсе не в чем сделалось, стянул сапоги с такого же, как он, молоденького лейтенанта, полегшего со взводом в балке. Стянул, надел — и у него начали стыть ноги в этих сапогах. Он поскорее сменял их. Теперь вот такое ощущение, будто весь он в сапоге, снятом с убитого человека.

— Промерзли? — спросила хозяйка.

Борис потер виски ладонью, приостановил в себе обморочную качку и взглянул на нее осмысленно. «Есть маленько», — хотелось сказать ему, но он ничего не сказал, сосредоточил разбитое внимание на огне под таганком. По освещенному огнем лицу хозяйки пробегали тени. И было в ее маленьком лице что-то как будто недорисованное, подкопчено лампадками или деревенской лучиной было оно, и проступали отдельные лишь черты лица. Хозяйка чувствовала на себе пристальный и в то же время украдчивый взгляд, покусывала припухшую нижнюю губу. Нос ее ровный, с узенькими раскрылками, припачкан сажей. Овсяные, как определяют в народе, глаза, вызревшие в

форме овсяного зерна, прикрыты загнутыми ресницами. Когда хозяйка открывала глаза, из-под кукольных ресниц этих обнажались темные, вроде бы тоже вытянутые, зрачки. По лицу хозяйки метался отсвет огня, и оттого глаза делались загадочно-переменчивыми, то темнея, то высветляясь, и жили как бы отдельно от лица. Но из странных, как бы перенесенных с другого, более крупного, лица глаз этих не исчезало выражение вечной печали, какую умели увидеть и остановить на картинах древние художники, и оттого женщины, ими созданные, пераживали себя, свое время, пронзая душу человеческую своей якобы загадочностью, а на самом-то деле точно схваченным умением достойно нести в себе страдание и как бы охранять остальных людей от него — и все это миру невидимо, незаметно, — лишь избранным удалось постичь глубину женской печали.

Борис умел верить в красивую выдумку, но хозяйка рушила картинный образ, возникший в нем, своей обыденностью, ну хотя бы этим мазком сажи и особенно беспокойными руками. Она все время пыталась и не могла найти им место.

Солома прогорела. Веточки акаций лежали горсткой раскаленных гвоздиков, и от них шел сухой струйный жар. Рот хозяйки чуть приотворился, руки успокоились, глаза смотрели устремленно куда-то в пустоту. Казалось: тронь ее — и она, вздрогнув, испугается, закричит и с нею даже дурно может случиться.

— Может быть, сварилась? — сказал Борис и осторожно дотронулся до ее локтя.

— А? — Хозяйка резко отступила в сторону. — Да-да, сварилась. Пожалуй, сварилась, — спохватилась она. — Сейчас попробуем. — Произношение не украинское. И ничего в Люсе не напоминало украинку, разве что платок, глухо завязанный, да передник, расшитый тесьмою. Но немцы всех женщин здесь научили, глухо повязываться, прятаться и бояться.

Выдвинув кочергой ведерный чугунок на край припечка, Люся ткнула пальцем в картофелину, затрясла рукою и сунула палец в рот.

Борис притаенно улыбнулся ей, покачал головой, как бы прощая эту малую ее неловкость, а на самом-то деле отметив, что птица она и впрямь, видать, здесь залетная — возле печи хозяйничать не обученная. Прихватив чугунок солдатской портянкой, Борис отлил воду в лохань, стоявшую в углу под рукомойником. Из лохани ударило густым паром прелого дерева. Хозяйка вынула палец изо рта, спрятала руку под передник, потерянно наблюдая за Борисом.

— Вот теперь налейте и мне, — поставив чугунок на стол, произнес лейтенант.

— Да ну-у-у?! — громко удивился Мохнаков. — К концу войны, глядишь, и вы с Корнеем обстреляетесь! — И опять шевельнулся угол рта старшины, будто подкова одним концом разогнулась.



Борис даже не посмотрел на своего помкомвзвода.

— Подвинься-ка! — двинул он в бок Шкалика.

Шкалик ужаленно подскочил и чуть не упал со скамейки.

— Напоили мальчишку! — буркнул Борис, не обращаясь ни к кому. — Садитесь, пожалуйста, — позвал он Люсю, прижавшуюся спиной к остывающему шестку и все еще прячущую руку под передником.

— Ой, да что вы! Кушайте, кушайте! — почему-то испугалась хозяйка, суетливо шаря по платку и по груди.

— Н-не, девка, не отказывайся! — распевно завел Пафнутьев. — Садись, не моргуй солдатской едой. Мы худого тебе не сделаем. Мы...

— Да хватит тебе! — Борис похлопал рукой по скамейке, с которой услужливо сошел Пафнутьев. — Я вас прошу.

— Хорошо, хорошо! — Люся застыдилась, что ее упрашивают и лейтенант вроде бы даже на солдата рассердился. — Я сейчас, одну минутку...

Она исчезла в чистой половине, прикрытой створчатой дверью, и скоро возвратилась оттуда без платка и передника. У нее была коса, уложенная на затылке. Легкий румянец выступил на бледном лице ее. Не ко времени и не к месту она тут, среди грязных, мятых и сердитых солдат, думалось ей, и она стеснялась себя.

— Напрасно вы здесь расположились, — скованно заговорила Люся и пояснила Борису: — Просила, просила, чтоб проходили туда, — махнула она на дверь в чистую половину.

— Давно не мылись мы, — сказал Карышев, а его односельчанин и кум Малышев добавил:

— Наоставляем трофеев.

Старшина налил всем, и Люсе тоже. Стали чокаться. Зазвенели кружки, банки, звякнул стакан, из деликатности оставленный Люсе. Она подождала с поднятым стаканом — не скажет ли чего командир. Он ничего не говорил, и Люся, потупившись, вымолвила сама:

— С возвращением вас... — и отвернулась к печке. — Мы так вас долго ждали. Так долго... — Она говорила тихо, почти шепотом, и потому, может быть, угадывалась глубоко затаенная горесть и даже виноватость в чем-то. Она смолкла на полуслове, и военные приговоренно ждали, что сейчас вот она и облегчит свою душу, все им обкажет. Но Люся, отвернувшись, покусала губу, переборола что-то в себе и отчаянно, в один дух выпила самогонку.

— Вот это по-нашенски! Вот видно, что рада! — как бы вовсе закрывая пути к тяжести, которая поднималась со дна Люсиной души и которой все тут не хотели знать, опасались ее, потому что и сами хотели забыть о тяжестих, отдохнуть от них, загудел добродушно и освобожденно Карышев, протягивая комок американской колбасы на кончике складешки и насмешливо ободранную картофелину. Шкалик хотел опередить Карышева и допрежь его услужить молодой хозяйке, да уронил кар-

тошку. Ему в ширинку накрошилось горячее, он забился было, но тут же испуганно сжался. Вздонный с досадою отвернулся. Шкалик страхнул горячее в штанину, и ему сделалось лучше.

Человек этот, Шкалик, был непьющий. Еще Борис и Корней Аркадьевич непьющие, оттого чувствовали они себя иной раз бросовыми людьми и не такими прочными бойцами, как все остальное воинство, которое большей частью тоже пило «для сугрева», но умело как-то внушить свою полную отчаянность и забубенность. Русский мужик очень любит нагонять на себя отчаянность, посему и привирает подчас совершенно безгрешно насчет баб и выпивки. Пил сильно, но не пьянел лишь старшина, добывая где-то, даже в безлюдных местах, горючку всяких видов, и возле него всегда крутился услужливый, падкий на дармовщину кум-пожарник Пафнутьев. Малышев и Карышев пивали редко, зато уж обстоятельно. Получая свои сто граммов, они сливали их во флягу, и, накопив литр, а то и более, дождавшись благой, затишной минуты, устраивались на поляне либо в хате какой, неторопливо пили, чокаясь друг с другом, и ударялись в воспоминания, «советовались», — как объясняли они эти свои беседы.

Потом пели: Карышев басом, Малышев — дискантом:

За ле-е-есом солнце за-ва-сия-а-ало,  
Гы-де черы-най во-ера-а-ан! Про-кы-рича-а-ал.  
Пы-рашли ча-сы, пы-рашли-и-и ми-ину-у-ты-ы-ы,  
Кавды-ы зы девчо-о-енкой я-а-а гу-ля-а-а-ал...

— Откуль будешь, дочка? — лез с вопросом к Люсе любящий всех людей на свете Карышев, раскрасневшийся от выпивки. — По обличью и говору навроде русская?

И Малышев собирался вступать в разговор, но вздонный упредил его:

— Дайте человеку поесты!

— Да я могу и есть и говорить. — Люся радовалась, что солдаты сделались ближе и доступней, что разговор принял обычное, застольное направление. Один лишь старшина незаметно ощупывал ее потаенным взглядом. От этого всепони-мающего, налитого тяжестью взгляда ей становилось не по себе. — Я не здешняя.

— А-а. То-то я и гляжу: обличье... Не чалдонка случаем? — все больше мягчея лицом, продолжал расспрашивать Карышев.

— Не знаю.

— Вот те раз! Безродная, что ли?

— Ага.

— А-а. Тогда иное дело. Тогда, конечно... Судьба, она, брат, такое может с человеком сотворить...

Вздонный души не чаял в этих двух алтайцах-кумовьях, которые родились, жили и работали в самой красивой на свете, по их заверенью, алтайской деревне Ключи. Не сразу понял и принял этих солдат Борис. Поначалу, когда пришел во

взвод, казались они ему тупицами, он даже раздражался, слушая подковырки и насмешки их друг над другом. Карышев был рыжий, Малышев — лысый. Эти-то два отличия они и использовали предметами для шуток. Стоило снять Карышеву пилотку, как Малышев начинал зудеть: «Чего разболочся? Взбрдет в башку германцу, что русский солдат картошку варит на костре — и зафитилит из орудья!»

Карышев, при всем своем добродушии и совершенной вроде бы неспособности к шуткам, не отказывал себе в удовольствии разыграть любимого кума. Он срывал пучок травы и бросал на лысину Малышеву: «Блестишь на всю округу! Фриц подумает, миномет тута — и накроет!»

Солдаты впокат валились, слушая перебранку первого и второго пулеметного номера. А Борис думал: «До чего же отупить надо, чтобы радоваться таким плоским да и неловким для пожилых людей насмешкам». Но постепенно привык он к людям, к войне и стал их видеть и понимать по-другому и ничего уж неловкого в солдатских шутках не находил.

Воевали алтайцы, как работали, — без суеты и злобы. Воевали по необходимости, да основательно. В «умственные разговоры» вступали редко, но уж если вступали — слушай!

Как-то Карышев срубил под корень Ланцова Корнея Аркадьевича, впавшего в рассуждения насчет рода людского. «Всем ты девицам по серьгам отвесил: и ученым, и интеллигентам, и рабочим в особенности, потому как сам из рабочих и главное всех сам себе кажешься. А всех главное на земле крестьянин-хлебопашец! У него есть все: земля! У него и будни и праздники в ней. Отбирать ему ни у кого ничего не надобно. А вот у крестьянина от веку норовят отнять хлеб. Германец, к слову, отчего воюет и воюет? Да оттого, что крестьянствовать разучился и одичал без земляной работы. Рабочий класс у него машины делает и порох. А машины и порох жрать не будешь! Вот он и лезет везде, зорит крестьянство, землю топчет и жгет, потому как не знает цену ей. Его бьют, а он лезет! Его бьют, а он лезет!»

Карышев сидел нынче за столом широко, ел опрятно и с хитровой мудрецей поглядывал на Корнея Аркадьевича. Гимнастерку пулеметчик расстегнул, пояс отвязал, был широк и домовит. Картошку он чистил брюшками пальцев и, раздев ее, безмундирную, незаметно подсовывал Люсе и Шкалику, все при этом видя за столом, соблюдая порядок, не упуская нити разговора и колебаний настроения среди застолья. Совсем опьянел Шкалик, шатался на скамейке и ничего не ел. Нес капусту в рот, да не донес, всю на гимнастерку развесил. Карышев тряхнул на нем гимнастерку, ленточки капусты сбросил на пол.

Шкалик тупо следил за его действиями и вдруг ляпнул:

— А я из Чердынского району!..

— Ложился бы спать, из Чердынского району, — заворчал отечески Карышев и показал Шкалику на солому.

— Не верите? — Шкалик жалко, по-ребячьи лупил глаза.

Да и был он еще парнишкой — прибавил себе два года, чтобы поступить в ремесленное училище и получать бесплатное питание, а его в армию забрали — и оказался Шкалик на фронте, в пехоте.

— Есть такое место на Урале, — продолжал настаивать Шкалик, готовый вспылить и заплакать. — Там знаете какие дома?!

— Большие! — хмыкнул Пафнутьев, мужичонка прицепистый, всем недовольный.

— Ры-разные, а не большие, — поправил его Шкалик, — и что тебе наличники, и что тебе ворота — все из... изрезанные, изукрашенные... И еще там купец жил — рябчиками торговал... ми... мильены нажил...

— Он не дядей тебе, случайно, приходится? — продолжал расспрашивать Пафнутьев, и Люся чувствовала — не по-хорошему он парнишку подъездает. Шкалик ничего разобрать не мог, охотно беседовал.

— Не-е, мой дядя конюхом состоит.

— А тетя копошихой?

— Тетя? Тетя — конюшихой. Смеется, да? — Шкалик прошелся по застолью налитыми горем глазами, захлопал прямыми и белыми, как у поросенка, ресницами. — У нас писатель Решетников жил! — звонко закричал Шкалик и стукнул кулачком по столу. — «Подлиповцы» читали? Это про нас...

— Читали-читали... — начал успокаивать его Корней Аркадьевич. — Пила и Сысойка, девка Улька, которую живьем в землю закопали... Все читали. Пойдем-ка спать. Пойдем бабышки. — Он подхватил Шкалика, поволок его в угол, на солому, а Пафнутьеву бросил: — До чего ты ржавый крючок!

— Во! — кричал Шкалик. — А они не верят! У нас еще коней разводили!.. Графья Строгановы...

— И откуль в таком маленьком человеке столь памяти! — развел руками Пафнутьев.

— Хватит! — прикрикнул Борис. — Дался он вам...

— Я серьезно...

Все в Борисе одрябло, даже голос. В паутинистом сознании путались предметы, лица солдат, ровно бы выцветшие, подернутые зыбкой пеленой. Сонная тяжесть давила на веки, ослабляла мускулы, даже руками двигать было тяжело. «Уходился! — вяло подумал Борис. — Больше не надс выпивать!...» Он начал есть капусту, попил холодной воды и почувствовал себя тверже.

Старшина покуривал, пуская дым в потолок, и все так же отдаленно улыбался, кривя угол рта.

— Извините! — сказал хозяйке Борис, как бы проснувшись, и пододвинул к ней банку с американской колбасой. Он все время ловил на себе убегающий взгляд до невзавражденности красивых глаз. Будто с экрана, издаലെка глядела она, и то темнело, то прояснялось ее лицо. — Держу при себе как ординарца, хотя мне он и не положен, — пояснил Борис насчет

Шкалика, чтобы хоть о чем-то говорить и не паять на хозяйку. — Горе мне с ним: ни починиться, ни сварить... и все теряет. В запасном полку отошел, куриной слепотой заболел.

— Зато мягкосердечный, добренький зато, — неожиданно вставил Мохнаков, глядя в потолок и как бы ни к кому не обращаясь. Взгляд и лицо Мохнакова совсем затяжелели, в горле его ржа появилась. Помкомвзвода почему-то недобро подъедал взводного. Солдаты насторожились — никогда такого не было. Старшина, как родимый тятя, опекал и берег лейтенанта. И вот что-то произошло между ними. Ну, произошло и произошло, разбирайтесь потом, а сейчас, в этой хате, при такой молодой и ладной хозяйке, после ночного побоища всем хотелось быть добрыми и хорошими. Ланцов, Карышев, Малышев, даже Пафнутьев укорно поглядели на своих командиров и отвернулись хмурые, потчуж друг дружку и как бы не замечая помкомвзвода.

Борис не отозвался на выпад старшины и не прикасался больше к кружке с самогонкой, хотя солдаты и насылались с выпивкой, по опыту жизни ведая, что чарка была и остается пока самым надежным оружием в примирении людей. Даже Ланцов разошелся и пьяно лип к лейтенанту с просьбой выпить.

Родом Ланцов из Москвы. В детстве на клиросе пел, а потом к атеистически настроенному пролетариату присоединился, работал в крупном издательстве, где, не жалея времени и головы, прочел без разбора множество всякой литературы, отчего привержен сделался к пространным рассуждениям.

— Ах, Люся, Люся! — схватившись за голову, долговязо раскачивался Ланцов и артистично замирал, прикрыв глаза. — Что мы повидали! Одной ночи на всю жизнь хватит...

«Прямо как на сцене! — морщился Борис. — Будто он один насмотрелся».

Пересиливая раздражение, Борис положил руку на плечо солдата.

— Корней Аркадьевич, что вы, ей-богу! Давайте о чем-нибудь другом. Спойте? — нашелся взводный.

Звенит зва-а-ано-ок насче-о-от паверки,  
Ланцов из за-я-амка у-ю-бежа-а-л...—

охотно откликнувшись, заорал Пафнутьев.

Но Корней Аркадьевич прикрыл его рот тощей ладонью:

— Насчет Ланцова потом. Говорить хочу. Я долго молчал. Я все думал, думал и молчал. — Взводный чуть заметно улыбнулся солдатам, пусть, мол, потешится человек. — Я сегодня думал. Вчера думал. Ночью, лежа в снегу, думал: неужели такое кровопролитие ничему не научит людей? Эта война должна быть последней! Последней! Или люди недостойны называться людьми! Недостойны жить на земле! Недостойны пользоваться ее дарами, жрать хлеб, картошку, мясо, рыбу, коптить небо. Прав Карышев, сто раз прав, — одна истина свята на земле:



Не сердитесь на мальчика. — Она хотела идти за тряпкой, но Карышев придержал ее, подтер на полу соломою. Выбросив на улицу клок соломы, привел Шкалика, умыл его под рукомойником, пристроил к стене на подстилку, укрыл шинелью, и, когда Шкалик с мучительным облегчением, простонав, уснул снова, Карышев водворился за стол, прибрал на нем маленькую пустую посуду, очистки смел в порожний котелок, мокро прилепал тряпницей, налил себе, товарищам и молча, как самому балованному дитю, подsunул Люсе локтем «незаметно» нарядную банку с американской колбасой и нашу голую банку с повидлом, прошептав при этом поощрительно:

— Ты ешь знай, ешь...

И Люся стала есть колбасу, а солдаты, которые могли и хотели, снова выпили, и старшина выпил, но не закусил ничем.

— А у меня есть сало! — обрадованно вспомнила Люся. — Хотите сала?

— Хотим сала! — быстро повернулся к ней старшина, нагло шурясь. — И еще кое-чего хотим, — бросил он с ухмылкой вдогонку быстро снявшейся с места Люсе.

Пафнутьев, подпершись ладонью, все тянул тоненько песню про Ланцова, который из замка убежал. Немало унижали в жизни Пафнутьева, особенно в тыловой части. Кукиш старшины под нос вроде бы и пустяк, да все же царапнул душу. Раскисли глаза у бывшего начальника пожарной дружины.

— Жалостливость наша, — промямлил Пафнутьев. И все поняли — это он не только о себе, но и о Корнее Аркадьевиче. — Вот я... обутий, одетый, в тепле был, при должности и ужаси никакой не знал...

Мохнаков навис глыбою над столом, начал шарить по карманам, чего-то отыскивая. Вытащил железную пуговицу, подбросил ее, поймал и решительно вышел из избы, тяжелее обычного косолапя. Как-то подшибленно стал ходить старшина — заметили солдаты, и чаще подбрасывать пуговицу или монету, и не ловил ее игриво, а прямо-таки выхватывал из пространства. Одно время начал старшина вместо обыкновенных игрушечных предметов синенькой немецкой гранатой баловать. Граната наподобие пасхального яичка — веселенькая такая штука. Бойцы зароптали и дали отпор старшине: если, дескать, тебе охота, чтоб поотрывало кой-чего, так жонглируй вдали, а нам все, что с собой носим, — до дому сохранить желательно и бабам в целости доставить.

В хату возвратился Ланцов и мотнул головой Борису.

Взводный подпрыгнул, уронил скамью, и, разбежавшись, пнул дверь.

В потемках сеней наткнулся на Малышева. Тот не мог найти скобу и пьяненько бормотал:

— Эк, эк, затворилась! Я те все окна перешшэлкаю, перешшэл-каю! Чё ты думаешь?!

Борис втолкнул Малышева в хату, прислушался. В темном

углу сеней слышалась возня, хрипел кто-то задущенно и слышался срывающийся голос: «Не нужно! Да не надо же! Да что вы?! Товарищ старшина... Товарищ...»

— Мохнаков!

Стихло. Из темноты возник старшина, придвинулся, тяжело и смрадно дыша.

— Выйдем на улицу!

Старшина помедлил и нехотя шагнул впереди Бориса, не забыв пригнуться у притоки. Они стояли один против другого. Ноздри старшины посапывали, вбирая студеной воздух. Борис подождал, пока стукнет дверь хаты.

— Чем могу служить? — придвинулся к лейтенанту Мохнаков. Он уже не сипел поздравиями, но дыхание его все еще сбивалось.

— Вот что, Мохнаков! Если ты... Я тебя убью! Пристрелю. Понял?

Старшина отступил на шаг, смерил лейтенанта взглядом с ног до головы:

— Стрелок какой нашелся!

— Какой есть.

— Оконтузило тебя гранатой, вот ты и лезешь на стены, — вяло и укоризненно молвил старшина, явно стараясь сменить и тон и тему разговора. Но уйти в сторону не давал вдруг сделавшийся настырным лейтенант:

— Ты знаешь, чем меня оконтузило.

Старшина запахнул полушубок, осветил взводного фонариком. Тот не зажмурился, не отвел взгляда. Изветренные губы лейтенанта кривило судорогой. В подглазьях темень от земли и бессонницы. Глаза в красных прожилках, шея скособочилась, — натерло шею воротом шинели, а может, старая рана воспалилась. Стоит, пялит зенки школьные, непорочные.

— По-нят-но! Спа-си-бо! — Мохнаков понял — этот лупоглазый Боречка, землячок его родимый, которым он верховодил и за которого хозяйничал во взводе, — убьет! Никто не осмелится поднять руку на старшину, а этот...

— Х-хэ, стрелок какой! — повторил старшина и нервно рассмеялся, не зная, что еще добавить такое дерзкое. В руке был фонарик, и он подбросил его. Светлое пятнышко взвилось, ударило в ладонь и погасло. Старшина поколотил фонарик о колено. Фонарик поморгал, загорелся. Мохнаков еще раз придвинул огонек к лицу Бориса, будто подпалить хотел едва наметившуюся бороденку. «Ну, смотри, паря!» — предупредили глаза старшины из темноты, а вслух он громко с вызывом бросил: — Я ночую в другой избе. Пооблевались все вы тут, пообделались... — и пошел, освещая себе дорогу пятнышком. — Катитесь все вы... — донеслось уже издали зло и одиноко.

Борис прислонился спиной к косяку двери. Его подтачивало изнутри. Губы свело, в теле слабость, давило на уши и пузырилось, лопалось что-то в них. «Кто же так гранаты броса-



ет?» — вспомнилось Борису. Он сглотнул слюну. В ушах прохрустело и отворилось. Два острых тополя, стоявших против дома, в скверике, отчетливо виделись. Голые, в веник собранные, они были недвижны, угольно-черны. Подрост за ними — вишеник или терновые кусты — клубился немymi и тоже угольно-черными взрывами. Звезды на небе расколоты, рассыпаны, сколки звезд светились беспокойно, мерзло. По улицам метались огни машины, вякали гармошки, всплескивался хохот, скрип подвод слышался — работал похоронный обоз, где-то безостановочно и напуганно лаяла уже охрипшая собака.

«Ах ты, Мохнаков, Мохнаков!» — Борис опустил ся на порожек сеней, засунул руки меж колен, мертво уронил голову. Лай собаки отдалился...

\* \* \*

— Вы же закоченели, товарищ лейтенант! — послышался голос Люси. Она нащупала Бориса на порожке и мягко провела ладонью по его затылку. — Шли бы в хату.

Борис передернул плечами, открыл глаза. Поле в язвах воронок; старик и старуха возле картофельной ямы; огромный человек в пламени; хрип танков и людей; лязг осколков; огненные вспышки; крики — все это скомкалось, отлетело, и дергающееся возле самого горла сердце, постояв на мертвой точке, опало на свое место.

— Меня Борисом зовут, — возвращаясь к самому себе, выдохнул с облегчением взводный, — какой я вам товарищ лейтенант!

Он отстранился от двери, не понимая, отчего колотится все в нем, и сознание все еще наклонное какое-то, скользкое, точно по ледяной катушке, катятся по нему обрывки видений и опадают на остро отточенную, неуловимую грань. С трудом еще воспринималась явь — эта ночь, наполненная треском мороза, шумом отвоевавшихся людей, скрипом подвод похоронного обоза, и эта женщина с театральными, невзаправдашними глазами, зябко прижавшаяся к косяку двери.

— Как тихо! Все остановилось. Прямо и не верится... Вам принести шинель?

— Нет, к чему? — не сразу отозвался Борис. Он старался не встречаться с нею взглядом. — Пойдемте в избу, а то болтовни не оберешься...

— Да уж свалились почти все. Вы ведь долго сидели. Я уж беспокоиться начала. — Люся прервалась, перехватила воротничок у горла. — Корней Аркадьевич все разговаривает сам с собой. Занятный человек!.. — Она хотела и не решалась о чем-то спросить. — А старшина... вернется?

— Нет! — преодолевая замешательство, коротко ответил взводный, и Люся сразу оживилась, заспешила.

— В избу! — на шаривая скобу, смеялась она. — Я уж отвыкла. Все хата, хата, хата... — Она отчего-то не открыла

дверь сразу. Борис уперся в ее спину руками — под тонким ситцевым халатом почувствовал неожиданно сильные лопатки, что-то еще кругленькое под пальцы угодило: пуговка! — догадался он и смешался. Люся поежилась, заскочила в хату. Борис вошел следом и сразу рванулся к печи, охватил ее, прижался грудью к нагретому боку и скоро ощутил слабость в коленях, тело тоже стало обмякать, он опустился на приступок печи, начал сдирать присохшие к ногам сапоги.

В хате жарко и душно. Подтопок резво потрескивал. Горели в нем основные добрые поленья, раздобытые где-то солдатами. Сзади подтопка, вмурованный в кирпичи, сипел посамоварному бак с водою. Взводный, с треском выдрав из сапог портянки, искал, куда бы их пристроить посушить, но все уже было завешано пожитками солдат, по кухне расплылась хомутная прель. Люся мимоходом отняла у Бориса портянки, приладила их на поленья возле дверцы подтопка.

Ланцов качался за столом, клевал носом.

— Ложились бы вы, Корней Аркадьевич! — Борис повернулся спиной к подтопку, чтобы не видеть возившуюся у дверцы хозяйку, и ощущал, как распускается, вянет его нутро от прокаленных кирпичей. — Все уж спят, и вам пора.

— Варварство! Идиотство! Дичь! — будто не слыша Бориса, философствовал Ланцов. — Глухой Бетховен для светлых душ творил, а фюрер под его музыку заставил маршировать своих пустоголовых убийц! Нищий Рембрандт кровью своей писал бессмертные картины. Геринг шедевры уворовал. Когда припрет — он их в печку... И откуда это? Чем гениальнее произведение искусства, тем сильнее тянутся к нему головорезы! Так вот и к женщине! Чем она прекраснее, тем больше хочется лапать ее насильникам...

«Как бы он чего не ляпнул!» — всполошился Борис и поспешно оборвал Корнея Аркадьевича:

— Может, все-таки хватит? Хозяйке отдыхать надо. Мы и так обеспокоили.

— Что вы, что вы? — появилась из-за печи Люся, вытряхивая какую-то тряпку. — Даже и не представляете, как радостно видеть и слышать своих! Да и говорит Корней Аркадьевич человеческое. Мы тут отучились уж от людских-то слов.

Корней Аркадьевич поднял голову, с натужным вниманием уставился на Люсю.

— Простите старика. — Он потискал костлявыми пальцами обросшее лицо. — Напился как свинья! И вы, Борис, простите. — Уронив голову на стол, он пьяненько всхлипнул. Борис подхватил его под мышки, свалил на солому. Люся примчала подушку из чистой половины, подсунула ее под голову Корнея Аркадьевича. Услышав мягкое под щекою, он хлюпнул носом: — Подушка! Ах вы, дети! В какое время уродились!.. Как мне вас жалко... — Ланцов тут же свистнул прощально носом, отчалил от этих берегов, задышав сочно, с пришлепом.

— Пал последний мой гренадер! — качая головой, усмехнулся Борис.

Люся убирала со стола. Взявшись за посудину с самогоном, она вопросительно глянула на лейтенанта.

— Нет-нет! — поспешно отмахнулся он. — Запах от нее... в пору тараканов морить!

Люся поставила канистру на подоконник, смела со стола объедь, вытряхнула тряпку над лоханкой. Борис отыскивал место среди разметавшихся, убитых сном солдат. Шкалика — мелкую рыбешку, выдавили наверх матерые осетры-алтайцы. Он лежал поперек народа, хватал воздух распахнутым ртом. Похоже было — кричал что-то во сне. Квасил губы Ланцов, обняв подушку. Храпел Малышев, и солому возле его рта трепало, будто в бурю. Взлетали планки пяти медалей на булыжной груди Карышева. Сами медали у него в кармане: колечки соединительные, говорит, слабы — могут отцепиться. Прибаутчик Пафнутов пел частушку: «Если валенок не дали, значит, выдадут медали...».

Борис швырнул мокрую шинель к ногам солдат, пригоршнями надергал из-под них ворошок соломы, скомкал в голову вах телогрейку, сунул под нее планшетку, сквозь целлофановое оконце которой виднелись углы писем и серое, затасканное полотно.

Люся смотрела-смотрела и, на что-то решившись, взята с пола шинель, телогрейку лейтенанта, забросила их на печь. Приподнявшись на припечек, расстелила одежду, чтобы лучше просыхала, и, управившись с делом, легко прыгнула на пол.

— Ну, зачем вы? Я бы сам...

— Идите сюда, — позвала Люся.

Стараясь ступать тихо, лейтенант боязливо и послушно поволокался за нею.

В передней горел свет. Борис зажмурился — так резануло его по глазам, затем осмотрелся. Широкая скамья в простенке, на ней половичок, расшитый украинским орнаментом. В дальнем углу пузатая рыжая скриня, тоже заброшенная половичком. Среди комнаты, в деревянном ящике, — раскидистый цветок с двумя яркими бутонами. На подоконнике тоже стояли цветы в ящиках и старых горшках. Пол в комнате земляной, гладко, без щелей мазанный. Скучная опрятность кругом, и все же после кухонного густолюдья и спертого духа отдавало здесь вежливым, парником вроде бы отдавало.

Борис переступил на холодном, щекочущем пятки полу, стыдясь грязных ног, и с подчеркнутым интересом глядел на лампочку нерусского образца — приплюснутую снизу.

Люся, тоже вроде бы потерявшись в этой просторной, выветренной комнате, говорила, что селение у них везучее. За рекой вон хутор поразбил, а здесь все цело, хотя именно здесь стоял целый месяц немецкий штаб. Но наши летчики, видать, не знали об этом. Локомобиль немцы поставили. В хате квартировал важный генерал, для него и свет провели,

да ночевать-то ему здесь почти не доводилось, в штабе и спал. Отступали немцы за реку бегом, про локомобиль забыли, вот и остался он на полном ходу.

Сбивчиво объясняя все это, хозяйка раздвинула холщовые занавески с аппликациями. За узенькой фанерной дверью обнаружилась еще одна небольшая комнатка. В ней был деревянный, неровно пригнанный пол, застланный пестрой ряднишкой, этажерка с книгами, толстая хомутная игла, воткнутая в вышитую салфетку. У глухой стены против окна — чистая кровать с одной подушкой. Другую подушку — догадался Борис — хозяйка унесла Корнею Аркадьевичу.

— Вот тут и ложитесь, — показала Люся на кровать.

— Нет! — испугался взвонный. — Я такой... — пошарил он себя по гимнастерке и ощутившее почувствовал под ней давно не мытое, очерствелое тело.

— Вам ведь спать негде.

— Может быть, там, — помявшись, указал Борис на дверь. — Ну, на скамье. Да и то... — Он отвернулся. — Зима, знаете. Летом не так. Летом почему-то меньше бывает...

Хозяйке передалось его смущение, и она не знала, как все уладить. Она смотрела на свои руки. Борис заметил уже, как часто она смотрит на руки, будто пытается понять — зачем они ей и куда их девать. Неловкость затягивалась. Люся покусала губу и решительно шагнула в переднюю. Вернулась с ситцевым халатом и протянула его.

— Сейчас же снимайте с себя все! — скомандовала она. — Я вам поставлю корыто и вы немножко побанитесь. Да смелей, смелей! Я всего навидалась... — Она говорила бойко, напористо, даже подмигнула ему: не робей, мол, гвардеец! Но тут же зарделась сама и выскользнула из комнаты.

Раскинув халат, Борис обнаружил на нем разнокалиберные пуговицы. Одна была оловянная солдатская, а сзади пришит пояс. Смешно сделалось Борису. Он даже что-то веселое забормотал, да опомнился, скомкал халат, толкнул дверь, чтобы выкинуть дамскую эту принадлежность.

— Я вас не выпущу! — Люся держала фанерную дверь. — Если хотите, чтобы высохло к утру, — раздевайтесь!

Борис опешил:

— Во-о, дела-а! — Почесал затылок. — А, да что я на самом деле — вояка или не вояка?! — решительно сбросил с себя все, надел халат, застегнулся и, собрав в беремя манатки, вышел к хозяйке, да еще и повернулся лихо перед нею, отчего пола халата закинулась, обнажив колено с крупной чашечкой.

Люся прикрыла ладонью рот. Поглядывая украдкой на лейтенанта, она вытащила из кармана гимнастерки документы, бумаги, отвинтила орден Красной Звезды, гвардейский значок, отцепила медаль «За боевые заслуги». Осторожно отпорол желтенькую нашивку — знак тяжелого ранения.

Борис щупал листья цветка, нюхал красный бутон и дивился — ничем он не пахнет. Вдруг обнаружил — цветок-то из

стружек! Черный цветок напоминал сырую рану, и занудило онять нутро взводного.

— Это что? — Люся показала нашивку.

— Ранение, — отозвался Борис и почему-то поспешно соврал: — Легкое.

— Куда?

— Да вот, — ткнул он пальцем себя в шею. — Пулей чиркануло. Пустяки.

Люся внимательно поглядела, куда он показал, — чуть выше ключицы фасолиной изогнулся синеватый шрам. В ушах лейтенанта земля, воспаленные глаза в угольно-темном ободке. Колючий ворот мокрой шинели натер лейтенанту шею, и он словно бы в галстук. Кожей своей ощутила женщина, как саднит шея и как все в человеке устало от пота, грязи и пропитанной сыростью и запахом гари военной одежды.

— Пустяки, — покачала она головой. — Все-то у вас пустяки!.. Все лежит на столе, — сказала она и снялась с места. — Немножко еще помучайтесь, и я вас побаню.

«Побаню!» — подхватил взводный тутошнее слово.

— Возьмите книжку, что ли, — приоткрыв дверь, посоветовала Люся.

— Книжку? Какую книжку? Ах, книжку?

В маленькой комнатке Борис присел перед этажеркой. Халат скрипнул на спине. Он скорее выпрямился, распахнул полы, оглядел себя воровато и остался недоволен: мосласт, кожа в пупырышках от холода или страха, бесцветные волоски разбродно росли на ногах и на груди.

Книжки касались все больше непонятных ему юридических дел. «Вот уж не подумал бы, что она какое-то отношение имеет к судам!» Среди учебников и наставлений по законодательству обнаружилась тонехонькая, зачитанная книжка в садовой обложке.

— «Старые годы», — вслух прочел Борис. Прочел и как-то даже сам себе не поверил, что вот стоит он в беленькой однооконной комнатке, на нем халат с пояском. От халата и от кровати исходит дразнящий запах. Ну, может, и нет никакого запаха, может, блазнится он. Тело не чувствовало халата после многослойной зимней одежды, как бы сросшейся с кожей, и Борис нет-нет да и пошевеливал плечами.

Все еще позванивало в голове, давило на уши, нудило внутри. «Поспать бы минуток двести — триста, а лучше — четырехста!» — глядя на манящую чистоту кровати, зевнул Борис и скользнул глазами по книжке. — «Довелось мне раз побывать в большом селе Заборье. Стоит оно на Волге. Место тут привольное...» — Борис изумленно уставился на буквы и уже с наслаждением, вслух повторил начало этой странной, порусски жестокой и по-русски же слезливой истории.

Музыка слов, даже шорох бумаги так его обрадовали, что он в третий раз повторил начальную фразу, дабы услышать себя и удостовериться, что все так оно и есть: он живой, по

телу его пробегает холодок, пупырит кожу, в руках книжка, которую можно читать и слушать самого себя.

Как будто опасаясь, что его оторвут, Борис торопливо читал снова из книжки и не понимал их, а только слушал, слушал.

— С кем это вы тут?

Лейтенант смотрел на Люсю издалека.

— Вот на Мельникова-Печерского напал... — отозвался он наконец, — хорошая такая книжка.

— Я ее тоже очень люблю. — Люся вытирала руки холщовой тряпкой. — Идите мойтесь. — Повязанная платком, она снова сделалась старше, глаза ее отделились, и руки успокоились обыденной работой. Беда этих рук была не бедой, всего лишь бабьей тоской по делу, хоть какому-нибудь, но делу, — без дела они становились лишними, искали себе место.

За русской печкой, в закутке, как и во множестве украинских хат, была лежанка. На ней-то и приспособила Люся деревянное корыто, оставила баночку со сводельным жидким мылом, мочалку, ведро и ковшик.

— Крещайся, раб божий! — сказал Борис, дождавшись, когда Люся прикроет дверь в переднюю, и, едва не опрокинув корыто, уселся в него. Он мылся, подогнув под себя ноги, и чувствовал, как сходит с него не грязь, а толстая шаршавая кожа. Из-под кожи, из-под сыромятины этой, грубой, потом просоленной, обнажается молодое, ссудороженное -усталостью тело, и так оно высветляется, что даже кости слышны делаются, душа жить начинает, по телу расплывается истома, качает корыто, будто корабль на волне, и несет, несет лейтенантишку в убаюкивающе сладостную даль.

Он старался не плескать на пол, не обшлепать стену и печку. И все же обшлепал и стену и печку и наплескал на пол.

В запечье сделалось вовсе душно, потянуло отсыревшей глиной, наземом, в носу щекотно сделалось, на чих позывало. Вспомнилось Борису, как глянулось ему, когда дома перекладывали печь. Все перевернуто, разгромлено в доме — как жилье дом без печи терял смысл и облик, дичал дом, дичала и разваливалась налаженная жизнь, наступала вольность: бегай сколько хочешь, ночуй у соседей, ешь чего придется и когда придется. Мать, явившись с уроков, брезгливо корчила губы, гусиным шагом ступала по мокрой глине, ломи кирпича. Весь ее вид выражал презрение и досаду. Разя отца взыскующе-суровым взглядом, она скрывалась в горнице, чего-то там побрасывала и простуженно кашляла, хотя, сколь помнил Борис, перекладывание печи всегда производилось летом.

Отец, тоже умаянный в школе, виновато подвязывался мешком и включался в работу. Печник одобрял его, говоря: вот, мол, интеллигент, а грязного дела не чуждается. Отец же поглядывал на дверь горницы и заискивающе предлагал: «Детка, ты, может быть, в столовой покушаешь?..»

Ответом ему было мстительное молчание.

Борис таскал кирпичи, месил глину, путался под ногами у мужиков и, грязный, мокрый, возбужденно звал: «Мама, смотри, уж печка получается!»

И в самом деле, из ничего вроде бы, из груды кирпичей, из глины, железяк, прокладок выросло сооружение, обретая привычную форму печи — зевастое чело, глазки печурок, даже бордюрчик возле трубы.

Наконец печку затопляли. Работники празднично рассаживались кто на что и сосредоточенно ждали — чего будет?

Нехотя, с сипом выбрасывая поначалу дым в широкую позднюю, разгоралась печка. Еще темная, чужая, она постепенно оживлялась, начинала шипеть, пощелкивать, стрелять искрами на шесток и обсыхать с чела, делалась пестрой и большой, вроде коровы, такой необходимой и привычной в доме.

На кухонном столе отец с печником распивали поллитровку — для подогрева и разгона печи. «Эй, хозяйка! Принимай работу!» — требовал печник.

Хозяйка на призыв не откликалась. Печник обиженно совал в карман скомканные деньги, прощался с хозяином за руку, сочувствуя ему и поощряя в то же время, кивал на плотно затворенную дверь горницы: «Я б с такой бабой дня не стал жить!»

В какой-то далекой, но вдруг приблизившейся жизни все это было. Борис подтирал за печкой пол и не торопился уходить, желая продлить нахлынувшее — этот кусочек из прошлого, в котором все теперь было исполнено особого смысла и значения.

Отжав тряпку под рукомойником, он сполоснул руки и вошел в комнату.

Люся сидела на скамье, отпарывала подворотничок, спаявшийся с гимнастеркой плесенно-сырыми наплывами.

— Воскрес раб божий! — с деланной лихостью отпартовал Борис, слабо надеясь, что в подворотничке гимнастерки ничего нету, никаких таких зверей.

Отложив гимнастерку, Люся теперь уже открытым взглядом, по-матерински близко и ласково смотрела на него. Русые волосы лейтенанта, волнистые от природы, взялись кучерявинками. Глаза ровно бы тоже отмылись. Ярче алела натертая ссадина на худой шее. Весь этот парень, без единого пятнышка на лице, с безгрешным взглядом, в ситцевом халате, по-мальчишески, по-школьному смущенный, был перед нею, совсем не угадывался в нем окопный командир.

— Ох, товарищ лейтенант! На погибель женского рода мама вас родила! Сколько дурочек голову из-за вас потеряют!..

— Глупости какие! — отбилась лейтенант и тут же быстро спросил: — Почему это?

— Потому что потому, — заявила Люся, поднимаясь. — Девчонки, особенно романтические, начитанные, таких вот мальчиков чувствуют и любят, а замуж идут за скотов. Ну, я ис-

чезла! Ложитесь с богом! — Люся мимоходом погладила его по щеке, и была в ласке ее, в насмешливых словах снисходительности и неуловимое над ним превосходство.

Никак она не постигалась, эта женщина или девушка, не улавливались ни характер ее, ни ход мыслей, ни даже настроения — все в ней вроде бы и близко, а не схватишь, все вроде бы доступно, просто, но и одного взгляда хватало, чтоб убедиться, как пугающе глубоко и далеко что-то скрыто в ней, ведь даже когда она смеялась — в глазах ее стояла недвижная печаль, и глаза ее так отдельно и жили на лице своей строгой, сосредоточенной и всепонимающей жизнью.

«А ведь она моложе меня или одногодок! — уважительно подумал Борис. — Пережила и передумала, видать, ой сколько...» Он хотел бы и еще думать о Люсе, приятные это были думы, но юркнул в постель и дальше думать ничего не сумел. Векн сами собой налились тяжестью, сон медведем навалился на него.

\* \* \*

Ординарец комроты Филькина, наглый парень, гордящийся тем, что сидел два года в тюрьме за хулиганство, ныне подсевший в комсоставский полубубок, в чесанки и белую шапку, злорадно растолкал Бориса и других командиров задолго до рассвета.

— Ой, а я и выстирать-то не успела! Побоялась идти ночью по воду на речку. Утром, думала... — виновато сказала хозяйка, и, прислонившись к печи, ждала, пока Борис переоденется в комнате. — Вы приходите еще, — все так же виновато добавила она, когда Борис явился на кухню. — Я и выстираю тогда... И подворотничок новый пришью. — Вид у Люси был не только виноватый, но и усталый, она так и не ложилась, — должно быть, сушила одежду постояльцев, сторожила их, прибирала в хате.

— Спасибо. Если удастся, — сонно отозвался Борис и прокашлялся, подумав, что старшины она боялась, оттого и не ложилась и по воду не пошла. С завистью глянув на мёртво спящих солдат, он кивнул Люсе головой, еще раз поблагодарил ее и вышел из хаты.

— Заспались, заспались, прапоры! — такими словами встретил своих командиров Филькин. Он, когда бывал не в духе, всегда так обидно называл взводных. Иные из них сердились, в пререкания вступали. Но в это утро и языком-то ворочать не хотелось.

Комвзводы хохлились на стуже, пряча лица в поднятые воротники шинелей.

— Э-эх, прапоры, прапоры! — хрипло рассмеялся Филькин и повел их из уютного украинского местечка к разбитому хутору, навстречу рассвету, мутно проступающему в заснеженных полях, сталисто отсвечивающему на дальнем краю неба.



Комроты курил уже не сигареты, а крупную махру. Он, должно быть, так и не спал ни часу. Убивал крепким табаком сон. Он вообще ничего мужик, вспыхивает, как береста, трещит, копоть поднимать любит. Но и остывает быстро. Не его же вина, что немец не сдается. Засел по оврагам да в полях и держится. А чего держаться? Зачем? Сдавался бы и не дрог на холоду... И комроты спал бы, и прапорам своим спать бы дал, а хозяйка простирала бы имущество. Какая-то она странная...

Борис вскинулся. Надо же! Научился на ходу дрыхать... Как это у Чехова? Если зайца долго лупить, он спички зажигать научится...

Совсем светло сделалось. И вроде бы еще холоднее. Все нутро от дрожи вот-вот рассыплется. «Душа скулит и просится в санчасть!..» — рыдающими голосами пели когда-то земляки-блатняги, всегда изобильно водившиеся в родном сибирском городке.

— Видишь поле за оврагом и село? — спросил Филькин и сунул Борису бинокль со словами: — Пора бы уж своим обзавестись... Последний опорный пункт фашистов, товарищи командиры, — показывая рукой на село за полем, уже строго и почему-то приподнято продолжал комроты. Борис ждал, держа наготове бинокль с холодными ободками, что он еще скажет. — По сигналу ракет — с двух сторон!..

— Опять мы? — зароптали взводные.

— И мы! — выпадая из высокого тона, взъялся комроты Филькин. — Нас что, сюда рыжики собирать послали? У меня чтоб через час все на исходных были! И никаких соплей — Филькин сурово поглядел на Бориса. — Бить фрица, чтоб у него зубы крошились!.. Чтоб охота воевать пропала. — Выхватив у Бориса бинокль, Филькин поспешил куда-то, выбрасывая из перемерзлого снега кривые казачьи ноги и на ходу все еще поругиваясь уж просто так, для себя, для душеуспокоения.

\* \* \*

Взводные вернулись в проснувшееся уже местечко и энергично, как велел командир роты, выжили солдат из тепла во чисто поле.

Солдаты сперва ворчали, но когда залегли в снегу, попри молкли, пробуя еще дремать, кляня про себя немцев: «Чего еще ждут, проклятые? Чего вынюхивают? Богу своему окаянному о спасении молятся? Да какой же тут бог поможет, когда окружение и силы военной столько, что и мышь не проскочит из кольца...»

По цепи ходил насупленный старшина Мохнаков и изо всей силы молча пинал тех, которые наовсе засыпали, — в такое утро поморозиться дважды два. Борис избегал встречаться с

Мохнаковым, да и тот вроде бы ненароком сторонился его, зарылся вон в снег на другом конце пехотной, зябко рассыпанной цепочки, курит и сорванным голосом время от времени дает о себе знать солдатам: «Не спа-а-ать! Не спа-а-ать!»

За оврагом взвилась красная ракета, затем серия зеленых. По всему хутору зарычали танки, машины. Колонна на дороге рассыпалась, зашевелилась. Сначала медленно, ломая остатки плетней и худенькие сады по склонам оврагов, врассыльную ползли танки и самоходки. Затем, будто сбросив путы, рванулись, пустив черные дымы, заваливаясь в воронках, поныривая в сугробах.

Ударил артиллерия. Зафукали из снега эрэсы. Вытащив пистолет со сношенной воронью, метнулся к оврагам комроты Филькин. Бойцы поднялись из снега, двинулись следом за ним. Возле оврагов танки и самоходки застопорили, открыли огонь из пушек. От хутора с воем полетели мины, и Филькин осадил пехотинцев, велел ложиться. Обстановка все еще неясная. Многие огневые не перемещены. Связь снегом похоронило. Минометчики и артиллеристы запросто лупанут по башкам, после каяться будут, магарычи ставить, чтоб жалобу на них не писали.

И в самом деле вскоре чуть не попало. Те же гаубицы-полуторасотки, которые в ночном бою бухали за спиной пехоты, начали месить овраги и раза два угодили поверху. Бойцы отползли к огородам, к уроненным плетням, заработали лопатами, окапываясь. Мерзло визжа гусеницами, танки начали обтекать овраги, выползли к полю, охватывая его с двух сторон. Пехота раздробленно постреливала из винтовок и пулеметов. Значит, не наступила ее пора. Пехота, она умная, тут всякий солдат себе стратег. Борис, как и многие молодые, но прыткие командиры, прибывшие из полковой школы на фронт, этого долго не понимал и понимать не желал. Немец в ту пору спешно катился с Северного Кавказа и Кубани, наши его догоняли, мяса сначала кубанский чернозем, затем песок со снегом, и никак не могли догнать. А Борису так хотелось скорее настичь врага и сразиться!

«Успеешь, младший лейтенант, успеешь! Немца хватит на всех, и на тебя тоже!» — рассудительно успокаивали его неторопливо топчущие, покуривающие табачок бойцы. В мешковатых шинелях, с флягами и котелками на боку, с рюкзаками, горбато дыбачимися за спиной, они совсем не походили на того бойца, какого мечтал вести на врага молодой, энергичный командир. Они и двигались-то неторопливо, но так ловко, что к вечеру неизменно оказывались в селе или в станице, мало побитых врагом, и располагались на ночевку удобно, обстоятельно, иные на пару с черноокими нгривыми казачками.

«Вот, понимаешь, безобразие! — негодовал младший лейтенант. — Враг топчет нашу священную землю, а они, понимаешь!..»

Сам он до того изнервничался, до того избегался и наго-

лодовался в придонских степях, что появились у него мозоли на ногах и на руках, по телу пошли чирьи. Его особенно поражали мозоли на руках — земли не копал, все только суетился; кричал, бегал — и вот тебе на!..

Врага настигли в Харьковской области. Дождался-таки боя молодой командир. Дрожало все в нем от нетерпеливой жажды схватки. Запотела даже ручка нагана, заранее вынутого из кирзовой кобуры и заложенного за борт телогрейки. Он неистово сжимал ручку, готовый расстреливать врага в упор, если понадобится — и рукояткой долбануть по башке. Обидно было немножко, что не дали ему настоящий пистолет, — из нагана какая стрельба! Но в руках умелого и целеустремленного воина древний семизарядный наган тоже мог стать грозным оружием.

И не успели еще разорваться последние заряды нашего артылета, еще и ракеты, свистнувшие над окопами и каплями опадающие вниз, не погасли, как выскочил Борис из траншеи, громогласно, как ему показалось, на самом же деле сорванно и визгливо закричал: «За мно-о-ой! Ур-ра!» — грозя наганом, хватил вперед и отчего-то не услышал за собой грозного топота и героических возгласов. Оглянулся: солдаты шли в атаку перебежками, неторопливо, деловито, словно не в бою, на работе были они и выполняли ее расчетливо, обстоятельно, не обращающая вроде бы никакого внимания друг на друга и на своего командира.

«Трус! Негодяи! Вперед!..» — заорал пуще прежнего младший лейтенант, но никто вперед не бросился, кроме двух-трех молоденьких солдатиков, которых тут же подсекло пулями. И пришло решение: пристрелить для примера одного из этих молчаливых бойцов с лицом, отстраненным от боя, от мира и от всего на свете, с фигурой совсем не боевой... И, как на грех, плюхнулся рядом с ним дядька, плюхнулся и начал проворно орудовать лопаткой, закапывая сначала голову, а потом всего себя. И так у него ловко все выходило, будто имел он не одну малую лопатку, а три больших, — вмиг зарылся и давай куда-то палить.

Борис заорал на солдата, даже затопал и собрался, нет, не застрелить — боязно все же стрелять-то, — стукнуть подлеса наганом, как вдруг солдат этот, с двухцветной щетиной на лице, каурой и седой, бесцеремонно рванул лейтенанта за сапог, уронил рядом с собой, да еще и подгрел под себя, будто кубанскую молодуху. «Убьют ведь, дура!» — продолжая палить из винтовки, закричал солдат и, тут же вскочив, невообразимо проворно для его возраста ринулся куда-то и вроде бы как в воду занырнул, крикнув напоследок: «За мной следи!..»

Смеяться над Борисом особо не смеялись, но так, между прочим, подъедькивали после: «Нам чё? Мы за нашим командиром, как за каменной стеной!.. Он как побежит да как всех наганом застрелит!.. Нам токо трофеи собирать...»

После многих боев, после ранения, после госпиталя засты-

дился себя Борис, такого разудалого и несуразного, дошел головой своей, что не солдаты за ним — он за солдатами! Солдат и без него знает, что надо делать на войне, и лучше всего, и тверже всего он знает, что пока в землю закопан — ему сам черт не брат, а вот когда выскочит из земли наверх — так неизвестно чего будет: могут и убить, а пока возможно, он не выберется оттуда и за всяким-яким в атаку не пойдет, будет ждать, когда свой ванька-взводный даст команду вылезти из окопа и идти вперед. Уж если свой взводный пошел, значит, все возможности к тому, чтобы не идти, исчерпаны. Но и тогда, когда, поминая всех богов, попа, Гитлера и многих других людей и святых, вылезет взводный наверх и даст кому-либо пинка-другого, зовя в сражение, старый вояка еще секунду-другую перебудет в окопе, замешкается с каким-либо делом — дело же, не пускающее его наверх, всегда найдется и всегда в вояке теплится надежда: может, все обойдется, может, и вылезать-то вовсе не надо — артиллерия, может, лупанет, может, самолеты его или наши налетят и начнут без разбору своих и чужих бомбить, может, немец сам убежит, либо что еще случится...

Так как на войне много чего случается — глядишь, эта вот секунда-другая и продлит жизнь солдата на целый век, в это время, может, и пролетит его пуля.

Но прошел всякий срок. Дальше оставаться в окопе неприлично, дальше уж подло в нем оставаться, зная, что товарищи твои начали свое тяжкое, смертное дело и любой из них в любое мгновение может погибнуть. Распалая себя матам, разом отринув все земное и постороннее, собранный в комок, все слышащий, все видящий, вымахнет боец из окопа и сделает бросок к той точке, к пню, к забору, к убитой лошади, к опрокинутой повозке, а то и к закоченелому фашисту — словом, к заранее намеченной позиции, падет и, если возможно, сразу палить начнет из оружия, какое у него имеется. Если его при броске зацепило, но рана не смертельная — боец палит пуще прежнего, подползет, к нему свой брат солдат помочь перевязкой, он его отгонит. Сейчас главное — закрепиться, сейчас главное — палить, биться, чтоб враг не очухался. Бейся, вояка, и не метусись, намечай себе путь и позицию для следующего броска — боже упаси ослабить огонь, боже упаси покатиться обратно! Вот тогда солдатики, сами не свои, тогда они ничего не видят и не слышат, забудут не только про раненых, но и про себя, и выложат их за один бой столько, сколько, может, за десяток не выложат...

Но закрепились бойцы и на следующий рубеж перекинулись — вздохнул раненый солдат, ощупал себя и начал принимать решение: закурить ему сейчас и потом себя перевязывать или же наоборот? Санитара ждать или самостоятельно двигаться назад, к окопу? Лучше двигаться. Живой останешься — хоть его ешь, табак-то, а перевязывать себя ловко в запасном полку, под наблюдением ротного санитаря. Лежа под

огнем, охваченного болью и страхом, перевязывать себя совсем несподручно, да и индпакета не хватит. Санитары же, большей частью кучерявые девицы, шибко бойко лезят по полю в кинокартинах, раненых из-под огня прут на себе, невзирая на мужникий вес. Но тут не кино...

Ползет солдат туда, где обжит им уголок окопа. Короток был путь от него навстречу пуле или осколку, долгий путь обратный. Ползет, облизывая ссохшиеся губы, зажав булькающую рану под ребром, облегчить себя ничем не может, даже матюком. Никакой ругани, никакого богохульства позволить себе сейчас солдат не может — он между жизнью и смертью. Какова нить, их связующая? Может, она так тонка, что оборвется от худого слова. Ни-ни! Ни боже мой! Солдат разом делается сусерен. Солдат даже заискивающе просительный делается: «Боженька, миленький, помоги мне! Помогни, а! Никогда в тебя больше материться не буду!»

И вот он, окоп, вот он, родимый! Скатись в него, солдат, скатись, не робей! Война ведь, беспощадная война, брат!.. Будет больно, очень больно, молонья сверкнет в глазах, ровно оглоушит тебя кто поленом по башке. Но это своя боль, земная, человеческая. Что же ты хотел, чтобы при ранении и никакой боли? Ишь ты какой, не мазаный — сухой!..

Бултых в окопную яму, аж круги красные пошли, аж треснуло что-то в теле и одежда горячее от крови сделалась. Но все это уже ничего, терпимо уже. В окопе не дострелят, здесь воистину как за каменной стеной! Сзади наступающих и санитары скорее натыкаются на раненого, надо только орать, сколь силы есть, и надеяться на лучшее. Бывает, здесь, в окопе, и умрет солдатик, обескураженно огорчившись под конец, — все вот вынес, вытерпел, из боя благополучно вышел, до окопа добрался, в госпиталь бы теперь, и жить да жить...

Он даже не помрет, а просто обессилеет, истечет кровью, ослабнет телом, но сознание его до конца будет недоумевать, не соглашаться — все ведь вынес, вытерпел, ему бы лечиться и жить да жить — он заслужил жизнь...

Он не помрет, нет — просто очень одиноко, холодно ему делается, сожмется он в земляной ячейке, а сердце сожмется в нем и больше не разожмется, не вздохнет, закроются глаза, заткнет тишиною уши, до последнего мгновения ловившие шаги санитаров, и грустно утихнет нехитрый разум.

Ну а если по-другому? По-счастливому если? Дотянул до госпиталя солдат, вынес операцию, перемаял бредовые, горячие ночи, огляделся, поел уже шей, напился чаю с сахаром, которого накопилась аж целая банка, пока он перебарывал в себе смертушку. Письма бодрые домой и в часть послал солдат, глядишь, держась за койку, поднялся и слезно умилился жизни, свету, соседям по палате, сестрице, которая поддерживала его мысли, сплющенные лежанием на казенной койке. И случилось, случилось — с передовой, из родной части газету присылали с каким-нибудь диковинно-ужасным названием:

«Смерть врагу», «Сокрушительный удар» или просто «Прорыв», и в «Прорыве» так выразительно описано, как солдат бился до конца, не уходил с поля боя, будучи раненным, «заражал своим примером...».

Удивляясь на самого себя, пораженный словами: «бился до конца», «заражал своим примером», — солдат совершенно уверует — так оно и было. Он ведь и в самом деле «заражал», и такая в нем явится бодрость духа, такое героическое отчаяние, что закрутит он любовь с той самой сестрицей, которая подняла его с койки и учила ходить, — целый месяц, а то и полтора продлится эта испепеляющая любовь. И когда снова вернется солдат в родную роту, станет сохнуть по нему сестрица, письма слать еженедельно, и мучение любовное продлится до тех пор, пока не дрогнет ее сострадательное сердце перед другим героем, — день грядущий затемнит все вчерашнее, ибо живет человек на войне только одним днем. Выжил сегодня — хорошо, глядишь, завтра выживешь, там еще день, еще — месяц наберется, год — смотришь, и войне конец!

Нет, не сразу, не вдруг уразумел Борис — долго воевать, уверенно воевать могут только очень умные люди, и будь ты хоть разгерой — командир или обыкновенный ушлый солдат в обмотках, когда вымахнете из окопа оба вы: и он — солдат, и ты — командир — становитесь перед смертью равны, один на один с нею отстаесть, и тут уж кто кого...

\* \* \*

Ветер вовсе утих. Снег не кружило. На небе с одной стороны объявилась луна, мутная, тоже как будто издолбленная осколками, а с другой пробилось сквозь небесную муть заиндевелое, сумрачное солнце.

«И почему это в самые лихие для людей часы в природе что-нибудь...» — Борис не успел довершить эту мысль. Филькин совал ему бинокль. Сова! молча. Но лейтенант уже и без бинокля видел все.

Из села, что было за оврагами и полем, на плоскую высоту, изрезанную оврагами, помеченную редкими деревцами, высыпала туча народа — не стало видно снега. Из оврагов тоже вываливали и вываливали волна за волною толпы людей и катились навстречу тем, что взлосхмаченным прибоем напыливали от села. Между ними сужалось и сужалось белое пространство. С двух сторон на всех скоростях катили танки, стискивая все плотнее в кучу людей, закруживая их водоворотом, разметывая на стороны грудью, прорубая пулеметами просеки, вбивая в толпы бегущих снаряды, и ни один снаряд не падал попусту, каждый подымал вверх лохмотья, оставлял на поле золотушную ранку, вокруг которой коношилось серое. Вдруг ослепительно сверкнуло что-то, стремительно покатилося по полю, взбивая клубы снега. У Бориса подпрыгнуло, задержалось сердце, как в детстве, когда он видел стремительную атаку

конники в кино. Не доводилось ему видеть конных атак — наяву, колоники в этой войне атакowali спешившись. «Значит, совсем плохи дела у немцев», — подумал он, не испытывая при этом ни злорадства, ни радости.

Закружилось, завертело на поле. Снег запылел, поднялся. Дымно от танков было. Топот коней, рокот танков, людские вопли доносились до хутора. Пехотинцы сначала кричали, ярлись, даже рвались к оврагам, но унялись и они.

И за оврагами на поле тоже все унялось. Танки ворвались в село. Две машины кострами горели на поле, пустил большой дым в небо, к солнцу, все больше яснеющему. Кавалерия наступала разбегающиеся табуны противника. Сыпалась пальба, уже торопливая, бестолковая, словно бы на охоте по ныряющему подранку.

— Вот и всё! — почему-то шепотом сказал комроты Филькин. Сказал, удивился, должно быть, своему шепоту и зычно гаркнул: — Всё, товарищи! Капут группировке!

Пафнутьев услужливо застрочил из автомата в небо, запрыгал и простуженным дискантом выдал «ура!». Но солдаты не поддержали его.

— Чё вы? Охренели?! Победа же! Наголову фашист!..

Бойцы подавленно смотрели на поле за оврагами, уже истерзанное, испятнанное, черное. Народ возле хутора был все больше пеший, рядовой, и каждый из них думал: «Не дай бог попасть в такое вот...»

Филькин начал угощать всех без разбора трофейными сигаретами, балагурил, развлекая народ, молотил кулаком по спинам, сулил прислать кухню, полную каши, и водки раздобыть не по наличию боевых единиц, а по списочному составу, и к орденам представить всех до единого — героев! Он бы еще много чего наобещал, но его позвали к телефону.

Вернулся Филькин из бани не такой уж веселый. Выгрызая из обгорелой кожуры картофельную мякоть, он повернулся карманом к Борису и, когда тот достал себе обугленную картофелину, усмехнулся:

— Вместо обещанной каши. Оставь Мохнакова за себя. Пойдем получать указания. Нет нам покоя и скоро, видимо, не будет. — Он вытер руки о полушубок, полез за кисетом. — Возьми Корнея или пузырька своего. Мой кавалер опять куда-то занырнул! Ну, он у меня дофорсит! Я его отфутболю к вам. Ты ему лопатку повострее, ружье подлиннее, котелок поменьше...

— Это мы всегда пожалуйста!..

Борис взял и Корнея Аркадьевича и Шкалика. Он хотел обойти овраги, двинулся было на окраину хутора, но Филькин ухнул до пояса в овраг и, уже выбравшись в поле, выбирая снег из карманов, вяло руганулся.

— Войну на войне все равно не обойдешь...

На поле, в ложках, в воронках и особенно густо возле

изувеченных деревьев лежали убитые, изрубленные, подавленные немцы. Попадались еще живые, изо рта их шел пар. Они хватались за ноги, ползли следом по истолченному снегу, опятанному комками земли и кровью, взывали о помощи. Обороняясь от жалости и жуты, Борис зажмурил глаза: «Зачем пришли сюда?.. Это наша земля! Это наша Родина! Где ваша?»

Остановились передохнуть. Перешибленно согнувшись в пояснице, Корней Аркадьевич оперся на винтовку.

— Неужели еще повторится такое? Неужели это ничему их не научит? Дстойны тогда своей участи...

— Нашел время и место вякать, мудрец вшивый! — прошипел зло, но тихо, будто в покойницкой, командир роты Филькин. Борис черпал рукавицею снег, кормил им позеленевшего Шкалика. — Боец! — скривился и уже не прошипел, а буркнул себе под нос Филькин. — Ему бы рожок с молочком!

На окраине села, возле издолбленной осколками, пробитой счарятами колхозной клунки, крытой соломой, толпился народ. У широко распахнутого входа в клунку нервно перебирали ногами тонконогие кавалерийские лошади, запряженные в крестьянские дрозды. Приблизившись, пехотинцы различили — народ тут не простой: несколько генералов, много офицеров и вдруг обнаружился командующий фронтом.

У Бориса похолодело в животе и потную спину скоробило: командующего, да еще так близко, он никогда не видел. Вздвонный начал торопливо поправлять ремень, развязывать тесемки шапки. Пальцы не слушались его, дернул за тесемку и с мясом оторвал ее. Не успел он заправить шапку, как подлетел к ним майор в желтом полушубке, с портупеей через оба плеча, поинтересовался — кто такие?

Комрогы Филькин доложил.

— Следуйте за мной! — приказал майор.

Командующий и его свита посторонились, пропуская мимо себя окопников. Командующий прошелся по ним быстрым взглядом и отвел глаза. Сам он, хотя и был в чистой долгополой шинели, в папаше и поглаженном шарфе, выглядел среди своего окружения не лучше солдат, только что вылезших с переднего края. Глубокие горестные складки отвесно падали от носа к строго сжатым губам. Немолодое лицо его воскового цвета подсечено усталостью со всех сторон, особенно под глазами, и, хотя он был еще не старик, далеко не старик, древняя молчаливая горечь стояла в его глазах, охваченных красной паутиной, из-под век высекало мелкое мокро и сгоняло капли в уголки глаз, в корешках свитые морщины. Командующий все время тыкал однопалой солдатской рукавицей то под один, то под другой глаз, рукавицей же проводил под носом, и столько давнего, мужиковатого, деревенского, мирного было и в этих жестах, и во всей неосанистой фигуре полководца, что защемило-защемило у Бориса внутри, и только сейчас он отчетливо уяснил: есть люди, которым победы и всё на войне достается во сто крат тяжелее, чем ему, ваське-взводному.



В свите командующего слышался оживленный говор, смех, но сам он был сосредоточен на какой-то своей, по всем видам, невеселой мысли и не обращал внимания на окружение.

По фронту ходили всякого рода легенды о прошлом и настоящем командующего, которым солдаты охотно верили, особенно одной из них. Однажды он якобы напоролся на взвод пьяных автоматчиков и не отправил их в штрафную, а так и раздумлял:

— Вы поднимитесь на цыпочки — ведь Берлин уже видно! И я вам обещаю: как возьмем его — пейте сколько влезет! А мы, генералы, вокруг вас караулом стоять будем! Заслужили! Только дюжьте, дюжьте...

Следом за майором стрелки вошли в клуню, проморгались со свету.

На снопах блеклой кукурузы, засыпанной трухой соломы и глиняной пылью, лежал мертвый немецкий генерал в мундире с яркими колодками орденов, тусклым серебряным шитьем на погонах и на воротнике. В углу клуни, на опрокинутой веялке, накрытой ковром, стояли телефоны, походный термос, маленькая рация с наушниками. К веялке придвинуто глубокое кресло с просевшими пружинами и на нем — скомканный клетчатый плед, похожий на русскую бабью шаль.

Возле мертвого генерала стоял на коленях немчик в кастюльного цвета шинели, в старомодных, антрацитно сверкающих ботфортах, в пилотке, какую носил еще Швейк, только с пришитыми меховыми наушниками. Он плакал, ладонью стирая пыль с лица и мундира генерала.

Здесь же толклась переводчица в красиво сидящем на ней полушубке, в меховой шапке, из-под которой выбивались крупные завитки кудрей. Она что-то говорила старенькому солдату по-немецки, но судя по всему, слова совершенно не доходили до него.

В разжавшейся, уже синей руке генерала, на скрюченном пальце висел пистолет. И не пистолет, а такая дамская штучка, из которой вроде бы только мух и стрелять. И кобура на поясе была игрушечная, с гербовым тиснением. Однако из этого вот пистолета генерал застрелил себя. На груди его, под орденскими колодками давленной клюквиной расплылось пятнышко. Генерал был худ, в очках, с серым, будто инеем взявшимся лицом. В полуоткрытом рту его виднелась вставная челюсть. Очки не снялись после того, как он упал. Седую щетку усов под носом прочертила полоска крови, тоже припорошенная пылью. Косицы на лбу генерала провалились, обнажив угловатый череп с глубокими залысинами. Шея выше стоячего воротничка мундира была в ромбиках морщин и очерненных смертью жилок. Ключом впился в кадык стальной крючок.

— Командующий группировкой, — подсказал майор, — не захотел бросать своих солдат, а рейхскомиссар с высшим офицерем удрал, сволочь! Разорвали кольцо на минуты и в танках со своим солдатам, подлецы!.. Неслыханно!

— Таранили и нас — не вышло! — похвастался комроты Филькин и смешался.

Майор с интересом посмотрел на него, собираясь что-то спросить, но в это время за клуней загрохотал танк и просигналила машина.

Майор велел нести генерала. Комроты Филькин из-под лба глянул на него, щеголевато одетого, чисто выбритого. «Фронтовой барин! Замараться опасается! Всю грязную работу нам...»

Он вывернул пистолет из закоростеневшей руки генерала так, что хрустнули пальцы покойного, и протянул его майору. Глаза майора забегали: ему хотелось взять пистолетик генерала и похвастаться штабным девицам редкостным трофеем, но момент был неподходящий — истуканом стоял хмурый, костлявый солдат, щенком дрожал зеленый парнишка в горбатой шинели, с откровенной неприязнью глядел комроты, и этот молодец с оторванной тесемкой тоже волчитя — голодные, надсаженные, злые окопники, лучше с ними не связываться.

— Да на кой мне такая орудья? — небрежно отмахнулся майор. — Отдай вон ему — в память о благодетеле. — Майор брезгливо сморщился, помогая старикашке-немцу подняться с колен и обращая все дело в благородство и непринужденность.

Со щелчком вынув обойму из пистолета, Филькин запустил ее в угол, за веляку, вспугнув оттуда стайку затаившихся воробьев, и подкинул пугач к ногам старика немца. Тот попятился, стал открещиваться руками, и тогда девушка сказала ему что-то бархатисто-чувствительное. Старик замер, недоверчиво вслушался и вдруг проворно цапнул сухими лапками пистолетик, прижал к груди, будто икону, и клюнул носом в сторону девушки: «Данке! Данке шён, фройляйн! Данке шён, герр офицер!»\* — поклонился он спине майора и тут же спохватился, проворно догнал пехотинцев, неловко тащивших деревянное тело генерала, стянул с головы швейковскую пилотку и распахнул сорванную с петли половину воротцев клуни. Волосы на немце росли клочковато, весь он — как старинная плюшевая вещица, побитая молю, а суетился вокруг, ворковал, пытался помочь нести своего господина. По рыхлым щекам старичка катились, прыгали на рывтинах складок слезы.

Смекалистые, бесстрашные фронтвые воробьи вспорхнули на веляку и нырнули в нее, как только люди удалились.

Возле клуни ждал «студебеккер» с открытым бортом, прицепленный к танку. Солдаты прицелились затолкнуть покойника в кузов, но старенький немец, петушком подпрыгивая и ловясь за доски, лез в машину. Майор посадил его, и солдатик снова забормотал что-то благодарственное, заискивающее. Приняв бережно генерала в руки, он волоком подтащил покойника к кабине, ногою раскатал пустые артиллерийские гильзы и, подсунув свою пилотку, опустил на нее голову генерала. Де-

\* Спасибо! Большое спасибо, барышня! Большое спасибо, господин офицер!

вушка-переводчица бросила высокий нарядный картуз. Солдат, как вратарь, упав на одно колено, ловко его изловил.

— Данке шён, фройляйн! — не забыл он и на этот раз учтиво поклониться переводчице и надел картуз на генерала. Тот из жалкого, оледенело гремящего старикашки сразу же превратился в важного, сановитого покойника.

Командующий фронтом был уже возле саней, в головке которых на коленях стоял пожилой автоматчик, туго намотав вожжи на кулак.

— Разумовский! — позвал командующий.

Майор, руководивший погрузкой генерала, метнулся к сеням:

— Су-шуть, та-рищ рал! — как на параде, рявкнул он.

Старикашка немец поднял голову, сложив птичьи лапки под грудью, закатил глаза в небо, вежливо моля тишины.

Командующий с досадой шмыгнул носом и приказал:

— Схоронить генерала, павшего на поле боя, со всеми воинскими почестями: домовину, салют и прочее... Хотя прочего не можем. — Командующий отвернулся, опять пошмыгал носом. — Попов на фронте не держим. Панихиду по нему в Германии справят. Много панихид.

Кругом сдержанно посмеялись.

Борису нравилось, что сам командующий фронтом, от которого веяло спокойной, устоявшейся силой, давал такой пример поведения. Однако в последних словах командующего просквозило давнее, накипевшее зло или все та же умело и глубоко скрытая усталость — и понял Борис: какая-либо игра в благородство после того, что произошло вчера ночью и сегодня утром в поле, за этим селом, неуместна. Командующий давно отучен войной притворяться, и выполнял он чей-то приказ, и все это было ему не по нутру — много других забот и неотложных дел ждало его, и он досадовал, что его оторвали от этих дел. Мертвых и пленных генералов он уже навиделся вдосталь, надоело ему на них смотреть и разговаривать с ними и о них, блюдя дипломатическую вежливость.

Чего он приволокся, этот чужеземный генерал, в заснеженную Россию? В эту колхозную клуню, на кукурузные снопы? Почему не принял капитуляцию? Стратег! Душа его, видать, настолько уже отутовела, что он разучился ценить человеческую жизнь. Долг? Страх? Равнодушие? Что руководило им? Почему он не застрелился раньше? Человек свободен в выборе смерти. Может быть, в этом только и свободен. Если этот сановитый немец не мог достойно жить, то мог бы ради солдат-соотечественников своих, ради детей их, наконец, умереть раньше, умереть лучше. Он же знал, старый вояка, что группировка обречена, что надеяться на чудо и на бога — дело темное, что у побежденных завоевателей не бывает даже могил, и все, что ненавистно людям, будет стерто с земли. Чему он служил? Ради чего умер? И кто он такой, чтобы решать за людей — жить им или умирать?

Переводчица охотно, даже с умилением перевела приказ командующего о погребении генерала с почестями. Старенький солдат поднялся в кузове, начал подобострастно кланяться командующему, все так же молитвенно прижимая под грудью птичьи лапки, и твердить все ту же фразу, намертво засевшую в холуйской голове:

— Данке! Данке шён, герр генерал...

Командующий что-то буркнул, резко отвернулся, натянул папаху на уши и, по-крестьянски, бережно подоткнув полы шинели под колени, устроился в санях. Что-то взъерошенное и в то же время бесконечно скорбное было в узкой, совсем не воинственной спине командующего, а в том, как он смаргивал мокро с изветренных глаз и вытирал однопалой солдатской рукавицей простуженный нос, угадывалась человеческая незащищенность. Так и не обернувшись больше, он поехал по полю. Сани качало и подбрасывало на бугорках, из-под полозьев обнажались трупы и остатки трупов.

Кони вынесли пепельно-серую фигуру командующего на танковый след, побежали бойчее, к селу, где уже рычали, налягивая дорогу, танки, машины, тыловые хозяйственники и трактор Хведора Хвонича. Отчего-то все подавленно молчали, пока за сугробами не скрылись лошади и тоскливая фигура командующего.

— С ординарцем-то что делать, не спросили? — прервала молчание переводчица и округлила красиво подведенные глаза.

— А-а, пусть остается при своем хозяине, — раздраженно уронил майор Разумовский и закрыл борт кузова. — Не мне же обмывать этого красавца! — и повернулся к пехотинцам. — Можете быть свободны, ребята! Спасибо!

— Не на чем! — ответил за всех Филькин и потопал со своим воинством отыскивать командира полка.

Танк с прицепленной к нему машиной скоро их обогнал. Шофер машины, которого, видать, сорвали с рейса, рывками крутил руль, закусивши в углу рта мокрую сигарку, что-то сердито говорил майору Разумовскому, мотая головой на кузов, где громыхали, катались артиллерийские гильзы и старикашка немец оборонял от них покойного господина. Майор коротко и резко ответил шоферу, приветливо поднял руку в кожаной перчатке, прощаясь с пехотинцами, сошедшими в целик.

Переводчица, стоявшая в кузове, даже глазочком за них не зацепилась.

— Лахудра! — звучно плюнул Филькин вслед машине, выходя из целика в колею, пробитую танком. — Вонь от этого генерала или от денщика! — брезгливо скривился комроты. — В штаны они все понакляли, что ли?

Никто не поддержал разговора. Усталость, всегда накатывающая после боя, клонила всех в забытие и сон. Неодолимо хотелось лечь тут же на снег, скорчиться, закрыть ухо воротником шинели и выключиться из этой жизни, из стужи, из себя выключиться.

:

Пока бродили по избитому полю да с покойником возились, командир полка сам прибыл в хутор, поздравил с победой своих людей, приказал определяться на отдых и спешно укатил в штаб дивизии. Проплутав понапрасну часа два, Филькин со своей командой был вынужден вернуться в хутор. А в хуторелюдно, тесно. Набились туда толпы пленных. Среди них сновал Мохнаков со сдвинутой на затылок шапкой.

— Старшина! — звонко крикнул Борис.

Мохнаков неохотно вылез из гущи пленных.

— Ну, что ты орешь? — зашипел он. — Перемерзли все, как псы!

— Отставить!

— Отставить так отставить, — потащился за ним старшина и, думая, что у лейтенанта все еще со слухом не в порядке, выругался: — Мямля! Откуль и взялся на нашу голову?!

Одно желание было у Бориса: скорей уйти из этого расхлопанного хутора, от поля, изуродованного, заваленного трупами, подальше и увести с собою остатки взвода.

Но не все еще перевидел он сегодня.

Из оврага выбрался солдат в маскхалате, измазанный глиной. Лицо у него было будто из чугуна отлито — черно, костляво, с воспаленными глазами. Он стремительно шел улицей, не меняя шага, свернул в огород, где сидели вокруг подожженного сарая пленные, жевали что-то и грелись.

— Отдыхаете культурно! — пророкотал солдат и начал срывать через голову ремень автомата. Сбил шапку на снег, автомат запутался в башлыке маскхалата, он рванул его, пряжкой расцарапал ухо.

Немцы отвалились от костра, парализованно наблюдая за солдатом.

— Греетесь, живодеры! Я вас нагрее! Сейчас, сейчас... — Солдат поднимал затвор автомата срывающимися пальцами.

Борис кинулся к нему и не успел. Брызнули пули по снегу, и один простреленный немец забился у костра, выгибаясь дугой, а другой рухнул в огонь. Вспугнутым вороньем загорготали пленные, бросаясь врассыпную, иные почему-то удирали на четвереньках. Солдат в маскхалате подпрыгивал так, будто подбрасывало его землю, скаля зубы, что-то дико орал и слепо жарил куда попало очередями.

— Ложись! — Борис упал на одного из пленных, вдавил его в снег.

Патроны в диске кончились. Солдат все давил и давил на спуск, не переставая кричать и подпрыгивать. Пленные бежали за дома, лезли в хлев, падали, проваливаясь в снегу.

Откуда-то, на беду, взялся Хведор Хвонич, выворотил тынину и, матерясь, лупцевал пленных направо и налево. За ним гонялся конвойный, пытался отобрать у него дрын, но Хведор Хвонич ловко от него ускользал. Борис вырвал из рук солдата

автомат, схватился с ним, оба упали. Солдат шарил по поясу, искал гранату — не нашел, разодрал маскхалат на груди.

— Маришку сожгли-и-и! Селян всех... всех загнали в церковь. Всех сожгли-и-и! Мамку! Крестную! Всех!.. Всю деревню!.. Я их тыщу... Тыщу кончу! Резать буду, грызть!..

— А в мэни тэж усих пид корэнь! Ци як, а? За це их, гадов, годуваты?! — подбавлял шуму и горя Хведор Хвомич, до того тощий, что дырка белела на ниточном ремне чуть не в полметре от кожного наконечника и шинель на нем была, как плиссированная юбка, сплошь в сборках.

Мохнаков прикрикнул на Хведора Хвомича, а солдата придавил коленом, тер ему лицо, уши, греб снег рукавицей в перекосенный рот. Солдат плевался, пинал старшину.

— Тиха, друг, тиха!

Солдат перестал биться, сел на снегу, озираясь, сверкал глазами, все еще накаленными. Разжал кулаки, так сильно стиснутые, что от потей остались красные вмятины на ладонях, облизал искусанные губы, схватился за голову, уткнулся лицом в снег и зашелся в беззвучном плаче. Хведор Хвомич принял шапку из чьих-то рук, натянул ее на голову солдата, похлопал его по спине утешительно, но не удержался и тоже заплакал молча, да с такой горестью, что смотреть на его болезненное, нескладное, залитое слезами лицо не было никакой мочи, — так плачут только бесконечно добрые люди и малые дети.

В ближней полуразбитой хате военный врач с засученными рукавами бурого халата перевязывал раненых, не спрашивая и не глядя: свой это или чужой.

И лежали раненые вповалку: и наши и чужие, стонали, вскрикивали, иные курили, ожидая отправки. Старший сержант с наискось перевязанным лицом и наплывающими под глаза синяками послушавил сигарку, прижег и засунул ее в рот недвижно глядевшему в пробитый потолок пожилому немцу.

— Как теперь работать-то будешь, голова? — невнятно из-за бинтов бубнил старший сержант, кивая на руки немца, заматанные бинтами и портянками. — Познобилсь весь. Кто тебя кормить-то будет и семью твою? Хюрер? Хюреры, они накормят!..

В избу клубами вкатывался холод, сбегались и вползали раненые. Они тряслись, размазывали слезы и сажу по ознобленным лицам.

А бойца в маскхалате увели. Брел он спотыкаясь, низко опустив голову, и все так же затажно, беззвучно плакал. За ним с винтовкой наперевес шел, насупив седые брови, солдат из тыловой команды, в серых обмотках, в короткой прожженной шинели, и, то забегая вперед солдата, то отставая от него и обращаясь ко встречным бойцам, доказывал что-то Хведор Хвомич, грозя пальцем кому-то, бия себя в грудь костлявым кулаком. Лицо его, все еще мокрое от слез, было растерянное и недоумевающее.

Санитар, помогавший врачу, не успевал раздевать раненых,

пластать на них одежду, подавать бинты и инструменты. Корней Аркадьевич включился в дело, и легко раненный немец, должно быть, из военных медиков, тоже услужливо и споровисто начал обихаживать раненых.

Рябоватый, кривой на один глаз врач молча протягивал руку за инструментом, нетерпеливо сжимал и разжимал пальцы, если ему не успевали подать нужное, и одинаково угрюмо бросал раненому: «Не ори!», «Не дергайся! Ладом сиди! Кому я сказал, ладом!»

И раненые, хоть наши, хоть чужие, понимали его, слушались, как в парикмахерской, замирали, сносили боль, закусывая губы.

Время от времени врач прекращал работу, вытирал руки о бязевую онучу, висевшую у припечка на черенке ухвата, и делал козью пожку из легкого табака. Он выкуривал ее над деревянным стиральным корытом, полным потемневших бинтов, дражных обуви, клочков одежды, осколков и пуль. В корыте смешалась и загустела брусничным киселем кровь разных людей.

Топилась щелястая, давно не мазанная печка. Горели в ней обломки частокола и ящики из-под снарядов. Дымно было в избе и людно.

Врач — из тех вечных «фершелов», что несут службу в лесных деревушках или по старым российским городишкам, получая малую зарплату, множество нагоняев от начальства и благодарностей от простолюдыя, коему он вырезал грыжи, драл зубы, спасал баб после самоабортов, боролся с чесоткой и трахомой, — врач этот высился над распластавшимися у его ног людьми, курил, помаргивая от дыма, безразлично глядя в окно, и ничего его тут вроде бы не касалось.

Корнея Аркадьевича трясло, постукивали у него зубы, и, когда вышли из избы, он, вытирая снегом руки, завел:

— Вот чем она страшна! Вот чем! В крови по шее стоит человек и глазом не моргнет...

— Ничего вы не поняли! Зудите, зудите... — Борис чуть было не сказал: врачу, мол, этому потруднее, чем тебе, Ланов. Ты свою боль по ветру пускаешь, и цепляется она репьем за другие души. Но он вспомнил и сказал совсем о другом: — Мохнаков где?

— Умотал куда-то, — пряча глаза, отозвался Шкалик.

«Вот еще беда!» — Борис вытер мокрые руки о полу шинели, потащил из кармана рукавицы.

— Идите в местечко, во вчерашнюю избу, а то ее займут. Я скоро...

В оврагах, сверху похожих на сваленные ветвистые ели, все изрыто, искромсано бомбами и снарядами. В перемешанной глине и в снегу валялись убитые кони и люди. Оружие, колеса, банки, кружки, фотокарточки, книжки, обрывки газет и листовок, противогазы, очки, шлемы, каски, тряпки, одеяла, котлы и котелки, даже пузатый тульский самовар лежал на боку, ико-

ны с русскими угодниками и подушки в деревенских латаных наволочках — все разорвано, раздавлено, побито, точно после светопреставления. Дно оврагов походило на свежую лесосеку, где лес порублен, увезен, остались ломь, пенья, обрубки.

К убитому немецкому офицеру вел след новых, вовнутрь стоптанных валенок. Борис загреб снегом лицо покойного и пьяно побегал вниз по оврагу, уже не останавливаясь возле выкорчеванных трупов.

В глубине оврага, забросанная комьями глины, лежала убитая лошадь. Во чреве ее рылась собака, вжимая хвост меж облезлых холков. Рядом прыгала хромая ворона. Собака бросалась на нее, по-щенячьи тявкала. Ворона отлетела в сторону.

Взгляд собаки неведомой породы, почти голотелой, с наборным, вяло болтающимся дорогим ошейником, был смутен и дик. Собака дрожала от холода и алчности. Длинными, похожими на примороженные капустные листья, ушами да дорогим ошейником она еще напоминала пса редких кровей из какого-нибудь благопристойного европейского замка.

— Пошла! Цыть! Пошла! — затопал Борис и расстегнул кобуру.

Собака отскочила, вжав хвост еще глубже в провалившийся зад, и уже не по-щенячьи затывкала, а раскатисто зарычала, обнажив источенные зубы. Она шерилась и в то же время слизывала сукровицу с редких седых колючек, обметавших морду, дрожа обвислой голой кожей, под которой было когда-то барски холеное тело.

Ворона, сидя на козырьке оврага, чистила в снегу клюв.

Борис опасливо обошел собаку и, не переставая оглядываться, поспешил в глубь оврага. Ворона проводила его поворотом головы и спорхнула вниз. Борис облегченно снял руку с пистолета.

На Мохнакова лейтенант наткнулся за ближним поворотом оврага, хотел закричать, но сведенные губы шевелились беззвучно. Старшина резко обернулся. Лицо его начало бледнеть. Он следил за рукой лейтенанта — не полезет ли тот в кобуру. Но Борис не двигался, даже не моргал. Все так же резиново шевелились его обескровленные губы да дергалось линиялое горло в птичьих пупырышках, зачерненных потом и грязью.

— Что ты, что ты! — подошел и похлопал Бориса по груди старшина.

— Не прикасайся ко мне!

— Не прикасаюсь, не прикасаюсь, — отступил старшина, прикрывая будничностью тона неловкость и страх. — Откуда тебя черти взяли! Бродишь, понимаешь...

Взводный переломился в поясище и, волоча ноги, почти касаясь руками снега, подошел к урезу оврага, привалился к мерзлой, пресно пахнущей земле. Горло его порезанно дергалось, выжимая клейкую слюну. С теменью в глазах стоял он и отходил от оморочи, вытирая рукавом губы. Глянул почему-



то на небо, различил свет и пошел на него. Все колыхалось перед лейтенантом, и под ногами убрдно было. Он брел, брел, упал в воронку, стукнулся о мерзлый ком, от боли очнулся.

Два окоченевших эсэсовца, прижавшись друг к другу, сидели в воронке и в упор смотрели на него судачьими глазами. Мохнаков выволок Бориса из воронки, плеснул из фляги чего-то горячего и этим горячим словно бы пробил дыру в обмерзшем нутре Бориса. Лейтенант начал слышать и даже соображать маленько. Что-то скребло его по груди, отдавалось в ушах. Лейтенант опустил голову, смотрел, как старшина ножом очищал его шинель, наконец сообразил, чего тот делает.

— Не... не... не...

— Ме... ме... — как маленького, передразнил Мохнаков. — Экой ты, ей-богу, какой! — Старшина с досадой шелкнул трофейным ножом. — Война ведь это, не кино! Тут видал? Голый голого... и кричит: «Рубашку не порви!» — Принюхавшись по собачьи, старшина совсем уж обиденно закончил: — Славяне борова палят! Пищу варят, бани топят... Живой о живом... А ты понять этого не умеешь. — Он громко высморкался, достал кисет. Кисета у него оказалось два: один красный, из парашютного шелка, другой холщовый, с кисточками, вышитый кривыми буквами. Какие-то далекие и милые девчушки посылали такие кисеты на фронт с трогательными вышитыми надписями: «Давай закурим!», «На вечную память и верную любовь!», «Любовь моя хранит тебя...»

— Тебе уже двадцатый, — напрягся слухом Борис, — но ты еще ни шиша в бабах не тямлешь. Немцам и бордели и отпуска... А у нас...

«Чего это он? — снова заставил себя слушать Борис. — А-а, про баб опять...»

— Путные-то не дают. Потаскушки. Им все одно — немец ли, русский ли...

— К потаскушкам и приставал бы! Зачем же к честной женщине лезешь? Совсем озверел?

— Напился. Затмилось в башке. Столько поубито, сведено народу, тут какая-то бабенка... А ты бы вправду застрелил меня? — испытующе, уже с интересом глядел Мохнаков на лейтенанта сбоку.

— Да!

Старшина скрипуче крикнул, затянулся сигаркой, выпустил себе на глаза дым.

— Светлый ты парень! Почитаю я тебя. — Мохнаков пальцами раздавил сигарку, вытер руку о валенок. — За то почитаю, чего сам не имею... Я весь истратился на войну. Весь! Сердце истратил... Не жаль мне никого. Меня бы палачом над немецкими преступниками, я бы их!..

Чувствуя себя в чем-то виноватым, Борис сдавленно произнес:

— Ты вот что... тебе бы подлечиться. Может, попросить полкового врача?..

— Не суйся уж, куда тебя не просят!

— Пойдем отсюда, Мохнаков, а?

По слепому отростку оврага, до краев забитому ярко-белым, рыхлым снегом, пер старшина с выпущенными поверх валенок брюками, торил дорогу, и во всей его с размаху рубленной фигуре, в спине, тугой, как мешок с мукою, в крутом медвежьем загривке было что-то мрачное. Не верилось, не хотелось привыкать к мысли, что такого, диковинной силы и стойкости, человека может источить худая, чужеземцами занесенная болезнь, — богатырю и смерть богатырская! Старшина начал отступать со старой границы, из-под Шепетовки, не единожды валялся в госпиталях, знал и голод, и холод, и окружения, и прорывы, но в плен ни разу не угодил. Везло, говорит. Оттого везло, позднее догадался Борис, что Мохнаков придерживался старинного завета русских воинов — лучше смерть, чем неволя.

Старшина вжился в войну, и не она уже им, а он ею правил, умея переступить те мелочи, которые часто бывают на войне не нужны, обременительны во фронтовой жизни. Он никогда не вступал в такие частые среди бойцов разговоры о том, как станет жить после войны. Он мог быть только военным, умел биться, стрелять, и больше ничего.

Борис уткнулся в жестяную твердь полушубка старшины, открыл глаза.

Мохнаков остановился у среза оврага, отирая рукавом пот с лица, упершись во что-то взглядом. Лейтенант проследил за этим взглядом и вздрогнул. Втиснувшись задом в норку, выдолбленную в рыжей глине оврага, толсто заваленный снегом, сидел немец. Лишь рукавица с кроликовой оторочкой высунута из снега. На рукавице часы с живой секундной стрелкой. Дешевенькие штампованные часы швейцарской фирмы, за которые больше литра самогона не давали ни в каком селении.

Старшина валенком разгреб немца. Сверху снег был чист, липуч, как вата, а под ним заледенелые багровые комки. Ноги немца, игрушечно повернутые носками сапог в разные стороны, покоились ровно бы отдельно от человека.

Немец дернулся к старшине, но тут же перевел тусклый взгляд на Бориса, шевельнул обметанным щетиной ртом:

— Хильфе!..\*

Под недавней щетиной, остренькой, но уже седой, шелушились коросты, впалые щеки чернели земельно, из носа немца натекло и застыло.

— Хильфе! Хильфе!.. Зи мир битте... реттен зи... мих...\*\*

— Чего он говорит?

— Просит спасти.

— Спаси?! С двумя-то перебитыми лапами? — старшина отхаркнулся в снег. — Своих с такими ранениями хоронить будем по службе такой.

---

\* Помогите!..

\*\*Помогите! Помогите!.. Пожалуйста, спасите меня...

Борис начал без надобности заправлять шинель, шарить руками по поясу.

Немец ловил его взгляд.

— Геноссе!.. Реттен зи мих... Хильфе...\*

— За мной, старшина! — Борис ухнул в снег, заторопился.

Сзади слышался голос, испеченный морозом. Он ломил уши. Немец вывалился из норки, дергался живым до пояса туловищем, пытаясь ползти, и все протягивал руку. Он еще надеялся выкупить свою жизнь такими крохотными, такими дешевенькими часами.

— Ну! — гаркнул взводный и, рванувшись вверх, приступил полу шинели, упал и начал выбиваться из оврага по снегу впасть.

Под ясным и холодным солнцем, окольцованным стужей, укатывающимся за пологие, пусто мерцающие поля, двигались по дорогам люди. Снежно и тихо вокруг до звона в ушах.

Мохнаков велел Борису вытряхнуть снег из валенок. Присевши на опрокинутую повозку, лейтенант послушно перевернул портянки сухим концом, а в голове его само собой повторялось и повторялось: «Больную птицу и в стае клюют... Больную птицу...»

От хутора к местечку тянулись колонны пленных. В кюветах, запорошенные снегом, валялись убитые кони. За хутором, в полях, возле дороги — скопища распотрошенных танков, скелеты машин. Всюду дымились кухни и уже налажены были прожарки: бочки из-под бензина, под которыми пластал огонь, в глухо накрытых бочках, на деревянном решете прожаривалось белье, гимнастерки и штаны. Солдатня в валенках, в шапках и шинелях плясала вокруг костров. Так будет полчаса. Затем белье и гимнастерки — на себя, шинели, валенки и шапки — в бочку.

Миротворно постукивали движки, буксовали машины. В полях чернели кляксы сгоревших скирд соломы. Возле тихого соснового бора, вздымающегося по склону некрутого косолобка, стояли закрытые машины и палатки санрот. Здесь же показывали кино на простыне, прикрепленной к стволам сосен. Лейтенант и старшина немного задержались, посмотрели, как развеселый парень Антоша Рыбкин, напевая песенки, запросто дурачил затурканных, суетливых врагов.

Зрители чистосердечно радовались удачам киношного вояки. Сами они находились на совсем другой войне.

Скрипели и скрипели шаги по снегу. Тянулись и тянулись колонны пленных по дороге, отмеченной реденькими столбами, провода на которых обкусаны, да и столбы где пошатнулись набок, где и вовсе спилены на дрова.

Старшину и Бориса согнали на обочину дороги «студебекеры». В машинах плотно, один к одному, сидели, замотанные шарфами, подшлемниками, тряпьем, пленные. Все с засунуты-

---

\* Товарищ!.. Спасите меня... Помогите..

ми в рукава руками, все согбенные, все одинаково бесцветные и немые...

— Ишь! — ругался Мохнаков. — Фрицев на машинах, а мы пешком! Хоть дома, хоть в плену, хоть бы и на том свете...

— Часы-то взял?

— Нет, выбросил.

Вечер медленно опускался. Синь проступала по оврагам. И жилистой сделалась белая земля. Тени от столбов длинно легли в поля, возле деревьев в глуби бора тени сине загустели, смешались. Даже в кювете настоялась синь. Ходили саперы со щупами и тоже были синие, бесплотные. Поля перепоясаны ремнями танковых и машинных следов. Снег из края в край искрился. Радио по лесу слышалось. Тихими сумерками накрывало израненную, безропотную старуху землю.

\* \* \*

Солдаты спали впокот на измятой соломе. Дневалил Пафнутьев. Морда у него подозрительно покраснелась, ушные глазки сияли возбужденно и лучезарно. Ему хотелось беседовать и даже петь, но Борис приказал Пафнутьеву ложиться спать, а сам примостился у припечка, да так и сидел, весь остывший изнутри, на последнем пределе усталости, и время от времени облизывал губы, шершавые, будто еловая шишка в шелухе. Ни двигаться, ни думать не хотелось, согреться бы только и забыть обо всем на свете. Жалким, одиноким казался себе Борис и рад был, что никто его сейчас не видит — старшина снова отчалил в другую избу, хозяйка по делам куда-то ушла. Кто она? И какие у нее могут быть дела, у этой одинокой нездешней женщины?

Дрема накатывает, костенит холодом тело взводного. Чувство гнетущего, нелегкого покоя наваливается на него. Не познанная еще, вялая мысль о смерти начинает шевелиться в голове и не пугает, а, наоборот, как бы пробуждает любопытство внезапной простотой — заснуть в безвестном местечке, в чьей-то безвестной хате, и от всего безболно отрешиться. Разом и навсегда...

... Так вышло бы хорошо... Разом и навсегда.

«Что это я? Что за блажь? Какая дурь опять в голову лезет?» — очнулся Борис и, придерживаясь за стены, ощупью пробрался в маленькую, дальнюю комнатку. Не открывая глаз, он медленно разделся, роняя амуницию куда-то во тьму, мимо табуретки, и рухнул, уже сонный, на низкую кровать.

\* \* \*

Никакие потрясения не могли еще отнять стремления молодого тела к отдыху и восполнению сил, никакое страдание не могло еще сломать в нем сна: бессонница — удел людей

старых, утомленных болезнями, тоской по прожитому и предчувствием грустного конца.

Длинный виделся лейтенанту сон: земля, залитая водою, без волн, без морщин и даже без ряби. Чистая-чистая вода, и над нею чистое небо. И небо и вода оплеснуты солнцем. По воде идет паровоз и тянет вагоны, целый состав, и след, расходясь на стороны, растворяется вдали. Море без конца и края и небо, неизвестно где сливающееся с морем. И нет конца свету. И нет ничего на свете. Все утопло, покрылось толщей воды. Паровоз вот-вот ухнет в глубину, зашипит головешкою, и коробочки вагонов, пощелкивая, ссыплются вместе с людьми, с печами, с нарами и солдатскими пожитками. Вода сомкнется, покроет гладью то место, где шел состав. И тогда мир этот, залитый солнцем, вовсе успокоится. И будет вода, небо, солнце — и ничего больше! Зыбкий мир — без земли, без леса, без травы. Хочется подняться и лететь, лететь к какому-нибудь берегу, к какой-нибудь жизни.

Но тело приросло к чему-то, вкоренилось. Ощущением безнадёжности и пустоты наполнено все вокруг. Усталые птицы, изнемогая в непрерывном полете, падали на крыши вагонов, громко бухали крыльями по железу. Их закруживало, бросало в двери, и они шарахались по вагону. Старшина Мохнаков гонялся за птицами, свертывал им головы, бросал под нары. «Хильфе! Хильфе!» — кричали птицы. Борис хватал Мохнакова за руки. «Жрать чего-то надо?! — отбивался от него старшина. — Приварок сам в руки валит!..» — «Хильфе! Хильфе!» — хрипели птицы и, выскальзывая из вагона, беззвучно хлопали крыльями по воде, взбивая тяжелые, свинцовые брызги...

Сон крутился на одном месте, жутко было ожидание: вот произойдет что-то. Борис занес ногу, чтобы выпрыгнуть из бешено мчавшегося вагона, и замер над пустотой, повис в ней, почувствовав на себе пристальный взгляд. Поезд укатывался по воде, исчезал, растворялся. Лейтенант хотел погнаться за ним, но что-то мешало ему, удерживало его на месте, тревожило. Он вздрогнул вдруг, вскрикнул и сел, схватившись за спинку кровати.

Рядом стояла Люся.

— У вас горел свет, — поспешно заговорила она. — Я выстирала верхнее. Белье бы еще постирать... Я думала, вы не спите...

Он ничего не понимал, не вышел из сна. Когда ложился спать, света не было, хозяйки не было. Он разомкнул наконец сырые ресницы и взглядом в упор спрашивал: «Я где?»

— Я думала, вы... — начала Люся и остановилась в замешательстве. Долго стояла она над ним склонившись, смотрела на него, досмотрелась вот! Мешая русские и украинские слова, не давая себе остановиться, она зачастила: как хорошо, что пришли снова те же военные ночевать, уж привыкла к ним. Жалко вот, не смогла их уговорить лечь в чистую половину, на кухне снова устроились... на улице морозно... хоро-

шо, что бои кончились... Еще лучше, если б вовсе война кончилась... солдаты где-то раздобыли сухих дров. Неразговорчивые они сегодня какие-то, угрюмые. Сразу спать легли, и вышел только этот, пожарник-кум...

— Какой я сон видел!

— Страшный, да? Других снов сейчас не бывает... — Люся поникла головой. — Я думала, вы больше не придете...

— Почему же?

— Я думала, вдруг вас убьют... Стрельба такая была за рекой.

— Это разве стрельба! — отозвался он, протер глаза тыльной стороной руки и внезапно увидел ее совсем близко. В разрезе халата начинался исток груди. Живой ручеек стремительно катился вниз и делался потоком. Далеко где-то, оттененное округлостями, таинственно мерцало ясное женское тело. Оттуда ударило жаром. А рядом было ее лицо, с вытянутыми смятенными глазами. Борис явственно слышал — кисточки кукольно загнутых ресниц щекочут кожу на его щеке. Прямо, наваждение какое-то — эти ресницы! Они ж не касаются его, но он их слышит, мягонькие такие... Он слышит их, а вот себя ощущать и слышать перестает. Сердце взводного укатывается под гору. Приглушая разрастающееся в груди стучание и все ускоряющийся бег, он сглотнул слюну и, чтобы услышать себя, почувствовать, пролепетал:

— Какая... ночь... тихая... — И минуту спустя уже ровнее, будничнее: — Снилось, как мы по Барабинской степи на войну ехали... Степь, рельсы — все под разливом. Весна была. Жутко так... — Он чувствовал — надо говорить, говорить и не смотреть больше туда. Нехорошо это, стыдно. Человек забылся, а он уж и заподглядывал и задрожал весь! — Какая ночь. Глупый сон... какая ночь... тихая... — Голос пересох, ломался, все в нем ломалось.

— Война, — тоже с усилием выдохнула Люся. Что-то сломалось и в ней. Слабым движением руки она показала — война откатилась, ушла дальше.

Глаза плохо видели ее, все мутилось, скользило и укатывалось куда-то на стучащих колесах. Женщина качалась безлйкой тенью в жарком, все сгущающемся пале, который клудился вокруг, испепеля даже воздух в комнате. Дышать нечем. Все вешее вокруг и в нем сгорело. Одна всесильная осталась власть, и, подавленный ею, Борис беззащитно прошептал:

— Мне... хорошо... здесь... — И, думая, что она не поймет его, раздавленный постыдностью намека, он показал рукой: ему хорошо здесь, в этом доме, в этой постели.

— Я рада... — донеслось издали, и он также издалека, не слыша себя, откликнулся:

— Я тоже... рад... — И, не владея уже собой, сопротивляясь и слабая от этого сопротивления еще больше, протянул к ней руку, чтобы поблагодарить за ласку, за приют, удостоверить, что эта задержанная жарким туманом тень, качаю-

щаяся в мерклом и как бы бредовом свету, — есть та, у которой стремительно катится вниз исток грудей, кружит он кровь, и гремящее набатом сердце под ослепительно мерцающим загадочным телом. Женщина! Так вот что такое женщина! Что же это она с ним сделала? Сорвала, точно лист с дерева, закружила и понесла, понесла над землею — нет в нем веса, нет под ним тверди...

Ничего нет. И не было. Есть только она, женщина, которой он принадлежит весь до последней кровинки, до остатного вздоха, и ничего уж с этим никто поделать не сможет!

Далеко-далеко, где-то в глухом пространстве он нашел ее руку и почувствовал пупырышки под пальцами, каждую, не видимую даже глазом, пушинку тела почувствовал, будто не было или не стало на его пальцах кожи и он прикоснулся голым нервом к ее руке. Дыхание в нем вовсе пресеклось. Сердце зашло в яростном бое. В совсем уж бредовую темень, в горячий, испепеляющий огненный вал опрокинуло взводного.

Дальше он ничего не помнил.

Обжигающий просверк света ударил его по глазам, и он загнувшись упал лицом в подушку.

Не сразу он осознал себя, не вдруг воспринял яркий свет лампочки. Но женщину, прикрывшую рукой лицо, увидел отчетливо и в страхе сжался. Ему тут же захотелось провалиться сквозь землю, сдохнуть или убежать к солдатам в кухню.

«Так вот оно как! И зачем это?» — Борис закусил до боли губу, ощущая, как отходит загнутое сердце и выравнивается разорванное дыхание. Никакого такого наслаждения он как будто и не испытывал, помнил лишь, что женщина в объятиях почему-то кажется маленькой, и от этого еще больше страха и стыда. Вот если б забыть все, сделать так, будто ничего не было, тогда бы он не посмел больше обижать женщину глупостями всякими — без них вполне можно обойтись, не нужны они...

Так думал лейтенант и в то же время с изумлением ощущал, как давно копившийся в теле, навязчивый, всегдашний груз сваливался с него, тело высветлялось и торжествовало, познав плотскую радость.

«Скотина! Животное!» — ругал себя Борис, но ругань шла мимо куда-то. В уме — стыд и смятение, а в тело льется благодное, сонное успокоение.

— Вот и помогла я фронту.

Борис покорно ждал, как после этих слов, внятно уроненных в тишину, женщина влепит ему пощечину, будет рыдать, кататься по постели и рвать на себе волосы. Но она лежала мертво, недвижно, и от переносицы к губе ее катилась слеза.

На него обрушилась неведомая доселе слабость и вина. Не знал он, как облегчить страдание женщины, которое так вот грубо, воспользовавшись ее кротостью, причинил ей. А она хлопотала о нем, кормила, поила, помыться дала, с портянками его вонючими возилась... И, глядя в стену, Борис повинил-

ся тем признанием, какое всем мужчинам почему-то кажется постыдным:

— У меня... первый раз это... — И, подождав немного, совсем уж тихо: — Простите, если можете.

Люся не отзывалась, ждала как будто от него еще слов или привыкала к нему, к его дыханию, запаху и теплу. Для нее он был теперь не отдаленный и чужой человек. Раздавленный стыдом и виной, которая была ей особенно приятна, он пробуждал женскую привязанность и всепрощение. Люся убрала щепотью слезу, повернулась к нему, сказала печально и просто:

— Я знаю, Боря... — и с проскользнувшей усмешкой добавила: — Без фокусов да без слез наш брат, как без хлеба... — Легонько дотронулась до него, ободряя и успокаивая. — Выключи свет. — В тоне ее почудился намек.

Все еще не веря, что не постигнет его кара за содеянное, Борис послушно встал, прихватив одеяло и заплетаясь в нем, прошлепал к табуретке, поднялся, повернул лампочку. Стоял в темноте, не зная, как быть теперь. Она его не звала и не шевелилась. Борис поправил на себе одеяло, покашлял и мешковато присел на краешек кровати.

Над домом протрещал ночной самолетик, и окно прочертило зеленым пятнышком. Низко прошел самолетик, не боится, летает. За маленьким самолетиком тащились тяжелые, транспортные, с полным грузом бомб. А может, раненых вывозили. Одышливо, как лошадиное сердце на подъеме, работали моторы самолетов, «везу-везу» выговаривали.

Синеватый, рассеянный дальностью луч запорошился в окне, и сразу, как нарисованная, возникла криволапая яблоня на стеклах, в комнате сделалось видно этажерку, белое что-то, скользящее на табуретке, и темные глаза, прямо и укорно глядящие на взводного.

«Что же ты?»

Нет, уйти к солдатам на кухню нельзя. А так хотелось ему сбежать, скрыться.

— Ложись, — обиженно и угнетенно, как ему показалось, произнесла Люся. — Ногам от пола холодно.

Он почувствовал, что ногам и в самом деле от пола холодно, и послушно, стараясь не коснуться женщины, пополз к стене. Долго полз, притаился у стены. Да ведь надо ж было говорить какие-то слова, каяться надо, виниться, и он собрался уж было что-нибудь вымучить из себя, как услышал:

— Повернись ко мне...

Она не возненавидела его, нет в ее голосе боли и раскаяния нет. Умело упрятанная нежность угадывалась в ее голосе.

«Как же это?..» — смятенно думал Борис, и, не доверяясь совсем тону и словам, он медленно повернулся к ней, стараясь при этом не коснуться ее, и скорее спрятал руки, притаился за подушкой, словно за бруствером окопа, считая, что надо лежать неподвижно, дышать как можно тише, и тогда его, может быть, не заметят, забудут о нем.



— Какой ты еще... — услышал Борис, и его насквозь прохватило жаром — она придвигалась к нему. Подув Борису в ухо, Люся потрепала пальцем это же ухо и, уткнувшись лицом в шею, попросила: — Разреши мне тут, — точно показала она рубец на шее, — разреши поцеловать тут, — и, боясь, видно, что он откажет, поспешно припала губами к неровно заросшей ране. — Я дура?

— Нет, почему же? — не сразу нашелся Борис и тут же понял — глупость брякнул. Рубец раны, казалось ему, неприятен для губ, и вообще это блажь какая-то. Но уступать надо — виноват кругом. — Если хочешь... — обмирая, молвил лейтенант, — можно еще...

Она тронула губами его ключицу, губами же нашла рубец и прикоснулась к старой ране еще раз, еле ощутимо, трепетно.

Дыхание Бориса вновь пресеклось. Кровь прилила к вискам, надавила на уши и усилила все еще не унявшийся шум. Горячий туман снова начал наплывать, шелест слов обезоруживал его, ввергал в гулкую пустоту.

— Мальчик ты мой... Кровушка твоя лилась, а меня не было рядом... Милый мой мальчик... Бедный мальчик... — Она целовала его вдруг занывшую рану. Удивительное дело: слова ее не казались глупыми и смешными, хотя какой-то частицей сознания Борис понимал, что они и глупы и смешны.

Захлестнутый ответной нежностью, Борис неуверенно тронул рукой ее волосы — она когда-то успела расплести косу, — зарылся в них лицом ошеломленно:

— Что это?

— Я не знаю. — Люся блуждала губами по лицу Бориса, нашла его губы и уже невнятно, как бы проваливаясь куда-то, повторила: — Я не знаю...

Горячее, срывающееся дыхание ее отдавалось неровными толчками в нем, и неожиданно для себя он припал к ее уху и сказал слово, которое пришло само собою из его расслабленного и отдалившегося рассудка:

— Милая...

Он не произнес, он простонал это слово и почувствовал, как оно толком ударило женщину и тут же размягчило ее, сделало совсем близкой, готовой быть им самим, и, сам уж готовый быть ею, он отрешенно и счастливо выдохнул:

— Моя...

Снова было тихо и неловко. Но они уже не отстранялись друг от друга, и их тела, только что оцепенелые от тяжести, как бы налитые раскаленным металлом, остывали.

Наступило короткое забытие, но они помнили один о другом и в этом забытии и потому скоро проснулись.

— Я всю жизнь, с семи лет, может, даже раньше, любила вот такого худенького, лупоглазенького мальчика и всю жизнь ждала его, — ласкаясь к Борису, складно, будто по книжке, говорила Люся. — И вот он пришел!

Люся твердила, что она не знала мужчины до него, что ей

бывало только противно. И верила в это. Она клялась, что будет помнить его всю жизнь. И он отвечал ей тем же. Он уверял ее и себя, что из всех когда-либо слышанных женских имен ему было памятно лишь одно, какое-то цветочное, какое-то китайское или японское имя — Люся. Он тоже мальчишкой, да что там мальчишкой, совсем клопом, с семи лет — тоже с семи! — слышал ее имя и видел, точно видел, много-много раз Люсю во сне и называл своей милой.

— Повтори еще, повтори!

Он целовал ее соленое от слез лицо:

— Милая! Милая! Моя! Моя!

— Господи! — отпрянув, воскликнула Люся. — Умереть бы сейчас!

И в нем что-то оборвалось. В памяти отчетливо возникли старик и старуха, седой генерал на серых снопах кукурузы, обгорелый водитель «катюши», убитые лошади, одичавшая собака, раздавленные танками люди — мертвецы, мертвецы...

— Что с тобой? Ты устал или... — Люся приподнялась на локте и пораженно уставилась на него: — Или ты... смерти боишься?!

— На смерть, как на солнце, во все глаза не поглядишь... слышал я. Беда не в этом, — тихо отозвался Борис и, отвернувшись, как бы сам с собою вслух рассуждал: — Страшнее привыкнуть к смерти, примириться с нею... Страшно, когда слово «смерть» делается обиходным, как слова: есть, пить, спать, любить...

— Ты устал. Отдохни. Отдохни. — Люся не могла поймать его взгляд. Он отводил глаза. Тогда она легла щекой на его грудь. — Ох, как сердчишко-то! — и придавила ладонью то место, где сердце: — Тихонько, тихонько, тихонько... Вот та-ак, вот та-а-ак.

— Не надо говорить больше о смерти.

Люся отдернула руку, потерла ладонью висок и повинилась:

— Прости... Я забыла про войну.

Опять самолетик затрещал над хатой, чиркнул огоньком по стеклу и замолк вдали. Сделалось слышно улицу.

Не спала улица.

За стеной хаты жили, шевелились войска. Доносило песню:

Суровый голос раздается:

Клянемся землякам —

Покуда сердце бьется,

Пошады нет врагам!

Завыла машина. Свет фар закачался в окне, и зашевелилось деревце. Оно то прибывалось к окну, почти касаясь ветками стекла, то опадало в снеговую темень. На стеклах вспыхивали и гасли морозные искры, и обостренно чувствовалось, как хорошо и тепло в избе. Загрохотал танк или трактор. Рывкнул, остановился, и мотор забухал обузданно, на холостых оборотах.

— Взяли! Взяли! Взяли! — разноречно кричали за окном, и голоса начали удаляться.

«К фронту. Фронт догоняют», — отметил Борис.

На кухне кто-то стал отплевываться, сморкаться. «Карышев, — догадался лейтенант, — закаленный табакер. Он и ночью встает жечь махорку». Заскрипела дверь — вернулся Карышев, брякнул ковшом, попил воды, покашлял еще и стих.

Где-то за рекой, в оврагах, ударил взрыв, брякнуло будто по тазу, раскатился гул в морозной ночи, задрезжалось окно, с дерева порхнул снежок, на кухне вскрикнул Шкалик и замычал, успокаиваясь.

— Еще чьей-то жизни не стало... — послушав, не повторится ли взрыв, проговорил Борис.

Люся прикрыла ладонью его рот, и так они лежали, вслушиваясь в ночь, пугливо чего-то ожидая. Борис признательно тронул губами ее ладонь, пахнущую щелоком и мылом, простым мылом. И такой доступный, домашний запах, вошедший в него с детства, что-то снова стронул в нем. Досадуя на самого себя за возникшее отчуждение, Борис опять по-ребячьи зарылся в ее волосы и с удивлением вспомнил, что брезговал когда-то волосами, оставленными в гребешке. И, смешно вспоминать, брезговал еще споротыми пуговицами.

— Я думала, ты на меня сердиться, — чутко откликнулась Люся на ласку и обняла его за шею уже уверенно. — Не надо сердиться. Нет у нас на это временей...

В какой-то миг они потеряли стыдливость. Жарко дышали раскрытые губы Люси, грешно темнели гнездышки грудей, спутались вокруг шеи ее длинные волосы. Опустошенная, она устало ткнулась лицом в его плечо, задремала.

— Ты все-таки уснул бы, уснул...

«Не спи. Побудь еще со мною. Не спи!» — слышалось ему, и, чтобы угодить ей, а угодить ей было приятно, он просунул руку под ее голову:

— Ты знаешь, когда я был маленький, мы ездили с мамой в Москву. Помню я только старый дом на Арбате и старую тетюшку. Она уверяла, что каменный пол в этом доме, из рыжих и белых плиток выложенный, — сохранился еще от пожара, при Наполеоне который был... — Он прервался, думая, что Люся уснула, но она потрянула головой, давая понять, что слушает. — Еще я помню театр с колоннами и музыку. Знаешь, музыка была сиреневая... Простенькая такая, понятная и сиреневая... Я почему-то услышал сейчас ту музыку, и как танцевали двое — он и она, пастух и пастушка — вспомнил. Лужайка зеленая. Овечки белые. Пастух и пастушка в шкурах. Снились друг друга, не стыдились любви и не боялись за нее. В доверчивости они были беззащитны. Беззащитные недоступны злу — казалось мне прежде...

Люся слушала, боялась дохнуть, знала она, что никому и никогда он этого не расскажет, не сможет рассказать, потому что ночь такая уже не повторится.

— И ты знаешь, — усмехнулся Борис, и Люся обрадовалась, что он все-таки помнит о ней, — знаешь, с тех пор я начал чего-то ждать. Раньше бы это порчей назвали, бесовским наваждением. — Он прервался, вздохнул, как бы осуждая себя. — Видишь вот...

— Мы рождены друг для друга, как писалось в старинных романах, — не сразу отозвалась Люся. — Если тебе хочется, я расскажу о себе. Потом. А сейчас мне хорошо. Я слышу твою музыку. Между прочим, я училась в музыкальном училище. Да-да! — Она тронула пальцем удивленно открывшийся рот Бориса. — Я уж и сама этому мало верю. Да и какое это имеет значение, — дремотно приваливаясь к нему, тихо вздохнула она. — Я слышу тебя...

Уходила куда-то старая дорога, заросшая травой, и на ней два спутника — он и она.

Бесконечной была дорога, далекими были путники и чуть слышна, почти невятная сиреневая музыка...

Борис вскинулся, стиснул руками лоб.

— Я, кажется, опять заснул?

— Ты так забился, так забился... Тебе опять снилась война?

Обрадованный тем, что он смог пересилить себя, отогнать сон, что рядом живой, бесконечно уже дорогой ему человек, Борис притиснул к себе настывшее тело Люси.

— У меня голова кружится...

— Я принесу тебе поесть и выпить. Ты ведь вечером не ел.

— Откуда знаешь? Тебя и дома не было.

— Я все знаю. Вот поешь и отдыхай.

— Наотдыхаюсь еще. Без тебя... А поесть не мешало бы. Никого не разбудим?

— Не-е. Я сторожка! — Люся лукаво улыбнулась, погрозила ему пальцем: — Не смотри на меня! — Но он смотрел на нее. Люся взяла обеими руками его голову и отвернула лицом к стене. — Не смотри, говорю!

Они дурачились, позабыв о том, что шуметь-то особенно и не надо бы.

— У-у, какой! Нельзя так! Я тоже проголодалась, — шлепнула она его и, схватив халат, выскользнула, зашуршала за дверью одеждой.

— Эй, человек!

— Борька, не балуй! — просунула она лицо меж занавесок, и было в ее быстрых, совсем уж приблизившихся глазах столько всего, что Борис не выдержал, ринулся к ней, но она сомкнула перед ним занавески и, когда он уткнулся лицом в ее лицо сквозь жесткую занавеску, выпалила: — Я тебя люблю!

Мальчишество напало на него. Он ударил в подушку кулаком, подбросил, упал на подушку грудью, будто на теплую смятую птицу, и увидел на простыне, как в гипсе, слепок ее тела...

Он осторожно дотронулся до слепка.

Под ладонью пустота.

Люся объявилась в дверях с посудой, с хлебом и картошкой, хотела сказать, что, слава богу, кум-пожарник не всю самогонку выпил, и замерла, заметив растерянность на лице Бориса. Он будто не узнавал ее, нет, узнавал, видел, но видел как бы уже со стороны.

— Ты что?

К глазам Бориса подкатывали слезы, лицо его страдальчески заострилось.

— Я здесь! — тронула она его.

Он передернулся, до хруста сжал ее руку.

Люся рывком притиснула к себе Бориса, тут же резко оттолкнула и принялась налаживать еду. Они молча пили самогонку из одной кружки и, выпив, всякий раз целовались. Молча же закусывали картошкой с салом: и он чистил картошку для нее, а она для него.

Поели, и сделалось нечем заняться, не о чем вроде бы и говорить. Молча смотрели они перед собой в пустоту идущей на убыль ночи.

«Ну, вот и все — кончилась обедня. Время батюшке отдыхать...» — собралась сказать Люся, но Борис, ровно угадывая это, виновато погладил ее руку. Люся признательно сжала его пальцы, проморгалась, глядя на окно, и с привычной уже снисходительностью притронулась маленькой ладонью к его щеке.

— Умница ты у меня, товарищ командир!

И так это было сказано, что до кишок пробрало болью, и от растерянности, от неумения владеть собой он вдруг обратил все в дурашливость, схватил ее диковато, прижал к кровати:

— Смерти или живота?!

— Ах, какой ты! — измощенно прикрыла Люся завлажневшие глаза.

— Дурной? — все еще делая вид, будто не понимает, о чем это она, простовато спросил лейтенант.

— Хуже! Псих! И я псих... Кругом психи...

— Пьяный я, а не псих, — подрубленно навалился он на нее.

— Нельзя так много, — увернулась Люся.

— Можно! — дрожа от вымученной настойчивости, пьяненько заявил он. — Сегодня все можно.

— Ты слушайся меня. Мне двадцать первый год!

— Поду-умаешь! Мне самому двадцатый!

— Вот видишь! Я старше тебя на сто лет! — Люся осторожно, как ребенка, уложила его на подушку. — А времени-то третий час!..

Кто-то из солдат опять зашевелился на кухне, пошел, загнулся за корыто, выругался хрипло. И они опять пережидали, притихнув. От окна падал рассеянный полумрак, осветляя плечи Люси, пробегая искристыми светляками по стеклу, взблескивая снежно в ее волосах. Накаленно светились ядрыш-

ки ее зрачков. Под ресницами и под маленьким вздернутым подбородком притемнилось.

И все время мучительно вспоминавший: чьи, ну, чьи глаза напоминают Люсины глаза, он внезапно сделал открытие и оторопел от него, — глаза лошадки, которую он когда-то, давно-давно, в тридевятиом царстве, в зимнем государстве, парном и тихом, пахнущем сеном, овсом и дегтем, гладил по храпу, совал кусочек хлеба во вздрагивающие, влажные губы, деликатно шарящие по его детской руке, а в полутьме стойла, совершенно ничем не прикрытые, умные, беззащитные, светились и жили своей отдельной, все понимающей жизнью печальные глаза. И мальчик, словно бы вняв перед ними за что-то, прошептал тогда: «Лошадка! Милая лошадка!..»

Воспоминание растрогало и напугало почему-то его, он прикрыл ее глаза ладошкой. Люся, почувствовав, что он ее за что-то жалеет, вся подалась к нему, припала доверительно, растроганная тем, что вот появилась на свете душа, которая может чувствовать ее печаль, жалеть ее и слышать все-все, что есть в ее душе...

Предчувствуя утро и разлуку, прижавшись друг к другу, сидели они, соединенные этой душевной тягой, и ничего им больше не хотелось: ни говорить, ни думать, а только сидеть так вот, вдвоем, в полудремном забытии, ощущать друг друга живыми, откровенными телами, испытывать то, что в старину звалось блаженством. От него душа делалась податливой, мягкой, жалостной, плюшевой делалась душа.

## Часть третья

### ПРОЩАНИЕ

Горькие слезы застлали мой взор,  
Хмурое утро крадется, как вор, ночи вослед.  
Проклято будь наступление дня!  
Время уводит тебя и меня в серый рассвет.

*Из лирики вагантов*

Окно засветилось, и комната стала наливаться красным светом.

Одногласно зарыдала соседская дворняга в переулке, морозно дребезжа, звякнул колокол. Яблонька за окном начала дергаться, шевелиться, приближаясь к окну. Все в комнате сделалось живое, задвигалось тенями, замельтешили кресты от рам на полу и на стене.

Люся больно вцепилась ногтями в Бориса. Он прижал ее к себе: «Ну, что ты, что ты, маленькая! Не бойся...»

Бояться нечего, опасность лейтенант сразу бы почувствовал — нях у него вышколен войною.

По ту сторону узких топольков, стеной стоявших за огоро- дом в проулке, ярко, резво горела хата, заваливаясь шапкой крыши набок, соря ошметками пламени по огороду.

«Высушили славяне портянки!» — ухмыльнулся Борис — уж очень весело пластала хата. Борис знал, что в хатах этих мати- ца — она же дымоход. Пока топят соломой — ничего, а как запалят дрова или скамейки, да еще бензинчику плеснут сол- даты — ни жилья тогда, ни портянок.

— Полицая жарят! — глухо произнесла Люся и стала ку- таться в одеяло, кинутое на плечи. — Шкура продажная!.. На пересылке служил, на подхвате у фашистов. Как утильсырье, там людей сортировал... кого в Германию, кого в Криворожье — на рудники, кого куда... — Голос Люси дрожал. Блики метались по лицу ее и по груди. Лицо делалось то бледным, то серело, заваливалось в тень, и лишь глаза, зачерненные ресницами, свети- лись накаленно.

— Как заняли они местечко, на постой к нам определился фриц. Барственный фриц, вальяжный. С собакой в Россию по- жаловал! На собаке ошейник позолоченный. Скользя, пуче- глазая собака. Лягуша и лягуша... Бр-р-р! — Люся поежи- лась. — Фашист этот культурный приводил с пересылки деву- шек — упитанных выбирал... съедобных! Что он с ними делал! Что делал! Все показывал им какую-то парижскую любовь. Одна девушка выпорола фрицу глаз за парижскую-то любовь... вилкой. Одн успела. Собака загрызла... — Люся закрыла лицо руками и так его сдавила, что из-под пальцев полосами высту- пила бледность, — на человека псина притравлена... Перекусила девочке горло, будто птичке... облизнулась и легла... там!.. Там... — показывала Люся на дверь одной рукой, другою все зажимая глаза.

Борис чувствовал, как холодеет у него спина, темя, кожа на всем теле.

— Что?.. На твоих глазах?!

Она кивнула головой раз, другой, третий и не могла уж остановиться, припадочно трясла головой, закатившись в сухих рыданиях.

Он крепко притиснул Люсю к себе, гладил по волосам, успокаивал. «Бить! Бить так, чтобы зубы крошились! Правиль- но, Филькин, правильно!» — Вспомнив слова командира роты, Борис тут же вспомнил овраги и собаку с дорогим ошейником, рвущую убитого коня: «Она! Надо было пристрелить...»

— Поймали его партизаны, — немного успокоившись, боль- ным и тихим голосом продолжала Люся. — Повесили на со- сенку сушиться. Псина выла в лесу... грызла ноги... До колен съела хозяина... Выше достать не могла! Висит, вражина, в темном бору, стучит костями, и пока не вымрет наше поколе- ние — все им будут детей пугать, все его слышно будет...

Собака в переулке уже не рыдала, а хрипела, задохшись на привязи, и больше никаких голосов не слышалось, и колокол не звонил.

— Всех бы их! — стиснув зубы, процедила Люся. — Всех подчистую...

Борис не узнавал ту Люсю, восторженную, переменчивую настроением и во взгляде, истовую и преданную в страсти, что пришла к нему в далекий-далекий вечерний час. Усталую, тяжело обвисшую всем телом женщину отвел он на кровать, укрыл одеялом, приложил ладонь к гладкому, покатиному лбу. Она притихла под его рукою, постепенно перестала трястись ее голова и дрожь унялась.

Люся собрала рассыпанные волосы в горсть, крутнула их в рыхлый узел и засунула под голову.

— Раскосматилась, как ведьма, — подавленно, словно оправдываясь, блекло улыбнулась она и, о чем-то подумав, неожиданно попросила: — Боря! Расскажи мне об отце и матери. Расскажи, а? Я хочу все знать о тебе.

Борис разгадал ее хитрость: хочется ей сейчас больше всего — забыть, и он сдержался, чтоб не разжалобиться, не прилипнуть к ней с вопросом: «Что так мучает, гнет тебя, маленькая?»

— Они учителя, — не сразу, но по-школьному бодро повел рассказ Борис. — Отец завуч теперь, а мать преподает русский и литературу. Школа наша в бывшей гимназии. Мать училась еще в ней, как в гимназии. — Борис прервался, и Люся жепским чутьем, особенно обострившимся в эту ночь, уловила — он против своей воли снова отдаляется от нее. — Когда-то в наш городок был сослан декабрист Фонвизин. С его жены, генеральши Фонвизиной, Пушкин будто бы свою Татьяну писал. Мама там десятая или двадцатая вода на киселе, но все равно гордится своим происхождением. Я, идиот, не запомнил родословную мамы. — Он улыбнулся чему-то своему, опустил на подушку, закинул руки за голову, глядя в неведомую ей даль. — Улицы и переулки в нашем городишке зарастают топтун-травой. Набережная деревянная, так бурьян меж бревен растет, в щелях птички гнезда вьют — прячут. На угреве, прямо середь улиц веснами медуница цветет, потом курослеп, сурепка, сорочья лапка и богородская травка. Березы по всему городу — старые-старые. А церквей!.. Золотишники-чалдоны ушлые были, пошакалят в тайге, пограбят, а потом на свои средства храм! И грехи искуплены! Простодушные все-таки наши люди! Ну а теперь в церквях гаражи, пекарни, мастерские. По церквам кусты пошли, стрижи в колокольнях живут. Как вылетят перед грозой — все небо в крестиках! И крику!.. Крику!.. Ты спишь?

— Что ты! Что ты! — ворохнулась Люся. — Скажи... Мама твоя косы носит?

— Косы? При чем тут косы? — не понял Борис. — У нее челка. Косы у молодой были. Я у них поздныш, вроде как бы сын и внук сразу... — Он поправил подушку, перевернулся, навалился на нее грудью, и Люся отметила про себя, что это, видать, такая манера у него — валяться на кровати и почиты-



вать книжечки либо мечтать о чем, — была такая манера...

Борис вдруг услышал запах утра в родном городишке. Разве перескажешь, как пахнет утро в родном городишке? Себя разве перескажешь! Воспоминания его — это ж он сам и есть! Все, что было, растворилось в крови, прикипело к сердцу, жило в нем, волнуя, утешая и радуя! Оказывается, жизнь его была полна радостями, она просто из сплошных радостей и состояла. Но неужели надо на войне побывать, чтоб узнать об этом?! Однако чем же все-таки пахнет утро в родном городишке? Чем? Росой и туманом — вот чем! Травянистыми росами, речным туманом. Туман даже губами слышно было. Как тополиный пух, вот они какие густые были — туманы, они скапливались под завалившимся срубом набережной, конопатили щели меж бревен, заячьими шапками надевались на купола церквей. С реки наносило прелой корой, пахло убитым лесом, а от города, из старых печных труб угаром перло. Но туманы вбирали в себя все запахи и звуки, глушили их своей мягкотью, умиротворенностью и покоем. Так спалось в родном городишке, так палось... Борис только теперь понял, отчего он никогда не высыпался — из-за туманов!

Река укутывалась в берега, и под дамбой оказывалось столько таинственного добра: бутылочных стекол, консервных банок, черепушек, озеленелых от плесени монет, костяных бабок, медных крестиков. В лужах под дамбой бедовала прозевавшая отход реки рыба мелочь. Вороны прыгали вдоль дамбы, распертой землею и корнями тополей, хищно совали головы под бревна, заглатывая рыбешек с жадным клекотом.

Ребятишки били ворон камнями, вытаскивали рыбешек из луж. Рыбешки измученно шевелились в теплых руках, лезли меж пальцев. Опушенные, лежали они поверх воды, пошептывая судорожными ртами, и, пьяно качаясь, уходили ненадолго в глубину. Но их крутило, как сухие ивовые листья, и подымало наверх. Набравшись сил, малявки с уже осознанным страхом шильцами втыкались вглубь, припадали ко дну, высматривая корм и клубящуюся в воде родную стайку.

Осенью к дамбе скатывали бочки, торцами прислоняли их к стене, и туманы в эту пору, да и весь городишко пахли рыбой, овчиной, потными рубахами и плесенью выпариваемых кадок. Штабеля бочек поленищами росли выше и выше, парокходов и барж приставало к берегу все больше и больше. Обветренного, истосковавшегося по обществу, полуодичавшего народа — северных рыбаков — людно и густо делалось. Играли гармошки на берегу, повизгивали за омулевыми и муксунными бочками женщины, ребятишки подсматривали стыдное. Ночи делались шаткие, беспокойные, и все в городишке пело и гуляло, как при древних золотинниках, вернувшихся из темной, гнусом забитой тайги с фартом.

— Пареваны и девки любят у нас встречать парокходы. Каждый пассажирский встречают. Парят себя ветками — комары и мошка заедают, — улыбаясь, заговорил Борис.

И Люся догадалась, что перед ним прошли какие-то лишь ему известные картины и он продолжает их видеть отдельно от нее.

Она поджала губы, отодвинулась, но Борис и не заметил этого, он все так же глядел куда-то в темень, блаженно улыбаясь.

— Гонобобелью — это у нас так голубику-пьянику называют — или черницей, или орехами потчуют девок пареваны. Рты у всех черные. Городишко засыпан ореховой скорлупой... Да что это я про комаров да про ягоды?! — спохватился Борис. — Давай лучше мамины письма читаем.

Люся не без грусти отметила, что он решился на это не сразу. Еще не привык свое делить пополам, и время нужно, чтобы все у них стало едино: и жизнь и мысли.

— Только тебе опять придется идти. Письма в сумке.

Она поднялась, вернула лампочку и, зажмурившись от света, подумала, что он всю жизнь будет вот так посылать ее и она не устанет быть у него на побегушках.

— Этому... пузырьку-то вашему плохо. Со вчерашней гулянки никак не отойдет. Мучается. Зачем такого мальчика понть? — выговаривала лейтенанту Люся, вернувшись с сумкой... — Ох, Борька! — Она погрозила ему пальцем. — Балованный ты!

— В самом деле? Это мама... Знаешь, — улыбнулся он, — папа меня в секцию бокса отдал в лесокомбинатовский клуб. И мне там сразу нос расквасили. В секцию мама больше не пустила, но папа везде с собой меня брал: на рыбалку, на охоту, орехи бить. Однако пить никогда не позволял. А этот, чердынский, надрался.

Люся развела складки на его переносице, пальцем прошлась по бровям, которые начинались тонко и, взлетев к вискам, круто падали вниз.

— Ты на маму похож?

Не понимая, какая приятность для женщины открывать мужчину — иногда на такое занятие уходит вся жизнь, и считается, что это и было истинной любовью, — он отбилась сконфуженно:

— Не стоит заниматься моей персоной...

— Какой ты воспитанный мальчик! — толкнула его Люся. — Читай. Только я растянусь. Читай-читай!

Он заметил темные полукружья под ее глазами и пожалел непривычной, мужицкой жалостью:

— Утомилась?

— Читай-читай!

Писем была большая пачка. Борис выбрал одно, расправил уголки, погладил и, как во вспышке зарницы, увидел мать с белым полушалком на покатых плечах, с желтой деревянной ручкой в припачканных чернилами пальцах, почудилось даже — услышал, как скрипит перо, вывязывая мелкие строчки:

«Родной мой!

Ты знаешь своего отца. Он притесняет меня, говорит, чтобы я часто тебе не писала — ты вынужден отвечать и станешь отвлекать время от сна. А я не могу не писать тебе каждый день.

Вот проверила тетради и пишу. Отец чинит мережу на кухне и думает о тебе. Я-то читаю его, как ученическую тетрадку, и вижу каждую пропущенную запятую и эти вечные ошибки на «а» и «о». Отец твой переживает — был сдержан и сух с тобою, недолюбил, как ему кажется, недосказал чего-то. Чинит мережу, думая, что вернешься к весне. Он до того изменился, что иногда называет меня «девочка моя». Так он называл меня еще в молодости, когда мы встречались. Смешно. Нам ведь и тогда уже за тридцать было...

Я писала тебе, как трудно нынче в школе. Удивляться только приходится, что в самые тяжелые дни войны школы не закрыты и мы учим детей, готовим к будущему, значит, не теряем веры в него, в это будущее...

...Боренька! Вот снова вечер. Письма от тебя и сегодня нет. Я подожду. Я хитрая стала ужас какая! Пишу тебе каждый день, а отправляю письма раз в неделю. Прочешь-то письмо, надеюсь, найдется у тебя время. А может, нет? Никак не могу представить тебя на войне. Как ты там? Где?

У нас печка топится, чайник крышкой бренчит. Отца нет. Он взялся еще математику вести в вечерней школе. Почему ты, Боренька, вскозь написал о том, что тебя наградили орденом? Даже не сообщил — каким? Ты же знаешь своего отца, его понятия о долге и чести. Он был бы рад узнать, за что тебя наградили. Да и я тоже. Мы оба гордимся тобою.

Между прочим, отец твой рассказывал мне, как по-спартански воспитывал тебя, готовил ко всякого рода испытаниям, как учил плавать, лазить по кедром, ходить в лодке с шестом. Я так отчетливо увидела тебя: в трусишках, худенького, с выступившими ребрами. Лодка большая, а ты бьешься в подпорожье. Отец же ловит этих несчастных пескарей и не видит, как тебя развернуло и понесло. Ты почти добрался до каменного бычка, прибил в улово, снова развернуло лодку и понесло... Пять раз ты поднимался в порог, и пять раз тебя сносило. У тебя вспотел нос (всегда у тебя потел нос). На шестой раз ты все же одолел преграду, и с ликованием: «Папа! Я лодку привел!» А он: «Ну что ж, хорошо! Привяжи ее и принимайся удить пескарей — надо успеть дотемна наживить перемет».

Что за комиссия, создатель, — быть ребенком педагогов! Вечно они дают ему уроки. И вырастают у них, как правило, оболтусы (ты — исключение, не кукись, пожалуйста!).

Ах, Боренька, Боренька! Если б ты знал, как я сожалею, что не была с вами в подпорожье, на рыбалке, не шлялась вместе по тайге, не ночевала у костра... Не думалось, не гадалось ведь, что наступит такая разлука. А то бы всюду таскалась за вами, запоминала каждый твой шаг, ловила бы каждый взгляд и не утесняла бы отца за «жестокое» к тебе от-

ношение. Он все-таки сумел больше, чем я, сделать для тебя, и я благодарна ему за это, но немножко, совсем чуть-чуть ревную...

Бедя с ним, твоим отцом. Он сделался еще более сдержан, прямолинеен и строг. Этаким унтер в школе и на дому. Но я ему оказываю сопротивление! Как он переживал, когда в армии ввели погоны! Мы, говорит, срывали погоны, а детям нашим их навесили! А я радовалась, про себя, конечно. Я радуюсь всему, что разумно и не отрицает русского достоинства. Может быть, во мне говорит кровь моих предков?

Закругляюсь. Раз вспомнила о предках, значит, пора. Это как у твоего отца: если он выпивший пошел танцевать, значит, самое время отправляться ему в постель. Танцевать он не умеет. Это между нами, хотя ты знаешь.

Родной мой! У нас глухая ночь. Морозно. Может, там, где ты воюешь, уже день и теплее?

Всю географию перезабыла, потому что рядом я тебя чувствую.

Вот как кончать письмо, так и расклеюсь. Прости меня. Слабая я женщина и больше жизни тебя люблю. Ты вот тут — я дотронулась до сердца рукою... Прости меня, прости. Надо бы какие-то другие слова, бодрые, что ли, написать, а я не умею. Помолюсь лучше за тебя. Не брани меня за это. Все матери сумасшедшие... Жизнь готовы отдать за своих детей.

Ах, если бы это было возможно!..

Отец твой придет, утешит меня. А тебя кто? Ну, не буду, не буду! Трудно с вами, с мужиками: ни поплакать, ни пожаловаться. Я как-то тайком шепчу молитву, думая, отец твой спит. А он вдруг: не таишь, говорит, если тебе и Боре поможет... Я заплакала. «Девочка моя!» — вздохнул он... Да ты знаешь своего отца. Он считает, что у него не один, а двое детей: ты и я.

Благославляю тебя, мой дорогой. Спокойной ночи тебе, если она возможна на войне. Вечная твоя мать — Ираида Фонвицина-Костяева».

Письмо кончилось, но Борис все еще держал его перед собой, не отрываясь смотрел на бегущую подпись матери и явно видел ее: носатенькую, с оттопыренными ушами, в белом полушалке, сползшем с покатых плеч; и по-старомодному заколотые на затылке волосы видел, и реденькую челку надо лбом, которая всегда вызывала ухмылки учеников. Мать убрала письмо, закуталась в полушалок, раздвинула занавески на окне, пытаясь мысленным взором покрыть пространство, отделяющее ее от сына.

За окном дробятся негустые огни старенького городка, а за ними угадывается темный провал реки, заторошенной льдами, и дальше — мерклые очертания гор с мрачной темнотой тайги на склонах, с колдовской жутью в обвально-глубоких распадах. Тесно сомкнулось пространство вокруг городка, вокруг дома и самой матери. Где-то по другую сторону непроглядной,

обрывающейся за рекою земли — он и, отделенная окопами, тысячами верст расстояния, меж двумя враждующими мирами, — она, мать.

Борис спохватился, свернул письмо в треугольник, изношенный по краям.

— Старомодная у меня мать, — сказал он нарочито громким голосом. — И слог у нее старомодный...

Люся не отозвалась.

Борис повернулся и увидел: все лицо ее залито слезами, и почему-то не решился расспрашивать ее и утешать.

Люся схватила жбан с этажерки, расплескивая на грудь самогон, глотнула из горлышка и прерывисто, обожженно произнесла:

— Я должна о себе... Чтоб не было между нами...

Борис поднял руку, чтобы остановить ее.

— Хорошо. Не буду, — так же неожиданно и быстро согласилась она. — Не надо. Не к месту. Психопатка я, в самом деле психопатка! — будто омывая лицо ладонями, добавила она. Борис укутал ее плечи и грудь одеялом. — Какой ты ласковый! Ты в мать. Я ее теперь знаю. Вижу. Правда-правда. Не веришь?. И отца тоже. Не веришь?.. — Губы ее задрожали. Она в упор смотрела, ждала подтверждения, и Борис, прижмурив глаза, кивнул ей — верю.

— Зачем? Зачем так мучаются люди? Войны зачем? Смерти? — Голос Люси зазвенел. Она приостановилась и уже опадающим голосом, тихо, но внятно молвила: — За одно только горе матери... Ах, господи! Как бы это выразить?

— Я понимаю. До фронта. Да что там до фронта, до вчерашней ночи, можно сказать, полностью не понимал...

...Матери, матери! Зачем вы покорились дикой человеческой памяти, примирились с насилием и смертью? Ведь больше всех, мужественней всех страдаете вы в своем первобытном одиночестве, в своей священной и звериной тоске по детям. Нельзя же тысячи лет очищаться страданием, откупаться им и надеяться на чудо. Бога нет. Веры нет. Над миром властвует смерть. Кто оплатит ваши муки? Чем оплатит? Когда? И на что нам-то надеяться, матери?

А за окном кончалась ночь. Земля неторопливо поворачивалась тем боком к солнцу и дню, где чужое и наше войско спало в снегах.

Хата догорела, обвалилась. Куча уже хиреющего огня перекормленно дожевывала остатки балок, реденько выплескивая огоньком, пробегаю юркой красноватой зверушкой по пепелищу и порская в обтаявшую яму.

Люся распластанно лежала на кровати, остановившимся взглядом уставившись в потолок. И хотя в окне шевелился еще ответ пожара, комната налилась темнотою, предрасветной, густой, особенно плотной после яркого света пожара. Темнота эта не сближала, не рождала таинства. Она наваливалась гнетущим ожиданием, недобрыми предчувствиями.

— Я бы закурила.

Не удивляясь и опять же не спрашивая ни о чем, Борис нашарил на этажерке, в деревянной шкатулке пакетик с табаком, и, как умел, скрутил сигарку. Люся сунула руку под матрас, вынула зажигалку. Усмехнувшись, она переделала сигарку, склеенную наподобие пельменя, свернула ее ту же и, прикурив, осветила лицо Бориса огоньком.

— Зажигалка того самого фрица. — Усмешка все не сходила с ее губ. Люся звонко щелкнула по зажигалке ногтем, загасила огонек, не то дунув, не то плюнув на него. — Хозяин сушится на деревце, а зажигалочка горит... иностранная зажигалочка, костяная, ценная вещь... — Люся затягивалась дымом по-мужички умело и жадно. — Девоч он, между прочим, потрошил на этой самой кровати...

— Зачем ты так?

— О-ох, Борька! — бросив на пол сигарку, срубленно упала Люся на него. — Где ж ты раньше шлялся? Неужели войне надо было случиться, чтобы мы встретились? Милый ты мой! Чистый, хороший! Страшно-то как жить!.. — Она тут же укротила себя, промокнула лицо простыней. — Все! Все! Не буду! Прости! — Борис молчал. — Не буду больше... Ну, свинья. Ну, психопатка! Ну, тресни меня, тресни! Заслужила...

Борис не отзывался и не шевелился. Его опять неудержимо потянуло на кухню, к солдатам — проще там все, ближе, понятней. Тут черт те какие страсти-ужасы... Люся то ласковая, то бешеная какая-то... Неужели все они такие? Неужели и в самом деле загадка природы?.. Эта вот, с глазами лошади, — уж загадка так загадка! Вовсе его уму неподсильная. Да-а, хорошо бы к солдатам, умотать и... право слово, хорошо бы...

— Чого сыдышь тай думаешь? Чого не йдэш, не гуляешь? — словно услышав, о чем он думает, спросила Люся, запуская руки в волосы лейтенанта. — Так и не причесался? Волосы у тебя мягкие-мягкие!.. У-у, как надулся! — тренькнула она пальцем по его губе. — Не умеешь ты еще притворяться, Борька! — без сожаления, отходчиво уже и легко вздохнула она.

— А ты... Ты все умеешь? — Борис пугливо замер.

— Я-то? — Люся опять глядела на свои руки. — Я же тебе говорила, что старше тебя на сто лет! Кроме того, я женщина. А женщинам, Борис, живется на этом свете труднее, чем мужчинам, и потому иногда им нужно верить. Ну, чего уставился? Чего губы квасишь? — Она покатила голову по подушке. — Ах, разрази меня гром, до чего я умная!.. — Треснуто рассмеялась. — Ты чувствуешь, у нас дело к ссоре идет? Все как у добрых людей...

— Не будет ссоры. Вон уже светает.

Окно и в самом деле обрисовалось квадратом, в комнату просочился рассеянный, невнятный еще свет.

— На заре ты ее не буди... — Люся поникла головой, за-

мерла на целую вечность, затем откинула с лица волосы и, медленно опустив обе руки на плечи Борису, глянула в глаза долгим-долгим взглядом. — Спасибо тебе, солнышко ты мое! Взошло, обогрело... Ради одной этой ночи стоило жить и все вынести... Да-да, стоило! Налей выпить и ничего-ничего не говори. Ничего! Пожалуйста!..

Борис поднялся, налил в кружку самогона. Люся передернулась, отпив глоток, подождала, когда выпьет он, и легко, накоротке приникла к нему.

— Ты меня еще чуть-чуть потерпи. Чуть-чуть.

Борис дотронулся губами до ее лба. Она дрогнула веками, признательно ему улыбнулась. И снова захлестнуло его нежностью, снова размягчилась его душа. Хотелось сделать чего-нибудь ей хорошее. И он вдруг вспомнил, что полагается делать, когда случается любовь. Подхватив Люсю в бедра, как спол, он неловко стал носить ее по комнате.

Люся чувствовала, как ему тяжело, несподручно это занятие, но раз начитался благородных романов — пусть носит женщину на руках. Она держалась за его тонкую шею, с ухмылкой на губах, однако млея в душе, слушала несбыточную, приятную чушь. Война кончилась. Он приехал за нею, взял ее на руки, несет на станцию... «Сколько до нее километров? Три?» Все три тысячи шагов, на глазах у честного народа прет ее, понимаешь, и не устает, потому как своя ноша рук не тянет...

«Ах ты, лейтенантик, лейтенантик!» — пожалела его и себя Люся.

— Нет, не так! — тронув губами напрягшуюся жилку на шее Бориса, возразила она. — Я сама примчусь на вокзал. Нарву большой букет роз. Белых-белых! Надену новое платье. Белое-белое. Будет музыка. Будет много цветов. Будет много народу. Будут все счастливые... — Люся прервалась и почти неслышно выдохнула: — Ничего этого не будет... — Она разжала его руки, сползла к ногам, обхватила лейтенанта за колени. — Возьми ты меня с собой, товарищ командир, — прижимаясь к ногам Бориса щекою, попросила она. — Возьми! Я буду стирать и варить. Перевязывать научусь, лечить. Я нянятливая. Возьми. Воюют ведь женщины...

— Да, воюют. Не смогли обойтись без женщин, — отвернувшись к окну, произнес взводный отрывисто. — Славим их за это. И не конфузимся. А надо бы...

На кухне ходили солдаты, переговаривались. Кто-то хлопал шинелью о дверь.

— Жутко умный ты у меня, товарищ командир! — Люся поднялась с пола, чмокнула взводного в щеку и ушла, завывая на ходу поясок халата.

Борис стоял в нерешительности возле кровати, подумал, что ничего не случится, если он приляжет на минутку. И только коснулся щекой подушки — мгновенно провалился в сон, будто в подполье, глубокое-глубокое, тихое-тихое.

Так легко и так сладко, что выкатилась слюнка на подушку, он спал разве что в детстве, вернувшись с реки или из леса.

Часа через два Люся на цыпочках вошла в комнату,глянула на Бориса и покачала головой. Улыбаясь и все не спуская взгляда с лейтенанта, она пристроила на спинку кровати гимнастерку, отглаженную, с уже привычным орденом, с прилепленной медалью, брюки, портянки, постиранные, но еще волглые, положила на сапоги и осторожно присела на постель.

Борис не слышал ее, не просыпался. Она пошатала пальцами его заострившийся нос:

— Э-эй, товарищ командир, проспишь войско-то!

Он проснулся, но, не открывая глаз, нежился, улыбаясь, нашаривал ее руку.

— Вот, — убирая под платок волосы, проговорила Люся. — Ухаживать за любимым мужчиной, оказывается, такая приятность! — и сокрушенно покачала головой. — Баба все-таки есть баба! Никакое равноправие ей не поможет...

Борис открыл один глаз.

Румяная, разгоревшаяся от уюта, очень домашняя и очень уютная была Люся. Он ладонью утер с лица ее пот, щекотнул под мышкой. Она шлепнула его по руке, он ее. Схватка началась, молчаливая, веселая. Он потянул ее к себе с уже отмякшей, восковой страстью.

— Нельзя! — уперлась она в его грудь руками. — Все встали.

Борис не выпускал ее.

— А если узнают?..

— Солдаты хоть о немецком, хоть о нашем наступлении раньше главного командования узнают, а уж про такое...

Борис одевался. Люся заплетала косу, когда за занавеской послышалось деликатное покашливание.

— Товарищ лейтенант, я насчет винишка! — раздался бойкий голосок Пафнутьева. — Если осталось, конечно...

— Есть, есть.

— Чё, без горячего-то зажиганье не срабатывало?!

— Болтаешь много! — с напускной строгостью отозвался Борис:

Ох, не оберешься теперь разговоров! Одобрять будут солдаты: «Взводный-то парень не промах, хотя с виду интеллигентный!» Все происшедшее истолкуют солдаты как краткое боевое похождение лейтенанта; и он не сможет ничего поправить и должен будет соглашаться, потакать такому настроению. Расспросы пойдут, как да чего оно было? И, ох, трудно, невозможно будет отвертеться от пронизательных вояк!

Борис просунул меж занавесок жбан, кружку.

— Шкаliku не давать. Тебе и остальным тоже не ковшом!

— Ясенько!! — Пафнутьев подморгнул взводному.

— Чего все мигаешь? Окривеешь ведь!

Люся нарядилась в желтое платье. Черные цыганские лен-



ты скатывались по ее груди, коса перекинута через плечо. Рукава платья тоже отделаны черным. На ногах мало надеванные туфли на твердом каблуке. Все было на ней в обтяжку, платье коротковато, но отчего-то походила Люся на девчонку-воструху, которая тайком добралась до маминого сундука и натянула на себя чужие наряды.

— Какая вы красивая, мадам!

За спиной Люси, на стеклах, переливалась изморозь, росли белые волшебные кущи, папоротники, цветы, пальмы. Она тербила ленточку, наматывала ее на палец. Этакая девицесестрица на выданье! Н-ну, женщины! Ну, женщины! Так уметь преображаться!

— Я сама, еще в девчонках, это платье шила...

— Да ну-у-у! Шикарное платье! Шикарное!

— Просмешник! Ладно, все равно другого нет. — Люся уткнулась носом в мятый, будто коровой жеванный погон лейтенанта и дрогнула: стойкий запах гари, земли, пота не истребило стиркой. — Мне хочется сделать что-нибудь такое... — подавляя в себе тревогу, повертела она в воздухе рукой, — сыграть бы что-нибудь старинное и... поплакать. Да нет инструмента, и играть я, пожалуй, разучилась. — Она шевельнула раз-другой кисточками ресниц и отвернулась. — Поплыла, баба!.. Как все-таки легко свести с ума нашего брата!..

Борис трогал косу, шею, платье — уносило от него только что мелькнувшую там, на белом сказочном фоне, девицу-красу, уносило такой, какой она была когда-то или могла быть, уносило в народившийся день, в обыденную жизнь, а он хотел удержать ее, налюбоваться ею такой, какая она ему открылась, однако видение оказалось мимолетное, то самое видение, которое явилось и вознесло однажды поэта на такую высоту, что он задохнулся от восторга...

Она тоже ловила его руку, прижимала к себе, напоминала, что вот здесь она, рядом, молодая и прекрасная, все в том же желтеньком платье, с тою же пышной косой, но не знала она, что глаза ее опять были отдаленно-глубоки и на всем бессонной ночью обесеченном лице лежала вековая печаль и усталость русской женщины.

\* \* \*

Завтракали на кухне. Люся хотя и прятала глаза, но распоряжалась за столом бойчее, чем прежде. Солдаты многозначительно и незлобливо подшучивали, утверждая, что лейтенант шибко сдал после тяжелых боев, один на один выдерживая натиск противника, а они вот, растяпы, дрыхли и не исполнили того, чему их учили в школе — на выручку командиру не пришли. А тоже ведь пели когда-то: «Вот идет наш командир со своим отрядом! Эх, эх, эх-ха-ха, со своим отрядом!» Отряд-то спать только и горазд! Нехорошо! Запущена политико-воспитательная работа во взводе, запущена, и надо ее

подтянуть, чтобы юный командир за всех один не отдувался! Шкалик ничего понять не мог. Выжатый, мятый, дрожал он фиолетовыми губами, сидя за столом смиренным стриженым послушником, подавленный мирскими грехами. Поднесли опохмелиться — Шкалик замахал руками, будто отпугивая нечистую силу. Тогда дали ему капустного рассолу с увещанием: «Не умеешь, так не пей!»

Люся убрала посуду, поворошила в столе. Среди пуговиц, ниток и ржавых наперстков отыскала тюбик губной помады.

Прикрыв за собой дверь в переднюю, она поклонявила засохшую помаду и, подкрасив стертые, побаливающие губы, выскользнула из дому с жестяным бидоном.

Солдаты изготавливались стирать, бриться, чистили одежду, обувь, нещадно дымили махоркой, переговаривались лениво, донимали Шкалика насмешками. Лейтенант слушал их неторопливую болтовню и радовался, что к ротному пока не вызывают, никаких команд не дают, глядишь, задержатся здесь.

Разговор вращался вокруг одной вечной темы, к которой русский мужик, особенно солдат, как только отделается от испуга, отдохнет немного, неизменно приступает.

— Отобедали, — повествовал Пафнутьев, правя бритву, посасывая сигарку и шуря глаз от дыма. — Ребятишек дома нету. Тетя и мама уже померли в те поры. Зойка со стола убирает, а я курю да поглядываю, как она по избе бегаёт, ногами круглыми вертит. Окна открыты, занавески шевелятся, наземом со двора пахнет. Тихо. И, главное дело, — ни души! Убрала Зойка посуду. Я и говорю: «А чё, старушонка, не побаловаться ли нам?» Зойка пуще прежнего забегала, зашумела: «У вас, кобелей, одно только на уме! Огород вон неполютый, в избе не прибрато, ребятишки где-то носятся...» — «Ну-к чё, говорю. Огород, конечно, штука важная. Поли. А я, пожалуй, к девкам подамся!» В силах я ещё тогда был, на гармошке пилил. Вот убегла моя Зойка. Минуту нету, другу, пяту... Я табак курю, мечтаю... Пых — пара кривых! Влетает моя Зойка уж наизготовке, плюхнулась поперек кровати и кричит: «Подавился, злодей!..»

Хата качнулась от гогота, и сам Пафнутьев закатился, прикрыв замаслившиеся от сладостных воспоминаний глаза, едва ремень бритвою не перехватил. Шкалик капусту ел, так чуть не подавился. Малышев завез ему по спине кулаком — слетел солдатик со скамейки и капусту незаметно проглотил. Карышев моторно фуркнул ноздрями — со стола спорхнула и закружилась луковая шелуха. Даже застенчиво помалкивающий и большой с похмелья Корней Аркадьевич смял в улыбке блеклые губы.

Возвратилась Люся, потаенно улыбаясь, стала манить Бориса в переднюю. Там она сунула ему бидон и заставила пить парное молоко. Не переставая многозначительно улыбаться, вытерла его наметившиеся усы, смоченные молоком, и с придыхом сообщила ему:

— Я узнала военную тайну!

У лейтенанта от удивления открылся рот, лицо сделалось недоверчиво-глуповатое.

— Ваша часть еще день или два простоит здесь!

Взводный издал гортанный звук, схватил Люсю и закружил по комнате, да и смахнул с окна зеркальце.

— Ой! — вскрикнула Люся. — Это к несчастью!

— Какое несчастье?! — рассмеялся Борис. — Ты веришь в приметы? Суеверная ты! Двое суток! Это, что ли, мало?!

Люся молча собирала осколки зеркала. Борис помогал ей и пересказывал байку Пафнутьева. Громко стукнула дверь. Люся сунула стекла в кадку с цветком и поспешила на кухню.

— В ружье, военные! — наигранно бодрясь, хриплым голосом гаркнул старшина, и, стукнув валенком о валенок, доложил Борису: — Товарищ лейтенант, приказано явиться на площадь. Подают машины.

— Машины! Какие машины? Двое ж суток...

— Кто натрепал? — Мохнаков буравил народ окровавленными глазами. Солдаты пожимали плечами. Пафнутьев сверлил пальцем у виска и подмигивал старшине. Мохнаков собрался отколоть что-нибудь по этому поводу, но очень уж сплывало лицо взводного. — Колонна! — пояснил старшина. — Та самая колонна, что перевозила пленных, отряжена полку. Пехом и за зиму фронт не догнать.

Люся прижалась спиной к двери. Белый платок разошелся, сделались видны на груди черные ленты и вырез платья. Борис пеньком торчал посреди кухни. «Что это вы?» — вопрошал взгляд Мохнакова.

Солдаты ворчали друг на друга, ругали войну, собирая пожитки, толкали лейтенанта. Шкалик рылся в соломе — ремень искал. Старшина поворочил валенком солому, зацепил ремень, похожий на избитую камнями змею, и валенком же закинул его на голову Шкалику.

— Няньку тебе?!

Невелик скарб при солдате. Как ни волюнили, все же собрались. Прощаться начали, разом заговорили, пожимая руку хозяйке. Привычное дело: тысячи, если не две, сменили они человека, двигаясь по фронту.

— Запыживай, запыживай, славяне! — чем-то недовольный, подбрасывал монету старшина. — Машина не конь — ждать не любит!

Солдаты закурили и потянулись на улицу, растащив валенками солому по кухне. В хате сделалось пусто, выстуженно. Люся двинула спиной дверь и провалилась в комнату.

— Мне извиняться или как?

Заталкивая в полевую сумку пачку писем и полотенце, Борис пустоглазо уставился на Мохнакова.

Старшина что-то бормотнул, прихлопнул шапку на ухе, подкинул монету до потолка, но не сумел ее поймать и, саданув дверью, вышел.

Борис проводил взглядом воинство, выжитое из теплого жилья, и, прежде чем войти в переднюю, постоял, будто у обрыва, затем рывком надел сумку, поправил ворот шинели и толкнул дверь.

Люся сидела на скамье, отвернувшись к окну. Подбородок она устроила на руках, кинутых на подоконник. Она смотрела в окно. Петелька на рукаве платья соскользнула с пуговицы, и черные крылья отделки разлетелись на стороны. Борис застегнул пуговку, соединил крылышки и тронул руку Люси. Надо было что-то говорить, а лучше бы всего шутку какую выдать. Но на ум не приходило никаких шуток.

— Тебя ведь ждут! — голос Люси был как-то буднично спокоен.

— Да.

— Так иди! Я провожать не буду. Не могу. — Она сильнее притиснула к рукам подбородок со вдавленной в него ямочкой. В позе Люси, в плотно сомкнутых губах, в мелко подрагивающих ресницах было что-то трогательное и смешное. Школьницу, раскапризничавшуюся на выпускном вечере, напоминала она.

Время шло.

— Что же делать-то? — Борис переступил с ноги на ногу, поправил сумку на боку. Мне пора. — Он еще переступил, еще раз поправил сумку. Люся не отзывалась. Подбородок ее совсем смялся, щеки сместились кверху и сделались пухленькими, нос — курносеньким, крылышки его сердито расширились, и все чаще подрагивали детски острые ресницы. Снова расстегнулся рукав; хвостик косы как-то попал в мокрый желобок рамы.

«Ах ты! Ах ты! Что делать-то?» — Борис отжал смокшие волосы, бережно опустил косу на круто выгнутую стену Люси.

— Я же не виноват... — сказал Борис, задержав руку выше выреза платья. Пушистое тепло скопилось под косой, словно в птичьем гнездышке, пальцы слышали боязливую кожу. «Милая ты моя!» Борис большим усилием воли заставил себя сдержаться, чтобы не припасть губами к этой нежной и теплой коже.

— Конечно, — почувствовав, что он пересилил себя, сказала Люся, глядя на свои руки, и тут же начала ими суетиться: поправила ленты, нащупала горло, сдавила его до белизны сосредоточенными пальцами. — Виноватых нет.

— Прощай тогда... — Борис неуклюже, точно новобранец на учениях, повернулся кругом, осторожно притворил дверь в переднюю, постоял возле нее, чего-то ожидая, обшаривая кухню глазами.

Никто ничего не забыл.

«Солому не убрали. Насвинячили и ушли. Вечно так... Ладно, чего уж... Долгие проводы — лишние слезы...» Борис подпинал солому в угол кухни и поспешно отправился догонять взвод.

Отовсюду тянулись к площади бойцы. Снег капустой хрупал под ботинками. Беловатые дымы — топят соломой — облаком стояли над местечком. Располагалось оно меж двух лесистых холмов, в широкой пойме раздвоившегося ручья, который впадал в речку пошире. За речкой вдоль берега тянулись хаты и сады с церковкой посредине.

Борис подивился — этой церковки он почему-то прежде не заметил. Заречье побито. Сшиблен купол церкви. Деревянный гужевой мост сожжен, перила обвалились, лед темнел лоскутьями, парило из пробоин. В хуторе тоже топились печи, дымы оттуда тянуло на две стороны: вдоль реки и к оврагам, к памятным и страшным оврагам, санную дорогу проторили похоронные обозы в овраги, заглот которых начинался от реки.

Почему, отчего не оборонялись немцы по эту сторону реки, а подались в голоземье, забрались в овраги и решили прорываться оттуда? У войны особый нор, своя какая-то арифметика. Иной раз выбьют взвод, роту, но один или два человека останутся даже непоцарапанными. Или расщепает снарядами, бомбами селение, а в середине его хата белеет. Вокруг нее голые руины, в ней же и окна целы!

Ротный командир Филькин, получивший в свое распоряжение технику, чувствовал себя полководцем и сразу зафорсил. Он глядел на Бориса как бы уже издалека, будто выявлял в нем и в себе значительность перемены. Рукою, туго-натуго обтянутой хромовой перчаткой, по всем видам дамской, Филькин повелительно указывал: кому на каких машинах ехать, какую дистанцию держать.

Весело, с прибаутками военные рассаживались по машинам. Нет народа благодущеe выпавшихся, поевших горячей пищи солдат, да еще к тому же узнавших, что не топтать им ножами, а ехать.

Откуда-то взялись две хохлушки в одинаковых желтых кожушках с меховым подбоем, в цветастых платках. Белозубые, спелые, словно бы они выпорхнули с довоенных выставочных плакатов.

Ни один солдат не проходил мимо дивчин просто так. Каждый оделял их вниманием: кто слово подходящее бросал, кто похлопывал, а кто норовил и под кожушок рукою влезть.

Хохлушки повизгивали, отражая атаки пехоты: «Гэть, москаль, гэть!», «Та шо ж ты, скаженный, робишь?!», «Ну ж, ну ж! Ой, лыхо мэни!», «Та ихайтэ скорийше!» Однако ясно было — не хотелось дивчинам отпускать москалей, нравилась им вся эта веселая колготня вокруг них.

Никакого душевного потрясения Борис еще не испытывал, лишь чувствовал, как непросохший, затвердевший на морозе воротник обручем сдавливал шею, и от холода, от заостеневшего ли воротника было трудно дышать; мысли загустели в голове, почти не шевелились, соображалось тупо, со скрипом,

а вот глаза, нюх, слух и особенно сердце, пущенные в эту ночь на большую скорость, двигались, лихорадочно работали сами по себе. Глаза вывалили еще чадающую хату полиция, топольки, скорченные огнем, нос уловил душный запах палянины — сожгли селяне иуду вместе с боровом, птицами, коровой и всей худобой: если уж озлятся смиренные и добродушные люди, бойся — сердятся украинцы редко, да тяжело. Сдавленный, без причитаний плач доносился с пепелища — жена и дети полиция уцелели, и то слава богу, но плакать в голос, жаловаться словами не смели.

Так вот, глаза, нюх, слух жили и напряженно отыскивали что-то, а что отыскивали, что ловили, слушали — непонятно. И сердце все жалось, жалось куда-то, казалось, вот-вот оно найдет себе уголок и успокоится там либо, наоборот, разорвется, остановится. Но до остановки было еще далеко, а вот до горя и тоски чуть ближе, да лейтенант пока не понимал этого. Он суетливо бегал вокруг машины, возбуждался с каждой минутой все больше, даже потрепал одну из девиц за румяную щеку. «Ну и яблоко!» — воскликнул. Прежде не только дотрагиваться, но и взглянуть вожаделенно на дивчину он не решился бы, и, до глубины души пораженный переменами, происшедшим со взводным за такой короткий срок, комроты Филькин воскликнул патетически:

— Мужаешь, Боря!

Лейтенант собрался ответить другу своему по военному училищу и войне шуткой. Да так и не ответил, не успел — от старой, прогнувшейся хаты, в наспех наброшенном на голову шерстяном платке, в тех самых черных туфлях летела к колонне Люся, и коса металась за ее спиной. Налетела и давай принародно целовать Бориса, затем в машину полезла, солдаты подхватили ее, нарядное желтое платишко затрещало под мышками, туфля свалилась... И солдат, ночевавших в ее доме, всех перецеловала Люся, какие они ей сделались родные, звонко говорила: чтобы лейтенанта берегли — наказывала и сорванно смеялась; чтобы Шкалику больше пить не давали...

Солдаты, ночевавшие в других хатах, завистливо ахали и настойчиво требовали, чтобы им тоже было уделено внимание. Корней Аркадьевич снял с Люси туфлю, вытряхнул снег. Опираясь на плечо Малышева, Люся стояла на одной ноге, отшучивалась от солдатни, то теряла, то находила взглядом Бориса и говорила, говорила, сама себя не слыша.

— Храни тебя бог, дочка! — надев на Люсю туфлю, сказал Корней Аркадьевич, Карышев поправил на ней платок и вскользя погладил по голове.

Машины двинулись резво, будто застоявшиеся кони. Борис притиснул Люсю к груди, расплющил пряжкой полевой сумки ее нос, и она только и чувствовала, как больно носу.

— Лейтенант! Лейтенант! — торопил взводного шофер, сдерживая машину. — Колонна уходит, а я маршрута не знаю.

Что-то с хохотом кричали солдаты с проходивших машин — Раньше бы хоть помолились, — сказала Люся, теребя отвороты его шинели. — Но мы же не верующие. Атеисты мы.. Завыть бы, как в старину, по-бабьи, во весь голос... Но мы же в школе учились. Нельзя!..

— Вот-вот! Только этого еще и недоставало! — оглядываясь на машины, пробормотал Борис, несильно отстраняя ее от себя. — Завыть? Озябла! Ступай!

Он запрыгнул в кабину, саданул железной дверцей и тут же открыл ее, готовый повиниться за неуклюжесть прощания, — наверное, обидел... конечно... разве такие слова... но «студебеккер», сыто заурчав, рванулся с места в карьер — взводного вдавило в спинку сиденья, а Люсю отбросило назад, заволокло дымом, и она осталась в его памяти — потерянная и недоумевающая.

На машинах пели, ухали и подсвистывали сами себе солдаты. В истоптанном снегу еще дымились окурки, кружился над дорогой синеватый бус, а колонна уже взнималась за местечком на косогор, и голова ее подползла к лесу.

— Адрес! — сорвалась и побежала Люся. — Батюшки! Адрес-то!..

Оглушенная, растерянная, она бежала следом за колонной. Да разве машины догонишь...

На опушке соснового бора, равнодушно тихого, в глубь мрачного, того самого, где повесили партизаны чужеземца, так увлекавшегося любовью, тупорылая заморская машина задела кабиной ветку сосны, другую, третью — и снег театральным занавесом упал сверху, закрыв живое и сущее.

Люся остановилась.

Что мог значить адрес? Зачем он? Время помедлило, остановилось на одну ночь и снова побежало, неудержимо, ведя отсчет минутам и часам человеческой жизни. Ночь прошла, укатилась за кромку народившегося дня. Ничего невозможно было поправить и вернуть.

Все было, и все минуло.

Мимо двигалась другая колонна. Бойцы показывали на снег, на хаты, на ноги женщины. Не в силах поднять руку, помахать им, Люся качалась всем телом в поклоне, твердила одно и то же:

— Живые все будьте... Живые все будьте... Живые все будьте...

Вернулась она домой полузамерзшая, совсем обессиленная. Туфли на ней каменно стучали. На волосах лежал снег. Конец намокшей косы намерз и свинцовым грузилом бился в спину. Не раздеваясь, по-щенячьи подвывая, Люся залезла в постель, неосознанно надеясь, что там еще с ночи хранится тепло.

Хату заняли солдаты тыловой части. Пожилой, но молодцеватый сержант, постучав в дверь комнатки, вошел и начал оправдываться:

— Было открыто. Мы думали: хата брошена...

— Живите.

Страхивая туфли с ног, Люся пыталась натянуть на себя одеяло, прижаться к чему-нибудь, зубы у нее стучали, все протяжней, тоньше и придавленной завывала она отверделым ртом. В глазах ее, отдаленно темных, возник переменчивый блеск, изморозь искрила по сухим зрачкам, выело из них зерно, сделались они пустотелыми.

## Часть четвертая

### УСПЕНИЕ

И жизни нет конца,  
И мукам — краю.

*Петрарка*

Подбирая изодранный белый подол, зима поспешно отступала с фронта в северные края. Обнажалась земля, избитая войной, и лечила самое себя солнцем, талой водой, затягивала рубцы и пробоины ворсом зеленой травы. Распускались вербы, брызнули по косогорам фиалки, заискрилась мать-и-мачеха, подснежники острой пулей пробивались наверх. Потянули через окопы отряды птиц, замолкая над фронтом и сбивая строй. Скот выгнали на пастбища. Коровы, козы, овечки выстригали зубами еще мелкую и низкую траву. И не было возле скотины пастухов, а все пастушки школьного и престарелого возраста.

Ветры дули теплые и мокрые. Тоска настигала солдат в окопах, катилась к ним в траншеи вместе с талой водой.

В эту пору и отвели побитый в зимних боях стрелковый полк на формирование. И как только отвели и поставили его в резерв, к замполиту полка явился выветренный, что вобла, лейтенантишка — проситься в отпуск.

Замполиту помстилось: лейтенант шутку какую-то придумал, розыгрыш, и хотел прогнать лейтенанта, однако бездонная горечь в облике парня или что другое удерживало замполита от крутых мер.

Разговор повел с лейтенантом замполит: поговоривши, и сам впал в печаль.

— Та-ак, — после долгого молчания протянул он, дымя деревянной люлькой. И еще протяжней повторил, хмурясь: — Та-а-а-ак. — «Лейтенантишка как лейтенантишка, окопный командир, и награды соответственные: две Красные Звезды, одна уж с отбитой глазурью на луче, медаль «За боевые заслуги». И все-таки было в этом лейтенантишке что-то такое и этакое... Мечтательность в нем угадывалась, романтичность. Романтики — народ порывистый! Они и гибнут в первую голову. Этот вот юный рыцарь печального образа, совершенно уверен-



ный — любят только раз в жизни, и лучше той женщины, с которой он был, нет на свете и не будет, — возьмет да и задаст тягу без спросу, чтобы омыть слезами грудь своей единственной...»

«Н-нд-а-а-а-а! Уматает ведь, нечистый дух!» — горевал замполит, жалея лейтенанта и в то же время радуясь, что не выбило в человеке человеческое. Успел вот когда-то вториться, мучается, тоскует, счастья своего хочет. А если потом в штрафную...

Смутно на душе замполита сделалось, нехорошо. Он поерзал на скрипучей табуретке и еще раз крепкой листовухой набил люльку. Набил, прижег, раскошегарил трубку и совсем уж не по-командирски сказал:

— Ты вот что, парень, не дури-ка!

Тоска прожигала глаза лейтенанта. Никакие слова ничего не могли повернуть в нем. Он что-то уже твердо решил, а что он решил — замполит не знал и повел разговор дальше: про дом, про войну, про второй фронт, надеясь, что по ходу дела сыщется выход какой-нибудь из этого так называемого щекотливого положения. Так оно и получилось.

— Стоп! — замполит даже подпрыгнул и по-футбольному пнул табуретку. — Ты в рубашке родился, Костяев! И тебе везет! Значит, в карты не играй, раз в любви везет!.. — Он вспомнил, что политуправление фронта собирает на краткосрочные курсы молодых политруков. Поскольку многих политруков в полку выбило за время наступления, замполит решил своей властью отрядить на курсы лейтенанта Костяева, затем назначить его политруком в батальоне — парень молодой, начитанный, порох нюхал.

— Сделаешь крюк, но к началу занятий чтобы как штык! Суток тебе там хватит?

— Мне часа хватит. — Лейтенант как будто и не обрадовался. Терпел он долго, минуты своей ждал. И чего сколько в нем за это время перегорело...

— Давай адрес, надо же документы выписать.

— А я не знаю адреса.

— Не зна-а-ае-ешь?!

— Фамплию тоже не знаю. — Лейтенант опустил глаза, призадумался. — Мне иной раз кажется — приснилось все... А иной раз нет...

— Ну ты силе-о-о-он! — с еще большим интересом всмотрелся в лейтенанта замполит. — Как дальше жить-то будешь?

— Проживу как-нибудь.

— Иди давай, антропос! — безнадежно махнул рукой замполит. — Чтобы вечером за пайком явился. Помрешь еще с голодухи...

О чем он думал? На что надеялся? Какие мечты у него были? Встречу придумал — как все получится, какой она будет, эта встреча?

Приедет он в местечко, сядет на скамейку, что неподалеку

от ее дома стоит, меж двух тополей, похожих на веретешки. Скамейку и тополя он запомнил, потому что возле них видел Люсю в последний раз. Он будет сидеть на скамейке до тех пор, пока не выйдет она из хаты. И если пройдет мимо... Он тут же встанет, отправится на станцию и уедет.

Но он все-таки уверял себя — она не пройдет. Остановится. Она спросит: «Борька! Ты удрал с фронта?» И чтобы поугаать ее, он скажет: «Да, удрал! Ради тебя сдесертировал!»

Так вот все и вышло: сидел он на скамейке под тополями, выбросившими концы клейких беловатых листочков, запыленный от сапог до пилотки, и ждал. Люся объявилась с хозяйственной сумкой, надетой на руку, закрыла дверь хаты на замок. Он не отрываясь смотрел, а она приближалась к нему. Диво дивное, в том же платышке желтеньком, в тех же туфлях. Только стоптались и сбились на носках туфли, на платье уже нет черных лент, нарукавнички отлиняли, крылья их мертво обвисли. Тень лежала на глазах Люси, лицо похудело, глаза удалились, сами в себя ушли, коса была все так же старомодно уложена на затылке, Люся старше, строже сделалась.

И прошла мимо, в чем-то неуловимо чужая, строгая эта женщина.

Ничего не оставалось более, как подаваться на станцию, скорее вернуться в часть, отправиться на передовую и погибнуть в бою...

Но Люся замедлила шаги и осторожно, будто у нее болела шея, повернула голову:

— Борька?!

Она дотронулась до него, ошупала лицо, гимнастерку на груди, тонкими и холодными пальцами нашла рубец старой раны под воротничком, задержала на мгновение там пальцы, затем обеими руками обхватила его лицо, услышала ладонями короткие колючки уже крепнувшей, мужицкой щетины и сказала:

— В самом деле Борька!

Так и не снявши сумку с руки, она сползла к ногам лейтенанта и древним, самым что ни на есть языческим манером припала к его обуви, иступленно целуя пыльные, разбитые в дороге сапоги...

\* \* \*

Но ничего этого не было и быть не могло. Стрелковый полк не отводили на переформировку, его пополняли на ходу, и Борис терял людей, не успевая к иным солдатам даже и привыкнуть, топал и топал вперед со своим взводом и оказался уже в Западной Украине.

По весне снова заболел куриной слепотой Шкалик, отослан был на излечение и оставлен работать при госпитале, чему взводный радовался. Да вот днями прибыл на передовую Шкалик, сияет — к своим, видите ли, попал.

Недавно появился на передовой капитан из какого-то штабного отдела, молодой еще, но важный, родом из города Ростова. Он принес весть о жалованье. Солдаты шумно изумлялись — им, оказывается, идет жалованье! Расписались сразу за прошедшие зимние месяцы, жертвуя деньги в фонд обороны.

Капитан пострелял из снайперской винтовки по противнику и даже в легкую атаку на село сходил, занявши которое, солдаты подшибли гуся, якобы отбившегося от перелетной стаи.

Пафнутьев попотчевал и капитана гусятинкой. Он притирался к капитану, таскал его багажишко, выкопал для него отдельную шель, принес туда соломки и вовремя поинтересовался: «Может, еще покушаете, товарищ капитан? Может, вам умыться наладить?» Отведавший тыловой жизни, кум-пожарник норовил с передовой убраться, а то еще, чего доброго, ненароком убьют, хоть он и ловок и хитер, да пуля-то дурная. И не устоял капитан, увел с собой Пафнутьева. «Кума с возу — кобыле легче!» — сказали во взводе.

Во время затиший Пафнутьев навещал родную пехоту, угощал солдат папиросами из Военторга. Поболтав о том о сем, поотиравшись на переднем крае, он увлакивал узел с немецкими одеялами, плащ-палатками, сапогами. Трофейное барахлишко — догадывались солдаты — Пафнутьев менял и загонал мирному населению.

Однажды Мохнаков мрачно бухнул Пафнутьеву:

— Ты вот что, хитрован! Или выписывайся из взвода, или бери лопату и вкалывай до победного конца! Уж двадцать лет, как у нас холуев нет!

— Холуев, конечно, уж двадцать лет как нет, — охотно согласился Пафнутьев и, не вступая в пререкания со старшиной, поучительно продолжал: — Но вот товарищ капитан не умеют ни стирать, ни варить. Кто им должен принаравливать? Антиллигент они. — Докурив папироску, Пафнутьев поглядел на нейтральную полосу, за которой темнели немецкие окопы, — накануне ночью здесь была разведка боем. — Штрафников-то, штрафников-то полегло! — захохотал Пафнутьев. — Грех да беда не по лесу ходят, все по народу... Хуже нет разведки боем. Все по тебе палат, как по зайцу...

Мохнаков собрал в горсть гимнастерку на груди Пафнутьева, придавил его к стене траншеи так, что у кума-пожарника глаза на лоб полезли.

— Намек твой понял. — Старшина подкинул вверх, поймал гранату-лимонку и дал ее понюхать Пафнутьеву. — А ты мой?

— Как не понять! Ты так выразительно все объяснил...

— Тогда запыхивай отсюда!

Пафнутьев мял папироску суетными пальцами. Закурив, ту-по уставился на трофейную зажигалку, излаженную в виде голый бабы со всеми ее предметами и подробностями. Огонь у нее высекался промеж ног.

— Я-то запыху. Да еще как запыху! — убирая зажигалку

в нагрудный карман, нудил Пафнутьев. — Как бы ты вот вместе с лейтенантиком не запыхил, токо в обратную сторону, туда вон... — кивнул он головой на нейтралку, где мокли под дождем наши убитые бойцы.

На другой же день в расположение взвода лейтенанта Костяева, сопровождаемый неприступно важным ординарцем, пожаловал ростовский капитан. Опять он был общителен, заботлив, выпрашивал о нуждах, сулился их ликвидировать и между прочим, как бы невзначай интересовался: не состоял ли командир взвода и старшина Мохнаков в связи с женщиной, которая была под оккупацией, держала квартиранта-фашиста и даже с генералом у нее будто бы шашни водились.

«Пафнутьев-стервоза обработку переднего края начал! — отметил старшина. — Ну я продолжу с ним беседу наедине, еще выразительней объясню обстановку...»

Но объяснение в том виде, в каком намечал его Мохнаков, не состоялось. Война вносила свои объяснения и поправки в каждую минуту жизни на фронте и по-своему распоряжалась судьбами людей.

Наступление, начатое зимой, продолжалось, но войско уже катилось вперед только по инерции, напор его ослаб, движение замедлялось, шаг сбился. Части переднего края вели бои местного значения, улучшали позиции перед тем, как стать в долготу оборону.

Из штаба полка было приказано взводу Костяева разведать хутор с разоренным и одичало заросшим птичником за околицей и, если возможно, захватить высотку справа от хутора, господствующую, как говорится в военных донесениях, над местностью. Мохнаков весь день торчал в ячейке боевого охранения с биноклем — высматривал, вынюхивал — и ночью, тихонько ликвидировав ракетчиков и боевое охранение немцев, пробрался с отделением автоматчиков в хутор, поднял пальбу, грохот там такой, будто хуторский птичник ожил, захлопались, заорали на нем безнаказанно съеденные немцами индюки и индюшки. Словом, хутор фрицы в панике бросили.

Автоматчики забрались в избы, от которых тянулись ходы сообщения на высотку; шарились в брошенных ранцах, говорили: «Вот Пафнутьеву будет нажива!» — дружно радовались тому, что копать не надо. На высотке брошен живехонькой наблюдательный пункт, даже печка топилась в блиндаже и телефон оказался неотьединенным. «Гитлер — капут!» — орали в трубку ликующие от удачи бойцы. С другой стороны им отвечали: «Руссиш швайне!» Вырывая друг у дружки трубку, автоматчики лаяли немцев, дразнили их, пробовали петь похабные песни с политическим уклоном.

Противник не выдержал полемики, отцепил телефон, пообещав сделать «иванам» «гросскапут». Тут как тут явились на отвоєванный НП артиллеристы и выперли веселую пехоту из уютного блиндажа. Коря артиллеристов — вечно, мордоплюи, лезут на готовенькое, — автоматчики подались в хутор и на-

чали варить картошку, сожалея, что не осталось ни одного индюка на ферме — всех сожрал вражина оккупант, — возбужденно рассказывая друг другу о том, как остроумно беседовали они с фрицем по телефону.

Для взаимодействия и связи с артиллеристами на высоте остались Мохнаков и Карышев. Утром установлено было, что весь скат высоты, низина за огородами хутора, да и сами огороды с зимы минированы, даже полуразвалившийся индюшатник и тот минирован — еще один оборонительный вал соорудили немцы.

Около полудня появился в поле боец и попер к высоте напропалую, по минированной заболоченной низинке, среди которой бодро светился неглубокий тай в кляксах раскисших кочек.

— Кого это черти волокут? — Карышев приложил ко лбу руку козырьком.

Старшина повернул стереотрубу, припал к окулярам.

— Сапер запыхивает! — почему-то недобро усмехнулся он и еще что-то хотел добавить, но в низине хлопнуло вроде бы как дверью в пустой избе, подпрыгнула и ошметками развалилась кочка, выплеснулся желтый дымок.

— А-а-ай! Мамочка-а-а! — донеслось до окопа. Карышев, тужась слухом, всполошенно хлопнул себя по смятым галифе:

— Тошно мне! Это ведь Пафнутьев! — и заругался: — Какие тебя лешаки сюда ташыли, окайного? Трофеи унюхал, трофеи?!

— А-а-ай! А-а-а-ай! Помоги-и-и-те-е-е-е! Помоги-и-и-и-те-е-е-е!

Карышев перестал ругаться, засопел и мешковато полез из окопа. Старшина схватил его за ремень, сдернул в окоп:

— Куда прешь, орясина! Жить надоело?

Старшина обшарил в артиллерийскую стереотрубу всю низину. Была она в плесневелых листьях, на кочках серели расчесы прошлогоднего вейника, колоски щучки и белоуса; всходы калужника белыми зубьями прогрызались вокруг тая, всю низину прокололи иголки свежо зеленеющего резуна. В кочках, разбрызгивая воду и грязь, бился Пафнутьев и все кричал, кричал, а над ним крутился запыленно, свистел и кыркал болотный кулик-носарь.

— Будь здесь! — наказал старшина Карышеву, а сам юрко, приплюснуто вылез из окопа, погребся вперед, коротко выбрасывая согнутые руки. Отполз за высоту, поднялся, и, расчетливо осматриваясь, выверяя каждый шаг, будто на глухарином току, двинулся к болоту. Его атаковали чибисы, стонали, вихлялись возле лица.

— Кшить, дураки! Кшить! — Старшина утирал рукавом пот с лица. — Рванет, так узнаете!

Он добрался до Пафнутьева, вытянул его из размешанной грязи. Ноги Пафнутьева до пахов были изорваны противопехотной миной. Трава от взрыва побелела, пахла порченным чесноком. Мохнаков неожиданно вспомнил, как дочка его, теперь уже невеста, отдававши первый раз в жизни колбасы, всех по-

том уверяла: чеснок пахнет колбасой. Дети, семья так редко и всегда почему-то внезапно вспоминались Мохнакову, что он непроизвольно улыбнулся драгоценному озарению. Пафнутьев перестал кричать, испугавшись загадочной улыбки Мохнакова.

— Не бойсь! — буркнул старшина. — На вот, кури! — Засунув сигарету в рот солдата, старшина похлопал себя по карманам — спички где-то обронил. Пафнутьев суетливо полез в нагрудный карман — там у него хранилась заветная зажигалка.

— Возьми зажигалку — на память.

— Упаси нас бог от тебя и от твоей памяти...

— Прощенья прошу, Николай Василич, — запричитал Пафнутьев. — Гадюка я, гадюка! Наклепал на товарища лейтенанта и... на тебя...

— Его-то зачем? Ну я, скажем, злодей. А его-то?..

Перевязывать было много и неловко. Старшина вынул из кармана еще один пакет, разорвал зубами. Пафнутьев все причитал, каялся.

— Не ори! В ушах аж сверлит! — прикрикнул старшина. — Люди на войне братством живы, так-то...

— Выташшы, Николай Василич! Ребятишки у меня, Зойка! Сам семейный. Всю жизнь... молить всю жизнь... — Пафнутьев пискнул, захлебнулся и умолк: старшина туго-натуго пригнул к паху его порванную мошонку — частое и самое опасное повреждение от пехотной мины. «Чтобы не укатилось чего куда...» — мрачно пошутил про себя Мохнаков, взваливая на загорбок податливо-разваленную тушу солдата.

В траншее наладнили носилки из жердей и плащпалатки. Перед тем как нести Пафнутьева, влили ему в рот глоток водки. Он поперхнулся, открыл захлестнутые плывущим жаром глаза, узнал Бориса, Карышева и Малышева.

— Простите, братцы! — Пафнутьев отвалился, прикрыл лицо рукой. Кадык его, редко утыканный рыжей щетиной, заходил челноком.

Карышев и Малышев подняли носилки. Борис проводил их взглядом за тай. Старшина чего-то недовольно бубнил, оттирая гимнастерку и штаны.

\* \* \*

Досадный был кум-пожарник Пафнутьев, притчеватый, как называли его алтайцы, и пострадали за него, притчеватого.

Доставив Пафнутьева живым до санбата, они возвращались на передовую и уже подходили к хутору, утомленные ношей, утратившие осторожность, как вдруг без эха ударил выстрел.

Карышев сделал шаг, второй все с тем же ощущением в душе благодати деревенского вечера. И не выстрел, нет, воспринял он, а с отяжкой шелкнувший бич — деревенский пастух гнал из-за поскотины, с первой травки залежавшихся в зимних парных стайках коров и с наслаждением, с удовольстви-

ем хлопал на всю деревню бичом, который саморучно сплел он зимой и в конец вставил щетину, чтоб ахало, как из ружья.

Ноги солдата уже подламывались в колеях, а он все еще видел избы, тополя, резко очерченные в предсумерье, жиденькую, еще не наспелую вечерницу-зорьку с прозеленью, полоскающуюся в светлом тае, замершего на одной ножке кулика, чернеющего на кочке, увеличенно отраженного в воде тая, дальше лес, тайга должна быть, и за нею горы. Но взгляду было вольно, взгляд ни во что не уперся — черной полосой перепоясало землю впереди и взгляд не смог преодолеть этой узкой и черной полосы. Она ремнем стеганула по глазам Карышева и, как в запасном полку когда-то, туго стянула ремнем его полное, крестьянское, к мундирам и застежкам непривычное тело. Он утягивал живот, уж за последнюю дырку дело пошло, но его все стягивало, и не в поясе, а по груди, и так стягивало, так стягивало, что хрустнули кости груди, дыхание сперло. Карышев пробовал глубоко вдохнуть воздух, распрямить сматую грудь, но вместо воздуха ощутило полетело на него и в него небо, начала опрокидываться земля, ссылая на голову дома, деревья... Карышев невольно загородился руками...

— Ку-у-у-ум! — дико закричал Малышев, подхватывая рухнувшего земляка.

— Западите! Западите! — По траншее спешил Мохнаков.

Карышев и Малышев — опытные вояки, поняли его, запали в кочки, чтобы снайпер не добил.

Пуля угодила Карышеву под правый сосок, искорежив угол гвардейского значка. Он был еще жив, когда его выволокли из болотца, доставили в придел хуторского индюшника, но нести себя в санбат не разрешил.

— Уби-тый я, — прерывисто схлебывая воздух, произнес он.

Малышев старался подложить под голову и спину Карышева чего-нибудь помягче, чтобы легче было дышать земляку, вытирал ладонью вспыхивающую на губах красную пену и все насыщался:

— Попьешь, может, кум? Может, чего надо? Ты не терпи, ты спрашивай... — Губы Малышева разводило, и лицо его было серое, а лысина почему-то грязная. Весь он сузился, исхудал разом, сделалось заметно, какой он пожилой человек.

Борис махнул рукой, чтобы бойцы уходили из помещения, и все понуру ушли. Встав на колени перед Карышевым, взводный поправил солому под ним и затих, не зная, что сказать, что сделать. Тонкий, протяжный звук донесся словно из телефонного зуммера — это Малышев зашелся и, стараясь придать в себе плач, сверлил уши и сердце этим пронзительным, осинным звуком.

Карышев отходил. Он прижмурил глаза с уже округлившимися глазницами, открыл их, сказав этим лейтенанту «прощай», и перевел взгляд на кума. Борис понял: ему надо уходить. Взводный распрямился и не услышал под собою ног.

— Моих-то...

— Да эб чем ты, об чем! — перебил Карышева его друг. — Не сумлевайся ты в смертный час! — И, по-деревенски причитая, как бы выкашливая слова, горько и деловито продолжал: — Твоя семья — моя семья... Да как же мне жить-то теперича-а-а! Зачем мне жить-то?.. — сорвался он вдруг с заботливо-делового тона.

Борис шагнул в темноту, нащупал перед собою стойку или столб, уперся лбом в его холодную твердь и, ровно бы грозя кому, повторял: «Вот так умеют умирать русские люди! Вот так!..»

В хуторе тихо. За развалинами индюшатника реденько и меланхолично всплывали ракеты, выхватывая мертвым светом из темноты кипы садов, белые затаившиеся хатки и уткнувшиеся в небо утесами придорожные тополя.

— Преставился.

Борис прижал Малышева к себе и почему-то начал гладить его по голой, прохладной голове. Шумно работая носом, Малышев рассказывал, как жили они душа в душу с кумом до фронта: женились в один день; в колхоз записались разом. Бывало, гуляют, так кум домой утайкой волокется, а он, Малышев, дурак такой, орет на всю улицу: «Отворяйте ворота, да поширше!..»

Ночью, без шума, без лишней возни, под звездами схоронили Карышева, сделали крест из жердей, и последний приют алтайского крестьянина впору пришелся на одичалом хуторском погосте, реденько заселенном разномастными крестами и камнями с непонятной вязью слов, придавившими чьи-то древние могилы. Кусты бузины клубились на закрайках погоста, низкий колючий терновник, уже набравший цвет, окаймлял его вместо ограды. С единственного старого дерева, стоявшего средь могил, шарахнулась в темноту зловещая птица.

На этом же кладбище были три свежих креста с надетыми на них рогатыми касками. Малышев, возвращаясь в хутор, с глухим рычанием бросился на тополевые кресты, пустившие побеги, выворотил их и побросал за ограду, туда же запустил и ржавые каски; они громко звякнули в темноте, высекли искры из камней.

\* \* \*

Замкнулся, умолк, совсем отделился от людей Мохнаков. От висков, из-за ушей прострелили его лицо пучки морщин. Рот стянуло, губы потрескались. Ходил он недовко, будто прихватило морозом мокрые втоки. Спал мало, ел плохо, не пил совсем, курил только беспрестанно да военное дело выполнял с юностью — искал смерти.

Но и смерть его сторонилась.

Раздобыл Мохнаков чистое белье и новый вещмешок. Белье надел, а вещмешок упрята в ячейке. В мешке было что-то круглое, похожее на домашний каравай хлеба, но солдаты раз-



нюхали — в мешке противотанковая мина. Зачем она старшина — гадали.

Не отбив сгоряча дуриком занятую высотку и хутор, немцы бросили в атаку танки. Артиллеристы ударили по танкам, одни повредили, а остальные рванули к окопам и достигли высотки. Пэтээрщики, побухав из ружей по лобовой броне танков, пали на дно ячеек носом в грязную землю.

Танки навалились утюжить траншею. Старшина Мохнаков не отрывался от стереотрубы.

Окутанный пылью, резво брэнча левой, ослабевшей гусеницей и покачивая пушкой с надульником, лез к наблюдательному пункту, в коростах и швах сварки, тяжелый танк. На лобовой броне его взблескивали цапины, краска отваливалась лоскутьями, будто годовалая шкура с пестрой змеи.

Давно воюет машина, умелый в ней водитель, маневрирует смело, в пыль прячется, боков не подставляет. Такой за десяток наработает...

Мохнаков надел вещмешок за спину, затынулся в последний раз от толстой сигарки, притоптал окурок, прощально огляделся вокруг из-под лба, секунду постоял, не отрывая взгляда от бруствера окопа, словно наблюдая, как, потревоженные, сыплются с него комья и струится все гуще серый прах, или вслушиваясь в землю, во все нарастающий из нее гул. «Запыживай, паря!» — встряхнулся Мохнаков и резко выскочил из окопа.

Он подпустил машину так близко, что водитель отшатнулся, увидев в открытый люк вынырнувшего из дыма и пыли человека. Старшина тоже увидел оплавленное лицо врага — голос, в детской розовой коже, без бровей, без ресниц, с красно вывернутым веком, отчего глаза казались ошкуренными, косыми. Горел водитель, и не раз горел.

Они смотрели друг на друга всего лишь мгновение, но по предсмертному ужасу, мелькнувшему в изуродованном глазу водителя, Мохнаков угадал — немец понял все; опытные тем и отличаются от неопытных, что лучше умеют угадать меру опасности, грозящей им.

Танк дернулся, затормозил, визжа железом. Но его несло, неумолимо ташило вперед, и русский, загородив руками лицо, зажав глаза пальцами, что-то прошепав, упал под гусеницу. От взрыва противотанковой мины старая боевая машина треснула по недавно сделанному шву. Траки гусеницы забросило аж в траншею.

А там, где ложился под танк старшина Мохнаков, осталась воронка с испепеленной по краям землею и черными стерженьками стерни. Тело старшины вместе с выгоревшим на войне сердцем разнесло по высотке, туманящейся с солнечного бока зеленью.

В полевой сумке старшины, оставленной на НП, обнаружились награды, приколотые к бязевой тряпочке, и записка командиру взвода. Просил его старшина позаботиться о жене

и детях. Адрес: «Райцентр Мотыгино, улица Мыльная, номер дома...»

Но в тот же день командира взвода, Бориса Костяева, самого ранило в правое плечо осколком мины. Он почти сутки еще просидел в земляной норке на изопревшей соломе, баюкая прибинтованную к туловищу руку, налитую синенькой краской и клейковато заблестевшую. Замениться нечем — помкомвзвода не стало, младших командиров выбило за весеннее наступление, Ланцова Корнея Аркадьевича забрали в армейскую газету. Из старых солдат остались во взводе Малышев да Шкалик.

Усталые, издерганные боями, вымазанные окопной глиной солдаты, большей частью вернувшиеся из госпиталей или собранные по украинским селам, из-за распутицы питающиеся чем попало, привычно и безропотно вели свои будничные фронтовые дела, изредка заглядывая ко взводному в норку, и не за распоряжениями, а просто узнать — не надо ли чего ему?

Вечером дежурный по взводу сунул в щель котелок, оставил на тряпочке ржаную лепешку собственной выпечки. Борис прилепился к теплему ободку котелка, частыми глотками отхлебывал кипяток, заправленный лежалыми буряками. Лепешка хрустела на зубах. Солдаты толкли прикладами прошлогоднее зерно и пекли лепехи на саперных лопатках. Через силу домалывал Борис зубами затхловатое, крупнодробленое, склеенное в лепешку зерно, заставляя себя изжевать ее всю до крошечки — солдаты от себя последнее оторвали, — что-что, а уважать фронтовое братство он выучился.

Промочив спекшееся горло остатками свекольного чая, Борис свернулся в сырой щели. Трудился какой-то жук-землерой, обывкавший после холодов. Комочки сыпались Борису на лицо, закатывались в ухо.

Наутро неистребимый, заросший малопородистой бородою командир роты Филькин привел во взвод пополнение — человек пятнадцать солдатиков двадцать пятого года рождения, и с ними младшего лейтенанта, только что прибывшего из уральского военного училища.

Борис распрощался со взводом, пожелал новому командиру, с комсомольским значком на гимнастерке, долгой жизни и дружбы с солдатами.

Филькин бережно обнял взводного, по спине похлопал:

— Я буду ждать тебя, Боря!

В дороге лейтенанта нагнала повозка. На ней стоял, бойко мотая вожжами, Шкалик, отъездивший в госпитале, очень всем довольный, особенно тем, что сумели солдаты раздобыть повозку — выбросили пустые ящики, столкнули наземь ездового и велели догонять раненого товарища командира взвода.

С радостью забрался лейтенант в повозку, ткнулся лицом в мышами пахнущую солому. Его подбрасывало на выбоинах и катало по повозке, когда она заваливалась в глубокие, танками прорытые колдобины, но он все равно дремал, отупев от боли и усталости.

Шкалик, чмокая губами, шлепал кривоногую лошадь вожжами по бокам и все рассказывал, как они ловко заполучили повозку, как повозочный хватался за оружие, но потом, когда ему дали лепешек и чаю из буряков, а товарищ командир роты угостил легким табаком, повозочный утешился.

В грязном, размешанном логу повозка завязла. Борис пробовал помочь Шкалику, да силенок у того и у другого оказалось маловато. Шкалик крикнул: «Я чпчас, товарищ лейтенант!» — и прытко побежал впереди лошади, часто дергая ее за узду.

Лошадь, скрипя колесами, пошла в объезд, миновала образовавшуюся середь лога бочажину, утыканную ломью жердей, засоренную раскрошенным, растертым деревом. Уронив голову, Борис сидел по другую сторону лога, спиною привалившись к стволу ветлы, изорванной колесами, слушал, как трещит кустами лошадь, как Шкалик понукает ее, кричит громко: «Н-но, гадина такая!» — и сорит матюками вполголоса, полагая, что товарищ лейтенант его не слышит.

Из леса сквозило оттаявшей корой, соком почек, и лицо оведало едва ощутимым, неуверенным еще теплом, а по логу и по земле реял холодный полумрак. От мерцающих в глубь леса посеревших снегов настаивался этот морок и холодный туман, и было в лесу сыро, непролазно и покойно, а вверху, где уже царствовало тепло, тренькали птицы, жужжал крыльями бекас. Внезапно лесную полутьму разорвало пламенем, настоявшуюся тишину развалило грохотом, по логу за клубился желтый, кислый дым. Кашляя, давясь удушьем, взводный слепо ринулся в лог. Перед ним, ломая чашу, рухнуло и покатилося колесо от телеги, из редящего дыма выпадало и шлепалось в грязь что-то мягкое, ударяя в голову запахом парной крови и взрывчатки.

Шкалик был всегда беспечен. Но он-то, он, окопный командир, ванька-взводный, с собачьим уже чутьем, почему позволил себе расслабиться и не почувствовал опасности? Вон же они, рядом стоят дощечки с намалеванным черепом — ограждение минеров. Что это с ним? Отчего отерпло и притупилось в нем все, чем держится человек в этой жизни?

— Бедный, бедный мальчик! — сказал, а может, только подумал Борис и потер распухшие, зудящие веки. Не зная, что делать, он постоял еще, оглядываясь по сторонам, словно бы запоминая это безлюдное, неприметное место, истерзанное гусеницами, колесами, изрытое воронками, и побрел мерклым лесом, в гуще которого, умолкшие на время, снова зачулюкали, запели весенние птицы, к санбату, полуглухой, надсаженный.

Больно ему было от раны, ело глаза окисью взрывчатки, а страдания в сердце не было. Только там, в выветренном, почти уже пустом нутре, поднялось что-то, толкнулось в грудь и оборвалось в устоявшуюся боль и дополнило ее свинцовой каплей.

Нести свою душу Борису сделалось еще тяжелее.

...В санбате оказалось народу густо. Офицеров на перевязку вызывали вперед. Но Борис по окопной привычке — везде быть с солдатами — забрался в общую очередь и все пропускал тех солдат, которые казались ему тяжелее его ранеными. На стол он попал спустя сутки.

Неповоротливая и молчаливая медсестра не стала отмачивать толщу рыжих бинтов на плече Бориса, отодрала их, ссохшиеся в фанеру, со скрипом, промокнула тампоном ударившую из раны кровь, дала ему белую таблетку, оглянувшись воровато и сама съела такую же. Бориса начало укутывать кудельно-волоконистым сном, у сестры тоже затуманились глаза.

Врач в старомодных очках с позолоченной оправой, за которой остро и сердито мерцали влажные глаза, расшевелил Бориса, постучав его по плечу кулаком, спросил, где отдается боль. «Не знаю», — вяло и отдаленно вымолвил лейтенант, потому что боль эхом отозвалась во всем теле. Врач озадаченно глянул на больного.

— Наклюкаться-то где успел, сердечный?! — потыкал в рану зондом.

Кровь потекла бойчее, зашекотала струйкой спину, живот. Бориса понесло со стола. Ему сделали укол, потеряли виски нашатырным спиртом и разрезали плечо крест-накрест.

Через неделю, от силы через две, заверила лейтенанта старшая сестра санбата, он снова будет в строю. «Что-то тут не так, — подумалось Борису, — ранение в плечо привередливо; при нем ни тряхнуться, ни ворохнуться, и заживает трудно оттого, что суставное место — плечо, — но подумалось тоже вяло и как-то безразлично: — Не все ли равно, где валяться, лишь бы покойно было». Борис не горлопанил, не ругался, эвакуации не требовал. Привыкнув к боли, просто лежал в палатке или ехал в санбатовской машине, глядел на все, чаще в небо, на мешанину облаков, и жалостный, устойчивый покой пеленал его младенческой полудремою.

В солнечный незнойный день, когда из лесу тянуло уже совсем явственно и густо треснувшими почками, боровыми подснежниками, а из логов, где еще среди обмылки сугробов, — талой водой и горьковато-медовым запахом цветущей ивы, Борис выполз из палатки в бельишке, зашитом вниз по животу, и, бросив чиненое одеяло, опустился на него. Он сидел, прислонившись к чешуйчатому стволу дерева, названия которого не знал, и хорошо ему было. Деловито жужжа, вспыхивая крыльями на солнце, полосами тянули пчелы, оседая на распутившийся ивняк. Ивы гудели и шевелились от пчел, казалось, они курились, разбрасывая искры по сторонам. Под хмельное гудение пчел, переклик пичужек, возившихся над головой, под трещание аиста, который ходил по полю, пьяно качаясь, замараивая на одной ноге, пуская клювом автоматные очереди в небо, под умиротворенный весенний шум, совсем непохожий на буйство вешней Сибири, Борис задремал.

Он слышал все звуки, чувствовал, как холодит сквозь одея-

ло еще только сверху отмякшая земля, токи ее слышал, рост нарождающейся травы и в то же время ровно бы ничего не слышал, ровно бы все, что происходило вокруг, откликалось не в нем, а в другом каком-то человеке.

Что-то коснулось руки, зашекотало ее. Борис разлепил глаза. По запястью ползла узорчатая бабочка и с серьезностью молодого фельдшера ощупывала усиками зашелушившуюся от мыла кожу.

Борис глядел-глядел на сторожкую бабочку и увидел черные крылышки на рукавах желтого платья, окно в морозных узорах...

— Лю-у-у-ся-а-а-а!

Бабочка сорвалась с руки, села на синеватую былку нераспустившегося цветка.

— Лю-у-у-ся-а-а-а!

Бабочка прилипла к голотелому стеблю, похожему на бескровную человеческую жилу, дышала крыльями, готовая вот-вот взлететь.

— Больной, ты не видел Люсю?

Борис, глупенько улыбаясь, уставился на коротконогую женщину с новым цинковым ведром на сгибе руки.

— Повариху не видел, спрашиваю?

Он силился что-то понять.

— Ты што? Совсем уж того? — посверлила женщина пальцем висок. — Повариху не помнишь, которая тебя каждый день по три раза столует?

Бабочка успела улететь.

— Ничего я не помню, — с досадой отвернулся лейтенант.

— Оно и видно! — Женщина покатила на коротких ногах к ручью, заорала еще громче: — Лю-у-у-ся-а-а-а-а! Куда тебя черти унесли?

— Люся, куда тебя черти унесли? — Борис ткнулся лицом в пахнущее больницей одеяло. — Лю-у-у-ся-а-а! Да была ли ты, Люся? Была ли?..

Он грудью ощущал, как из земли равнодушно текло в него едва ощутимое ее дыхание, и тоска его, и слабый бунт — ни помеха, ни помощь земле. Она занята своим вековечным делом. Она на сносях, готовится рожать и, как всякая роженица, вслушивается только в себя, в жизнь, шевелящуюся в недре, и до него, выдохшегося человекишки, нет ей никакого дела — она вечна, а он мимолетный гость на ней.

На очередном обходе главный врач санбата осмотрел Бориса, поворачивая его то передом, то задом, постучал кулаком под правой лопаткой и, заметив, что лейтенант сморщился, сурово спросил:

— Болит?

Борис опустил голову:

— Болит.

Врач через очки бодуче смотрел на него, неторопливо свертывая кровянисто-багровые жилы фонендоскопа на руку:

— Подзадержались вы у нас, подзадержались...

Борис уловил в голосе врача неприязнь и плохо спрятанное подозрение. Послышалось угодливое хихиканье той самой коротконогой санитарки, что искала повариху Люсю.

— У нас тут не курорт, а санбат! У нас каждое место на счёту... — напористо заговорила старшая сестра, святоликая женщина с милосердными глазами, так опрометчиво определившая лейтенанту две недели на излечение, а он вот не оправдал ее надежд, лежит и лежит себе.

Распятый на казенной койке, лейтенант беспомощно улыбался. На его глазах однажды сибирский веселый пареван добивал гаечным ключом подраненную утку. Захлебываясь кровью, бурля вопиющим горлом, утка судорожно царапалась о дно лодки, а пареван долбил и долбил ее железом по голове. Даже тупой звук удара по кости, обтянутой пером, вспомнился Борису.

Да-а, выходит, он занимает чье-то место, понапрасну жрет чей-то хлеб, дышит чьим-то воздухом и так вот увальнем лежит, тогда как они вот, настоящие люди, сражаются в это время за него.

Сдерживая занявшуюся ярость, Борис негромко сказал:

— Так выбросьте... на помойку...

Сестру, избалованную лестью, властью и мужицким вниманием, передернуло. У врача смятенно забегали глаза. Немолодой, заезженный войною, врач этот побаивался старшей сестры по известным всему санбату причинам. Не одного еще такого вот мямлю-мужика обрабатывает такая вот святоликая боевая подруга. Удобно устраиваясь на жительство, разведет его с семьей, увезет с собою после войны в южный городок, где сытно и тепло, да и помыкать простофилей будет лет еще десять — двадцать, пока тот не помрет с досады.

— Я не хочу вашего двоедушного милосердия! — глядя прямо в надменный лик сестры, резко бросил Борис и, вовсе уж задушенный яростью, добавил: — Уходите! Иначе я сорву с себя ваши бинты...

— Попробуй! — начала старшая сестра.

— Уходите!..

Врач, умоляюще глядя на старшую сестру, теснил следовавшую за ним челядь к дверям.

— Успокойтесь, успокойтесь!..

— Привязать героя к койке! Сделать укол! — громко, чтобы слышно было раненым в других палатках, объявила старшая сестра.

«И это тоже женщина?!» — чувствуя, как опадает гнев, опустошенно спрашивал себя Борис.

— Вот, достукался!.. — проворчал кто-то из раненых. — Через тебя и нам жизни не даст, зажрагая пэпэжэ. Поискать такую змеищу!..

— А ну, герой!

С Бориса сдернули одеяло. Дежурная сестра наполненным

шприцем целилась в него, сжимая в пальцах левой руки смоченную ватку. Лейтенант покорно подставил себя под укол.

— Не надо привязывать. Пожалуйста...

Украдкой прикрыв его одеялом, дежурная сестра громко сказала в приемной палатке, что все она исполнила, как велено было. Так-то, мол, оно надежней. Распустились, понимаешь, эти раненные, спасу нет.

Отмякший от укола, уже слипающимся сознанием Борис отметил: «Да, и это вот тоже женщина...»

Проснулся он вялый, совсем обессиленный. На улице капал дождь, цыпушкою поклевывая палатку. Дальний шум леса слышался, шуршание ползущего по оврагам снега, голос кукушки...

Поздней ночью в палатку завернул главный врач медсанбата. Был он в шинели, в пилотке, осевшей до ушей. Голенища сапог на нем глянцевиито блестели, к мокрым передкам пристали прошлогодние истлевшие листья. Видать, по лесу гулял человек, обдумывал семейную жизнь. После нервной вспышки Борису виделось, слышалось и чувствовалось обостренней.

— Не спите? — Убрав полу сырой шинели, врач присел на кровать лейтенанта, протер очки и объявил сухо: — Я назначил вас на эвакуацию. — После долгой паузы он покрывил губы в беловатых шрамах: — Души и остеомиелиты в походных условиях не лечат. — И грустно добавил: — А милосердие, надо вам заметить, всегда двоедушно! На войне особенно...

Врачу хотелось поговорить, но Борис отчужденно молчал, дожидаясь, когда он уйдет. Дождь сгущался, стучал по палатке монотонно, однозвучно, усыпляюще.

— Развезет дорогу совсем, — вслух подумал врач и встал, горбясь в низкой палатке. — Вот что я вам посоветую: не отдаляйтесь от людей и принимайте мир таким, каков пока он есть, иначе вас раздавит одиночество, оно страшнее войны...

На улице врач постоял. Донесло щелчок фонарика, затем вздох, и вот уже мягкие, расползающиеся шаги напрочь поглотила ночь.

Покойно в палатке. Дождь и дыхание раненых уплотняли этот покой. Борис смежил глаза и притих в себе, довольный тем, что все его оставили и он может лежать, ни о чем не думая, ничем не томясь, а главное, не напрягая себя, свою волю, силу, чтобы жить дальше. Зачем? Для чего? Убивать или быть убитым? Не-ет, не-ет, нет! Хватит! Чтобы победить и вернуться домой? Но победят и без него, это уж теперь совершенно ясно, да не скоро победят. А у него нет ни сил, ни духу, весь пар из него вышел, душа и тело выболели, устали...

Ну а отец с матерью? И это: «Вот так умеют умирать русские люди!..» «Да, конечно, папа с мамой. Им будет тяжело. Очень. Но поздно или рано я все равно ушел бы от них, отделился б для другой жизни. Так не все ли равно...» Тут же, настойчиво, четко, словно высвеченное праздничными огнями,

всплывало короткое, всего из двух слогов состоящее «Лю-ся!», и Борис какое-то время просто держал перед собою эти два высвеченных слога, не оправдываясь перед ними, но и не вникая в их смысл, не пуская себя, мысль свою дальше этой празднично высвеченной вывески...

И ему удалось защититься, приучить себя к тому, что имя это виделось ему с детства, в дивном сне и сон продолжается, тихий, уютный сон, которому не обязательно сбываться, ибо он и так прекрасен...

Ну а что касается «так умеют!..» — так мало ли кто как умеет! И мало ли слов он в жизни извел пустых и красивых. «Смерть, как и жизнь, у каждого своя. Человек свободен в выборе смерти, может быть, в этом только и свободен...» Это еще откуда? Где это слышал Борис? По какому поводу сказаны были эти слова? А-а...

«Да ну их, слова, мысли, — мученье от них одно. Не хочу ничего вспоминать, ни о чем думать не хочу!» И ему все чаще удавалось затаиться в себе, жить отдельно ото всех, как бы в невесомости: куда его тащило — туда и тянулся, что с ним делалось, с тем он и соглашался, даже с медперсоналом он больше никогда не ссорился, никому не перечил. Зачем? Для чего?

Жажда жизни рождает неслыханную стойкость — человек может перебороть неволю, голод, увечье, смерть, поднять тяжесть выше своих сил.

Но если ее нет, тогда все — остался от человека мешок с костями. Потому и на передовой бывало: сильный человек ни с того вроде бы, ни с сего начинал зарываться в молчание, как ящерица в песок, становился одиноким среди людей. И однажды с обезоруживающей уверенностью объявлял: «А меня скоро убьют». Иной даже и срок определял себе — «сегодня или завтра». И никогда, почти никогда фронтовики не ошибались...

\* \* \*

В вагоне санпоезда Борису досталась средняя боковая полка, против купе сестры и няни, занавешенного латаной простыней. Сестра и няня — две заезженные санпоездом девушки, ставили градусники утром и вечером, разливали в своем купе похлебку, накладывали кашу, делили хлеб, разносили посуду с горлышками и утешали раненых как могли. Общительная, необидчивая и терпеливая ко всему няня по имени Арина пыталась разговорить и Бориса, но он отвечал односложно, «выжимая при этом извинительную улыбку, и Арина отступилась от него, переметнувшись на более разговорчивых раненых.

Когда дрема покидала Бориса, он поворачивал голову к окну и видел, как пашут на быках и коровах женщины; как они сеют по-старинному, из лукошка, певучим взмахом руки разбрасывая зерно. Трубы печей и скелеты домов виднелись



среди пашен и перелесков. Потом пошли среднерусские деревни с серыми крышами, серой низкой городьбой из тонкого частокола и неровного камня. Лоскутья озими подступали к стенам скособоченных изб. Здесь уже кое-где бегали тракторы с сеялками, лошади, опустив головы до борозды, тянули плуги и бороны.

Вечный труд шел на вечной и терпеливой земле. Борису вспомнилось где-то и когда-то услышанное: «Только одна истина свята на земле — истина матери, рождающей жизнь, и хлебопашца, вскармливающего ее...»

Внизу под Борисом лежал худющий пожилой дядька, обернутый бинтами наподобие революционного моряка, перепоясанного пулеметными лентами. Он закоптил лейтенанта табаком, кашлял беспрестанно и с треском сморкался в подол казенной рубахи. Измаявшись лежать на брюхе, попросил дядьку перевернуть его на бок. Арина перекатила мослы раненого по полке. Он отстался, глянул в окно и ахнул:

— Весна-а-а! Батюшки, тра-авка! А земля-то, земля! В чаду вся! Прет! Гриб в наземе завелся!.. Ой, пигалица, пигалица! Летит, вертухается! Батюшки! И грач! И грач! По борозде шкандыбают, черва ищут, да сурьезный такой!.. Нашел! Наше-ол! Рубай его, рубай! Х-хосподи...

Дядька затрясся, заплакал и сделался с этого дня вроде малахольненьким. Суп ел торопливо, проливал на подушку и простыню, остатки выпивал через край. Кашу и хлеб заглатывал заживо и снова прилипал к окну, хохотал, высказывался:

— И тут на коровах падут! Захудала Расея, захудала! Вшивец Гитлер до чего нас довел, мать его и разматы!..

— Оте-ец! Оте-е-е-ец! — остепеняли дядьку соседи. — Сестра и няня здесь, женщины все-таки.

— А я чё? Рази изругался? Вот мать твою...

Потешались над мужиком раненые. Он не обижался, а баблаболлил, вертелся на полке, кадил махоркой и заметно шел на поправку.

— Скоро я, скоро, бабоньки! — кричал дядька в окно вагона, будто бабы, согнувшиеся над плугом, могли его слышать. — Вот оклемаюся в лазарете, и на пашню, на па-а-ашню-у! — Слово «пашня» он прямо-таки выставлял. Дядька и Борису давал бодрый совет: — Ты, парень, не-скисай! Имайся за травку-то, имайся за вешнюю! Она вытащит. В ей знаешь какая сила! Камень колет! А это кто же, а? Кто же это? Ключ-от кочергою?

— Кроншнеп это.

— Зачем птицу немецким словом обозвали? Кулик это! Кулик, и все!

— Ну, кулик, кулик. Не лайся, ради бога!

— А я рази?! Все! Все! Теленок-от! Теленок-от! Взбрыкивает! Женить бы тебя, окаянного!..

Так вот и ехали под стук колес, под говор дядьки. Затемненные станции остались за Москвою. Реденько прокалывали

ночь огоньки российских деревень, набегали россыпью станционные фонари, и вспышки их за окном были похожи на разрывы зенитных снарядов. Стук колес напоминал перестрелку, буханье вагонов по стыкам — разрывы бомб.

К звуку колес, к стуку, к гулу и бряку лейтенант скоро привык, и поезд для него тоже онемел. Он смотрел на мир как бы уже со стороны.

«Ну, что он, вот этот мужичонка, радующийся воскресению своему? Какое такое счастье ждет его? Будет вечно копать в земле и однажды сунется носом в эту же землю. А может, в самом воскресении есть уже счастье? Может, дорога к нему, надежда на лучшее — и есть то, что дает силу таким вот мужикам, миллионам таких мужиков».

Но тут же Борис вяло отмахнулся от противоречивых, беспокоящих этих мыслей — лучше было смотреть и смотреть за окно просто так, ни во что не вникая, и все время оставаться с самим собой и в самом себе, а себя и пожалеть можно. Жди в этой жизни, когда другие пожалеют!

Слезливость напала на лейтенанта. Он жалел и себя, и раненых соседей, бабочку, расклеенную ветром по стеклу, срубленное дерево, худых коров на полях, испитых детишек на станциях; жалел свои воспоминания, жалел женщину, оставшуюся на пустынной площади украинского местечка, там еще топольки такие голые и сиротливые были, а из снега торчали пеньки, и он позднее догадался, что пеньки эти от спиленной на дрова праздничной трибуны; он плакал сухими слезами о старике и старухе, которых закопали в огороде. Лиц пастуха и пастушки он уже не помнил, и выходило, похожи они на мать, на отца, на всех людей, которых он знал когда-то...

Лейтенант вообще приспособился и всего себя приспособил жить так, чтобы ему что хотелось, то и вспоминалось, о чем хотелось, о том и думалось, и только со слезами совладать он не мог — они подкатывали без спросу, и не было сил заглушить их в себе и остановить.

Но скоро воспоминания иссякли, кончились, и думать стало не о чем, вернее, не хотелось думать ни о чем, утруждать себя и тревожить, ибо воспоминания, думы сплошь какие-то неспокойные. Жизнь, что ли, такой была? И вообще, бывает ли она спокойной? Нет, не бывает, к сожалению...

И это он преодолел. Лежал с закрытыми или открытыми глазами и случайно задерживался на чем-то взглядом, случайно цеплялся за что-то мыслью и катил дальше-дальше, вместе с поездом и народом, временно его населившим. Движение поезда как бы вобрало его в себя, и они сделались едиными — машина и человек, мчались вместе к заветной остановке, где сделается еще лучше, вдруг остановится поезд, утихнут колеса под полом вагона, умолкнет гудок, перестанет шипеть и бесноваться в угробе машины пар, будет тихо-тихо, покойно-покойно, и он останется совсем один! Останется с самим собою!

Даже машина уйдет от него, утихнет в нем. Как это здорово, как замечательно — остаться наедине с самим собой...

Лейтенант, молодой, войною измятый, кровопролитием подавленный, сидя в безвестной украинской хате, возле теплой печки, помнится, впервые ощутил соблазн отъединения от мира и людей, захотел навсегда остаться с самим собою и... испугался. И напрасно! Совсем напрасно! Это совсем не страшно и никаких усилий не требует, все равно как первый раз закурить: боязно, удушливо, слезы текут, кашель бьет, в голове кружение, пьяненькое, чуть тошнотное, но уже знаешь — не оторваться от такой горькой отравы, не преодолеть соблазна. Может, это похоже на первое прикосновение к женщине? Ждешь его, знаешь, что оно неизбежно, знаешь, что надо пройти сквозь стыд, унижение, сквозь страх и робость, веруя, что впереди тебя ждет наслаждение, счастье, радость? Какие они — неизвестно. Но в любопытстве, в стремлении скорее прикоснуться к неизведанному, в секрете этом и есть уже само чудо. И правильно, верно делает он, Борис, что не говорит о том, как он пришел к этакому открытию. Ох и хитрый же он стал! Ох и хитрый!..

Раз Борис опомнился, очнулся, услышав под окном вагона осмотрщика вагонов, который крыл кого-то, не выбирая выражений. Стучал молотком по крышке боксы и крыл, по-чалдонски растягивая букву «е». Нахлынуло: пристань, пропахшая соленым омулем, старая дамба, березы над нею, церкви с кустами на куполах и крестики стрижей в небе.

— Земля-ак! Землячо-о-ок! — сипло позвал Борис.

Арина, спавшая в купе, отодрала голову от стола, вытерла губы косынкой, поспешила к Борису.

Губы лейтенанта свестились, будто наляпанные алой краской на желтом картоне; глаза начиненно блестели, горя последним накалом; и никак он не мог согреться, хотя температура держалась у него высокая.

— Ты кого звал-то?! — спросила Арина и положила ладонь на его лоб. — Меня? А чем же я тебе помогу? — Что-то надумав, она засуетилась, сбегала в топку вагона, налила в грелку воды, услужливо присунула к ногам. — Вот. Может, согреешься маленько. Тебе до госпиталя бы додюжить... Дня еще три-четыре пути... — Она отвернулась, простодушно, по-бабьи громко вздохнула: — Додюжишь ли?.. Злосчастным ты, видать, уродился. Все люди как люди, а тебя что-то гнетет... — Арина похлопала по одеялу, баюкала его, как малое дитя, но убаюкалась сама. Губы ее приоткрылись, а веки беспокойно подрагивали и во сне. Доверчивостью веяло от этой девушки, с приплюснутым носом, с соломенно-прямыми волосами, выбившимися из-под косынки на лоб.

Ничем не походила на Люсю эта девушка, по-деревенски простенько повязанная белым платком, хотя и звался он ко-сынкой, и все-таки она хоть ненадолго, но приблизила к нему

образ той женщины, которую память не удержала, не сохранила. В памяти отдельно от всех и от всего отпечатались лишь невзаправдашно красивые и печальные глаза, «как у лошадики», — и сколько он ни отвергал в себе это сравнение — все же женщина, девушка, пусть до конца не увиденная, совсем не понятая, — но ничего он с собой поделать не мог, да и не делал уже, не сопротивлялся всему тому, что свершалось в нем, лишь испугался той тоски, которая жгла его жаркой красной корью после краткой, зарницей вспыхнувшей и погасшей радости, но и на тоску уже не хватало сил, и она, даже она вроде бы обескровилась, устала в нем.

Выпростав руку из-под одеяла, Борис просто так, из пустого уже любопытства притронулся к Арине.

Она вздрогнула и отпрянула испуганно.

— Вот уходилась — стоя сплю! — напряженно рассмеялась она спустя время и поправила на голове платок.

— Ты разве спала?

— Конечно. Как птичка божья — ткнулась, и готово. — Она опять рассмеялась и сочувственным тоном продолжала уже привычно: — Ты, оказывается, разговаривать умеешь?! Что гнетет-то тебя? Какая печаль-кручина?

— Не знаю. Ничего не знаю, — не дослушав складную речь Арины, сказал Борис. — Тут, — показал он на грудь, — выболело... — Мелкий кашель встряхнул его, зашекотало нутро.

Арина попоила лейтенанта из кружки. Кашель унялся, но дыхание его рвалось.

— Ладно. Молчи уж, молчи, — сказала няня, укрывая лейтенанта. — Кашель-то какой нехороший.

На большой, дымной станции, где работники санпоезда сдавали белье, запасались продуктами, топливом и разным другим снаряжением, Борис вышел из забытья, оживился, услышав музыку, доносившуюся с крыши насупленного, темного от копоти вокзала. Он напрягся. Чумазый вокзал с облупленными стенами, черные, грязные пути, и грачи на черных тополях, и вагоны, и дома незнакомого города, раскиданные по пригоркам, и люди с голодной томительностью в глазах — все начало окрашиваться и сиреневый цвет. Погружаясь в него, молодец, обновлялся, делался приглядней мир, а из станционного дыма вдруг явилась женщина с фанерным баулом, та единственная женщина, которую он уже с трудом, по глазам только и узнавал, хотя прежде думал, что в любой толпе, среди всех женщин мира узнает ее сразу.

Женщина смотрела в окно санпоезда, встретила взглядом с его глазами. Дрогнуло лицо ее — она шагнула к поезду, но тут же отступила назад и уже без интереса пробежала взглядом по другим окнам, другим поездам.

Сила, ему уже не принадлежавшая, подбросила Бориса. Арина о чем-то спрашивала лейтенанта, трясла его, а он тянулся к окну вагона, мычал и от усилия закашлялся. Музыки он уже

не слышал — перед ним лишь клубился сиреневый дым, и в загустевшей глубине сго плыла, качалась, погружаясь в небытие, женщина с иконописными глазами.

Очнулся Борис от прохладно и бойко гуляющего по вагону ветра. Окно вагона открыто, а в пологих полях, по которым катил поезд, гуляла весенняя гроза. Она не шла, не катилась, она именно гуляла, соря соломки молний по всему небу, ломая их над самой землей, дробя небо громами, катая по нему каменья, словно по железной крыше, прыская дождем, коротким, пляшущим по земле, оплесневелой с зимы, вымывая из нее травку, помогая ей дышать.

И Борису тоже дышалось свободно, легко, будто выдувало из груди золу, и делалось сквозно, совсем свободно внутри, а весенняя гроза все гналась за поездом. Самые длинные молнии доставали его, втыкались в крыши вагонов, пузыристый дождь омывал стекла. Впереди по-ребячьи бесшабашно кричал паровоз, в пристанционных скверах, мелькавших мимо, беззвучно кричали грачи, скворцы шевелили клювами.

Все встрепенулось в лейтенанте, грудьего потеплела, с глаз сошла пелена слез, сделавшаяся уже ровно бы клейкой, все предстало перед ним в обновленном, вешнем сиянии. Гроза взволновала его. Он улыбнулся тому давнему, радостному волнению, которое бывало у него когда-то и от которого он отвык: захотелось еще и еще так же волноваться, так же видеть грозу освобожденными глазами и думать, что же там, дальше, за этой грозой и озаряемой огнем молний, плоской землей? Узнать и рассказать об этом Арине, соседям по вагону, с которыми он так и не сумел не только сойтись, но даже запомнить их не удосужился.

Но это потом, завтра. А сейчас так хочется спать, так хочется...

И он, все продолжая улыбаться, прикрыл глаза вздрагивающими веками, прикрыл и ощутил вдруг, что сердце, встрепенувшееся от грозы, тоже успокаивается, засыпает, бьется все тише и реже, тише и реже...

И поезд оторвался от земли, от рельсов, тоже уходил, нет, плыл за край плоской земли, в тихий мрак. Борис понял вдруг — в небытие. Сердце не желало останавливаться, сильно ударилось в исчащую жестяную грудь. Но больше его ни на что не хватило. Оно сжалось, подпрыгнуло и выкатилось за окно, булькнуло в бездонном омуте земного пространства. Тело Бориса, напряженившееся было, выпрямилось и замерло. Под опустившимися веками еще какое-то время теплилась багровая и широкая заря, возникшая из-под грозовых туч. Свет зари постепенно сузился в щелочку, потом и заря остыла в остеклевших зеницах лейтенанта.

Утром Арина подошла умыть Бориса, а он лежит, сморщив рот в потаенной улыбке. Попятилась, закричала Арина, уронила кувшин с водой, бросилась бежать по вагону и торкнулась в тамбурное стекло, забыв повернуть ручку двери.

Покойного перенесли в хозвагон, поместили в холодильное помещение. Прикрытый палаткою, среди вороха дров, среди ящиков, старых носилок и прочего скарба ехал он целую ночь по степи. В безлесом южном Приуралье кто-то вынул из букс паклю на растопку. Буксы загорелись, ось заклинило, и осматрщик вагонов мелом написал: «Больной». Вагон отцепили на маленьком полустанке.

При вагоне оставили Арину, чтобы она похоронила здесь покойного лейтенанта и с отремонтированным вагоном дожидалась бы санпоезда из обратного рейса.

Покойник оказался несуразным: остался в таком месте, где нет кладбища. Если кто умирал на полустанке, его отвозили в большое степное село. Начальник полустанка сказал, что земля в России всюду своя, сделал домовину из досок, снятых с крыши сарая, пирамидку заострил из старого сигнального столбика, и двое мужчин — начальник полустанка и дежурный стрелочник да Арина отвезли лейтенанта на багажной тележке в степь и предали земле.

Закончив погребение, мужчины стянули фуражки и скорбно помолчали над могилой фронтовика. Арина, или винясь за что-то перед ним, или пронзенная печальной минутой и бедным похоронным обрядом, горестно покачала головой.

— Такое легкое ранение, а он умер...

Они собрали лопаты и ушли, толкая впереди себя тележку.

Арина все оглядывалась, ровно бы на что еще надеялась, и утирала глаза рукой, измазанной землей.

Могильный холм скоро окропило травой, и в одно дождливое утро размокшие комки просек тюльпан, подождал каплей на клюве и открыл розовый рот. Корни жилистых степных трав и цветов ползли в глубь земли, нащупывали мертвое тело, уверенно оплетали его, росли из него и цвели над ним.

\* \* \*

...И, послушав землю, засыпанную пухом ковыля, семенами степных трав и никотинной полыни, она виновато сказала:

— А я вот живу. Ем хлеб, веселюсь по праздникам.

Низко склонившуюся над землею женщину с уже отцветающими древними глазами засыпало порошей семян. Солнце кагилось за горбину степи, все так же калила небо заря, и, слышная степь, она почему-то решила, что умер он вечером. Вечером так хорошо умирать.

Закат неторопливо погас. Сок его по жилам трав скатился в землю. Сухо и чисто зашелестела степь. Скакало что-то на мохнатых лапах, то западая, то выпрыгивая на чуть уже заметный свет. Это вырывало и гнало ветром чертополох, гнало до тех пор, пока он не упал в дотлевающий костерок зари.

— Господи! — вздохнула женщина и дотронулась губами до

того, что было могилой, но уже срослось с большим телом земли.

Костлявый татарник робкой мышью скребся о пирамидку. Покой окутывал степь.

— Спи. Я пойду. Но я вернусь к тебе. Скоро. Совсем скоро мы будем вместе... Там уж никто не в силах разлучить нас.

Она шла и видела не почную, благостно шелестящую степь, а море, в бескрайности которого одиноким бакеном качалась пирамидка, и зыбко было все в этом мире.

А он, или то, что было им когда-то, остался в безмолвной земле, опутанный корнями трав и цветов, утихших до весны.

Остался один — посреди России.

1967—1971—1974

---

# Царь-рыба

ПОВЕСТВОВАНИЕ  
В РАССКАЗАХ

## Часть первая

Молчал, задумавшись, и я,  
Привычным взглядом созерцая  
Зловещий праздник бытия,  
Смятенный вид родного края.

*Николай Рубцов*

Если мы будем себя вести как  
следует, то мы, растения и жи-  
вотные, будем существовать в  
течение миллиардов лет, потому  
что на солнце есть большие за-  
пасы топлива и его расход пре-  
красно регулируется.

*Халдор Шенли*

## БОИЕ

**П**о своей воле и охоте редко уж мне приходится ездить на родину. Все чаще зовут туда на похороны и поминки — много родни, много друзей и знакомцев — это хорошо: много любви за жизнь получишь и отдашь, да хорошо, пока не подойдет пора близким тебе людям падать, как падают в старом бору перестоялые сосны, с тяжелым хрустом и долгим выдохом...

Однако доводилось мне бывать на Енисее и без зова кратких скорбных телеграмм, выслушивать не одни причитания. Случались счастливые часы и ночи у костра на берегу реки, подрагивающей огнями бакенов, до дна пробитой золотыми каплями звезд; слушать не только плеск волн, шум ветра, гуд тайги, но и неторопливые рассказы людей у костра на природе, по-особенному открытых, рассказы, откровения, воспоминания до темноты, а то и до утра, занимающегося спокойным светом



за дальними перевалами, пока из ничего не возникнут, не наползут липкие туманы, и слова сделаются вязкими, тяжелыми, язык неповоротлив, и огонек притухнет, и все в природе обретет ту долгожданную миротворность, когда слышно лишь младенчески-чистую душу ее. В такие минуты остаешься как бы один на один с природою и с чуть боязной тайной радостью ощутишь: можно и нужно, наконец-то, довериться всему, что есть вокруг, и незаметно для себя отяжкнешь, словно лист или травинка под россою, уснешь легко, крепко и, засыпая до первого луча, до пробного птичьего перебора у летней воды, с вечера хранящей парное тепло, улыбнешься давно забытому чувству — так вот вольно было тебе, когда ты никакими еще воспоминаниями не нагрузил память, да и сам себя едва ли помнил, только чувствовал кожей мир вокруг, привыкал глазами к нему, прикреплялся к дереву жизни коротеньким стерженьком того самого листа, каким ощутил себя сейчас вот, в редкую минуту душевного покоя...

Но так уж устроен человек: пока он жив — растревоженно работают его сердце, голова, вобравшая в себя не только груз собственных воспоминаний, но и память о тех, кто встречался на расстанях жизни и навсегда канул в бурлящий людской водоворот — либо прикипел к душе так, что уж не оторвать, не отделить ни боль его, ни радость от своей боли, от своей радости.

...Тогда еще действовали орденские проездные билеты, и, получив наградные деньги, скопившиеся за войну, я отправился в Игарку, чтобы вывезти из Заполярья бабушку из Сисима.

Дядя мои Ваня и Вася погибли на войне, Костыка служил во флоте на Севере, бабушка из Сисима жила в домработницах у заведующей портовым магазином, женщины доброй, но плодотворной, смертельно устала от детей, вот и просила меня письмом выволить ее с Севера, от чужих, пусть и добрых людей.

Я многого ждал от той поездки, но самое знаменательное в ней оказалось все же, что высадился я с парохода в момент, когда в Игарке опять что-то горело, и мне показалось: никуда я не уезжал, не промелькнули многие годы, все как стояло, так и стоит на месте, вон даже такой привычный пожар полыхает, не вызывая разлада в жизни города, не производит сбоя в ритме работы. Лишь ближе к пожару толпился и бежал кой-какой народ, гундели красные машины, по заведенному здесь обычаю качая воду из лыв и озёрин, расположенных меж домов и улиц, громко трещала, клубилась черным дымом постройка, к полному моему удивлению оказавшаяся рядом с тем домом, где жила в домработницах бабушка из Сисима.

Хозяев дома не оказалось. Бабушка из Сисима в слезах пребывала и в панике: соседи начали на всякий случай выносить имущество из квартир, а она не смела — не свое добро-то, вдруг чего потеряется?..

Ни обопнуть, ни расцеловаться, ни всплакнуть, блюдя обычай, мы не успели. Я с ходу принялся увязывать чужое,

имущество. Но скоро распахнулась дверь, через порог рухнула тучная женщина, доползла на четвереньках до шкафчика, глотнула валерьянки прямо из пузырька, отдышалась маленько и слабым мановением руки указала прекратить подготовку к эвакуации: на улице успокоительно забрякали в пожарный колокол — чему надо сгореть, то сгорело, пожар, слава богу, на соседние помещения не перекинулся, машины разъезжались, оставив одну дежурную, из которой неспешно поливали чадящие головешки. Вокруг пожарища стояли молчаливые, ко всему привычные горожане, и только сажей перепачканная плоскоспинная старуха, держа за ручку спасенную поперечную пилу, голосила по кому-то или по чему-то.

Пришел с работы хозяин, белорус, парень здоровый, с неожиданною для его роста и национальности продувной рожей и характером. Мы с ним и с хозяйкою крепко выпили. Я погрузился в воспоминания о войне, хозяин, глянув на мою медаль и орден, сказал с тоской, но безо всякой, впрочем, злости, что у него тоже были и награды, и чины, да вот сплыли.

Назавтра был выходной. Мы с хозяином пилили дрова в Медвежьем догу. Бабушка из Сисима собиралась в дорогу, брюзжала под нос: «Мало имя меня, дак ишшо и пальня сплатируют!» Но я пилил дрова в охотку, мы перешучивались с хозяином, собирались идти обедать, как появилась по-над логом, бабушка из Сисима, обшарила низину не совсем еще выплуканными глазами и, обнаружив нас, потащилась вниз, хватаясь за ветки. За нею плелся худенький, тревожно знакомый мне паренек в кепочке-восьмиклинке, в оборках висящих на нем штанах. Он смущенно и приветно мне улыбался. Бабушка из Сисима сказала по-библейски:

— Это брат твой.

— Колька!

Да, это был тот самый малый, что, еще не научившись ходить, умел уже материться и с которым однажды чуть не сгорели мы в руинах старого игарского драмтеатра.

Отношения мои после возвращения из детдома в лоно родимой семьи опять не сложились. Видит бог, я пытался их сложить, какое-то время был смирен, услужлив, работал, кормил себя, часто и мачеху с ребятишками — папа, как и прежде, пропивал все до копейки и, следуя вольным законам бродяг, куролесил по свету, не заботясь о детях и доме.

Кроме Кольки, был уже в семье и Толька, а третий, как явствует из популярной современной песни, хочет он того или не хочет, «должен уйти», хотя в любом возрасте, на семнадцатом же году особенно, страшно уходить на все четыре стороны — мальчишка не переборол еще себя, парень не взял над ним власти — возраст перепутный, неустойчивый. В эти годы парни, да и девки тоже, совершают больше всего дерзостей, глупостей и отчаянных поступков.

Но я ушел. Навсегда. Чтоб не быть «громоотводом», в который всаживалась вся пустая и огненная энергия гулевого папы

и год от года все более дичающей, необузданной в гневе матеши, ушел, но тихо помнил: есть у меня какие-никакие родители, главное, ребята, братья и сестры, Колька сообщил — уже пятеро! Трое парней и две девочки. Парни довоенного производства, девочки создались после того, как, повоевав под Сталинградом в составе тридцать пятой дивизии в должности командира сорокапятки, папа, по ранению в удачную голову, был комиссован домой.

Я возгорелся желанием повидать братьев и сестер, да, что скрывать, и папу тоже повидать хотелось. Бабушка из Сисима со вздохом напутствовала меня:

— Съезди, съезди... отец всеш-ки, подивуйся, чтоб самому эким не быть...

Работал папа десятником на дровозаготовках, в пятидесяти верстах от Игарки, возле станка Сушково. Мы плыли на древнем, давно мне знакомом боте «Игарец». Весь он дымился, дребезжал железом, труба, привязанная врастяжку проволоками, ходуном ходила, того и гляди отвалится; от кормы до носа «Игарец» пропах рыбой, лебедка, якорь, труба, кнехты, каждая доска, гвоздь и вроде бы даже мотор, открыто шлепающий на грибы похожими клапанами, непобедимо воняли рыбой. Мы лежали с Колькой на мягких белых неводах, сваленных в трюм. Между дощаным настилом и разъеденным солью днищем бота хлюпала и порой выплескивалась ржавая вода, засоренная ослизлой рыбьей мелочью, кишками, патрубком помпы забивало чешуей рыбы, она не успевала откачивать воду, бот в повороте кренило набок, и долго он так шел, нутужно гукая, пытаюсь выправиться на брюхо, а я слушал брата. Но что нового он мог мне рассказать о нашей семейке? Все как было, так и есть, и потому я больше слышал не его, а машину, бот, и теперь только начинал понимать, что времени все же минуло немало, что я вырос и, видать, окончательно отделился от всего, что я видел и слышал в Игарке, что вижу и слышу на пути в Сушково. А тут еще «Игарец» булькал, содрогался, старчески тяжело выполнял привычную свою работу, и так жаль было мне эту вонючую посудину.

Я раскаиваться начал, что поехал в Сушково, но дрогнуло, затрепыхалось сердце, когда возле одиноко и плоско стоявшего на низком берегу барака увидел я косолапенького, уже седого человека, чисто выбритого, с пятнышками усов-бабочек под чутко и часто шмыгающим носом. Нет, пока еще никто и ничто не отменило, не побороло в нас чувство, занимающее место в сердце помимо нашей воли. Сердце прежде меня почуяло, узнало родителя! Чуть в стороне, на зеленом приплеске топталась все еще по-молодому стройная женщина со сбитым на затылок платком. К реке, навстречу боту «Игарец», в изнеможении остановившемуся на якоре, но все еще продолжающему дымить во все дыры, взбивая желтенький дымок пересеянного ветрами песка, мчались ребятишки, обутые и одетые кто во что, за ними с лаем неслась белая собака...

Телеграммы в Сушково мы не давали, да она сюда и не дошла бы, Коля, сздивший поступать в игарскую школу и там случайно подцепивший меня, выскочил на берег и, частя, захлебываясь, кричал, показывая на трап:

— Папка! Папка! Гляди, кого я привез-то...

Отец затоптался на месте, заколесил ногами, засуетился руками, сорвался вдруг, легко, как в молодости, побежал навстречу, обнял меня, для чего ему пришлось подняться на шпички, неумело поцеловал, чем смутил меня изрядно — последний раз он облобызал родное чадло лет четырнадцать назад, возвратившись с великой стройки Беломорканала.

— Живой! Слава богу, живой! — По лицу родителя катились слабые, частые слезы. — А мне кто-то писал или сказал, будто погиб ты на фронте, пропал без вести, ли чё ли...

Вот так вот: «не то погиб, не то пропал без вести, ли чё ли...» Эх папа! Папа...

Мачеха все так же отчужденно стояла на приплеске, не двигаясь с места, чаще и встревоженной дергалась ее голова.

Я подошел, поцеловал ее в щеку.

— А мы правда думали, пропал, — сказала она. И не понять было: сожалеет или радуется.

— Я женат. У меня своя семья. Заехал повидаться, — поспешил я успокоить родителей и, почувствовав ихнее да и свое облегчение, обругал себя: «Все ищешь, недотыка, то, чего не терял!»

Ребятишки, лесные, диковатые от безлюдья, не сразу, но привыкли ко мне, а привыкнув, как водится, и прилипли, показывали удочки, самопалы, тащили на реку и в лес. Коля не отходил от меня ни на шаг. Вот кто умел быть душевно преданным каждому человеку, родне же преданным до болезненности. За братом тенью таскался кобель по кличке Бойё. Бойё или Байё — по-эвекский друг. Коля кликал собаку по-своему — Боё, и потому как частил словами, в лесу звучало сплошняком: «ё-ё-ё-о-о-о».

Из породы северных лаек, белый, но с серыми, точно зодой припачканными передними лапами, с серенькой же полоской вдоль лба, Бойё не корыстен с виду. Вся красота его и ум были в глазах, пестроватых, мудро-спокойных, о чем-то постоянно вопрошающих. Но о том, какие умные глаза бывают у собак и особенно у лаек, говорить не стоит, о том все сказано. Повторю лишь северное поверье: собака, прежде чем стать собакой, была человеком, само собою, хорошим. Это детски наивное, но святое поверье совсем не распространяется на постельных шавок, на раскормленных до телячьих размеров псик, обвешанных медалями за породистое происхождение. Среди собак, как и среди людей, встречаются дармоеды, кусучие злодеи, пустобрехи, рвачи — дворянство здесь так искоренено и не было, оно приняло лишь комнатные виды.

Бойё был труженик, и труженик безответный. Он любил хозяина, хотя сам-го хозяин никого, кроме себя, не умел лю-

бить, но так природой назначено собаке — быть привязанной к человеку, быть ему верным другом и помощником.

Суровой северной природой рожденный, свою верность Бойе доказывал делом, ласки не терпел, подачек за работу не требовал, питался отбросами со стола, рыбой, мясом, которые помогал добывать человеку, спал круглый год на улице, в снегу, и только в самые лютые морозы, когда мокрый чуткий его нос, хоть и укрытый пушистым хвостом, засургучивало стужей, он деликатно царапался в дверь и, впущенный в тепло, тут же забивался под лавку, подбирая лапы, сжимался в клубочек и робко следил за людьми — не мешает ли? Поймав чей-либо взгляд, коротким взмахом хвоста просил его извинить за вторжение и за псиный запах, в морозы особенно густой и резкий. Ребятишки норовили чего-нибудь сунуть собаке, покормить ее с руки. Бойе обожал детишек и, понимая, что нельзя малым людям, так нежно пахнущим, учинять обиду отказом, но и пользоваться их подачками ему не к лицу, прижавши уши к голове, смотрел на хозяина, как бы говоря: «Не польстился бы я на угощение, но дети ж неразумные...» И, не получив ни дозволения, ни отказа, однако угадав, что хозяин хоть и не благоволит баловству, однако ж и не перечит, Бойе вежливо снимал с детской руки осколочек сахара или корочку хлебца, чуть слышно хрустел под лавкой, благодарно шаркал языком розовую ладошку, попутно и лицо, да и закрывал поскорее глаза, давая понять, что он насытился и взяла его дрема. На самом же деле за всеми наблюдал, все видел и слышал.

С каким облегчением кобель вываливался из избяной утесненности, когда чуть теплело на дворе. Он валялся в снегу, отряхивался, выбивая из себя застойный дух тесного человеческого жилья. Подвывая в тепле уши снова ставил топориком и, озырнувшись на избу — не видит ли хозяин, бегал за Колькой, цепляя его зубами за телогрейку. Колька был единственным на свете существом, с которым Бойе позволял себе играть, да и то по молодости лет, после отрекся от всяких игр, отодвигался от ребятишек, поворачивался к ним задом. Если уж они совсем неотвязны делались, не очень чтобы грозно, скорее предупредительно, заголял зубы, катал в горле рык и в то же время давал взглядом понять, что досадует он не со зла, от усталости...

Без охоты Бойе жить не мог. Если отец или Колька по какой-либо причине долго не ходили в лес, Бойе ронял хвост, лопухом опускал голову, неприкаянно бродил, никак не мог найти себе место, даже повизгивал и скулил, точно хворый.

На него кричали, и он послушно смолкал, но томление и беспокойство не покидали его. Иногда Бойе один убегал в тайгу, подолгу там пропадал. Как-то припер в зубах глухаря, по первому снегу вытروпил песка, пригнал его к бараку и до того загонял бедную зверушку вокруг поленницы дров, что, когда на гам и лай вышел хозяин, песчишко сунулся ему меж ног, отыскивая спасенье и защиту.

Бойе шел по птице, по белке, нырял в воду за подраненной ондатрой, и все губы у него были изорваны бесстрашными зверьками. Он умел в тайге делать все и соображал, как не полагалось животному, чем вбивал в суеверие лесных людей — они его побаивались, подозревая нечистое дело. Не раз спасал и выручал Бойе Кольку — друга своего. Тот снова так забежал за подранком — глухарем, что затемнело в тайге и замерз бы лихой охотник в снегу, да Бойе сперва отыскал, затем привел к нему людей.

Было это ранней зимой, а по весне Колька приволокся на глухое озеро прострелять уток. Бойе обежал лесом озеро, прошлепал по мелкому таю, остановился на обмыске и замер в стойке, глядя в воду. «Чего-то узрел!» — насторожился Колька. Бойе присел в осоке, пополз к урезу берега, вдруг пружинисто взметнулся, бултых в воду! «Вот дурень! — улыбнулся Колька. — Засиделся около дома, балуется». Но Бойе тащил что-то в зубах, бросил на берег, отряхнулся. Колька приблизился и опешил — в траве каталась щучина килограмма на два. Бойе ее лапой прижал, ухмыляется.

Услышав такое сообщение, папа хотел дать охотнику порку за вранье, но Колька настоял сходить еще раз на озеро, потом, мол, лупцуй, если набрежал. Когда Бойе выпер вновь из воды щучину, папа, которого вроде бы ничем уже было не удивить на этом свете, развел руками: «Чего за свою бурную жизнь не перевидел, — говорит, — приключений каких только не изведаль, однако подобного дива не зрел еще. Бестия — не кобель! Раньше бы меня повесили вместе с собакой за листовнице, або утопили обоих — за колдовство, привязавши к одному камню...»

В ту пору часть буксирных пароходов ходила еще на дровах. Надолго причалив к берегу у Сушкова, суда запасались топливом, которое тут зимами ширкал наезжий люд, все больше ссылный.

Был Бойе большой любитель встречать и провожать пароходы. Однажды он забежал на буксир, отыскивая отца, подавшегося разведать насчет выпивки, и, пока хозяин искал горючку или пиво, а кобель искал хозяина, деяги с буксира поймали его на поводок. Никогда не кусал Бойе людей и не знал, что иной раз укусить их следовало бы. Пароход набрал дров, загудел и наладился отваливать. Тут и хватилась семья — нет кормильца и сторожа. Покричали его, позвали — не откликается. Заревели ребятишки в голос, мачеха заревела — пропадать без собаки. Папа чалку не отдает. Капитан штрафом грозит за задержку судна. Ругались, ругались пароходные люди, но все же подали трап. Весь буксир обошел, обшарил поднабравшийся папа — нет собаки. И тогда он решительно крикнул:

— Ко мне, Бойе!

И тут же из машинного отделения буксира раздался рыдающий голос кобеля. Конфуз и паника были на пароходе, потому что папа рвался пальнуть из ружья по рубке капитана, но

семья висела на нем, отымала ружье. Папа все же пальнул дробью вслед кораблю, да не достал, тот уже был далеко от берега.

Бойе отводил глаза, виновато вилял хвостом, стыдясь оплошки. К пароходам он с тех пор близко не подходил. Сядет на подмытом приплеске, посматривает на пароход и озирается на кусты, дескать, чуть что, дерану в лес, только меня и видали!

К поре моего свидания с семьей должность десятника на дровозаготовках крепко уже утомила папу, душа его жаждала перемен, бурной деятельности — замышлял он податься в чащельники рыбного участка, так как по сию пору считал себя непревзойденным специалистом по обработке рыбы.

Я отговаривал родителя — только что был опубликован грозный, карающий указ о финансовой и иной ответственности; толковал ему о том, что семья, слава богу, при месте, от тайги питается мясом, рыбой, ягодами и орехами, мол, воздвиг досрочно Беломорканал и довольно с него трудовых подвигов, на что родитель отвечивал коротко и решительно: «Яйца курицу не учат!» И вскоре после моего отъезда из Сушкова подался таки на руководящий пост.

Через год я получил от него письмо, которое начиналось словами: «Пишу письмо — слеза катится...» По лирическому запеву послания не составляло труда заключить: папа опять проживает в «белом домике». И снова — в который раз! — затерялся, запропал след родителя, оборвалась непрочная, всегда меня мучающая связь с нашей нескладной семьей.

Лет десять спустя после встречи с отцом и семьей в Сушкове попал я на Север по творческой командировке. На сей раз бог меня миловал — в Игарке ничего не горело. Последний раз пожар в городе был неделю назад и уничтожил не что иное, как позарез мне нужное заведение — гостиницу. Местные газетчики поместили меня в пионерлагерь, располагавшийся на мысу Выделенном — самом сухом и высоком здесь месте, с которого отдувало комаров, и детишки спали в домиках без полов.

Утром я пробудился по горну, дождался, когда смолкнет ребячий гвалт, и отправился умыться на Енисей. Вышел, гляжу — сидит на крашеной скамейке худенький быстроглазый парень с красивым живым лицом, в кепке-восьмиклинке и приветливо улыбается.

Я заозирался вокруг — никого нигде не было, и тогда изобразил ответную улыбку. Паренек бросился мне на шею, сдвинул ее костлявыми руками и, как бабушка из Сисима десять лет назад, библейски возвестил:

— Я брат твой!

Коля был и остался заморышем-подростком, хотя уже сходил в армию, выслужился до старшего сержанта. Не выдавший добра и ласки от родителей, он искал ее у других людей. Где со слезами, где со смехом поведал он о том, как жили и росли они после моего приезда в Сушково.

Попав на руководящую должность, папа повел бурный образ жизни, да такой, что и не пересказать, будто перед всемирным потопом куролесил, кутил и последнего разума решился.

Однажды поехал он на дальние тундровые озера, на Пяси-ну, где стояли рыболовецкие бригады, сплошь почти женские. Питаясь одной рыбой, они ждали денег и купонов на продукты, хлеб и муку. Но папа так люто загулял с ненцами по пути к озерам, что забыл обо всяком народе, да и о себе тоже. Олени вытащили из тундры нарты к станку Плахино. На нартах, завернутый в сокуй и медвежью полость, обнаружился папа, черный весь с перепоя, заросший диким волосом, с обмороженными ушами и носом. За нартами развевались разноцветные ленточки, деньги из мешка и карманов рыбного начальника сорились. Ребята давай забавляться ленточками, подбрасывать, рвать их, но прибежала мачеха, завыла, стала рвать на себе волосы — ленточки те были продуктовыми талонами, деньги — зарплата рабочим-рыбакам.

Пропита половина. Чем покрывать? Папа пьяный-пьяный, но смикнул: на озера, в бригады ехать ему нельзя — разорвут голодные люди, под лед спустят и рыбам скормят. Вот и повернул оленей вспять. Но все равно хохорился, изображая отчаянность, кричал сведенным стужей ртом: «Всем господам по сапогам!..», «Мореходов (начальник рыбозавода) друг мой верный! И мы с Мореходовым на урок положили...» Урками начальник рыбного участка называл бригадников, волокающих на тундряных озерах немысленно тяжелую работу — пешнями долбить двухметровый лед, и, пока доберутся до воды, делают три уступа, майна скрывает человека с головой. И все же работают, не отступаются, добывают ценную рыбу — чира, пелядь, сига. Видеть папину дурь, слушать его было на этот раз совсем неловко даже детям, все понимали, да и он тоже: несдобровать ему.

Судил начальника рыбного участка и бухгалтера выездной суд в клубе станка Плахино. Двадцать четыре года отвалили им на двоих за развеселую руководящую жизнь. После суда папу отправили этапом на строительство моста через Енисей — на Крайнем Севере возводилась железная дорога.

Строй заключенных спускался по игарскому берегу к баржам. Колька стоял в сторонке, дожидаясь отца, чтобы передать ему пачку махорки. Мачеха с ребятами, приехав следом за отцом в Игарку, поселилась у знакомых и заболела, свалилась от потрясения, головой стала маяться, совсем уж расшатанно потряхивала ею, судорожно дергалась худой, птичьей шеей. Задержась с пятью-то ребятами, без угла, без хлеба, без хозяина, какой он ни на есть. Осунувшийся лицом Колька отыскивал взглядом отца — понимал парнишка: мыкаться им, ох, мыкаться. Из-за слез не вдруг различил Колька отца в колонне. Зато Бойе сразу увидел его, возликовал, залаял, ринулся в строй, бросился отцу на грудь, лижет в лицо, за фуфайку домой тянет. Замешкался, сбился строй, и сразу клац-



нул затвор. Отец, сделавшийся смиренньким и виноватым, загородил собою Бойе.

— Это ж собака... В людских делах она не разбирается... — И, приметив плачущего Кольку, уронил взгляд в землю: — Стрелять не собаку, меня бы...

Колька с трудом оттащил Бойе в сторону. Кобель не понимал, что происходит и зачем уводят хозяина, завыл на всю пристань да как рванется! Уронил Кольку, не пускает хозяина на баржу, препятствует ходу.

Молодой чернявый конвоир приостановился, отбросил собаку пинком в сторону и, не снимая автомата с шеи, мимоходом, в упор прошил ее короткой очередью.

Бойе словно переломился в спине, стремительное его тело забилось передней половиной, заскребло, зацарапало лапами дорогу. От пыли собака сделалась серой. Заключенные старались не наступать на умирающего пса, перешагивали через него, смешали пятерки. Конвой заволновался, бегом погнался по трапу подконвойных в трюм баржи. Плакал отец, труся по трапу в гуще людей. Плакал Колька, пластом свалившись на Бойе.

Бойе еще поднял голову из торфяной пыли, размешанной ногами, отыскивая глазами хозяина, но увидел человека с коротеньким ружьем, обвел приметливым, быстрым взглядом мыс острова с бедной заполярной растительностью, небо серенького клок и стену лесов за Енисеем, всегда заманчивых, наполненных тишиной и тайнами, которые Бойе так любил и умел разгадывать. Родившийся для совместного труда и жизни с человеком, так и не поняв, за что его убили, пес проскулил сипло и, по-человечьи скорбно вздохнув, умер, ровно бы жалея иль осуждая кого.

И впрягся Колька в лямку, которую никогда не желал надевать на себя папа. Зимой ли заполярной, в трескучие морозы, в мокромозглую ли осень, в дурное ли внешнее половодье парнишка в тайге, на воде, с ружьем, с сетями — кормил, как мог, семью, помогал матери. Однажды столкнулся нос к носу с только что поднявшимся из берлоги медведем. Не успевши перезарядить одноствольное ружье, пальнул дробью в зверя. Пока тот, ослепленный, катался по земле, пока ревел, отбиваясь от собаки, парнишка стал за дерево, заложил патрон с пулей и встретил медведя, ринувшегося на него.

Было охотнику и кормильцу в ту пору четырнадцать лет, и долго тащить на себе такой возище у него не хватило сил. Был он еще слишком жидок и скоро надорвался. Пришлось мачехе отдавать младших ребятишек в детдом, и хватили они той самой жизни, коей стращали когда-то родители старшего парня, стало быть меня, и не всем братьям и сестрам та жизнь задалась...

Поведав мне все это, братан сорвался со скамейки пионерлагеря, схватил мой чемоданишко и поволок меня в город. Всю дорогу он, захлебываясь, жестикулируя руками — это у

всех у нас от папы, — говорил, говорил и вроде бы наговориться не мог. Папа неизвестно где, а жесты, привычки его, и не все самые лучшие, навсегда отпечатались в нас.

Мачеха, выйдя снова замуж, выехала с новой семьей на магистраль. Коля задержался в Игарке, работал таксистом, только что женился, но ни о молодой жене, ни о работе не поминал, мысленно пребывал в лесу, на реке. На другой же день он утратил меня на старую Игарку, на озера, и мы там — порою-то одинаковая! — нахлестали уток, но достать их не могли. Стояло безветрие, озера заросшие, уток не подбивало к берегу. Братец, недолго думая, снял сапоги, штаны, закатал рубаху на впадом животе с наревленным в детстве пупом и побрёл. Я ругался, грозил никуда больше с ним не ездить — на дне заполярных озёр, под рыхлым торфом и тиной вечный лед, и ему ли, с его «могучим» телосложением...

— Ниче-о, ниче-о-о-о! — всхлипывая от холода, брёл Коля напропалую, вглубь. — Привычно. — Да еще поскользнулся и в ответ на мою ругань выдал: — Худ в воду бредет, худ из воды вылезает: худ худу бает: ты худ, я худ, погоняй худ худа...

— У-ух! — оступился братец, ахнул, ожгло его водой, и поскорее на берег, не закончив присказки, однако несколько птиц сумел ухватить. До красноты ошпаренный студеной водой, обляпанный ряской, тиной и водорослями, он плясал возле костра, а наплясавшись и чуть обыгав, стал намекать: не попробовать ли еще? Вода сперва только холодная, потом ничего, терпимо.

Я заорал на него лютей прежнего, и братец с сожалением оставил свой замысел.

Мы ждали ветра, чтоб он подбил уток к берегу озера, но дождался шторма. Без припасов сидели двое суток по другую сторону Енисея, питаюсь без соли испеченными в золе утками. Во всех замашках брата, в беззаботности его, в рассказах, сплошь веселых, в разговорах с прибаутками, да и в поступках тоже — дружил с одной девушкой больше года, женился на другой, знаком с которой был не то три, не то четыре вечера, не считая затяжного выезда на такси за город, — во всем этом было много от затерявшегося родителя. Лицом братец — вылитый папа, но больше всего было все же в нем мальчишки. Не прожитое, не отыгранное, не отбеганное детство бродило в парне и растянулось на всю жизнь... Видать, природой заказанное человеку должно так или иначе исполниться.

Коля заявил: точит его мечта махнуть зимой поохотничать в тундру. На машине работает без души, в городе ему скучно. Отговаривать его было бесполезно, от этого он только пуше воспалялся, в братце бурлила отцовская кровь.

В пору золотой осени, когда на большом самолете я мчался по ясному небу в Москву учиться уму-разуму на литературных курсах, братец мой, Николай Петрович, вкупе с двумя напарниками бултыхался среди густых, уже набитых снегом,

затяжелевших облаков в дребезжащем всеми железками гидросамолетике, держал курс на Таймыр — промыслять песка. Самолет лодочным брюхом плюхнулся на круглое безымянное озеро с пологими, почти голыми берегами, спугнув с него сбитых в стаи уток и гусей. Охотники соорудили плот из плавника, перевезли на нем провизию и вещи на берег. Летчики, настрелявшись всласть, собрали дичь с воды, пожали руки артельщикам, жаждущим охотничьего фарта, и улетели, чтобы прибыть сюда вновь в середине декабря тем же самолетиком, но уже переставленным на лыжи.

Старая подопревшая избушка, срубленная много лет назад на Дудыпте — одном из многочисленных притоков реки Пясины, нуждалась в большом ремонте. Напарники поручили Коле ставить сети, ловить рыбу на «накроху» и на еду себе и собакам, а сами принялись подрубать, латать и обихаживать зимовье.

Выметав две мережи: одну на озере, другую против избушки на Дудыпте, Коля принялся долбить яму, в которой надлежало запарить пойманную рыбу, дабы от нее распространялась вонь, и как можно ширше. Долго ли, коротко ли копал рыбак яму, но сети не давали ему покоя, хотелось узнать, что в них попало. Он спустился к Дудыпте — сети не видать. Ладно привязать охвостку догадался за камень на берегу, иначе не нашел бы мережи. Попробовал подтянуть сеть с плота — она не сдвинулась с места. «Зацепилась!» — огорчился Коля и начал перебираться по тетиве, пытаясь отцепить мережу, но как только отплыл от берега, взглянул вглубь, чуть с плота не сверзился — мережу утопила рыба! Втроем едва выволокли артельщики сеть из воды: нельмы, чирьи, сизги, шуки зубатые — все рыба отборная. На полотне мережи обнаружились «окна» — человек пролезет! Решили мережу проверять проворней, иначе одни веревки от сети останутся.

На озере попалась жиром истекающая, толстоспинная пелядь и много сорной рыбешки. Постановили пелядь заготавливать на зиму, если время будет, и домой повялить этой вкусной рыбочки, остальной же весь улов на прикорм: хорошая накроха — половина дела в промысле песка ставными ловушками.

Две ямины забили накрохой старательные охотники, сами наелись до отвала жареной и копченой рыбки, жиру натопили бочонок, на глухую пору зимы да и от снежной слепоты рыбий жир — верное средство. Погода стояла ветреная, холодная, все вокруг прозрачно до хруста, накроха в яме не закисло. Только эта забота беспокоила охотников. Порешили: коль не сопреет рыба в ямах, доводить ее до вонючей теплоты избушки, пусть будет душина — стерпят. От безделицы шатались по тундре, голубику, кое-где на кустах оставшуюся, обдаивали, клюкву из моха выбирали. Верстах в десяти от зимовья, среди выветренных, болотом поглощенных скал островков лиственного леса, в нем краснела брызганка — брусника. Лесок с бабисты-

ми комлями, изверченный, суковатый, изъеденный плесенью, брусника изморная, мелконькая, а все лакомство, все радость и от цинги спасение. Полную бочку ягод набрусили, водой ее отварной залили умельцы, чтоб не прокисла ягода без сахара, дров наплавили — всю зиму жечь не пережечь, бражку на голубике завели, чтоб спирт не трогать до «настоящей» работы.

Удачно начался сезон, ничего не скажешь! Настроение у Коли и у молодого напарника Архипа боевое и даже шаловливое. Что ни прикажет старшой, парни со всех ног бросаются исполнять. Старшой в артели — человек бывалый, и войну и тюрьму прошел. В этих краях, у озера Пясино долбал мерзлую землю, хаживал с рыбаками в устье Енисея, нерпу и белугу промыслял возле Сопочной карги. Пробовал на лихтере шкипером плавать — не поглянулось: инвалидная работа, привык к жизни опасной, напряженной, беспокойная душа движенья, просторов и форта жаждет.

Полные добрых предчувствий, молодые охотники бежали по тундре, шарились в лесочке, постреливали по озерам, рыбу в Дудыпте добывали, дрова ширикали — и всё им хаханьки да прибаутки, и не замечали они — старшой день ото дня становился смурней и раздражительней. Парни над ним шутики шутили: как старшой на чурку сесть уцелится, они ее выкачают — бугор врасстяжку, парни в хохот; а то ложку у старшого спрячут либо сигарку спичками начинают — старшой ее прикуривать, она ракетой изо рта! Вечерами, а они день ото дня становились темнее и длиннее, парни травили анекдоты и вслух мечтали: «Вот добудем песка, вылетим в Игарку и тебя, бугор, ожнем на бабе, у которой семь пудов одна правая ляжка, тридцать два килограмма грудя! Смотри вперед смело, назад не обертывайся, то не горе, что позади!..»

«А то горе, что вперед! — подхватывал про себя старшой. — Верно, парни, верно. И как вы себя покажете?..»

В тундре мор лемминга, так по-научному зовется мышь-пеструшка — самый маленький и самый злой зверек на Севере; всему живому в тундре пеструшка — корм, даже губошлеп олень, попадись она ему, сжует и не задумается, а песцу-прожоре это главное питание. Несло мертвые тушки леммингов по реке, оттого и набилась в Дудыпту рыба — жирует. Еще в тот, в первый день, когда ошалелый Колька рыдающим голосом позвал их к сети, екнуло и заскулило у старшого сердце: не будет лемминга — не будет песка. Ход его, миграция, по-научному говоря, много таит всяких загадок, да навечно ясно и понятно одно: держится песок, как и всякая живая тварь, там, где еда. Не только проходной, но и местный песок откоцует — голодной смерти кому охота?

При первых же заморозках, отковавших железную корку на земле и звонкий лед на озерах, появился широкий путаный нарыск зверьков по тундре. Песец выедал остатки лемминга, землеройку-мышь, отставшую больную птицу и все, что было еще живо и пахло мясом. Блудливые песцы сделали набег на

ямы с накрохой. Колька с Архипом весело гонялись за песцами, палили из ружей — десяток зверьков угрохали, крепко при этом подпортив шкурки. «Вот дак да! — ликовали парни. — Песец-то, песец-то на стан лазом лезет!»

И залез бы. Разорил запасы, голодом уморил охотников, если б старшой лопоух был. Он еще по первой пороше, осмотрев густую песцовую топанину вокруг зимовья, велел поднять весь провиант на чердак, крышки бочек придавить камнями, ямы с накрохой завалить булыжниками и плавником. Не доверяя беззаботным напарникам, старшой сам зорко стерег муку и соль. Расставив по углам зимовья мышеловки, ударно промышлял мышей. И вот однажды мыши исчезли, смолк ночной воровской шорох, царапанье, бодрый писк, и тогда свалился старшой на нары, выгнуллся, закинув руки за голову, не курил, не спал, не разговаривал, много томительного времени проводя в раздумье, обыденно, даже чересчур обыденно возвестил:

— Песца, парни, однако, не будет.

Охотники были сражены. Холодов ждали, веёров, одиночеством тяготились уже, но развеивались надеждой: «Вот пойдет песец, некогда скучать будет!»

— Не будет охоты, — беспощадно рубил старшой, — ходовой песец минет эти бескормные места, местный, прикончив мышей и все, что дается зубу, тоже откатится с севера, пойдет колесить по земле в поисках корма.

— Что же теперь делать?

— Можно уйти, парни. Сделать нарту, погрузить продукты, запрячься в лямки и, пока неглубоки снега...

— Сколько идти?

— Я как тут прежде охотился? Иду, а за мной ружья несут, — усмехнулся бугор, — и карт не выдавали...

Парни хоть и бесшабашны, но хватили кой-чего в жизни, о тундре наслышны: идти много-много немереных километров, без палатки, без упряжных собак. Три дурака случайно, на ходу купленных, ловко ловили мышей, заполошно гоняли зайцев вокруг озера, рыскали по тундре, распугивая последнюю живность, жрали непроворотно рыбу, грызлись меж собой. Но и дураков двух уже не стало — одного порвала проходная стайка полярных волков, другой, водоплав и лихач, метнулся в полынью за уткой-подранком, до морозов державшейся на воде, и до того себя и утку загонял, что вконец обессилел, выползти наверх не смог, и его вместе с добычей в зубах затащило под лед. Последнюю из трех собак старшой приказал беречь пуще глаза.

— Какое хоть время пройдем?

Раздражение, но пока еще, слава богу, не враждебность. Старшой свернул сигарку, неторопливо прикурил и, сунув сушок в поддувало печки, долго не отрывал взгляда от красно полыхающего огня.

— И этого не знаю, парни, — вздохнул старшой. — Если пурги не будет, если идти изо всех сил, если не закружимся,

если не перегрыземся, если удача от нас не отвернется, маракую, за полмесяца дойдем... — Говоря негромко, но внятно, старшой особо напирал на «если», будто кружком его обводил, заставляя вслушиваться, взвешивать, соображать.

— Если... если... — уловив смуту в словах старшого, заворачали парни, и тон у них такой, будто надул их бугор и во всем виновен перед ними. А виноват и есть! Насулил, губы мазнул отравой фарта, подзадорил, растревожил, и что?! Чувство неприязни, желание свалить на кого-то пока еще не беду, всего лишь неудачу забрезжило и во взглядах, и в разговорах молодых охотников. Разъедающая ржавчина отчуждения коснулась парней, начала свою медленную разрушительную работу. Сами они пока не понимают, что это такое, пока еще «каприз» движет ими — конфетку вот посулили и не дали, а не чувство смертельной опасности. Смутная тревога беспокоила парней, но они подавляли ее в себе, раздражаясь от этого непредвиденного и бесполезного, как им казалось, усилия. Они готовились к работе, ими двигало приподнятое чувство ожидаемой удачи, охотничьего чуда, но в зимней, одноликой и немой тундре даже удачный промысел не излечивает от покинутости и тоски. Случалось, опытные промысловики переставали выходить к ловушкам. Оцинжав, заваливались на нары и, подавленные душевным гнетом, потеряв веру в то, что где-то в мире есть еще жизнь и люди, равнодушно и тупо мозгли в одиночестве, погружаясь в марь вязкого сна, дальше и дальше уплывая в беспредельную тишину, избавляющую от забот и тревог, а главное, от тоски, засасывающей человека болотной чарусой. Старшой и пошел оттого артельно на промысел — трое не двое, будет людней, будет бодрей, да и парни вроде не балованные, трудовые парни, крепкой кости, брыкливые, веселые — пойдешь песец, не отвернешься от них удача, перемогли бы и тундру и зиму.

— А если останемся? — дошел до старшого настойчивый вопрос. Парни могли еще позволять себя досадовать, вроде бы он, старшой, мамка им, а мамка же на то и мамка, чтоб терпеть от детей своих наветы, обиды да отводить напасти от них и от дома.

— Если останемся? — переспросил старшой и замолк. Парни ему не мешали. Некуда торопиться. Дотянув сигарку, бугор не растоптал ее на полу, как напарники, заплывал чинарик и опустил в ржавую консервную банку, будто в копилку, — навечно ввевшаяся привычка бродячего человека дорожить на зимовье не только каждой крохой хлеба, но и табачиной. Поднялся старшой от печки, согнулся под потолком, щедровитое лицо его, будто вытопленное, обвисло складками — разом постарел бугор. В себя ушедшим взглядом старшой скользнул по оконцу — белó за ним, снега полóго и бескрайно лежат, среди них избушка одиноким челном плывет, ни берега вокруг, ни пристанища — пустота кругом. Ступи с палубы этого челна, обвалишься и вечно будешь лететь, лететь... — Кто его,

зверя, знает, ребята, тварь богова... Может, и пойдет еще? — Старшой говорил вяло, словно не о главном, словно главное на уме, он перестал лаяться, не употреблял даже слова «черт» — иная, чем прежде, мораль двигала старшим. — В тридцать девятом году взял песец и через станки и населенные пункты пошел. В Игарке на помойках ловили его, обормота, бабы-укладчицы на лесобирже меж штабелей гоняли, досками фрохали... Загадка природы. — Сгорбился у печки бугор, кряхтел, курил. В избушке слой дыма, что окуневый студень — хоть ножом режь... — Ну а если песец не пойдет... Можем и постреляться...

— Как так?

— Очень просто, из ружей. — Старшой почесал голову: — Не растолковать мне. Маею такая штуkenция рождается... Решать надо: уходить, так не мешкая, останемся — разговор отдельный будет. На размышления вечер. Разбежимся в разные стороны, пораскинем умом. Крепко мозгуйте, парни, напрягите башки, коли есть чего в них напрягать...

Весь вечер бродили парни по тундре, ночи прихватили. Погодка стояла самый раз, безветренная, морозец покалывал, прочищал поздри, глотку, легчил душу и голову. Вольно было застоявшемуся телу двигаться, катиться, лететь на лыжах, видно так далеко, что земля и на самом деле шаром вдали закруглялась, на горбине шара ровно бы сторожевые вышки мерцали заледенелыми оконцами — то сверкал лед на приморских скалах. И если долго на них смотреть — скалы начинали двигаться, рассыпаться. Над оледенелыми камнями морского побережья ненадолго зависло солнце, ровно бы лишним сделавшееся на небе. Висело, висело и исчезло. Не закатилось, не опало за горизонт, вот именно исчезло — его вобрал в себя без остатка, всосал, как старую, измызанную пустышку, узенький красноватый зев, проткрывшийся над скалами, и тут же все: и онемелую аленькую щель, и скалы, и белые снега, над которыми какое-то время еще трепетал, догорал красный клочок неба, заволокло сгустившимся мороком.

Тундра погрузилась в глубокую тишину. Тени, пока еще недвижные и тоже бесшумные, опустились на нее сверху, придавили свет, сжали пространство. «Солнце закатилось до весны», — догадались зимовщики, и у каждого из них сердце сжалось в груди, холодом ни на что не похожей разлуки опануло нутро, и такое осязаемое чувство беспросветности охватило души охотников, что они, бродившие нарозь друг от друга, не сговариваясь, порешили: «Уходим!»

Но в тундре что-то шевельнулось, стронулись снега, закачалось пространство вокруг, то там, то тут начало чиркать искрами, и небо, только что мутное, грузное, пустое, вдруг растворило врата прозрачным и переменчивым светом. Жуть и восторг охватывали душу. Надо бы бежать, но не было над собой власти. Середь ночной сверкающей тундры, опершись на таяк, стоял Коля, стоял Архип, стоял подле избушки старшой,

и все они улыбались растерянно и приветливо, не понимая, что с ними, отчего такое облегчение?

К зимовью охотники вернулись разом, в позднее для этих мест время. Навстречу вывалился кобель Шабурко — звался он по фамилии хозяина в отместку за то, что слупил с охотников неслыханную цену, пользуясь их безвыходным положением.

Дыша холодным паром, парни ввалились в избушку и в один голос заявили:

— Остаемся!

— Остаться не напасть, да кабы, оставшись, не пропасть.

— Ни хрена-а! Не мы первые, не мы последние. Чё нам, без добычи уходить? Манатки бросать? Неустойку платить?..

— Ну, ну! Колефтиф настаивает. Колефгиф — сила!

Разогрев еду, старшой достал из запасов поллитру спирта, молча налил полную кружку, вынул нож из ножен, полоснул по руке, кровью спирт разбавил. — «Начинается!.. — Лица парней вытянулись, под кожей холод захрустел. — Накатило на старшого. Все они, эти «бывшие», люди потрясенные, и чего им на ум придет — угадай попробуй!» Цап Кольку за руку, чирк ножом по пальцу, кровь отсцживает Колькину в кружку старшой.

Архип побелел, к двери попятился, чтобы рвануть из избушки, да не успел, старшой его перехватил, тоже ему палец порезал.

Побурел спирт от крови, отвратным на вид сделался. Затосковали парни, ждут, чего дальше будет? Старшой примочил ранки спиртом, велел забинтовать пальцы, зажег свечу и, капая воском во все четыре угла зимовья, забормотал жуткую запку: «В добрый час молвить, в худой помолчать. На густой лет, на большую воду, на свою и товаришзев алу горячу кровь, на свой чистый подложечный пот, на живу душу слово намолвлю: пустоглаза тоска, змея косна — цинга, люто голодное, люто холодное — миньте нас, киньте нас, уйдите на посолонь, закружитесь по ветру, растопитесь от воску ярого, ослепните от огня бегучего, оглохните от слова клятвенного, околейте от креста святого! Кто бел-горюч камень — Алатырь изгложет, тот мой заговор переможет! Ни днем, ни ночью, ни по утренней заре, ни по вечерней, ни в обыден, ни мужик, ни колдун с колдуньей, ни баба, ни пожилой, ни старый, ни сама тундряная ведьма с тем словом моим, заклятым, верным, не совладают, не перемогут его. Амины!..»

Прилепил старшой свечу к столу, умолк, в изнеможении. Избушка осветилась, бодрее в ней сделалось, не то что от лучины и печки. Керосин и свечи берегли, освещались подручными средствами, жгли чаще тряпицу в рыбьем жире. Парни на нары забрались, ноги поджали, во все глаза глядят на старшого. А он разлил спирт по кружкам, приказал двигаться к столу, поднять кружки, держать их на весу и глядеть в глаза друг дружке, пока он, старшой, будет творить клятву, и все слова повторять следом.



Парни сперва с пугливой ухмылкой, как филины, булькали, рыгали какую-то присказку насчет моря-океана, острова Буяна, зверя рысучего, снега сыпучего, но поворотилось и на серьез:

— Будет ли, не будет ли удача — жить союзно. Поглянется, не поглянется какое слово старшего — не прекословить и зла никакого друг на дружку не копить. Все выкладывай, худое ли, хорошее. День кончился, ночь пошла. Снегу на зимовье наметет — могила. Работать, двигаться и разговаривать, разговаривать. Время гиблое, не вступ ногу жить, гибель, стало быть. Долбить корыта в настях и кулемах, если зверек попадет, не плющило б его, не погрызли б другие зверьки и мыши. Ловушек ставить больше, навалного песка не будет, следует его стараньем брать, накрохи не жалеть, пусть воняет, живность привлекает. Свету мало — пятнышко за сутки, значит, бегать быстро, но беречь себя, не запариваться — один простынет, захворает — хана всем. Договор наш кровью скреплен, такой договор смертельный. Добыть бы жильной крови, выпить гольную, да, вас жалеючи, не стал тела молодые уродовать... — Старшой покидал щепоткой пальцы над кружкой, хукнул, отбрасывая из себя воздух, выплеснул наговорное зелье в рот, утерся рукой, зажевал питье подвяленным хвостом пелядки. Молодые его связчики с отвращением выпили розовый от крови спирт, передернулись, захрустели рыбой.

— Да, вот еще что, парни, — подождав, когда они отдышатся и закусят, продолжал старшой, — соленого много не лопать, снег не хапать, с хлебом аккуратней — стряпаете, мучкой сорите. Шабурку на норму! Распустил пузо, что генерал! И помните всякий час, всякую минуту: в тундре заблудиться страшнее, чем в нехоженой тайге.

— Да ладно, — остановили они старшого, — хватит правдо качать!

И потекли часы, складывающиеся в длинные сутки, сутки в еще более длинные недели. Песец не шел. Попалось в пасти две лисы, пустобрюхих, костлявых, в худошерстной шкуре; призаблудился как-то горностай — занесло его в лесок, заваленный снегом до колючих вершин. По берегам Дудыпты и возле озера хорошо ловилась куропатка в силки, пока не задавило сугробами стланики. Но начались метели, и кончилась всякая работа. Забавлялись полярными совами. Воткнут в тундре шест или палку, на верхушку капкан приладят — сова видит в ночи и в пургу, не облетит никакую мету — ей тоже хочется на чем-нибудь твердом посидеть, покрасоваться. Ели сов. Не куропатка, конечно, мясо горчит, горелой овчиной или мышами пахнет, зато пуху, пуху от совы, пенистого, легкого — вороха! Вот бы радости бабам, да где они, бабы-то?

Залегла зима по Пясине, по Дудыпте, по всему Таймыру, сровняла снегом впадины речек с берегами, ухни — напурхаешься, пока вылезешь. Снег еще не перемерз, рыхлый, еще лицо до

крови не сечет, слава богу. Маячившие у приморья скалы растворила, вобрала в себя все та же безгласная ночь. Лесок, островком ершившийся среди тундры, захоронило снегом. Перебивались, искрились до рези в глазах снега; да небо, чем дальше в зиму, тем живее светилось и двигалось. Но уже не пугало и не завораживало северное сияние охотников, да и достигало оно земли все реже и слабей — подступала пора диких, вольных ветров и обвальных метелей. В распогодьё охотники спешили при свете позарей пробежаться по ловушкам, со слабо теплойшей надеждой на удачу. Вот и ухнула полярная метель, загнала промысловиков в зимовье, запечатала их в избушке, залепила окно, закупорила дверь, загнала в снежный забой. Лишь труба стойко торчала из снега, соря по ветру искрами, клубя низкий живой дымок.

Время двигалось еле-еле, разговаривать охотникам не о чем — все переговаривали; делать по дому нечего — все переделали, а ветер все дичей, яростней. Подняло снег над тундрой, воедино слились земля и небо, вместе кружась, летели они в какие-то пространства, где никакой тверди нет, и охотничья избушка, стиснутая снегами, выплевывая трубою дым, тоже летела, вертелась среди воя, свиста и лещачьего хохота. В замороженном окне едва приметным бликом шевелился отсвет печного огня, тыкался жучком туда-сюда, отыскивая щелку в толстых натеках льда, и лишь эта капелька света, эта звездочка, проткнувшаяся в крошечную тьму, и напоминала о стойком существовании мироздания.

Время суток — день, ночь определялись по часам да еще по Шабурке. Заспавшийся в избушке кобелишка раз в сутки просился на волю и к такой же норме приучал своих хозяев, которые безвольно погружались в молчаливость, расслаблялись от безделья, ленились отгребать снег от избушки, подметать пол и даже варить еду. Старшой за шкирку стаскивал покрученников с нар, заставлял заниматься физзарядкой, придумывал заделье или повествовал о своей жизни, и такая она у него оказалась необыкновенная, столькими приключениями наполненная, что хватило рассказов надолго. Парни слушали и дивились: сколь может повидать, пережить, изведать один человек, и советовали старшому, пока делать нечего, «составить роман» на бумаге. Старшой соглашался, да бумаги-то в избушке мало, всего несколько тетрадок, потом уж, на старости лет как-нибудь засядет составлять роман, а пока слушай, парни, дальше.

Лютая зима, ветер, пронзающий не только тело, но и душу, приучают всякие необходимые отправления делать по-птичьи, почти на лету. Архип не мог приноровиться к такому вихревому режиму, трудно все в него входило, еще трудней выходило. Он до того застывал на ветру, что заскакивал в зимовье со штанами в береме, не в силах уже застегнуть их. Однажды и во все подзадержался Архип на воле. Старшой выслал Колю за напарником. Набрасывая на плечи телогрейку, Коля стал пол-

ниться неожиданным гневом: «Разорвало б обжору! Нашел время расслаживаться! Садану дрыном по хребту — будет знать!»

В промысловую бригаду затащил Архипа Коля. Работали они вместе в таксопарке: один шофером, другой слесарем. Архип — выходец из старообрядцев, хотя медлителен умом и на руку не спор, но работящ, бережлив, по возможности на свое не выпьет. Надежным, крепким, главное, послушным аргельщиком казался Архип и неожиданно первым помутнел, чаще и чаще огрызается, поссориться норовит. Поначалу справлялись с собой Коля и бугор, старались не обращать внимания на брызгу с таким редким, дрсвним именем. Но вот стало чем-то их задевать все в Архипе, даже имя его, которым прежде потешались, сделалось им неприятно.

Архипа возле зимовья не оказалось. Коля взухал раз, другой. Голос его словно бы отламывало ото рта и тут же закручивало ветром, глушило снегом. Старшой, услышав крик, зарычал, подпрыгнул, шапку надернул. Шабурку выбросил из-под нар в снеговую круговерть, сам метнулся следом, зверски матерясь.

Шабурка мигом отыскал Архипа. Стоит охотничек за избушкой, придерживает штаны, набитые снегом, пробует орать, но хайло снегом запечатывает. Закружился в пурге молодой охотник, добро, что не метался, не бегал, потеряв избушку, иначе пропал бы.

Велико ли время прошло, да успел ознобить кое-что Архип, рот его скипелся, даже зубы не стучали, только мычанье слышалось, и слезы текли из глаз.

Загнанно, нанически дыша, заволокли напарники Архипа в зимовье, свалили на нары, принялись оттирать. Отогрелся, отошел Архип. Старшой ему «Отче наш» в назидание и приказ всей артели: пока ветродурь не кончится, ходить в лохань. Простая такая операция получалась лишь у старшого. Парни мучились, стыдись друг дружки. Тот, кто бывал в больницах и госпиталях «лежачим», ведает, что насильственная эта штука хуже всякой кары.

Первым снова не выдержал и осердился Архип.

— Привык к параше! И сиди на ней! — заорал он и засобирился на улицу, забыв, как замерзал совсем недавно, волком выл, когда его оттирали. Коля солидарно с Архипом тоже шапочку на голову, тоже на волю. Старшой прыгнул к двери, закрутил в кулаки телогрейки на парнях.

— Обсоски! — рычал он, вызверившись. — Из снега выкапывать вас, красивеньких, беленьких?! — И, отшвырнув обоих к нарам, пнул еще, не больно пнул, но остервенело, да и бранил их много, совсем как-то обидно, ровно мальчишек, и до того увлекся этим развлечением, что вывел из себя Архипа. Набычился, всхрапнул старовер и молча пошел на старшого.

Будто смертельные враги, сошлись артельщики средь избушки, схватились, испластали вмиг друг на дружке рубахи, рычали по-собачьи, хватались за горло, царапались, хрюстали кула-

ками во что попало. Брызнула, закипела на печке кровь, запахло горелым мясом.

— Мужики-и-и! — закричал Коля, втискиваясь меж связчиками. Но где ему, заморышу, совладать с двумя здоровенными лбами, которые так ломали друг дружку, что трещали кости. До пояса голые, в кроважих царапинах, молча тилишутся — ни матюка привычного, ни ора, лишь храп, рычание — звери и звери.

Плошка упала, погасла. Темный в избушке, ветер лютует за дверью, и лютуют во тьме два артельщика.

— Мужики-и-и-и! — закричал громче прежнего и заплакал Коля. — Мужики! Опомнитесь! Мужики-и-и! Лю-уди! Карау-ул!..

Сверкнул и вывалился из печки огонь. Избушка наполнилась дымом — своротили печку обормоты и враз отпрянули от огня, трезвея. Коля заливал головешки из чайника натаянном снегом.

— Балды! Суки! Заразы! — все кричал он и плакал. — Сгорим в тундре, что тогда?!

Старшой забрался на нары, забился в угол, натянул на себя одеяло. Архип кашлял от дыма до слеза, сипел, тужась что-то сказать, непримиримо тыкая пальцем туда, где таился старшой. Коля водружал железную печку на место, в ящик с землею.

— Всер-р-равно, всер-р-равно... Он меня... Я его... — разобрал он.

— Чё буровишь-то? Совсем уже того?! — потыкал Коля себя пальцем в висок и неожиданно хватанул Архипа так, что тот оказался за мерзло крякнувшей дверью. — Остынь, недоумок! — Собрав в печку чадающие головешки, выпустив пар и дым из зимовья, Коля откашлялся, высморкался и, утирая подолом рубахи грязное от сажи и слез лицо, с горестным ожесточением обратился к старшому: — А ты-то, ты-то! Сурьезный человек! За коллектив, пусть и махонький, ответственный...

Старшой шевельнулся на нарах, прошуршал пересохшей осокой, отыскивая одежонку, спустился на пол, знаком показал на чайник — полить. Умыв разбитое лицо, начал утираться тряпичей.

— Не окажись воды, — шевельнул Коля чайником, — погорели б и, как псы, подошли средь тундры.

— Худо, Колька, худо... Н-на, худо, Колька, худо. Началось! Позови-ка эту жертву неудачного аборта, простудится, остолоп!..

Сошлись в одной избушке артельщики, деваться некуда. Не разговаривают, от папироски друг у дружки не прикуривают, принципиальные. Рожи у обоих запухли, темными синяками наливаются, экая красотища! Натешились, измордовали друг дружку, разрядили злобу. Что-то дальше будет?..

Сварив еду, Коля достал с чердака избушки из неприкос-

новенного запаса бутылку спирта, развел, в кружки налил и, как сердитая, но все понимающая, добросердечная хозяйка, велел чокнуться и выпить мировую.

Чокнулись, выпили. Коля хоть и натянуто, но уже с некоторыми облегчением и искательностью рассмеялся:

— Э-эх вы-ы!

Старшой стиснул рукой лицо, будто стирая с него что-то, провел сверху вниз.

— Бывает! — сказал покаянно. — Да больше не надо.

Архип тоже что-то буркнул и отвернулся. Выпили еще по малой, пытались заговорить. Однако разговор увязал, рвался. Нарушилась душевная связь людей, их не объединяло главное в жизни — работа. Они надоели, обрыдли друг другу, и недовольство, злость копились помимо их воли.

Но бывает конец пурге и в тундре. Проснулись утром — тишина, да такая оглушающая после, казалось, уж вечного воя ветра, бряканья трубы, гула снежных туч, что и тревожно от нее. Старшой вышел на волю, заорал, шапку подбросил, пнул ее, поймал Шабурку, катнулся в обнимку с ним по снегу.

Охотники разбрелись в разные стороны откапывать ловушки. Снега сделались глубоки, пурга была долгая. Песцы в поисках корма начнут теперь делать кругалья по всей тундре, глядишь, и этих мест не минуют. Врали, обманывали сами себя покрученники — надо было верить во что-то, и они убеждали себя: будет, будет удача, пусть и запоздалая.

Задыхаясь жидким воздухом — выдуло из него ветром кислород, стужей выбило сырость из снега, в коловерти пурги выварило из него клейковину, охотники бродили по тундре, отыскивали захороненные в забоях ловушки и, к удивлению своему, немало их откопали. Совы, чуя корм под снегом, разрывали наметы, наводили на места. Мало только осталось возле Дудыпты сов, переловили их охотники капканами, свели беззаботно, теперь хватились, да уж делу не помочь.

Коля придумал себе занятие: волоочь на истоплю жаркий витой кряжик. Лесок был по маковку завален снегом, пришлось много трудиться, прежде чем откопaeшь лыжиной суховерхое деревце со стеклянно хрупкими от мороза сучками, с прикипелой к плоти дерева болонью и корой, под которой остановился сок. Коля тюкал деревце топором. К лезвию топора белым жиром липла смола лиственницы, тонкими паутинками пронизывающая годовые, вплотную пригиснутые кольца, не давала загаснуть дыханию, с лета поднявшемуся по неглубоким, но жилистым корням. Мал лесок, всего островок крохотный, и веток живых на каждом деревце с пяток, не больше, а раскопaeшь снег до земли, хвоя лежит, пусть тоненько, пусть на плесень похоже, а все напоминание о лете, о тайге. Лес жил, боролся за себя, шёл вперед на север, к студеному океану: Рубить его вот как жалко. Коля выбирал деревца сломенные, полузасохшие, отбитые от табунка. Свалив лиственку, сажился на вздутый комелек, отдыхивался, думая о сложности

всякой жизни, о том, какая идет везде тяжкая борьба за существование.

Сделав из толстой веревки петлю, Коля надевал ее через плечо и, широкая камусными лыжами, пер к избушке сутунок по уже хорошо накатанной лыжне, радуясь тому, что пурги нет и, может, она не скоро опять будет, что поработал он хорошо, что наколупают они с лиственницы серы, вытопят ее в склянке, жевать станут — все для зубов работа. Пожалуй, следует выдолбить прорубь на Дудыпте, наносить воды, напить зимовье, и побаниться — не хватало завшиветь — последнее это дело.

По полному безмолвию, по усиливающемуся морозу и скрипу снега под лыжами, по ярким, из края в край, сполохам можно было предположить — межпогодье еще продержится и, стало быть, передышка им будет. Ночь морозна, светла до того, что все впереди видно. Да что видеть-то? Снег и снег. Даже вилочную ленту речки Дудыпты и озеро застругало пургой вровень с тундрой, лишь местами, одавленный, серел снежок с подветренной, полуденной стороны, означая крутой поворот речки или подмытый берег. Вокруг озера, как бы на всплеске, остановились гребни снега — замело кусты стлаников. Оборони бог задуматься, заскочить лыжами на вороха эти, хуже того, на изгиб речки — обрушишься, и потечет снег, что песок, заживо хоронить станет. Бухайся, раскапывайся тогда, тори траншею, коль силы есть.

В белой тишине тундры, тенистой, зеркально-шевелиющейся от сияния, охватывает блажь, являются видения: судно с мачтами и драными парусами, узкомордый белый медведь с безгласно раззявленной пастью, нарта с упряжкой оленей, на нарте знакомый еще по Плахино эвенк Ульчин. Сидит бое с хореом, куржак обметал его плоскую мордаху, черненькие глазки радушно светятся из белого, однако хореом не шевелит, губами не чмокает, «мод-модо» не кричит, олени не фыркают, не взбивают снег. Плывут олени, да лыбятся глазками бое. «Сгинь, Ульчин, сгинь! — боязливо отрещивался Коля. — Ты умер, еще когда мы всей семьей в Плахино зимовили. Ты с папкой вино жрал. Думаешь, забыл?..»

Однажды увидел Коля собаку — остановилась в отдалении, белая с серым крапом на ногах, ждет, приветно хвостом пошевеливает. Знакомая собака, очень. Дрогнуло сердце: «Боё! Боё! Боё!» — Коля сбросил лямку, подхватился, побежал — нет собаки, бугорок вместо собаки. Страсти-то! Коля вытер со лба пот, хотел перекреститься — не знает, с какого места начинать.

Больше всего он опасался повстречать шаманку. Бродит шаманка по тундре давно, в белой парке из выпоротков, в белой заячьей шапочке, в белых мохнатых рукавичках. За нею белый олень с серебряными рогами следует по пятам, головой покачивает, шаркунцами позвякивает. Шаманка жениха ищет, плачет ночами, воем, зовет жениха и никак не дозвонится, потому и чарует любого встречного мужика. Чтобы жених не до-

знался о грехах ее сладострастных, до смерти замучив мужика ласками, шаманка зарывает его в снег. К человеческому жилью шаманка близко не подходит, боится тепла. Сердце ее тундрой, морзлой землей рождено, оледенелое сердце, может растаять.

Сказочку такую парням поведал старшой и поступил, как потом оказалось, опрометчиво. Парни скабрезничали, постанывали, валяясь на нарах: «Э-э, сюда бы счас шаманочку-то!..»

— Не блажите-ка, не блажите! — испуганно тарашил глаза старшой и наставлял: — Чурайтесь, некрещеные морды! Навязчивы такие штукенции, еще накличете!..

Шаманка явилась, когда Коля пер из леска сутунок и видел, как пыльно разбухающим облаком теснит, отжимает с неба мерцающий свет позарей. Впереди нет-нет да и вытеревит белое перышко, полетит оно, кружась и перевертываясь. Следом пушок сорится, мелконький пушок, горстка его, но сердцу тревожно — нарождается пурга. Легкое, пробное пока еще движение началось по тундре, небо пучится, набухает темной силой. Коля налег на лямку, напрягся, и, частыми, мелкими глотками схлебывая воздух, проворней заширкал лыжами, низко наклонившись головой, подавшись вперед всем телом — так вроде бы легче и скорее идет. Но вот раз-другой что-то дрожало в глазах, снег начал красно плыть, густо искриться, в ушах пронзительно зазвенело — воздух, разреженный воздух северных широт угнетал организм — нужна передышка. Коля остановился. Раскатившееся бревнышко толкнуло с запятки лыж, снег гас, звон из ушей отваливал, дыхание выравнивалось.

И в это время из переменчивого, нервно дрожащего света, из волн позарей, катающихся по одной уже половине неба, выплыла о н а и, не касаясь расшитыми бакарями снега, вовсе даже не перебирая ногами, стала приближаться, бессловесная, распрекрасная. Вытянутые раскосые глаза ее светились призывно и печально, лик бледен — дитя белой тундры. Может, болело что внутри, сердце, может, худое, порок, может, в нем какой? Поймав себя на том, что он думает о шаманке как о живом, на самом деле существующем человеке, Коля громко кашлянул, нарочито грязно выругался, сплюнул под ноги пренебрежительно и поспешил к зимовью, которое было уже близко, стараясь не поднимать головы и не оглядываться, хотя и корбило спину, казалось, вот-вот вцепится шаманка пальцами в воротник, что тогда делать? Голова сама собой утягивалась в одежду, ноги дрожали в коленях, рвался дых. Только возле дверей избышки охотник оглянулся и заметил призрачно удаляющуюся шаманку. Поймав его взгляд, она приостановилась и, перед тем как раствориться в снегах, вознестись на волнах позарей ввысь, слабо ему и укоризненно улыбнулась. Голубой свет, пронизывающий сгустившуюся ночь, сочился из ее груди, и видно сделалось ее сердце, похожее на ушастого зайчонка, сжавшегося в комочек, чуть вздрагивающего под набегающими порывами ветра.

Сбросив лыжи и ляпку, Коля поскорее заскочил в избушку, вытер лоб, в изнеможении упал на чурбак возле печки.

«Кто за тобой гнался-то?» — взглядом спрашивал старшой, и, чтобы не пускаться в объяснения, Коля поскорее начал переодеваться. Одежда мокра, пар валил из-под рубахи. «Не надо бы так потеть», — вяло подумалось ему.

Коля ничего не сказал связчикам о шаманке, полагая, пока пережидают пургу, отсиживаются в избушке, наваждение уйдет, и даже самому себе боялся признаться в том, что он этого не хотел, ревниво пас в себе видение, спал беспокойно, сделался потаенным и, едва кончилась пурга, засобирался в тундру. И вдруг заметил: его связчик, тихходный и тугодумный Архип, мечется по избушке, чего-то ищет, куда-то торопится, бросая шальные взгляды в звеньшко обметанного морозом оконца. «А что, если ему она тоже явилась?! — ожгла ревнивая подозрительность Колю. — Убью! Застрелю! Не дам!..»

— Вы чего, молодцы? Чего? Вроде как не в себе? — забеспокоился старшой. — Уж не шаманка ли блазнится? Налле! я вам. Вот дурак так дурак! Креститесь, беситесь, орите, из ружья палите, топором рубите, но не поддавайтесь. Болезнь это, ребята, жуткая болезнь...

Обман. Мираж. Болезнь. Ну и пусть! В сравнении с дивным видением, сулящим что-то тайное, небывалое, жизнь, которую они владели, так опостылела, что не было никакой охоты бороться за нее. Молодцы желали перемены, какого-то действия, яростная плоть при одной только мысли о шаманке возжигалась в парнях, толкала на безрассудство.

И, отчетливо сознавая, что делать этого нельзя, однажды Коля сбросил с себя ляпку, вытащил ноги из круглых креплений лыж, почему-то поставил их торчком и успел еще отметить: лыжи похожи сделались на страшных змей кобр со злобно раздутыми шеями, которых он видел в кино, когда служил в армии, — им почти каждый день показывали, кино. Э-эх, армия, друзья, люди, города, дома, огни, машины! Где они? Были ль они?

Опираясь на таяк, он двигался к шаманке, а она пятилась от него, увертывалась. Он ее хватал, горячо нашепывал ей русские и эвенкийские нежные слова. Она понимала их, похихикивала, играла глазками. Совсем он ее заморочил, настиг, схватил за косу, но мягко отделилась коса от головы шаманки, и так с вытянутой, крепко сжатой рукой Коля обвалился под яр Дудыпты и лежал какое-то время ничком в снегу, и плыл куда-то вместе с осыпью, не веря обману. Снег все накатывался, накатывался сверху, перемерзлый, сыпучий. Он заполнял, сравнивал всякий бугорок, всякую выбоину. Забарахтался, забился человек, потерявший желание думать и бороться, когда наконец увидел над собой, на урезе Дудыпты собаку, все ту же, белую, с серым крапом на лапах и голове, родную, верную собаку.

— Боё! Боё! Боё! — Человек скребся, плыл по снегу к со-



баке. Поскуливая, руля хвостом, собака ползла встречь ему, и вместе с нею полз, двигался снег, из которого выметнулась вдруг и ткнулась острием в лицо лыжина. Человек схватил ее, подсунул под себя и, как в детстве на дощечке, погребся наперекор течению, сквозь этот бесконечнодвигающийся снег. — Боё! Боё!.. Боё!.. — Но собаки нигде уже не было, зато вот она, вторая лыжа. Откопав ее, человек прилег, свернулся боком на двух лыжах, мокрый, насквозь пронизаемый стужей и ветром, он грел дыханием руки. В разрывах ветра ему почудились крики, лай, тупые стуки. «Стреляют! Ружье!» — Не в силах снять ружье со спины, он нащупал сзади гладкую ложу, отвел не пальцами, а всей ладонью курок, засунул в скобу ничего уже не чувствующий палец, отодвинул ствол от затылка в сторону и надавил на железо. У левого уха метнулось пламя, ахнул гром, голову откинуло волной выстрела, ухо словно бы забило пыжом, ноги стрелка подогнулись, и он упал поперек лыж...

Болезнь напарника напугала и объединила старшего с Архипом. Последнее время они уже не просто грызлись, а хватались за ружья и топоры. Коля понимал: наступит срок, и ему будет не разнять связчиков, не справиться с двумя осатанелыми мужиками, кто-то кого-то из них порешит или он их из ружья обоих положит — такая думка тоже голову посверливала — не уговаривать, не разнимать, не нянькаться с дубарями, а всадить по пуле каждому — и пропадай все, гибель так гибель, суд так суд — не они первые, не они последние на зимовках стреляются...

Лечили Колю артельщики напористо: жарили докрасна печку, обмазывали больного горчицей, вливали ему в жаркий рот спирт, капали в питье растопленную серу, бросали в кружку горячую монету — серебрушку. Коля метался на нарах, кричал: «Ё!.. Ё!.. Ё!..»

— Чего это он?

— Не знаю, — Архип шарил в затылке, припоминая, — собаку, может? Собака у него была. Бойе...

— Собаку? Собаку — хорошо! Собака — друг.

Гнали охотники пот аспирином из больного, компрессами, бутылками с горячей водой и достигли своего — температуру сбили, простуду напроць выгнали, но при этом насадили не очень-то крепкое сердце напарника. Старшой знал все: как выгонять простуду, как делать из хлебного мякиша смесь и по самодельным трафаретам изготавливать карты, из обломка железа ножик, из куска жести котелок, из кости зажигалку. Он мог сварить суп из топора, сготовить гуляш из подметок, шить без ниток, стирать без мыла, коптить рыбу, чтоб дым не видно, сушить мясо, чтоб запаху не слышно, спастись от цинги хвоей, строить землянку без топора и выделывать для нее олений пузырь руками, мертвую собаку превратить в живое чучело. Не знал и не ведал старшой, как и чем лечить сердце, — в его жизни сердцем заниматься было недосуг, хоть бы грешное тело

сохранить. Где-то слышал или умом своим гибким и проницательным старшой допер: при больном сердце надо меньше шевелиться, не бултыхать нутром, и, глядишь, оно, ретивое, успокоится, наберет силу, выровняет ход. Архипу, испуганному и послушному, старшой приказал носить дрова с накрошенных ям, складывать их кострами неподалеку от зимовья, не палить в лампе керосин, обходиться лучиной, рыбьим жиром и только в крайнем случае жечь свечи.

Артельщики ждали самолет. Фартовой охоты больше никто не ждал. Как-то принес Архип песка, тощего, маленького, с сырой, ровно бы присоленной, шкуркой. Кости в шкурке словно истолчены. Голова зверька расклевана совами, пусто темнели глазницы, в щелях голенького черепа бурела сохлая кровь — в тундре свирепствовал голод, начался падеж.

«Смерть! Вот она какая!» — Горло больного задержалось, напряглись жилы на шее, распахнулся сморщенный рот, оголив сочащиеся красным, цинготные десны.

— Боюсь-а-а!..

Издали допелось:

— Ничего, Миколаха, ничего... Держись! Мы с тобою! Мы не оставим...

В декабре, как было оговорено, самолет не пришел. Надежались, верили — к Новому-то году обязательно будет самолет. Маковку зимы посыпало дурным снегом, справила новогодье свирепая пурга, пошатала избушку, побрякала трубой, помучила людей и природу всласть, но, как только унялась пурга, зачуфыркал в небе самолетик. Сперва он «промазал» избушку, устремился резво к морю, состыкшемуся с берегом и тундрой, где и разбиться мог о скалы, заметенные снегом, но Архип такие костры запалил, наплескав керосину на дрова, а старшой так бабахал из ружей, что самолет дрогнул и завернул на второй круг. Увидев сигнал, снизился, покачал крылами, и, чтобы не ковырнуться кверху брюхом, опробовал лыжами снег, скользнув над самой землею. Архип попеременно со старшим все время утрамбовывали и прикатывали снег самодельными катками, изготовленными из сутунков, натасканных Колей, как будто ведал малый, что они сгодятся.

Благополучно приземлившись, самолетик покрутил пропеллером, уркнул, чихнул и замер. Зная, как их везде ждут, пилоты, улыбаясь, вышли наружу и узрели картину: на снегу сидят два здоровенных ознобленных мужика и плачут. Через порог зимовья перевалился изможденный парнишка в нижней, просторной для него рубахе и ровно в тайге кого-то кличет:

— Ё! Ё! Ё!..

Остаток зимы Коля пролежал в краевой больнице, получил группу инвалидности, какую дают лишь кандидатам в покойники — первую, но не сдался смерти, вылечился тайгой, рекой, свежей рыбой, дичиной, и скоро перевели его на третью

группу. Окрепнув здоровьем он выехал из Игарки к родичам жены, в старинный приенисейский поселок Чуш, поступил работать в рыбоопп шофером.

Однажды мы всей семьей собрались и поехали в гости к братану. Как и в прежние годы, был он бегуч, суетлив, разговорчив, на здоровье не жаловался, всем норовил угодить, обрадовать радушием. Зная, какой я заядлый рыбак, посулил свезти нас с сыном на речку Опариху, чтоб отвели мы душу на хариусах.

## КАПЛЯ

Заманил речкой Опарихой Коля, а сам чего-то тянул с отъездом. «Вот Акимка явится, и двинем», — увсрял он, то и дело выскакивая на берег Енисея, к пристани.

Аким — закадычный друг братана — уехал в Енисейск вербоваться в лесопожарники и, как я догадался, решил «разменять» подъемные, потому что не любил таскать за собою какие-либо ценности.

Я коротал время возле поселка, на галечном мысу, названном Карасинкой — хранились здесь цистерны с совхозным горючим, отсюда название, — таскал удочками бойких чебаков и рчных окуней, белобрюхих, яркополосых, наглых. Шустрей их были только ерши — они не давали никакой рыбе подходить к корму.

Днем мы купались и загорали под солнцем, набравшим знойную силу, лето в том году было жаркое даже на Севере и вода, конечно, не такая, как на Черном море, но окунуться в нее все-таки возможно.

По причине ли сидячей работы, оттого ли, что курить бросил, тетки уверяют — в прадеда удался, прадед пузат был, — тучен я сделался, стеснялся себя такого и потому уходил купаться подальше от людей. Стоял я в плавках на мысу Карасинке, не отрывая взора от удочек, и услышал:

— Е-ка-лэ-мэ-нэ! Это скоко продуктов ты, пана, изводишь?! Вот дак пузо! Тихий узас!

По Енисею на лодке сплывал паренек в светленьких и жидких волосенках, с приплюснутыми глазами и совершенно простодушной на тонкокожем, изветренном лице улыбкой.

По слову «пана», что значит парень, и по выговору, характерному для уроженцев нижнего Енисея, я догадался, кто это.

— А ты, сельдюк узкопаятый, жрешь вино и не закусываешь, вот и приросло у тебя брюхо к спине!

Парень подгрел лодку к берегу, подтянул ее, подал мне руку — опять же привычка человека, редко выдающегося с людьми, обязательно здороваться за руку, и лодку непременно поддериговать — низовская привычка: при северном подпружном ветре вода в реке прибывает незаметно и лодку может унести.

— Как это ты, пана, знас, што я сельдюк? — Рука сухо-

жилая, жесткая, и весь «пана» сухощав, косолап, но сбит прочно.

— Я все про тебя знаю. Подъемные вот в Енисейске пропил!

Аким удивленно заморгал, вздохнул покаянно:

— Пропил, пана. И аванец. И ружье...

— Ружье?! За пропитое ружье раньше охотников пороли. Крестянина за лошадь, охотника за ружье.

— Кто теперь пороть будет? Переворот был, свобода! — хотнул Аким и бодро скомандовал: — Сматывай удочки!..

И вот мы катим по Енисею к незнакомой речке Опарихе. Мотор у братана древний, стационарный, бренчит громко, коптит вонько, мчит «семь верст в неделю, и только кустики мелькают». Опять же, нет худа без добра и добра без худа — насмотришься на реку, братца с приятелем послушаешься. Зовут они себя хануриками, и слово это звуком ли, боком ли каким подходило к ним, укладывалось, будто кирпич в печной кладке.

Аким сидел за рулем — в болотных сапогах, в телогрейке нараспашку, кепчонку на нос насунул, мокрую сигаретку сосал. Коля тоже в сапогах, в телогрейке и все в той же вечной своей кепчонке-восьмиклинке, которзя от пота, дыма и дождей, ее мочивших, сделалась земляного цвета. Под телогрейкой у Коли пиджачишко, бязевая рубаха — привычка охотников и рыбаков: на реке, в тайге, в лодке быть «собранным» — плотно одетым в любое время года.

Брат узенько лепился на беседке посреди длинной лодки, мы с сыном против него, на другой. Громким голосом, рвущимся из-за шума ли мотора, из-за перебоев ли в дыхании, Коля повествует об охотах, рыбалках и приключениях, изданных ими. Знакомы они с Акимом еще с Игарки. Дружок и в Чуш притащился следом, живет в доме Коли, и хотя Коля и одногодок «пане», однако хозяин женатик и потому журит Акима, и тот «слушается товарища», если трезвый.

Слушая Колю, сын мой уже не раз падал со скамейки. Аким у руля одобрительно улыбался, понимая, что речь идет о них.

...За Опарихой, непроходимой для лодки, есть речка Сурниха, по которой осенью, когда вздует речку, можно где волоком, где шестом подняться километров на двадцать, а там рыбалка-а-а! Забрались парни в глубь тайги, на Сурниху. Устали до того, что ноги подламываются. Но Аким все равно не удержался, перебрел на порожек, лег на камень, долго глядел в воду, потом удочку забросил. Только забросил, тут же хариуса поднял, темного, яркоперого. «Пор-р-рядок!» — заорал. Ну а друг разве утерпит! И давай они шуровать, не поевши, не поспавши. Забросят и подымут, забросят и подымут то хариуса, то ленка. В азарт вошли, про все забыли, а ведь опытные таежники — знают: сперва отаборись, разбей стан, устройся, и тогда уж за дело.

Чего на скорую руку, тяп-ляп сделаешь, тяп-ляп и получится. Когда «попробовать» решили, вынули туесок с червями взяли с собой только по щепотке, что она, щепотка-то, при таком клеве — была и нету!

— Колька! — крикнул Акимка с порога, рыбабивший пониже его, в кружливом пенистом омутке. — Черви кончились. Во берет! Сходи, позалуста!

Оставив удочку с жилкой ноль шесть и двумя пробками, чтоб было видно, когда заcludes, братан подался к брошенным под кусты манаткам. Цап-царап — в туеске ни одного червяка! В тайге их не найти — мох, сырь, местами мерзлота, какой тут червяк выживет? Значит, накрылась рыбалка! Накрылись труд и старания. Валидол сосал, глаза на лоб лезли, когда тащил лодку по речке, и вот крах жизни.

— Акимка, падла! Кто-то всех червей спер!..

— Сто ты, сто ты, пана! — взревел Акимка и запрыгал по камням к берегу, поскользнулся, упал в речку, начерпал в сапоги. Туесок он тряс, щупал, лицо в него засунул — нету червей. У Коли от потрясения губы почернели.

— Сто же это! Сто же это! — чуть не плача, повторял Акимка. — Озевали нас! Кержаки озевали! Дружишь с имя, привечаешь... — И вдруг Акимка смолк, увидев на пеньке черного дятла — желну. Сидит, клюв чистит. Дальше еще один — клиноголовики, муж с женой, видать. Такие оба довольные. Почистились, дремать пробуют после обеда. Еще с речки слышал Акимка, как они перекликались тут, квякали озабоченно, потом на весь лес стоном стонали — песня у них такая — напировались, весело им. «А-а, живоглоты! Поруху сделали! Теперь тувалет!» — Аким сгреб ружье и картечью в дятла. Близко стрелял, отшибло бедной птахе голову. Вторая желна застонала, запричитала на весь лес, черно умахивая в глубь тайги. Акимке мало, что расшиб из ружья птаху, он еще схватил дятла за крыло и шмякнул его в воду, как тряпку. Коля замахал руками, замычал, валидолину выплюнул и бултых в речку следом за дятлом. «Все! — ужаснулся Аким. — Спятил кореш!» Хотел бросаться спасать его, но Коля где плавом, где бродом догнал дятла, выловил и на берег, повторяя:

— Вот оне! Вот оне!..

Акимка глянул: черви, будто из копилки, вылезают из дятла и разбегаются метят. Другую желну Аким долго караулил, выставил туес на пенек. Явился разбойник, не запылится. Аким прибил дятла аккуратно, да в брюхе прожоры от червей мало что осталось. Попробовали рыбачить на птичьих потроха. Хариус, особо ленок брал безотказно, и наловили друзья два бочонка отборной рыбы. На всю зиму обеспечились, однако с тех пор рот в лесу не открывали и червей берегли пуще хлеба.

...Долго ли, коротко ли мы плыли, и привез нас моторишко к речке Опарихе, отстучал, отбренчал, успокоился, пар от него, перекаленного, горячий валит, водой брызнули с весла — зашипело.

Аким в который раз предлагает уйти на Сурниху. Но мне чем-то с устья приглянулась Опариха, главный заман в том, что людей на ней не бывает — труднопроходимая речка.

— Смотри, пана, не покаяйся, — предупредил Аким, и мы пошли сначала бойко, но как залезли в переплетенные, лежащие на земле тальники, то и понял я сразу, отчего опытные таежники долго обходили эту речку стороной, — здесь самые что ни на есть джунгли, только сибирские, и называются они точно и метко — шарагой, вертепником и просто дурниной.

Версты две продирались где ползком, где на карачках, где топором прорубаясь, где по кромке осыпного яра. И вот уж дух из нас вон! Гнуса в зарастельнике тучи, пот течет по лицам и шее, съедает солью противокомариную мазь.

Наконец-то шиверок! И сразу крутой поворот, ниже которого речка подмыла берег, навалила кустов смородины, шипицы, всякого гибника, две старые осины и большую ель. Место — лучше не придумать! Коля зашел на камни шиверка и через голову пульнул под кусты, на глубину толстую леску с пробками от шампанского. Я подумал, что после такого всплеска и при такой жилке ему не только хариус, но и крокодил, обживись он в этих студеных водах, едва ли клюнул бы, но не успел завершить свою мысль, как услышал:

— Е-э-э-эсь! — Жидкое, только что срубленное братом удище изгибалось былкой под тяжестью крупного хариуса.

Все мы заторопились разматывать удочки, наживлять червей, и через минуту я услышал бульканье, шлепоток и увидел, как от упавшей с берега осинки сын поднимает ярко взблескивающего на свету хариуса. Все во мне обмерло: берег крутой, опутанный кустами, сын никогда еще не ловил такого крупного хариуса, хотя спец он по ним и немалый. Он поднял рыбину над водой, но, привыкший рыбачить на стойкую бамбуковую удочку, позабыл, что в руках у него сырой черемуховый покон, — рыбина разгулялась на леске, ударилась о куст и оборвалась в воду. Очумело выкинувшись наверх, хариус хлопнул сиреневым хвостом по воде и был таков!

Потоки ругательств, среди которых «растяпа» было едва ли не самое нежное, обрушил папа на голову родного дитяти.

Аким, стоявший по другую сторону речки, не выдержал, заступился за парнишку:

— Что ты пушишь парня? Было бы из-за чего! Наудим иссе! — и выдернул на берег серебрящегося хариуса. — Во, видал!

А я-то думал, что на его удочку и вовсе уж никто не попадется, — удище с оглоблю, жилка — толще не продают, поплавков из пенопласта, с огурец величиной, крючок в самый раз для широкой налимьей пасти. Я перестал ругаться, пошел искать «хорошее» место, не найдя какового, на уральских речках, к примеру, хариуса не поймашь. Загнали его там, беднягу, в угол, и таких он страхов натерпелся, что сделался недоверчивым, нервным, и, прежде чем клюнуть, наденет очки,

обнюхается, осмотрится, да и шасть под корягу, как распоследний бросовый усач или пищуженец.

С берега упал кедр, уронил собою несколько рябинок и вербу. Палые деревья образовали что-то вроде отбойной за-пруды, и там, где трепало их вершины, кружил, хлопался водоворот — непременно должна здесь стоять рыба, потому что ловко можно было выскакивать из ухоронки за кормом, но самая хитрая, самая прожорливая рыба, по моему разумению, должна стоять у комля, точнее, под комлем кедра, в тени меж обломанными сучками и вилкой корня. Темнел там вымытый омут, в нем петоропливо кружило мусор, значит, и всякий корм. Требуется умение попасть удочкой меж бережком и ветками кедра и не зацепиться, но все на тех же захламленных речках Урала, где хариус и поплавка бонятся, наострился наш брат видеть поклевки вовсе без каких-либо поплавок — впри-тирку ко дну, в хламе и шиверах проводит крючок без зацепов, добывая иногда на ущицу рыбы, каждая из коих пла-вает с порванными губами или кончила противокрючковые курсы.

Севши под кустик шиповника, я тихо пустил у ног в струй-ку крючок со свежим червяком, дробинкой-грузилцем и чут-ким осокоревым поплавком уральской конструкции — стоит да-же уклейке понюхать наживку, поплавок нырь — и будьте здоровы! Поплыл мой поплавок. Я начал удобней устраиваться за кустом, глянул — нет поплавка. «Раззява! — обругал я се-бя. — Первый заброс — и крючок на ветках!» — Потянул ле-гонько, в удилище ударило, мгновение — и у ног моих, на кам-нях забился темный хариус, весь в сиреневых лепестках, буд-то весенний цветок прострел.

Я полюбовался рыбиной, положил ее в старый портфель, который дал мне Коля вместо сумки, уверенный, что ничего я не поймаю, сделал еще заброс — поплавок не успел дойти до ствола кедра, его качнуло и стремительно, без рывков повело вбок и вглубь — так уверенно берет только крупная рыба. Я подсек, рыба уперлась в быстрину, потащила леску в стрежень, но я стронул ее и с ходу выволок на камни. Ярко, огненно сверкнуло на камешнике, изогнулось дугой, покатилося, и я, считающий себя опытным и вроде бы солидным рыбаком, ах-нув, упал на рыбину, ловил ее под собою, пытался удержать в руках и не мог удержать. Наконец мне удалось ее отбро-сить от воды, прижать, трепещущую, буйную, к земле. «Ле-нок!» — возликовал я, много лет уже не выдавший этой ред-чайшей по красоте рыбы — она обитает в холодных и чистей-ших водах Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока, где ленка называют гольцом. На Урале ленка нет.

Вам доводилось когда-нибудь видеть вынутую из кузнеч-ного горна полоску железа? Еще не совсем остывшую, на кон-цах и по краям еще красную, а с боков уже сиренево и сине-отливающую? Сверх того, окраплена рыба пятнами, точками, скобками, которые гаснут на глазах. Ко всему этому еще гиб-

кое, упругое тело — вот он каков, ленок! Как и всякое чудо природы, прекрасный ее каприз сохраняется только «у себя дома». На моих глазах такой боевой, ладный ленок тускнеет, вянет и успокаивается не только сила его, но и окраска. В портфель я кладу уже вялую, почти отцветшую рыбину, на которой остался лишь отблеск красоты, тень заката.

Но человек есть человек, и страсти его необоримы. Лишь слабенькое дуновение грусти коснулось моей души, и тут же все пропало, улетучилось под напором азарта и душевного ликования. Я вытянул из-под комля еще пару ленков и стал осваивать стрежину за вершиной кедра, где хариусы стояли отдельно от стремительных, прожорливых ленков, надежд на совместный прокорм почти не оставляющих, и поднял несколько рыбин. Я был так возбужден и захвачен рыбалкой, что забыл про комаров, про братана, про родное дитя.

— Папа! — послышался голос сына. — Я какого-то странного хариуса поймал! Очень красивого! — Я объяснил сыну, что это за рыба, и узнал — кроме ленка, сын добыл еще четырех хариусов, да каких! Парень он уравновешенный, немного замкнутый, а тут, чую, голосишко дрожит, возбудился, поговорить охота. — У тебя как?

Я показал ему большой палец и скоро услышал:

— Я снова ленка поймал!

— Молодец!

Надо мной зашуршало, покатила земля, и я увидел на яру Акима.

— Ты сё здесь делаешь? Ково ты здесь добудешь? — Я поднес к носу сельдюка портфель, и Аким схватился за щеку: — Ё-ка-лэ-мэ-нэ-э! Это сё тако, пана?! — жаловался он подошедшему Коле. — Оне таскают и таскают!..

— Пушшай таскают! Пушшай душу порадуют! Натешатся!..

— Ты бы, — сказал я Акиму, — канат вместо жилки привязал да поплавок из полена сделал и лупцовал по воде.

Тут я выхватил еще одного хариуса из такого места, где, по мнению Акима, ни один нормальный рыбак не подумал бы рыбачить, а нормальная рыба — стоять. Сельдюк махнул рукой: «Чего-то нечисто тут!» — и пошлепал дальше, уверяя, что все равно всех обловит. За поворотом он запел во всю головушку: «Не тюрьма меня погубит, а сырая мать-земля...» Коля хохотал, перебредая по перекату через речку, говорил, что сельдюк узкопятый в самом деле всех обловит, убежит вперед, исхлещет речку, разгонит все, что есть в ней живое, и если не встретится дурная рыба, обломает вершинку удилища, смотает на нее леску, натянет на ухо полу телогрейки и завалится спать. Его и комар не берет, за своего принимает.

Следом за Акимом подался дураковатый и прожорливый кобель Тарзан. Кукла, хитренькая такая сучка, верная и золотая в пушном промысле, не отходила от Коли, сидя чуть в отдалении, утиралась лапкой, смахивала с носа комаров. Почему Тарзан привязался к Акиму — загадка природы. Чего



только не вытворял над Тарзаном сельдюк! И ругал его, и гонял его, если давал мелконькую рыбку слопать, непременно с фокусом — зашвырнет ее в гущу листьев копытника и понукает:

— Усь! Усь, собачка! Лови рыбу! Хватай!

Тарзан козлом прыгал в зарослях, брызгал водой, преследуя рыбешку, часто отпускал добычу, и, облизнувшись, ждал подачку — рыбу он любил пуще сахара.

Я уж устал хохотать, а сын мой — хлебом не корми, дай посмеяться, — вместе с Тарзаном таскался за Акимом, любовно смотрел ему в рот.

— Акимка! — строжась, кричал Коля. — Скоро уху варить, а у нас чё?

Аким не отзывался, исчез, подавшись вверх по речке.

И мы углубились по Опарихе. Тайга темнела, кедрач подступил вплотную, местами почти смыкаясь над речкой. Вода делалась шумной, по обмыскам и от весны оставшимся проточинам росла непролазная смородина, зеленый дедюльник, пучки-борщевники с комом багрово-синей килы на вершине вот-вот собирались раскрыться светлыми зонтами. Возле притемненного зарослями ключа, в тени и холодке цвели последним накалом жаркий, везде уже осыпавшиеся, зато марьины корни были в самой поре, кукушкины слезки, венерины башмачки, грушанка — сердечная травка — цвели повсюду, и по логам, где долго лежал снег, приморились ветреницы, хохлатки. На смену им шла живучая трава криводенка, вострился сгармошенными листьями кукольник. Населяя зеленью приречные низины, лога, обмыски, проникая в тень хвойников, под которыми доцветала брусника, седмичник, заячья капуста и вонючий болотный болиголов, всегда припаздывающее здесь лето трудно пробиралось по Опарихе в гущу лесов, оглушенных зимними морозами и снегом.

Идти сделалось легче. Чернолесье, тальники, шипица, боярышник, таволожник и всякая шарага оробели, остановились перед плотной стеной тайги и лишь буераками, пустошами, оставшимися от пожарищ, звериными набродами, крадучись пробирались в тихую прель дремучих лесов.

Опариха все чаще и круче загибалась в короткие, но бойкие излучины, за каждой из которых перекат, за перекатом плесо или омуток.

Мы перебрехали с мыса на мыс, и кто был в коротких сапогах, черпанул уже дух захватывающей, знойно-студеной воды, до того прозрачной, что местами казалось по шиколотку, но можно ухнуть до пояса. Коля предлагал остановиться, сварить уху, потому что солнце поднялось высоко, было парко, совсем изморно сделалось дышать в глухой одежке — защите от комаров. Они так покормились под шумок, что все лицо у меня горело, за ушами вспухло, болела шея, руки от запястий до пальцев в крови.

Уперлись в завал.

— Дальше, — сказал Коля, — ни один местный ханыга летом не забирался, — и покричал Акима.

Отклика не последовало.

— Вот марал! Вот бродяга! Парня замучает, Тарзана ухайдакает.

В могучем завале, таком старом, вздыбленном, слоеном, что местами взмошел на нем многогородный ольховник, гнулся черемушник, клешнясто хватался за бревна, по-рачьи карабкался бверх узколистый краснотал, и ник к воде смородинник. Речку испластало в клочья, из-под завала там и сям вылетали взъерошенные, скомканные потоки и поскорее сбегались вместе. Такие места, хотя по ним и опасно лазить — деревья и выворотни сопрели, можно обвалиться, изувечиться, — никакой «цивилизованный» рыбак не обойдет.

Я забрался в жуткие дебри завала, сказав ребятам, что они стороной обходили это гиблое место, где воду слышно, да не видно и все скоргочет под ногами от короедов, жуков и тли.

Меж выворотней, корневищ,хлама, сучкастых стволов деревьев, олизанных водою бревен, нагромождения камней, гальки, плитняка темнели вымоины. Вижу в одной из них стайку мелочи. Хариус выпрыгивает белым рыльцем вверх, прощупывает мусор и короедами точенную древесную труху. Иной рыбехе удастся поддеть губой личинку короеда либо комара, и она задает стрекача под бревна, вся стайка следом. Один рукав круто скатывается под бревно, исчезает в руинах завала, и не скоро он, очумелый от темноты и тесноты, выплывается из лесного месива. Осторожно спускаю леску с руки, и, едва червяк коснулся воды, из-под бревна метнулась тень, по руке ударило, я осторожно начал поднимать пружинисто бьющуюся на крючке рыбину.

Пока вернулся Аким с компанией, едва волочившей ноги, так он ушомкал ее, бегая по Опарихе, я вытащил из завала несколько хариусов, собрался похвастаться ими, но пана открыл свою сумку, и я увидел там таких красавцев ленков, что померкли мои успехи, однако по количеству голов сын обловил Акима, и он великодушно хвалил нас:

— Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Пана, сё за рыбаки понаехали! Сзади, понима́с, идут и понужают, и понужают! Тихий узас!

Я заверил друзей-хануриков, что со своей нахальной снастью они ничего, кроме коряжины иль старого сапога, в местах обетованных не выудят.

— А мы туды и не поедем, раз такое дело! — в голос заявили сельдюки. Колю я тоже звал сельдюком, потому как вся сознательная жизнь его прошла на Севере и рыбы, в том числе и туруханской селедки, переловил он уйму, а тому, сколько могут съесть рыбы эти мужички-сельдючки величиной с подорожков, вскоре стали мы очевидцами.

Аким умело, быстро очистил пойманную рыбу. Я подумал, подсолить хочет, чтобы не испортилась. Но, прокипятив воду

с картошкой, пана всю добычу завалил в ведро, палкой рыбу поприжал, чтоб не обгорели хвосты.

— Куда же столько?

— Нисё, съедим! Проходились, проголодались.

Это была уха! Ухн, по правде сказать, в ведре почти не оказалось, был навар, и какой! Сын у меня мастак ловить рыбу, но ест неохотно. А я уж отвык от рыбного изобилия, управился с пятком некрупных, нежных хариусов и отвалился от ведра.

— Хэ! Едок! — фыркнул Аким. — Ты на сём тако брюхо держишь?

Вывалив рыбу на плащ, круто посолив ее, сельдюки вприкуску с береговым луком неторопливо подчистили весь улов до косточки, даже головы рыбы высосали. Я осмотрел их с недоверием наново: куда же они рыбу-то поместили?! Жажнув по пятку кружек чаю и подмигнув друг дружке, сельдюки подвели итог:

— Ну, слава богу, маленько закусили. Бог напитал, никто не видал.

— Вот это вы дали!

— На рыбе выросли, — сказал Коля, собирая ложки, — до того папа доводил, что, веришь — нет, жевали рыбу без хлеба, без соли, как траву...

— Как не поверить! Я ведь нашему папе сродни...

Аким, почуяв, что нас начинают охватывать невеселые воспоминания, поднял себя с земли, зевнул широко, обломал конец удилища, смотал на него леску, взял вещмешок, сбросал в него лишний багаж и, заявив, что такую рыбалку он в гробу видел и что лодку без присмотра на ночь нельзя оставлять, подался вниз по речке, к Енисею.

Мы еще поговорили у затухающего костерика и уже неторопливо побрели вверх по Опарихе. Чем дальше мы шли, тем сильнее клевала рыба. Запал и горячка кончились. Коля взял у меня портфель, отдал рюкзак, куда я поставил ведро, чтоб хариусы и ленки не мялись. У рыбы, обитающей в нег холодной чистой воды, через час-другой «вылезало» брюхо. Тарзан до того наелся рыбой и так подбил мокрые лапы на камешнике, что шел, пьяно шатаясь, и время от времени пьяно же завывал на весь лес, зачем, дескать, я с вами связался? Зачем не остался лодку сторожить? Был бы сейчас с Акимкой у стана, он бы со мной баловался, и никуда не надо топать. Кукла-работница лапок не намочила, шла вёрхом, мощным лесом и только хвостом повиливала, явившись кому-нибудь из нас. Где-то кого-то она раскапывала, нос у нее был в земле и сукровице, глаза сыто затуманились.

Когда-то здесь, на Опарихе, Коля стрелял глухарину, и молодая, только что начинавшая охотничать, собака дуром кинулась на глухаря. Тот грозно растопорчился, зашипел и так долбанул клювом в лоб молодую сучонку, что она опешила и стасть хозяину меж ног. Глухарь же до того разъярился, до

того ослеп от гневной силы, что пошел босм дальше, распутив хвост и крылья. «Кукла! Да он же сожрет нас! — закричал Коля. — Асю его!» Кукла хоть и боялась глухаря, хозяина послушаться не посмела, обошла птицу с тыла, тербнула за хвост. С тех пор идет собачонка на любого зверя, медведь ей не страшен, но вот глухаря побаивается, не облаивает, если возможно, минует его стороной.

Опариха становилась все быстрее и сумрачней. Реденько выступал мысок со вбитым зеленым чубом листы или в зарослях осоки. Кедр, сосняк, ельники, пихтовники вплотную подступали к речке. Космы ягелей и вымытых корней свисали с подмытых яров, лесная прель кружилась над речкой, в носу холодило полуго плывущим духом зацветающих мхов, в горле горчило от молодых, но уже пыльно сорящих папоротников, реденькие лесные цветы набухали там и сям шишечками, дудочник шел в трубку. В иное лето цветы и дудки здесь так и засыхают не расцветая.

Отошли семь-восемь километров от Енисея, и нет уже человеческого следка, кострища, порубок, пеньков — никакой пакости. Чаше завалы поперек речки, чаще следы маралов и сохатых на перетертом водою песке. Солнце катилось куда-то в еще более густую темь лесов. Перед закатом освирипел гнус, стало душнее, тише и дремучей. Над нами просветили крохали, упали в речку, черкнув по ней отвислыми задами и яркими лапами. Утки огляделись, отряпались и стали выедать мелкого хариуса, загоняя его на мелководье.

Я взглянул на часы, было семь минут двенадцатого, и улынулся про себя — мы отстояли четырнадцатичасовую вахту, и не просто отстояли, продирались в дебри где грудью, где ползком, где вброд; если бы кого из нас заставили продолжать такую же работу на производстве, мы написали бы жалобу в профсоюз.

Коля выбрал песчаный опечек и пластом упал на него. Хотя обдувья не было — так загустела тайга вокруг, по распадку угорело виляющей речки все же тянуло холодком, лица касалось едва ошутимое движение воздуха, скорее дыхание тайги, одурманенное доцветающей не遠деке черемухой, дудками дедульников, марьиного корня и папоротников.

Пониже мыска, у подмытого кедра, динозавром стоявшего на лапах в воде, полосами кружилось уловце, маячила над ним тонкая фигура сынишки — там уже три раза брал и сходил «здоровенный харюзина»!

Я крикнул сына, и он с сожалением оставил недобытого хариуса. Мы свалили кедровую сухарину, раскряжевали ее топором. И вот уж кипятик, запаренный смородинником и для крепости приправленный фабричным чаем, напел, запах. Брат лежал на опечке вниз лицом, не шевелясь. Я налил в кружку чаю, потрогал брата за плечо.

— Сейчас, — не поднимая головы, отозвался он и сколько-то времени еще полежал, вслушиваясь в себя. С трудом

приподнялся, сел, потирая ладонью левую половину груди. — Тайга-мама заманила, титьку дала — малец и дорвался, сам себе язык откусил...

Чай подживил Колю. Он прилег на бок, уперся щекой в ладонь, слушал тайгу-мamu — она отодвинулась от всех шумов, шорохов, отстранилась от всякого движения и отчужденно погружалась в самое себя, в хвою, в листья, в мох, в хлябистые болота. Было слышно птицу, где-то за версту неловко и грузно садившуюся в дерево; жуков, орехово щелкающихся о стволы, крохалей, озадаченных костром, ярче и ярче в сумерках светящим, и коротко по этому поводу переговаривающихся; падение прошлогодней шишки, сухо цепляющейся за сучки; короткий свист бурундука и чем-то потревоженную желту, заскулившую на весь лес, при крике которой сморщило губы брата улыбкой, и мы с сыном тоже заулыбались, вспомнив о приключении хануриков-друзей на сурнихе. Но все вокруг уняло журчанием берестяного пастушьего рожка, почти сливающегося с чурлюканьем речки в перекате и все же отдельным от него, нежным, страстным, зовущим.

— Ты чего? — повернулся ко мне братан. — Какие тебе тут пастухи? Здесь скот — маралы, олени да сохатые... — Говорил он резко, почти сердито — нездоровилось ему. Но, перевхитив мой взгляд, без необходимости поправил огонь, мягче пояснил: — Маралуха с теленком пасется...

Собаки одыбались, наострили уши. Я перестал рубить лапник для подстилки. Но скоро собаки успокоились, прикрылись хвостами. Хитрая и умная Кукла легла под тягу дыма, и от нее отжимало комара. Тарзан почти залез в огонь, и все равно гнус загрызал его. Он время от времени лапами стряхивал комаров с морды, упречно глядел на нас — что же это, дескать, такое? Куда вы меня завели и чего вам дома не сидится! Коля бросил на лапник телогрейку, натянул на ухо воротник старого пиджака, осадил ниже кепчонку и лег по одну сторону костра; сын, обмотавшись брезентовыми штанами, устроился по другую.

Я спать не хотел. Не мог. Напился крепкого чая, за брата переживал и, кроме того, столько лет мечтал посидеть у костра в тайге, еще не тронутой, точнее сказать, непоувеченной человеком, так неужели этот редкий уже праздник продряхать?!

Что испытывал я тогда на Опарихе, у одинокого костра, хвостатой кометой мечущегося в темени лесов, возле дикошарой днем, а ночью по-женски присмирелой, притаенно говорливой речки?

Все. И ничего.

Дома, в городской квартире, закиснув у батареи парового отопления, мечтаешь: будет весна, лето, я убреду в лес и там увижу такое, переживу раззтакое... Все мы, русские люди, до старости остаемся в чем-то ребятишками, вечно ждем подарков, сказочек, чего-то необыкновенного, согревающего, даже прожигающего душу, покрытую окалиной грубости, но в середине

незащищенную, которая и в изношенном, истерзанном, старом теле часто ухитряется сохраняться в птенцовом пухе.

И не ожидание ли необычного, этой вечной сказочки, не жажда ли чуда толкнули однажды моего брата в таймырскую тундру, на речку Дудыпту, где совсем не сказочной болезнью и тоской наделила его шаманка? И что привело нас сюда, на Опариху? Не желание же кормить комаров, коих, чем глуше ночь, тем гуще клубится возле нас. В отсвете костра, падающего на воду, видно не просто облако гнуса, а на замазку похожее тесто. Без мутówki, само собою сбивается оно над огнем, набухает, словно на опаре, осыпая в огонь желтые отруби.

Коля и сын спрятали руки под себя, дрыгаются, бьются во сне. Собаки пододвинулись вплотную к огню. Я же, хорошо умывшись в речке, сбив с лица пот, густо намазался репудином (если бы существовал рай, я бы заранее подал туда заявление с просьбой забронировать там лучшее место для того, кто придумал мазь от гнуса). Иной ловкач — комар все же находил место, где насосаться крови, то и дело слышится: «шпы-ы-нь...» — это тяжело отделяется от меня спившийся долгоносый зверь. Но дышать-то, жить, смотреть, слушать можно, и что она, эта боль от укусов, в сравнении с тем покоем и утешением сердца, которое старомодно именуется блаженством.

На речке появился туман. Его подхватывало токами воздуха, тащило над водой, рвало о подмытые деревья, свертывало в валки, катило над короткими плесами, опятнанными кругляшками пены. Нет, нельзя, пожалуй, назвать туманами легкие, кисеи колышущиеся полосы. Это облегченное дыхание земли после парного дня, освобождение от давящей духоты, успокоение прохладой всего живого. Даже мулявки в речке перестали плавать и плескаться. Речка текла, ровно бы мохом укрытая, мокро всюду сделалось, заблестели листья, хвоя, комки цветов, гибкие тальники сдавило сыростью, черемуха на том берегу перестала сорить в воду белым, поределые, растрепанные кисти полоскало потоком, и что-то было в этой поздне, то-що и бедно цветущей черемухе от современной женщины, от ее потуг хоть и в возрасте, хоть с летами нарядиться, отлюбить, отпраздновать дарованную природой весну.

За кедром, динозавром маячившим в воде, в ночи сделавшимся еще более похожим на допотопного зверя, где стоял «харюжина», не изловленный сыном, блеснуло раз-другой, разрезало острием серпика речку от берега до берега, точно лист цинкового железа, и туманы, расстриженные надвое, тоже разделились — одна полоса, подхваченная речкой, потекла вниз, другая сбилась в облачко, которое притулилось к берегу, осело на кусты подле нашего костра.

Блеклым светом наполнилось пространство, раздвинулась глубь тайги, дохнуло оттуда чистым холодом, на глазах начал распадаться ком гнуса, исчезать куда-то, реденько кружило дымом уже вялых, молчаливых мокрецов. Ребята у костра внятно вздохнули, напряженные тела их распустились — уснули

глубоко, все в них отдыхало — слух, нюх, перетруженные руки и ноги. Который-то из парней даже всхрапнул коротко, выразительно, но тут же подавил в себе храп, чуя подсознанием, что спит он не дома, не под крышей, не за запорами, какая-то часть его мозга бдила, была настороже.

Я подладил костер. Он вспыхнул на минуту и тут же унялся. Дым откачнуло к воде, туда же загнуло яркий гребень огонька. Придвинувшись к костру, я вытянул руки, сжимал и разжимал пальцы, будто срывал лепестки с громадного сибирского жарка. Руки, особенно левая, занемели, по плечу и ниже его холодным пластом лежала вкрадчивая боль — сказывалось долгое городское сидение — и такая сразу нагрузка да вчерашняя духотища.

Серебристым харюзком мелькнул в вершинах леса месяц, задел за острие высокой ели и без всплеска сорвался в уремную гущу. Сеево звезд на небе сгустилось, потемнела речка, и тени деревьев, обьявившиеся было при месяце, опять исчезли. Лишь отблескивала в перекатах Опариха, катаясь по пропаханной, вилочей бороздке к Енисею. Там она распластается по пологому берегу на рукава, проточины и обтрепанной метелкой станет почесывать бок грузного, силой налитого Енисея, несмело с ним заигрывая. Чуть приостановив себя на выдававшейся далеко белокаменной косе, взбурлив тяжелую воду, батюшко Енисей вринимал в себя еще одну речушку, сплетал ее в клубок с другими светлыми речками, речушками, которые сотни и тысячи верст бегут к нему, встревоженные непокоем, чтобы капля по капле наполнять молодой силой вечное движение.

Казалось, тише, чем было, и быть уже не могло, но не слухом, не телом, а душою природы, присутствующей и во мне, я почувствовал вершину тишины, младенчески пульсирующее темечко нарождающегося дня — настал тот краткий миг, когда над миром парил лишь божий дух один, как рекли в старину.

На заостренном конце продолговатого ивового листа набухла, созрела крупная капля и, тяжелой силой налитая, замерла, боясь обрушить мир своим падением.

И я замер.

Так на фронте цепенел возле орудия боец с туго затянутым ремнем, ожидая 'голос команды, который сам же себе был только слабым человеческим голосом, но он повелевал страшной силой — огнем, в древности им обожествленным, затем обращенным в погибельный смерч. Когда-то с четверенек взнявшее человека до самого разумного из разумных существ, слово это сделалось его карающей десницей. «Огоны!» — не было и нет для меня среди известных мне слов слова ужасней и притягательней!

Капля висела над моим лицом, прозрачная и грузная. Таловый листок держал ее в стоке желобка, не одолела, не могла пока одолеть тяжесть капди упругую стойкость листка. «Не падай! Не падай!» — заклинал я, просил, молил, кожей и сердцем внимая покою, скрытому в себе и в мире.

В глубин лесов угадывалось чье-то тайное дыхание, мягкие шаги. И в небе чудилось осмысленное, но тоже тайное движение облаков, а может быть, иных миров или «ангелов крыла»?! В такой райской тишине и в ангелов поверишь, и в вечное блаженство, и в истлевание зла, и в воскресение вечной доброты. Собаки тревожились, вскидывали головы. Тарзан зарычал приглушенно и какое-то время катал камешки в горле, но, снова задремывая, невнятно тявкнул, хлюпнул ртом, заглотив рык вместе с комарами.

Ребята крепко спали.

Я налил себе чаю, засоренного хлопьями отгара и комаров, глядел на огонь, думал о больном брате, о подростке-сыне. Казались они мне малыми, всеми забытыми, спозаброшенными, нуждающимися в моей защите. Сын кончил девятый класс, был весь в костях, лопатки угловато оттопыривали куртку на спине, кожа на запястьях тонко натянута, ноги в коленях корнем — не сложились еще, не окреп, совсем парнишка. Но скоро отрываться и ему от семьи, уходить в учебу, в армию, к чужим людям, на чужой догляд. Брат, хотя годами и мужик, двоих ребятишек нажил, всю тайгу и Енисей обшастал, Таймыра хватил, корпусом меньше моего сына-подростка. На шее позвонки орешками высыпали, руки в кистях тонкие, жидкие, спина осажена надсадой к крестцу, брюхо серпом, в крыльях сутул, узок, но жилист, подсадист, под заморышной, невидной статью прячется мужицкая хватка и крепкая порода, а жалко отчего-то и сына, и брата, и всех людей на свете. Спят вот доверчиво у таежного костра, средь необъятного, настороженного мира два близких человека, спят, пустив слюнки самого сладкого, наутреннего сна, и сонным разумом сознают, нет, не сознают, а ощущают защиту — рядом кто-то стережет их от опасностей, поджигляет костер, греет, думает о них...

Но ведь когда-то они останутся одни, сами с собой и с этим прекраснейшим и грозным миром, и ни я, ни кто другой не сможет их греть и оберегать!

Как часто мы бросаемся высокими словами, не вдумываясь в них. Вот долдоним: дети — счастье, дети — радость, дети — свет в окошке! Но дети — это еще и мука наша! Вечная наша тревога! Дети — это наш суд на мир, наше зеркало, в котором совесть, ум, честность, опрятность нашу — все наголо видать. Дети могут нам закрыться, мы ими — никогда. И еще: какие бы они ни были, большие, умные, сильные, они всегда нуждаются в нашей защите и помощи. И как подумаешь: вот скоро умирать, а они тут останутся одни, кто их, кроме отца и матери, знает такими, какие они есть? Кто их примет со всеми изъятиями? Кто поймет? Простит?

И эта капля!

Что, если она обрушится наземь? Ах, если б возможно было оставить детей со спокойным сердцем, в успокоенном мире!

Но капля, капля!..

Я закинул руки за голову. Высоко-высоко, в сереньком, чуть



размытом над далеким Енисеем небе различил две мерцающие звездочки, величиной с семечко таяжного цветка майника. Звезды всегда вызывают во мне чувство сосущего, тоскливого успокоения своим лампадным светом, неотгаданностью, недоступностью. Если мне говорят: «тот свет», — я не загробье, не темноту воображаю, а эти вот мелконькие, удаленно помаргивающие звездочки. Странно все-таки, почему именно свет слабых, удаленных звезд наполняет меня печальным успокоением? А что тут, собственно, странного? С возрастом я узнал: радость кратка, проходяща, часто обманчива, печаль вечна, благотворна, неизменна. Радость сверкнет зарницей, нет, молнией скорее и укатится перекатным громыханьем. Печаль светит тихо, как неугаданная звезда, но свет этот не меркнет ни ночью, ни днем, рождает думы о ближних, тоску по любви, мечты о чем-то неведомом, то ли о прошлом, всегда томительно сладком, то ли о заманчивом и от неясности пугающе притягательном будущем. Мудра, выросла печаль — ей миллионы лет, радость же всегда в детском возрасте, в детском облике, ибо всяким сердцем она рождается заново и чем дальше в жизнь, тем меньше ее, ну вот как цветов — чем гуще тайга, тем они реже.

Но при чем тут небо, звезды, ночь, таяжная тьма?

Это она, моя душа, наполнила все вокруг беспокойством, недоверием, ожиданием беды. Тайга на земле и звезды на небе были тысячи лет до нас. Звезды потухали иль разбивались на осколки, взамен их расцветали на небе другие. И деревья в тайге умирали и рождались, одно дерево сжигало молнией, подмывало рекой, другое сорило семена в воду, по ветру, птица отрывала шишку от кедра, клевала орехи и сорила ими в мох. Нам только кажется, что мы преобразовали все, и тайгу тоже. Нет, мы лишь ранили ее, повредили, истоптали, исцарапали, ожгли огнем. Но страху, смятенности своей не смогли ей передать, не привили и враждебности, как ни старались. Тайга все так же величественна, торжественна, невозмутима. Мы внушаем себе, будто управляем природой и что пожелаем, то и сделаем с нею. Но обман этот удастся до тех пор, пока не останешься с тайгой с глазу на глаз, пока не побудешь в ней и не поврачуетесь ею, тогда только воньмешь ее могуществу, почувствуешь ее космическую пространственность и величие.

С виду же здесь все просто, всякому глазу и уху доступно. Вон соболек мелькнул по вершинам через речку, циркнул от испугу и любопытства, заметив наш костер. Выслеживает соболек белку, чтобы унести своим соболятам на корм. Птица, грузно садившаяся ночью в дерево, была капалуха, на исходе вечера слетавшая с гнезда размять крылья. Лапы у нее заостенели под брюхом от сидения и неподвижности, худо цеплялись за ветви, оттого она так долго и громоздилась при посадке. Осмотревшись с высоты, не крадется ль к яйцам, оставленным в гнезде, какой хищник, капалуха тенью скользнула вниз подкормиться прошлогодней брусникой, семечками и, покружив возле дерев, снова вернулась к пестрому выворотню, под кото-

рым у нее лежало в круглом гнезде пяток тоже пестрых, не всякому глазу заметных яиц. Горячим телом, выщипанным до паготы, она накрыла яйца, глаза ее истомно смежились — птица выпаривала цыпущек — глухарят.

Близко от валежины прошла маралуха с теленком. Пошевеливая ушами из стороны в сторону, мать тыкала в землю носом, срывая листок-другой — не столько уж покормиться самой, сколько показать дитю, как это делается. Забрел в Опариху выше нашего стана сохатый, жует листья, водяную траву, объедь несет по речке. Сиреневые игрушечные пупыри набухли в лапах кедрачей, через месяц-два эти пупырышки превратятся в крупные шишки, нальется в них лаково-желтый орех. Прилетела жарового цвета птица ронжа, зачем-то отвинтила, оторвала лапами сиреневую шишечку с кедра и умахала в кусты, забазарив там противным голосом, не схожим с ее заморской, попугайной красотой. От крика иль тени разбойницы ронжи, способной склевать и яички, и птенцов, и саму наседку, встрепенулся в камешках зук, подбежал к речке и не то попил, не то на себя погляделся в воду, тут же цвиркнула, взнялась из засидки серенькая трясогузка, с ходу сцапала комара иль поденка и усмыгнула в долготелые цветочки с багровым стеблем. Цветочки на долгой ножке, листом, цветом и всем обличьем похожие на ландыши. Но какие же тут ландыши? Это ж черемша. Везде она захрасла, сделалась жесткой и только здесь, в глуби тайги, под тенистым бережком, паливается соком отдавшей мерзлоты. Вон кристаллики мерзлоты замерцали на вытаине по ту сторону речки, сиреневые пупырки на кедре видно, трясогузка кормится, куличок охорашивается, пуночки по дереву белыми пятнышками замелькали...

Так значит?..

Да утро ж накатило!

Прозевал, не заметил, как оно подкралось. Опал, истаял морок, туманы унесло куда-то, лес обозначился пестрядью стволов. Сова, шнырявшая глухой полночью над речкой и всякий раз, как ее наносило на свет костра, скомканно шарахавшаяся, ткнулась в талину, уставилась на наш табор и, ничего не видя, на глазах оплывала, уменьшалась, прижимая перо ближе к телу. Взбили воду крыльями, снялись с речки крохали, просвистели над нами, согласно повернув головы к костру, чуть взмыли над его вытянутым, вяло колеблющимся дымом.

Все было как надо! И я не хочу, не стану думать о том, что там, за тайгою? Не желаю! И хорошо, что северная летняя ночь коротка, нет в ней могильной тьмы. Будь ночь длинна и темна, и мысли б темные, длинные в башку лезли, и успел бы я воссоединить вместе эту девственную, необъятную тишину и клопочущий где-то мир, самим же человеком придуманный, построенный и зажавший его в городские щели.

Хоть на одну ночь да отделился я от него, и душа моя отошла, отдохнула, обрела уверенность в нескончаемости мироздания и прочности жизни.

Тайга дышала, просыпалась, росла  
А капля?

Я оглянулся и от серебристого крапа, невдалека переходящего в сплошное сияние, зажмурил глаза. Сердце мое трепыхнулось и обмерло от радости: на каждой листке, на каждой хвонке, травке, в венцах соцветий, на дудках дедушек, на лапах пихтарников, на необгорелыми концами высунувшихся из костра дровах, на одежде, на сухостойках и на живых стволах деревьев, даже на сапогах спящих ребят мерцали, светились, играли капли, и каждая роняла крошечную блестящую каплю света, но, слившись вместе, эти блестящие заливали сиянием торжествующей жизни все вокруг, и вроде бы впервые за четверть века, минувшего с войны, я, не зная, кому в этот миг воздать благодарность, пролепетал, а быть может, подумал: «Как хорошо, что меня не убили на войне и я дожил до этого утра...»

Отволгло все вокруг, наполнилось живительной влагой, уронило листья пером вниз, и потекли, покатались капли с едва слышным шорохом на землю, на песок, на берег Опарихи, на желтое топоричье, на серенький рюкзачок, на сухостойку, стоящую в речке. Травы покорно легли, цветы сникли, хвоя на кедрах очесалась острием долу, черемуховые кисти за речкой свалило в ватку, ребята съжились возле пригасшего огня, подвели ноги к животам, псы поднялись, начали потягиваться, зевая с провизгом широко распахнутыми, ребристыми пастьми.

— Эк вас, окайненных! — проворчал я на них незлобиво. — Раздерет!

Кукла шевельнула извинительно хвостом, затворила рот. Тарзан истошно взвизгнул, завершая сладкий зев, и принялся отряхиваться, соря песком и шерстью. Я отогнал его от костра, разулся, пристроил на колышки отсыревшие в резиновых сапогах портянки и, закатав штаны, побрел через речку. Стиснуло, схватило льдистыми клещами ноги, под грудью заломило, замерло, появилась тошнота. Но я перебрел через речку, напластал берега черемши, бросил ее у костра, обулся и уловил взглядом — где-то в вершине соседней речки — Сурнихи, за горбом осередыша, за лесами, за подтаежным обозначило себя солнце. Еще ни единый луч его не прошел острой иглой овчину тайги, но по небу во всю ширь расплылась промоина, и белесая глущь небес все таяла, таяла, обнажая блеклую, прозрачно-льдистую голубизну, в которой все ошутимей глазу или другому, более памятного и восприимчивому зрению, виделась пока несмелая, силы не набравшая теплота.

Живым духом полнилась округа, леса, кусты, травы, листья. Залетали мухи, снова защелкали о стволы деревьев и о камни железнолобые жуки и божьи коровки; бурундук умылся лапками на коряжине и беззаботно дернул куда-то; закричали всюду кедровки, костер наш, едва верескавший, воспрянул, шелкнул раз-другой, разбрасывая угли, и сам собою занялся огнем. От звука ахнувшего костра совсем близко, за тальником, что-то грузно, с храпом метнулось и загромыхало камнями. Собаки

хватили в кусты, сбивая с них мокрс, лая впереводку, сонная сова зашаталась на талине, запурхалась, но отлететь далеко не смогла, плюхнулась за речкой в мох.

— Сохатый, дубак! — вскинув голову и вытирая припухшие от укусов губы и сонные глаза, сказал Коля и щелкнул по носу моментом вернувшихся из погони мокрых псов: — Ы-ы, падлы! Дрыхаете, а людей чуть не слопали...

Кукла стыдливо отвернулась. Тарзан, предположив, что с ним играют, полез на Колю грязными лапами. Тот его завалил на песок, хлопнул по мокрушей пузе так, что брызги полстели.

Балуется братан, значит, отлегло.

— Хватит дуреть-то! — по праву старшего заворчал я, доставая из рюкзака мыло, и велел ему умыться. Сам же бродом поспешил к кедр, все так же упорно, лбом встреч течени о стоявшему в речке, — «хариузина» тревожил меня, побуждал к действию. Поплавок коснулся воды, выправился, бойким острием пошел вдоль берега. Меня потянуло на зевоту, и, только рот мой распахнуло судорогой, поплавок безо всяких толчков и прыжков исчез в отбойной струе; я не успел завершить сладостный зевот — на удочке загуляла сильная рыба, потянулась под сучковатый кедр, уперлась в нахлестный вал отбоя. Но я не дал уйти хариусу под кедр — там он запутается в сучках, сорвется, быстро повел его и ходом вынес на опечек. Забил, засверкал боец-удалец на короткой леске, сгибая удилище, обручем завертываясь в кольцо — ни одной из речных рыб не извернуться на леске кольцом, только хариус с ленком такие циркачи!

Коля поднял от воды намыленное лицо, заорал сыну:

— Плакал твой хариуз!

— Красавец-то какой! — поднял голову и проморгавшись, произнес сын и, начавши обуваться, подморкнул дяде: — Я с него вытащил, да папа из-за хариуза всю ночь не спал — пускай пользуется!..

— Ишь какие весельчаки! Выспались, взбодрились! Вам бы еще сельдюка в придачу!

Но они и без Акима обходились хорошо. Пока пили чай, подначивали меня, дразнили собак, проворотивших сохатого.

Солнце разом во всем сиянии поднялось над лесом, пробив его из края в край пучками ломких спиц, раскрошившихся и быстро текущих водах Опарихи. Далеко-далеко возник широкий шум, ветер еще не достиг нашего стана, но уже из костра порхнули хлопья отгара, трепыхнулась листва на шипице, залопотала осина, порхнула черемуха в речку белыми чешуйками. И вот качнуло сперва густые вершины кедров, затем дрогнули и сломились крест на высокой ели, лес задвинулся, закачал ветвями, и первый порыв ветра пробился к речке, выдул огонь из костра, завил над ним едкий дым, однако валом катившийся шум еще был далек, еще он только набирался мощи, еще он вроде бы не решался выйти на просторы, а каждое дерево, каждая ветка, листок и хвоинка гнулись все дружнее, моно-

литней, и далекий шум тайги, так и не покидая дебри, принял в себя, собрал вместе, объединил движение всех листьев, трав, хвоинок, ветвей, вершин, и уже не шум, шумище, переходящий в раскатное гудение, грозно покатылся валами по земле, вытянуло из-за лесов одно, второе облако, там уж барашковое пушистое стадо разбрелось во всю ширь озера и по чуть заметной притемненности, как бы размазавшей обрез неба и кромку лесов, объединив их вместе, угадывались с севера идущие непогожие тучи.

Вот отчего так тяжело было дышать вчера, воздух, смешанный с тестом гноса, изморозью сваривал тело, угнетал сердце — приближалось ненастье.

Шли быстро. Рыбачили мало. Ветер расходился, а с ветром на Енисее, да еще с северным, шутить нельзя, лодка у нас старая, мотор почти утильный, правда, лодманы бывалые.

Тайга качалась, шипели ветви кедров, трепало листья березников, осин и чернополья. Коля все настойчивей подгонял нас, ругал Тарзана. Тот совсем не мог идти на подбитых, за ночь опухших подушках лап, отставал все дальше и дальше, горестно завывал, после заплакал голосом. Мы хотели его подождать и понести хоть на себе, но брат закричал на нас и побежал скорее к Енисею.

Чем ближе была река, тем сильнее напоры ветра. В глубинах тайги он ощущался меньше, и шум тайги, сплошьяком катящийся над головами, не так уж и пугал. Но по Енисею уже ходили беляки, ветер налетал порывами, шум то нарастал, то опадал, шторм набирал силу, разгоняя с реки лодки и мелкие суда.

Аким собрал вещи, приготовил лодку, ждал нас и, когда встретил, вместо приветствия заругался:

— Оне люди городские, не понимают, чё к сему! Но ты-то, ты-то чё думаешь своей башкой? — корил он Колю.

— Тарзан отстал. Ждать придется.

— Тарзана дождать, самим погибнуть! — отринул наши городские сантименты Аким и маленько смягчился лишь после того, как удалось нам оттолкнуть лодку, выбиться из нахлестной прибрежной волны. — Никуда не денется байбак! Отлежится в тайге, голодухи хватит, умней будет.

Переходили на подветренную сторону, под крутой берег, и теперь только стало ясно, отчего сердился Аким, мирный человек. Через нос лодки било, порой накрывая всю ее волной. Мы вперевод выхлестывали воду за борт банкой, веслом, ведром. Банка и весло — какая посуда? Я сдернул сапог, принялся орудовать им. Аким, сжимая ручку руля, рубил крутым носом лодки волну, улучив момент, одобрительно мне кивнул. Сын, не бывавший на больших реках в штормовых переделках, поблédнел, но работал молча и за борт не смотрел. Моторишко, старый, верный моторишко работал из последних сил, дымясь не только выхлопом, но и щелями. Звук его почти заглушал, все в нем натужно дрожало, когда оседала корма и винт забу-

ривался глубоко, лодка трудно взбиралась по откосу волны, а выбившись на гребень, на белую кипящую гору, мотор, бодро попукивая, бесстрашно катил ее снова вниз, в стремнины, и сердце то разбухало в груди, упиралось в горло, то кирпичом опадало аж в самый живот.

Но вот лодку перестало подымать на попу, бросать сверху вниз, воду не заплескивало через борт, хотя нос еще нет-нет да и хлопался о волну, разбивал ее вдребезги, Аким расслабился, сморкнулся за борт поочередно из каждой ноздри, уместив ручку руля под мышкой, закурил и, жадно затаившись, подмигнул нам. Коля свалился на подтоварник возле обитого жестью носа лодки, засунул голову под навес, накрылся брезентовой курткой, еще Акимовой телогрейкой и сделал вид, что заснул. Аким выплюнул криво сгоревшую на ветру сигарку, пододвинул к себе ногой с подтоварника черемши, сжевывая пучок стеблей, как бы даже заглатывая его, заткнуто крикнул:

— Ну как? Исё на рыбалку поедем?

— Конечно! — отозвались мы, с излишней, быть может, бодростью. Мокрый с головы до ног, сын пополз по лодке на карачках, привалился к Коле. Тот его нащупал рукой, притиснул к себе, попытался растянуть на двоих свою куцую телогрейку.

За кормой, за редко и круто вздымающимися волнами осталась речка Опариха, светлея разломом устья, кучерявясь облаками седоватых тальников, красной полоской шиповника, цветущего по бровке яра. Дальше смыкалась грядой, темнела уже ведомая нам и все-таки снова замкнутая в себе, отчужденная тайга. Белая бровка известкового камня и песка все резче очеркивала суземные, отсюда кажущиеся неподвижными леса и дальние перевалы от нас, от бушующего Енисея, и только бархатно-мягким всплеском трав по речному оподолью, в которых плутала, путалась и билась синенькой жилкой речка Опариха, смягчало даль, и много дней, вот уже и лет немало, только закрою глаза, возникает передо мной синенькая жилка, трепещущая на виске земли, и рядом с нею и за нею монолитная твердь тайги, сплавленной веками и на века.

## ДАМКА

Несколько лет спустя после той памятной и редкой в нынешней суетливой жизни ночи, проведенной на Опарихе, пришла телеграмма от брата, в которой просил он меня срочно приехать.

Не сломила его болезнь сердца, он сломил ее. Но беда не ходит одна, привязалась пострашнее хворь — рак. Как только принесли телеграмму, так у меня и упало сердце: «с годами я и впрямь стал встревоженно-суеверным, теперь боюсь телеграмм...»

В аэропорту старого годами, обликом и нравами городка

Енисейска, снаружи уютного, но с тем казенным запахом внутри, который свойствен всем мрачным вокзалам глубинки, в особенности северным, гнилозубый мужичонка с серыми, войлочными бакенбардами и младенчески цветущими глазами на испитом лице потешал публику, рассказывая, как и за что его только что судили, припаяв год принудиловки, растяпы судьи.

— Я ведь истопником в клубе состою, — закатывался мужичонка. — А клуб отапливается когда? И дураку понятно — зимой! Считай, на полгода я их наякорил!

Среди вокзала на замытом полу стояла белая лужа — кто разбил банку с молоком. Под обувь хрустело стекло, по залу растаскивалось мокро, и, сколь ни наступали в молоко грязной обувью, оно упорно оставалось белым и как бы корило своей непорочной чистотой всех нас, еще недавно загибавшихся от голода. Модные сиденья, обтянутые искусственной кожей, порезаны бритвочками. Заелженный задом, пупырился грязный поролон меж лепестков испластанной кожи. В вокзале жужжала мухота, со вкрадчивым пеньем кружился комар, кусал ноги, забивался под юбки женщинам, и которые еще не обрядились в брюки, признавали их тут уже не криком моды, а предметом необходимости. По стеклам окон упрямо взбирались и скатывались вниз опившиеся комары. Мальчишка с заключенной в гипс правой рукой левой принялся плющить комарье. По стеклам с одной стороны текли красные капли, с другой светлые, дождевые. Путь их по стеклу совпадал, порой и зигзаги повторялись, но кровавые и светлые потеки, смешиваясь, не смывали друг дружку, и близились в той картинке на стекле какая-то непостижимая загадка бытия.

— Перестань! — Женщина в кирзовых сапогах, в старой вязаной кофте, отстраненно сидевшая до того в углу, легонько шлепнула мальчишку по здоровой руке, он отошел от окна, покорно сел, привалился к ней. Женщина уложила больную руку мальчика себе на колени, самого придавила плотнее к боку и, глубоко вздохнув, успокоилась.

— Жжжжж-ве-ом мы весело сегодня, а завтра будем веселее! — объявился в вокзале исчезнувший было гнилозубый мужичонка. Разболтав бутылку с дешевым вином, он начал пить из горлышка, судорожно шевеля фигушкой хрящика, напрягшись жилками, взмывая, постанывая. Пилось ему трудно, не к душе, и отхлебнул он каплю, однако крикнул вкусно, потряс головой и возвестил: — Хар-раша, стерва! — И зашелся, закатился не то в кашле, не то в смехе. — Она мне грит: «Подсудимый, вставайте!» А я грю, не могу, не емши, грю. Все деньги на штрафы уходят. Гай-ююю-гав!

И у самолета выкомуривался мужичонка. Докончив бутылку, сделался он еще болтливее, навязчивей, вставил в петельку телогрейки цветок одуванчика, лип к роскошной чернобровой молодухе с комплиментом: «Ваши глазки, как алмазки, токо не катаются!», тыча в цветок, намекал, что он-де жених, присваивается к ней.

— На, одну ночь не хватит — замаяю! — незлобиво отбрила его молодуха.

У самолета, как водится в далеких, полубеспризорных аэропортах, пассажирам сделали выдержку. Летчики тут утомлены собственной значимостью и если не выкажут кураж, вроде бы как потеряют себе цену. Взлетные полосы располагались в низине, вокруг аэродрома простирались болота и кустарники. После пудного, парного дождя людей заживо съедал комар. Мужичонку-хохмача комары не кусали по причине проспиртованности его тела — объяснил он и молотил своим наклепанным языком, измываясь над женщинами — они хлопали по икрам ладонями, сжимали ноги, иные, преодолев стеснение, выгоняли зверье из-под подолов руками.

— Жре-о-оть! Жге-о-оть комар! Умы-най зверь, ох, умы-най! Чует, где мясо слаще!

— Ты, чупак! Я вот те как шшалкну, дак опрокинешся! — взъелась молодуха. — Нашел где трепаться! Ребятишки малые, а ты срам экий мелешь...

— Молчу, молчу! — Мужичонка плеченно поднял вверх руки, истыканные, исцарапанные, неотмытые. — И как с тобой мужик горе мычет?

— Это я с им мыкаюсь! Экой же кровопивец! Камень бы один здоровущий всем вам на шею да в Анисей! — И, ни к кому не обращаясь, громко продолжала: — Чё ему! Напился, нажрался, силищи много, кровь заходила, драться охота. Меня бить не с руки — я понужну дак!.. Издыбал, кобелище, изму тузил мужичонку. Теперь, как барин, на всем готовеньком в тюрьме — никто такое золото не украдет, и еще передачу требует. Красота — не жись! А инвалидишко в больнице. Вот я и ве!тось-кручусь: одну передачу в больницу, другу в тюрьму, да на работу правься, да рсбятеччишка догляди, да сверьрухе потрафь... И все за-ради чего? Чтоб дорогому муженьку, вишь ты, жилось весело... У-у, лягуха болотная! — поперла она грудью на мужичонку, и он, отступая под натиском, закривлялся пуще прежнего, запритопывал, заподмигивал:

— Эх, пить бы мне, пировать бы мне! Твой муж в тюрьме, не бывать бы мне!..

— Побываешь, побываешь! — посулила молодуха и, ослабляя натиск, плюнула: — Обрыдли поноски хуже смерти!

Мужичонка хоть и кривляка, но черту, за которой от слов переходят к действиям, не переступил и с молодухи переметнулся на меня, что-то насчет моей шляпы и фигуры вешал. Я не дал ему разойтись. «Заткни фонтан! — сказал. — А то я тебе его шляпой заткну!» — Молодуха на меня пристально поглядела. Отягощенная горем, она угадала его и во мне и кротко вздохнула, продолжая шедшую в ней своим ходом мысль:

— Прибрали бы их, этих пьянчужек, шарпачню эту в какому-нибудь крепко место, за ворота, чтоб на вина им, ни рожна и работы от восходу до темна. Это чё же тако? Ни проходу, ни проезду от них добрым людям!



Наконец распахнулась дверца самолета. Чалдоны-молодые дагнулись у лесенки и внесли друг дружку в салон самолета, отринув в сторону женщин, среди которых две были с детьми.

— Экие кони, язвило бы вас! Экие бойкие за вином пластаться да баб давить! — ругалась молодуха, подсобляя женщине с ребенком подняться по лесенке. Довольнехонькие собой мужички и парни с хохотом, шуточками удобно устраивались на захваченных местах, подковыривали ротозеев: Я пропускал женщин вперед — как-никак Высшие Литературные курсы в Москве кончил, два года в общежитии литературного института обретался — хватанул этикету и в результате остался без места. Билет был, я был, самолет был, а места нет, и вся недолга — пилоты прихватили знакомую девушку до Чуши и упорно меня «не замечали». Я простоял всю дорогу средь салона, меж сидений, держась за багажную полочку, и не надеялся, нет, а просто загадал себе загадку: предложит мне кто-нибудь из молодых людей место, хотя бы с середины пути? Ведь приметы войны заметны на мне, так сказать, и невооруженным глазом, но услышал лишь в пространство брошенное:

— Интеллигентов до хрена, а местов не хватает! Гай-ююю-гав!

Мужичонка помолотил бы еще языком, но в открытую дверь самолета высунулся второй пилот, нехотя поднялся и, приблизившись к надоедному пассажиру, сказал:

— Будешь травить, без парашюта высажу!..

Пилот прицепил меж сидений неширокий ремень, похожий на конскую подиругу, кивнул мне, предлагая, должно быть, садиться. Я вежливо его поблагодарил. Буркнув: «Была бы честь предложена», — пилот удалился в кабину.

Мужичонка послушно унялся. Куриная его шея, изветвленная жилами, сломилась, голова, напоминающая кормовую турнепсину, закатилась меж сиденьем и стенкой самолета, потряхивалась, стуча о борт.

Пассажиры все тоже задремали. Самолет шел невысоко, трещал хоть и громко, но миролюбиво, по-свойски и, когда проваливался в яму и, натужно гудя, выбирался из нее, чудилось какое-то извинительное хурканье и дребезжанье, словно бы он отряхивался на ходу от прилипшего облака, беря новый рубеж в гору.

Я перевел дух — как все-таки липучи, надоедны пьяницы и как стыдно видеть и слышать ерников, в особенности пожилых, мятых жизнью, выставляющих напоказ свою дурь.

Подкузьмили меня летаки, место заели. Но не бывает худа без добра: самолет почти все время летел над Енисеем, и, стоя на ногах, сколько красот я увидел в оконце! Уроженец горных мест, я и не знал, что по среднему Енисею простираются неоглядные заболоченные низины с редкими худыми лесами, с буроватыми болотами и желтыми чарусами среди них. Пятна и борозды озер с рябью утиных табунов, с белыми искрами лебедей и чаек возникали под левым крылом в то время, как под пра-

вым, гористым берегом красным крохалем бежал навстречу красный бакен и над ним, наклоненные, рыжели утесы или выломы гор, меж которыми по щелям, цепляясь друг за дружку, бежали кверху деревья: желто пенящаяся акация, жимолость, бересклетник и белопенная таволга. Добравшись до верху, одно какое-нибудь дерево раскидывало там просторно и победно ветви. Поле реки, точно от взрывов мин, опятнанное воронками — кружилась вода на подводных каргах, было широко и в общем-то покойно, лишь эти вот воронки да царапины от когтей каменных шиверов и в крутых поворотах сморщенная, как бы бороной задетая, гладь только и оказывали, что внизу под нами все же не поле, а река, наполненная водой и неостановимым движением. Приверхи чубатых островов пускали стрелы вдоль воды, лайды там и сям, отделившиеся от реки светлыми, ртутно-тяжелыми рукавами, катились в леса и терялись в них.

Просверки серебра и золота на воде, клочок ярко белеющей пены на горбине реки, скоро оказавшийся теплоходом; песчаные отмели, облепленные чайками, с высоты скорее похожими на толчею бабочек-капустниц; вороны, скучающие над обсыхающим таем, в которых им всегда остается пожива; шалаш, наскоро крытый еловой корою; на зеленом мыске костерок, пошевеливающий синим лепестком дыма, при виде которого защемило сердце, как всегда, захотелось к этому костерку, к рыбакам, кто бы они ни были, как бы ни жили в городе, у реки непременно приветны и дружжелюбны. Вон они глядят из-под руки на нас, маленький рыбак в оранжево-черных плавках перекладывает удилище, чтобы махнуть рукой самолету; даль и близь, вечность и миг, — страх и восторг — как все-таки непостижим всем нам доступный мир!..

— Гражданин! Гражданин! — Я очнулся. За рукав меня дергала молодуха. Всю дорогу она сидела, закрыв глаза, уронив на колени крупные красные руки — на сплаве или на скотном дворе работает. — Посиди! — словно в больнице, тихим голосом предложила она, поднимаясь. — Ноги-то оставили небось?

— Спасибо, спасибо! — придержал я ее за плечо и, чтоб не обидеть отказом, дружески ей улыбнулся: — У меня сидячая работа.

— А-а, — молодуха ответно мне улыбнулась. — в отпуск в Чуш-то или в командировку?

Я сказал ей, зачем лечу, и она опечалилась.

— Знаю я твое брата. Шоферил он в совхозе. Худой сделался, шибко худой. Узнаешь ли?

Бедами и горем точенная, по-женски чуткая, она не стала больше меня тревожить разговорами, снова прикрыла глаза, наслаждаясь редким покоем и отдыхом, а скорее всего страдала, мучилась в себе и про себя.

Гудел, покачивался самолетик, дребезжал железной дверцей. Вдруг его качнуло, ровно бы предоставляя мне возможность увидеть еще раз реку и землю, но уже опрокинутыми на ребро, не-

бо в самом окошке — протяни руку и хватай ключья ваты из облака. Круг завершился, и самолет по наклонной катушке резко заскользил к поселку Чуш.

С воздуха Чуш похож на все приенисейские селения, разбросанные в беспорядке, захламленные, безлесье, и если бы не колок тополей, когда-то и кем-то посаженных среди поселка, не узнал бы я его. Вокруг поселка и за речкой, в устье, разжужжанным гусеницами, раскинулся, точнее сказать, присоединился к широкой поляне, заросшей курослепом, сурепкой и одуванчиками, чушанский аэродром с деревянным строением, нехитрым прибором да двумя рядками фонарей-столбиков. На аэродроме паслись коровы, телята, кони, и когда наш самолетик, зайдя с Енисея, начал снижаться, целясь носом меж посадочными знаками, едва видимыми из травы, впереди самолета долго бежал парнишка в раздувающейся малиновой рубашонке и сгонял хвостом с посадочной полосы пегую корову, неуклюже, тяжело переваливающую вымя. Казалось, самолет вот-вот настигнет корову, торнет ее под норовисто поднятый хвост, но все закончилось благополучно; и парнишка, и корова, и пилоты, должно быть, привыкли ко всему тут и как бы даже поиграли немножко, позабавлялись.

Из самолета я вышел следом за пилотом, с выверенным формом приспустившим на пазы висок синий картуз с эмблемой, на глаз, глядящий сквозь людей в пространства. Второй пилот волок под мышкой на волю разоспавшегося, ничего со сна не понимающего мужичонку. Он цапался руками за сиденья, заплетался ногами, чего-то бормотал. Пилот вышвырнул его из самолета. Шмякнувшись в траву, мужичонка ойкнул, проснулся, куражливо потребовал головной убор. Пилот пошарил рукой под сиденьем, выбросил мятую кепку мужичонке. Хлопнув ею о колено, мужичонка ткнул кулаком в серединку и надел головной убор задом наперед.

По пути с аэродрома мужичонка останавливался возле каждого дома, подробно повествуя, как его судили, сколь отвалили, как достойно, можно сказать, героически вел он себя на суде и как ему славно погулялось в Енисейске в честь такой победы. Около старой дощаной будки караульщиком местной водокачки стояла баба в старом пиджаке, с мулатски-костлявым коричневым лицом. Поджидая мужа, который явно не спешил домой, она сжимала в руке сырую черемуховую палку.

— Дамка! Дамка! Дамка! — кликала она. — Иди-ко, иди-ко, я те чё-то дам!..

Странное такое прозвище мужичонка получил за свой причудливый смех. Один хозяин, услышав тот смех во дворе, заорал, греша на свою дворнягу:

— Цыть, Дамка! Цыть, пустобреха! На кого хайло дерешь?!

Дамка в Чуши, да и на белом свете очутился по недоразумению. В первом случае мать, обсчитавшись в сроках, зачала его, во втором расписание подвело. Завербовавшись в Игарку, на Карскую, Дамка кутил дорогой, пропивал подъемные. В Чу-

ши побежал на берег за вином, в очереди затрепался, пароход сократил стоянку, и он от него отстал. На местном катере вернулась в Чуш его бедолажная супруга, ни слова не говоря, выхватила полено и дубасила мужа до тех пор, пока не выдохлась. Воткнув полено обратно в поленицу, она еще пнула мужа, села на дрова и стала громко причитать, обсказывая незнакомым людям свою горькую жизнь.

Пестрому населению Чуши Дамка пришелся ко двору — всю жизнь сшибающий бабки, он не мог быть чушанцам угрозой в смысле наживы, он даже дополнил и разбавил своим ветреным нравом и плевым отношением к богатству угрюмый и потаенный сброд. Дамку презирали, но терпели, забавлялись им, считали его да и всех прочих людей простодырками, не умеющими жить, стало быть, урвать, заграбастать, унести в свою избу, в подвал, в потайную яму со льдом, которая есть почти в каждом чушанском дворе.

Не очень-то подходил поселок Чуш и они поселку, Аким с Колей, люди нервного, но бескорыстного нрава, да было угодно судьбе, чтобы родня Колиной жены, гулевая, нахрапистая, у которой уже двое молодцов-сыновей отбывали срок за поножовщину, оказалась уроженцами именно этого и никакого другого поселка.

Ребятишки-племяши играли возле дома в лапту, узнали меня, бросились было навстречу и остановились в отдалении, нерешительно улыбаясь. Я подошел, поцеловал их в запыленные мордахи, чем смутил обоих до невозможности — эти младые сибиряки к нежностям не приучены. Схватившись за ручку чемодана, они упрямо его тянули, каждый в свою сторону. На окне колыхнулась занавеска, мелькнуло заспанное и оттого совсем узкоглазое лицо Акима. Он всплеснул руками и, босой, всклопоченный, вляпываясь пятками в куриный помет, вывалился из избы.

— Ё-ка-лэ-мэ-нэ! — Вот так да! — колесил он мне навстречу и сокрушался на ходу: — Аэропор одно свое: «Не знаем, когда самолет. Не знаем...» Ночь на реке полоскался, ухлопался. На половики прилег, и готово... Вот так встретили гостя! Вот так да!

— Как Коля-то?

— Увидишь сам.

Коля пробовал подняться с кровати, делал он это чудно: сначала ловил в воздухе рукой конец невидимой веревки, пытаясь ухватиться за него и затем уж подтянуться, взять себя. Раскидал по свету своих детей папа, развеял, но жесты его, привычки, особенно к вину, не во всех нас, но продолжились. Не поймавшись «за веревку», Коля опал на подушку, прижал к глазам руку, до того исхудалую, что она раздвоилась в запястье.

— Вот... заболел, падла! Видно, помирать...

Многое забудется, уйдет из памяти, но тот детский беспомощный жест, слова, грубостью которых брат хотел пришибить свою беспомощность, унижить болезнь, — останутся. И чувство вины

останется, на этот раз особенно острое оттого, что брат моложе меня на десяток лет, я прошел войну и уцелел, в жизни видел много худого, но еще больше хорошего. А что видел он? С девяти лет таскался по тайге с ружьем, поднимал из ледяной воды сети, наживлял на ветру, на холоде переметы, рубил майны во льду, делал то, что не хотел делать наш развеселый папа, — кормил им брошенных детей и потому так страстно, порой слепо любил и баловал он своих ребятишек, словно за себя выплачивая им недополученную любовь или предчувствуя, что жить им в сиротстве, и не повторят ли они его долю, не натаסקаются ль по свету, не надорвут ли здоровье, не собьются ли с пути?

Вечером, когда пришли из медпункта делать наркотический укол, Коля сказал Акиму:

— Идите! Витя Енисей любит. Какой вам тут интерес со мной? — И дрогнул губами, отвернулся — не любил он себя поверженного, слабого. Бегучий, услужливый, он бы сейчас в лодку да по реке нас, встречу волнам и ветру, да на Опариху бы...

На горке, возле магазина «Кедр», от которого спускалась ломаная лесенка к дебаркадеру, собралась молодежь — цвет поселка Чуш. Название поселка мне еще в прошлый приезд пытались объяснить старожилы: на Оби, невдали от которой берет начало и выходит к Енисею река Сым, местные рыбаки любят есть парную стерлядь — нарежут ее, почти еще живую, потыплют солью и перцем да под водку и наворачивают — нехитрое это блюдо называется чушь. Не оттуда ли, не с Оби ли, приплыло название? Но чушь здешние жители не едят, они предпочитают малосольную стерлядь. Дальше на север рыбу потребляют и сырую, свежую, почти живую сагудают, говоря по местному, охотней всего белую: омуля, муксуна, нельму. Название поселка, скорей всего произошло от того, что когда-то по границе Сыма была окраина енисейского земледелия и так много водилось тетеревов возле полей, что веснами кипели проталины от дерущихся петухов и слышалось воинственное чуф-фыш, которое издали сливалось в сплошное чушшшш! Чушшшш! Чушшшшш! Как бы там ни было, а имя старинного поселка задало в память сразу и навсегда.

Вверх и вниз по реке поселок отделяли от луговин, полей, болот и озер две речки, одна из которых летом пересыхала, другая была подперта плотинкой на пожарный случай и сочилась зловонной жижей. В гнилой прудок сваливали корье, обрезь лесопилки, дохлых собак, консервные банки, тряпье, бумагу — весь хлам.

В центре поселка, возле тех самых тополей, которые прежде всего виделись хоть с парохода, хоть с самолета, была сколочена танцплощадка, под настилом которой, наполовину сорванным, клалась курицы, и пьянчуги лазили на брюхе под танцплощадку, выкатывали оттуда яйца на закусь. В бурьяне, разросшемся в углах изломанной ограды, окаймлявшей терри-

торию «парка», курицы даже парили цыплят, а были когда-то здесь ворота, продавались билеты на танцплощадку, но ни в горсть, ни в сноп шло дело, никто на билеты не хотел тратить: руша финансовые устои, парни перемахивали через ограду и перетаскивали за собой партнерш.

Танцы прекратились, обмерла музыка. Крашенные ворота со словами «Добро пожаловать!» кто-то утащил на дрова. Общественная жизнь пришла в упадок. Парк оккупировали козы, свиньи, куры, играли тут ребятишки в прятки; в поздний час под тополями можно было слышать игривые смешочки, страстные стенания, подивоваться разноцветьем нейлоновых гультиков и ослепнуть от непорочной свежести нагих и свободных тел — почь тут летом хоть и с комарами, но светлая, теплая, располагающая к грешным вольностям.

Парк с тополями, с дедами-репейниками, с кое-где уцелевшими звеньями ограды, с кругляшом сиротливой танцплощадки, если смотреть с реки, от пристани, был вроде задника декорации. Слева, на возвышении яра горбилась тесовой крышей столовая, к которой примыкало здание с мачтой и пучком проводов, протянутых в просверленные дыры, — пристанский пункт связи, огражденный табличкой: «Вход посторонним воспрещен». Однако в комнате пункта связи, запыленной, продымленной, вечно околачивался вольный народ, отставший от теплохода или дожидющийся его, потому что дебаркадер на ночь запирался, шкипер со шкиперихой, блюда порядок и чистоту, людей с него гнали под предлогом борьбы с бродяжничеством, и весь свет, кроме сигнальных фонарей, выключали, подпуская пассажиров к кассе, в камеру хранения и к весам за полчаса до прихода судов.

Справа, все на том же яру, над выемкой пересохшего ручья, на вытоптанном взлобке, похожем на могильный холм, насупленно темнело мрачное, свиньями подрывное помещение с закрытыми ставнями и замкнутыми на широкую железную полосу дверьми, так избитыми гвоздями, что можно было принять их за мишень, изрешеченную дробью, — это магазин «Кедр», самое загадочное помещение поселка Чуш. Оно чем-то напоминало закрытую церковь, сумрачную, холодную, глухую к мольбам людским. Однако свежо белеющие на двери объявления, прибитые крупными гвоздями, и мерцающий в щелях свет показывали, что заведение живо и дышит.

Дважды бывал я в поселке Чуш и всего раз сподобился заставить «Кедр» открытым, во все остальные времена липли пластами к дверям магазина объявления, смахивающие на бюллетени смертельно больного существа. Сначала короткие, несколько высокомерные: «Санитарный день». Затем приближенные к торговой специфике: «Переоценка». Следом как бы слабеющей грудью выдохнутое: «Учет товаров». После некоторой заминки ошарашивающий вопль: «Ревизия». Наконец, истрадавшей грудью долго в одиночку бывшего бойца исторгнуло: «Сдача товаров».

Гнилое мрачное здание с крысиным визгом и мышинным пискom располагало к делам и мыслям темным, к действиям недружелюбным. Наглухо запертый «Кедр», сносящийся с миром посредством кратких бюллетеней да задней дверью, загороженной ящиками, всегда жил напряженно. В нем беспрестанно менялись завывающие и продававшие, прямо из-за прилавка отправляясь за тюремную решетку по причине плутней и лихоимства, зато не менялся товар и равнодушное к покупателю отношение, имевшего наглость иной раз беспокоить местную элиту, в которую давно и прочно зачислили себя работники сельского прилавка, просьбами насчет какого-то стирального порошка, замазки для окон, школьной формы, модной обуви, платья, пальто. Находились даже такие наглецы, что хотели купить зубную щетку и пасту. В Чуши — пасту! Как вот работать с таким народом? Его родитель тележного скрипу боялся, а он, морда чалдонская, пасту требует! Лучше и не работать! Потому-то большую часть вешалок в «Кедре» занимают телогрейки и наряды образца сороковых — пятидесятых годов — все старо, пыльно, засажено мухами. Зато самые жгучие новости и сплетни черпались именно в «Кедре».

Но сколько радости, сколько бодрости чушанцам от динамика, установленного на крыше пристанского узла связи. Орет он дин и ночи, извещая о движении жизни в стране и по всем земным континентам, тревожит музыкой. Вечером меж «Кедром» и столовой прогуливается молодежь, томась ожиданием пасажирского теплохода, лелея надежду, что с прибытием его что-нибудь случится, кто-нибудь приедет в гости, может, драка будет. И хотя закон об алкоголизме вступил в полную силу, все точки со спиртным закрыты, местный милиционер лично проверил, точно ли они заперты, все равно много народу под большим «газом». Мужики, пивные на бревнах возле воды, уже посваливались которые. Держался Дамка. Видать, он уже «со-снул минуточку»; держался Командор и Грохотало. Ну, этих героев разве что гаубицей свалишь. Доносился с бревен, от реки оживленный говор, то и дело раздавалось: «Гай-юююю-гав!» — должно быть, Дамка вещал про поездку в Енисейск.

На яру возникла живописная компания. Впереди нее, хлопая пыльными кистями расклешенных штанов, хозяйски уверенно шагала девица в вельветовом долгополом жилете, надетом на оранжевый свитер наподобие спецовки. Приехавшая на каникулы из высшего учебного заведения под родительский кров, смолой или того еще чернее чем-то крашенная особа всех тут подавила своей красотой, дорогим нарядом, умением пить культурно, глоточками вино, закусывая затяжкой дыма. На груди девицы, вкусно сбитой, бросая ярких зайцев, горела золотая, не менее килограмма весом, бляха, и я невольно прикинул: сколько же соболиных, лосиных, беличьих, горностаевых, осетровых и прочих голов ушло на такую модную справу?

За выдающейся студенткой, словно на собачьей свадьбе, тащились, преданно на нее взирая, чушанские парни, дальше на

почтительной дистанции держались местные девчонки, более пестро, но менее ценно одетые. Все курили, смеялись чему-то, а меня не покидало ощущение неловкости от плохо отрепетированного, хотя и правдоподобно играемого спектакля. В динамике на крыше пункта связи какой-то прославленный квинтет иль диксиленд мордовал волшебную украинскую «Вечорницю», отрывая на мотив ее новомоднейший шлягер: «Ты увидишь, что напрасно называют Север крайним...»

Девнца копытила ногами, бляха подпрыгивала и билась на ее груди. Вся пестрая стайка, подражая кумиру, взбивала пыль, вихлялась, выкрикивая чего-то. На всю эту компанию, в особенности на модную девицу, широко раскрывши рты, не моргая, смотрели ребята старообрядческого рода, толпящиеся в сторонке. Все они были уловимо похожи друг на дружку, с казачьими кудрявыми губами, раскосыми глазами северных матерей, в шитых еще на руках сатиновых и шелковых рубашках с поясами. Но и тут кое у кого уж узконосые туфли, где часики с блестящим браслетом, где пестрые носки, а то и редкостные брюкиджинсы проскальзывали. Таежные парни промаргивались на свету, осматривались, приноживались. Они на танцы еще не горазды, им бы по-ранешнему — зажать цацу в оранжевом-то за баней иль меж поленниц. Да робеют пока, подходы изучают. На глазах вылупаются кавалеры нового помета, жадно тянутся к «передовому опчеству», на ходу с кожей сдирая с себя древние, заржавелые вериги прародителей. «Тяти» еще блюдут устои, но жила-то и в них ослабла, колебнулась старая вера, матерщинничать, пить на людях, табак курить сплошь и рядом взялись. Молодому поколению и бог велел оскоромиться, пристать ко всеобщему движению. Хватит, попятились, поупорствовали и сколько же всякого удовольствия упустили!

«Мы подем, мы помчимся на оленях утром ранним...» — выбрасывал из круглой металлической пасти динамик, а под яром, по берегу, оплсканному мазутом, сплошь замусоренному стеклом, банками, обтирочным тряпьем, крепко обнявшись плелись куда-то мужик с бабой и, не слыша никаких новых песен, во всю головушку ревели: «Я соперницу зарежу и соперника убью!.. А сама я, молодая, в Сибирь на каторгу пойду...»

От Кривляка, из-за Карасинки проступил в ночном мгlistом мороке призрак пароходика местной линии, ласково именуемого «Бетушкой». По лестнице с большим рюкзаком на горбу, с чемоданом и сеткой в руках, вытаращив красиво, в меру подведенные глаза, тащилась библиотечарша Люда. Судя по потугам унести все свое имущество в один прихват и при этом остаться независимой, модно и в то же время со вкусом одетой, не то что это топотящее в пыли кодро, труженица местной культуры покидала Чуш навсегда, отработав посленнститутский «минимум». Ступени на лестнице выломаны с расчетливым коварством — через одну, перил нет. Узкая шерстяная юбка мешала Люде широко шагнуть, обойти же крутик логом не хватило сноровки, запарилась, видать, со сборами.



Народ повсюду замер, ожидая, сверзится библиотекарша с лестницы или нет? Даже Аким заинтересованно приостановился. Еще спускаясь к реке, я заметил осанистого парня, стриженного сзади под поэта девятнадцатого века, спереду — под ссыльного раскольника. На груди его висел массивный крест червленого серебра. Парень чистил крест кирпичом, наждачной бумагой и суконкой, но все равно виднелась сыпь вечности, се-ево ли человеческих слез, застывшие ли прикосновения губ молящих о милости. Бесценный крест древних мучеников, донесших его от времен смутных, может, еще первоцарских или никонианских, висел на дешевой цепочке от часов-ходиков.

Парень катал на лодке белокурую похотливую девку — заходил выше дебаркадера, складывал лопашны, перебрасывал с кормы к себе на колени пассажирку и на глазах честного народа шарился губами меж подбородком и воротом цветастой девичьей блузки. На берегу кто плевался, кто причмокивал губами, кто цокал языком. Девушка никакого внимания не обращала на народ, все порывистой курила сигарету, острыми ногтями выщипывала изо рта табак, потому что гребец покинул лодку, спеша на помощь библиотекарше. Люда приостановилась, опустила чемодан, сетку и, когда парень приблизился, укушенно вскрикнув, отвесила ему оплеуху ото всей-то душеньки.

— Гай-юююю-гав!

— Лихо!

— Bravo, Людок! Bravo! — На яру заколотила в ладоши девушка в оранжевом, и партнеры поддерживали воительницу одобрительным гулом и аплодисментами.

— Тварь! Чего изображаешь? — Девушка в лодке отбросила сигарету и, взяв руки под бока, закривлялась: — Я и не лягу под стилагу!..

— Катись! — не то ей, не то Люде крикнул парень и, улегшись на плотик, забросив крест на спину, принял полоскать водою рот, девку в лодке несло по течению, и она, покинутая, вразнобой, неумело гребла веслами к берегу. Парень не шел ей на помощь, отплевывал кровяную воду, утирался, искоса наблюдая, как мы с Акимом помогаем Люде внести багаж на дебаркадер.

Забыв поблагодарить нас, Люда грохнула чемодан на весы и обвела берег расширенными бешенством и беспомощностью глазами:

— Да будь он проклят, этот Север, и тот, кто мне его подарил!

— Ну а весы-то чем виноваты? — проворчал шкипер, откидывая скобку и передвигая пальцами по стальной полосе весовой балансир. — Вас тут много, нервных, а мне за инвентарь отвечать. — И выдал назидание: — Поставила б мужикам бутылку и не кожилилась бы.

— Занимайтесь своим делом!

«Бетушка» подала сирену. Шкипер, все еще поругиваясь, поспешил принимать чалку. Народ потянулся к дебаркадеру.

Я сидел на бревне, бросал камни в воду и неожиданно услышал позади хруст гальки, затем знакомый голос:

— У вас закурить не найдется?

— Не курю.

— Не курите? — переспросил Дамка, бесцеремонно усаживаясь на одну со мной лесину. — Здоровье бережете или деньги экономите?

Мне с ним разговаривать не хотелось. Мне он надоел еще в Енисейске. Из головы не шел Коля. Лежит сейчас в горнице, оглушенный снотворным, полуспит, полустрадает, но скоро действие наркотика ослабнет, чем тогда-то помогать парню? Подошел Аким, помогавший Люде грузиться на теплоход, и, оскорбленный рублевкой, которую она хотела ему сунуть: «Нисё в людях не понимает! В гробу я видел ее рваный...», Аким поздоровался с Дамкой за руку, дал ему закурить. Дамка мотнул головой на меня, Аким ему что-то сказал, и они повели дружескую беседу о разных разностях.

«Бетушка» отвалила от пристани, правясь вверх по Енисею. Из-за того, что всю ночь не темнеет, никому спать не хотелось, народ не расходился с берега, шлялся в поисках развлечений и порой находил их. Дамка развлекался тем, что подкарауливал парочки в гуще тополей, за поленищами, в банях, в кустах и прочих укрытиях, и натерел в шпионском деле до того, что спрятаться от него сделалось невозможно. За докучный интерес парни изволохали Дамку, он вроде бы унялся, но шпионское ремесло оказалось такое неистребимое, душу гложущее, что не было от него покоя, так и тянуло в поиск.

Притерся Дамка к поселку Чуш. Рыбаки охотно брали его с собой — для потехи. И, притворяясь дурачком, показывая бесплатный «тиятр», он между делом освоился на самолোвах, схватил суть рыбной ловли, обзавелся деревянной лодчонкой с поношенным мотором, которую продал ему убежавший от властей залетный браконьер. Дамка выбросил два конца и, к удивлению мужиков, стал довольно-таки бойко добывать рыбу и еще бойчее ее сбывать встречным и поперечным людям. На теплоходах, самоходках, катерах, автомашинах, самолетах и вертолетах и на прочем водном и воздушном транспорте догадливые люди возят «специальный запас горючего», выменивают на него в летнюю пору рыбу, дичину, мясо, зимой — орех, шкурки; расчет всюду натуральный, единица обмена — бутылка.

С судна, идущего по соседней реке, Оби, было изъято больше тонны рыбы, «добытой» с помощью бутылки. Чтобы обыскать это из года в год занимающееся поборами судно и привлечь к ответственности капитана, который разжирел на перепродаже рыбы до того, что уж дачами и автомобилями завалил себя и детей, потребовалась санкция прокуратуры, но до бога с плоского Приобья высоко, до прокуратуры далеко. И ловят сплосбно рыбу деляги вроде Дамки летом самолোвами, зимой подпусками да радуются удачливой жизни. Между тем до войны таких вот «джентльменов удачи» на Енисее почти не водилось.

Тогда рыбозаводы заключали договоры с местными и насзжими рыболовами, выдавали им аванс, ловушки, раз в неделю обьезжали с рыбосборочным ботом артельные становища, принимали добычу, снабжали рыбаков продуктами, рукавицами, фартуками, сапогами и прочей спецодеждой. И они-то, эти маленькие, часто из двух всего мужиков состоящие, артели были самым строгим надзором на реке, потому что хотели добыть больше рыбы, выполнить план, чтобы получить осенью законные премии. И организации, ведающие старагельским ловом, платили им за рыбу побольше, чем постоянным колхозным бригадам.

Я и сам когда-то рыбачил с отцом и его напарником, Александром Высотиным, в такой вот договорной артели и, сколь ни приглядывался к речным пиратам, сколь ни вел разговоров о нынешних порядках в рыболовецком промысле, убедился в том, что они с облегчением прокляли, кинули бы темную, рисковую свою работенку, перешли бы за милую душу на законный лов, только чтоб рассчитывались с ними честь по чести, не медными копейками...

Ну а пока на реках торжествует ночной, темный лов. Дамка вино попивает, песенки попевает. Один раз попало ему тридцать стерлядей, пара килограммов по шести — уж пофартило так пофартило! Главное, рыба почти вся живая. Сонных стерлядей выбросил за борт всего несколько штук. Утомился рыбак, но такая радость на душе — кричать хотелось. Заткнет он бабе своей пасть, заткнет! Она его за рыбалку со свету сводит. Глаза еще не продерет со сна, а уж изрыгает: «Не просыхашь, мокра стелька! Жись свою и мою загубил!..» И все в таком вот роде, прямо и вспоминать неприятно. Покуривал Дамка папиросочку, плыл на лодочке, в подтоварнике стерлядочки хлоп да хлоп об доски хвостиками, иные хребтником скреблись-поцарапывались — живучие, игрушечные рыбешки, поскорее им на сковородку охота.

Мотор не заведен, самосплавом двигалась лодка, хозяин ее наслаждался природою и пароходика вроде бы никакого не ждал. Налетели на Дамку пауты. В этой местности они с воробьев почти, башки у них вертучие, фосфорные, отвислые зады, как у зебров, полосаты, жалы что железнодорожный костыль, зевни — и он те тут же, пуще путевой бабы, всадит его в спину или еще куда. Кружат над лодкой пауты, гудят военными истребителями, лбы, будто у такси, зеленым светятся.

— Н-а! Н-а! Куси! Куси! — подтравливал зловерное зверье Дамка, протягивая плоскую с обломанными ногтями руку. Сам себе не веря, паут опустился на кожу. От запаха бензина, от недоверия ли, может, от предчувствия близкой крови зад паута ходуном ходит. «Насосы в см, паразите, действовать начали», — заметив, как наклонился, отгопырил зад и жадно замер паут, спохватился Дамка и со всего маху саданул паута — увлекся тот, бдительность утратил — и вот тебе результат — поплыл кверху брюхом, крылом и лапами шевелит, взяться пробует. Хельс паута какая-то рыбешка — только его, голубчика, и видел! «Взаимодействие сил, — ударился в размышления Дам-

ка. — Природа сама устанавливает баланс между добром и злом».

На горизонте показался дымок. Под ним, под дымком, слышут обозначился, с пауза величиной. Сладко по нутру рыбака раскатилась, под ложечкой засосало, и такая жгучая истомка прошла все тело, ну что тебе перед первым грехом. «Матушка-царица небесная или какая еще! Вот они, мгновения жизни, ради которых мокнешь, головой рискуешь, с бабой грызешься!..»

Паут в лодке был не один, их пара была, муж и жена скорей всего. Оставшись вдовой, паутиха-стервоза слетала на берег, за подмогой. Над головой Дамки завертелось, загудело с десятком истребителей. «У-у, контрики! Чего доброго, цапнет который!»

Дамка хватанул заводной шнурок. Мотор «не взял», пукнул, ху!нул, выбросил дымок. С третьего или четвертого дерга «схватил», понесло. Дамка за борт лодки поймался — хватит, вываливался уж, ладно, пароход шел, спасательный круг бросил. Вынули Дамку багром из воды матросы да еще пьяным наполнили. И распотешил же он тогда пароходный народ!..

Хрипит, чадит перетруженный моторишко, форсунки в нем или гайки какие дребезжат. Возьмет и развалится! Что тогда? Но нет возможности щадить мотор, скорее требуется плеснуть на каменку — все в рыбаке спеклось. «Эх, «Вихрем» бы обзавестись! — вздыхал Дамка. — Да где его достанешь? «Вихрь» на магистрали продают, чтоб в воскресенье или в заслуженный отпуск трудящиеся могли мигом доставлять красоток на лоно природы и культурно с ними отдыхать».

Душа Дамки млеет от хороших предчувствий, всех ему людей прощать и любить хочется — он перед целью, и все ближе исполнение его вождельных желаний. Шел не теплоход, шел однопалубный кораблик с уютными, свежекрашенными надстройками, радио на нем играло. «Начальство! — уважительно подумал Дамка. — По службе куда-то катит. Можно и дерануть — не обеднеют...» С такой бодрой мыслью Дамка заглушил мотор, вынул из подтоварника стерлядку покрупней, встал во весь свой рост, да какой же у него рост-то! Взгромоздился на беседку, чтоб скорее заметили, и, взявши рыбку за хвост, замахал ею, закричал:

— Э-э, громадяне-товаришшы! К вам обращаюсь я, друзья мои, со стоном алчущим! Продаю-у-у, чуть не задаром отдаю-у! Э-э-эй!..

Стерлядь была живая, изгибалась, выбрасывала круглые хваткие губы, топорщилась жесткими плавниками, ровно бы желая улететь.

Дамку заметили, подали ему сигнал, не предусмотренный ни одним речным правилом, но все же на всех наших водах известный — этакое обволакивающее, ласковое подгребание под себя белым флажком. Сблизились, сошлись, будто при abordage: узкая старенькая лодка и беленький кораблик с черным корпусом и деловито-строгой обстановкой на палубе, даже радио не бодрилось, не орали по нему, как под топором. Лишь какая-то нерусская дамочка почти шепотом, на ушко жаловалась, умо-

ляла: «Кондуктор, кондуктор, продай мне билеэ-э-эт!» — «А хрена не хочешь? Билетов нэт!» — Дамка всякую песню, пословицу ли мгновенно переиначивал на свой лад. «Д-а, строгий, видать, народ едет, деловой. Геологи, не иначе, а то из министерства какого, с проверкой финансов и дисциплины труда». Дамка внутренне подобрался, построжал.

Лодку прикрепили к кормовому гаку кораблика, рыбака почтительно пригласили в салон. Там его несколько насторожили картинки, прибитые к стенам. На одной картинке катастрофа жизни изображена — завод с трубой на берегу, из него мазут потоком в реку хлещет, осетры, окуни, лещи, судаки кверху брюхом плавают, раззявили рты, выпускают дух. «Ат што делают, сукины дети!» — поскорбел лицом Дамка и обнаружил на соседней картинке своего брата самоловщика. Осетрина икрёной, судя по раздутой пузе, запоролся на крючьях и сдох, но как-то так сдох, что сохранил способность осуждающе смотреть на человека, скорчившегося в углу картинке. От пронзающего рыбьего взгляда перекосило рожу самоловщика, а рожато, рожа — не приведи господи! Брюзглявая, немытая, нос сизый, глаза мутные — приснится, веруешь — не веруешь, закрестишься. С другого боку картинке человек с остро сдвинутыми бровями, трезвый, на Черемисина, местного рыбинспектора, смахивающий, стоял во весь рост, будто на давнем военном плакате, тыкал пальцем прямо в Дамку: «Браконьер — враг природы! Браконьеру — бой!»

Рыбак пожегился и давай позанимательней чего отыскивать и меж этих и других картинок совсем нечаянно обнаружил в тетрадную страничку величиной застенчивый листок, на котором красным и синим написано: «Товарищи рыбаки! Не губите молодь промысловых рыб. Выпускайте ее без повреждений изо всех орудий лова в водоемы. Помните, молодь — основа ваших будущих уловов!» Душа Дамки стронулась с места, он заозирался, наткнулся взглядом на человека, свойски ему улыбающегося.

— Ну и как картинки?

— А мы молодь и не трогаем, для будущих оставляем уловов, мы ее бережем! Гай-ююю-гав! — вскинув узкое рыльце в потолок, обитый белым пластиком, залился рыбак. Человек доставал из стола какие-то бумаги, улыбаясь, все еще приветливо качал головой, но уже с грустинкой. «Может, у его жена померла или еще какое горе случилось, а я ржу!»

— Почему стерлядь? — все роясь в столе, поинтересовался незнакомец. Дамка надеялся: как водится, сперва разгонную поллитровку выставят, закуску вроде свежего, редкостного тут в эту пору огурца дадут, потом уж торг откроется. Но ничего не подавали. «Ах, вы так!..»

— Полторы рубли!

— Н-ну, любезный! Везде по рублю.

— Везде по рублю, а у нас полторы! И никаких гвоздей! — Дамка даже сам себе понравился, такой он боевой, такой непреклонный. Во как закалила характер река и природа! Этак

пойдет дальше дело, так он, пожалуй, возьмется свою бабу бить, а не она его. И тем стилижникам, что за шпионаж наказали, тоже по отдельности навешает.

— Это почему же у вас такая дороговизна?

— Моторы худы — раз! — загнул палец Дамка. — Бензин поди достань — два! Рыбнадзор пежит — три! Вино вздорожало — четыре! — И как только помянул про вино, вся спесь разом утратилась, понесло Дамку, затараторил он базарной торговкой, не соблюдая никакой солидности и пауз: — Ангарская пошла от жиру текет баба именниница магазин далеко торговаться недосуг в роте пересохло...

— Постой, постой! — взмолился пароходный человек, отыскав, наконец, ручку и открывая какую-то книжку. — Пулемет! Чкас! Прошил! Оглушил!..

— У Прасковьи чирьи, у Меланьи волдыри, если дороги стерлядки, хошь бери, хошь не бери! — подхватил к месту бойкую складуху Дамка. — Гай-юю-гав!..

— Соловей! Баскорбайник! — заново обмерил взглядом Дамку человек. — Ершов! Прямо Ершов!

Дамка вошел в интерес. Не тот ли это Ершов, что оргнабором в краевой конторе ведал? Солидный такой мужчина, некурящий. У него еще жена, не первая, вторая жена, на пристани кассиршей работает. Оказался однофамилец Ершов, автор «Конька-горбунка». Пошел разговор про оргнабор и другие, известные Дамке, организации, в ходе которого он все про свою жизнь рассказал и фамилию выболтнул. Народ в салон набился, слушает, похохатывает. Дамка и рад стараться, жалко ему, что ли, потешить людей, да и не терял он окончательно веру на предмет угощения.

Но приближались к Чуши, и гражданин, так загадочно улыбающийся, грозно хлопнул по столу:

— Хватит! Повеселились! — и обратился к молодому парню в речной форменке: — Сколько?

— Тридцать голов. Сорок семь килограммов.

— Та-ак! — Гражданин уставился на Дамку, точно генерал в погонах с красной окантовкой. — Нагреть бы тебя на полсотни за каждую голову и лодку изъять. Да за бесплатный спектакль скидку сделаем. На вот распишись. Жене на именины...

Дамка глянул на бумагу и подавился языком. Первый раз в жизни не мог найти слов. Пробовал рассмеяться, давая понять, что и сам он большой хохмач, шутку ценит и понимает, но вместо привычного «гай-юю-гав» получилось «уй-юю-у-у...»

— Товаришшы! Товаришшы! — лепетал он в полуобмороке, когда его ссаживали обратно в лодку: — У меня дед красный партизан и отец тоже... заслуженный!.. Товаришшы...

Кораблик, весело попукивая трубой, бросая кругляшки дыма, уходил на север. Лодку кружило течением, несло мимо Чуши, к Карасинке и пронесло вдаль, крутило в устье Сыма, когда востротелая жена Дамки, у которой когда именины, она и сама не помнила, уговорила одного рыбака догнать лодку и,

если не хватил супруга паралич, если нажрался он до потери руля и лежит на дне лодки, доставить его домой, тут уж она с ним сама разберется!..

Дамка был трезв и до того напуган, что, и доставленный в Чуш, все повторял оконтуженно: «Товаришшы! Товаришшы! У меня дед...»

Жена Дамки напугалась.

— О-ой! Изурочили! Озевали! — закричала. — Это все кержаки, кержаки — ушкуйники болотные!..

Всю ночь отваживалась с Дамкой жена, поила настоями десяти трав с семи полян. Однако никакие домашние и лесные зелья знахарей и даже святая вода желаемого действия не произвели. Больной перестал, правда, повторять насчет деда и заслуженного отца, но закатывал глаза, трудовой его язык не ворочался, голова не держалась, дело подвигалось к концу.

И тогда жену Дамки те же лесные люди — старообрядцы, которых она срамила, надоумили испытать еще одно, последнее средство: принести земли из бани, из-под крестом лежащих половиц, разболтать с вином и выпить, пусть даже насильственно — этак в тайге от веку вызывали в живом теле отвращение к мертвой земле. Дамку от банной грязи выворотило наизнанку. Отравленный лекарями, он уж послушно все исполнял, покорно принял и вареного молока с настоем полыни, уснул младенчески тихим сном и не крутился, как всегда, не ворочался целых двое суток.

Тем временем выяснилось: по Енисею делало пробный рейс судно краевой рыбинспекции, оборудованное по последнему слову техники так, что если б Дамка не полез самодуром в пасть «рыбхалеям», они бы все равно его изловили и ошмаргали как липку. Старуху «Куру» знали и по контуру и по дыму, даже по звуку двигателей в ночное время отличали. Теперь вот пойдешь поборись с «нимя». Жертву рыбнадзоровского террора жалели, успокаивали, пробовали напоить задарма, но жена отстояла Дамку от посягательств.

Скоро, однако, Дамка очухался, снова занялся тайным промыслом, пил, веселился, не хотел платить штраф. Вот и спроводили его в суд, вот и перекрестились наши пути в Енисейске и появилась у Дамки новая причина для веселых рассказов.

Выжидая время, в сонные предутренние часы Дамка томился бездельем, сдерживался изо всех сил, чтоб не податься в шпионский вояж. Ему хотелось выпить, он пробовал выведать у Акима, не разжился ли поллитровкой на «Бетушке», но тот цыкнул на него, и мы пошли от реки через большой и бедный огород, где только еще набирала цвет картошка, третьим листом топорщились огурцы в срубе парника, чуть мохнатилась морковная гряда, на обочинах жалась к жердям вялая крапива, шли медленно туда, где мучился умирающий брат — тех наркотиков, которые ему давали в местном медпункте, хватало уже только часа на два-три. Надо было думать и решать, где и как доставать лекарство? Дамка сразу из памяти исчез, забылся,

да они, такие люди, только и заметны, когда мельтешат перед глазами. Память не держит их, они улетучиваются, как дым от сырого костра, хотя и густой, удушливый, но скоротечный.

За жердями огорода, за старой дверцей, устало и серо светилась река, на дне которой лежали сотни и тысячи самоловов, сетей, подпусков, уд, и путались в них, секлись, метались в глубине проткнутые железом осетры, стерляди, таймени, сига, налимы, нельмы, и чем строже становился надзор, тем больше их умирало в глуши воды, и плыли они потом, изопрелые, безглазые, застегнутые по вздутному брюху пуговицами плащей, метались по волнам, растопырив грязью замытые крыла и рты, и как охотничьи люди, так и воровски на ней действующие браконьеры удрученно качали головами: «Что делается? Что делается? Гибнет народное добро!»

## У ЗОЛОТОЙ КАРГИ

Верстах в шести выше речки Опарихи в Енисей впадает еще более бесноватая, светлая и рыбная речка Сурниха, на которой когда-то и ограбили Колю с Акимом желны, сожрав у них червяков.

По водоразделу Сурнихи оканчивается горный перевал. Издалека видно бокастую горбину осередыша. Она круто обреза на водой, как бы даже отшатнулась от Енисея, вздыбилась, свалилась осыпным каменным мысом в Сурниху.

Закончившись на виду, перевал продолжается в воде, под ее толщей. Бурливо, раскатисто над ним течение Енисея. Подводные гряды здешние рыбаки называют каргами, на них и в них застревает много хламу, в хламе и камнях лепится всякая водяная козявка, ручейник, жук-водоплав и особенно много м рымша — любимой пищи осетра, стерляди да и всякой другой водяной твари.

От Сурнихи до Опарихи и ниже их по течению держится красная рыба, и поэтому в устье этих речек постоянно выются чушанские браконьеры, которые слово это хулительным не считают, даже наоборот, охотно им пользуются, заменив привычное слово — рыбаки. Должно быть, в чужом, инородном слове чудится людям какая-то таинственность и разжигает она в душе позыв на дела тоже таинственные и рискованные и вообще развигивает сметку, углубляет умственность и характер.

Законы и всякие новые всячии чушанцами воспринимаются с древней, мужицкой хитрецей — если закон обороняет от невзгод, помогает укрепиться материально, урвать на пропой, его охотно приемлют, если же закон суров и ущемляет в чем-то жителей поселка Чуш, они прикидываются отсталыми, спрыми, мы, мол, газетов не читаем, «живем в лесу, молимся колесу». Ну а если уж припрут к стенке и не отвертеться — начинается молчаливая, длительная осада, измором, тихим сапом чушанцы добиваются своего: что надо обойти — обойдут, чего захотят



добыть — добудут, кого надо выжить из поселка — выживут...

Вокруг костра сидят рыбаки, распутившись душой и телом перед нелегкой работой, ждут ночи, лениво перебрасываются фразами. В костер, помимо двух бревен, свалены крашенные двери с буквой Ж, старые клубные диваны, шкаф, дорожные тесины — полыхает высоко, жарко. Огонь потеревливает вечерним ветерком, гуляющим над рекою, лица жжет мечущимся пламенем, а спины холодит сквозящим из тайги свежаком и стылостью от грязно расползшейся хребтины льда, нагроможденной под урезом яра. Не верится, что около Москвы и по всей почти средней России свирепствует засуха, горят там леса, умирают травы и хлеба, обнажаются болотины, выступают и трескаются илистые донья озер и прудов, мелеют реки, стонет и мрет от зноя живность в полях и в лесу.

В этих местах затяжная весна, по причине которой совершился страшной силы ледоход. Матерый лед на реке удерживали холода, но в верховьях Енисея уже начался паводок. На Красноярской ГЭС сбросили излишки воды, волной подняло, сломало лед. Грозный, невиданный ледолом сворачивал все на своем пути, торосился в порогах и шиверах, спруживал реку, и, ошалелая, сбита с ходу, вода неудержимо катилась по логам и поймам, захлестывала прибрежные селения, нагромождала горы камешника, тащила лес, загороди, будки, хлам, сор. В лесах и особенно в низком, болотистом междуречье Оби и Енисея по сию пору лежат расквашенные снега. Разлив необозрим и непролазен. Напрел гнус.

Днем я заходил в прибрежную шарагу, продирался по Опарихе — разведать, как там хариус, поднялся ли? В одном месте, под выставившимся ивняком, заметил лужицу. Мне показалось, она покрыта плесневелой водой. Я наступил, провалился и упал — комар плотной завесой стоял, именно стоял в заветерс, не тот долгодумный российский комар, что сперва напоеется, накружится, затем лениво примется тебя кушать. Нет, этот, северный, сухобрюхий, глазу почти не заметный зверина набрасывается сразу, впивается без музыки во что придется, валит сохатого, доводит до отчаяния человека. В этих краях существовала когда-то самая страшная казнь — привязывать преступника, чаще богоотступника, в тайге — на съедение гнуса.

К рекам, на обдувные горные хребты давно пора выйти зверю, но половодье и снега отрезали все пути в пространственной, заболоченной тайге. Гнус приканчивает там беззащитных животных. Днями продрался к реке сохатый, перебрел протоку, лег на приверхе острова, на виду наезжей дикой артели известкарей. Схватив топоры, ломы, известкари подкрадывались к животному. Сохатый не поднимался, не убегал от них. Он смотрел на людей заплывшими гноем глазами. В сияющих ноздрях торчали кровяные пробки, уши тоже заткнуты сохлой кровью. Горбат, вислогуб, в клочьях свалывшейся сырой шерсти, зверь был отстраненно туп и ко всему безразличен, лишь тело его и сонно отмякшие глаза чувствовали освобождение от казни, ноздри

втягивали не пыльно сгущенный вихрь гнуса, а речной ветер, пробивающий и грязную шерсть, и поры толстой кожи. Только кончики ушей мелко-мелко, почти неприметно глазу трепетали, и по ним угадывалась способность большого костлявого тела воспринимать отраду жизни.

Захвостали, забили известкари сохатого — теперь с мясом живут, с обескровленным, полудохлым, а все же с мясом — довольно чебаками и окунем пробавляться.

На закате я выдернул в устье Опарихи штук двадцать хариусов. Аким искал в кустах имущество, лаялся. Попросил бы чего надо у рыбаков, посоветовал я. «Ё-ка-лэ-мэ-нэ!» — ударил себя в грудь Аким и махнул на меня рукой — что с ненормального возьмешь! Еще когда шли по реке, Аким обронил в воду коробок со спичками. Я предложил подвернуть к рыбакам. Он на меня взъелся: сунься, говорит, к лодке, да еще с незнакомым, да еще с пузатым! Я засмеялся, полагая, что он шутит. Но когда удил, мне мелким показался хариус в устье Опарихи, и я подался за поворот, обнаружил там бородатого мужика — сидит, корабликом хариусов ловит, мирный такой рыболов. По привычке городского, чересчур общительного человека я сунулся поговорить насчет клева, но из кустов вывалился Аким и отдернул меня без всякой вежливости с берега.

— Ну сё ты везде суешься? — зашипел он. — Кержак рыбачит? Да? Харюзов ловит? Да? Ты и уши развесил! — Он смотрел на меня, как на первоклашку. — Два его брата в тальниках сохатых свежуют. Трех завалили, кровь выпускают — не текет. Нету крови. Комар высосал. Нисё-о-о-о. На пароходы продадут. Городские хоть сё слопают.

Аким нашел спички в железном коробке — коробок этот с выштампованной на нем Спасской башней я дарил когда-то Коле. Эх, Коля! Коля! Братан. Котел и ложки Аким не сумел пайти. Жарит хариусов на рожне, морду узкую от жара воротиг, от дыма щурится. Вкуснейшая штука — рёоа, жаренная на рожне, кто, конечно, умеет ее жарить, чтоб не сжечь хвоста и брюха, а спину рыбы не оставить сырой.

Возле костра собралось четверо ловцов — шел подозрительный катер, спугнул их с самоловов, вот они и валялись на камнях, пережидали. Пробовали забавляться хариусом, но припоздали, к ночи ближе стало морочно, упало давление воздуха, рыба перестала играть и кормиться, лишь таймень в залуке гонял по отмели чебаков, ахал хвостом всю ночь, будто из дробовика. Кержаки до глухого часа таились в кустах, в первовечернем, густом мороке, на двух лодках ушли к другому берегу Енисея, ткнулись в остров, затихли — прячут мясо в лед.

Опрятный, чисто выбритый рыбак, степенный в движениях, походке и разговоре, по фамилии Утробин, извлек краевую газету и от нечего делать стал читать вслух, бросая усмешливые взгляды на слушателей: «За последние годы многие браконьеры для большей свободы действия стали орудовать по ночам. Это в сильной мере осложнило работу рыбоохраны. Сейчас в

борьбу с ними вступили совершенные приборы ночного видения. Вскоре ими будут оснащены все мототеплоходы и катера Енисейрыбвода, радиус действия этих сложных оптических приборов достигает нескольких километров. Так что если ночной браконьер и уйдет от преследования, то внешний его вид, лицо, одежда, опознавательные знаки на моторке, марка мотора и другие подробности уже будут известны работникам рыбоохраны.

А уходят браконьеры довольно часто. Моторы у них обычно сильные, иногда даже по два на лодке. Попробуй догони!»

— Ехали на тройке — хрен догонишь! А вдали мелькало — хрен поймашь! — самодовольно сказал лежавший за костром мужик с яростным костлявым лицом и оловянного свечения взглядом. Он носил прозвище Командор и крутил роман с продавщицей Раюсей.

— Гай-ююю-гав! — залился, задержался ногами, вороша огонь, Дамка.

— Нэ перебивай! — приподнялся на локте закомлистый, грузный и отчего-то надменный мужик.

— «Теперь в этих случаях будут выручать приборы ночного видения, — продолжал читать Утробин, — а днем фоторужья, которые тоже появились на вооружении рыбоохраны. С каждым годом увеличиваются и транспортные средства Енисейрыбвода. После ледохода на Енисей и его притоки для иссечения патрульной службы вышли шестьдесят мощных мототеплоходов, четырнадцать катеров, тридцать пять моторок и более ста дюралюминиевых лодок. Весь флот приведен в полную боевую готовность. Врагам природы не будет никакой пощады!»

Неторопливо свернув газету, рыбак убрал ее в боковой карман пиджака. Воцарилось глубокое молчание.

— Гоняют, как зайцей, — сказал Дамка, который не выдерживал молчания больше минуты.

— Паразитство! — громко выругался Командор, и взгляд его совсем затяжелел. — «Флот приведен в боевую готовность!..» — почему-то шамкая, передразнил он. — Атомную бомбу изладить на нас еще не додули!..

— Н-да-а-а! Век рыбачили, век рыбы хватало! Ныне губят ворохами, собирают крохами... Э-эх, хэ-хэ-э-э-э! Бросать всю эту волюнку надо, на юг подаваться к фруктам. Чё мы тут без рыбалки, без тайги? — спокойно включился в беседу Утробин, хотя говорил он вроде бы всем и для всех, но я-то чувствовал — до моего сведения доводятся соображения.

— Контора пышэ, бухгалтер деньги выдае! — махнул рукой грузный мужик и, распускаясь большим своим телом и напрягшимся было нутром, начал укладываться возле огня, хрустел камнями, вдавливая их боком и локтями в супесь.

— Это сто за ружье тако? — подал голос Аким. В сложных оптических приборах он не разбирался, зато привычное слово «ружье» на него подействовало крепко.

— Такое! — вскинулся Командор. — Направят на тебя и пронзят!

— Не мают права! — завозился на камешнике и подал голос здоровенный мужик.

— Выживают с реки, с леса! Скоро со свету сживут!..

Разговор возбуждался, переходил в спор, сыпались матюки. А я все пристальней вглядывался в публику, собравшуюся у костра, стараясь ее понять, запомнить, разобраться в ней.

Перво-наперво бросался в глаза Командор, которого я видел на реке еще в прошлый свой приезд. Фамилия его тоже Утробин — растрогавшаяся по Енисею, он приходился братом тому рыбаку, который только что читал газету, но решительно ни в чем — ни в облике, ни в характере с ним не совпадал. Когда-то, какими-то ветрами занесло на Енисей уроженца горного Кавказа, и вот из колена в колено выкукливался или штамповался тот неведомый джигит и шествовал в будущее, стойко сохраняя свой яростный облик. От залетной кавказской птицы, скорее всего от беглого чеченца приросла веточка к роду Утробиных — у Командора и другое прозвище есть — чеченец. Весь из мускулов и костей, резко, по отдельности везде выступающих, брови в два пальца шириной, черно прилепленные на крутые бугры лба, срослись над переносицей. Из-под бровей с постоянным напряжением и вызовом сверкали резкие глаза, но неухоженный курчавый волос, клубящийся на голове Командора, и чуть размазанные губы, видать, от матери доставшиеся чеченцу, вялые и с лицом его не совпадающие, смягчали облик клешнястого, порывистого человека. Он не говорил, он выкрикивал слова и при этом сек собеседника молнией взгляда, и может, от дикого вида его или из-за трубки, а то и от должности — он и на самом деле плавал командиром стотонной совхозной самоходки, вспоминался певец пиратов, флибустьеров и прочей шоблы: «Стоит он высокий, как дуб, печесаны рыжие баки, и трубку не вырвать из зуб, как кость у голодной собаки!..»

Вечером, когда лодка Командора ткнулась в Опариху и, подернув ее, он отправился к костру, я увидел мокрый мешок на подтоварнике, в нем скреблись друг о дружку стерляди, все в лодке было разбросано, склизко, необходимо, на корме к беседке прислонено ружье со стволами, окрапленными ржавчиной. Грех большой трогать чужое ружье, но я не удержался, открыл его, вынул патрон — на меня из медного ободка гильзы отлитым на фабрике зраком смотрела свищовая пуля. «Для чего ж в тихую летнюю пору с ружьем-то?» — заинтересовался я, вернувшись к костру. Командор дернулся, резанул меня взглядом и тут же заскучал.

— Да мало ли? — молвил он, зсвая. — Арестант набегит... Уточка налетит...

— На яйца уточка садится.

— Это у вас там она садится, а мы ей тут садиться не даем, у нас, в стране вечнозеленых помидор и непуганых браконьеров...

— Гай-ююю-гав! — угодливо залился, задергался Дамка. И остальные рыбки откровенно надо мной посмеялись. Аким, улучив момент, снова зашипел на меня:

— Чё ты на их залупаешься?.. Мотри!..

Командор свалился на спину, закинул руки за голову, недвижно уперся взглядом в небо — гложет Командора горе. Сильный, независимый, он не признавал его, не ждал, не думал о нем, и потому оно обрушилось на него врасплох.

Прошлым летом, в эту же пору, в прозрачный и мягкий день Командор вышел на самолосы. Ветерком чуть морщило воду, но тут же все успокаивалось. Енисей, входящий в межень, уработавшийся, наревевшийся за весну, погулявший во хмелю половодья, довольный собою, убаюканный глубокой силою, широтой и волею, сиял под солнцем. С берега, из лесов, дымчато мреющих вдаль, наносило парким духом болот, холодком последнего снега, в самой уж глухой глуши дотаивающего. Тлен прошлогодней травы, закисающих болот и умершей хвои плотно прикрывало ароматами новоцветья. На смену сыплющимся на угреве жаркам, свернувшейся медунице слепило золотом куро-слепа, по оподолью кустов и каменных гряд шел в дудку де-дюльник — так в здеших местах по-детски ласково называли медвежьё пучку. Воздух что карамелька. Накатывая с берегов, он обволакивал тело под рубахой, приятно его молодил, наполнял радостной истомой, позывал к ленивым и щекотным воспоминаниям: местная белотелая красавица, подсеченная взглядом чеченца, дула когда-то припухшими губами ему на ноги — сдуру опрокинул ведро с ухой. Теперь «красавица» «дует» его мужицкими матюками. Но что было, то было: сердце, ломающее жженем, отходило от слабого бабьего дыха, опадал жар снаружи, возгорался внутри и, невзирая на боль, хотелось сгрести в беремья молодую жену и чего-нибудь с ней сотворить...

А люби меня, детка,  
Покуль я на воле-э-э-э,  
Покуль я на воле-е,  
Я тво-о-о-ой!..—

затянул Командор, довольный тем, что восток такой сладкий подувает, что телу и душе под рубахой хорошо, что краевое рыбнадзорское судно «Кура» укатило в низовья Енисея, вода вы-свстляется, теплеет, стерлядь начинает идти к каргам, а тут ей для забавы самолосчики-красавчики. Играй, дурочка, играй в жизни все с игры начинается!..

Умеет ли плакать рыба? Кто ж узнает? Она в воде ходит, и заплачет, так мокро! не видно, кричать она не умеет — это точно! Если б умела, весь Енисей, да что там Енисей, все реки и моря ревмя ревели б. Природа, она ловкая, все и всем распределила по делу: кому выть-завывать, кому молча жить и умирать. Поиграет крючочками-пробочками стерлядочка, гоп за бочок — и в мешочек! Ребятишкам на молочишко, дочке туфли к выпуску. Дочка — слабость Командора. Все лучшее с лица папы позаимствовала: черные лихие брови; кучерявые темные волосы, пронзительно-острые глаза с диковатым отцовским блеском, а от матери — северную белизну тела, крутую шею, алый рот



лом». «Может, выпить для успокоения и полной улады сердца? Краснуха же прокисает!»

Как ни зырила, как ни шарила по карманам жена, он все же трояк от нее утаил. «Стро-о-огая баба, зараза! У ей шибко не разгуляешься. Но с нашим братом иначе и нельзя! Вон в поселке одном, рассказывают, мужик с бабой как взялись, так все и пропили: и дом, и корову, и лодку с мотором, ребятшек по миру пустили. Мужик мешок картошек на семена за десятку купил, баба за пятерку его загнала, бутылку принесла. Вместе выпили — мужик бабу бить. Бьет и плачет! Бьет и плачет! Потом они вместе плакали. Картина! Потом они в алкоголичку подались. Моя туда же, алкоголичкой страшает. Люта баба, люта! Ну да ведь и мужичок ей достался! Олутеешь с ним!.. Х-х-хмуриться не надо, Лада! Лы-лучше «Солнцедару» жажнем!..» — Командор захлестнул на уключину тетиву, подався на нос лодки, к багажнику, распиная на стороны рыб, банки, барахло всякое. «Солнцедар» лил в рот прямо из горлышка. Есть кружка, котел, ложка — все есть, он рыбак основательный, по из горла как-то удалее пьется, может, и похабнее? Вино без задержки катилось по книшкам, током пробивало все члены и спутанные провода жил.

Выпил — опять за дело, бодрее на душе стало, работа спорится. Оно, вино-то, хоть и зараза, конечно, однако ж сила в нем содержится могучая. А кругом благодать! Берега по ту и по другую сторону реки зелены, вода вся в солнечных крошках, пароход или костерок вдаль дымится, чайки летают. Вот она, радость. Вот она, жизнь! Нет, не понимал он и никогда не поймет городскую рвань: живи от гудка до гудка, харч казенный, за все плати...

Стоп! Что такое?!

Командор обеспокоенно вытянул шею. Ну точно, лодка катит, нос приподнят, волна крутая по берегу валит. За мысами кроется лодка, жметесь к приплескам, в тень от лесов. Значит, отремонтировал рыбинспектор технику, на службу вышел! «У-у, зар-паза! Все, все как есть вокруг создано для удовольствия жизни, так нă тебе: то комар, то мошка, то рыбабздор — чтоб не забывался человечиска, помнил о каре божьей!..»

Командор наклонил голову, будто, поддеть кого на кумпол собирался, круче обозначилась на его лице всякая кость. Глаза, и без того холодные, вовсе остыли, зубы до хруста стиснулись. Недопитую бутылку он ткнул в багажник, давай скорее работу делать. Настроенные покоя, благодушные, остатки его еще крутились внутри, но вечная тревога, беспокойство и злость спешно занимали в душе свои привычные места, теснились во тьме ее. Однако Командор перебирался по хребтовине самолета без паники, хотя и спешно. Середину самолета прошел, крючки не очень забиты, пожалуй, успеет ловушку досмотреть и обиходить. Работает Командор и в то же время следит за лодкой рыбнадзора, мощности свои учитывает, запас горючего: бачок полный, могор новый, в лодке один, а, тех, халеев-то — так по-хантыйски

рыбачьих разбойников зовут — в самое место — двое: рыбн-спектор Семен всегда с сынишкой на поиск выходит. Натаски-вает иль боится? Натаскивает! Не шибко пугливый Семен, ина-че давно б уж помер.

И-ехали на тройке — хрен догонишь!  
А вдали мелькало — хрен поймашь! —

рычал себе под нос Командор со злорадной дрожью, не по-зволяя, однако, особо отвлекаться: допусти оплошность — изу-вечишься, руку насквозь просадишь крючком — Семен боль-ничные оплачивай! Лодки сближались. Рыбнадзорская дюраль-ка шла наискосок от берега. Мотор на ней поношен, стар, но пел нынче ровно, бодро, струил серенький дымок за кормой. Переорали мотор, подлатали, рыбхален. Командор озабеспоко-ился — не близко ль надзорную власть подпустил? «А-а, знай наших! Счас оне увидят фокус-мокус! Счас я им покажу земле-вращение!..»

Бутылка, которая недопитой осталась, за сегодняшний день — третья. Утром с соседом пол-литра белой выпили, закрасив ее крепкой заваркой. Так вот за столом сидели чинно-важно, по-пивали «чаек». Баба пришла, носом повела — нос у ей, что у сибирской лайки-бельчатницы — верхом берет! «Чё-то рожи красны?» Тут что главное? Скорей кати на нее бочку, ошелом-ляй! «Ты поработай с мое на воде, на ветру, дак у тя не токо рожа красна будет!..» Когда за дровами ходил, из поленицы вынул утаенный на всякий пожарный случай «Вермут», и его «угovorили» до капли, наголо. Не пробрало. Пожрать ладом так и не пожрал, чего-то хватанул на ходу, картошек холодных вроде, прихмелел, вот и охватило удайство, захотелось Коман-дору на глазах рыбхалеев допить «Солнцедар»! Запрокинуть го-лову и, побулькивая горлом, выпятив тощее брюхо, изобразить артиста. Однако ж тут не театр, тут тебе такой аплодисмент дадут — не прочихаешься. Нынешний браконьершишко что сапер на войне. Только и разницы меж сапером и браконьером, что тому медаль дадут, а этому штраф либо срок.

Шлеп стерлядку за борт — снулая, в слизи уж вся на пос-леднем крючке болталась, прыг на корму, цап за шнур и... «Выр-ручай, отечественная техника! Уноси! Рыбхалеп рядом!» С пер-вого рывка мотор сыто уркнул и забормотал под кормой. «Все-таки и мы, когда захочем, умеем кой-что делать», — мельком отметил Командор. Мысль была приятная, утешающая, она на-чала было развиваться в том направлении, что если-де нам мо-билизоваться внутренне и внешне, не филонить, работать всем дружно, то, пожалуй, этих самых капиталистов-империалистов не только по количеству, но и по качеству уделаем, как мелких. Однако завершить глубокоматериалистическую мысль недостало времени — Семен привстал с беседки, рукой движения делает такие, будто огонек гасит иль паута ловит — велит глушить мотор.

«Игровитый ты мужичок, Семен, игровитый! Ну-к чё ж, по-



играем!» — Командор вертанул ручку газа, мотор взревел, лодка вздрогнула, понеслась не по воде, по гладкому стеклу-зеркалу, и казалось, вот-вот раскатится так, что оторвется от воды и взмоет в небо. Будто специально для браконьеров мотор «Вихрь» изобретен! Названо — что влито!

Увеличились скорости, сократилось время. Подумать только: совсем ведь недавно на шестах да на лопашках скреблись. Теперь накоротке вечером выскочишь на реку, тихиходных промысловиков обойдешь, под носом у них рыбку выгребешь и быстро смотаешься. На душе праздник, в кармане звон, не жизнь — малина! Спасибо за такой мотор умному человеку! Не зря на инженера обучался. Выпить бы с ним, ведро выставил бы — не жалко.

И-ехали на тройке, та-та-та-та,  
А вдали мелькало, тир-тар-р-рам!..

Несется Командор по речному простору, с ветерком несется, душа поет, удалую полнится, тело, слитое с мотором, спружинено, энергией переполнено, кровь кипит от напряжения, нутро будоражится — смущает его недопитый «Солнцедар». «Ну ничего, ничего. Потом в честь победы его заглотаем!»

Ревут натуженно два мотора на реке, прут лодки в кильватер, со стороны посмотреть — лихачи вперегонки гоняют. Чужанцы обожают этукую забаву. Тонут иной раз, но какое соревнование без риска.

Никаких знаков отличия нет на рыбинспекторской лодке, лишь номер, да еще вмятина на правой скуле и бордовая полоса вдоль бортов — у пожарников выпросил краски начальничек, самому-то ничего не выдают, кроме грозных распоряжений, квитанций на штрафы да зарплатишку, какую Командор при удаче за один улов берет. А вот поди ж ты, сколько лет не сходит с должности Семен! Борьба его захватила, чё ли? Может, что другое? Может, смысл жизни у него в том, чтоб беречь речку, блюсти закон, заражать — тьфу, слово-то какое поганое! а его, такое слово, по радио говорят, — заражать, значит, своим примером ребятишек! Им ведь дальше жить, ребятишкам-то. Н-да-а-а, свой человек Семен, но непостижимый. На берегу человек как человек, поговорит, поспорит когда. Выпить, правда, не соглашается — резонно, конечно: выпивка — покупка на корню. Но нету вьедливей, прицепистой, настырней типа, как Семен, на реке. Тут он со всеми темными добытчиками нарастотур. Своего родича Кузьму Куклина, царство ему небесное, однова зашучил у Золотой карги. Старичок улыбается, десенки дитячий приветно оголяет, шебаршит беззубо: «Шурин, шурин...», папиросочку из пачки услужливо вытряхивает: «Шурин, шурин...» Семен папироску обратно в пачку ногтем защелкнул да как-как врезал Куклину на всю полусотскую! Закачался Куклин: «Курва ты, — говорит, — не шурин!..»

Да-а, криво не право. Напились тогда, базланили, и, конечно, пуще всех Куклин: «Убить йюду, сничтожить!» Но просидел

лись, пораскинули умом: нет, не стоит. Во-первых: все привычки Семена, всю его, так сказать, нутренность насквозь изучили. Нового же инспектора пришлют — изучай снова, приноравливайся к нему, а вдруг он еще лютей окажется? Семен прижимает, конечно, штрафует, невзирая на лица и ранги, однако сам живет и другим, как говорится, жить дает — то у него лодочный мотор забарахлит, то в собственной груди мотор гайки посрывает, либо раненая башка заболит. Глядишь, сенокос прищел, там в огороде убирать надо, опять же заседает в поссовсете — депутат; пль на совещание районное, когда и на краевое укатит, решая, как кого ловить.

Словом, ничего мужик, хоть и зараза.

Во-вторых: Семен верток, бесстрашен, стреляет куда тебе с добром, на дармовую выпивку не идет — голыми руками его не возьмешь, но и он изнемог, взвыл однажды на собрание: «На фронте так не измаялся, не устал, как с вами! Будь он, этот прощелыжный люд, проклятый!..»

Да-а, конечно, тут, в мизгиревом гнезде, не дремай, тут вой-на денно и ночью идет, палец в рот положишь — руку отхватят!

В-третьих: вот в-третьих-то и весь гвоздь — за убийство рыб-инспектора могут и к стенке прислонить, либо такой срок отва-лят, что мертвому завидовать станешь...

«Ой, в лодке-то, кажись, не сын Семена? Нет, не сын! Тот еще тонок шей и хоть волосенки тоже по моде, как дьякон, от-пустил, да парень все еще в ем не окуклился». Командор при-поднялся с беседки, сощурился, будто целясь, заострил зре-ние — за мотором, подавшись распахнутой грудью вперед, си-дел в синем выцветшем кителе слишком уж непреклонный с ви-ду мужчина. Ближе к носу лодки, на скамье Семен в шапке горбился. Хоть летом, хоть зимой всегда он в шапке — голова контужена и пробита, от пластинки, вставленной в нее, мерзнет. «Значит, отвоевался Семен! Сменщика с участием знакомит. Я на глаза попался ненароком. — Тень сочувствия или жалости тро-нула сердце Командора: — Семен, Семен! Чё ты заработал? Каку награду? Гонялся дни и ночи по реке за такими вот, как я, ухалями, головой рисковал, здоровьишко последнее ухлопал, нервы в клочья испластал. Глянь, по всему поселку дома по-настроены, лодки «Вихрями» звенят, молодцы-удальцы вино по-пивают, песни попевают, а ты сдашь казенную лодку и на реку нё на чем выехать, чебаков закидушками таскать с ребятишками станешь. Умная голова твоя, Семен, да дураку досталась. И-эх, повеселить тебя, что ли, на прощанье?»

Командор прибавил газу, зажал под мышкой ручку мотора, прикурил от пучка спичек и обернулся, уверенный, что рыб-инспекторская дюралька осталась за горбиной густолесого острова и можно, обогнув его, выключить мотор, сплыть протокой и спря-таться в заливе либо мотануть в поселок. Но лодка с бордовой ко-лосой по обносу, не слышная из-за гудящего за спиной «Вих-ря», тянулась вослед, отбрасывая на стороны прозрачные заво-локи, оставляя легкую тень за кормой. Командор прикинул рас-

стояние, на остров глянул, и сигаретка выпала изо рта. Он ее попытался поймать, но только подшиб рукой — его гонят километров тридцать! У него и горючее в бачке скоро кончится, а запасная канистра в багажнике, да и бензина в ней литров пять. Надеялся к самолетам «сбегать», пока самоходка тесом загружается. «Возни Семену с мотором не день, не два», — талдычили знатоки, а у него помощник объявился! «Преемник! Мать-расперемать!..» Рекой да еще вверх по течению не уйти. К берегу прибываться, в лес бежать? А мотор? А лодка? А стерлядь? А недопитый «Солнцедар»? Да и узнают по лодке, докопаются, с самоходки спешут, штаны спустят... Н-ну-у не-е-эт! Не зря его дочка Командором нарекла! Командор, если он воистину Командор, изловить себя не даст, крушения не допустит! Хищно наклонившись клювом носа встречь лесному ветерку, Командор развернул лодку, заложив такой вираж, что дюралька легла на борт. Оставив позади будто мелом очерченный полукруг, Командор устремился вниз по течению. Лодка прыгнула на круглой волне, ахнула обвалью носом, раскрошила белую полосу в сыпучие брызги. Командор жадно облизнул с губ мокро и, нахально скаля зубы, пошел прямо на дюральку рыбинспекторов. Он пронесся так близко, что различил недоумение на лицах преследователей. «Ничего сменщик у Семена, ладно скроен и крепко, как говорится, сшит! Черен, цыганист, лешачьи глазищи в туго налитых мешках глазниц. Да-а, это тебе не хроменький Семен с пробитой черепушкой! С этим врукопашную придется, может, и стреляться не миновать...»

И только так подумал Командор, сзади бухнуло, нет, сперва воду вспороло рядом с лодкой, потом уж бухнуло. «Стреляют!» — Командор утянул голову в плечи, тоска, не боязнь, не страх, а вот именно тоска охватила его, сжала чего-то там, внутри, непривычной болью или тошнотой — вот когда резиновую камеру надуваешь и она фуганет обратно — точно так же противно бывает внутри, тошно, вроде бы резиновая пыль там все облепит и не смывается слюной. На Обском водохранилище, сказывал один отпускник, побывавший в Чуши, рыбинспекция не церемонится — хлопнет по корпусу лодки, пробьет ее — и шабаш — вынает за шкурку браконьерышку из воды, как цулика. «Неуж еще вдарят?» — Командор свел лопатки на спине — спина-то дверь, не промажешь! — безо всяких уже смешочков обернулся и возликовал — заглох мотор у рыбхалеев! Они тоже заложили лихо вираж, а моторчик-то и скисовал!..

Командор хукнул, кашлянул, и грянул на всю реку:

М-мы пой-едем, мы пом-чимся  
В надлежа-ашую зар-рю-у-у-у!..  
Я те Север подар-рю-у-у-у!..

Песню эту новую он слышал от дочки Тайки, она по радио; востроуха девка, ох востроуха! Только песня-то уж... Глупая, право, глупая! Как это Север подарю? Он что, поллитра? Рыбаха? Консерва? У Командора всегда так: чуть успокоится, на-

чинает думать на отвлеченные темы. Иначе тут с ума сойти можно при такой жизни. С одной стороны, работа ответственная, с другой стороны, баба преследует, выпить не дает, с третьей — эти вот, рыбаки всеякие.

Командор летел вниз по течению, в распахнутые врата реки, к тому самому Северу, который всем охотно дарили и в песнях, и в кино, и наяву, за подъемные деньги, да мало кто его брал. Наоборот, людишки, даже местные, коренные, снимались с насиженной земли, уезжали в тепло, к морю Черному и Азовскому, в Крым, в Молдавию, к вину дешевому, к телевизору поближе, от морозов, от рыбацких надзоров, от ахового снабжения, от бродяг-головорезов, от рвачей подальше. Берите Север, берите, если надо! Мы тут намерзли, наплакались, наскучались. «Вот вырастет дочка, выучится, определится к месту, я денег накоплю и тоже к ней уеду, — вдруг порешил Командор, — пусть другого дурака гоняют и стреляют...»

Между тем лодка рыбинспектора снова вклеилась в след дюралки Командора, бежит тебе терпеливо, и хотя мотор на ней старый, двое мужиков в лодке, но когда придет пора заправляться горючим, тут и выявится их верх, тут они его и зашучат. Им что? Они, не глуша мотора, бачок дополняют горючим и достанут его. Командор пихнул носком резинового сапога бачок — тяжел, еще поживем! Показался крутой мыс, весь в мелком камешнике. Над ним яр, издырявленный береговушкой. В яру ямины выбуханы — человек залезет. Местные собачонки навострились рыть землю, выцарапывать из норок яйца и птенцов береговушек. «Что в народе, то и в природе, — покачал головой Командор, — обратно борьба!..»

Птички густым комарьем клубились над рекой и заплесками. На мысу ребятишки закидушки сторожат — язь пошел. Костры горят, картошки в углях пекутся. Парнишки в нарядных плавках, все справные, веселые, загореть когда-то успели, будто в саже, чертенята! Крепкие парнишки, вольные, гоняют друг дружку, горя не зная, камни в воду бросают, за лески закидушек держатся, рыбаку подсекают. И щипнула сердце Командора тихая зависть: «Вот бы всегда парнишкой быть! Ни тебе горя, ни печали, рыбачил бы, из рогатки пташку выцеливал, картошку печеную жрал...»

Заныло в брюхе. Проклятая житуха! Не помнит, когда lately вовремя ложился, когда нормально жрал, в кино ходил, жену в утеху обнимал. Ноги простужены, мозжат ночами, изжога мучает, из глаз метляки летят, и пожаловаться некому. Бодрясь, хохму, от ухорезов слышанную, повторяет: «Живешь — колотишься, грешнишь — торопишься, ешь — давишься — хрен когда поправишься!..» Оно и правда. Вином спасается. А что оно, вино-то? Бормотуха кислая, какое-то плодово-«выгодное», «Солнцедар» и вообще вредный — его бичи «менингитником» зовут, они, эти бродяги, все знают, сплошь землю исколесили. Иные институты, университеты прошли, грамотные!

Мыс Карасника с парнишками, с кострами, с собаками, всегда

возле них обретающимися, остался за поворотом. Вот-вот откроется устье Сыма — реки, из приобских болот и тайги текущей, в ней скроешься не только с лодкой, но и с пароходом, даже с целым караваном судов, при умении, конечно! — столько на этой пойменной реке островов, заостровов, висок, лайд, проток разных, рукавов, излучин и всякого добра. По левому берегу Сыма, в самом его устье поселок стоит под названием Кривляк. Хорошо стоит, в кедрачах, на высоком песчаном юру, солнцем озаренный с реки, тихим кедрачом от лесной стыни укрытый.

В тридцать втором году шел обоз с переселенцами. Вел их на север умный начальник, узрел это благодатное место, остановил обоз, велел строиться. Для начала мужики срубили барак, потом домишки в изгибе, среди кедрачей, объявились — так и возник на свете этот красивый поселок с нехитрым названием, с работающим дружным людом — час езды от Чуши, но словно из другого мира здесь народ вышел, и работает по-другому, и гостюется, и поножовщины здесь нету, и рвач не держится.

Там, где стоит Кривляк, под берегом проходит стрежь реки Сым. Большой кривуль надо загнуть, чтобы из Енисея угодить в борозду, версты на три, не меньше. Правой стороной уже не пройти. Дрогнула вода, пошла в «трубу», оголились узкие песчаные опрядыши. Малые косы и отмели еще под водой, но мутная вода, от волн, гуляющих по мелководью, значит, низка уже. «Обнеси, родимая!» — Командор погнал лодку полукругом, к Кривляку, и тут как тут выскочила рыбинспекторская дюралька из-за поворота, пошла наперерез. «Э-эх, дурак, дурак! — сочувственно качал головой Командор, думая о кормовом, — Семен прикемарил, должно быть, — изучи местность, идрав реки и всей природы, тогда уж носись сломя голову!»

Уркнул мотор вдогон шедшей дюральки. Снялся с беседки Семен, шатаясь поспешил на корму.

— Сели-запели! Что и требовалось доказать! — подвел итог своим действиям Командор. Сбросив газ, он поднялся с кормовой беседки, приложил руку козырьком ко лбу. Надзорная власть сидела на мели плотно. Поставив мотор на малые обороты, так, чтоб лодку не сносило и вперед она не бегла, Командор потянулся, передернул плечами — кость застоялась, хрустела. Размявшись, он достал из багажника недопитую бутылку, разболтал ее, зычно крикнул: «Будем здоровы, товарищцы!» — и опорожнил досуха. Бросив бутылку в сторону рыбинспекторской лодки, он еще крикнул: «Двенадцать коп стоит!» и, решив, что такого куража недостаточно, выбрал самую крупную стерлядь, помахал ею, притопывая и напевая: «А-а-ах ты, м-моя дор-рога-а-ая, а-а-ах ты, з-зо-ло-та-ая!» Торжество быстро его утомило, погоня напряженной была, да и встал ни свет ни заря, вино, опять же, некачественное пил — нудит под ложечкой, правда что «менингитник»...

Новый рыбинспектор бродил в высоких сапогах, а бродить на опечках вязко. Семен грозил Командору кулаком и плевал-

ся, что-то крича. Скука! Командор врубил скорость и повел лодку в мутную, все еще вороющую пеня, коряги, бревна, неспокойную реку Сым, почти не населенную, вольную. По ней тайги, рыбы, дичи столько, что бери — не переберешь. Да некому брать. Разве что браконьерышки осенями запрут в глубинную таежную дебри, из которой и сейчас еще тянуло холодом и мшелой, седой дикостью. Случалось, за лето так и не успевал там растаять снег, раскисший, желтый, он лежал, толсто усыпанный хвоей, крылатыми семенами, чешуей шишек. Затем, где-то уж в августе его схватывало иньями, крепило первыми заморозками, и далеко до покрова на леденцовую хрусть ложилась новина. По ней печатается всякий след, как на листе бумаги. Соболишко густо по глухому Сыму ведется, скоро приспест, пора готовиться к пушной охоте — надо прихватить пяток-другой соболишек на шапку и воротник Тайке, десятилетку закончит, в институт определится — девка видная, что и говорить. При соболях-то, глядишь, кандидата наук какого-нибудь свалит!..

О рыбинспекторах, севших на мель, Командор давно думать забыл. Его обуревали иные заботы. Но что-то скоблило в груди, покусывало под сосцом с самого утра, и, как он ни отгонял тревогу, она снова и снова подступала, и только схлынуло напряжение погони, прямо-таки закоптила нутро. Как и всякий таежник, он не только доверялся предчувствиям, он их растревлял в себе внешним безразличием, дурашливостью, прикидываясь лихачом, которому все трын-трава.

Верстах в пяти от устья Сыма он зашел в обмелевшую лайду, намазался репудином и, бросив резиновый дождевик на решетку, упал, зарывшись башкой в воняющую маслом и рыбой телогрейку, надеясь, что сон подавит всякую блажь и тревогу. Спал провально. Проснулся немного очумелый; во рту связало горечью и вонью. Обмакнув голову за борт, он поболтал ею, будто медведь возле пчелиного улья, прополоскал рот, выплюнул муть за борт и, помыв в воде старую банку, зачерпнул холодянки, напил. Посвежело нутро, ум посвежел, сразу вспомнилось про самоходку — нагрузили небось, а капитан дрыхнет.

Вытолкав лодку из лайды, обмелевшей на спайке с рекой, он выгрёбся из навеса вербача на течение, хотел дернуть заводной шнур, но отчего-то раздумал и поплыл по течению, наслаждаясь предвечерней тишью лесов, редким вскриком птиц. Почему-то грустно снова стало, жалко себя сделалось. Вспомнил: во сне лодка привиделась, опрокинулась, затонула как будто? Уж не хворь ли подкралась? Погибельная лодка к болезни снится. Верь — не верь, а иной раз стариковская брехня сбывается. Не, рак ли? Что-то нудит, нудит под ложечкой. Грызет, точит неслышно, щупальца по телу распускает. Хватишься, уж весь ими опутан...

— Тыфу! — плюнул Командор за борт. — Допился! «День меркнет ночью, человек — печалью», — с суеверной елейностью пропел он про себя, отгоняя мрачные думы. Знал он, что, если дать им себя одолеть, тогда все, тогда как думалось, так и вый-

дет. А надо еще дочь в люди вывести — у нее сегодня выпускной утренник в школе, формочку шерстяную наденет, в кул-ри белый бант вплетет, чулочки капроновые натянет да как пойд-дет!.. Куда там приедем стилижкам! Не нарядом — крепкой си-бирской натурой их расшибает Тайка. От любви семейной, от хорошего питания, от избалованности ль к пятнадцати годам у нее все уж соком налилось, округляться под платьишком нача-ло, и однажды — это в восьмом-то классе! — он у нее записоч-ку в столе нашел — крючки искал, царап — порошок какой-то! Похолодел. Хворает девка, порошки тайно пьет, чтобы его, отца, не пугать. Развернул — записочка! В стихах! «Я помню чудное мгновенье — передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как Гений чистой красоты!»

У Командора аж лоб испариной покрылся: кто же в Чуши по стихам такой мастак? Тужился, тужился, не вспомнил, не знает современную молодежь. Он тогда в обход пошел: по радио, мол, декламировали что-то насчет мимолетного виденья. Дочка бац ему по рогам: «Стыдно чужие письма читать! Некультурность! Закоснелость! Старорежимные веянья! А стихи эти печальные на-писал Александр Сергеевич Пушкин! Это-то хотя бы надо пом-нить!..»

Командор души не чаял в дочери, баловал ее, да и она к не-му приветна. Есть у него еще дочь и сын, но словно бы чужие, те дети ближе к матери, и, если прямо сказать, в доме у них два дома, мостиком меж которых умница Тайка. Придет он ког-да пьяный, ну другой раз забушует — не без того. Тайка как топнет ножкой: «Командор! Право руля!» — это, значит, на бо-ковую. И он готов. Злой, тяжелый, неуживчивый, перед нею что ребяенок, не может перечить, и все тут. Понарошке руку к пьяной башке приложит: «И-есть пр-раво руля!» — и бухнется, ноги в дырявых носках кверху. Все кругом готовы его в ступе истолочь, а Тайка говорит ему, как больному, чтоб успокоился, возьмется читать «Конька-горбунка» — где-то достала книжку, с картинками. Он того «Конька» почти наизусть запомнил: «Бра-тья сеяли пшеницу и возили в град-столицу. Знать, столица та была недалеко от села...»

: Хорошо, просто здорово и необходимо знать человеку, что дома его ждут и любят. Другой раз поздней осенней ночью за-явится мокрый, промерзший, как пес, сапоги в сенках снимет, чтоб не бухать по половицам, на тырлах к русской печи кра-дется, а она, Тайка, из своей комнатухи голос подаст: «Это, ты, Командор?» — «Я, я, спи!» — «Ну как на вахте?» — «Порядок на вахте».

Чем старше становилась дочка, тем реже зверел Командор пьяный, старался при ней не лаяться по-черному и вообще с го-дами вроде как отмяк душою.

Жену он заметил еще с реки, возле своей рыбацкой будки. Стояла какая-то вся серая, и не сразу догадался — в плаще се-ром она. «Чё это она явилась на берег?» — встревожился Ко-мандор и, забыв сбросить газ, со всего хода грохнулся лодкой

в берег. Жена медленно, вязко подошла к лодке и, остановившись в отдалении, глухо произнесла:

— Носишься по реке, голову сломить не можешь...

— Чё? Чё ты?

— Беда у нас. Тайку задавило...

Дальше он уже ничего не помнил: как выскочил из лодки, как бежал домой, одолев береговой крутик в несколько прыжков. Ребятишки — сын и дочка — прятались за баней, в сенках толпился народ, возле кровати стоял старший брат Зиновий. Он отстранился, увидев Командора. Застыл среди горницы Командор, глядя на дочку, лежавшую на чистом покрывале, в измятой, рваной и грязной школьной форме — вся какая-то скомканная, будто белогрудка-береговушка из рогатки подшибленная.

— Дочка! Ты чё? Тай! Ты давай, брат, давай!.. — бодренько воскликнул Командор. — Я вот приплыл. На вахте... порядок...

Жена с маху упала на дочку, загребла ее под себя. «Экая копна! Придавила...» — сморщился Командор.

— Доченька! Скажи что-нибудь! Скажи родителям своим... Скажи...

Командор зарычал, отбросил жену, схватил дочку на руки, затряс, забайкал неумело — он их, маленьких-то ребят, и Тайку тоже, знать не знал, никогда с ними не водился, матерно ругал, если они орали, марались и болели. И вот, вытирая мазутной ладонью кровь с лица и шеи Тайки, поднимал ее упавшую птичью головку с косою, болтающуюся вялым, перешибленным пером...

— Чё делаешь-то? Спятил! — очурал его старший брат. Отбрав Тайку, он опустил ее твердое тело на кровать, сложил покорные руки на груди, незаметно перекрестился, глядя на богатый ковер, выменянный на пароходе за рыбу. — Совсем олешичились! Возле покойника дикуем...

— Кто? Где? — услышав про покойника, захрипел Командор и бросился в кладовку, выхватил ружье, патронташ. На нем повисли брат, жена, соседи. Всех разбросал. Бегал по поселку, искал погубителя.

По поселку Чуш проходит в день не больше восьми машин, но они дают кур, свиней, собак и людей, не меньше, чем сотни автомобилей в ином городе, — шоферня на них всегда пьяная. Нажравшись бормотухи, шофер, вывозивший с берега дрова, уснул за рулем, вылетел на тротуар и сбил двух школьников, возвращавшихся с утренника. Выпускной вечер директриса школы проводить запретила — наезжий люд набивается в школу, приносит вино и нехорошо воздействует в моральном смысле на местное юношество. Тайку ударило о столбик ограды затылком, и она скончалась в медпункте. Подружку ее искалечило. Пако-стливый, как кошка, и трусливый как заяц, знающий нравы родного поселка шофер спрятался за прудом, в хламных кустах, спал в ожидании милиции и следователя, не чуя оводов, облепивших его рожу.



Не найдя шофера, распалив патроны наудалую, в лес, Командор наладился топиться, бросил с дебаркадера в воду ружье, сапоги, порвал рубаху и прыгнул в Енисей. Едва его вынули — отбивался. До потери сознания поили водкой, судороги с ним начались, пена ртом пошла — пал неистовый чеченец, погас, обмяк, сварился. На похоронах не плакал, не голосил, стоял все-му покорный и трезвый, в ненадеванном костюме, в модной мятой рубахе, не зная, что делать, куда себя девать.

Отходил Командор долго, трудно. В одиночестве и в горе не прильнул к семье, еще больше отдалился от нее, почти ненавидя младших своих ребят за то, что они, постылые, живут на свете, а Тайки нет. Дети, чувствуя злобу родителя, на глаза ему старались не попадаться.

Девочка, что угодила вместе с Тайкой под машину и осталась жива, хотя и ходила на костыле, тоже избегала встречи с Командором.

«Ты-то чего сторожишься?» — вызывал в себе чувство сострадания к девушке приветливо кивал ей головою Командор. Однако под спудом сознания давило, грызло: почему конопатая, редкозубая, с наземного цвета волосами девка жива, а Тайка-красавица погибла? Почему? От Тайки радость отцу была. От нее бы и дети здоровые да красивые пошли, от этой что уродится? Сор! Дамка еще один...

Так думать нельзя, увещевал себя Командор. Скрутит его за черные такие мысли судьба, покарает, но ничего с собою поделывать не мог. Неприязнь к людям, злоба на них заполнила все в нем, расползлась болезнью страшнее рака: он делал то, что было в его силах, — старался как можно реже и меньше бывать на людях, обитал в каюте самоходки, пьяный завывал, мочил слезами портрет дочери, муслил его распухшими губами, когда совхозную самоходку отправляли на зимний отстой, забирался в тайгу, на охоту, срубив на Сыме потайную избушку.

Жена Командора состарилась, сделалась скорбкой, бесстрашной, нападала на мужа: если б он не шляется, не пил, помогал бы растить и доглядывать детей — разве б не уберегли дочку?! Что с нее возьмешь! Она баба, женщина, хоть в крике забывается, отходит, облегчается ее изнывшая душа.

Но беда не дуда — поигравши не выкинешь. Так пусть и она тоже мучается, пусть у нее тоже не проходит чувство вины, не утишается боль.

У Командора, от роду ничем тяжело не болевшего, начало сдавать сердце, поднялось давление от бессонницы и головные боли раскраивали череп, непомерно тяжело ему стало носить свою душу, словно бы обвисла она и пригнетала Командора к земле, ниже, ниже, того и гляди вывалится, вся обугленная, ударится оземь, провалится в яму, где в кедровом струганом гробу лежит нарядно одетая, в кружевах, в бантах, в лаковых туфельках светлая девочка, не успевшая стать девушкой, — кровинка, ласточка, ягодка неспелая, загубил ее пропойный забулдыга, сухопутный браконьер.

## РЫБАК ГРОХОТАЛО

Рыбак Грохотало недвижимой глыбой лежал за жарко нагоревшим костром, сотрясая берег храпом, как будто из утробы в горло, из горла в утробу перекачивалась якорная цепь качаемого волнами корабля. Увидев впервые этого уворотня, я подивился его лицу. Гладкое, залуженное лицо было лунообразно, и, точно на луне, все предметы на нем смазаны: ни носа, ни глаз, ни бровей, лишь губки брусничного цвета и волосатая бородавка, которую угораздило поместиться на мясистом выпуклом лбу, издали похожая на ритуальное пятно, какое рисуют себе женщины страны Индии, бросались в глаза. При взгляде на этого окладистого, всегда почему-то насупленного мужика вспоминался старый добрый британский классик: «Увы, лицо джентльмена не было овеяно дыханием интеллекта...» Впрочем, всякие книжные высказывания Грохотало ни к чему, ни наших, ни заморских книг он не читал и читать не собирался. Он и без того считал себя существом выдающимся, обо всем имел свое стойкое суждение.

— Шо? Водку пить нэ можно? — усмехаясь, возражал он. — Где цэ написано? У газете? Где та газета? Во всех написано? О, то ж тоби правду напышуть? — И поучал, прибавляя грохоту в голосе: — З водки гроши! Зарплату з й-ё маем! Бэз зарплаты им же ж нараблять!..

Долгий, кружной путь привел Грохотало в сибирский поселок Чуш. Родом он из-под Ровно, из небольшого хлебного селца Клевцы, куда, на лихую беду Грохотало и всех жителей селца, выбитая из ковельских лесов, забралась банда бандеровцев и пережидала время, чтоб угодить под амнистию иль умотать за кордон. Грохотало ни сном ни духом не ведал, что жизненные пути его перекрестятся с путями той истрепанной банды самостийщиков.

Стоявшее на веселом виду, средь полей, садов и перелесков, селцо Клевцы не вызывало подозрений. Патрульным службам, войску и милиции невдомек, что разгромленные самостийщики отсиживались близ города, жрали самогон, куражились над селянами, пощупывали молодок. Зажатые в щель, они и в самом деле, может, пересидели бы здесь смуту, но однажды в Клевцы пришла воинская машина за картошкой, с нею было два нестроевых солдата, сержант, тоже нестроевой, и шофер с тремя нашивками за ранения и с орденом Красной Звезды. Запившиеся до лютости бандеровцы схватили нестроевиков, истыкали их ножами, привязали веревками к буферу машины, выпустили из бака бензин, согнали селян «дывиться» и, выбрав самого здорового и мирного парнягу, под оружием принудили его бросить спичку.

На огонь, на черный дым, на дух горелого мяса и картошки нагрянул механизированный патруль, окружил деревушку Клевцы. Бандеровцы, пока не протрезвели, отстреливались, затем под дулами автоматов пригнали к пулеметам местных мужиков и

попытались под их прикрытием скрыться. Взяли всех. Схватили и Грохотало, который, зажмурив глаза, давил на тугой спуск немецкого пулемета, повторяя: «А, мамочка моя! А, мамочка моя!» — пока его не оглушили прикладом.

Вместе с бандитами на битком набитой машине Грохотало доставили в ровенскую тюрьму. Мучили его допросами, но еще больше мучили «братья-самостийщики» после допросов в камере — он зажег бензин, палил червоноармейцев, сотворил черное дело, из-за которого столько невинных людей страдает. Самый он главный бандит, выходит, и потому на допросе пусть назовется главарем банды. Если же не сделает, как велено, «братья» прикинут его шубой или матрацем.

Но на суде Грохотало не стал петлять, чистосердечно все о себе рассказал и миновал «вышки», получив десять лет строгого режима и затем пожизненную ссылку по месту отбытия наказания. Он строил железную дорогу на Севере, не достроил, угодил в поселок Чуш, на заготовку леса. Достукав срок, остался здесь навсегда, даже в отпуск на Украину не ездил, боясь, что недобитые бандеровцы сыщут его и прикончат. Осибирячился Грохотало, однако и по сию пору, увидев в кино родные нивы, услышав родные песни, он мрачнел, терял присутствие духа, напивался и бил свою жену. Жена его, из местных чалдонок, баба боевая и тоже здоровая, оказывала сопротивление, царапалась да еще базланила на весь свет: «Банде-э-эра! Фашист! Людей живьем жег! Теперь надо мной изгаляться!..»

Грохотало заведовал в Чуши совхозной свиноводческой фермой, где был у него полный порядок. Свиньи даже в худые годы отменно плодились, план сдачи мяса государству перевыполнялся, фотоличность зава распирала рамку поселковой Доски почета, начальство хоть и не почитало его за дурной язык, за грубые манеры, однако не утесняло особо, сквозь пальцы глядело на то, что зав на совхозной ферме ежегодно выкармливал пару добрых кабанчиков для себя — убеждение, что вкуснее сала нет и не может быть продукта, он как привез с собою из Клевцов, так и не менял его.

Кроме сала и себя, Грохотало признавал еще гроши, потому как был рвачом и хотя ему, уроженцу ровенских земель, жутко было пускаться на большую воду, он все же обучился ловить рыбу, которую сам не ел, продавал всю до хвостика. Натаскивал Грохотало покойный Кузьма Куклин, знаменитый на всю округу хитрован. Был Куклин хилогруд, маялся животом, с похмелья харкал кровью и потому в помощники выбирал парней здоровых и выпустил из-под крыла своего в полет не одного наторевшего в речном разбое удалца. Само собой, Куклин не был тятей питомцам и сноровку не торопился передавать, наоборот, затягивал всячески обучение, норовил обделить в добыче. Чего не жалел мастер, так это матюков. Большую часть отпущенных природой матюков Куклин всадил в Грохотало, отвел душу. Но все вынес Грохотало и рыбачить выучился. Он перестал узнавать Куклина сразу, как только отделился от него.

Покойничек Кузьма, качая головой, говаривал «компаньонам»: «Помяните мое слово — погорит это мякинное брюхо, шишко погорит! В нашем деле все свяшшкы друг с дружкой должны быть в спайке, держаться опчеством...»

За терпение, каторжный труд и выдержку бог был милосерден к Грохотало, скоро он занял место под знаменитой каргой — Кабарожкой, что против лежащего в траве валуна величиной с баню. В ту морочную осеннюю ночь, когда громадная самоходка нашла носом утлую лодчонку браконьера, Грохотало вроде бы слышал крик во тьме, но притаился, на выручку своего учителя не пошел. Подмяв лодчонку и даже не почувствовав удара, самоходка величественно удалилась в ночь. Куклина, как полагают рыбаки, зацепило мотором за плащ и утащило на дно. Так его по сю пору и не нашли. Новый помощник Кузьмы Куклина на обломанном носу лодки пригребся к берегу, и от реки его навсегда отворотило.

Карга, под ласковым названием Кабарожка, на которую многие зарились да ума недостало завладеть фартовым местом, если идти от берега малым ходом, находилась на трехсотом отсчете — как ни таился, ни шептал Куклин, Грохотало тоже догадался считать и сразу нашупал добычливое место. Обзавелся Грохотало «Вихрем», дюралькой — где, как раздобыл передовую технику, никому не говорил. На Севере купить хороший мотор, лодку еще и поныне трудно, а в те годы привозили и продавали их только по блату. Летал на лодке Грохотало, выпятив грудь бочкой, все ему нипочем: и расстояния, и знаменитая Кабарожка, и жизнь.

Дуром валила к Грохотало рыба. Он не сказывал, по сколько хвостов брал с каждого самолота, но много, видать, потому что бормотуху совсем пить перестал, перешел на водку, к тому же на экстру. Морда его еще пуще блестела, будто от рыбьего жира, губки полыхали, как у городской уличной девки. Порозом, нехолощеным, значит, боровом, называли его местные добычки. Глодала их черная зависть, и, когда однажды у лодки Грохотало поднялся шум, плеск и стало ясно, что вплялился на его самолот осетр, согласно решили соратники: «Хватит! Надо с этим делом кончать! Пора сгонять хохла с Кабарожки, порезать концы, издырывать дюральку. Рыпаться станет — припугнуть, не подействует припуг, найдется кой-что поубоистей».

Пока чувство мщения рвало сердца и груди добытчиков, Грохотало, заgreбастые глаза, в одиночку боролся с матерым осетром. Сгораяча он пробовал завалить его в лодку — силой Грохотало бог не обидел, хватку нажил. Но как глянул на рыбака «дядек» свиными глазками, как лупанул хвостом по воде — хвост что у аэроплана, Грохотало и осел: одному, на стражи, не взять. Благодарение старикану Кузьме Куклину, впрок пошли его научные матюки. Всадив еще десяток уд в тугую кожу осетра, Грохотало обрезал якорницы и попер рыбину на буксире к берегу. На веслах пер, мотором нельзя — тяжелая, сильная рыба — оборвешь. Осетр между тем очухался, уразумел, ку-

да и зачем его тартают, забултыхался, захлестал хвостом, под лодку уходил, круги вертел на воде. Почуяв брюхом мель, и вообще осатанился, дельфином из воды выпрыгивал, фортеля выделял, что циркач. Крючки ломались, капроновые коленца ломались.

Умаянного, в ключья изорванного, на двух крючках уже привел Грохотало осетра на отмель, выпрыгнул через борт, чтобы схватить рыбу под жабры, и опешил: на боку лежала угрюмая животишка, побрякивая жабрами, и не жабрами, прямо-таки крышками кастрюль. На человека рыбина смотрела с коробящим спину, усталым спокойствием. Но Грохотало напугать уже ничем нельзя.

— А-а, батка й-ёго мать! — заорал Грохотало и, подхватив осетра, поволок его на берег. Почти до обрыва допер, до леса почти, и там, упавши рядом с осетром, валялся на камнях, бил кулаком в зазубренную спину рыбины, в череп бил.

— Га-а! Га-а! Зачепывсь! Зачепывсь! Га-а! Га-а! О то ж! О то ж! — Этого ликования оказалось мало для взбудораженной души. Грохотало вскочил, забухал сапожищами по камням и все чего-то орал, махая руками.

«Горе крепит, счастье слепит» — такую поговорку не единожды слышал Грохотало. Африканцы тоже предостерегающе изрекли: «Тыловишь маленькую рыбку, а к тебе подбирается крокодил», но ни про что не помнил в ту минуту ошеломляющего счастья Грохотало. Между тем река очистилась от лодок, добытчики расползлись «по углам», завидев вдали подозрительную дюральку, и, когда, заурчав и тут же смолкнув, в берег ткнулась эта самая подозрительная дюралька и на камни ее подтащил высокий, костлявый мужик с цыганским чубом и крупным лицом, по которому отвесно падали глубокие складки, Грохотало напустил на себя куражливый вид, полагая, что какой-то назежий чудаков подвернул «подывиться» на «дядька». Тот все еще несогласно лупил хвостом, подпрыгивал, аж камешник разлетался шрапнелью, попадая в морду ликующему добытчику.

Незнакомый человек приблизился к бунтующему осетру, прижал его сапогом, взялся мерить четвертями. Грохотало хотел рывкнуть: «Нэ чипай», но душевное торжество, предчувствие денег и выпивки, которой он не делился с «шыкалами» — так он именовал остальных браконьеров, приподнимали его чувства, не давали опуститься до пустого зла. Наоборот, нутро подмывало непривычной теплотой, позывало к общению, разговору.

— Вот зачепыв рыбочку-у! — перехваченным голосом сообщил он и от возбуждения простодушно загакал, почесал живот, поддернул штаны; не зная, что еще сделать и сказать, он принялся трепетной ладонью обтирать с осетра песок, воркуя что-то нежное, словно щекотал, почесывал молочного поросенка.

— Повезло тебе!

— Та уж... — скромно потупился Грохотало. — Уметь трэба. Место знать, — и, мрея сердцем, заранее прикинув, сколько

грошей огребет за рыбину, но все-таки занижая вес осетра, дабы получить затем еще большее наслаждение, с редчайшей для него вежливостью поинтересовался: — Кил сорок будет?

Мужчина скользнул по Грохотало утомленным взглядом и нехорошо пошевелил складками рта:

— Ну зачем же скромничать? Все шестьдесят! Глаз — ва-терпас! Ошибаюсь на килограмм, не больше.

Грохотало, вышколенный осадной войною самостийщиков, трусливыми их набегами на спящие села, на подводы и машины, битый арестантской жизнью, способный почувствовать всякую себе опасность за версту, если не за десять, встревожился:

— Кто такой?

Человек назвалса.

И обвис Грохотало тряпично. Руки, щеки, даже лоб с бородавкой обвяли, жидко оттянулись, и всему справному телу рыбака сделалось как-то неупористо, вроде только одежда и держала его да мешок кожи, а то развалилось бы тело, что глиняное, в то же время в нем было ощущение какое-то неземное, словно оторвался он от земли и несло его, несло, вот-вот должно грохнуть меж холодных камней, и будет он лежать на берегу разбитый, всеми забытый, песком его присыплет, снегом занесет. Вот как жалко стало человеку себя, вот как ушибло его — прошлая жизнь вместила в одну короткую минуту — все-то тащит его куда-то, кружит, кружит и раз мордой об забор! И все уж в нем кровоточит: сердце, печенки, селезенки, потому что всякая неприятность, всякая душеверть в первую очередь Грохотало несчастного находит. Извольте вот радоваться! Объявился новый рыбинспектор! Переведен из Туруханска вместо Семена. Там его, по слухам, стреляли, да не до смерти. «У-у, й-ёго батьки мать! Не я тоби стреляв...» — попробовал скрипнуть зубами Грохотало, да не было силы на злость, обида, боль бросали на привычное, спасительное унижение.

— Гражданин начальник! Никого нэма... — Грохотало глотнул слюну, понимая: не то делает, не туда его понесло, но ведь ровенца уж если понесет, так понесет — не остановить. — Мабуть, в ём икра? Поделим. Выпьем тихо-мирно. В мэнэ сало е, — ухватился он за последнее средство, — слышь, гражданин начальник!..

... — Брысь! — Рыбинспектор сверкнул рысиными глазами и, положив старую полевую сумку на колено, начал писать.

Грохотало в изнеможении опустил на камень. Сидел, сидел и давай дубасить себя кулачищем по лбу, в то место, где бородавка, словно вколачивал шляпку гвоздя в чурбак, затем начал громко материться, намекая рыбнадзору, что, если он пойдет не с «народом», головы не сносит, здесь стрелки не то что в Туруханске, здесь оторвы такие, каких на свете мало.

Рыбинспектор не утомивал Грохотало разговором, царапал ручкой и, когда бумагу сунул, не пригласил: «Распишись», лишь ткнул костлявым, давно разрубленным по ногтю пальцем в то место, где злоумышленник обязан чинить подпись. Сунув кни-

гу актов и ручку в заложенную, еще военных времен, полевую сумку, рыбинспектор закинул ее привычным командирским броском на бок, волоком затащил осетра в лодку и, брякнув им о железное дно, оттолкнулся веслом на глубину, отурился на стрежинке, наматывая на руку заводной шнурок.

Почему-то военная сумка вызвала в Грохотало особенную ярость, может, сорок пятый год вспомнился, следовательно с сумкой? Может, северный, строгий лагерь, где военные сплошь щеголяли при сумках, может, и ничего не вспомнилось, просто раздирало kloкочущую грудь.

— Тыловая крыса! З сумкой явись! Мы кроу проливалы!.. — и поперхнулся. Узнает, непременно узнает легавый сексот, свинячье рыло, чью кровь Грохотало проливал. В Чуши ведь как? Сказал куме, кума — борову, боров — всему городу; и с перекоса чувств пошел крыть рыбинспектора почему зря: — Шоб тоби, гаду, тот осетер все кишки пропоров! Шоб ты утонув, сдох, окошел! Шоб твоим дитям щастя нэ було!.. — Но опять в перекос слово пошло — слух был: у «гада» никаких детей нет, бо-быль он, на войне семью потерял. Такая скотина осетром не пользуется, согласно акту сдаст в Рыбкооп.

Да где же, на чем же душу-то разбитую отвести? И как жить? За каким же чертом так надсадно и тяжело отстаивал он себя и эту самую жизнь, к чему перенес столько мук? Отчего клин да яма, клин да яма на пути его? «А, мамочка моя! А, мамочка моя!» — выкашливал Грохотало из своей могучей груди родное, утешительное причитание. Он хотел облегчительных слез, выжимал их из себя, но только ломило сердце, а слез не было, закаменели они в нем, и оттого не приносила облегчения жалоба к давно покойной матери. А ведь в том же сорок пятом, бывало, только помянет мамочку — слезы потоком.

Опамятовался Грохотало в лодке, на воде, и коли пойдет все наперекосяк, так пойдет — не заводился мотор. Солнце упало за реку, а когда поднял осетра на самолове, солнце в спину и по башке било — сколько времени потерял! В Чуши закроют магазин, и вовсе тогда будет нечем горе размочить. Грохотало так рванул шнур, что клочья от него в горсти остались.

«А-а-а, й-ёго батьки мать!» — взвыл Грохотало и пнул по мотору, пнул и тут же присел, заывая, — расшиб пальцы на ноге. Мыча, сплюнявя зубами шнур, он грыз его, кусал, стягивая в узел. Сплывавший с самоловов по течению старший Утробин предложил свои услуги.

— Шо? Идти вы!

— Дело хозяйское.

Дамка подскребся на дырявом корыте, советы подает. Каждый рыбак, пусть и скалясь, готов помочь делом и советом, сочувствуют вроде бы, но на самом-то деле рады, что «дядька» у Грохотало отняли. Отпринул Грохотало всех доброхотов, веря только в свои силы и на них надеясь.

«Шыкалы» врубили моторные скорбсти и умчались до дому, стрёмясь застать магазин открытым.

Сплошь лепился на бревнах по бережку деловой народ, обсуждая бурные события текущего дня, своих и чужих баб, современную молодежь; где и до политики доходили, а над берегом разбрызгивался задорный голос северного человека Бельды: «Ты меня еще не знаешь, понапрасну сердце ранишь...», когда, иссушенный зноем, измученный осетром, рыбинспекцией и мотором, в берег бзнулз Грохотало на лодке.

Грохотало поднял на поселок налитый горем и ненавистью взгляд — изубылся, пережил такое крушение и остался на суху, а ему так необходимо папиться, размочить душу, обалдеть до беспамятства и в обалдении огрузнуть телом, упасть, зануть. Грохотало с хрустом сжимал и разжимал кулаки, будто делал гимнастику пальцев, дышал прерывисто, толчками, выбрасывая:

Но, получив дурные известия, жена его заранее схоронилась в погреб, и, не сыскав ее, Грохотало схватил топор, изрубил в щепки комод, выбросил в окошко слишком громко, по его мнению, говорящий радиоприемник «Восток». Не проняло. Тогда Грохотало облил бензином дом и пристройки, намереваясь спалить все хозяйство дотла, но уж тут баба его не выдержала, заорала лихоматом в погреб, сбежался народ, миром навалился на зава фермой, с трудом повязал, и никто потом так и не поверил, что весь погром Грохотало учинил в трезвом виде. «Не может такого быть!» — говорили чушанцы.

Скоро, однако, повязали обоих громил. Практика у чушанцев вязать очень большая — здесь от веку кто-нибудь кого-нибудь гоняет, палит из ружья, рубит, колет, а вот байдарочники вроде бы перетонули, до них руки не дошли, да и чего их сюда несло? Плавали бы где в другом месте, на малых реках.

Прошло два года. Семен на пенсии. Новый рыбинспектор все еще проявляет активность, но реже и реже выходит на поиск, один вовсе не рискует шлаться, натаскивает сына бывшего рыбинспектора. Сходит отпрыск Семена в армию и, пожалуй что, возьмется за рыбоохрану. Тяжело придется — всех и все знает, гаденыш, неотмолимый, да еще и сообразительный! Придумал: не гоняться по реке за браконьерами, не иметь их «с полиц-



мым», а просто-напросто встречать и проверять лодки в поселке. Девайся куда хочешь, отсиживайся в протоке, хоронись в речках, жди ночи или когда из дому за рыбой придут. Волей-неволей пришлось сбывать рыбу на сторону. Вот и валялись у огонька добытки, ждали подходящее судно.

Командор предложил нам котел варить уху. Аким сухо отказался. Он отчего-то сторонился Командора, терпеть его не мог и не скрывал этого. Котел, чайник, веревки, спрятанные Колей в лесу, мы так и не ссыкали. Сердит Аким, ворчлив, ругался под нос, подшвыривал в лодке барахло. Рыбачки меж тем подваливали и подваливали, прятались с лодками за мысом Опарихи. На приволье сварили ведро стерляжьей ухи, споро хлебали ее деревянными ложками, пили вино кружками и прокатывались насчет алкоголизма — любимейшая тема современности, не переставали изводить Грохотало осетром, но Грохотало сделался еще громадней, еще закомлистей, его уже не только насмешками — пулей не пробить. Горбясь медвежьим загривком, он сидел отшибленно ото всей компании, по другую сторону костра, на чурбаке, чавкал, пожирая харч. Хлеб он не резал, отхачивал зубами прямо от булки, затем острущим ножом пластал вместе с кожей кус сала, кидал его в рот, будто дополнительный заряд в казенник орудия, после чего мочалкой сгибал горсть берегового лука, макал в хрушку соль, затыкал им разверстый малиновый зев и принимался жевать, тоскливо куда-то глядя при этом и о чем-то протяжно думая. «Едо-ок!» — завистливо вздохнул я.

Компания, хлебавшая уху, становилась все оживленней. Мужик в прорезиненной куртке, в вязаной городской шапочке толкнул в бок соседа, кивая в мою сторону, — сибиряку обнести ложкой или чаркой людей позор и наказание.

— Имя нельзя! — уставившись поверх костра, заявил Дамка. На нем шушала, не гнулась все та же телогрейка, в которой он был и два года назад, — от ворота до подола измазанная рыбьими возгрями, местами она уже ломалась. — У их, — указал он вдаль деревянной ложкой, — вступил в полную борьбу закон против алкоголизма. Гай-юю-гав!..

Командор, словно вспышкой электросварки, резанул его взглядом, молча подвинулся, потеснил городского, тот старшего Утробина. Аким пожимал плечами, как, мол, хочешь — быть в компании без своей доли он считал зазорным, — «своей» я ему не дал купить — больно канительно с ним выпившим. Я вынул из рюкзака хранимую на всякий случай бутылку коньяка и поставил к котлу:

— Вот! Если с нашей долей...

Бутылка пошла по рукам. Ее взбалтывали, смотрели на свет, нюхали, признали баловством расход, лучше бы на эти деньги купить две бутылки водки, но с легким вздохом простили мне такое чудачество, и Дамка услужливо скусил с горла железку, вытащил зубами пластмассовую пробку.

Налили. Выпили. Зачмокали губами. Общий приговор был:

ничего, но снова мудро советовано: «Вдругоредь покупать дс<sup>т</sup>. бутылки вместо одной» — и еще наказано: «Ешь, пей, гостюй, но не продергивай». Я обещал «не продергивать». Мужики не поверили, однако сделали вид, что успокоились, и повели научный разговор на тему: как платят писателям и сколько процентов правды они могут допустить в своих сочинениях. Сошлись на пяти процентах. В связи с разочарованием, постигшим добытчиков в оплате нашего труда, вспомнуто было о приборе, сконструированном для ловли браконьеров в ночное время. «Тем, кто выдумывает экую пакость, платят небось больше». И что происходит в миру? Что дееся? Сам себя человек доводит до лихих дел, сам себя в тюрьму сажит, сам для себя изобретает заплот, проволоку, чтобы оттудова не убежать? «Могилу сами себе роём!..»

— А-ах, растуды твою туды! — изумлялись ораторы философскому открытию.

— Так сё, музыки! — прерывая умственный разговор, хлопнул себя по коленям Аким, возбужденно сверкая глазками. — Гулять так гулять! — И под гул одобрения принес из кустов «огнетушитель» — большую бутылку с дешевым вином, лихо именуемым: «Порхвей». Вот тебе и Аким! Прихватил гайно от меня бутылку или запасы у него тут?

Командор гонял куда-то на лодке в поздний час. Многозначительно улыбаясь, добытчики намекали — к Раюсе. Продавщица так была «вторимшись» в ядовитого чеченца, что, невзирая на суровый закон об алкоголизме, ночью отперла магазин и отпустила спиртное, за что крепко ее тиснул Командор, поцеловал и умчался, помня про «коллектив», посулясь, однако, днями завезти Раюсе свежей стерлядочки и потолковать «о личном».

Смех, говор, полное взаимопонимание, почти братство на енисейском берегу. Костер поднят до небес, комаров никто не слышит. Клокочет в ведре уха, скрюченные стерляжки хвосты летят куда-то ввысь, в пламени, в искрах.

Кто-то силился запеть, кто-то сплясать, но больше целовались и плакали.

— Гул-ляй, мужики!

— Однова живем!

— Ничё не жалко!

— Ради такого вот праздника колесм на реке, под дулами ружейными крячимся!

— Га-ай-ююю-гав! Гай-ююю-гав!

— Э-эх, люби-и меня, детка-а, покуль я н-на в-воле-й... Врезать бы кому по рогам! Душа горит, драки просит!

— И попадешь на пятнадцать суток!

— Да-а, времена-а! Ни тебе напиться, ни тебе потилискаться!..

— Зато кино кажин день!

— Кино? Како кино! Я те вот вмажу по сопатке, и будет кино.

— Э-э, мужики! Гуляй, веселись, но без драки.

— А чё он?

— Дак я же шутю!

— Шутю-у-у!

У т-тебя в окошке све-ёт,  
Ат ево покою не-еэт,  
В том окне, как на экране,  
твой знако-омай си-и-илу-э-эт...

— Это чё, силует-то?

— Хвигура!

— А-а.

— А я еще вот чё, мужики, спросить хочу: ланиты — это титьки, што ль?

— Шшоки, дура!

— О-ой, о-ой, не могу! Ты б ишшо ниже мыслёй опустил-ся-а!..

— Поехали, мужики, поехали! Поехали, поехали! С орехами, с орехами! Трай-рай-трай-рай-рам...

И все это время сотрясал воздух, раскатывал каменья по округе рыбак Грохотало, съевший буханку хлеба, беремья луку, пластушину сала. Сон его был безмятежен и глубок. Он ничему не внимал, лишь когда канительный Дамка в пляске наступил ему на руку или еще на что, остановил на мгновение храп. Сразу сделалось слышно коростеля и других птиц в природе: отмахнул Дамку, точно комара, и пока тот, ушибленный приземлением, взнимался из-под берега, отплывавался, Грохотало снова равномерно заработал всеми своими двигателями, колебля костер, всасывая в себя земную тишь, ароматы цветов, прохладу, изрыгая все уже в переработанном виде вонючим, раздавленным, скомканным. Но вот наступили сбои в могучей моторной работе, раскаты храпа временами замирали совсем, раз-другой Грохотало шевельнул горою спины, простонал вдруг детски жалобно и сел, озирая потухшими глазами компанию, узнал всех, растроил с завыванием красную пасть, передернулся, поцарапал грудь и удалился во тьму. И вот он возник в свете костра, чего-то неся на вытянутых руках. Не сразу, но различили мужики белой курочкой сидящую на пластушине сала пухленькую пластмассовую бутыль.

— Цэ напыток — самогнали! Трэба знычтожить, хлопци, як ворога!

— Х-ха-а! Самогнали, значит?

— Грузинский, стало быть, напиток-то?

— Токо на чушанских дровах варенный!

— Сало, хлопци, тэж трэба эжуваты! А потом Черемисина, й-ёго батьки маты!..

— Ай да Грохотало! Челове-эк! А Черемисина све-де-о-ом! И не таких сырыми съедали!..

— Н-не выйдет!

— Чё-о! Кто это сказал?!

— Стой, ребята, стой! Человек же угощает от всего сердца...

— Се-ерца-а-а, т-тибе ни хочется поко-о-ой-ию-у-у, се-е-ерца, как хорошо на свете жи-ы-ыть...

Крепко выпив, к душе нахлебавшись ущицы, поговорив и даже попев, незаметно ушел домой на лодке рассудительный старший Утробин. Свалился за бревно Дамка и, съедаемый комарами, вертелся там, поскуливая, — тревожен был его сон — снилась ему жена. Обхватив Командора пухлыми лапищами, Грохотало тревожил ночь и округу осевшим от простуд, но все еще великим голосом: «Маты! Маты! Ждэ своего солдата, а солдат спыть вичным сном!..»

По лицу Акима катились слезы. Он с непомерной горестью и любовью глядел на всех, тряс головою, брызгая солеными каплями в костер, выговаривал, как ему казалось, про себя:

— Эх, Колька, Колька! Зачем ты помер! Гулял бы с нами...

В какое-то время затяжелел и Грохотало, забыл про осетра, про Черемисина, про бойкую свою бабу, но про родину, видать, еще помнил и без конца повторял, уронив большое лицо на студенисто вывалившуюся в разрез рубáхи грудь: «Маты, маты... Ждэ своего солдата, а солдат спыть вичным сном...»

И подумалось мне в ту минуту, что в словах этих простых и великих судьба всех нас — только то и делают наши матери, что ждут домой солдат, а они спят где-то вечным сном; думать и печалиться мне мешал Командор, он плакал на моей груди и настойчиво просил написать роман про его дочь Тайку. Плакал и городской компаньон, этот уж просто так, от пространственности русской души.

Утром хмурый Аким подгрребал жар под ведро с остатками ухи и под чайник. От меня он воротил морду, бросая украдкой взгляды на лодки, повисшие на концах. Туман, редкий, летучий, скрадывал лодки. Они темными пятнышками то возникали, то исчезали вдали. В лесу, в кустах, на травах, на камнях и бревнах сыро. От ледяного хребта, убывающего на глазах, тащило знобкой стужей, льдины оседали, рассыпались со звоном острыми продолговатыми штырями. На расколотом чурбаке стояла кружка с зельем «порхвей» — лучше не скажешь. Вчера я пригубил из «огнетушителя» — и на контуженной голове вместе с шапкой вроде бы приподнялась и черепная коробка. Отказавшись от «порхвея», я похлебал ухи, попил густого чая, для аромата приправленного смородинкой, и почувствовал себя бодрей.

— Пора и нам на самолдовы.

Аким подсечно дернулся, глянул на меня и тут же принял отсутствующий вид — ох уж эти мне северные хитрованы-мудрецы!

— Поплыли, поплыли!

— Куды поплыли?

— На самолдовы.

— А ты их ставил?

Я хмуро ему объяснил, что нет, не ставил и ставить не буду. Но посмотреть на эту хреновину мне позарез необходимо, и пусть он не юлит, я еще в тот, прошлый приезд, когда он смылся с Опарихи, якобы караулить лодку, а после угощал нас стерлядью, купленной «за руп», усек: у него стоит самолет.

— Сто ты, сто ты, пана! — Аким отмахнулся, как от нечистой силы. — Чего с похмелья человек не набуровит! Тихий узас!

Я наседаю на Акима все решительней, объяснял, что моя профессия состоит в том, чтобы все знать и видеть. Ошарашил его рассказом, как бывал в кирхах, в православных церквях, даже в мечеть заходил. Заносило меня в морги и родильные дома, посещал милиции, тюрьмы, колонии, ездил на юг и на север, в пустыни и кавказские сады, общался со стилистами и сектантами, с ворами и народными артистами, с проститутками и героями труда.

— Один раз даже в комитете по кинематографии был.

— Там кино делают? — Аким зарделся, с очень уж обостренной заинтересованностью встретив это сообщение.

«Так бы и треснул!» — глядя на пухом заросшую по желобку щею, озлился я и кивнул на реку:

— С ними на самолеты выпрошусь.

— Зачем тебе самолеты? — с невеселой усмешкою и снисхождением молвил Аким. — Иди харюзов удь. Оне, — кивнул он на реку, — управятся и без тебя...

— Харюзы мне надоели.

— Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Ну сто ты будес с им делать? — взвился Аким. — Нету у меня самолетов, нету!

Я протянул ему руку:

— Спорим?

Аким руки моей не заметил, с досадой опрокинул кружку чаю, пнул банку — не успокоился. Хряснул «огнетушитель» о камень так, что брызнуло стекло во все стороны, будто мина разорвалась. Командор висел уже на нижнем конце.

— А не продернес? — сломленно спросил Аким, царапая изъеденное комарами ухо.

— Чего?

— В газетке не продернес? Музыки опасаются...

— Ф-фу ты! Да на вас никаких газет не хватит! — И чем дальше я ругался, тем оживленной становился Аким. Мигом приволок он из кустов «кошку», веревки, весла, наставляя при этом меня: — Конесно. Продергивать дак всех, а сё нас однех-то? — и подмигнул мне припухлым глазом. Усадив меня за весла, чтобы сплыть с мели и завести мотор, он показал глазами на ближнюю лодку и приглушенно добавил: — Народ-то видал?! Тихий узас! Ты уедес, тебя не достать, меня уканают... — Прежде чем дернуть шнурок, Аким в нерешительности помедлил и все же показал руку, которую во все дни этого моего приезда прятал от меня: на запястье швом электросварки бугрился неровный, багрово-синий рубец. — Под смертью недавно был. Побай-

ваюсь теперь ее. После расскажу, — рванув шнурок, крикнул он и, развернув лодку, повел ее встреч течению, хлопнув ладонью по борту, — знак, чтобы я заткнулся и ему не мешал.

В детстве мне доводилось видеть ловлю самоловами. Тогда ее браконьерской никто не считал, тогда было много рыбы, а рыбаков мало, всякая добыча пропитанья почиталась. И вот предстояло вновь увидеть самый жестокий после битья острогой и глушения взрывчаткой лов рыбы. Аким уцелил взглядом ориентир на берегу — ставят самоловы и сети без наплавов, найти ловушки на дне широкой и быстрой реки целая наука, и наука сложная. Ориентир, как я догадался, — листовка с корявым, давно засохшим братним стволом. Только снесло лодку до этой листовки, Аким врубил скорость, но не полную, и какое-то время на тихом ходу лодки шевелил губами — считал. За двухсотым отсчетом Аким выбросил «кошку», стравил веревку; наматал ее на руку. «Кошка» скребла дно и могла зацепиться за коряжину, за топляк, за камень, но ей надлежало цапнуть самолов. Веревка дернулась, лицо Акима напряглось, он с силой уперся ногами в поперечину лодки и выключил мотор.

— С первого раза! — улыбнулся он и начал рывками вытаскивать веревку. — Когда дак замаеся...

— Может, это не самолов?

— О-он. Тетива пружинит, — охотно пояснил Аким, — задева рвет. Из лодки вылетитшь! Плюхнется, лодку унесет. Цирк!

Лодку давило глубиной, течением и тяжестью самолова. Вода натужно бурлила по бортам и у носа лодки. Умаянно покуривая, мимо сплывали осмотревшие свои ловушки добытчики. Раньше всех управился и умчался на «Вихре» Грохотало — ждала работа на свиноферме, опаздывать он боялся. Командор, сбрасывая рыбу в мешок, плевал за борт. Аким снова его «не замечал» и, не к нему, а ко мне обращаясь, чеченец известил, ругаясь:

— Прокутили! Из двадцати семь!

— Чего семь?

— Живых.

— А остальные?

Аким из-под лба зыркнул на меня — чего вяжешься?

— Остальные за борт.

— Но они же... — залепетал я. — Народу по Енисею шляется всякого. Выловят, съедят...

— И подохнут к... матери! — харкнул в воду Командор и рванул шнур. — Меньше шляться будут! — Оставляя чистый пенный след за кормом дюральки, Командор промчался домой, подняв прощальную руку в красивом салюте.

Подошел наш самолов на «кошке». Давши мне в руки туго натянутую тетиву, Аким приказал очищать с крючков шахтару — так здесь зовется водяной сор, наказывал быть как можно осторожнее — оплошаешь, удой насквозь просадит руку.

Вот и уда. К капроновой крепчайшей тетиве капроновым колечком подвязана большая, покрытая тонким слоем олифы кру-

то загнутая уда без жагры, но с острейшим жалом. На изгибе уды коротельским коленцем прихлестнута пенопластовая пробка. Касания пробки легки, шекотливы. Таких веселеньких «игрушек» на одном только конце четыреста—пятьсот штук. На верхнем по течению конце самолова — становая, тяжелая якорница. К ней прикреплена сама ловушка. Выметанный по течению и местами одавленный легким грузом, самолов на нижнем конце тоже укреплен якорницей. Бросить самолов в воду, закрепить — полдела. Главное — угадать им в уловистое место, где рыба собирается стаями, нащупать вслепую каргу и струю, чтобы все время мотались, играли пробки, привлекая «побаловаться» с ними, или, сбитую с карги, катило бы рыбину струей прямоком на занозистые крючки. Сколько рыбы накалывается, рвет себя, уходит в муках умирать или мыкать инвалидный век — никто не ведает. Рыбаки как-то проговорились — верная половина. Но и та рыба, которая уцепилась, сильно испортая, замученная водой, скоро отдает богу душу. Уснувшая же на крючке рыбина, особенно стерлядь и осетр, непригодна в еду — какая-то белая личинка заводится и размножается в жирном теле красной рыбы, полагают, что окисление жира происходит от смазанных олифой крючков.

Уснувшую на удах рыбу прежде увозили на берег, закапывали, но раз ловля стала нечистой, рваческой, скорее дохлятину за борт, чтоб рыбнадзор не застучал. Плывет рыба, болтается на волнах, кружится в улове, приметно белея брюхом. Хорошо, если чайки, крысы или вороны успеют слопать ее. Проходимцы, пьяницы и просто тупые мародеры продают снулую рыбу. Загляни, покупатель, в жабры рыbine и, коли жабры угольно-черны иль с ядовито-синим отливом — дай рыбиной по харе продавцу и скажи: «Сам ешь, сволочь!»

На Акимовом самолове из тридцати двух стерлядей живых девять. С горьким вздохом сожаления Аким отбросил дохлых рыб в нос лодки. Мне так хотелось описать рыбу, бьющуюся на крючке, слепо бунтующую, борющуюся за себя, воспеть азарт лова, вековую радость добытчика. Нечего было воспевать, угнетало чувство вины, как будто при мне истязали младенца иль отымали в платочек завязанные копейки у старушки. Я попросил Акима отвезти меня на берег — чай буду варить, за цветами схожу, луку нарву. Не прекословя, Аким завел мотор, послушно высадил меня на берег.

— Говорил я те, говорил?! Разостроишься только, — тихо сказал он и уплыл досматривать второй конец.

На беду, попался осетришка килограммов на двенадцать, заporолся удами — долго не выплывали на самоловы — похороны, поминки, меня остерегался ловец, после загулял. Когда Аким тащил рыбину через плечо, вдруг с треском оторвался клапан жаbры — осетрина, скомканная, прелая, упал на камни, полезли из него пузырем кишки.

— Медведь сожрет, может?

— Нет, не станет, — потупился Аким. — Даже он, скоти-

на, привычная ко всякой дохлятине, загнется. Такая, пана, отравя в этой рыбе. Тарзан... Помнишь, на Опарихе который оставался, дурак-то? — приплыл за им. Воет. Оголодал. Налим на уду впоролся. Я и дай Тарзану. — Аким вымыл руки с песком, и мы неторопливо пили чай. — Там вои. Тарзан закопан, — после долгого молчания мотнул он головой на заросли тальников в устье Опарихи.

— Прошу тебя, Аким, сними эти ловушки, сними! Иначе я к тебе не приеду.

Сложив пожитки в мешок и в ящичек из-под самолета, Аким снес багажишко в лесную утайку — мы отправлялись на весь день удить хариуса — и уже в лесу, на привале прервал молчание.

— Хошь не хошь, концы сымать придется. Родня покойника наказала: лодку, мотор, снасти сдать в целости и сохранности.

Родственнички! Достойные дети мизгирева гнезда! Много лет Аким, кроме Колиного дома, не знал никакого приюта. Его, этот домишко, и строили они вместе, деньжонки, какие зарабатывал Аким, нес как в свою семью, лодочный мотор, битый-перебитый, ношенный-переносный, по гайкам перебирал, варил, паял, лодку упочинивал, затыкал, смолил, дров на зиму наплавил... Но ушел друг из жизни — и от ворот поворот человеку. Дешевое, не по-сибирски мелко начали вести себя за гробом мои земляки, и не только в Чуши.

— Нис-сё-о-о! — бодрился Аким. — Нисё-о. На Сурниху падамся. Новый леспромхоз там открывается. Пять специальностей, пана, имею, нигде не пропаду!

В устье речки Сурнихи вырос поселок. Электричество на улицах светится, клуб возведен, столовая, детсад, жилье, тротуары проложены. Заселение поселка начнется осенью, заготовка древесины зимой, а тут такая невидаль — все готово для рабочих. Везде бы так — сначала условия человеку, потом работу с него спрашивай.

Мои мысли взяли разгон: что, если и древесину здесь станут брать разумно, по-хозяйски, не устраивая мамаева побоища на лесосеках? Приенисейская тайга необозрима, много в ней спелого, перестойного леса, так остро необходимого большому хозяйству страны. И вот, пять и десять лет спустя, приехать бы к Акиму в гости, посетить могилу за околицей старого поселка, где под кустом смородины успокоенно лежит рано изработавшийся, много бед и мало и радостей повидавший брат, порыбачить на Опарихе, где рыбачили мы когда-то так памятно, компанией, уснуть под слитный шум кедров и темных елей. Их слышал брат, слышат дети и слышали бы дети его детей.

## ЦАРЬ-РЫБА

В поселке Чуш его звали вежливо и чуть заискивающе — Игнатъичем. Был он старшим братом Командора и как к брату, так и ко всем остальным чушанцам относился с некой долей



снисходительности и превосходства, которого, впрочем, не выкалывал, от людей не отворачивался, напротив, ко всем был внимателен, любому приходил на помощь, если таковая требовалась, и, конечно, не уподоблялся брату, при дележе добычи не крохоборничал.

Правда, ему и делиться не надо было. Он везде и всюду обходился своими силами, но был родом здешний — сибиряк — и природой самой приучен почитать «опчество», считаться с ним, не раздражать его, однако шапку при этом лишка не ломать, или, как здесь объясняются, не давать себе на ноги топор ронять. Работал он на местной пилораме наладчиком пил и станков, однако все люди подряд, что на производстве, что в поселке, единодушно именовали его механиком.

И был он поспоровистей иного механика, любил поковыряться в новой технике, особенно в незнакомой, дабы постигнуть ее существо. Сотни раз наблюдалась такая картина: плывет по Енисею лодка сама собой, на ней дергает шнур и лаetaan на весь белый свет хозяин, измазанный сажей, автолом, насосавшийся бензина до того, что высеки искру — и у него огонь во рту вспыхнет. Да нет ее, искры-то, и мотор никаких звуков не издает. Глядь, издали несется дюралька, задрав нос, чистенькая, сверкающая голубой и белой краской, мотор не трещит, не верещит, поет свою песню довольным, звенящим голоском — флейта, сладкозвучный музыкальный инструмент, да и только! И хозяин под стать своей лодке: прибранный, рыбьей слизью не измазанный, мазутом не пахнущий. Если летом, едет в бежевой рубашке, в багажнике у него фартук прорезиненный и рукавицы-верхонки. Осенью в телогрейке рыбачит Игнатьич и в плаще, не изожженном от костров, не изляпанном — он не будет о свою одежду руки вытирать, для этого старая тряпица имеется, и не обгорит он по пьянке у огня, потому что пьет с умом, и лицо у Игнатьича цветущее, с постоянным румянцем на круто выступающих подглазьях и чуть впалых щеках. Стрижен Игнатьич под бокс, коротко и ладно. Руки у него без трещин и царапин, хоть и с режущими инструментами дело имеет, на руках и переносице редкие пятнышки уже отлинявших веснушек.

Никогда и никого не унизит Игнатьич вопросом: «Ну, что у тебя, рыбачок, едрена мать?» Он перелезет в лодку, вежливо отстранит хозяина рукой, покачает головой, глядя на мотор, на воду в кормовом отсеке, где положится старая рукавица или тряпка, культхается истоптанная консервная банка, заменяющая черпак, прокисшие рыбы потроха по дну растянута, засохший в щели пучеглазый ерш. Вздохнет выразительно Игнатьич, чего-то крутанет в моторе, вытащит, понюхает и скажет: «Все! Отъездился мотор, в утиль надо сдавать». Либо оботрет деталь, почистит, отверткой ткнет в одно, в другое место и коротко бросит: «Заводи!» — перепрыгнет в свою лодку, достанет мыло из карманчика лодки, пластмассовую щетку, руки помоеет и тряпичей их вытрет. И никакого магарыча ему не надо. Если пьет Игнатьич, то только на свои и свое, курить совсем не курит.

В детстве, говорит, баловался, потом — шабаш — для здоровья вредно.

— Чем тебя и благодарить, Игнатьич?

— Благодарить? — усмехнется Игнатьич. — Ты бы лучше в лодке прибрался, сам обиходился, руки с песком да с мылом оттер. Чисто чухонец, прости господи! — Оттолкнется веслом Игнатьич, шевельнет шнурок — и готово дело — только его и видели! Летит дюралька вдаль, усы на стороны, из-за поворота иль из-за острова еще долго слышен голосок, и, пока не умолкнет в просторах нежный звон мотора, полоротое торчит рыбаком среди лодки и удрученно размышляет: в одной деревне родился, в одной школе учились, в одни игры играли, одним хлебом вскормлены, а поди ж ты!.. «Шшоткой руки! С мылом! Шшотка сорок копеек стоит, мыло шешнадцать!»

И примется хозяин лодки со вздохом наматывать шнур на скользкий от бензина и копоты маховик, с некоторой пристыженностью и досадой в душе на свою неладность, а если прямо сказать — на недоделанность.

Само собой, ловил Игнатьич рыбу лучше всех и больше всех, и это никем не оспаривалось, законным считалось, и завидовать никто ему не завидовал, кроме младшего Утробина, который всю жизнь чувствовал себя на запятках у старшего брата, а был с мозглятинкой — гнильцой самолюбия, не умел и не хотел скрывать неприязни к брату и давно уже, давно они отурились друг от друга, встречались на реке да по надобности — в дни похорон, свадеб, крестин. Игнатьич имел лучший в поселке дом, небольшой, зато самый красивый, с верандочкой, с резными наличниками, с весело выкрашенными ставенками, с палисадником под окнами, в котором росли малина, черемуха, цветки ноготки, мохнатые маки и неизвестные здешнему народу шаровидные цветы, корни которых похожи на брюковки. Привезла их из Фрунзе и приучила расти в суровом чушанском климате жена Игнатьича, работавшая бухгалтером на одном с мужем предприятии.

Слух был, что у Игнатьича лежит на книжке семьдесят тысяч старыми. Игнатьич слухи эти не опроверг, болтливую работницу сберкассы, выдавшую «тайну вклада», не одернул, но счет свой перевел в Енисейск. И притихла работница сберкассы, старалась на улице с Игнатьичем не встречаться, если раз, минуться все же не удавалось, опускала глаза и, торопливо пробега, навеличивала: «Здрасте, Зиновий Игнатьич!»

У Игнатьича стояло возле Опарихи три конца. Чуть на отшибе от фарватера, чтоб не получилось, как у Куклина, не нашел бы темной осенней ночью лодку нос парохода и не клюнул бы ее. Однако и в сторонке от стрежи дивно брал стерлядей Игнатьич. Младший братан — чеченская каторжная рожа — окружал концы старшего брата своими концами. Сокрушенно покачив головой, Игнатьич поднимал тяжелые якорницы, переставлял самоловы выше по реке и снова брал рыбу уловисто.

Командор не отступал, давил братца и таки вытеснил его за

Золотую каргу, почти «в поле чисто». И отступился, полагая, что теперь-то братец шиш обрыбится. Но на новом месте пошла на самолёвы Игнатьича стерлядь хоя и реже, зато самая отборная, мельче килограмма, считай, не попадалось. И тронуло суеверные души чалдонов подозрение: «Слово знает!» Командор увидел как-то лодку брата, самосплавом идущую по реке, и покажись ему, что старший ехидно усмехнулся. Командор схватил ружье, щелкнул курками. Игнатьич побледнел, подфбрался. «Опусти ружье, молокосос! В тюрьме сгною...» — «Не-на-ави-и-жу-у-у!» — взвыл Командор и, отбросив ружье, затопал сапогами, топтал рыбу так, что хрыстало под подошвами: — Сгинь! Пропади! Застрелю!..» — «Хар-рош! Ох, хар-р-рош! Ни ума, ни закliku, как говорится! Не зря мать-покойница каялась, не зря, что в зыбке не прикинула тебя подушкой!..» — Игнатьич плюнул и умчался не оглядываясь.

Но даже молчаливая фигура старшего Утробина за рулем — вызов Командору, скорготал он зубами, клялся про себя нащупать самолёвы очесливого братца и осадой, измором, нахрапом ли выжить его с реки или загнать в такой угол, где ерш — и тот не водится.

До войны в низовьях Енисея серединой лета эвенки, селькупы и нганасаны ставили по берегу чумы и ловили подпусками — переметами красную рыбу, наживляя на уды кусочки подкопченных над очагами вьюнов. Очень лакомые, видать, эти кусочки, коли дурило-осетрище хватает их вместе с почти голым крючком. К цевью уд боёе всегда навязывали тряпочки, берестинки, ленточки. Но они везде и всюду любят делать украшения, и на одежду свою нашивают всякую всячину, и на обувь, однако из-за тряпочек этих, из-за нюха ль совершенно верного брали они рыбу центнерами. Наезжие артельщики, по сезонному договору промышляющие рыбу, возле тех же песков или островов паслись, но возмут двух-трех осетришек, стерляди на варю — и вся добыча. И тогда, переломив стыд и сердце, начинали они притираться своими наплавами к снастям боёе. «Почто так делаешь? Рыпы плавают мноко. Засем по реке колесишь, засем снасти путаешь?» Кочевали с места на место боёе, теряя дорогое промысловое время, но рыбу брали и брали, а наезжие, тика в тик у бросившие переметы туда, где рыбачили инородцы, вынали голые крючки.

И таким-то дубакам, как в Чуши рекут наезжих хапуг, уподобился местный житель, исконный рыбац, да еще и руку поднял на человека, да и не просто на человека, на брата, да и не просто руку — ружье! Поселок упивался скандалом, перевещал новость со двора во двор, катил ее колесом.

Жена Командора глаз не казала на улицу.

— Ты чё, совсем уж залил оловянные шары! — наступала она на мужа. — Совсем выволчилсь! Мало тебе дочери, кровинки! Брата родного свести со свету готов! Давай уж всех нас заодно...

В прежнее время за такую дерзость он бы искуделил супру-

гу, исполосовал бы так, что до прощенного дня хватило, но после гибели Тайки вызубилась она, потеряла всякий страх, чуть что — прет на него всем корпусом, тюрьмой грозит, глаза аж побелеют, щеки брызгло дрожат, голова трясется — чувствует баба: свергнут грозный чеченец в самом себе, добывает, дотаптывает, стерва.

И отправился на поклон к брату младший Утробин. Через дорогу плелся будто через тюремный двор. Игнатич дрова колот, издали приметил брата, задом к нему поворотился, еще старательней половинил березовые чурки. Командор кашлянул — брат дрова колет, из-за тюлевой занавески в окно встревоженно выглядывала пухленькая, меднорожая жена Игнатича в легоньком, кружевами отделанном халатике. Взять бы за этот халат да теремок подпалить — крашенный-то эк пластал бы! Командор сдавил коричневыми лапищами штaketник так, что вот-вот серу из дощечек выжмет.

— Пьяный был дак...

Игнатич воткнул топор, повернулся, кепку поправил.

— А пьяному, что ли, закон не писан? — помолчал и слово в школе принялся поучать: — Не по-людски ведешь себя, брательник, не по-людски. Мы ведь родня как-никак. Да и на виду у людей, при должностях...

Командор с детства всяких поучителей переносить не мог, ну просто болел нутром при одной только попытке со стороны людей чего-то выговорить ему, подсказать, сделать назидание. Отволохай, отлупи, рожу всю растворюжь, но не терзай словами. И ведь знает, знает характер младшего старший брат, но, видишь ты, в кураж впал и не повинную голову сечет, а кишки перепиливает, перегрызает, можно сказать. «Ну-ка, давай, давай! Ты у нас наречистый, ты у нас громкой! Покажи свою разумность, выставь мою дурь напоказ. Баба твоя ухо наострила. Хлебат всеми дырками, какие у ей есть, слова твои кисельные. То-то завтра в конторе у ей работы будет, то-то она потешится, то-то потрясут мою требуху, мои косточки служащие дамочки!»

И ведь вот что занятней всего — говорит-то старший брат путем все, в точку. И насчет населения поселка, которому только и надо, чтоб браться в топоры. Потеха! Развлечение! И насчет работы — симут с должности капитана, коли пьянствовать не бросит. И насчет промысла темного, хитрого, который надо соизно вести — Кукин-чудотворец завещал, — голимая все правда, но вот вроде как близирничает братец, спектакль бесплатный устраивает, тешит свою равномерную душу, вот-вот и Тайку, пожалуй, помянет. Тогда не вынести Командору — топор выхватит...

Командор скрипнул зубами, махнул у лица рукой, словно кого отлепляя, и скорее домой подался, и тоже взялся колоть дрова на зиму, да с такой силой крушил дерево, что которые поленья аж через заплот перелетали, и кто-то крикнул с улицы: «Пли!», баба заругалась: «Эко, эко лешаки-то давят! Не рабливат, не рабливат, возьмется, дак и правда што как на вой-

не!..» В работе Командор немного разрядился, отошел, мысли в нем выпрямились, не клубились в башке, не путались, разума не затемняли. «Вечно так не будет, — с каким-то непривычным для него тоскливым спокойствием решил он, — где-то, на чем-то, на какой-то узкой тропинке сойдемся с братцем так, что не разойтись...»

В студеный осенний морок вышел Игнатыч на Енисей, завис на самолোвах. Перед тем как залечь на ямы, оцепенеть в долго зимней дремотности, красная рыба жадно кормилась окуклившимся мормышем, ошивалась, как нынешние словотворцы говорят, возле подводных каменных гряд, сытая играла с пробками и густо вешалась на крючья.

С двух первых самоловов Игнатыч снял штук семьдесят стерлядей, заторопился к третьему, лучше и уловистей всех стоящему. Видно, попал он им под самую каргу, а это дается уж только мастерам высшей пробы, чтоб на грядку самую не бросить — зависнет самол, и далеко не сплыть — рыба проходом минует самол. Чутье, опыт, сноровка и глаз снайперский требуются. Глаз острится, нюх точится не сам собою — с малотчества побратайся с водою, постынь на реке, помокни и тогда уж шарься в ней, как в своей кладовке...

К третьему концу Игнатыч попал затемно, ориентир на берегу — обсеченная по маковку елка, так хорошо видная темной колоколенкой даже на жидком свету, уперлась в низкие, брюхатые тучи, мозглый воздух застелил берег, река, жестяно и ровно отблескивающая в ночи, ломала и скрадывала расстояние. Пять раз заплывал рыбак и тянул «кошку» по дну реки, времени потерял уйму, промерз вроде бы до самых костей, но зато, лишь подцепил и приподнял самол, сразу почувствовал: на нем крупная рыбина!

Он не снимал стерлядь с крючков, а стерляди, стерляди!.. Бурлила, изогнувшись в калач, почти на каждой уде стерлядка, и вся живая. Иные рыбины отцеплялись, уходили, которая сразу вглубь, которые подстреленно выбрасывались и шлепались о воду, клевали острием носа борт лодки — у этих поврежден спинной мозг, визига проткнута, этой твари конец — с порченным позвоночником, с проткнутым воздушным пузырем, с порванными жабрами рыба не живет. Налиц, на что крепкая скотина, но как напорется на самол, уды — дух из него вон и кишки на телефон.

Шла тяжелая, крупная рыбина, била по тетиве редко, уверенно, не толкалась попусту, не делала в панике тычков туда-сюда. Она давила вглубь, вела в сторону, и чем выше поднимал ее Игнатыч, тем грузнее она делалась, остойчивей упиралась. Добро, хоть не делала резких рывков — щелкают тогда крючки о борт, ломаются, берегись, не зазевайся, рыбак, — цапнет удой мясо иль одежду, ладно, крючок обломится, ладно, успешь схватиться за борт, пластануть ножом капроновое коленце, которым прикреплена к хребтовине самол, уда, иначе...

Незавидная, рискованная доля браконьера: возьми рыбу да при этом больше смерти бойся рыбнадзора — подкрадётся во тьме, сцапает — сраму наберешься, убытку не сочтешь, сопротивляться станешь — тюрьма тебе. На родной реке татем живешь и до того выдрессировался, что ровно бы еще какой, неведомый, дополнительный орган в человеке получился — вот ведет он рыбу, болтаясь на самоловном конце, и весь в эту работу ушел, азартом захвачен, устремления его — взять рыбу, и только! Глаза, уши, ум, сердце — все в нем направлено к этой цели, каждый нерв вытянут в ниточку, через руки, через кончики пальцев припаян рыбак к тетиве самолова, но что-то иль кто-то там, повыше живота, в левой половине груди живет своей, отдельной жизнью, будто пожарник, несет круглосуточно неусыпное дежурство. Игнатьич с рыбиной борется, добычу к лодке правит, а оно, в груди-то, ухом поводит, глазом недреманным тьму ощупывает. Вдали огонек мелькнул, оно уж трепыхнулось: какое судно? Опасность от него? Отцепляться от самолова? Пускать рыбину вглубь? А она, живая, здоровенная, может изловчиться и уйти. Напряглось все в человеке, поредели удары сердца, слух напряжён до звона, глаз силится быть сильнее темноты, вот-вот прошьет тело током, красная лампочка внутри заморгает, как в пожаре: «Опасность! Опасность! Горим! Горим!»

Пронесло! Грузовая самоходка, похрюкивая, будто племенной порос со свинофермы Грохотало, прошла серединой реки. Следом грустный кораблик неспешно волокся, музыка на нём играла однотонная, протяжная, на вой метели похожая, и под эту музыку на верхней, слабо освещенной палубе умирали три парочки, плотно сцепившись перед кончиной и уронив друг дружке бессильные головы на плечи. «Красиво живут, — Игнатьич даже приостановил работу, — как в кино!»

В этот миг заявила о себе рыбина, пошла в сторону, зашелкали о железо крючки, голубые искорки из борта лодки выскочили. Игнатьич отпрянул в сторону, стравливая самолов, разом забыв про красивый кораблик, про парочки, не переставая, однако, внимать ночи, сомкнувшейся вокруг него. Напомнив о себе, как бы разминку сделав перед схваткой, рыбина унялась, перестала диковать и только давила, давила вниз с тупым, непоколебимым упрямством. По всем повадкам рыбы, по грузному, этому слепому давлению во тьму глубин угадывался на самолове осетр, большой, но уже умаянный.

За кормой взбурлило грузное тело рыбины, вертанулось, забунтовало, разбрасывая воду, словно лохмотья горелого, черного тряпья. Туго натягивая хребтину самолова, рыба пошла не вглубь, вперед пошла на стрежь, охлестывая воду и лодку обрывками коленцев, пробками, удами, ворохом волоча скомканных, умаянных стерлядей, стряхивая их с самолова. «Хватил дурило воздуху. Забусел!» — мгновенно подбирая слабинку самолова, думал Игнатьич и увидел рыбину возле борта лодки. Увидел и опешил: черный, лаково отблескивающий сутунок со вкося, не заподлицо, обрубленными сучьями; крутые бока, решитель-

но означенные остриями плащей, будто от жабер до хвоста рыбина опоясана цепью бензопилы. Кожа, которую обминало водой, щекотало нитями струй, прядущихся по плащам и свивающихся далеко за круто изогнутым хвостом, лишь на вид мокра и гладка, на самом же деле ровно бы в толченом стекле, смешанном с дресвою.

Что-то редкостное, первобытное было не только в величине рыбы, но и в формах ее тела, от мягких, безжильных, как бы червячных, усов, висящих под ровно состругнутой внизу головой, до перепончатого, крылатого хвоста — на доисторического ящера походила рыбина, какой на картинке в учебнике по зоологии у сына нарисован.

Течение на стрежи вихревое, рваное. Лодку шевелило, поводило из стороны в сторону, брало струями на отур, и слышно было, как скрежещут о металл рыскающей дюральки плащи осетра, сточенные, закругленные водой. Летошний осетр еще и осетром не называется, всего лишь костерькой, после — карышем или кастрюком, похож он на диковинно растопыренную шишку или на веретенце, по которому торчат колючки. Ни вида, ни вкуса в костерьке, и хищнику никакому не слопать: распорот костерька — проткнет утробу. И вот поди ж ты, из остроносой колючки этакий боровище вырастает! И на каком питанье-то? На мормыше, на козявках и व्यюнцах. Ну, не загадки ли природы?!

Совсем где-то близко закрикал коростель. Игнатич напрягся слухом — вроде как на воде крикает? Коростель — птица долгоногая, бегучая, сухопутная и летная, давно пора ей убегти в теплую сторону. А вот поди ж ты, крикает. На близком слуху — вроде как под ногами. «Не во штанах ли у меня закрикало?!» Игнатич хотел, чтобы веселые, несколько даже ернические шуточки сняли с него напряжение, вывели бы из столбняка. Но легкое настроение, которого он желал, не посетило его, и азарта, того дикого азарта, жгучей, все поглощающей страсти, от которой воеет кость, слепнет разум, тоже не было. Наоборот, вроде бы как обмыло теплыми, прокислыми шами там, слева, где несло дежурство оно, недреманное ухо. Рыба, а это у нее коростелем скрипел хрящатый рот, выплевывала воздух, долгожданная, редкостная рыба вдруг показалась Игнатичу зловещей.

«Да что же это я? — поразился рыбак. — Ни бога ни черта не боюсь, одну темну силу почитаю... Так, может, в силе-го и дело?» — Игнатич захлестнул тетиву самолова за железную уключину, вынул фонарик, воровато, из рукава осветил им рыбину с хвоста. Над водою сверкнула острыми кнопками круглая спина осетра, изогнутый хвост его работал устало, настороженно, казалось, точат кривую татарскую саблю о каменную черноту ночи. Из воды, из-под костяного панциря, защищающего широкий, покатый лоб рыбины, в человека всверливались маленькие глазки с желтым ободком вокруг темных, с картечины величиною, зрачков. Они, эти глазки, без век, без ресниц, го-

лде, глядящие со змеиной холодностью, чего-то таили в себе. Осетр висел на шести крючках. Игнатич добавил ему еще пяток — боровина даже не дрогнул от острых уколов, просекших сыромятно-твердую кожу, лишь пополз к корме, царапаясь о борт лодки, набирая разгон, чтобы броситься по туге в него бьющей воде, пообрывать поводки самолова, взять на типок\* тетиву, переломать все эти махонькие, ничтожные, но такие острые и губительные железки.

Жабры осетра захлопали чаще, заскрипели решительней. «Сейчас пойдет!» — похолодел Игнатич. Не всем умом, какой-то его частью, скорее опытом он дошел — одному не совладать с таким чудищем. Надо засадить побольше крючков в осетра и бросить конец — пусть изнемогает в глуби. Прискачет младший братец на самоловы, поможет. Уж в чем, в чем, а в лихом деле, в боренье за добычу не устоит, пересилит гордыню. Совхозная самоходка ушла за вырубленной в Заречье капустой, и, пока судно разгрузит овощ, пока затемняет, Командор к Опарихе не явится.

Надо ждать, жда-ать! Ну а дождешься, так что? Делить осетра? Рубить на две, а то и на три части — с братцем механик увяжется, этакий, на бросового человечешку Дамку похожий обормот. В осетре икры ведра два, если не больше. Икру тоже на троих?! «Вот она, вот она, дрянь-то твоя и выявилась! Требуха-то утробинская с мозглятинкой, стало быть, и вывернулась!..» — с презрением думал о себе Игнатич.

Кто он сейчас? Какой его облик выплывает? Лучше Дамки, недобитого бандеровца Грохотало или младшего братца? Все хапуги схожи нутром и мордой! Только иным удастся спрятать себя, притаиться до поры до времени, но накатывает случай, предел жизни наступает, как говаривал покойный Куклин, и сгребает всех в кучу — потом одного по одному распределяет на места. Кто держится на своих собственных ногах, живет своим умом, при любом соблазне хлебает под своим краем, не хватая жирных кусков из общего котла, характер свой на дешевку не размеживает, в вине себя не топчит, пути своей жизни не кривит — у того человека свое отдельное место в жизни и на земле, им заработанное и отвоеванное. Остальное все в хлам, в утиль, на помойку! «Ах, умница-разумница!» — усмехнулся Игнатич. — Все-то ты разумеешь, все-то тямлишь! Игрунчик! Докажи, каков рыбак?» — разуживал, распалаял самого себя старший Утробин.

Чалдонская настырность, самолюбство, жадность, которую он почел азартом, ломали, корежили человека, раздирали на части. — Не трожь! Не тро-о-ожь! — остепенял он себя. — Не осилить!..

Ему казалось, если говорить вслух, то как бы со стороны кто-то с непритухшим разумом глаголет, и от голоса его возможно отрезветь, но слова звучали отдельно, далеко, глухо. Лишь слабый их отзвук достигал уха ловца и совсем не ка-

\* На типок — на разрыв.



сая разума, занятого лихорадочной работой, — там планировались действия, из нагромождений чувств выскребалась деловитость, овладевая человеком, направляла его — он подскребал к себе топорик, острый крюк, чтоб поддеть им оглушенную рыбину. Идти на веслах к берегу он не решался, межень прошла, вода поднялась с осенней завирухи-мокрети, рвет, крутит далеко до берега, и рыба на мель не пойдет, только почувствует сторожным икряным брюхом твердь — такой кордебалет выкинет, такого шороху задаст, что все веревочки и уды полетят к чертям собачьим.

Упускать такого осетра нельзя. Царь-рыба попадаетеся раз в жизни, да и то не всякому Якову. Дамке отродясь не попадала и не попадетсся — он по реке-то не рыбачит, сорит удами...

Игнатьич вздрогнул, нечаянно произнеся, пусть и про себя, роковые слова — больно уж много всякой всячины наслушался он про царь-рыбу, хотел ее, богоданную, сказочную, конечно, увидеть, изловить, но и робел. Дедушко говаривал: лучше отпустить ее, незаметно так, нечаянно будто отпустить, перекреститься и жить дальше, снова думать об ней, искать ее. Но раз произнеслось, вырвалось слово, значит, так тому и быть, значит, брать за жабры осетрину, и весь разговор! Препоны разорвались, в голове, в сердце твердость — мало ли чего плели ранешние люди, знахари всякие и дед тот же — жили в лесу, молились колесу...

«А-а, была не была!» — удало, со всего маху Игнатьич жакнул обухом топора в лоб царь-рыбу и по тому, как щелкнуло звонко, без отдачи гукнуло, догадался — угодило вскользь. Надо было не со всей дурацкой силы бить, надо было стукнуть коротко, зато поточнее. Повторять удар некогда, теперь все решалось мгновениями. Он взял рыбину крюком на упор и почти перевалил ее в лодку. Готовый издать победный вопль, нет, не вопль — он ведь не городской придурок, — он от веку рыбак, просто тут, в лодке дать еще разок по выпуклому черепу осетра обухом и рассмеяться тихо, торжественно, победно.

Вдох, усилне — крепче в борт ногою, тверже упор. Но находившаяся в столбняке рыба резко вертанулась, ударилась об лодку, громыхнула, и черно поднявшимся ворохом не воды, нет, комьями земли взорвалась. река за бортом, ударило рыбака тяжестью по голове, дагнуло на уши, полоснуло по сердцу. «А-ах!» — вырвалось из груди, как при доподлинном взрыве, подбросившем его вверх и уронившем в немую пустоту. «Так вот оно как, на войне-то...» — успел он еще отметить. Разгоряченное борьбой нутро оглушило, стиснуло, ожгло холодом.

Вода! Он хлебнул воды! Тонет!

Кто-то тащил его за ногу в глубину. «На крючке! Зацепило! Пропал!» — и почувствовал легкий укол в голень — рыба продолжала биться, садить в себя и в ловца самоловные уды. В голове Игнатьича тоскливо и согласно, совсем согласно зазвучала вялая покорность. «Тогда что ж... Тогда все...» Но был ловец сильным мужиком, рыба выдохшейся, замученной, и он

сумел передолжить не ее, а сперва эту вот, занимающуюся в душе покорность, согласие со смертью, которое и есть уже смерть, поворот ключа во врата на тот свет, где, как известно, замки для всех грешников излажены в одну сторону: «у райских врат стучаться бесполезно...»

Игнатич выбил себя наверх, отплюнул, хватил воздуха, увидел перед глазами паутинку тетивы, вцепился в нее и уже по хребтовине тетивы подтянулся к лодке, схватился за борт — дальше не пускало — в ноги воткнулось еще несколько уд спутанного самолова. Очумелая рыба грузно ворочалась на ослабевшем конце, значит, сдвинула стантовую якорницу, увязывала самолов, садила в себя крючок за крючком, и ловца не облетало. Он старался завести ноги под лодку, плотнее прильнуть к ее корпусу, но уды находили его, и рыба, хоть и слабо, рывками, ворочалась во вспененной саже, взблескивая пилою спины, заостренной мордой, будто плугом, вспахивала темное поле воды.

«Господи! Да разведи ты нас! Отпусти эту тварь на волю! Не по руке она мне!» — слабо, без надежды взмолился ловец. Икон дома не держал, в бога не веровал, над дедушкиными наказаниями насмехался. И зря. На всякий, на хоть бы вот на такой, на крайний случай следовало держать иконку, пусть хоть на кухоньке, в случае чего — на покойницу мать спереть можно было — оставила, мол, завещала...

Рыба унялась. Словно бы ощупью приблизилась к лодке, навалилась на ее борт — все живое к чему-нибудь да жметесь! Ослепшая от удара, отупевшая от ран, надранных в теле удами и крюком-подцепом, она щупала, щупала что-то в воде чуткими присосками и острием носа уткнулась в бок человеку. Он вздрогнул, ужаснулся, показалось, рыба, хрустя жабрами и ртом, медленно сжевывала его заживо. Он попробовал отодвинуться, перебираясь руками по борту накренившейся лодки, но рыба продвигалась за ним, упрямо нащупывала его и, ткнувшись хрящом холодного носа в теплый бок, успокаивалась, скрипела возле сердца, будто перепиливала над реберье тупой ножовкой и с мокрым чавканьем вбирала внутренности в раззявленный рот, точно в отверстие мясорубки.

И рыба и человек слабели, истекали кровью. Человечья кровь плохо свертывается в холодной воде. Какая же кровь у рыбы? Тоже красная. Рыбья. Холодная. Да и мало ее в рыбе. Зачем ей кровь? Она живет в воде. Ей греться ни к чему. Это он, человек, на земле обитает, ему в тепло нужно. Так зачем же, зачем перекрестились их пути? Реки царь и всей природы царь — на одной ловушке. Караул их одна и та же мучительная смерть. Рыба промучается дольше, она у себя дома, и ума у нее не хватит скорее кончить эту волюнку. А у него ума достанет отпустить от борта лодки. И все! Рыба одавит его вглубь, затреплет, истычет удами, поможет ему...

«Чем? В чем поможет-то? Сдохнуть? Окочуриться? Не-ет! Не дамся, не да-а-амся!..» — Ловец крепче сжал твердый борт лодки, рванул из воды, попробовал обхитрить рыбу, с нахлы-

нувшей злостью взяться на руках и перевернуться за такой близкий борт такой невысокой лодки!

Потревоженная рыба раздраженно чавкнула ртом, изогнулась, повела хвостом, и тут же несколько укусов, совсем почти неслышных, комариных, щипнуло ногу рыбака. «Да что же это такое!» — всхлипнул Игнатич, обвисая. Рыба тотчас успокоилась, придвинулась, сонно ткнулась уже не в бок, а под мышку ловца, и оттого, что не было слышно ее дыхания, слабо шевелилась над ней вода, он притаенно обрадовался: рыба засыпает, утомило ее воздухом, истекла она кровью, выбилась из сил в борьбе с человеком, вот-вот опрокинется вверх брюхом.

Он, затихнув, ждал, чувствуя, что и сам погружается в дрему.

Словно ведая, что они повязаны одним смертным концом, рыба не торопилась разлучаться с ловцом и с жизнью, рулила хвостом, крыльями, удерживая себя и человека на плаву, работала жабрами, и чудился человеку убаюкивающий скрип сухого очепы зыбки. Морок успокоительного сна накатывал на человека, утишая его тело и разум.

Зверь и человек, в мор и пожары, во все времена природных бед, не раз и не два оставались один на один — медведь, волк, рысь — грудь в грудь, глаз в глаз, ожидая смерти иной раз много дней и ночей. Такие страсти, ужасы об этом сказывались, но чтобы повязались одной долей человек и рыба, холодная, туполобая, в панцире плащей, с желтенькими, восково плавающими глазками, похожими на глаза не зверя, нет — у зверя глаза умные, а на поросычьи, бессмысленно-сытые глаза — такое-то на свете бывало ль?

Хотя на этом свете все и всякое бывало, да не все людям известно. Вот и он, один из многих человек, обессилеет, очоченеет, отпустится от лодки, уйдет с рыбой в глубь реки, будет там болтаться, пока коленца не отопреют. А коленца-то капроновые, их до зимы хватит! И кто узнает, где он? Как он кончился? Какие муки принял? Вон старик-то Куклин года три назад где-то здесь же, возле Опарихи, канул в воду, и с концами. Лоскутка не нашли. Вода! Стихия! В воде каменные гряды, расщелья, затащит, втолкнет куда...

Однажды он видел утопленника. Тот на дне реки лежал, подле самого берега. Выпал, должно быть, с парохода, почти к суше прибил, да не знал того и сдался. А может, сердце отказало, может, пьяный был, может, и другое что стряслось — не выяснишь. Глаза утопленника, подернутые свинцовой пленкой, пленкой смерти, до того были огромны и круглы, что не вдруг и верилось, будто человечьи то глаза. Разгляделся Игнатич, съезжился — так велики, так уродливо вывернуты глаза за утопшего оттого, что рыба-мелочишка выщипала ресницы; веки обсосала, и ушли рыбешки под кругляши глаз. Из ушей и ноздрей человека торчали пучками хвосты сладко присосавшихся к мясу налимишек и выюнов, в открытом рту клунились голявы.

— Не хочу-у! Не хочу-у-у! — дернулся, завизжал Игнатич

ич и принялся дубасить рыбину по башке. — Уходи! Уходи! Уходи-и-и!

Рыба отодвинулась, грузно взбурлила воду, потащив за собой ловца. Руки его скользили по борту лодки, пальцы разжались. Пока колотил рыбину одной рукой, другая вовсе ослабела, и тогда он подтянулся из последних сил, достал подбородком борт, завис на нем. Хрустели позвонки шеи, горло сипело, рвалось, однако рукам сделалось полегче, но тело и особенно ноги отдалились, чужими стали, правую ногу совсем не слышать.

И принялся ловец уговаривать рыбу скорее умереть.

— Ну что тебе! — дребезжал он рванным голосом, с той жалкой, притворной лестью, которую в себе не предполагал. — Все одно околеешь, — подумалось: вдруг рыба понимает слова! Поправился: — Уснешь. Смирись! Тебе будет легче, и мне легче. Я брата жду, а ты кого? — и задрожал, зашлепал губами, гаснущим шепотом зовя: — Бра-ате-ель-ни-и-ик!..

Прислушался — никакого отзвука. Тишина. Такая тишина, что собственную душу, сжавшуюся в комок, слышно. И опять ловец впал в забытие. Темнота сдвинулась вокруг него плотнее, в ушах зазвенело, значит, совсем обескровел. Рыбу повернуло боком — она тоже завяла, но все еще не давала опрокинуть себя воде и смерти на спину. Жабры осетра уже не крикали, лишь поскрипывали, будто крошка короед подтачивал деревянную плоть, закислевшую от сырости под толстой шубой коры.

На реке чуть посветлело. Далекое небо, луженное изнутри луной и звездами, льдистый блеск которого промывался меж ворохами туч, похожих на торопливо сгребенное сено, почему-то не сметанное в стога, сделалось выше, отдаленней, и от осенней воды пошло холодное свечение. Наступил поздний час. Верхний слой реки, согретой слабым солнцем осени, остудило, сняло, как блин, и бельмастый зрак глубин со дна реки проник наверх.

Не надо смотреть на реку. Зябко, паскудно на ней ночью. Лучше наверх, на небо смотреть.

Вспомнился покос на Фетисовой речке, отчего-то желтый, ровно керосиновым фонарем высвеченный или лампадкой. Покос без звуков, без движения какого-либо и хруста под ногами, теплого, сенного хруста. Среди покоса длинный зачесанный зарод с острием жердей, торчащих по полого осевшему верху. Почему же все желтое-то? Безголосое? Лишь звон густеет — ровно бы под каждым стерженьком скошенной травы по махонькому кузнецу утаилось, и без передыху звонят они, заполняя все вокруг нескончаемой, однозвучной, усыпляющей музыкой пожухлого, вялого лета. «Да я же умираю! — очнулся Игнатич. — Может, я уж на дне? Желто все...»

Он шевельнулся и услышал рядом осетра, полусонное, ленивое движение его тела почувствовал — рыба плотно и бережно жалась к нему толстым и нежным брюхом. Что-то женское было в этой бережности, в желании согреть, сохранить в себе зародившуюся жизнь.

«Да уж не оборотень ли это?!»

По тому, как вольготно, с сытой леностью подремывала рыба на боку, похрустывала ртом, будто закусывая пластиком капусты, упрямое стремление ее быть ближе к человеку, лоб, как бы отлитый из бетона, по которому ровно гвоздем процарапаны полосы, картечины глаз, катающиеся без звука под панцирем лба, отчужденно, однако ж не без умысла вперившиеся в него, бесстрашный взгляд — все-все подтверждало: оборотень! Оборотень, вынашивающий другого оборотня, греховное, человеческое есть в сладостных муках царь-рыбы, кажется, вспоминает она что-то тайное перед кончиной.

Но что она может вспоминать, эта холодная водяная тварь? Шевелит вон щупальцами-червячками, прилипшими к лягушечьей жидкой коже, за усами беззубое отверстие, то сжимающееся в плотно западающую щель, то отпрыгивающее воду в трубку, рот похож на что-то срамное, непотребное. Чего у нее еще было, кроме стремления кормиться, копаясь в илестом дне, выбирая из хлама козявок? Нагуливала она икру и раз в году терлась о самца или о песчаные водяные дюны? Что еще было у нее? Что? Почему же он раньше-то не замечал, какая это отвратная рыба на вид! Отвратно и нежное бабье мясо ее, едва скрепленное хрящами, засунутое в мешок кожи; ряды панцирей в придачу, и нос, какого ни у одной рыбы нет, и эти усы-червяки, и глазки, плавающие в желтушном жиру, требуха, набитая грязью черной икры, какой тоже нет у других рыб, — все-все отвратно, тошнотно, похабно!

И из-за нее, из-за этакой гады забылся в человеке человек! Жадность его обуяла! Померкло, отодвинулось в сторону даже детство, да детства-то, считай, и не было. В школе с трудом и мукой отсидел четыре зимы. На уроках, за партой, диктант пишет, бывало, или стишок слушает, а сам на реке пребывает, сердце дергается, ноги дрыгаются, кость в теле воем — она, рыба, поймалась, идет! Сколь помнит себя, все в лодке, все на реке, все в погоне за нею, за рыбой этой клятой. На Фетисовой речке родительский покос дурниной захлестнуло. В библиотеку со школы не заглядывал — некогда. Был председателем школьного родительского комитета — содвинули, переизбрали — не заходит в школу. Наметили на производстве депутатом в поссовет — трудяга, честный производственник, и молча отвели — рыбачит втихую, хапает, какой из него депутат? В народную дружину, и в ту не берут, забраковали. Справляйтесь сами с хулиганами, вяжите их, воспитывайте, ему некогда, он все время в погоне. Давят машинами, режут ножами людей, носятся по поселку одичалые пьяницы с ружьями и топорами? Его не достанешь! Ан и достали! Тайку-то, любимицу!..

А-ах ты, гад, бандюга! Машиной об столб, юную, прекрасную девушку, в цвет входящую, бутончик маковый, яичко голубинное — всмятку. Девочка небось в миг последний отца родного, дядю любимого пусть про себя кликнула. А они? Где были они? Чего делали?

Опять дед вспомнился Поверья его, ворожба, запуки: «Ты как поймаш, Зиновей, малу рыбку — посеки ее прутом. Сыми с уды и секи, да приговаривай: «Пошли тятю, пошли маму, пошли тетку, пошли дядю, пошли дядину жану!» Посеки и отпущай обратно и жди. Все будет сполнено, как ловец велел». Было, сек прутом рыбину, сперва взаправду, подрост — с ухмылкой, а все же сек, потому что верил во всю эту трахамудию — рыба попадалась и крупная, но попробуй разбери, кто тут тятя, кто тут дядя и кто дядина жена... Вечный рыбак, лежучи на печи со скрученными в крендель ногами, дед беспрестанно вешал голосом, тоже вроде бы от ревматизма искрученным, перемерзлым: «А ешли у вас, робяты, за душой што есь, тяжкий грех, срам какой, варначество — не вяжитесь с царью-рыбой, попадется коды — отпущайте сразу. Отпущайте, отпущайте!.. Ненадежно дело варначь».

Ни облика, ни подробностей жизни деда, ни какой-нибудь хоть маломальской приметы его не осталось в памяти, кроме рыбацких походов да заветов. Этот вот другоряд за сегодня вспомнился. Припекло! Но какой же срам, какое варначество за ним такое страшное, коль так его скрутило?

Игнатъич отпустился подбородком от борта лодки, глянул на рыбину, на ее широкий бесчувственный лоб, бронєю защищающий хрящевину башки, желтые и синие жилки-былки меж хрящом путаются, и озаренно, в подробностях обрисовалось ему то, от чего он оборонялся всю почти жизнь, и о чем вспомнил тут же, как только попался на самолет, но отжимал от себя навajдение, оборонялся нарочитой забывчивостью, однако дальше сопротивляться окончательному приговору не было сил.

Пробил крестный час, пришла пора отчитаться за грехи.

...Глашка Куклина, девка на причуды и выдумки гораздая, додумалась однажды вываренный осетровый череп приспособить вместо маски, да еще и лампочку от фонарика в него вделала. Как первый раз в темном зале клуба явилась та маска, народ едва рамы на себе не вынес. Страх, как блуд, и пугает, и манит. В Чуши с той поры балуются маской малы и велики.

С Глашки-то Куклиной все и начинается.

В сорок втором году на чушанскую лесопилку пригнали трудармейцев — резать доски на снарядные ящики. Команду возглавлял тонкий да звонкий лейтенант, из госпиталя. С ордеиом, раненый боевой командир появился в Чуши первый и скромностью никого удивлять не собирался, девок, млеющих перед его красотой и боевыми заслугами, он шелкал, как орехи. Само собой, орлиным своим взором лейтенант не мог обойти видную деваху Глашку Куклину. Где-то в узком месте подзажал он ее, и потекли по Чуши склизкие слухи.

Игнатъич, тогда еще просто Зинка, Зиновий, или Зиновей, как звал его дедушка, за жабры присуху-Глашку и к ответу. На грудь ему Глашка пала: «Сама себя не помнила... Роковая ошибка...» — «Ошибка, значит? Роковая! Хор-рошо-о! Но за ошибку ответ держат! За роковую — двойной!» Виду, однако,

кавалер никакого не показал, погуливал, разговорчики с дролей разговаривал, когда и пощупает, но в пределах необходимой вежливости.

Ближе к весне боевого командира из тыла отозвали. Вдохнули мамы с облегчением, улеглись страсти и слухи в поселке. Глашка оживать начала, а то как не в себе пребывала.

В разлив, в половодье, когда ночи сделались совсем коротки и по-весеннему шатки, птицы пели за околицей и по лугам считай что круглосуточно, молодой кавалер увел Глашку за поско-тину, к тонко залитой внешне водой пойме, прижал девуку к вербе, оглоданной козами, зацеловал ее, затискал, рукою полез, куда велели мужики, науськавшие парня во что бы то ни стало расквитаться с «изменщицей». «Что ты, что ты! Нельзя!» — взмолилась Глашка. «Лейтенанту можно?! А я тоже допризывник. Старшим лейтенантом, глядишь, стану!»

Как он Глашке про лейтенанта брякнул, она и руки уронила.

Поначалу-то он забыл и про месть, и про лейтенанта, поначалу он и сам себя худо помнил. Это уж потом, когда пых прошел, когда туман с глаз опал, снова в памяти высветлился лейтенант, чернявый, в сгармошенных сапогах, орден и значок на груди его сверкают, нашивка за фронтовую рану огнем горит! Это как стерпеть? Как вынести ревнивому сердцу? Трусовато оглядываясь, кавалер сделал то, чему учили старшие дружки: поставил покорную девуку над обрывистым берегом, отвернул лицом к пойме, спустил с нее байковые штанишки, крашенные домодельной краской, с разномастными, колотыми вальком, пуговицами, эти пуговицы и запомнились сильнее всего, потому что бедный девичий убор приостановил было пакостные намерения. Но уже хотелось изображать из себя ухаля, познавшего грех, — это придавало храбрости мокрогубому молодцу. Словом, поддал он хнычущей, трясущейся девчонке коленом в зад, и она полетела в воду. Пакостник с мозгой — место выбрал мелкое, чтоб не утонула часом ухажерка, послушал, посмотрел, как белопузой нельмой возится, шлепается на мелководье девчонка, путаясь в исподине, словно в неводе, завывая от холода, выкашливая из себя не воду, а душу, и трусовато посеменил домой.

С той поры легла меж двумя человеками глухая, враждебная тайна.

Отслужив в армии в городе Фрунзе, Зиновий привез с собой жену. Глаха тем временем тоже вышла замуж за инвалида войны, тихого приезжего мужика, который выучился на счетовода, пока валялся в госпитале. Жила Глаха с мужем скромно, растила троих ребят. Где-то в глубине души Игнатич понимал, что и замужество ее, и вежливое «здравствуйте, Зиновий Игнатьевич!», произнеся которое Глаха делала руки по швам и скорее пробегала, — все это последствия того надругательства, которое он когда-то над нею произвел.

Бесследно никакое злодейство не проходит, и то, что он сде-

лал с Глахой, чем, торжествуя, хвастался, когда был молокососом, постепенно перешло в стыд, в муку. Он надеялся, что на людях, в чужом краю все быльем порастет, но, когда оказался в армии, так затосковал по родным местам, такой щемящей болью отозвалось в нем прошлое, что он сломался и написал покаянное письмо Глахе.

Ответа на письмо не пришло.

В первый же по приезде вечер он скараулил Глаху у совхозного скотного двора — она работала там дояркой, сказал все слова, какие придумал, приготовил, прося прощения. «Пусть вас бог простит, Зиновий Игнатьевич, а у меня на это сил нету, силы мои в соленый порошок смололись, со слезьми высочилились. — Глаха помолчала, налаживая дыхание, устанавливая голос, и стиснутым горлом завершила разговор: — Во мне не только что душа, во мне и кости навроде как пусты...»

Ни на одну женщину он не поднял руку, ни одной никогда больше не сделал хоть малой пакости, не уезжал из Чуши, неосознанно надеясь смиренным, услужливостью, безблудьем избыть вину, отмолить прощение. Но не зря сказывается: женщина — тварь божья, за нее и суд, и кара особые. До него же, до бога, без молитвы не дойдешь. Вот и прими заслуженную кару, и коли ты хотел когда-то доказать, что есть мужик, — им останься! Не раскисай, не хлюпай носом, молитвов своедельных не сочиняй, притворством себя и людей не обманывай! Прощенья, пощады ждешь? От кого? Природа, она, брат, тоже женского рода! Значит, всякому свое, а богу — богово! Освободи от себя и от вечной вины женщину, прими перед этим все муки сполна, за себя и за тех, кто сей момент под этим небом, на этой земле мучает женщину, учиняет над нею пакости.

— Прос-сти-итеее... се-еэээ... — Не владея ртом, но все же надеясь, что хоть кто-нибудь да услышит его, прерывисто, изорванно засипел он. — Гла-а-а-ша-а-а, прости-и-и. — И попробовал разжать пальцы, но руки свело, сцепило судорогой, на глаза от усилия наплыла красная пелена, гуще зазвенело не только в голове, вроде бы и во всем теле. «Не все еще, стало быть, муки я принял», — отрешенно подумал Игнатьич и обвис на руках, надеясь, что настанет пора, когда пальцы сами собой отомрут и разожмутся...

Сомкнулась над человеком ночь. Движение воды и неба, холод и мгла — все слилось воедино, остановилось и начало каменеть. Ни о чем он больше не думал. Все сожаления, раскаяния, боль, муки отдалились куда-то, он утишался в себе самом, переходил в иной мир, сонный, мягкий, покойный, и только тот, что так давно обретался там, в левой половине его груди, под сосцом, не соглашался с успокоением — он никогда его не знал, сторожил сам и сторожил хозяина, не выключая в нем слух. Густой, комариный звон прорезало напористым, уверенным звоном из тьмы — под сосцом в еще не оставшем теле ткнуло, вспыхнуло, человек напрягся, открыл глаза — по реке звучал мотор «Вихрь». Даже на погибельном краю, уже от-



страненный от мира, он по голосу определил марку мотора и честолюбиво обрадовался прежде всего этому знанию, хотел крикнуть брата, но жизнь завладела им, пробуждала мысль. Первым ее током он приказал себе ждать — пустая трата сил, а их осталась кроха, орать сейчас. Вот заглушат моторы, повиснут рыбаки на концах, тогда зови — надрывайся.

Волна от пролетевшей лодки качнула посудину, ударила о железо рыбу, и она, отдохнувшая, скопившая силы, неожиданно вздыбила себя, почуяв волну, которая откатала ее когда-то из черной, мягкой икринки, баюкала в дни сытого покоя, весело гоняла в тени речных глубин, сладко мучая в брачные времена, в таинственный час икромета.

Удар. Рывок. Рыба перевернулась на живот, нащупала вздыбленным гребнем струю, взбурлила хвостом, толкнулась об воду, и отодрала бы она человека от лодки, с ногтями, с кожей отодрала бы, да лопнуло сразу несколько крючков. Еще и еще била рыба хвостом, пока не снялась с самолова, изорвав свое тело в клочья, унося в нем десятки смертельных уд. Яростная, тяжело раненная, но не укрощенная, она грохнулась где-то уже в невидимости, плеснулась в холодной заверти, буйство охватило освободившуюся, волшебную царь-рыбу.

«Иди, рыба, иди! Поживи скрлько можешь! Я про тебя никому не скажу!» — молвил ловец, и ему сделалось легче. Телу — оттого, что рыба не тянула вниз, не висела на нем сунком, душе — от какого-то, еще не постигнутого умом, освобождения.

## ЛЕТИТ ЧЕРНОЕ ПЕРО

Меж речками Сурнихой и Опарихой возникла палатка цвета сибирских, угольно-жарких купав. Возле палатки полыхал костер, по берегу двигались туда-сюда люди молодецкого телосложения в разноцветных плавках. Они оборудовали на обдуве стан, мастерили ловушки, бодро напевая: «Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново...»

Местные браконьерышки досадовали — опять нагрянули туристы-транзисторщики, которым сделались подвластны необъятные просторы любимой Родины из конца в конец. На «просторах» они так резвятся, что за ними, как после Мамаева войска — сожженные леса, загаженный берег, дохлая от взрывчатки и отравы рыба. Оглушенный шумом и презрением местный народишко часто бывает вынужден бросать дела свои, детей и худобу, потому как дикие туристы бойки на язык, но знать мало чего знают, уметь совсем почти ничего не умеют, блудят и мрут в тайге — ищи их всем народом либо вынай из реки утопленниками.

На сей раз высадились на дикий берег Енисея не туристы, а деловой народ, одержимый идеей — для себя выгодно и для здоровья полезно — провести заслуженный отпуск. Где-то прослышали городские люди, что в местах чушанских, в стране вечно-

зеленых помидоров и непуганых браконьеров, как называл родные берега Командор, — кишмя кишит рыба стерлядь, ловят ее чуть ли не тоннами с помощью примитивной и дурацкой снасти под названием самолов, уды которого даже засечки, по-деревенски — жагры, не имеют. Меж тем стерлядь, по женской дурасти, играя с пробкой, цепляется на уды и замирает — бери ее и ешь или продавай, словом, что хочешь, то и делай.

Их было четверо, нестарых еще людей труда умственного, конторского — так заключили чушанцы, ревниво приглядывающиеся ко всякому человеку, целившемуся что-либо изловить и унести с Енисея. Всю здешнюю округу чушанцы считали собственной, и всякое намерение пошариться в ней расценивалось ими как попытка залезть к ним в карман, потому нечистые намерения разных налетчиков пресекались всеми доступными способами.

Возглавлял приезжих отпускников картавый мужчина с весело сверкающими золотыми зубами, с провисшей грудью, охваченной куржачком волос. Связчики в шутку, но не без почтения именовали его шефом, а всерьез — зубоставом.

— Ну, как гыбка, мужички? — свойски хлопая чушанских браконьершек по плечу, интересовался зубостав.

Перед тем как приниматься за самоловы, чушанские хитрованы непременно подворачивали на огонек — покурить, узнать, как протекает жизнь на магистрали. На самом же деле — выведать, что за люд нагрянул, не согладатаи ли?

Год от года жизнь браконьершек тяжелее делается: рыбоохрана, особенно из края которая, страсть какая ушлая стала. Аппарат придумала — наставит, и все, что думаешь и собираешься делать, узнает, наука, одним словом.

— Рыбка-то? — шарился в голове чушанец. — Рыбка плавает по дну, хрен достанешь хоть одну!..

— Ну, уж сразу и хрен! Хрена-то у нас и дома до хрена! Такие места! — втягивали в разговор чушанца приезжие, угощая сигаретками.

Ощупью подбираясь, тая в глубине насмешку, считая простофилями супротивника и хитрецами себя, чушанцы и отпускники в конце концов уяснили, что союзно им не живать, однако пригодиться друг дружке они могут. Приезжие, не жалея добра, накачали Дамку и Командора спиртом, и те смекнули, что у одного из молодцов жена или теща работает в больнице, может, кто из них и фершал, и всамделишный зубостав — золотом вся пасть забита, оскалится — хоть жмурься, — стало быть, стесняться нечего, успевай дармовщиной пользоваться. Дамка и ночевать остался возле городских, делясь с ними «опытом», хвастаясь напропалую: «Гимзит, прямо гимзит стерлядь, когда ей ход! Да вот не пошла еще. Ждем. Сколько ждать? — Дамка вздымал рыльце в небо и кротко вздыхал: — Тайна природы! Одной токо небесной канцелярии известная!»

Приезжие терпеливо ждали, изготавливали концы, насаживали крючки, между делом азартно дергали удочками вертких

ельцов, мужиковатых, доверчивых характером чебаков, форси-сто-яркого, с замашками дикого бандита, здешнего окуня, валь-яжную сорогу, которая и на крючке не желала шевелиться, ну и, конечно, ерша, всем видом и характером смахивающего на драчливых детдомовцев.

Пробовали наезжие рыбаки удить хариуса и ленка на Сур-нихе и в Опарихе, однако успеха не имели. Комар выдворил их из глушины чернолесья. Отпускники бежали с речки так поспешно, что и удочки вместе с лесками там побросали. Удочки немедленно отыскали местные рыбаки и смотали с них редкостную жилку, под названием «японская». Чушанцы уже изрядно пообобрали отпускников: чего выцганили, чего потихоньку уве-ли, так как наезжие держались вольно, разбросав имущество вокруг стана, по берегу, а глаз чушанца всегда и все, что худо лежит, немедленно уцеливал, натура не позволяла через бесхо-зяйственно лежащее добро переступить.

Время шло, двигалось. Браконьерышки подолгу висели ноча-ми на концах, но утешительных известий не приносили — стер-лядь, да еще ангарская, которая «в роте тает», не шла.

Принялись отпускники чебаков и другую черную рыбешку вя-лить на солнце. Полный рюкзак набили. С пивцом ее зимой да за дружеской беседой — ах, господи ты, боже мой! Вот еще стерлядочки дождутся, центнерок-другой возьмут — больше не надо, не хапуги, половину реализуют, половину по-братски меж собой разбросают, покопят, ящичек железный, коптильный, так и быть, подарят этим дремучим людям.

Спиртик меж тем подошел к концу. Дамка и следом за ним Командор отвалили от палатки, повыгоревшей на солнце и уже не полыхающей жарком. Всякие иные чушанцы тоже утратили интерес к приезжим.

«Значит, стерлядь пошла и охломоны таиться начали!» — осенило отпускников, и они поскорее выметали три самолота. Чтобы не потерять их, наплава повесили, все же опыта нет, всле-пую ловушки не найти. Зато самолеты у приезжих рыбаков — не самолеты — произведения искусства! Пробки крашены в разные цвета, чтоб видней было рыбе. Коленца навязаны, прав-да, как попало и разной длины, вместо якорниц каменюка. Да в этом ли суть? Стерляди, раз она такая игривая дитя, глав-ное — пробка, яркая, пенопластовая, современная, не та, что у чушанских аборигенов, — у них пробки еще доисторической эпохи, когда бутылки закупоривались не железной нахлобучкой, а корой какого-то дерева, чуть ли не из Африки заводного.

Глядя на такие роскошные ловушки, местные браконьерышки пожимали плечами, охотно соглашались: «Конешно, конешно! Где нам? Те-о-о-ом-ность...» Что правда, то правда: дремучестью веяло от этих людей, болотным духом на версту несло.

За сутки на три конца попал пестрый толстопузый налим, живучий, он долго не давался в руки. Четыре уды кто-то ото-рвал, еще четыре поломал.

— Осетг-звөгюга! — тщательно обследовав самолот, корни

обломанных уд и рваные коленца, дрожащим голосом объявил шеф. Артелью решено было переставить самоловы на самый стрежень — как и всем малоопытным рыбакам, им мнилось — чем дальше в реку, тем больше рыбы.

Поздней ночью отпускники закончили трудную работу по перестановке ловушек, повернули к стану, там их Командор поджидает.

— На фарватер не лезьте! — предупредил он и отчужденно добавил: — Под пароход ночью попадет! По реке лишка не рыскайте. Закрестите наши концы — на себя пеняйте! — И выразительно поглядел под ноги, возле которых лежало у него ружье со стволами двенадцатого калибра. Сказал и рванул на дюральке в Чуш. Волна за лодкой бодрая двоилась, в носу лодки, под завязку полный, хрустел, шевелился мешок, по-ранешнему — куль.

Примолкли отпускники — уж больно бандитская харя у джигита. Но шеф на то он и шеф, чтоб силу и дух в коллективе поддерживать, многозначительно сощутив глаза, проговорил:

— Так-так-так!.. — и стукнул кулаком себя по колену: — Темнит загаза! Есть тут место. «Золотая кагга» называется. Усечем — боится! Гужьем запугивает, хамло! О-о-ох и наглец! Пока спигт пил — друг тебе и бгат, не стало спигту — вга!

Лето в середину валило, теплынь, солнце! Прямо за палаткой, вдоль пышной оборки прибрежных кустов, пучки, как какие-нибудь экзотичные растения в джунглях Амазонки, взнялись высокущие, мохнатые, лопушистые! В широко цветущих зонтах дремали шмели и бабочки, на них охотились пичуги, суетились, выбирая из гущи соцветий мушек, тлю и всякий корм детям. Марьин корень дурманом исходил по склонам берегов, лабазник в пойме речки набух крупной, цвел молочай, дрема, вех, бедренец и всякий разный дудник, гармошистые листья куколя, все время бывшие на виду, потухли в громко цветущем дурнотравье, и все ранние цветки унялись, рассорив лепестки по камням берега. Ароматы голову кружили. Теплынь! Нега! Э-эх, девочек не прихватили! Да какая с девочками рыбалка? Блуд один. Бог с ними. Вот наловят стерлядки, накоптят, навялят и такое в городе устроят!..

Будет, все будет. Надо верить и надеяться. А пока вечером таскали окуней, ельцов и чебаков, жарили их по-таежному, на рожне, попросту сказать, на сучках, ели где сырое, где обугленное — не очень-то вкусно, зато экзотично. Поели, запели: «И-я лю-ублю-у-у тебя, жизнь!..» Сладостные предчувствия, накатывающие на человека во время цветения природы, сулили нечто необыкновенное, томили, словно в юности, накануне первого свидания. И только комары — наказание человеку от природы за его блудные дела и помышления, не давали полностью отдаться природе и насладиться ею до конца. Они даже в палатку набивались, проклятые. Не раз сшибали отпускники палатку со стояков, норовя кулаком попасть в эту махонькую скотинку, способную довести человека до нервных припадков.

Утром, под прикрытием легкого парка, дымящегося над рекой, отпускники выплыли на концы с предчувствием удачи и сняли трех стерлядей — засеклись какие-то дуры. Посчитав, что начался ход ангарской стерляди, они решили отметить первую удачу ухой, с дымком и коньячком, утаенным от алчных чушанских «самоедов».

Когда я читаю либо слышу об ухе с дымком, меня непременно посещает одно и то же не очень радостное воспоминание, как одноглазый мой дед Павел лупил меня палкой за уху, пахнущую дымом, потому что дымом она может пахнуть только по причине разгильдяйства: из-за сырых и гнилых дров да еще когда котел в ненагоревший костер подвесишь иль зеворотый повар не закроет варево крышкой. И уголь бросают в котел вовсе не для вкуса — опять же по нужде — березовый уголек вбирает в себя из пересоленного варева соль, очень маленько, но вбирает.

Однако бог с ней, с кухней и с ее секретами. Уху во всех землях и краях варят со своей выдумкой, а где и с фокусами, хотя и мудрить-то вроде не над чем и незачем.

Отпускники не варили уху — священнодействовали. Ознобно дрожа от предчувствия редкостной еды, один из приезжих рыбаков потрошил стерлядь, другой навешивал круглый, наподобие военной каски, котел на таганок, в котором белели картошка и луковицы да сиротливо плавал лавровый лист и черный перец горошком, непременно горошком — от молотого, по их разумению, не тот вкус. Двое рыбаков настраивали под яром копилку, для начала, в порядке опыта, «зарядив» ее чебаками, чтобы после, когда хлынет стерлядь, не терять времени.

Сварив уху, отпускники бережно водрузили котел на плоский камень, расположились в братский круг, сдвинули чаши.

— За осетга! — возгласил шеф и хряпнул благородный напиток, не звездочками — арабскими закорючками, будто золотистыми осама, облепленный. Не успел шеф занюхать напиток, и, благоговая, черпнуть ущицы ложкой, как увидел летящую по реке дюральку. — Вот ведь, охломоны, — шлепнул себя шеф по голой ляжке, пришибив попутно слепня, — вот козлы! Выпивку чуют, будто слепни кговь! — и, бросая битого слепня в огонь, велел спрятать бутылку.

Лодка не минула их, ткнулась точно против стана. К костру, разламывая хрустящие ноги, приблизился незнакомый чернявый мужик с неулыбчивым костлявым лицом и командирской кожаной сумкой на боку. «Харюзятник! Комаров идет кормить на речку», — по сумке заключили отпускники.

— Здравия желаю! — сказал приезжий и стрельнул приметливым глазом в котел. Усевшись на камень, он перебросил сумку на живот, добавил: — Приятно кушать!

— Спасибо! — сдержанно отозвались рыбаки. Приглашать незнакомца к столу не стали — хватит с них, потравили выпивки и харчей «самоедам».

Потирая ладонью поясницу, незнакомец оглядел где и как

попало разбросанное имущество, чуть задержал взгляд на новой лодке, на «Вихре» и поинтересовался бесцветным, как бы даже больным голосом:

— Это ваши концы висят под наплавами?

Переглянувшись меж собою, отпускники насторожились. Но шеф развеял в прах настороженность решительным и едким ответом:

— Они вашим мешают, да?!

Незнакомец не отозвался. Он выскреб из огня уголек, заложил его в изожженную трубку и, забыв уголек там — для вкуса — догадались горожане, тем же бесцветным, несколько даже удрученным голосом молвил:

— Думаете, без вас здесь рвачей недостает?..

— Ну, ты, это... подбирай выражения!

— Люди из самого краевого центра, видать, образованные, — покачал головой незнакомец, — и сразу «ты»! Небось в городе блюдете себя. Здесь, значит, все можно? Красть, грубить, распоясываться. Тайга, темь, начальства нету...

Зубостав скривил презрительно губы, обращаясь к своей бригаде:

— Видали! И здесь воспитывают! — и сурово спросил: — Ты сколько сегодня выжгал, охломон?

У незнакомца дернулся рот; беспомощно и горько задрожали веки, но губы тут же сжались, резче означив отвесно стекающие к подбородку складки, худая рука крепче стиснула трубку.

— Щенок! — сказал он тихо. — Где ты служишь, кем руководишь, не знаю и знать не хочу, но слюни следовало бы тебе утереть, прежде чем допускать до руководящего-то дела! — и вдруг решительно, по-чапаевски взмахнул рукой, будто сгребая всю компанию с берега: — А ну вон, к чертовой матери с реки! Чтoб ни духу, ни вони вашей здесь через час не было!.. — и уехал, за мыс Опарихи с лодкой зашел.

— Н-ну, бгаты-ы! — опомнившись, развел руками шеф. — Уж какого нагоду в зубопготезном кгесле не цегевидал, но с такой поганой пастью...

— Дать ему надо было, чтоб на лекарства всю жизнь работал!..

— По виду, он и так на уколах живет.

— Наркоман?

— Ладно, если наркоман. Что как рыбинспектор?

— Егунда! Инспектога здешнего я знаю. Семен, инвалид войны. Миговой мужик...

— Значит, снова самоед! Ну мы ему...

Незнакомец вернулся точно через час. На берегу все как было, так и есть: барахло повсюду; сытая пьяная артель в теньке спала, и слепни ее доедали.

Распинав шефа, незнакомец сказал:

— Вам чё говорено было?!

Зубостав на него пялился, ничего со сна не понимая. Наконец продрал глаза, возмутился:

.. — Опять ты?! Ну-ну, знаешь... всякому тепленью... счас я ге-  
бят подыму, мы тебе устроим...

.. — На, нюхай! — К заспанным глазам зубостава поднесли  
удостоверение, костром и рыбой пахнущее. Поморщился зубо-  
став: до чего все тут одинаково пахнет! И два раза прочел, не  
понимая со сна, что читает. «Рыбинспекция, Черемисин. Рыбин-  
спекция, Черемисин». — Внял?

Шеф засуетился, отыскивая по карманам курево, — правы  
были ребята. Смываться следовало, пока дядя добрый...

— Будите своих соратников. Подымайте из воды концы.  
Я тем временем картинку вам на память нарисую, — объяснил  
Черемисин. — Не понимаете человеческих-то слов, сопляки! Се-  
бя только уважаете! Так я вас еще и законы уважать научу!..

Зубостав заюлил, пробовал извиняться, коньячку предлагал,  
намекал, что, если надобность в больнице есть или в лекарст-  
вах, — всегда пожалуйста. Черемисин, у которого посинели  
губы — сердце, видать, сдает, — брезгливо и горько скривился.

— Фамилия? — нацелившись в книгу актов дешевой шарик-  
ковой ручкой, сверкнул он цыганскими глазами. Шефу сдела-  
лось одиноко, запрыгала мыслишка придумать фамилию. Но  
Черемисин — тертый-перетертый тип, угадал это нехитрое на-  
мерение: — Соврете — под землей сыщу!

Скоро все было закончено. «Картинка» в трех экземплярах  
нарисована, один, самый мутный экземпляр — истерлась копирка  
у рыбинспектора, много работы — был обмен на двести два-  
дцать пять рублей штрафа. На всю катушку выдал Черемисин:  
по пятьдесят рублей за каждый самолет, по двадцать пять за  
каждую стерляжью голову, да еще и наставление в добавку  
бесплатное:

— Чтоб не тыкались! Чтоб помнили: земля наша едина и не-  
делима, и человек в любом месте, даже в самой темной тайге  
должен быть человеком! — и въедливо, по слогам повторил,  
подняв кривой, от трубки рыжий палец: — Че-ло-ве-ком!

Стоя по команде «смирно», отпускники безропотно внимали  
речи рыбинспектора Черемисина.

— У нас денег нету, — пролепетал один из рыбаков, береж-  
но держа в руках «картинку», — рыбой надеялись прожить...

— Лодку, мотор продадите, — подсказал Черемисин, — на  
штраф, на похмелье хватит, да и на дорогу еще останется...

Так и сделали отпускники: мотор продали, лодку продали,  
пили с горя на дебаркадере и пели, но уже не «Я люблю тебя,  
жизнь», все больше древнее, народное.

Пили-пили, пели-пели, сцепились ругаться, разодрались, вы-  
бросили шефа-зубостава с дебаркадера в Енисей. Он был пьяный  
и утонул бы, да, на его счастье, в ту тихую вечернюю пору ка-  
тались по реке приезжая студентка в оранжевом свитере с ме-  
стным кавалером, крашенным под старинный медный чайник.  
Доморощенный чушанский битлз, чего-то блаживший на ан-  
глийско-эвенкийском наречии, отложил гитару, поймал за шкир-  
ку шефа и подтянул его на лодке к суше. Дальше шеф полз уже

сам, клацая золотыми зубами, завывая, горло его изрыгало мутную воду.

Чушанские браконьерышки, праздно расположившиеся на берегу с выпивкой, — новый рыбинспектор держал их на приколе, наблюдая, как корежит приезжего человека «болесь», сочувственно рассуждали:

— С постного-то хеку да сразу на ангарскую стерлядь!.. Как-ко брюхо выдержит?

— Гай-юююю-гав!

Я б забыл эту скорее грустную, чем веселую историю, поведавшую мне бывшим фронтовиком Черемисиным, но от дурашливой пакости до мерзкой жестокости — шаг, в общем-то, меньше воробьиного, и я продолжу рассказ о том, как пакость и забава может перерасти в немилосердное избиение природы.

\* \* \*

За несколько дней до отъезда в Сибирь по вызову брата я прочел в центральной газете статью о том, как два школьника изловили в ботаническом саду Московского университета нарядного жирного селезня и свернули ему голову. Уже будучи в Чуши, еще раз удосужился слышать о том несчастном селезне по радио. Шел радиосуд над злоумышленниками. В присутствии знатных людей, артистов, ученых и, конечно, родителей их секли словесно. Вспомнуто было, и не раз, как потерявший облик московский кирюха увел из зоопарка доверчивого лебедя и употребил его на закуску.

Из парнишек, учинивших злодейство, едва ли который наложил на себя руки — они нынче не очень-то боятся радио и всякого там общественного суда, скорее всего буркнули: «не бу бо», и все, но вполне допускаю мысль, что родители, которые посовестливей, послабже духом, могли и занесть, шутка ли! — срамят на всю страну, общественность Москвы дружно поднялась за селезня, всколыхнулись пенсионеры.

Не противник я воспитания людей с помощью газет, радио и других могучих средств пропаганды, но после того, как нагляделся на браконьеров в Сибири, оплакивание селезня мне кажется барственно-раздражительной и пустой болтовней.

И кабы распоясывались, злодействовали только одни бродяги да рвачи! На Оби, в Нарымском крае, электрик, вызванный починить проводку в доме работника местного правосудия, обнаружил на чердаке больше сотни убитых и подвешенных «обветриваться» лебедей. На лебедятинку потянуло зажравшегося служителя северной Фемиды, да и пух лебединый ныне в большом ходу и цене — модницы приспособили его на зимние муфты и всякие другие наряды, что не мешает им, глядя на балетного умирающего лебедя, ронять под печальную музыку Сен-Санса слезы — ранит их искусство.

Пролет гусей на том же Енисее часто совпадает с ледоходом. Подранки сплошь «перетягивают» через заберегу, падают



на прососанный водою и туманами лед, становятся добычей ворон, растираются льдинами. Патроны здешние мужики заряжают все еще по старинке, на глаз: горстью, меркой, отпиленной от старой гильзы, либо чайной ложкой. О том, что у бездымного пороха короткий срок действия, многие охотники не ведают. «Шшалкат, понимаешь, по костям, слышно, как шшалкат, гусь колыхнется, понимаешь, и летит! Порох худой стали делать, шибко худой. Раньше, бывало, за сто сажен саданешь — мячиком катится... Может, и ружье заговорено».

Вокруг Чушиг выследили и перебили охотники воронов — редких таежных птиц-санитаров: если кровью ворона, по поверью, смазать стволы ружья — порён хороший будет...

Я нарочно рассказал чушанцам о погублении московского селезня и о суде над злоумышленниками.

— Делать-то нечего, вот и болтают чево попало, — было общее заключение.

— Дурак он, селезень-то! Зачем сял в Москве? Суда бы летел, — поддразнивая меня, сказал Командор.

Есть зоопарки, пруды, заказники, заповедники, где птица, зверушка и всякая живность существуют для того, чтобы на них смотрели, изучали, а то ведь от таких орлов, как они, детям голая земля достанется, пояснял я.

— Чё на их, на птиц-то, дивоваться? Птиц стрелять надо! Варить. Дети в телевизор их глядят пусть.

В этих словах не только злая усмешка, кураж, но и напоминание: деды и прадеды добывали дичь круглый год, выбирали яйца из гнезд, ловили линялого гуся в тундре, лупили уток-хлопунцов, еще не ставших на крыло, ладили петли и слопцы на глухаря, самострелы на лося, оленя и медведя и привыкли жить по самонаравному закону: что хочу, то в тайге и ворочу!

Кто, как искоренит эту давнюю страшную привычку хозяйствовать в лесу, будто в чужом дворе? На севере люди не готовы повсеместно к бережливому промыслу. Да мы сами-то готовы ли? Пощупайте себя за голову — на ней шапка из ондатры, или из соболя, или из белки; гляньте на вешалку — там шубка из выдры, пальто с норковым, куньим или хорьковым воротником, муфточка и шапочка снежной белизны из натеребленного лебяжьего пуха. А всегда ли это добыто трудовыми, промысловыми, не рваческими руками?

Промысел — работа тяжелая, и те, кто добывает пушнину в тайге и в тундре, этим живут, это их способ существовать, зарабатывать на жизнь. И не о них речь.

Осень тысяча девятьсот семьдесят первого года по всей России выдалась затяжная. И в Сибири — неслыханное дело! — почти до декабря не было снега. На пустынную таежную реку Сым хлынула никем не учтенная, нигде не зарегистрированная орда стрелков, не признающая никаких сроков и правил охоты.

Начавшись в Приобской низменности, через тысячу с лиш-

ним километров Сым спокойно сливает свои желтоватые, торфом отдающие воды с Енисеем. Встречь Сыму с приенисейской левобережной низины течет к Оби, в Нарымский край река Тым. Он чуть длиннее Сыма, полноводней — так вот два брата «в одном вагоне в разные стороны едут!» — природа поровну распределила воды, богатства и дары свои. Справедлива, мудра, терпелива наша природа, но и она содрогнулась, оглохла в ту осень от грохота выстрелов, ослепла от порохового дыма.

На лодках, с бочками горючего, с ящиками боеприпасов, с харчами в багажниках двинули налетчики вверх по Сыму, в глушь молчаливой тайги. Нет на Сыме ни инспекторов, ни милиции, никакого населения, но охотники все равно врозь правятся, боясь друг дружки, крадутся по реке, норовя разминуться со встречной или обгонной лодкой, сворачивая в протоки, за островки, лайды.

Когда-то были на Сыме станки, деревушки и промысловые пункты, но рыбаки и охотники держались жилого места до тех пор, пока твердо стоял на земле крестьянин-хлебопашец. Крестьянин — он не только кормилец, он человек оседлый, надежный, он — якорь жизни. Земли по побережью Сыма и Тыма непроходимы, болотисты, однако же так пространственны, что любой человек тут найдет себе подходящее место хоть для пашни, хоть для огорода, о промысле и говорить нечего. Беломошные сосновые боры, чистые кедрачи шумят малахитовым морем, роняют шишку наземь, сорят ягодой, преют грибом; лебединые озера, журавлиные болота, рыбные речки, ледяные кипуны — все полно пушным зверем — белкой, соболем, колонком, горностаем, непуганой боровой птицей.

Военное лихолетье коснулось и таежного Сыма. Снялись с него, ушли на Енисей колхозники. За ними потянулись осторожные промысловики, завершают уход еще более осторожные и потаенные старообрядцы. А тайга, особенно северная, без человека совсем сирота, да и таежные богатства ох как нынче нужны. Разве дело, что сельское, таежное и всякое население стало кормиться из магазина, а не с лесной кладовой, не с поля, не с огорода?

Само собой, ребятишек и таежных надо учить, без грамоты ныне и лесному человеку некуда податься. Хлеба, картошек, сахарешку, мотор, лодчонку, всякий припас и провиант промысловнику лучше самому запасти и купить в заготовушнине или в рыбкоопе, не ждать, когда прибудет на кунгасе всем примелькавшийся, всем до смерти надоевший чванством и «умственностью», лишь на Севере обитавший, «полномощный» человек под именем Захар Захарыч или Иван Иваныч. Малограмотный, языкастый мужичонка с лукавыми глазами, суетливым характером и липкими руками, которого так забаловали лесные люди, что он сам себя иванил-навеличивал. Пережив целую эпоху, сменив множество названий: приказчик, кооператор, завхоз, экспедитор, зав. базой, зам. нач., пом. нач., он, в общем-то, облика своего и нравов не переменил, все тот же плут и хват, и как шарился по

Северу́ будто по темному чердаку́ еще при царе-горохе, так и продолжал здесь шариться до последних лет.

Но не пировать больше «полномошному» человеку среди таежных просторов, не творить безалиментно ребятишек в любезно перед ним распахнутых избах и чумах, не сидеть куражливо в красном углу, вещая разные «важнейшие» известия «по секрету».

«Неуж, как при царе Лексее, ишшо дальше в леса уходить придется?» — тарашил порченные трахомой глаза старообрядец-отшельник. «Ну-ну, покуль не трогайся. Покуль держись на-йженного места. Если политический накал не ослабнет и ихние верх начнут брать, я дам знать...» — «Дак на тебя токо и надежа, милостивец! Токо тобой и живы. Ты уж не оставь нас. Коли нечистые двинут — сигнал! Сымемся. Уйдем. Бог милостив!..» — «Вот это ты зря! Каки милости? Какой бог? Никакого бога нету!..» — «Што ты, што ты, радетель! — махал руками насмерть перепуганный таежник. — Ты хоть учена голова, но бога не гнева! Ты уедешь, а нам с богом оставаться, так што помилосердствуй!..» — «И-эх! — мотал головою огорченный «начальник». — Пню молились, двумя перстами крестились, ни черта со времен царя Лексея не переменялись!» — и переходил к вопросам «мировой политики».

Тут уж не то чтоб перечить, кашлянуть люди боялись, дабы не пропустить ни слова. «Германец меня беспокоит главным образом, — озабоченно вещая «полномошный» человек. — Конешно, бит он, крепко бит, однако ж затаился, змей, помалкивает. А об чем помалкивает, поди узнай!..» — «Да-а, — тискали, терзали кулаками бороды староверы и громко крикали, — ситуация! В тихом-то болоте оне, нечистые-то, и хоронятся...» И встревоженно интересовались: «Если, к примеру, нехристь какой двинет на Расею, дак дойдет ли до Сыма иль на кыргызе остановится?» Кыргызами таежники'и по сю пору называют всех людей герусского происхождения.

«И-эх! — снова впадал в удручение высокоумный гость. — Я'имя про Фому, они мне про Ерему! Темь болотная...»

Выдавая охотнику положенный по ордерам припас и принимая от него пушнину, «полномошный» человек напускал на себя вид небывалого благодетеля: «Первым сортом беру из исключительного к тебе уважения. — И, словно отрывая от сердца, вынал из заначки новое ружье: — Никому ни-ни! С самой Москвы достал, с особых фондов! У меня, брат, всюду рука!..» — «Да Захар Захарыч! Да век за тебя молиться...» — «Вот сапоги! В таких сапогах пока ишшо токо маршал Ворошилов ходит, ну еще какие ответственные лица, а я уж добыл! Припас опять же! С припасом нонче ой-ей-ей! На оборону бережем. Коли пороку вдосталь — никакой враг не страшен. Норма кругом, фонды режут и режут, обстановка чижолая, холодная война разгорается и разгорается... Но тебе, как другу...»

Мдел доверчивый трудяга-промысловик от таких почестей и особой доверительности к нему. Мешком валил Захар Захарычу

шкурки, мясо, орех, а то и щепотку золотишка, «нечаянно» в кипуне найденного, — умасливал «отца-радетеля», и невдомек ему, что ружья и сапоги давно есть в каждом городском магазине, черным порохом вистину еще при царе Лексее из фузей цалили, остерегая отечество и престол, а за обман, обмер и обвес полагается Захар Захарычу тюрьма от той самой власти, которою он козырял и которую представлял собою. Дело и впрямь не раз кончалось тем, что исчезал «таежный бог» — Захар Захарыч в неизвестном направлении лет этак на десять. Но вместо него тут же являлся Иван Иванович — прозывались-то они по-разному, но молва про них одинаковая по тайге катилась: «Где такие люди побывают, там птицы петь перестают...»

Но все это в прошлое откатило.

Обзавелся таежный человек мотором, дюралевой лодкой. Надо на промысел — два-три дня, и он на месте, в старой своей, потаенной избушке. Семья же в поселке Чуш, на берегу Енисея, можно сказать, в центре культурной жизни, где ходят пароходы, самолеты летают, ревет бесплатно радио день и ночь, в клубе каждый вечер кино показывают, вино в магазинах хоть какое. Изба — не то лесное горе, слепое, под еловой корою. Изба, как у всех добрых людей, с окнами на три стороны, с верандой, с холодильником, с диваном и ковром. Говорят, к концу пятилетки и телевизор в Чуш проведут. Вот бы дожить. Самый бы дорогой телевизор купил и каждый день кино бесплатно смотрел. Тятя, поди-ко, в гробу переворачивается — не зря же он во сне является, черным перстом грозит, губами синими шевелит — проклинает. Аж в поту холодном проснется старообрядец, осенит себя двуперстным крестом да и живет во грехах и мирском смраде дальше. «Что поделаш, культура наступат. Не можно дальше дикарями в лесу жить. Пусть хоть дети свет увидают...»

Катит промысловик по Сыму в глубь тайги, орешки пощелкивает, скорлупу за борт плюет. Все переулки и закоулки на реке он знает. В кармане завязанный в целлофановый мешочек договор на промысел у него хранится и всякий прочий документ. В лодке припасы, харчи, одежонка на зиму и, прости, господи, прегрешения вольные и невольные, этот, как его, понеси лешаки, мудрено называется — транзистор! Дорогуший, холера! Девяносто с лишним! Коня в старое время на экие деньги купить можно было. А что делать? Как ни рыпайся, не устоишь против культуры, хуже чумы навалилась, окайная!

Старовер и всякий другой таежный промысловик идет на Сым, как домой, хозяином идет, никакой пакости и разбоя он в тайге не учинит. А вот мухота эта, «щыкалы» — как их Грохотало именует, пьяницы, барыги, почуяв дармовую наживу, лиха для прут на Сым. Все они работают, деньги получают на производстве, да норовят еще и от природы урвать, что возможно, выкусить с мясом кусок — валят бензопилой кедры, бьют круглый год соболя, увечат зверя и птицу. Вон впереди грохот открылся, торопливый, заполошный — так промысловик никогда не стреляет. Так разбойник стреляет, ворюга!

Осень — бедствие боровой птице, особенно глухарю. От людей бедствие, от самых разумных существ, как их назвал радиотранзистор. Осенью боровая птица, глухарь в первую голову, вылетает на берега рек собирать мелкую гальку, которой перетирается хвоя, почки и другая лесная пища. Без этого «струмента» птице не перезимовать. На притоках Сыма, в глубине тайги и болот камешничок редок. Случалось, в зобу птицы и в пупке золотишко находили вместо гальки, и потому жены охотников никогда не выбросят пупок и зоб «без интересу», непременно его распластнут и посмотрят, чего в нем? Камешник, да еще особый какой-то, глухарю, видеть, самый подходящий, бежит на обмысках, косах, осыпях по Сыму. Десятками собираются глухари — таежные отшельники по берегам. Глухарь здесь крупный, осанистый. «Как страусы!» — говорят чушанцы, видевшие страуса только на картинках и в кино. Бьют глухаря не только на Тyme и Сыме, по всем большим и малым рекам нашей страны бьют, и вот результат: на Урале и северо-западе России его, считай, уже прикончили. В центре же России, где еще великий наш песнопевец слышал, как за Окою «плачут глухари», — их давным-давно нет.

Что уж говорить по Север?!

«Меньше сотни птиц за выезд не берем!» — хвастался мне охотник на Нижней Тунгуске, вполне нормальный охотник-любитель, вполне нормально хвастался, ну, как мы, городские рыбаки, иной раз загибаем безгрешно: «Три окуня — лапти и десяток сорог по полкило!..»

Идет лодка, приглушив мотор, нагло идет, прямо на мыс, на птиц. Вытянув шею, стоят бестолковые птицы, глазеют. Хлесь! Хлесь — по ним из четырех стволов. Раз-другой успеют охотники перезарядить ружья. Стволы дымятся от пальбы, горячими делаются, птица не опасается, не улетает. Иной глухарь подпрыгнет на камнях от хлесткой дробы, иной на сук взлетит, но чаще бегством спасаются. Тех, что убегают и зажердь или в кусты валятся, охотники не преследуют, не подбирают — некогда, на следующем мыске вон еще табун глухарей темнеет! Вот если соболишко обозначится, в урман мотанет — другой вопрос, за тем и побегать можно. Соболя развелось много — браконьеры распустили слух: «Соболь белку приел. Баланец нарушился», — и вроде бы как дозволение самим себе выдали — бить соболя в любое время года, выкуневший, невыкуневший — хлещи!

Говорилось уже, что дешёвые охотники заряжают патроны по старинке, на глазок. Пыжи бумажные, моховые, редко войлочные. Сотни рублей просаживают на вине, копейки экономят на припасе. От плохих зарядов ружья живут, рон худой, птица уходит подранками в лес и в муках гибнет. Хорошо, если осень выдастся непогожая, стремительная. Декада-полторы — и убирайся с реки, иначе вмерзнешь в лед. Но и за короткий налет «охотники» тучами гребят птицу.

— До того дострелялись осенесь, пана, что озверели, верис — нет, озверели! — ахал Аким, вспоминая прошлогоднюю охоту.

Ровно змеевец всех поразил, кости у всех поточил. Из-за рузья, из-за лодки, из-за припасов, из-за харчей могли убиты! Вот как разошлись! — и добавил совсем уже пораженно: — Я сам, понимае, наблюдать за собой начал: сють сто, хватаюсь за рузье...

Аким запомнил, что я на войне был, в пекле окопов на-смотрелся всего и знаю, ох как знаю, что она, кровь-то, с человеком делает! Оттого и страшусь, когда люди распоясываются в стрельбе, пусть даже по зверю, по птице, и мимоходом, играючи, проливают кровь. Не ведают они, что, перестав бояться крови, не почитая ее, горячую, живую, сами для себя незаметно переступают ту роковую черту, за которой кончается человек и из дальних, наполненных пещерной жутью времен выставляется и глядит, не моргая, низколобое, клыкастое мурло первобытного дикаря.

Была уже середина лета, а вокруг чушанского пруда с прошлого года траурным венком лежало черное перо — осенью местная заготконтора принимала глухарей по три рубля за штуку, потом по рублю, потом вовсе перестала принимать: не было холодильника, стояло тепло и морось, перестали летать самолеты.

Птица сопрела на складе. Вонь плыла по всему поселку. «Товар» списали, убытки отнесли на счет стихии, повесили кругленькую сумму на шею государству, а глухарей навозными вилами грузили в кузова машин и возили в местный пруд, на свалку.

Всю зиму и весну пировали вороны, сороки, собаки, кошки; и как вздымался ветер, сажаю летало над поселком Чуш черное перо, поднятое с берегов обсохшего пруда, летало, кружило, застыл белый свет, рябя отгорелым порохом и мертвым прахом на лице очумелого солнца.

## Часть вторая

### УХА НА БОГАНИДЕ

Весна в изломе. Вот-вот перейти ей в короткое быстротечное заполярное лето, да отчего-то медлила, тянулась весна, и, когда истаяла, утекла в озера и реки, людей шатало от голода.

По дымящейся, сизым паром, мокрой тундре брел парнишка в больших изодранных броднях, часто наклонялся, обирая с кочек и со мха-волосца, зеленого зимой и летом, прошлогоднюю, перемерзлую клюкву, почти уже вытекшую. Лишь кожа осталась да тлелые семечки в клопом смявшейся ягоде. Парнишка распрямлялся, чтобы сунуть в рот клейкой слипшийся в ладони катышек ягод, и стоял какое-то время зажмурившись. Из глаз сыпались искры, голову обносило, перед лицом, не потухая, яркими, разноцветными кругами каталась радуга, на уши давило, и под грудью, в клубок свитая, путалась, душила липкая нитка тошноты.

На обогретом, с боков заголенным серебристой мерзлотою

холмике парнишка увидел мокрое перо, хотел побежать скорее — может, сова или пёсец задавили линялого гуся, косточки, да остались от него, но сапоги, хоть в них и было толсто подвернуто, хлябали, вязали ноги. Парнишка упал, отдышался, стал подниматься на руках и замер, увидев перед носом цветок на мохнатой ножке. Вместо листьев у цветка были крылышки, тоже мохнатые два крылышка в слабом, дитячем пере, и мохнатый, точно куржаком охваченный, стебелек подпирал чашечку цветка, в чашечке мерцала тоненькая, прозрачная ледышка.

Солнце, выпутавшееся из густого меха зимы и поднявшееся уже высоко над тундрой, вдавливало всякое растение в мягкий ворс тундры, загоняло в заросли стлаников, смахивало к озерам, в поймы рек. А этот цветок дерзко стоял на обдувном холме, где не отошла еще, лишь отпотела тонкая корочка земли, питая робкие, паутинно тонкие всходы мхов, нити сухоросной травки, сереньких, как бы вымороженных до погибельной сухости кустиков голубики. Один лишь цветок жил на холме уверенно, вызываясь, не прячась в благостное затишье, дерзко выйдя навстречу зазимкам, ветрам и студеным мокромозготникам, таким частым тут в весеннюю пору.

Цветок караулил солнце. Коснувшись ледышки, солнечные лучи собирались в пучок, будто в линзе, и грели маковку, тоже укутанную в мохнатую паутинку на дне чашечки цветка. Лыдинка подтаивала, оседала, шире распирая празднично сияющие лепестки цветка, будто створка ворот, и тогда чашечка, почти выворачиваясь живым зевом, подставляла маковку солнцу, а лыдинка оборачивалась в светлую каплю, освежая и питая собою цветок и назревающее в нем семя. До ухода солнца, до самой последней секунды заката цветок дышит теплом светила, поворачивая вслед ему яркую головку, после чего лепестки, с исподу отепленные шерстью, сразу плотно закрываются, грустно опадает головка, но внутри цветка, под лепестками, не кончается неприметная работа. Жилкой вонзившегося в мерзлоту корешка цветок вытягивает влагу, обращая ее в зеркально-тонкую, прозрачную лыдинку, которая утром снова поймает и соберет в пучок лучи солнца.

Из утра в утро, изо дня в день идет невидная миру работа, пока не созреет маковка. И когда поблекнут, тряпично свернутся и опадут лепестки, сухо треснет, обломится былка стебелька, уронит наземь погребушку-маковицу, ветром ее покатит по тундре, соря черненькой пылью семян.

После Аким не мог вспомнить, нашел он изорванного гуся или какую другую еду? Вроде бы нашел, глодал сырую кость, облепленную пером и мохом, да, может, это было совсем в другую весну — почти ежегодно в опарно набухшую тундру, по которой не пройдешь, не проедешь, на реку, запятнанную раскисшим льдом, не выплывешь, голод тнал его на поиски хоть какой-нибудь пищи, и случалось подбирать поедь песка, сов и лис,

случалось и отбирать ее у них — и все это забылось, смололось в памяти, слилось с другими детскими воспоминаниями, стало кусочком жизни, однако цветок, тот стойкий цветок тундры, приручивший само солнце, жил и цвел в памяти отдельно от всех воспоминаний, потому что где-то и в чем-то оказались схожими жизнь Акима и северного цветка с трудно запоминающимся, из-за моря привезенным названием. Дальше на север, ближе к морю росло таких цветков столь много, что пустынные равнины после первого теплoduва охватывало кратким, но таким ярким заревом, что слеpla всякая другая растительность и сама земля недели две сияла, зажмурившись от собственной красоты.

Родился и рос Аким на берегу Енисея в поселке Боганида. Десяток кособоких, до зольной плоти выветренных избушек, сплошь однооконных, с амбарными крышами, затянутыми толем, хлопающим на ветру; среди избушек — плавающий в болотине дородным гусакoм барак — вот, пожалуй, и весь поселок, если не считать еще в берег всунутую, закопченную баню с испростреленной дверью; за нею тесовый сарай на песчаном приплеске, с надписью, сделанной мелом по двустворчатым воротам: «Рыб. пр. пункт», за баракoм в наклон стоящую желтую будку без дверей; пару дровяников, забытого кем-то или выброшенного волною железного корпуса катера, выводка дощаных и долбленых лодок, болтающихся возле берега на якорях; стола длинного, дощаного, на стояках и тагана под артельные котлы.

Есть еще пароходная свистулька над баракoм, приспособленная вместо радиоантенны, градусник, прибитый высоко над окошком, чтоб не достали ребятишки, обломок якоря, подвешенный ко второй, забитой для тепла, двери барака, в сердечко которого бьют, если пожар, или на собрание надо, или кто заблудился в тундре; и еще турник стоит между баракoм и желтой будкой. Для ребятишек он высоковат, а мужики до того упекывались на рыбацких тонях, что едва добирались до нар, и никакой им турник не надобен был.

Больше ничего приметного в Боганиде не было, ни деревца, ни даже зарослей кустов; мох содран и вытоптан, по весне проткнется там-сям серенькая осока, которая на озерном лове сильно царапает мужикам ноги, особенно тем, что с клячем лазят по прибрежной шехре, аремникам и кочкам. Но всходы осоки — еще мелкие, беловатые — выедают захудавшие за зиму собаки, так что выживали в поселке лишь пушица, реденькая жалкая лебеда, коневник с кисточкой ржавых семечек, гусятник, обмирающий от заморозков, да наползающий из тундры багульник, и застенчивым, больным румянцем розовели по кочкам звездочки дивной ягоды — княженицы.

Место для поселка выбирали люди, которые жить в нем не собирались. Увидели на бассейновой карте удобные для рыбной ловли плесы, разведали богатые топи и заслали сюда людей. Те тоже не морочили себе голову житейскими заботами. Они вообще были свободны от каких-либо забот: что сказано — делать — делают, где велено жить — живут, что выдано есть —



едят. И название поселку никто не придумывал, оно произошло само собою, от речки, которая впадала в Енисей, и от рыбацких песков, что от веку звались боганидинскими.

Метрах в двухстах от поселка, не дальше, чтобы лишка с тяжестью не таскаться, возникло кладбище — спутник всякого человеческого прибежища. Открыл его безвестный человек, по весне выброшенный половодьем на берег. И поначалу бойко шло тут дело, sporo густела чаща пирамидок и крестов, тесаных из плавника. Но скоро люди научились бороться с цингой, натерели плавать на лодках и кунгасах, реже выпадали за борт, не лазили дуrom по тундре, в бараке извелась пьянь и блатняки. Артельная работа объединила людей, заставила приспособиться к жизни, сообща питаться, стирать и сушить одежду, мыться, починяться, обогреться и даже развлекать себя. Кладбище заметно хирело, зарастало, пирамидки и кресты выталкивало из земли мерзлотой, и не валяться же им, зря! Выпали, значит, не нужны они больше ни земле, ни тем, чей прах стерегли, в печку их — хорошо горят, выветрились до звона.

Взъерошенной пеной со всех сторон катились на кладбище волны белого мха, облепленного листьями морошки, хрустящими клубками багульников, окрашенного сеянцем брусники и сизой гонобобелью. Меж низких бугорков и по окраинам кладбища путалась, извивалась мелколистная карликовая березка, таловый стланник, зимами у этих зарослей кормилась куропатка. Акимка ставил силки, и попавшие в петлю птицы громко колоутились о фанерные с надписями дощечки от ящиков из-под папирос, пряников, вермишели.

Летами по кладбищу высыпала сильная морошка; будто рыба какая, заплыв сюда в половодье, выметывала комочки желтой икры; продолговатая, в ноготь величиной, голубика зазря осипалась на могилы. Ягоды на свежееземье вызревали раньше, чем во всей округе. Акимка крепился, крепился и, не выдержав соблазна, поел однажды могильных ягод, после целый день пугливо вслушивался в себя — скоро ли помирать начнет? Что-то даже ныло и остро кололось в середке. Но скоро он ввязался в домашнюю работу и про смерть забыл.

После без страха кормился ягодами с кладбища вместе с поселковыми собаками. Мать пугала Акимку, страсти ему всякие про кладбище сказывала, но парнишка ничего уж не боялся, он и братишек с сестренками таскал за собой на кладбище. Детям так полюбилось чистое, всхолмленное место, что они выводком паслись здесь, ползая меж могил до поздней осени, до первых стуж.

С кладбищенского бугорка далеко вокруг видно: песчаные приплески у воды, полого расстеленные; выше — чуть подбитые валом, ближе к подмытым ярам — сплошь в ступеньках. Песчаная коса отлога, до блеска промытая водой, зализанная волнами, сплошь утыканная вешалами для сушки неводов, спокойно, лениво вытягивается от мыса реки. По вешалам, будто нани-

занные на роженъ белые комья — то рядами сидели и дремали чайки; по косе бегали, кормились кулики, пурхались в песке шуры, гуси выползали из крепей тундры, сторожкой стаей рас-саживались в отдалении, ходили валко возле воды, выбирая под-битую к обмыску рыбью мелочь, козявок каких и нежные тра-вяные корешки.

Никакой другой земли, никаких других станков и жилищ Аким-ка до поступления в школу не видел. Он родился в Боганиде и нигде не крестился, даже записан ни в какую книгу не был. Вольно родился от русского человека, который поколотился на Севере, подзашиб деньжонок и исчез навсегда, оставив матери Акима еще одного ребенка, как потом выяснилось, Касьянку. От-ца ихнего Касьяном звали — пояснила мать. Записываясь в школу, Акимка повеличал себя Касьянычем, но говорил он не-разборчиво, зажимая звуки, и его записали Хасьянычем. Хас-ьяныч так Хасьяныч — какая разница?

Мать рано стала носить детей. Его, первенца Акимку, при-жила на шестнадцатом году. Мужик Касьян, рассказывала она, подарил чулки и платок, сладкими пряниками угощал, красным вином. Ну как такого хорошего человека не полюбишь? Она и полюбила его, приголубила, совсем не думая о том, что из при-ятной такой шалости получится ребенок, человек! И когда опро-сталась в бараке и ей показали завязанного в узелок, сморщен-ного, извивающегося дитенка с голыми деснами, слепо склеенны-ми чем-то белесым глазами, она недоверчиво, даже как бы и брезгливо фыркнула: «Фу, какой Якимка, ё-ка-лэ-мэ-нэ! Мой, сто ли? Не мо-озет быть!..»

Почему не может быть, почему — Якимка? Где она такое имя слышала, отчего оно ей в голову пришло? Поди у нее уз-най!

Мать была и осталась девчонкой-подростком по уму и сердцу. Обижать пробовали бабы, прозвать ее ветренкой — не прилипло, потому что мать не понимала обидного смысла этого слова, и ее обзывать перестали, и вообще ее никто потом и ни-когда не обижал, бабы помогали ей чем могли, мужики тоже помогали и ласкали. Быстренько образовался табунок детей в Боганиде.

«Чьи?» — спрашивали мимоезжие люди. «Рыбацкие», — смеялась мать. «Наши!» — подтверждали рыбаки.

Артель, обеспечивающая рыбой большую северную стройку, не оседлая. Народ в ней почти каждую путину менялся. Оста-вались постоянно на месте бригадир, приемщик, радист и пека-риха, она же кастелянша, завхоз, ворожея, акушерка, всем мать по возрасту и нраву, матерщинница и плакса — Афимья Мозг-лякова. За что-то еще до войны она отбыла срок, застряла на Севере и все грозилась куда-то податься, плюнуть тут на все. Но Север, он вяжет человека, пожалуй, еще крепче, чем юг. Там люди, как бы всё разом получив: тепло, блага, человече-скую скученность, лениво мнут свои дни в тесноте и довольстве. Здесь, отравленные волей, редколудьем, самовластьем, все время

ждут каких-то перемен, томятся сердцем по другой жизни, и всегда есть возможность капризно подразнить себя и других тем, что вот возьмет он, вольный человек, и махнет туда, на юг, к фруктам, к теплomu морю; эта возможная, но чаще всего так в мечтах и изношенная, вторая благостная жизнь шибко поддерживает северных людей в их нелегкой текучей жизни, крепит их дух и стойкости им добавляет.

На всполье, в урез берега, мужики вкопали низкую однооконную избушку, мало чем отличающуюся от бани. В этой, всегда почти темной избушке, на обширных нарах и топчане, приткнутом к печи, сваренной из толстого железа «пароходными людьми», копошились, ревели, питались, играли и росли ребятишки — Акимкины братья и сестры. Мужики приносили стирать белье, что-нибудь упочинить или зашить. Поначалу мать ничего не умела — ни стирать, ни шить, ни варить. Но «заставит нужда калачик есть», говорили ей пословицу, и хотя она не знала, что такое калачики, помаленьку да потихоньку закомуталась в семейную упряжь, однако так и не смогла до конца одолеть трудную науку — бороться с нуждой. Чему учить ее не надо было, так это легко, беззаботно и весело любить ребятишек и всех живых людей. Даже в самые голодные зимы она не желала смерти детям, да и сама мысль о смерти, как избавлений от бед, мучений и нужды, не приходила ей в голову, оттого, наверное, и падежа в семье не было.

Ребятишки, прозванные касьяшками, росли вольно, без утеснений и досмотра. Самой для них большой заботой и радостью было дожить до весны, до солнца, до тепла, до рыбы, до ягод, да и вся Боганида ждала весну, как милосердие божье. Запертое в сырой, удушливой избушке, до трубы скрытой в забоях, отшибленной от остального мира снегом, много месяцев зимогорило семейство, ребятишкам казалось — годов! И наконец-то! Которые в лохмотьях, которые и вовсе голопупые, грязные, выбирались детишки на свет из пропелой, вонькой норы.

Ослепленный ярким светом, задохнувшийся обжигающе-свежим воздухом, выводок ребятни не прыгал, не ликовал. Протирая красные, слезящиеся глаза кулачишками, дети недоверчиво осматривались, открыв рты с кровоточащими от цинги деснами, подставляли живительному теплу блеклые лица, вытягивали ладошки под солнце. Головы у них кружились, ярким светом резало глаза, они лепились на завалинке, подобрав под себя ноги, чуя ослабелым темечком живительное тепло, улыбались и подремывали; которые покрепче, тоже бледные, с засохшей на губах кровью, ковыляли на ослабелых ногах к высокому еще, первой, вольной водой вздутому Енисею и не умывались; а щупали его ладошками, и от живой, целительной воды начинало трепыхаться в них сердчишко, они, повизгивая, брызгались и пробовали смеяться.

Мать приносила ножницы, стригла ребят, будто овец, прямо на берегу. Ветром подхватывало и уносило в воду сплошь почти смоляные, черные волосы. Лишь двое первенцев — Аким-

ка и Касьянка волосом удались в отца — неведомый Касьян гнул северный, проволочно толстый волос своей крепкой породой.

Нагрев бочку воды, мать мыла ребятишек. Они боязно ахали, ревели от мыла, царапали сами себя ногтями. Мать, сверкая белозубым, широким ртом, только и успевала повторять: «Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Ну да, ё-ка-лэ-мэ-нэ!» А обиходив ребятишек, и сама залезала в бочку, взвизгивала, коснувшись голым телом воды, похохатывала от щекотки, когда Касьянка терла ей таловым вехтем спину. Обобрав с себя накопившуюся за зиму грязь, касьяшки потом смело уже ходили в артельную баню.

Причесав на пробор коротко стриженные волосы, мать доставала с полки наперсток красной помады, слюнявила ее, подводила губы, надевала мягкое платье морошкового цвета, коричневые чулки, туфли на высоких каблуках, косынку с голубыми и нерусскими буквами — и становилась такая нарядная, что и не верилось, будто эта вот беспечная, чем-то и в чем-то чужевой ставшая девушка — их, касьяшек, мать! А она, дурачась, еще и на каблуках крутится: «Хоросо?»

Как не хорошо! Промытые волосы отливали вбродню, перышки бровей, как бы вдавленные в лоб, придавали лицу какую-то детскую незавершенность и безвинность; круглое плоское лицо оживляли две надщечные продолговатые косточки со слабым румянцем, и только глаза с вечной тихой печалью северного человека всегда погружены в себя и в какую-то застарелую тоску, о землях ли благостных, с которых вытеснили их завоеватели в далекий полуночный край, о людях ли, которые жили до них и будут жить после них. Никому еще не удалось объяснить эту вечную печаль северян, да и сами они объяснить ее не умеют, она живет в них, томит их, делает кроткими добряками, которые, однако, при всей простоте и кротости, никогда и никому до конца открытыми не бывают и жизнь свою, особенно в тайге, на промысле, обставляют если не таинством, то загадочными, неэжмему человеку непонятными обычаями и ритуалами.

У матери мать была долганка, отец русский, но вот поди ж ты, переселилась в нее материнская тайна, печалит глубь ее взора, хотя глаза глядят — смеются. Мать ощупывает ребятишек, щекочет их, барабу всякую несет — всем в избушке весело — перезимовали!

Непривычных самим себе, легких, чистых, несколько даже чинных мать выпускала ребят на волю, и, взявшись за руки, во главе с белоголовой Касьянкой, брели дети за поселок и речку Боганиду, рассыпались по коричневому от прошлогодней гнили берегу и в истлевших ворохах намытого мусора, в валики скатанного мха, старой осочки отыскивали едому траву, острые всходы дикого лука, бледные листики щавеля, выпрыски тальников и, морщась от боли, шатающимися, кровоточащими зубами жевали, жевали зелень. Иногда им везло, они находили гнезда куликов, чашек, трясогузок, выбирали из них яйца и тут же

пили их, не утаивая друг от дружки добычу. Домой они являлись не с пустыми руками, каждый нес зажатый в кулачишко пучок мягких и жидких еще перьев лука и отдавали старшей женщине, хранительнице очага — матери — с застенчивой и гордой молчаливостью добытчика.

Рыболовецкая артель прибывала в Боганиду еще по снегу, готовила снасти, конопатила и смолила лодки, неводники, делала весла, чинила рыбоприемный пункт. Кирыга-деревяга — рыбоприемщик, очнувшись от спячки и загула, принимался руководить, стучал деревяшкой, гоголем летая по поселку, и отдавал распоряжение за распоряжением, но его, как всегда, никто не слушался.

Празднично улыбаясь, напевая что на язык взбредет, наряженная, напомаженная, красивая мать отправлялась в барак подписывать «тогомент», наниматься на сезон резальщицей и подручной Кирыги-деревяги. Теперь жизнь семейства наладится, мать станет все лето получать деньги, принимать рыбу, с Кирыгой ругаться.

Из всех избушек незаметно проникали в барак ребятишки и с ходу взлетали на широкушую, неуклюжую, зато жаркую печку. В ней пекли на всю артель хлеб, варили еду, сушили обувь и одежду, лечили простуду.

Будут пить в бараке, на гармошке играть, плясать и целоваться. Акимка с Касьянкой уж не пропустят праздника, они давно на печке. Лежат под потолком, в табачном дыму и пыльной духоте ребятишки, слушают гармошку, передразнивают пьяных, ждут, когда им сунут пряников или конфет, хохочут, подпевают, подсвистывают. Аким с Касьянкой восхищенно наблюдают, как, косолапя, отплясывает мать, широко открыв рот, махая руками, будто в лодке, когда волна, и, не зная в общем-то никаких плясок, дробит и дробит каблуками по замытым серым половицам, чтоб громко получалось, и, поспевая за Мозглячихой, выкрикивает частушки. Но частушек она тоже ни одной не знала и потому лишь повторяла, ошеломленная весельем: «Мой миленок! Мой миленок!..»

Выбившись из сил, мать тыкалась на нары и доверчиво, свойски припадала кому-нибудь из артельщиков на плечо, что-то говорила ему, сверкая белью зубов, обмахиваясь косынкой, крутила головой, притопывала ногами, высвободив их на короткое время из тесных туфель, и по губам ее можно было угадать: «Мой миленок! Мой миленок!..» и «Ах, хорошо! Ну до сё хоро́со, ё-ка-лэ-мэ-нэ!..» Не зная, куда себя деть, что сделать с собой, кому раздарить душу, переполненную счастьем, она крепко-крепко и благодарно обнимала за шею артельщика, целовала его обляпанными краской губами и, тут же отпрянув, игриво и застенчиво закрывала ладонями разгоряченное, сияющее лицо.

До поздней ночи стонали и хлопали барачные половицы, сбитые с гвоздей, хрюпали ладони о сапоги, ревели мужики кто чего мог. «Зачем не все время так? — думал Акимка. — Зачем зима? Кому она нужна? Может, ее не будет больше? Может,

уж последний раз она приходила? Поди-ка последний. Воп как тепло в бараке и на улице, как веселы, как дружны артельщики. Зимой все по-другому. Люди молчаливы, угрюмы, живут всяк по себе, думают о своем, ругают зиму, Север, собираются уехать куда-то».

Под утро, разувшись еще у дверей, мать тихонько прокрадывалась в избушку. Акимка, что гусенок в гнезде, всегда мать слышит. Подняв голову, он гусенком и шипит: «Ты сё так долго? Опять ребенков делала?» — «Маленько делала, — хмелюно смеялась мать и, сладко зевая, валилась на топчан. — Весна, сыночек! Весна! Весной и птицы, и звери, и люди любят друг дружку, поют, ребенков делают. Вот вырастес, тоже мал-мал погуливать станес! Сё отвернулся-то? Сё отвернулся? Ис, какой он застенчивый! Весь в меня!» — и с хохотом щекотала Акимке брюхо.

Ну чего вот ты с ней сделаешь? Ладно уж, Касьянка подросла, помогает маленько. Но самое главное спасение в том, что в Боганиде еще с войны сохранился обычай: кормить всех ребят без разбору бригадной ухой. Выжили и выросли на той ухе многие дети, в мужиков обратились, по свету разъехались, но никогда им не забыть артельного стола. Да и невозможно такое забыть. Это ж праздник, всегда желанный, каждодневный, от самой ранней весны и до поздней осени продолжающийся, и, как всякий праздник, он всегда в чем-то неповторим.

Далеко еще до вечера, до того часа, когда появятся из-за песчаной косы лодки и круглолобый, носатый неводник, а малый народ Боганиды весь уже на берегу, на изготовке, ждет терпеливо и молча рыбацкую бригаду. Иногда забудутся ребяташки, примутся играть, бегать и вдруг разом уймутся, притихнут — кабы не прозевать самый радостный миг — появление первой лодки. Поодаль лежат собаки. Они тоже ждут рыбаков, сосредоточенно, серьезно ждут, не грызутся в этот час.

Выводок касьяшек как есть весь печется на прогретом песке под незакатным солнцем. Трех братьев, которые еще ходят без штанов, Аким выносил на закуорках, сваливал их в песок. Вместе с другими кривоногими, щелеглазыми ребяташками пурхаются малые в песке, сыплют его горстями на головы, хохочут — щекотно им. В Боганиде никто никогда не прячется в тень, здесь все лезут на обдув, на солнце, и люди, и животные — меньше комар донимает, греет пуще, намерзлись, наслеповались за зиму-то, хватит.

Под водительством Касьянки подружки ее, девчонки разных возрастов и калибров, обливают водой длинный тесовый стол, поставленный на три опоры. Стол сооружен возле самой воды, врос опорами в песок. Касьянка строго распоряжается, ведет себя настоящей привередливой хозяйкой и старательней всех трудится. Сперва она скоблит тесины бутылочным обломком, затем еще веником с песком шоркает, после уж мокрым вехом

дрант. Гладок, чист артельный стол, все черные мухи с тесин спёрхнули, никакой им тут поживы не осталось, хочешь — не хочешь, лети к избушкам. Но там собаки все подмели, если муха зазеваается, они и ее, щелкнув зубами, отошлют к себе в середку, да еще и облизнутся.

Стол вымыт, пятнисто просыхает. Притоптанная подле него земля подметена, тряпки и голики в воде выполосканы. Деловитая Касьянка занялась ребятами, которому нос выдавливает, которых со словами: «Погибели на вас нет, окаянных!» — волокет к воде, обмывает, которому деревянного коня подведет, которому чечу, пгрушку то есть, чаще всего куклу, из сучка резанную, тряпницей повяжет, которых приласкает, которым поддаст — у Касьянки всегда полно забот, она порядок любит.

Акимка наколот дров. Ребятишки, что постарше, рядом их сложили или под огромный таган с двумя навешанными на него железными коваными крючьями, величиной с печную клюку. Чтобы время шло скорее, Аким еще работу искал и нашел. Вымытые им самим еще вчерашней ночью котлы — один на пять ведёр, другой на три — под чай, принялся еще раз протирать вехотью и песком, мало ли что, может, мухи котел засидели. Зараза! Касьянка, без нее уж никакое дело не обойдется, почти вся в котел забравшись, шлепается в нем, наводит блеск, напевая тихонько: «Далеко-о-о-о из Калымского краю шлю, маруха, тебе я привет...» — нахваталась в бараке девчушка всякой всячины. Котлы привезены с магистрали — в баню, для тех, что строят самую большую железную дорогу на Севере. Но в баню котлы не попали, понадобились в Боганиде, и их приспособили под варево. И сколько вкусной еды переварено, перекипчено в этих котлах! Попадали в котлы и гуси, и утки, и олешек; случалось, в него занывал. Скольких людей насытили, оживили, напоили, силой налили и взрастили эти котлы!

Касьянка управилась с делом, вскинула лохматую голову, которая чудом держалась на дудочке ее тонкой шеи, всмотрелась в даль, вслушиваясь при этом напряженно. Кругом все замерли, не дышут — Касьянка самая уловчивая на ухо.

— Е-е-э-э-ду-у-ут! — облегченно, со взрослой, бабьей радостью выдохнула она, расслабляясь всем телом.

— Идут! Идут! Идут!

Ребятишки, а за ними собаки с лаем бросались бежать по чисто вымытому приплеску, оставляя на нем следы, распугивая чаек, навстречу рыбакам. Дети запинались, падали, собаки хватывали их за ноги и рубашонки, те с хохотом отбивались от них. Старшие ребята, сдерживая порыв, оставались возле стана, у них дела.

На скорую уж руку Касьянка еще раз ополаскивала свежей водой колокольную глубь котла. Уронив посудину набок, парнишки выливали воду и, продев в проушины котла железный лом, тужась, багровея, перли чугунную посудину к тагану, вздевали на крюк. Тем временем Касьянка торопливо обихаживала себя, мыла руки с песком, ломаной гребенкой собирала в куч-

ку беленькие жидкие волосенки, форсисто их подвязывала отцветшей косынкой и снова, ругаясь и ворча на «нестроевую команду»: «Погибели на вас нету! Навязались-то на мою головушку!» — той же вехоткой, которой обихаживала котлы, оттирала руки и лица малышей. Поплясывая от боли и жжения, малые из всех сил крепились, не хныкали, Касьянка делала дело, ворча, раздавая шлепки направо и налево, не забывала, однако, вытягивать шею, будто сторожкая линиялая куропатка на ягодниках.

— Токо-токо Стерляжий мыс прошли, — с досадой роняла она, — и чё скребутся, спрашивается? Лентяи, ох лентяи пошли мужики! Имя бы токо вино жрать да блудничать. Никуда оне больше не годятся!..

— Чё ты понимае? — возражал ей Акимка. — Рыбы много! Тяжело. А ты: музыки, музыки...

— Ну, если рыбы много, дак тогда конечно... — милостиво соглашалась Касьянка.

В рыбоприемнике — в нем, как в конторе: счеты с костяшками, зеленая книжка квитанций, даже календарь на стене есть, еще весы, ящики, много ящиков, бочки с солью, посылки с железной сеткой, чаны с тузлуком, в который бросают рыбу, если за ней долго не приходит катер с большой стройки; к рыбоприемнику этому, отделенному от артельного стола расстоянием, — иначе мухота одолевает едоков, гремя ключами, подвешенными к поясу, гребся приемщик Киряга-деревяга — большой человек.

Низовской енисейский уроженец, он в войну из снайперской винтовки бил фашистов «токо в башку!» — заверял Киряга-деревяга. Один раз он ночь напролет просидел на железнодорожной водокачке, немчуры нащелкал — счёту нет! Однако шибко закоченел наверху — ветрено и морозно было, шла зима сорок второго года. Торопился утром Кирюшка скорее в землянку, попер непротоптанной дорожкой, напрямки, через заснеженное поле. Ему махали флажком, орали, но он, остяк дурной, упрямый, никого не слушал. Скорее «домой», скорее, чтоб отогреться и показать винтовку, всю в зарубках на прикладе — столько с водокачки он фашистского воронья нахряпал. Да увидел проволочки в снегу, к проволочкам печатки мыла привязаны. Зачем мыло в снег набросали? Больших денег на базаре мыло стоит. Война! «А-а, — догадался, — немецкий самолет мыло вез фрицам умываться, по нему из зенитки наши как дали, так все мыло и высыпалось». Кирюшка решил одну печатку мыла поднять, чтоб тоже умываться по утрам, да только собрался наклониться, зацепился большим валенком за проволоку, и тут ка-ак ахнет! «Глаза узкие, косые, нисё перед собою не видят, токо в бок широко глядят, голова совсем не соображала — заколела на водокачке, и об одном голова только думала: скорее до землянки добраться, горячей каши поесть, водки выпить, иначе бы он остался, вился и подумал: како мыло? Зачем и кто бросит тако дорожное имущество?»



Оторвало Кириюшке не только ногу до колена, но и повредило что не надо. У Кириюшки и раньше борода не шибко росла, а после госпиталя он совсем голый лицом сделался. Еще до войны Кириюшка учился в игарской совпартшколе, грамоту знает. С грамотой, даже если у тебя деревянная нога и другая нога без пальцев и вся начинена железом, которое ходит, шевелится в нем, не дает спать, — все равно не пропадешь, начальником будешь. Да вот беда, хворают часто рыбный начальник, нарывають на побитых ногах красные шишки, и криком кричит тогда Кириюшка, бабы льют ему спирт в рот, чтобы оглушить боль. Один раз выкатился из него осколок. Кириюшка его всем показывал — маленький, на уголь похожий осколочек. «Может, последний?» — с надеждой в голосе спрашивал Кириюшка.

Кроме того, что Кирияга-деревяга является завом рыбоприемного пункта, он еще депутат Плахинского поссовета, возит от туда почту, показывает кино, когда праздники или выборы, и говорит речи на всех собраниях.

— Я сё могу! — бил себя в грудь кулаком Кирияга-деревяга.

— Кое-сё, да не сё! — поддразнивали его бойкие бабы-ре-зальщицы.

Кирияга-деревяга, если пьяный — в слезы иль с кулаками на народ, когда трезвый — бацкал дверью пункта и уходил жаловаться Касьянке. Касьянка больше всех людей понимала и жалела Кириюшку. «Ребенков делать, — говорила она, — всяк дурак сумеет! Тут и ума никакого не надо, а вот кино показывать иль речь сказать — пушай попробуют! Тут их нету! А орден красный! А медаль, на которой танк нарисован, «За отвагу» называется, у них есть? А значок с красным флагом, гвардейский, весь в золоте! Он красивше еще ордена! А грамота — 'благодарность, самым главным генералом написанная: «За уничтожение метким огнем врагов социалистической Родины!» Это у них есть?! Да ничего у них нету! Оне только лаяться, табак курить да водку жрать мастера! Ни стыда, ни совести! Поучились бы у грамотного человека уму-разуму! Повоевали бы с его! Кроль попроливали бы за Родину! Как токо язык поворачивается? Чирей бы имя на такой поганый язык, вот бы ладно было!...»

— Хасьянка! — оглушенный потоком собственных заслуг и добродетелей, тряс головой Кириюшка. — Сто со мной сотворили проклятые фасысты? Я бы твоим отцом бы-ыл...

Касьянка зажимала тряпичей бывшему боевому снайперу нос, сморкаться ему приказывала, и он, что дитенок, сморкался, подставляя лицо, чтоб девочка утерла ему слезы. Обихаживая Кириягу-деревягу, Касьянка заверяла, что он и так им все равно что отец, даже еще лучше. И она, Касьянка, никогда его не бросит. Сделается Кириюшка-фронтовик старый и совсем больной от ран, она его обшивать, обмывать и кормить станет.

— Ой, Касьянка! Ой, глупая! — закатывалась мать, тыча пальцем в Кириягу-деревягу, — он оте-ес?! Совсем ты маленькая девоська, нисё, нисё в семейной жизни не разумес!

Кирыга-деревяга не соглашался, лез в спор:

— Хасьянка пускай девочка, а ума больше, чем у тебя, ветренки безголовой...

Спустившись на берег, Кирыга-деревяга уединился в рыбоприемник, где у него было уютно; на стене, ровно в клубе, висела почетная грамота, плакаты с нарисованной рыбой и консервными банками, стенгазета под названием «За ударный лов» — нарисовал ее один приبلудившийся в Боганиде вертлявый парень, от коллективной работы он увиливал, заботился лишь о культурном досуге артели да обжучивал рыбаков в «очко», раздвая до порток. За пакостное дело: уманил маленькую девочку заезжего охотника-эвенка на кладбище, пытался надругаться — был люто бит и отправлен под надежную охрану.

Широко распахнув дверь рыбоприемника, так, что на стенах шевельнулись плакаты и почетная грамота, на столике в углу распахнулась книжка с накладными и сдуло на пол черный листок копирки, Кирыга-деревяга хозяйски-придирчиво осмотрелся и, тюкая деревяшкой по настилу, сделал один-другой проход, проверяя вверенное ему «помессэнье».

— Хасьянка! Акимка! Ко мне! Бегом! — строго, точно полковник в кино, затребовал он. Касьянка сорвалась и не побоялась, прямо-таки полетела на длинных птичьих лапках к большому начальнику. Аким фыркнул, пожал плечами, давая понять ребятам, что никакой ему не указчик Кирыга-деревяга, однако тоже последовал в рыботдел. Строго и важно осмотрев ребят, как бы оценивая взглядом, можно ли доверить такому народу ценности, Кирыга-деревяга достал из-под стола берестянку с солью, баночку с лавровым листом и перцем-горошком.

— Припас берегите, не валите горстями-то! — строго наказывал большой начальник. — Когда иссё плавлавка придет?

— Без тебя знам! — бойко отшивала большого начальника Касьянка.

Обнажая коричневые от табака зубы, Кирыга-деревяга грозил ей пальцем:

— Шибко много говорис, однако!

— С вами, с мужиками, не говори да не следи, дак и толку никакого не будет...

Кирыга-деревяга обезоруженно махал рукой:

— Иди ус, тараторка! А ты, Акимка, в рыботделе мети! Стобы как зеркало!

— Поменьше соли на пол бухайте! Зеркало тогда будет...

— И этот туда же! Ну никакого почтенья к старсым! — взъедался Кирыга-деревяга и, вывалившись на берег, глядел своими, все еще снайперски зоркими глазами вдаль: — Вот и насы! — извещал он с облегчением.

И тут же из-за мыса одна за другой появлялись низко осевшие от груза лодки и неводник. Вставали они, грузные, далеко от берега. Артельщики, разламываясь, нехотя перешагивали через борта лодок в мелководье, тащили лодки за уключины и бор-

та. Ближе к берегу, чтоб недалеко рыбу и сети таскать. Навстречу, разбрызгивая холодную воду, спешили помощники-парнишки, кто во что одетый, тоже хватались за борта, вытаращив глаза, помогали вроде бы тащить, на самом же деле волоклись за лодками, заплетаясь в одежонке и больших обутках, рушась в воду, плюхаясь в ней и взвизгивая от обжигающего холода.

— Куда лезете, чертенята косопузые? Испростынете к дьяволам!

— Нис-сё-о-о-о!

Ноги ломит, пальцы судорогой сводит, сердчишко заходится, но все равно суматошно, весело на берегу парнишкам, удале хочется показать и старание, а главное, скорее заглянуть в лодки, сколько поймано рыбы, вывести.

— От хорос-ссо-о-о! — сдержанно сообщают они друг дружке. Орать и прыгать нельзя — от северян-промысловиков взято спокойствие, притворное равнодушие к добыче, иначе сглазить, озевать можно удачу, потому-то с ненавязчивым, взрослым достоинством парнишки лишь мимоходом интересуются допрежь Киряги-деревяги, который стоит в стороне и, как положено большому начальнику, в колотухе не участвует, марким трудом себя не унижает. — Кака седни шла рыпа, товариссы? Таймень, нельма, муксун или красна?

Рыба на виду. Здешний малец с люльки ведаёт ее по виду, по вкусу, по названиям, ребята постарше и приемную цену, и сортность, и мерность рыбы знают. Но такой уж в Боганиде укоренился обычай: как бы ни устали артельщики, как бы и чем они раздосадованы ни были, на ребятишек сердца не держат, радуясь их радости, возбуждаясь их шумом и колготней, они не большому начальнику, а им, малым людям, охотно, вперебой докладывают, какая шла сегодня рыба, где попадалась лучше, где хуже, и что задевы ни одной не угодило, сети целы, работа шла без сбоев, как по маслу. В заключение бригадир или дежурный артельщик, сдвинув шапчонку на нос какому-нибудь мальцу, извещал:

— Не-эльма, ребятушки, на ваш загад впуталась! Небольшенькая! Коло пудика!

Тут уж где выдержать? Кто подпрыгивал, ремками тряхнув, кто в ладоши ударял, кто цокал языком, а Касьянка хвалила:

— Ну и мужики у нас! Ну и рыбаки! Нигде больше таких фартовых нету!..

Начиналась разгрузка рыбы. Киряга-деревяга вступал в роль, форменным полковником делался, командовал напропалую. Никто его, конечно, не слушал, потому что и без него всем известно, чего кому делать. Но большой начальник все равно метался по берегу, дырявил гладкий приплесок кругляком деревяги, ронял кепку, махал рукой, показывая, куда чего и в чем нести.

Дежурный артельщик сдачей рыбы не занимался. Он сразу же отделился от бригады, разжигал приготовленное под котлами кострище. Быстро, бездымно брались огнем натесанные щеп-

ки. Лизнув желтым языком сахарно-белую щепу, пламя отменяло торцы поленьев и начинало с треском их разгрызать, протачиваясь по щелям. Минуту-другую дежурный сидел на корточках, забыв про свою службу, устало смотрел в огонь, дотягивая сигарку, затем встряхивался и заглядывал в налитые водой котлы, в одном из которых плавали лавровые листья и по дну черным крапом темнел перец, отчетливо видные в не растворившейся еще горке крупной соли, — пробная порция приправ; заправка и доводка ухи до плотного вкуса произойдет после.

Вывалив из корзины на приплесок еще живых, но уже вяло пошевеливающихся стерлядок, дежурный крепко зажимал голову крупного, пьяно бунтующего налима и через жабры вынимал крылато развернутую, медово-желтую печень, по-здешнему — максу. Большой начальник, принимая рыбу, «не замечал» тряпично просевшие, сморщенные, только что вроде бы разрешившиеся родами, пузы пятка налимов — нарушение, конечно, без максы налим никакой цены не имеет, но поперек артели не пойдешь, артель — сила. Управившись с мелочью, дежурный цеплял нельму за крышку жабры, волок ее, сорящую по песку серебром чешуи, в воду и острым ножом тонко прочеркивал нежно-белый упругий живот рыбины.

Аким и все парнишки постарше сортировали рыбу, стараясь не наступить и, не дай бог, плюнуть на невод — уловистость снасти испортишь, — и краешком глаза наблюдали, как обстоит дело с ухой, чего в нее попадет сегодня, и, переглядываясь между собой, показывали большой палец, заметив, какую дородную нельмичку полосует дежурный. Отрезав из-под нежного подкрылка свежий, соком истекающий кус, дежурный артельщик иссекал его на полене в кубики, раздавал мальчикам вместо сладости, и те охминачивали за обе щеки свежую рыбу так быстро и жадно, что на губы их выдавливался прозрачный жир.

Забудькало, заворковало в котле, аж в костер сплелснulo. Огонь приутих, зашипел и тут же воспрянул, треснул, приподнялся, достал выпуклое дно котла, уперся в него гибким всходом и раскрылся ярким цветком, в середине которого темнела маковица чугунного котла. Ребятишки, которые босые, совсем еще хилоногие, облепили огневище, и кто в него сучок, кто щепочку совал, стараясь посильным трудом заработать себе еду и даром греться большим артельным огнем.

Всякий народ перебивал в Боганиде, но не было случая, чтоб кто-то погнал ребят от костра, укорил их дармоедством. Наоборот, даже самые лютые, озлобленные в другом месте, в другое время, нелюдимые мужики на боганидинском миру проникались благодушием, милостивым настроением, возвышающим их в собственных глазах. Конечно, артельщики маскировались и грубоватой шуткой, и незлобивым ворчанием, но ребятишки — зверята чуткие, их не обманешь, они понимали, что все это просто так, для куражу, что дяденьками овладело сердечное высветление; оно приходит к человеку, который делает добро и удво-

летворяется сознанием — он еще способен его делать и не потерял, значит, для семьи, для дома, для той другой, утраченной жизни. Понимая некоторую стесненность ребят — как-никак нахлебники, артельный народ всячески старался занять малый люд делом.

— Луку! Кто за луком!

И ребяташки со всех ног бросались к лодкам, в носу одной из них находили беремя дикого луку, завернутого в плащ, — возле Боганиды лук выщипывали, выводили еще с весны, и рыбаки привозили его с дальних тоней.

— А кто же у нас тут главный по соли? — оценивающим взглядом обводил дежурный благоговейно замерших ребятешек. Каждый хотел бы быть главным по соли или хоть по перцу, но не смел высунуться наперед других связчиков, лишь ел дежурного взглядом, безгласно крича: «Я! Я! Я!» — Н-нет, товаришсы дорогие, мужики удалые! — разводил руками дежурный: — Соль, перец — дело тонкое, женщины только и подвластное! Куда-а нам против Касьянки? Она и в работе удала — с огня рвет, и посолит, как отвесит, чика в чичу, на всякий скус... — Передав берестянку с солью ног под собой не чувствующей белобрисой девчужке, дежурный отстранялся от котла, как бы сняв с себя всякую ответственность, переложив тяжкий груз на другого, более сведущего в сложном поварском деле, человека, определял себе и «мужикам» работу грубую, менее почетную — вычерпывал с парнями воду из лодок, обирал шахтару, соскабливал и смывал с подтоварников рыбью чешую и слизь, прополаскивал фартуки, рукавицы, рыбацкую спецовку.

— Да не забредайте глубоко-то, не забредайте! Испростыньте! Кто лечить будет? — строжилс дежурный, а то и бригадир, остепеня в раж вошедших парней. Да куда там? Чем больше им говорят, тем пуще они хлобыщутся в воде, напропалую лезут в нее — у берега-то мутно, чешуя, рыбы потроха, возгри, сукровица сгустили воду и супесь на заплесках.

Получив ответственное поручение, Касьянка становилась до того важной, что покрикивала и распоряжалась у огня пуще, чем Киряга-деревяга в рыботделе: давала указание, чтоб огонь держали, чтоб руку не подтолкнули и вообще не мешали, не путались бы под ногами. Самый уж разнестроевой карапуз — мальчишка по прозвищу Тугунок, и тот был захвачен трудовым потоком — старательно резал лук острущим ножом на лопатке весла, выпустив от напряжения белую соплю на губу. Сестренка Тугунка, погодок Касьянке, припасла котелок, держала его наготове, чтоб, как наступит пора, растирать в нем максу с луком, не бегать, не искать посудину. Очень это важный период — заправка ухи: обваренную максу вынимали черпаком, кидали в котелок и перетирали вместе с луком. Желтую, парящую жижицу затем вытряхивали обратно в котел, и дивно сдобренная, без того валящая с ног сытным ароматом уха обмирала в котле,

словно тронувшееся сдобное тесто, готовое в любой миг полезть через край от силы, его распирающей, и полной зрелости.

К бурно закипевшему котлу, по которому гоняет лавровые листья и в середине кружит белопенную воронку, завихряя в ней горошинки перца, мелкие угольки, серые лохмоты отгара и комаров, дежурный прет в корзине вычищенную, вымытую, расчлененную рыбу. Из корзины торчит лунно отблескивающий, раздвоенный хвост огромной нельмы, трепещут и хрустят еще о прутья крыла стерлядок, буро светится нарядный таймененок. Попробовав черпаком еще пустое варево на соль и удовлетворенно подморгнув Касьянке, напряженно ожидавшей в стороне приговора, дежурный с плеском вываливал в котел рыбу. Только что бушевавший, булькающий котел охватывала дрема, переставали кружиться по нему, плескаться в его гулкие, шербатые бока вспененные волны, обрезало пенистую воронку, видно делалось накипь, кольцом очертившую посудину изнутри, — как ни три, как ни мой старый чугунный котел, в порак его всегда останется скипевшийся жир.

Какое-то время смешанно, кучей поконтся в котле рыба, чуть только пошевеливает ее из-под низу и нет-нет вышибет наверх блестящую жиру. Поначалу россыпью катаются кругляшки жира по просторам котла начиненными копейками, но варево со дна пошевеливает и тревожит все сильнее, все напряженней. Вот уж один-другой кусок плавкой нельмы с крылом или жировым плавником приподняло, перевернуло; уха начала мутнеть, облачком кружиться, наливаться горячей силой — блестящие жиры в пятаки величиной, в рубли, расплавленным золотом сплошь уже покрыли варево, и в посудине даже что-то тонко позванивало, словно выплавленные капли золота падали на звонкое чугунное дно артельного котла. Первым наверх выбило широкий, крылатый хвост нельмы, трепыхнула плавником пелядка и тут же сваренно уронила его. Всплыл, выгнулся дугой таймененок с сонно распахнутым ртом и занырнул обратно; выбросило, закружило, стерляжки остроносые головы. И пошел рыбий хоровод! Куски рыбы, белые, красноватые, с прожелтью, с плавниками и без плавников металась по котлу, переворачивались, выпрыгивали пробками и оседали на дно. Лишь матово отливающий хвост нельмы стойко еще держался над котлом, но и он завядал, сворачивался.

Варево подбрасывало нагоревшим огнем, вертело, гоняло бурунами, и сам котел и крюк над ним содрогались, будто вскачь неслись, позвякивали железом, и бодрое клокотанье возбуждало, веселило и подгоняло артельный люд, занятый колотухой. Кипит работа на берегу! Лишь собаки лежат в стороне. Глянет кто на них — они хвостами повинно шевельнут, что, дескать, поделаешь, нам никакой работы покудова нету, а есть тоже хочется.

Сортная, несортная, белая, черная — разбрасывает Аким с парнишками рыбу по ящикам и носилкам, споро работает,

аж вспотеет весь и, незаметно от людей, нет-нет да и кинет какой-либо собачонке прелую сорожину, чебака, щуренка, окунишку иль налима, разжужльканного сапогом. Собака лапой прижмет подачку, покажет зубы налево и направо — не зарьтесь, мне дадено, и, стараясь негромко хрустеть, пожирает рыбу.

И вот дохнуло по берегу ароматом свежья, легким еще, но уже выбивающим слюну, а как растерла Касьянка максу, бухнула приправу в котел, и уха вспухла, загустела, впитывая жир и луковую горечь, куски рыбы как бы изморозью покрылись, и рыбы головы сделались беззрачными, таким плотным запахом сытного варева, допревающего на тихом жару, опахнуло людей, что ребятишки сплошь задвигали гортанями, делая глотательные движения, и не отрывали уж глаз от плавающего поверху, белого, на большую осу похожего, пузыря нельмы — лакомства, которым дежурный, если захочет, поделится с ними. Втягивая воздух носами, артельщики орали друг дружке: «Башка кружится, вот как жрать захотелось!», «Духом валит с ног!». «Шевелись, шевелись да к ухе подвались!» — поторапливал бригадир.

— Рыбе перевар, мясу — недовар! — попробовав варево из черпака, подмаргивал истомившимся, сидящим вокруг котла ребятишкам дежурный. — И молодцы же мы, ребята, — дежурный чуточку думал и, как бы отчаявшись, махал рукой, поддевал и вышвыривал из черпака в протянутые ладошки самого малого старателя — Тугунка — нельмовый пузырь.

Тугунок, утанув белый шнурок в ноздрю, подбрасывал пузырь с ладошки на ладошку, дул на него вытянутыми губами и бойко начинал им похрустывать, будто репку грыз, а ребятишки завистливо смотрели на него, у которых накалились слезы на глазах, но дежурный и сам, осоловелый от запашистого варева, не давал горю места, удало распахнув телогрейку, засунув два пальца в рот, оглашал залихватским свистом берег и еще блажил во всю глотку:

— Навали-ись, у кого деньги завели-ись! Хлебать уху, поминать бабушку глуху!

— Пора, пора! — откликались рыбаки. — У голодной пташки и зоб на боку...

Быстро, бегом, подначивая и подгоняя друг дружку, заканчивали артельщики сдачу рыбы и все разом, большие и малые, мыли руки с песком. Серыми мышатами лепились по краю заплеска ребятишки, ловили красными лапками воду — к позднему, вечернему часу делалось холодновато, но комар все густ, подышать, вволю поплескаться все не дает, а так охота, отмыть руки, поплескаться на лицо, поскидывать спецовки и рубахи да обмыться до пояса, сладко при этом завывая, побряхтывая, да разве зараза долгоносая даст! Выбредая из воды, рыбаки откатывали голенища резиновых сапог, отсыревших изнутри за день, — в самый раз разуться бы, дать отдохнуть ногам, да опять же тварь-то эта, комар-то, в кровь искусает.

— Шевелись, шевелись, мужики! — торопил дежурный. — Уж солнышко на ели, а мы все еще не ели!..

— Любимая вещь — как позовут есть! — устало, но складно пошучивали рыбаки.

— Гнется с голоду, дрожится с холоду...

На ходу зачесывая волосы, у кого они успели отрасти, и прихлопывая к столу, рыбаки не садились — валились на скамьи, вытягивали ноги и какое-то время оглушенные, разбитые сидели, не шевелясь, не разговаривая и даже не куря.

В это время, рассыпавшись по берегу, молодые силы, которые еще на иждивении, отыскивали миски, чашки, котелки, переданные им старшими братьями, уже зарабатывающими себе хлеб. Посуда старая, потрескавшаяся, ложки разномастные, большей частью сводедельные, попрятаны в коцах тальников, под настилом рыбодола, за камешником, за бревешками — у каждого едока своя ухоронка и своя очередь к котлу.

У Тугунок очередь первая. Он и в самом деле похож на табунную, больше пальца не вырастающую, серенькую цветом, но вкусную рыбку — тугуна. Крепко держит Тугунок горбушку хлеба, огрызенную кругом, и деревянную, тоже погрызенную ложку, в другой руке за губу он держит эмалированную, испятнанную выбоинами и трещинками, миску, доставшуюся от брата, который сидит за столом среди артельщиков и снисходительно следит за меньшаком, и по лицу его бродит улыбка — тень воспоминаний, горестных и легких. Старшему ведомо, отчего так показно и гордо держит Тугунок на кедровую шишку похожую краюшку хлеба — не съел, уберег, поборол соблазн, всем своим видом гордо заявляя: «А у меня свой хлеб!»

«Свой хлеб» — подмога артели, облегчение, пайку выдают в Боганиде мукой. Мозглячиха стряпает артельщикам хлеб в бараке, все остальные пекут по своим избам, кто как умеет. Касьяшкам муки хватает на неделю-две: дымятся лепешки на плите, заваруха в чугунах клокочет, оладьи, блины на сковороде шкворчат в рыбьем жире — есть не хочу! Заходи, кто хочет, «угоссяйся!». Потом шабаш — зубы на полку.

Мать касьяшек снова не показывается на волю — есть на то причина, все знают, какая, понимают, отчего выслуживается Касьянка, ломит изо всех сил Акимка и почему касьяшки лепятся в хвосте очереди, отводят глаза от людей и от хлеба, который ребята хранят тоже кто где: кто в кармане, кто под рубахой, кто в кошелке. Касьяшкам и той братве, что не держит выть и ополовинивает, а то и вовсе съедает пайку, заждавшись с тоней бригаду, надо отделять хлеба; вздыхал бригадир, но куда же денешься, на рабочего человека — дело, на голодного — кус.

Тугунок, будто язычески молясь, тянулся обеими руками вверх, ростиком он ниже артельного котла, в руках миска. Киряга-деревяга пробовал возражать, все, мол, должно быть, как в кочевом роде, в северном стойбище: в первую голову к еде, особенно когда горячую оленью кровь пьют, должен подходить



охотник — самый нужный в становье человек, затем парни, после старики и бабы — бросовый народ. Кирыге-деревяге втолковали: здесь, мол, тебе не полудикое становье, здесь бригада, и бригада советская, между прочим. В Советской же державе всегда и все вперед отдавалось и должно отдаваться детям, потому что дети есть наше будущее. Заткнулся Кирыга-деревяга и, хоть был большим начальником, еду с тех пор получал вслед за детьми, однако всегда поторапливал, поругивался, поскрипывая нетерпеливо ремнями — креплениями деревяшки; дело в том, что артельщики перед едой, перед ухой выпивали по стакашку, и у Кирыги-деревяги горело и дымилось не только нутро, но вроде бы и деревяшка, да приходилось ждать, и он ждал, побрякивая котелком, надраенным Касьянкой.

Сказавши: «Эх, и муха не без брюха!» — дежурный кашевар делал черпаком крутой вираж в котле и вываливал в миску Тугунка кусище рыбы. Руки малого проседали под тяжестью, от забывчивости снова вытягивался из носа к губе шнурок.

— Держи! Крепче держи! — подбадривали Тугунка связчики из терпеливой очереди.

— Не уси усёнова! — выталкивал строптивый работник напряженным шепотом и обмирал, дожидаясь второго захода в котел, — дежурный черпаком поверху снимет запашистого навару с плавающими в нем лохмотьями максы, лука и жира, скажет, опрокидывая черпак над миской:

— Н-ну, фартовой парняга! Н-ну, фартовой! Вся как есть вкуснятина зацепилась! Поешь, поешь, парень, рыбки, будут ноги прытки! Следущшы!

Задохнувшийся от запаха ухи и оттого, что «вся ему вкуснятина зацепилась», напрягшийся темечком — не запнуться бы, не упасть, Тугунок мелконько перебирал ногами, загребал песок драной обувкой, правясь к артельному столу, а руки ему жгло горячей миской. Но он терпел, не ронял посудину с едой, ожиданием которой свело, ссудорожило все его, еще не закаленное терпением, жиденькое, детское нутро. Рот мальчишки переполнился томительной слюной от зверущего нетерпения, скорее хватить пищи, захлебнуться обжигающим варевом, откусить кус хлебушка... Темнеет у малого человека в глазах: немеет небо, и липкая слюна не держится во рту — скорее, скорее к столу, но так жжет руки миской, так жжет — не удержать! Ой, не удержать! Уронит! Сейчас уронит!.. Отчаяние охватывает мальчишку, слезы застыт глаза, вот-вот уронит он наземь миску и сам с нею грянется...

— Дай уж донесу!

Касьянка! Затем в Боганиде и есть Касьянка, чтоб всем вовремя пригодиться и помочь. Семенит за Касьянкой Тугунок, заплетается в собственных кривых ногах и, кажется ему, про себя, молчком умоляет:

— Не расплессы! Не расплессы!..

Поставив миску на стол, Касьянка пристраняет малого на скамейку, выдавливает ему нос в подол и дает наставление:

— Ешь, не торопись! Да покуль горячо, хлеб не стрескай, потом пугу щербу швыркать...

Тугунок мычит что-то согласное в ответ, а сам уж хлеб кушает, скорее ложкой в миску и тянет дрожащие, от напряжения потом окрапленные губы встреч ложке, дует, дует на варево, не видя и не слыша уже ничего и никого вокруг. Всех малых препроваживала и определяла за столом Касьянка, всем давала хозяйские наказы не спешить и не смолачивать хлеб наголо. Котелок Кирыги-деревяги, фронтовой еще, мятый, Касьянка всегда без очереди подносила и самого большого начальника определяла за стол меж ребятами и бригадой.

— Спирт-то разом не вылакай! — и ему суровый давала наказ. — Опять не поевши свалишься. Ты помаленьку: выпей, похлебай, выпей да похлебай...

— От кому-то зынка попадетс! — обводил застолье взглядом Кирыга-деревяга. В голосе его любовь напололам с неподдельным изумлением. — Ротный старсына!

— Да, братва, зачем не подождал я жениться? Касьянку-официантку засватал бы!

— Будет шелепать-то, будет! Пейте, ешьте, уработались! — легкая, беленькая порхала по берегу Касьянка от котла к столу, от стола к котлу, что метляк, что птаха малая, и уж после, когда все были у дела, все заняты едой, оглядев застолье заботливым взглядом, тыкалась девчушка с краю стола, ела торопливо, но опрятно, готовая в любой миг вскочить, поднести чего или выполнить чью просьбу.

Блюда поначалу сдержанность, и старшие, и малые парнишки расходились в еде, слышался перестук и бряк ложек о посуду, швыркание носов — теплый дух еды расплывался по нутру малых работников, оставшихся наедине с собою, со своей посудинкой, и хоть ложка узка, да цепляла по два куска, и дело спорилось.

Мужики подбадривали малых застольными присказками: «Какой человек ни есть, а хочет есть!», «Ешь, братва, наводи шею!», «Мельница — водой, а человек силен едой!», «Ешь чира досыта, будет чирка боевита!», ну и всякое тому подобное, что в других местах при детях запретно было бы молвить, в Боганиде звучало обычно. Отдельной застольной шуткой, от которой никак не могли удержаться рыбаки, шло в прокат слово «уха» — уж такое это слово, что со всеми другими словами само собой вяжется.

— Дети кругом, — укоризненно качала головой Касьянка, указывая ложкой на малышей.

— И дамы! — бригадир подмигивал артельщикам, выставляя на стол пузатую аптечную бутылку со спиртом. — Ну, мужики! Как говорится, без хлеба не работать, без вина не плясать. Пей перед ухой, за ухой, после-ухи, уху поминаючи!..

Короткое оживление за столом, сдержанный хохоток. Алюминиевая кружка от едока к едоку по кругу шла, опорожнив которую рыбаки кто кричал, кто лишь кулаком рот утирал, кто заедал, хрустя луком, кто и присказку, опять же к месту, мол,

чай-кофий не по нутру, была бы водка поутру. Но уже шутки и разговоры дряблые какие-то, через силу вроде бы говорились — делу время, потехе час, пора и за ужин.

Бригадир и за кружку брался последним — сидел он у торца стола хозяином-отцом, его заботы сперва о семье, потом о себе. Кирыга-деревяга вытягивал шею — убывал, на глазах убывал спирт из пузатой бутылки — что как не достанется? Бригадир, потомив большого начальника, подсовывал ему стеклянную банку из-под баклажанной икры, брякал об нее алюминиевой кружкой:

— Здоров буди, снайпер! — говорил и, обедя полукруг посудыной, кивал головой: — Всей честной компании!

— Кушайте на здоровье! — хором откликались малые боганидинцы, уже отогревшиеся, приободренные едой.

Бригадир пил, размеренно гукая кадыком, затем сплевывал под ноги, шумно выдыхал и, прежде чем хлебнуть ухи, разок другой шевелил ее ложкой, словно бы взбадривая варево.

Кашевар хотя и сытее князя бывает, однако ему тоже пришел черед определиться к столу, и, сказавши насчет того, что нельма сегодня попалась нагульна, навариста и еще: «Рюмочка — чок, катись в роточек!» — и он наваливался на еду.

Никаких больше разговоров. Бригада ужинает. Венец всех дневных свершений и забот — вечерняя трапеза, святая, благостная, в тихую радость и во здравие тем она, кто добыл хлеб насущный своим трудом и потом.

Той порой собаки, подобравшие всю бросовую рыбу с приплесков, незаметно вползали под стол и, по сапогам, по запаху ли отыскав своего малого хозяина и друга, тыкались мокрыми носами в колени, намекая насчет себя. И так уж повелось в Боганиде: добросердечность, объединившая людей, переметывалась и на животных. Малые едоки роняли под стол кости, рыбы крылышки, высосанные головы, поймав подачку, собаки притаенно похрустывали, а рыбаки делали вид, будто никакой вольности не замечают.

Сулили уединенному поселку Боганиде повальным мор, поножовщину. Как ужиться простодушному северному человеку с теми, которых от веку именуют страшным словом «бродяга», а то и «арестант». Кирыга-деревяга, пока вместе с бригадой стоялся не начал, называл артельщиков пугающим словом «элемент». Но простодушие ли северян, дети ли их вольные и доверчивые ко всему живому развеяли жуткие предсказания, работой на Боганиде дорожили, и, если какая нечисть затесывалась в бригаду, намереваясь взять ее блатным нахрапом, заразить ленью, картами, воровством, его били смертным боем, как того «культурника», и он или приспособлялся к боганидинскому укладу жизни, или отбывал из поселка.

— Как уха, работники? — обязательный вопрос каждого дежурного кашевара. И на вопрос этот первым должен откликнуться голова застолья — бригадир. Раскрасневшийся от еды

и спирта, вольно распахнувшийся рубаху на груди, где среди путающегося волоса всосалось несколько комаров, он великодушно возвещал:

— Не зря говорится — добрый повар доктора стоит!

— Брюхо, что гора, доплестись бы до двора! — вклинивались в разговор артельщики. Малые, сморенные едой работники, пусть и разрозненно, тоже хвалили кашевара, едва уж ворочая языком:

— Очень хоросо!

Мужики закуривали. Над столом вздымался такой густой и плотный дым, что камары жались к земле, забивались под стол и там набрасывались на собак. Тугунок и вся мелкая братия начинали клевать носом в посудину. Под столом ловкая лайчонка вежливо облизывала в бессилье уроненную ложку, полагая, что ее затем и опустили, чтоб облизать. Разок-другой не корысти ради, от признательности уж собачонка и руку дружка своего лизнет, мужики кто во что горазд прокатываются над малыши.

Касьянка сгребала в кучу меньших, кого подгоняя, кого волоком, распределяла по домам — уснут на берегу, попробуй утащи — тяжелые после ухи пузаны, а на улке не оставишь — комар.

Акимка не давал себе рассолодеть за столом. Он собирал со стола посуду: ложки в ведра, миски, котелки, чашки в кучу и, прибавив из котла горячей воды, нес ведро в лодку. Смешав в ведре горячую воду с холодной, он неторопливо мыл посуду, ополаскивал ее за бортом, жмурился, сыто пойкивал. Дежурный тем временем снимал с крюка котел и отставлял в сторону. На дне котла оставалось два-три черпака ухи с разваренной рыбой, с густо налипшими в нее горошинами черного перца, и, вывалив остатки ухи в емкий медный котелок Кираги-деревяги, Касьянка подсовывала посудину на дотлевающие угли костра и кидалась помогать брату обихаживать посуду. Вехтем из жесткой осоки и талого корья оттирала она жирное нутро котла с песком, отдувая с лица комаров и жидко спадающие на лицо волосенки, напевая под нос: «Шлю, маруха, тебе я привет».

«Откуда такая крепость, такая неугомонность в этой худенькой девчонке?» — дивился Аким, с трудом одолевая ватно его обволакивающий сон. Все ее погодки, парнишки и девчонки, тяжело отпыхиваясь, спали уже по своим, дымокурами прокопченным, избушкам, а эта суетится, возится да еще и поет, правда, совсем уже тоненько, на исходе сил, но поет. Акимка молча отымал у сестры вехоть, выталкивал ее из лодки, и она покорно тащилась в гору, за нею, опустив хвосты и уши, сонно волоклись псы, они тоже наработались — подбирали кости, крошки возле стола, вырывали чего возможно друг у дружки, вступали в схватки с жадными, но более верткими и ухватистыми птицами — чайками.

Напившись густого, бодрящего чаю, артельщики развешивали невод, сетки, приканчивали текущие дела и отправлялись в

барак, где к этой поре жарко натапливалась русская печь — для просушки одежды, и радистка, она же ворожея и мать все-му здешнему народу, как по возрасту, так и по нраву, Афимья Мозглячиха, доложившая в «центр» о наличии рыбы на участке, о сохранности людей и инвентаря, давала мужикам возможность посидеть в своей каморке, покурить, послушать новости или музыки, посудачить о том о сем да и отправляться на покой — завтра снова тяжелая работа на воде.

А завтра — оно вот, скоро, совсем уж скоро выродится из сегодня, чиркнет по мутному, живому от комаров окошку барака первым лучом солнца, выпутавшегося из лоскутья туманов, застеливших тундру, отсыпаться, чинить сети, конопатить лодки, мыться в бане — это уже во время оддорной, так коренные жители называют ненастную погоду, когда на реку не выплыть, а пока горячая страда — на реке, как и в крестьянском поле, летний день год кормит.

Какое-то время еще торчал в рыбоделе Киряга-деревяга, тупал ногой по настилу, попыхивая трубкой. Распаленный спиртом, он выхвалялся перед резальщицами, которые спустились из поселка по холодку, на малом комаре пороть и солить рыбу.

— Семь фасыстов пришиби иссе, и мне бы героя дали! И сто меня потассыло не тем путем?..

— Пьяный, поди-ка, был? — заводили Кирягу-деревягу женщины.

— Пьяный? Сто говорис-то? Сообразас? Снайпер на линии огня как огурчик должен быть! Когда с огневой придес, тогда позалуста, выпей, отдохай!

— Ну дак вот и торопился!..

— Куда?

— Огурчиком-то закусить!

— Аа-а, толковать с вами, серамно сто с пленными! То да потому, то да по тому! — отчаивался Киряга-деревяга и сурово наказывал: — Мотрите, стоб сё тут было, как в больнице, систо!

— Да иди уж, иди, начальник, намес комля чайник! — прыскали резальщицы.

Киряга-деревяга плевался:

— Сто за народ! Сто за народ, понимае! — и бросками вышвыривал себя в гору — так зовется на Боганиде, как и на всякой иной земле, берег, подмытый ступенями, дышащий мерзлотой. На горе Киряга-деревяга грустно замирал, глядя куда-то, вспоминая о войне, о фронтовых друзьях. Душный пар от мерзлой земли чем далее в тундру, тем дремней сгушался, вбирал в себя пространства, низкую пестренькую растительность, смешивался с туманами озер и рек. Густой пеленою заволок, укрыл и недвижимую, на правое плечо скособоченную фигуру бывшего снайпера, с медалью, прицепленной к телогрейке.

Аким выплескивал из неводника воду, выскребал шахтару, рыбью шелуху, потроха, укладывал на место подтоварники в лодке, составлял к рыбоделу весла, подколачивал топором ук-

лючины, пережидал, когда отправится на отдых дежурный. Тот не заставлял себя долго ждать, почесываясь, широко зевая, интересовался:

— Все вроде бы прибрали?

— Сѐ!

— Я пошел тогда?

— Ступай, позалуста, пана!

Взглядом проводив дежурного к бесплотно плавающим в сереньком морозе избушкам Боганиды, Акимка с облегчением переводил дух, забирал берестянку из-под соли, в которой серел кусочек хлеба и рыбы, отделенной им с Касьянкой, поддевал на руку дужку старинного котелка с теплой еще ухой и, неслышной тенью проскользнув мимо рыбодола, где пластали рыбу и трепались резальщицы, спешил к избушке с вывалившимся из углов простенком, подпертым с берега.

Заслышав осторожный скрип двери, молча, всякий раз молча, мать тенью приподнималась на нарах и, ровно бы боясь обмануться в ожидании, напряженно следила за Акимкой. Он ставил на печь котелок, зажигал в намазаной плите щепье, заранее собранное на берегу, следил, как разгорается огонь. Берестянку с рыбой и корочку хлеба не глядя совал себе за спину, в сумрак избушки, и всякий раз пугался холодных, ищущих рук.

— Захворала?

— Не-е. Сѐ мне делается? — стараясь придать голосу беспечность, отзывалась мать и, шебарша, принималась выбирать из берестянки рыбу. С откровенным детским причмоком обсасывая косточки и пальцы, мать ворковала: — Якимка хоросый! Якимка настоясый сын! Тай пох торовья! Тай пох... — и эти вот заискивающие, неловкие, унижающие взрослого человека слова опрокидывали все в Акиме.

Прибитый униженностью матери, он, не глядя на нее, с грубоватым мужским превосходством плевал в огонь, приказывал не трепаться, есть, пока дают. Мать послушно и виновато затихала, мотая головой, хорошо, мол, хорошо, молчу, только не гневайся, кормилец. По природе не грубый, Аким тут же исправлял положение, вспоминая поговорку боготворимого бригадира: «Дома ешь чего хочешь, а в гостях — что дают!» — и чуть слышно ободрял:

— Кушай, кушай! Ребенка кормить надо. Ребенок-то нисѐ не понимает, ему дай ись, и все.

Смиренно швыркала мать подогретую уху из котелка, экономно прикусывая хлебца, вздыхала, будто оленуха. «Никто не ведает, где бедный обедает», — усмехался невесело Аким, а мать, боясь сказать еще чего-нибудь невпопад, молча протягивала ему котелок и, трогая его руку суетящимися, заискивающими пальцами, давала понять, что вот и согрелись ее руки, вся она согрелась.

— Па-а-аси-ибо, сыносок! — удаляющимся голосом нежно пела она и, шаркнув по стене рукою, опала в глубь избушки, в постельное гоино, свитое из старых оленьих и собачьих шкур.

Выковыряв из кучи лохмотьев керкающего, почти задохнувшегося ребенка, мать сперва выцарапывала из ноздрей и рта младенца изопревшую шерсть от шкур и совала в слепо ищущий зев недоразвитую грудь. Вздвогнув поначалу от жадно, по-зверушечьи давнувших десен и в ожидании боли, заранее напрягшаяся мать, почувствовав ребристое, горячее небо младенца, распускалась всеми ветвями и кореньями своего тела, гнала по ним капли живительного молока, и по раскрытой почке сосца оно переливалось в такой гибкий, живой, родной росточек.

И Акимка и Касьянка так же вот начинались, так же слепо, так же жадно искали грудь, а сейчас вон Акимка у печи сидит — хозяин. Касьянка к матери приткнулась — греет ее боком — дети, живые люди. Покоем и тихим счастьем охвачено сердце матери и тело ее, ей хочется еще раз сказать «пасибо!» старшему и всем-всем, кого она знает, потрогать рукой Касьянку, дотянуться до гладких, прохладных щек всех ребятишек, прогнать с них комаров, но ее начинае кружить, нести куда-то на качкой лодке, и она, еще слабая от родов, отдается чуткому материнскому сну, уплывая в густую от запахов глубь избушки.

Акимка все как-то угадывал, чувствовал, а понимая и чувствуя, снисходительно матери прощал. Кто-то ж должен был прощать ее, бесхитростную, не умеющую далеко глядеть и много думать не приученную. Дождавшись, когда мать отвалится на край топчана, простонет освобожденно и уронит руку, поддерживающую грудь у рта младенца, Аким подходил на цыпочках, укутывал мать, осторожно клал ее руку на бочок ребенка, сгонял со щеки Касьянки опившегося комара и решал, замерев над спящими: не развести ли курево? Но ребенок же в доме маленький, задохнется, да и сил у него уж почти не было, усталость долила его.

Хриплая, посапывающая, царапками ногтей заполненная темь избушки манила своим теплым, сонным раем. И, стоя средь избушки, он начинал отделяться от себя и ото всего, что есть вокруг, но все же пересиливал сон, заставлял перешагнуть порог, ежась от мозголой сыри, собирать щепу и плавник по берегу, выскребал из сердцевины сутунков гнилушки, тер их на табачном сите и, этим же ситом провевая, ставил банку с порошком к топчану матери — подсыпать ребенка — сопреет малый до костей в облезлых от псыны шкурах. Еще бы моху надрать, насушить и тоже подсунуть к топчану матери, но такую работу уже догадывалась исполнять Касьянка. Много, ох, как много нужно человеку, чтобы жить и существовать на этом свете.

Погоняв веником по избушке комаров, сгрудив младших ребят потеснее, Аким устраивался на краю нар, чтобы не посваливались которые на пол, и, едва успевал донести до изголовья щеку, засыпал каменно, бесчувственно. Но через час-другой какая-то сила, ему непонятная и многим детям вообще неведомая, заставляла его очнуться, оторвать прилипнувшую к постели голову, прислушаться...

Спит семья. Ребятишки спят — братья и сестры. Мать спит. Новый маленький человек спит. Как всегда, крадучись, мать неделю назад сходила в бригадный барак к Мозглячихе, опросталась там благополучно и виноватая вернулась с узелком домой. «Что сделаешь? Ребенок на свет живой явился, дак пусть и живет», — гаснувшим проблеском мысли успокаивался Аким во сне, наяву ли, видя бригаду и тесный ряд малышни за длинным тесовым столом, и успевал еще улыбнуться: «Вырастет и этот коло артельного котла!»

И до позднего утра, до нескорого пробуждения бродила по лицу парнишки улыбка.

Все кончилось однажды и разом.

Стройку дороги, которая через все Заполярье должна была пройти, остановили.

И опустела Боганида.

Мать ездила в Плахинский рыбоколхоз, писала «тогомент», получала сети, спецовку, аванс. Она привезла конфет, пряников, халвы, нарядные бусы и ленты, погремушку на резинке, поясок с медной бляшкой Касьянке, а себе кругленькие часы, которые ребятишки тут же утерjali, уронив в щель пола. Кроме погремушки, самому маленькому человечку привезена была интересная лопотина: чулки, штаны и рубаха — все вместе! Добро накопится, куда и вытряхивать, неизвестно. Обувь, одежду, одеяла, белье — потом, в другой раз сулилась мать приобрести.

Началась рыбацкая работа. Издали она кажется простой, легкой и веселой. Две осени плавал Аким с матерью. Плавал, значит, ловил плавной сетью муксуна, сига, омуля, селедку, чира, пелядь. Летом рыбачить ничего, хотя в затишье, меж ветродувами одолевает комар, но летом светло, приходится ловить рыбу ставными сетями и подпусками, плавают с августа, когда начнутся темные ночи.

Первое время Акимка не мог нарадоваться свободе и тому, что он сам зарабатывает хлеб себе и семье, помогает матери. Тот, первый, август выдался погожим, тепло еще было, день большой, ночь маленькая. Успевали сделать две тони, изнурения в работе не знали. Мать сидела с веселком на корме, покуривала, плевала за борт. «Ой, люли, моя малина, распрекрасная калина...» Касьянка опять же подцепила песню и обучила мать. Акимка сердился, когда они тянули про «маруху», блатная; говорил он, песня, поганая, за нее из школы прогонят Касьянку. Вот они, чтоб угодить «старсему», и выучили про калину.

Касьянке через месяц ехать в школу-интернат. Ей два платья на пароходе в лавке купили, ботинки и лыжный костюм, большой, правда, мужицкий, но Касьянка вырастет, и он ей будет в самый раз. Аким отправится в школу, когда кончится рыбацкая путина, пока же надо работать, кормить семью. Ребятишки жарят печь в избушке; ждут не дождутся брата с матерью, встречать артельно на берег вываливаются — совсем недавно



так вот, гамузом встречали бригаду. Что сделалось? Куда все делось? Народу в Боганиде душ полторы-тарары, ребяташки разлетелись с отцами-матерями, одним лишь касьяшкам некуда подаваться. Закрыли дорогу — черт с ней: век дороги не было в Заполярье и еще пусть век не будет. Но рыбу-то, рыбу-то ловить зачем бросили? Рыба — не доро́га, она всегда и всем нужна.

Приспел, не заставил себя долго ждать первый утренник, оглушил инеем гнус, искрошил мелкую траву, на свет выпросталось всякое тыкучее растение с мохнатым семенем, стало сорить на землю пухом, на кустарниках засветилась листва, до красноты ожгло бруснику в тундре, посыпалась остатная голубика, черника, раскисла поздняя морошка, княженица уронила в кочки последние мелкие ягодки, листья багульника свернулись ту же в трубочки. По озерам, на обмысках и островах тронуло горчишной сыпью тальники, заklubились над рекой птичьи стаи, выжатые из озерных и болотных крепей намерзающей утрами коркой льда, которую днем ломало ветром и солнцем. Начищенное до белизны лоскутьем летних туманов, солнце полорото плялилось с высоты на тундру, объятую краткой и дивной красотой. Ясное, не опутанное липкими, мокрыми сетями, как озерный круглый карась, солнце еще пригревало в полдень, пусть исходным теплом, да все же грело, но там, где солнцу надо замкнуть дневной круг, легкая дрема примаривала светило, и день ото дня оно провязало глубже в тину дальних болот. Кем-то растебленный птичий пух все плотней окутывал его, и в мякоти пуха оно долго нежилось утрами и возникало почти над головой, заспанное, ленивое.

Выбросив крестовину и выметав сеть, рыбаки рассаживались по местам: мать на корму, Аким за гребни. С вечера можно еще плавать в рубахе и пиджаке, ночью — в телогрейке, к утру плащ приходилось надевать. Легонько пошевеливая веслами, Аким удерживал линию наплавков сети вкось по слабому течению и представлял, как там, в глуби воды, чуть помутневшей от морока первых ночей, вышли и пасутся на песках, словно птицы, на ягодных полянах, косяки муксуна, чира, пеляди, омуля. Гладкими, заостренными мордами рыбы тычутся в песок, выбирая мормыша, личинок поденка, жучка-плавунца, осыпавшихся на дно комаров, тлю, мохнатых ягодных бабочек и всякую козявку, сбитую на воду ветром и холодом. Жирует рыба перед зимней полусонной жизнью. Если блошка, козявка, червячок какой не захочет, чтоб его съели, зароется в песок, в жидкий слой наносного ила, рыбы тревожат дно кто крылом, кто хвостом, кто поддевает песок нижней губой, будто лопатой: муть, супесь пропускают через жабры обратно в реку, козявке же иль червяку через гармошку жабер не проскочить. Прямой ей путь в ненасытную, чуткую рыбу пасть. Еще козявка лапки не сложила, не смирилась с судьбой, еще брыкается в тесноте рыбьего чрева, а уж пошла работа на перевар, выделился сок, который миглом размягчает и рассасывает не только мягкопузую козявку, но

и кость — ракушку, мелкий камешек, словом, варит рыбе брюхо, что боганидинский артельный котел. Касьяшки-варначье с досады раскололи его камнями.

Эх-ха-ха! Ни котла, ни бригады, осень надвигается, за ней зима подкатит, она тут резвая, не временит в пути, навалится — держись! Сроку ей половина года, когда и больше, а там весна, совсем не красна, зато голодная.

Не давая ходу тяжелым мыслям, Аким насильственно заставлял себя думать дальше, о том, что происходит не в миру, не на свету, а в воде, под лодкой. Там, внизу, следом за большой рыбой, вспахивающей дно реки, будто пашню — Аким видел пашню в кино, — теснятся косяки тугунка, ельцов, селедок и этого рванья, шпаны-то водяной — ерша, про которого опять же бригадир так славно и складно сказывал: «Ухи из ерша съешь на копейку, хлеба расплюешь на рупы!» Подбирает мелкота все, что плывет следом за плотными косяками строгой, жирующей рыбы, и, обнаглев, иной ершишко затешется меж чиров иль муксунов, выхватит из губатого рта рыбины выюнка или козявку, та покосится на нахала, гляди, дескать, я терплю, терплю да и ахну хвостом! И бывает, рассердится вальяжная, косячная рыбина, мотнет мордой, шарахнет хвостом — тучи мелкоты тогда, взрябив водяное поле, метнутся кто куда, высыплются на отмель, забрызгаются по опечкам, а их чайки цап-царап, цап-царап! У этой пташки не зазеваешься, она настороже днем и ночью и век голодная, нутро у нее, как решето, — всякий корм насквозь просеивается без задержки. Только вот влетела белым метлячком живая мулявка в визгливое горло и сей же миг выпала из-под хвоста известковой кляксой. «Ваших нет!» — говорили картежники в боганидинском бараке. Чайка ярким клювом перья чистит, холит себя, дородную. Сварливая птица, беспокойная, жадная, а улетит — пусто без нее на реке, будто в нынешней Боганиде. Вот перестала чиститься чайка, поднялась на розовых лапках, толкнулась, взлетела, хватъ рыбину с воды, больную, поврежденную ли, поверху полоскалась рыбина; чайка — санитар, чайка реку чистит, рыбий род крепит, выедавая слабую и заразную тварь, мальков на отмелях пёжит, физкультуру им делает, осторожности учит.

Катятся мысли Акима, катится сеть по чистому песчаному дну. Дрогнули ряды поплавок в срединном урезе сети, засуетились поплавки, запоныривали и огрузли — большая рыбина втяпалась, может, осетр, может, таймень, может, и нельмища. Пришла нельма, пришел осетрина или таймень-бандюга на отмель, затесался в толпу косячных рыб, толкается, корм из-под носу выгребает да еще норовит схватить зеворотую рыбину, какая ему по глотке, а того не видит, что, пока шухер наводил, будто блатняга в клубе, по песчаному дну, вкрадчиво побрякивая костяными кибасьями, напозла сеть, и облачком колышущийся подбор коснулся паутиной ниток наглой морды. Не понимая, что это такое посмело мешать ему жрать и развлекаться, тряхнул мордой разбойник и почувствовал на крышках жабер

петлю ячеи. — сразу в панику. Хищник любит сам хапать, но чтоб его ловили — ему не по сердцу. Тягу хотел задать, рванулся изо всей дурацкой силы. Верток, силен хищник, но на месте ему не развернуться, непременно его вперед бросит, значит, дальше в сеть. Рвать ее, пластать, противную, удушливую возьмется, забушует, завозится и вдруг отяжелеет, повиснет в сети, увлекая тетиву и наплавки в глубину.

Косячная рыба спокойна, нетороплива, пьтится перед сетью, не переставая кормиться, — не хочется ей покидать кормные отмели, шевелиться лень — ожирела. Сеть подсекает нижней тетивой косяк, сгребает его, будто овощ в мешок.

«Так-то вот! Не зевай! Кто-нибудь кого-нибудь все время имат и ест!..» Боганидинская тоня четыре версты. Чего только не передумаешь, пока проплывешь ее с сетями по тихому, едва заметному течению. И нет на этой тоне лодок, словом перемолвиться не с кем. Осталась в Боганиде Афимья Мозглякова — караулит имущество: матрацы, койки, одеяла, невод да всякий разный инвентарь. Еще Киряга-деревяга остался. Слух есть, скоро и они уплывут в поселок Чуш. Тамошний рыбкооп примет по акту инвентарь и определит Афимью с Кирюшкой на работу. Что будут делать касьяшки на Боганиде — ума нет! Мать думать так и не научилась. Болтает вон ногой за бортом, дымит сигаркой, щурится блаженно и поет все одно и то же, про малину да про калину.

В начале сентября накоротке, но буйно вспыхнет тундра и делается сплошь облитой раскаленным металлом — это разгорится мелкий, черствый листок на карликовой березке, на голубичниках, тальниках. Скромным ситчиком заребят болота, на которых багульники будут держать окорелый продолговатый лист до больших холодов, а потом потемнеет, отмякнет тундра и сразу же делается голым-голо, всюду проплешины выявятся, vystупят серые камни, сухие кусты, хламьем мхов, паутина сопревшей травы, лишь ярче, пламенной загорится от брусники бело-мошье и угаснет уже под снегом.

В предчувствии недалекой зимы справит скромная северная земля свой последний в году праздник, обмерев от собственной красоты на неделю-полторы. А потом как бы пробно шевельнет ее легким ветром, выдует искру из громадного костра, покружит ее и загасит. Ветер станет набирать силу, загустеет искровал, заполощется яркий, короткий листобой по широкой земле, и в полете, в круженье угаснет северный листок; на земле, не догорая, он сразу остужается, прилипает к моху, и становится тундра похожа на неглубоко вспаханную бурую пашню. Но земля еще дышит, пусть невнятно, а все же дышит прогретым за лето недром, и несколько дней кружат над рекой, над тундрой, надо всем неоглядным раздольем запахи увядающего лета, бродит пьяная прель гонобобели и водяники, струят горечь обнажившиеся тальники, и трава, редкая, северная трава, не знающая росы, шестлит обескровленным, на корню изжившим себя стебельком.

Вдали, где берега Енисея висят над бездной, все гуще

порошится сумерки. Оттуда, с севера, с полуночных мест наплывает, полнясь в пути чугунной тяжестью, долгая ночь. Глядя в не сомкнувшийся пока, но уже заметно сблизившийся створ берегов, все лето двумя длинными, зелеными отводками вставших в светозарное небо, Аким ощущал, как всасывает его, мать, лодку, сеть с крестовиной и все, что есть вокруг них, та, пока еще далекая, но ниже и ниже нависающая, тяжелая наволочь. Снонали чайки, плакали гагары, сбивало в кучу птиц, катало их с места на место, то рассыпая широко, то сжимая вдохом вроде бы. Беспокойством охваченные птицы ввергали в беспокойство и все вокруг. Скоро-скоро начнет отжимать холодами табуны на юг, дальше и дальше от родных гнездовий. А пока возле табунов стояли на песках, высоко подняв головы, сторожевые гуси, хлопали мягкими лопатками клювов лебеди, прощупывая донный ил, выбирая из него еду; по приплескам на долгих ногах за кем-то гонялись не ведающие горя, всегда хлопотливые и вроде бы хмельные кулики; растрепанно хлоптал в кустах куропап, ему никак не улетать не надо, однако все равно беспокойно. Водой кружило все гуще сыплющихся мошек, мотыльков. Пена кружилась в курьях, уловах, по заплесьям. Тесто пены протыкали, тербили из-под низу рыбы — начался ход туруханской селедки и редкого уже на Енисее омуля. Гуще, стайней сбился на кормных отмелях муксун, ближе к ямам покатались чир и сиг. В такую пору можно и нужно плавать круглые сутки. Но не на службе, не в конторе, не у заводского станка Аким с матерью, эка беда, лишнюю тоню не сделают, три-четыре центнера рыбы не поднимут — ее ловить не переловить!

Переглянутся меж собой сын с матерью, да сразу и поймут друг дружку. Мать табанила веслом, поворачивала лодку, Акимка подгрребался лопашнями к бережку. «Ах, Самара — короток! Ниспакойная я, нис-па-ко-ойна-я й-я-а-а, ус-па-кко-ой ты миня-а-а-а...» Выбирая на уху рыбу, напевала мать, и хорошо у нее получалось.

После ушки и чая рыбаки отдыхали, нежились на песке, возле огонька, всхрапывая безмятежно и вкусно. Ни комара тебе, ни мошки, ни слепня, и солнышко еще нет-нет да и порадуёт теплом. Аким просыпался раньше матери, выплескивал воду из лодки, стараясь не стучать веслом, подскребал шахтару совком, крестовину в лодку заносил, крюк и все, что нужно на тоне. Пора бы и сеть набирать, да жалко будить человека. Спит у костерка мать, улыбается чему-то. Снова и снова дивуется парнишка тому, что эта вот женщина или девчонка в мокрых бродешках, в заправленных за голенища мужицких брюках, поверх которых платьишко, уваженное чешуей и рыбьими потрохами, взяла вот и произвела его на свет, дурня такого! Подарила ему братьев и сестер, тундру и реку, тихо уходящую в беспредельность полуночного края, чистое небо, солнце, ласкающее лицо прощальным теплом, цветок, протыкающий землю веснами, звуки ветра, белизну снега, табуны птиц, рыбу, ягоды, кусты, Боганиду и все, что есть вокруг, все-все подарила она! Удиви-

тельно до потрясения! Надо любить мать, жалеть ее и, когда она сделается старенькая, не бросать, отблагодарить добром за так вот просто подаренную жизнь...

Но матери не суждено было стать старенькой. Весной она ездила в Плахино за Акимом и Касьянкой, получала деньги в колхозе, пиновала в клубе после собрания, пряталась на берегу с мужиками. Летней порой она тайком выпила из консервной банки черный порох, смешанный с паяльной кислотой, — так научили ее многоопытные плахинские женщины: «Семеро по лавкам! Хватит! Без артельного стола дай бог этих голодом не умерить, и кто будет возиться с восьмым?» И мать соглашалась с женщинами: «Конечно, конечно, Касьянке и Акиму школу хоть бросай. Без грамоты они на реке вечно будут колеть. С грамотой же Касьянка в воспитательницы детского сада выйдет или портнихой научится, Акимка заменит Кирюшку, рыбным начальником поступит».

Перед тем как пить изгонное зелье, мать зарыла в землю гнилую ногу павшего оленя, положила под порог нитку с иглой, а приняв питье, полежала на топчане, шепотом повторяя: «Помяни, господи, сыны эдемские во дни Иерусалимовы глаголящие: истощайте до основания его», — этим словам ее тоже плахинские женщины научили, но она их не смогла все запомнить, и грамотная Касьянка записала говорку на бумагу и, где мать забывала, помогала ей по записке.

Ребенок, по счету восьмой, из матери ушел. Какой он был, куда и как ушел — никто не видел. Мать пожила смирно сколько-то дней, потом, как бы отшибая от себя горе, тряхнула головой: «Нисё-о-о-о!» — и первое время, как и прежде, шуточки шутила, ребятишек просмеивала, табачок покуривала, но все как бы вслушивалась в себя, и тень вечной северной печали меркла во тьме глубоко запрятанного страха, и все чаще мать хваталась за поясницу и, оберев, спрашивала: «Ой, сё зэ это тако со мною?..»

За лето мать одряхла, согнулась, окосолапела, как старая медведица, румянец давно погас на ее щеках, глаза подернулись рыбьей слизью, на ветру из глаз текло, и белая изморозь насыхала, крошилась из беспрестанно дрожащих уголков подглазниц. «Нисё-о-о-о, пройдет!» — уверяла она себя и ребят, но уже не улыбалась при этом, и голос ее был тускл и взгляд отгорелый. Забросила она курить табачок, перестала петь, после и разговаривать, ела через силу, слабея на глазах. Набирая сеть, она вдруг закусывала губу до крови, роняла тетиву, наваливалась на остро затесанную кокору носа лодки животом и что-то выдавливала из него. Лицо ее черное, глаза ее, ввалившиеся не в глазницы, а словно в искуренные трубки, подавались наружу и из черненьких, смородиново поблескивающих, становились, как у русских баб, светлые и большие. «И-и-и-й!» — визжала мать. Ребятишки, глядя на нее, кричали со слезами: «Мамоська, не надо! Мамоська, не надо!»

Преодолев что-то в себе, сломавшись в пояснице, мать полз-

ла на корму лодки, брала весло и, пока сплывали к тоне, выла одиноко и страшно: «О-о-о-ой! О-о-о-о-ой!...» Но страшной вой было, когда мать пыталась вспоминать наговоры, шевелила изгрызенными до мяса губами: «Утверди и укрепи... как на той сыроматерной земле, нет ни которой болезни, ни ломоты, ни опухоли... О-о-ой! — сотвори, отвори... укрепи жилы, кости, бело тело... О-о-ой! Не могу, Якимка! Не могу больсе! Сто зэ ты смог-рис, сыносек? Помогни своей мамоське, ради поха!»

Изморная погода дождями, снеговой мокретью отделила двух рыбаков от всей остальной земли и людей, зови — не дозовешься, кричи — не докричишься! Затерянные в безбрежье подросток и больная, -изувечившая себя женщина привидениями лепились в лодке — один в лопашках, другая на корме. Аким везде за мужика, он и под кибася, под нижнюю, тяжелую тетиву становился, сети на вешала таскал, он и рыбу выгружал, он и лодку на бечеве с тони к избушке поднимал, до того изработался, измок, простыл, что все в нем резиново пошамкивало, хрустело. Изнуренно, неподатливо выбирал двустенную, крупноячеистую, сажен на сто, сеть, рыба в которую путалась уловисто, но не было уже от этого радости, только боль в руках, сведенных холодом и треснутых от мокра, да тупая тревога на сердце: «Что будет дальше? Что?»

И тревогу и всякую боль старались оглушать спиртом. Поначалу питьем вышибало слезы из глаз, прожигало от горла до кишок, рвало в клочья живот, но куда денешься, надо греться, чтобы работать. Втянулся, привык к спиртну Аким, а у матери питье начало выливаться обратно, она потрясенно вытирала подбородок, глядела на руку, на парящий, побелевший от спирта дождевик и побито, недоуменно тарашилась на сына, о чем-то спрашивая взглядом.

Аким сердито, как ему казалось, на самом деле в ужасе отвернувшись, промаргивался на ветер. Ничем он не мог помочь матери. Надо было работать, рыбачить, плзн они не добрали. Что получают после путины? Сколько? Чем кормить семью? Во что одевать? Неужто, пропасть им всем в одичавшем поселке Боганиде, на пустом, бездорожном берегу? Раздражение и жалость, отчаяние и тревога терзали парня, хотелось порой изматериться по-мужички: «Ну што? — сказать матери. — Гулять, плясать да ребенков делать хорошо было? Чего теперь вот нам делать?!»

Большой человек, обостренно все чувствующий, из подростка в старушку перешедшая мать старалась искупить вину терпением и стараньем в работе. Держась за борт лодки, она перебиралась к подтоварнику, стояла над сетью в дождевике, в мокрых верхонках, закусивши в губах плач и вой, механически перебирала тетиву. Но хватало ее уже ненадолго, она часто роняла подбор или останавливала движение рук, словно бы заснув над сетью, и тогда «старсый» всаживал в нее яростный взгляд и не взгляд, прямо сказать, острогу. Она подхватывала сеть, суетливо перебирала руками, но рыбу вынимать из мокрых ячей

уже не могла, не гнулись пальцы, и поясница не гнулась, как наклонится — голова ее передолит, и она ткнется носом в мокрый, шевелящийся от рыбы, ворох сети, притаилась вроде бы, играет, но глаза под лоб закатываются, и все шепчут, отмаливают беду изорванные в клочья губы: «На ретивом сердце, на костях ни которой болезни, ни крови, ни раны... как больно-то мне, ой-ё-ё-о-оой!.. Един архангельский ключ меня... твоя... сохрани, коспоть, сохрани и помилуй, хоросынький ты мо-ой!..»

— Сё молотис языком, неверующа дак? — сердился Аким и тут же укрощал себя. — Господь, он русский, а у тебя мать долганка!

— Пох один, сыносек, сказывали зэнсыны, — смиренно ответствовала мать, опустив страданием испеченные глаза. И хоть не до конца, хоть отдаленно, до паренька доходило: чтобы матери выжить, надо ей во что-то верить, надеяться на помощь. Она привыкла ко всегдашней помощи от людей, но люди разъехались из Боганиды, и некуда было деваться, надо тревожить бога, да шибко, видать, провинилась перед ним мать, много нагрешила, и бог не поворачивался к ней милосердным ликом.

Пришел день, когда мать не смогла выйти на тоню, свалилась окончательно. И тогда, страшно матерясь и дрожа от гнева, старший загнал в лодку двух братьев-парнишек — жрать рыбу могут, значит, и ловить ее годятся.

За хозяйку и сиделку в доме оставалась Касьянка, исхудавшая до того, что вроде насквозь светилась под кожей каждая в ней косточка. От недосыпов, от непосильной работы у нее кружилась голова, шла носом кровь и, как у взрослых изработанных женщин, ломило руки. Аким знал, что и неугомонная Касьянка вот-вот занеможет, и тогда всем пропадать.

Встречь уже отлетающим табунам птиц пришел с верховьев катер, на нем приплыла за инвентарем — имуществом Афимья Мозглячиха, попроведала касьяшек, оглядела мать, в бреду шепчущую: «никакой болезни... ключ един... ни раны, ни ломоты...» — и покачала головой:

— Отгулялась, дева. Смертные в тебе ключи открылись. В больницу край надо, — и увезла мать на катере обратным ходом, сказавши, что за остальными касьяшками приедут из колхоза.

Уж по шуге обстановочный пароход «Бедовый» сбирал с реки бакены, выключал перевалки и привычно подвалил к Боганиде — за рыбой, думали касьяшки. Но по крутому, скользкому трапу, держась за деревянные ребра, задом вперед спускался человек с такой знакомой, засаленной до черноты деревяшкой и, когда оказался на берегу, загреб, сколько его рук хватало, ребятишек и, тычась голым, мокрым лицом в жестковолосые головы, повторял, давясь слезами: «Сиротоськи вы, сиротоськи!» — с горя, с вина, от простуды ли голос Кириги-деревяги засадили, и слышалось только: сы-сы-сы — так что ребятишки и не разобрали, чего он говорил и почему плакал.

Быстро скидали касьяшек на «Бедовый». Радостно им было

куда-то плыть из запустелой Боганиды, носились по палубе, играли, смеялись. Аким с Касьянкой хотя и унимали ребят, стараясь проникнуться горем, но у них тоже ничего не получалось — привыкли жить без горя и загляда вперед, да и слово «смерть» не вязалось с их матерью, невозможно было поверить, что вот была она, их мать, и почему-то, как-то ее не стало? Такой человек, как ихняя мать, может видаться только живой.

Кирыга-деревяга увез Касьянку в ремесленное — учиться дома мазать, белить и красить. Всех остальных касьяшек сельсовет из Плахино отослал самолетом в Енисейский детдом. Лишь Аким задержался, затаив мечту пристроиться на славный парокход «Бедовый».

Зиму он проколотился в городском интернате, на казенном довольствии, учился так-сяк, больше времени проводил не в школе, а в затоне, добровольно и бескорыстно помогая вымораживать и ремонтировать «Бедового», занимательную историю которого, а также его нрав и все на вид суровое и невзрачное судно досконально изучил. За трудолюбие, за преданность речному делу команда полюбила подростка, и он без «Бедового», с ранней весны и до осени выполняющего главную на реке задачу, уже не мыслил своей жизни.

Прямо вслед за ледоходом мягкое, кореженое, битое, тертое суденышко бесстрашно перло по реке на север, засвечивая сигнальные щиты по берегам, соря по воде красными и белыми бакенами, и пока «Бедовый» не произведет эту работу, никакого, по разумению Акима, пути по реке не было и быть не могло. Оттираемый льдом, последним покидал реку «Бедовый», собирая уже истрепанные, штормами побитые бакены с облупившейся за лето краской, и, случалось, не успевал улизнуть в затон, вмерзал где-нибудь в нежилом месте в лед, однако пароходные люди не покидали родное судно, выкапывали в берегу землянки, стерегли «Бедового», вымораживали изо льда, наводили на нем марафет, какой возможно, подновляли название и рубку краской, драили рупор, машину, руль, помещения, поднимали парокход на деревянные катки с помощью пароходных же лебедек, будто быка на аркане, затаскивали его в отбойное место или в залив, в неходовую ли протоку; словом, туда, где не раздавит судно ледоходом.

Самым большим начальником по путевой обстановке на «Бедовом» был Парамон Парамонович Олсуфьев, человек совершенно неприступной значимости и такой внешности, что посылать его работать на другие суда, особенно на лассажирские, было невозможно — он бы всех пассажиров распугал своим видом и особо голосом. К нему-то и ткнула команда подростка, заранее, впрочем, решив его судьбу, но чтобы Парамон Парамонович подверг новичка «экзаменту», какому каждого из них он когда-то непременно подвергал.

— Что ты можешь, человек? — выкатив глаза из-под бровей, словно дули из рукавиц-лохмашек, проскрежетал грозный начальник.



— Сё могу! — пискнул Акимка, невольно повторив хвостовство Киряги-деревяги и еще больше оробев от этого.

Кривя налимью губу, Парамон Парамонович выдохнул воздух, что пароходный котел.

— Ха! — и ткнул пальцем в поленницей лежащие на берегу газовые баллоны. Аким догадался: изделие это ему следует нести на «Бедовый». Нести так нести. Он подставил правое плечо. Пароходные люди, пряча смех, опустили баллон в шестьдесят пять кило на паренька и прекратили всякую работу, ожидая потехи.

Аким шел по трапу с удивлением, затем с ужасом чувствуя, что баллон с каждым шагом становится тяжелей, давит его сильнее, и отчего-то краснеет небо, река, солнце, пароход «Бедовый», люди красными кузнечиками подскакивают, сыплются в красную реку...

На середине трапа Акима начало кренить в красно зияющую бездну, и только сознание ответственности, боязнь за несомую штурковину, крашеную, с блестящим вентилем, с картинкой, изображающей пожар — дорогая поди-ко! — удерживали его на ногах, падать, так вместе, нельзя потоплять такую красивую, дорогую вещь — за нее с начальника, Парамона Парамоновича, взыщут... Где-то, уже в полете, в воздухе Аким был подхвачен, поставлен на ноги. И когда рассеялось красное облако, увидел хохочущий народ и себя, стоящим в обнимку с баллоном.

— Запомни: все может один только господь бог! — поучительно подняв палец, рокотал довольнехонький начальник. — А что, погибая, баллон не упустил — свидетельство в твою пользу.

По снисходительным словам и по тону Парамона Парамоныча Аким заключил, что дела его вроде бы складываются благоприятно, надежда, чуть теплившаяся в нем, крепла, а когда супруга начальника, такая же большая, дородная, только волосом светлая, покормила паренька рыбным пирогом и, слушая про его жизнь, жалостно ширкала носом, совсем непохожим на мужнин «руль»: «Тихая ужасть! Это же тихая ужасть!» — Аким окончательно поверил: экзамен он выдержал и на «Бедовом» закрепился.

Не учеником, не салагой — полноправным рабочим был взят Аким в обстановочную команду и зарплату получал со всеми наравне. Чтоб не одиноко ему было среди взрослых и не хватался бы он за насадную работу, которую Аким все время норовил делать, по ранешной жизни в Боганиде ведая: хлеб надо отрабатывать хребтом, Парамон Парамоныч принял еще одного подростка, и нигде, ни в чем, ни в колпите, ни в премиях, ни в каком другом довольствии, их не ущемлял, кроме выпивки.

Сам Парамон Парамонович крепко пивал и после запоя испускал застарелую вину перед человечеством поучительной беседой о своем «пагубном» примере, обличал себя, казнил: «Я б сейчас, юноши-товаришшы, при моем-то уме и опыте где был? — Парамон Парамонович надолго погружался в молчание, вырази-

тельно глядел ввысь и, скатываясь оттуда, поникал. — Глотка моя хищная всю мою карьеру сглотила!..» Пытаясь воздействовать на подростков, отвлечь их от дурных привычек, начальник не жалел денег на культуру, постоянно обновлял судовую библиотеку, при первой возможности отпускал их с борта на танцы и в кино.

В низовьях Енисея и летом бывают затяжные, дикие шторма, что уж говорить об осени? Сечет снегом, хлещет водой через борт, согрев же, как и на боганидинской тоне, один — спиртыга. Да и на берегу не знали парни, куда девать время и деньги. Питание почти бесплатное, рыбы, дичи, ягод на борту всегда навалом, а уж дружбы, согласия в работе и отдыхе — хоть отбавляй. На всю катушку раскрутят душу истосковавшиеся по суше речники. Девчонки откуда-то возьмутся. В шестнадцать лет оскоромился Акимка, а оскоромившись, вспомнил, как мать ему грозила пальцем, шуря смоляные глазки: «Весь в меня посол!..»

Боганида, Боганида! Не отболела она, помнилась хорошо, худое все забылось, да и было ли оно, худое-то, — сравнивать не с чем. Однажды проходили Боганиду днем. На пустынном, залитом волнами берегу ни следочка. Тощими кустами, шерстью травки и моха-волосца сросся с тундрой родной берег. Ушли в землю избушки поселка, дурная, могильная трава на них занялась, чернобыльником зовется. Откуда-то занесло пух кипрея и цепкое семя крапивы, никогда здесь не росших, сено, наверное, на барже возили, вот и остались семена, лежали, пока не дождались запустения. Крайняя избушка, в которой Аким вырос, жили его братья, сестренки и мать, исчезла — весной ее своротило ледоходом, заволокло песком яму, прелые гнилушки растащило по тальникам. Артельный барак проломился в спине, хрустнул скелетом, опал, выдавив окна, ошестинившись обломками теса; за выпавшей стеной барака, закрешенная балками, белела русская печь. В будке Мозглячихи пестрая штука-турка обнажила под собой ромбиками набитую лучину. Не от мотающейся серой толи, не от двух столбов турника, не от хлама и травяной мглы, а от упрямой белизны печки, все еще не сдающейся, хотя и покинутой, сжалось сердце в Акиме. И еще при виде будки — незаметная, стыдливо упрятанная прежде, выперла она на глаза, главным сделалась сооружением, и на нее, издали видную, правились суда. Над развалинами барака стойко торчал пароходный свисток, изображавший антенну, волосками спутались, хлестались на ветру огрызки проводов; в песке видны два пенька от артельного стола, и на них, поджав лапки, стояли молчаливо две чайки. Чуть выше в кудри седой травки под названием редодед лемехом впахался ржавый обломок чугунного котла.

Все эти мелочи Аким отмечал мимоходом. Он не отрывал, не мог оторвать глаз от белым экраном мерцающей в глуби пустого барака печки и видел картинки недавнего детства. Здесь, на этом берегу, от весны до зимы гоножились артельный народ, полковником гремел Кирыга-деревяга, училась жизни и песням бе-

ловолобая Касьянка, варилась уха в бригадном котле, за длинным дощатым столом изо дня в день, из года в год властвовало артельное дело и слово, и за спинами взрослых, рабочих людей, точно в заветрии теплого барака, вырастали самодельные касьяшки и все другие дети. На белой печке, используемой вместо экрана, худой человек подкрадывался убивать собаку Белый Клык, и мать не выдержала: «Вы сё жэ, музыки, смотрите?!» — закричала и бросилась отбивать собаку. Но мать, известное дело, дитем всегда была. Гульшой — ненец, взрослый мужик, охотник, приехал на оленях из-под Сопочной карги в гости, на печку-экран с ножом бросился, увидев медведя. А праздник — начало путины! Разве забудешь мать в морошковом платье, с голубой косынкой на плечах? Закрой глаза, и слышно, как, гремя половицами, сорванными с гвоздей, откаблучивает она, прикрывая рот косыночкой, а на косыночке порхают голуби, и то исчезает, то появляется слово «мир», и не надо ломать голову, что оно означает; мир — это артель, бригада, мир — это мать, которая, даже веселясь, не забывает о детях, блестящими глазами отыщет их, навалом лежащих на русской печке, подмигнет им, и хоть они малые, им тоже хочется скатиться с печи, затопать, запрыгать, забрякать головицами, кого-нибудь обнять, стиснуть, подбросить в небо — мир и труд — вечный праздник жизни!

Аким не хоронил мать в землю и не мог похоронить ее в душе. Он потихоньку верил, что однажды пристанет к берегу колхозного поселка, а там, на камне, мать в морошковом платье, с больничным узелком в руке, — его дожидается. «Якимка ты, Якимка! — скажет. — Сё же ты так долго плаваешь? Я уж прямо вся изождалась!» — и потому в ответ на предложение Парамона Парамоновича пристать в устье реки Боганиды, навестить станок — какая ни на есть родина, на кладбище, может, кого попроведать, задрожал губами и тонко, с провизгом закричал: — Никто здесь не жил! Никто не похоронен! — и, звякая, сбежал по железным ступеням в машинное отделение, где он всегда хоронился, если смутно становилось на душе.

Больше Парамон Парамонович не предлагал останавливаться возле Боганиды. Приложив бинокль к глазам, подолгу глядел он, туда, где был и стерся с земли поселок Боганида, развалился, уполз с подмытого берега и барак, бревна, тес растащило половодье, по опечкам и островам, место, где дымил трубами станок, заглушило бурьяном, раззявленной пастью вниз упала желтая будка, мерзлотой вытолкнуло последние кресты на кладбище, бугорки могил стащило в кучу, сровняло корнями кустов, и исчезли оба столбика от артельного стола, только острый клин чугунного котла торчал из супеси, но и за ним насыпало ветрами землю, по бугорку взбиралась травка, заслоняя собою и этот предмет.

«Оно и верно что, — шумно вздыхал Парамон Парамонович Олсуфьев, роняя на грудь бинокль и углубляясь в пространственные размышления: — Время стронуло людей с отстоя, плы-

вут' они по волне' жизни, и' кого куда' выбросит, тот там и укореняется. А раз человека' стронуло с места, сорвало с' якоря, понесло, стало быть, нечего об' суше терзаться...»

Однажды напонила о себе письмом Касьянка: «Касьянова Агафья Акимовна», — написано было на конверте. Чудно! Отчеством имя брата сделала! А пусть. Красиво даже как-то звучит — А-ки-мов-на! Из письма Аким узнал: Касьянка выучилась на маляра, работает на строительстве близ самого города Красноярска.

«Касьянка, она толковая, она нигде не пропадет! — умилился Аким. — Как-то другие братья и сестры? На кого учатся? Кем работать будут? Хорошо бы встретиться». Желание возникло и тут же ушло, и Касьянке на письмо Аким не ответил — никогда писем не писал, и времени не было, да и не нуждался он в то время ни в ком и ни в чем.

Но какой-то зменна взял и опять разрушил так хорошо налаженную жизнь Акима — придумал цельнометаллические бакены — самозажигалки. «И что им там, в центрах, делать больше нечего, как тревожить и гонять человека с места на место? — негодовал Аким. — То дорогу строить остановили и Боганиды не стало, семья рассеялась, то на вот тебе — бакен переменили!»

«Бедовый» таскал баржонки с рыбаками на север, затем выходить в просторы совсем не смог, догляду нет, одряхлел, возил уж реденько местный груз, дошел до отвозки заводских отходов, но больше стоял, уткнувшись лбом в берег, как водовозная кляча, и выходили пары из него последние во все дыры и щели. Как-то увели «Бедового» на буксире в затон, и больше он на воде не появлялся. Слышно было, разрезали его на металлолом.

Весною, когда другой пароход с другим человеком во главе ушел в низовья Енисея ладить автоматическую обстановку, старого речного бродягу Парамона Парамоновича Олсуфьева хватил удар. Он лежал громадной недвижимой тушей на просевшей до пола больничной кровати, упрятав глаза в лохмашки, не шевелился, не разговаривал, налаживался помирать. Аким, поступивший на курсы шоферов, приносил ему дорогой компот «Ананасы». Учтиво посидев возле безмолвного речника, поправив на нем одеяло и мимоходом дотронувшись до волосатой, слава богу, все еще теплой руки, паренек, роняя халат, пятился из палаты; бросался во двор больницы и безутешно плакал за поленицей.

Богатырский человек все же перемог смерть, устоял, но все моряцкое с себя продал за бесценку на базаре, обрядился в какой-то серенький, тесный костюмишко, в кепчонку, сплюснутую его голову до все еще грозных бровей, совсем на лице этом неуместных без форменного золотоцветного картуза.

Бухая себя кулаком в грудь, Парамон Парамонович заявлял, что с воды сходит он навсегда! Навсегда! На целину поедет сады садить и овощи; надо, так хлеб сеять и убирать станет, дороги гатить, нужники чистить, но не покорится! Аким не

совсем понимал — кому не покорится Парамон Парамонович, но все равно такой порыв потрясал: «Се-елове-ек! Ка-а-акой человек погибает для флота!»

— Мы, старые водники, нигде не затеряемся! — уверял Аким, а может, и себя Парамон Парамонович. Аким улавливал: побаивается он отрываться от Енисея, подпору ищет. И со всей бы душой сделался подпорой такому редкостному человеку Аким, да робел-то еще больше, казалось: там, за Енисеем, совсем другая планета, и люди там другие, и ходят они по-другому, и едят другую пищу, и говорят на другом языке.

Словом, как ни горько было Аким, проводил он Парамона Парамоновича Олсуфьева с супругой, которая столько лет мамкой ему была, на неведомую, героическую целину и скоро получил оттуда письмо, довольно бодрое, с некоторой, правда, долей смущения, в нем запрятанного: Парамон Парамонович сообщал, что в Казахстане тоже есть река под названием Иртыш. «Енисею, конечно, далеко не родня, однако плавать по ней можно, хотя бы шкипером на барже...»

«Вот и ладно! Вот и хорошо!» — поняв, что человек устроился пусть на тихую, но все же на речную работу и успокоился буйным сердцем, порадовался Аким, тоже успокаиваясь. Сам он к той поре работал уже шофером на самосвале, сделавшись по одежде и привычке каждодневно бегать в кино и на танцы совсем городским человеком, однако часто выходил и на берег реки. Летнюю белую ночь насквозь, бывало, просидит на траве, уткнувшись подбородком в колени, глядя в те голубые пространства, куда уходила великая река Енисей. Дальше было много рек, речек и озер, а еще дальше — холодный океан, и на пути к нему каждую весну восходили и освещали холодную полуночную землю цветки с зеркальной ледышкой в венце.

## ПОМИНКИ

Тем летом Аким работал в геологическом отряде на притоке Нижней Тунгуски Ерачимо — числился водителем вездехода, а вообще-то слесарил, гонял движок, был мотористом насосной станции, лебедчиком, заправщиком буровых долот, словом, всего и не упомнишь, кем он был и какие работы выполнял. Сам о себе он скромно сообщил: «На самолете, пана, есё не летал. Надо попробовать. Говорят, ничё особенного, толкай рычаг вперед, тяни назад, как поперечную пилу...»

Помогал Аким в разнообразных и необходимых в разведывательной работе делах парень не парень, мужик не мужик, хотя было ему уже за тридцать, и весь он Север прошел, по имени Петруня.

С Петруней делил Аким хлеб и соль пополам и в добавку отборные матюки, которые они всаживали поочередно в вездеход, совершенно расхряпанный, раздерганый, работавший на одной нецензурной брани и могучем железе. Им, этим рукотвор-

ным «железным конем», Аким с Петруней били дороги в лесу, очищали «фронты работы», вытаскивали севшие в болотах машины, один раз вертолет из болота выволокли. Но, надорванная болотными хлябями и тайгой, доведенная до инвалидности работавшими на ней летучими забулдыгами, машина была в таком состоянии, что чем дальше в лес, тем чаще смолкал ее бодрый рык и останавливалось наступательное движение.

Пнув «коня» в грязную гусеницу, сказав, что это не техника, а какой-то «тихий узас», водитель с помощником отправлялись требовать расчет. «Договорчик заключили? Денежки пропили? То-то», — никакого расчета им не давали.

Аким, дрожа голосом, кричал: «Е-ка-лэ-мэ-нэ! Е-ка-лэ-мэ-нэ! Как так, понимае?» Петруня рвал на себе рубаху, пер та-туированной грудью на начальство, уверяя, что он никого и ничего не боится, потому что весь Север и плюс Колыму освоил, но сломлен ими не был. И вообще судом его не застрашаешь: после суда его пошлют вкалывать тоже в экспедицию, только в другую, где руководители поразвостистей, у них не забалуешься, и определяют его на машину, может, даже на новую, если нет машин, он киномехаником заделается, не киномехаником, так бурильщиком, не бурильщиком, так коллектором, не коллектором, так стропальщиком, не стропальщиком, так лебедчиком, не лебедчиком, так...

На «ура» Петруню не взять и не переорать — это знали все руководители и потому давили главным образом на Акима, который судов побаивался, никогда и ни за что не привлекался, в кутузках не сиживал. Начальство же всякое он почитал и жалел. Кончалось дело тем, что Аким хватался за голову, восклицал: «Удавлүся!» — возвращался к «коню», чтобы трудом и изобретательностью вдохнуть в его хладное железное чрево жизнь и повести за собой по новым трассам и боевой дорогой отряд разведчиков земных и всяких других недр. Петруня ругался на всю Эвенкию, обвиняя Акима в бесхарактерности, уверял, что при таком поведении он долго на этом бурном свете не протянет, но напарника не покидал, понимая, что тут, на Ерачимо, они, как передовой отряд на войне, — друг друга предавать не имеют права.

...Устав от ругани, криков, проклятий, ковырялись водитель с помощником в машине, мирно уже помурлыкивая старинную песню здешнего происхождения: «Вот мчитесь, мчитесь скорый поезд по туруханской мостовой», и неожиданно услышали плеск, шлепанье, сопенье, подняли головы и обмерли: сажень в двух-стах, не далее, стоял в речке лось, жевал водяные корни, и с его дряблых губищ, с волос, висюльками вытянувшихся, и со всей изогнутой, горбоносой морды капала вода, неряшливо валилась объедь.

Аким пал на брюхо и пополз к лагерю — там у него ружье, расшатанное, опасное с виду, но еще способное стрелять. Разведчики недр, узнав, в чем дело, ринулись было полным составом за Акимом — затошали на концентраторах, консервирован-

ном борще и кильках в томате, жаждали мяса, но больше зрелищ. Аким приказал боевому отряду, состоявшему в основном из недавно освобожденного элемента, ложиться наземь и не дышать. Лишь Петруне не мог отказать Аким в удовольствии посмотреть, как это он, его, так сказать, непосредственный начальник, друг и товарищ по боевому экипажу, будет скрадывать и валить зверя.

Надо сказать, что жизнь зверя, в частности лося, по сравнению с тринадцатым годом в здешних краях совсем не изменилась. На Калужском или Рязанском шоссе добродушная зверина могла себе позволить шляться, норовя забодать «Запорожца» или другую какую машину, либо являться в населенные пункты и творить там беспорядки, на радость детям и местным газетчикам, которые тут же отобразят происшествие, живописуя, как домохозяйка Пистимея Агафоновна метлой прогоняла со двора лесного великана, норовившего слопать корм ее личной козы.

В отдаленных краях, подобных Туруханскому или Эвенкийскому, лося гоняют, словно зайца, норовят его употребить на приварок себе и на корм собакам, другой раз на продажу и пропой. Оттого сохатые в здешней тайге сплошь со старорежимными ухватками, всего больше надеются на слух, нюх да на резвые ноги, а не на охранные грамоты.

В последние годы покой сохатого нарушился, правда, не только по окраинам страны, по непролазным и ненадзорным дебрям, всюду нарушился, не исключая лесов и околостолчных. Все тут законно, все образцово организовано. Заранее приобретаются лицензии, заранее определяется район, где не только водится зверь под названием сохатый, но и скотинка под названием егерь, падкая на дармовую выпивку, столичные сигаретки и свеженькие анекдоты. Облик и сущность подобного холуя, как известно, определил еще Некрасов, и он в сути своей не изменился, стал лишь изворотливей и нахрапистей. «За стулом у светлейшего, у князя Переметьева я сорок лет стоял. С французским лучшим трюфелем тарелки я лизал, напитки иностранные из рюмок допивал...»

Честный, уважающий себя егерь для охотничьих набегов, как правило, не используется. Он с позором прогонит из лесу хоть какое высокое лицо, если оно для забавы проливает кровь, пусть и зверину.

На трех-четырех «газиках» прибывают вооруженные до зубов любители острых ощущений — охотниками нельзя их называть, дабы не испакостить хорошее древнее русское слово, а на опушке уж снежок отоптан, костерок разведен, чаек какой-то редкостной пользительной травкой (чаще всего обыкновенными прутьями малины) заправлен. «Чаек-то, чаек! — чмокают наезжие. — А воздух! А снег! Разве в городе увидишь такой белый?» — «Эх-х-ха-ха, дохнешь природой, морозцем подивисься, и вот как стиснет ретивое, как потянет вернуться к родному крестьянскому крыльцу, зажить здоровой, трудовой

жизнью!..» — «Да-а, и не говорите! Родная земля, — она сильней магнита любого!..» — «Да что там толковать? Еще Пушкин, а он-то уж в жизни разбирался, гений был, четко и определенно выразился: «Хотя разрушенному телу все одно где истлевать...» — точно-то не помню, забылось, ну, в общем, мысль такая, что на родной-то земле и почивать любезней!..»

Словесная околесица эта — своего рода лирическая разминка, отдых души перед настоящим, опасным и захватывающим делом. Для бодрости духа и сугрева выпили по стопочке, егерю стакан подали. Хлебнул в один дых, облизнулся по-песью, в глаза глядит, только что хвоста нет, а то вилял бы.

— Потом, потом! — машут на него руками небрежно. — Нажрешься и все испортишь!

Егерь понарошку обиду изображает, в претензию ударяется, он-де свое дело и задачу понимает досконально, к нему-де и поважней лица езезжали, да эких обид не учиняли и авторитет не подрывали. И катнется лихо на лыжах егерь к заснеженным лядинам, где дремлет вислогубый лось с табунком. Сморенные чайком и стопкой наезжие стрелки, которые на лабазы позабирались, которые по номерам стали.

И застонал, заулюлюкал тихий зимний лес, красной искрой из гущи ельников метнулась сойка, заяц, ополоумев, через поляну хватил, сороки затрещали, кухта с дрогнувшего леса посыпалась, зверобой передернули затворы многозарядных карабинов с оптическими прицелами, подобрался телом, напряглись зрением. Шум и крики несутся из оскорбленного дикой матерщиной девственно-чистого зимнего леса, и вот на поляну, тяжело ныряя в снег, качая горбом, вымахал перепуганный, отбитый от табуна, затравленный, оглушенный зверь и стал, поводя потными боками, не зная, куда бежать, что делать, огромный, нескладный, беззащитный, проникший было доверием к человеку за десятки охранных лет и вновь человеком преданный. Мокрыми поршнями ноздрей лось втягивал, хватал воздух — со всех сторон опахивало его запахами, коих средь чистоплотных зверей не бывает, — перегорелой водки, бензина, псины, табака, лука. И замер обреченно сохатый — так отвратительно, так страшно пахнувший зверь никого и ничего щадить не способен: ни леса, ни животных, ни себя. Ни скрыться от него, ни отомлиться от него, ни отбиться, давно уж он открытого боя в лесу не принимает, бьет только из-за угла, бьет на безопасном расстоянии. Утратилось в нем чувство благородства, дух дружбы и справедливости к природе, ожирело все в нем от уверенности в умственном превосходстве над нею.

Выстрелы! Бестолковые, лихорадочно-поспешные, чтоб выхвалиться друг перед другом, и наконец один, не самый трусливый и подлый, выстрел ударил пульей в большое сердце животного, изорвал его. Зверь с мучительной облегченностью рухнул на костлявые колени, как бы молясь земле иль заклиная ее, и уже с колен тяжело и нелепо опрокинулся, взбил скульптурно вылепленным, аккуратным копытом, в щели которого



застрял мокрый желтый мох, ворох снега, хриплым дыхом красно обрызгал белую поляну, мучаясь, выбил яму до кореньев, до осеннего листа и травки.

Катятся с лабазов зверобон, бегут по снегу, вопя, задыхаясь и завершая какой-то ими самими определенный ритуал или насыщая пакостливую жажду крови, разряжают в упор ружья в поверженное животное.

...Однако отвлекся я, да еще в такой ответственный момент, когда молодой и очень азартный человек, обдирая колени и локти о коренья и валежины, порвав комбинезон и отпластав карман куртки, движется к цели, чтобы добыть лося на еду работающим тяжелую работу людям.

Взглянув из-за своего разутого, раздетого «стального коня», боевой его экипаж обнаружил, что сохатый не дожидался их, на месте не стоял. Он брел по речке, жрал траву и по всем видам скоро должен был удалиться в мелкую заостровку, которая кишела мулявой — гольянами. Геологи иной раз забредали туда, поддевали рубахой либо полотенцем муляву — лапшу, варили ее, пытались разнообразить пищу и расширить «разблюдовку» — так в отряде просмеивали свое меню. Трава в заостровке росла худая, от мути грязная, мохнатая. Сохатый бросит жировать, подастся на свежее, а то и вымахнет на берег и уйдет «домой» — что ему, большому, свободному, ходи куда хочешь, а ты вот попробуй его сыщи в таком широком месте, в такой захряслой, мусорной тайге, сплошь забитой валежником, веретем и хламом.

Аким пошел прыжками от дерева к дереву. Петруня за ним, но Аким передвигался бесшумно, заранее уцелившись глазом, куда поставить ногу, Петруня же хотя и пытался быть тише воды, ниже травы, укротить в себе шумы, запереть воздух, не трещать сучками, не раскашляться не мог, не получалось, и все тут. Это уж всегда так, когда изо всех сил стараешься не закашлять, непременно закашляешь и наделаешь шуму. Аким решил погрозить Петруне кулаком, обернулся — и чуть было не подкосились у него ноги — соратник его неузнаваемо преобразился: волосы вздыбились, рожу, черную от мазута, охватило чахоточным жаром, страстью пылало лицо, дожигало глаза, сверкающие беспощадным и в то же время испуганным пламенем. И понял Аким: Петруня хоть и отбывал два раза срок за буйные дела, на самом деле человек робкий, может быть, даже добрый, однако извилистые пути жизни все далее уводили его от добродетели.

Задушевно выбухав кашель в ладони, Петруня вопросительно глянул на связчика и покрасся, как ему мнилось, кошачьи осторожно. Однако по мере приближения к цели совершенно перестал владеть чувствами, воспламенялся в себе самом, ноздри его шумно сопели, обсохший рот пикал чем-то — икалось от перенапряжения.

Аким знаком приказал Петруне остановиться — никуда уже он не годился. Сглотнув слюну, Петруня согласно кивнул

и упал под дерево в мох. Аким успел ещё мимолетно подумать: не утерпит ведь, идолище, следом потащится! Но было ему в тот миг не до соратника, переключив все внимание на зверя, не отрывая взгляда от сохатого, он катился на спине по сыпучей подмоине на берег, подобрался на карачках к приплеску и запал в таловой коряге, выбросившей пучки лозин.

Стоя средь речки, сохатый поднял голову, подозрительно вслушивался, дышал емко, и речка тоже вроде бы дышала: сожмутся бока — убудет брюхо, и из-под него с чурлюканьем катнется вода, набрякнет тело зверя, раздуется — и вода, спрудившись, обтекает волосатую тушу, щекочет в пахах, опрядывает грудь, холодит мышцы под шерстью. Губа сохатого отвисла, глаза притомлены, но уши стоят топориком, караул несут. Дрогнули, поворотились раковинами туда-сюда и снова замерли. Ни один мускул зверя не шевелится, глаз не моргнет, губа подобралась, чует сохатый чего-то.

Для верности надо бы еще скрасть зверя саженей хоть пятачок — больно запущенно, раздрызганно ружье, тот же Петруня бегал пьяный за народом, жаждая уложить кого иль напугать, но его начальник — «зук» тертый, заранее спрятал патроны, и Петруня с досады саданул прикладом о ствол дерева. Какое ружье выдюжит такое обращение? Пусть даже и отечественное, тульское, из всего, как говорится, дерева и железа сделанное.

Вверху зашуршало, покатились комочки, засочился струей песок, стягивая серые лоскутки мха. «Петруня, пентюх, крадется! Спугнет зверя...» Аким взвел курки, поднял ружье к плечу, отыскивая мушкой левую лопатку лося, под которой, темный от мокра, пошевеливался завал кожи, как бы всасываясь внутрь и тут же вздуваясь тугим бугром — мощно, ровно работало звериное сердце. Задержав дыхание, готовый через мгновение нажать на спуск, Аким вздрогнул, шатнулся оттого, что сверху, вроде бы как из поднебесья, обрушился на него крик и не крик, а какой-то надтреснутый звук, словно повдоль распластало молнией дерево, и в то же время это был крик, сырой, расплющенный ужасом. Не слухом, нет, подсознанием скорее Аким уловил, после уж уяснил — кричал человек, и так может кричать он, когда его придавливает насмерть деревом или чем-то тяжелым, и сам крик тоже раздавливается, переходит в надсадный хрип не хрип, крехт не крехт, стон не стон, но что-то такое мучительное, как бы уж одной только глубию нутра исторгнутое.

Выскочив из таловых сплетений, Аким успел еще с сожалением заметить, как, взбивая перед собой воду, парходом пер по речке сохатый к мелкой заостровке, в мохнато клубящуюся на торфяной пластушине смородину и дальше, в загордь перепутанного черемошного веретя.

Не опуская курков, с прилипшими к скобам ружья пальцами, Аким вымахнул на яр, в редкую, пепельно-мглистую

понизу суземь, неприветно лохматую от сырых корост, сучковатую, ровно бы подгорелую, чуть лишь подсвеченную снизу мхами. В ельнике он углядел копошащегося лохматого мужичонку — тот что-то рыл и забрасывал чашей. На мужичонке не было обуви, весь он злобно взерошенный и в то же время торопливо-деловитый — что-то потайное, нечистое было в его работе. «Беженец! Уголовник! На Петруню напал...» — Аким шагнул за дерево, не спуская глаз с мужичонки, чтобы из укрытия направить на него ружье: «Руки вверх!», а дальше уж что получится, может, и стрелять придется. Нога, осторожно прощупывая податливый мох, коснулась чего-то круглого, жулькнувшего, и сама по себе отдернулась, и, прежде чем Аким глянул вниз, ноги отбросили и понесли его невесть куда — на белом мхе, свежо обляпанном красной потечью, лежала чело-вечья голова с перекошенным ртом и выдавленным глазом.

«И-и-и!...» — вместо крика выдохнулось икание из горла Аким, но и этот звук засекся — обернувшись, мужичонка оказался медведем, задастым, крепким, со слюняво оскаленным желто-клейким ртом. Прикопанная, закиданная чашею добыча марала еще кровью мох, и по знакомой мазутной спецухе Аким узнал: медведь прятал скомканный, обезглавленный труп.

Они смотрели друг на друга неотрывно — зверь и человек. И по глубоко скрытому, но сосредоточенному отсвету звериного ума, пробившегося через продолговатые, тяжелым черепом сдавленные глаза, Аким уловил: зверь понимает, что натворил, знает, какая должна его за это постигнуть кара, и, чтобы спасти себя, он должен снова напасть или уйти, скрыться. Уйти нельзя — человек держит ружье, и его, зверя, трусость опамятует человека, придаст ему смелости. Пока не в себе человек, пока он ошеломлен, надо повергнуть его в еще больший испуг, затем ударить, свалить. «Р-р-рах!» — выкатил зверь из утробы устрашающий рокот. Но человек не сдвинулся с места, не закрылся руками, не отбросил ружье, он вдруг взвизгнул: «Фасыст! Фасыст!» — и, поперхнувшись своим же криком, сипло и даже устало спросил:

— Што ты наделал? Што наделал?

Зверь ждал крика такого, что он загремит по всему лесу, и от крика того, в котором вместе смешанные ужас и отчаяние выдадут страх, поверженность, в нем возбудится отвага, злобая ярость. Но слова, даже не сами слова, а тон их, глубокая боль, в них заключенная, озадачили его, он на мгновение остыл, вздыбленная шерсть опала, пригладилась, что-то в нем шакалье, пакостливое появилось — в самый бы раз повернуть, сбежать, но зверь уже молча, неотвратно катился к человеку. Разгорающаяся в нем ярость, предчувствие схватки и крови стусившимися огнем опаливали звериное нутро, слепили разум, спружинивали мускулы. На загровке и по хребту зверя снова поднялась подпально-желтая шерсть. Медведь сделался матерей и зверистей от уверенного, парализующего рыка, переходящего в устрашающе победный рев.

Аким выставил ружье, словно бы загораживаясь им, и, немая телом и умом, с изумлением обнаружил, что в этого, вроде бы огромного, ошетилившегося зверя некуда стрелять! Некуда! Лоб, в который так часто всаживают пули сочинители, узок и покат — пуля срикошетит от лба, если не угодить в середку. Морда зверя узкая, с черным хрюком, но этой, вниз опущенной мордой и узким лбом медведь сумел закрыть грудь. Возле морды, выше нее, пружинисто катались, бросали зверя вперед могучие, как бы напрямую соединенные с телом, лапы, закрывающие бока, и только горб со вздыбленной шерстью да косящие хищно выгнутая спина доступны пуле, но, если не попадешь в позвоночник, тут же будешь сбит, смят, раздавлен...

Рвя мягкие, неподатливые путы, связывающие руки и ноги, преодолевая себя, Аким ступил за дерево, опять угодил ногой в голову и опять шарахнулся оттуда, мимоходно отгадав: здесь, за деревом, медведь скрадывал лося, но набрел Петруня, сам набрел, сгодился...

«Давай, давай!» — как бы поощряя зверя, Аким шагнул на встречу. Зверь сразу притормозил, приосел на толстый зад — он не готов был к ответному нападению, — он видел, точно видел: человек хотел отступить, спрятаться за дерево, человек боялся, он мал ростиком, косолап, бесцветен, что болотная сыроежка, а зверь мохнат, вздыблен, отважен, свиреп. И вот человешишка попер на него, на хозяина тайги, и зверь не выдержал, затормозился, приосел, хапнув чего-то ртом, лапами, и тут же пружинисто выбросился вверх, всплыл, и одновременно зверь и человек поняли, кто из них проиграл. Разъемист, широк сделался медведь, слева, под мышкой пульсировал, кучерявился пушок, рокот, катавшийся в нем, слабел, утихал, словно из опрокинутой железной тачки высыпался остатный камешник. Поднявшись на дыбы, показав глубокую, бабью подмышку в нежной шерсти, медведь означил свое слабое место, сам указал, куда его бить, и, поправляя оплешность, он, как ему чудилось, рывкнул устрашающе, на самом же деле по-песью ушибленно взлаял и, уже расслабленный, не бросился — повалился на человека.

И тут же встречу ему харкнуло огнем, опалило пушок под мышкой, проткнуло раскаленным жигалом сердце, рвануло, потрясло все тело и хрустнувшие в нем кости. Заклубилась темнота в ненасытном чреве, повернуло позвонки, мелькнуло, закипело перед глазами красное и зачало отгаром крови, чадом забивало мощный дых, застило взгляд, зверя повело на зевоту и сон, отмякло туловище, лапы, все отделялось, погружая его куда-то в пустоту. Сопrotивляясь этой пустоте, не желая в нее валиться, медведь с не звериным, скорее с коровьим мычанием взмахнул лапами, зацепил что-то и последним проблеском сознания, глаз ли, захлестнутых красным, утихающим ли, сверхчутким нюхом уловил ненавистный запах, лапами ощутил холод ружья. Торжествующим ахом, остатками непобедимой злобы он еще возбудился, попробовал взяться, бросить вверх когтис-

тые лапы и разорвать, испластать ими косолапенького, бесцветного, что гриб-васюха, человечешку и околоть вместе с ним.

В броске настиг его последний вздох, перешедший в судорогу, от которой тряхнулась, мучительно сжалась и тут же распустилась могучая туша и начала сморенно успокаиваться. Еще подрагивали, пощелкивали друг о дружку черные, как бы наманикюренные яркой краской когти, трепетала шерсть под правой подмышкой, из-под левой все еще ключом выбивало кровь, и пока она выбуривала, клокотала, не угасали у зверя глаза. Ярость, вековая к человеку ненависть горели в них и после, когда кровь иссякла, вяло уже сочилась по шерсти, сгушаясь клюквенным киселем, оно так и не погасло, то пламя ненависти, его не унесло в смертный мрак, оно закаменело в зрачках. В полуоткрытые глаза медведя ровно бы кинуло ветром щепотку перетертой дресвы, засорило их незрячестью, но зла не убило.

Все еще подрагивала, трепетала чуть заметно шерстка в беспомощной, глубоко вдавленной подмышке зверя, а когти уже перестали шелкать, скрючило их, и оскалились желтые, землей и красной кровью испачканные зубы.

«Все!» — не веря себе и не воспринимая еще полностью того, что произошло, подумал Аким и ощутил не ликование, не торжество, а жуть от того, что видел, что совершилось, попятился, загораживаясь руками, отрешиваясь от всего этого, и внезапно услышал себя: «Ы-ы-ы!» — выплясывали губы, слабели колени, а рот, словно бы подковами заклепанный сверху и снизу, и язык в нем не шевелились, не могли крикнуть, позвать людей. Крик тяжелой болванкой выкатился тогда лишь, когда он снова натолкнулся на обезглавленный труп Петруни, шарахнулся от него и чуть не запнулся за тушу медведя, плавающую в темно-красной луже.

Аким полоумно топтался, вертелся на месте, точно запертый, окруженный со всех сторон смертью. Но вот ноги совсем ослабели, и он упал лицом в холодный мох, ожидая, как сверху сейчас навалится на него мохнатое, мокрое, липкое чудовище.

В глубине хламного леса всегда прохладно, от прохлады стоит недвижная сырь, не роса, росы тут не бывает, а пронзающая живую душу сырь, жаркой порою обертывающаяся паром. И она, эта уже предосенняя, знобкая сырь, обволокла, стиснула покрытое испариной тело Акима, заключенное в просторный комбинезон. Аким приподнял голову, поискал взглядом зверя — все правда, все как есть, зверь никуда не девался, как лежал на спине в какой-то дурашливой позе, прижав лапами ружье к груди, так и лежит. Аким утер рукой губы и почувствовал на них соленое. Пальцы его, темные от мазута, под ногтями и на козонках были в крови. Только теперь он обнаружил, что правая рука рассажена с тыльной стороны до кости, и как была в кулаке, так и слиплась — мимолетно, последним махом успел все же зверина достать охотника.

Взятый с земли злостью и стыдом за свою слабость и страх, Аким вывернул тонкую елку, ее корнем зацепил ружье за ремень и резко дернул, забыв, что в одном стволе ружья заряд, а курок ружья поднят. Лапы медведя шатнулись и выпустили ружье. Схватив ружье и разом получив от всех страхов освобождение, Аким закричал, заплакал, ломал ногти, выдирая из патронташа заряды и бестолково, мстительно бил в упор поверженного зверя, пулями, дробью, картечью, но тот уже ко всему был равнодушен, ничто его не тревожило — ни боль, ни злоба, ни ненависть, лишь вдавливалась лункой шерсть в том месте, куда угадывал заряд, смоляно дымилась жирная, толстая шерсть, «вонькая жидкость, повалившая из пробитой брюшины, глушила запах подпалины.

На крик и грохот прибежали люди. Отбросив ружье, Аким схватился за голову и упал, лишившись чувств, как потом он объяснял, от потери крови, на самом же деле — от «тихого узаса».

При жизни своей Петруня доставил множество хлопот всяческим людям и организациям, но то, что произошло после его столь оглушительной и редкостной смерти, превзошло все мыслимые пределы. Случись такая фантазия природы и проснись Петруня хоть на час, подивись вниманию, ему уделенному, он бы, возможно, так зауважал себя, что и жизнь свою, и поведение пересмотрел бы и в корне изменил.

Человек обезглавлен! «Кем?» — докапывался молодой, очень бдительный и настырный следователь, первый раз попавший в тайгу, да еще на такое «редкостное» дело.

«Зверем». «Бывает, бывает, в следственной практике и не такие чудеса бывают», — поигрывая помощью, то ее оттягивая, то со щелчком ее отпуская, соглашались следователи, но попросил все же изолировать водителя вездехода в отдельную палатку и вход снаружи застегнуть.

Томимый одиночеством, бездельем и страхом, Аким ожидал своей участи — налетевший вертолетом, строгий, в себя углубленный человек в красивой форме устанавливал доподлинность злодеяния и всем в отряде задавал вопросы, пугающие своей видимой простотой и оголенностью: «Были ль у водителя столкновения с помощником? Не угрожали ль они расправой друг другу? Давно ли соединили их жизненные пути? Судился ли раньше водитель и если судился, то по какой статье?»

Медведем следователь почему-то не интересовался, на шкуру только глазел. Шкура в отемнелых пробоинах, ровно в потухших звездах, распялена меж деревьев. В ней копошилась, прилипая к жиру, лесная тля, работали мураши, черные козявки и вялые мухи. Туловище медведя, тоже все пулями издырявленное, с неоснятыми лапами, привязанное проволокой за камень, болталось в речке, и то, что стрелок укрыл медведя в воде, палил в него в момент происшествия много раз, поверженного

и опрокинутого, вселяло особенную подозрительность. Заверения водителя о том, что палил он в зверя, не зная почему и в реку его бросил «отмокать» — не вонял чтобы псиной, потом его сварят и съедят — пусть помнит, как на людей бросаться — укрепляло следователя в догадке: он имеет дело с матерым преступником, «работающим» под простачка.

Водили подследственного к роковому месту, становили с незаряженным ружьем за дерево, просили повторить «маневр», мерили рулеткой расстояние от дерева до дерева, соскабливали ножиком кровь с белого мха, подбирали бумажные пыжи, а пыжи были из письма одной Петруниной зазнобы, и тут же возникла новая следственная версия — женщина! Вот путь к разгадке преступления! Во веки вечные женщина была и не перестала быть причиной беспокойствия в миру, отправной точкой ко всем почти злодейским преступлениям, она и вино — вот яблоко человеческого раздора.

Ах, если б знал, да ведал зверобой, куда заведет его и следователя письмо той грамотейки — буфетчицы из аэропортовской столовой города Туруханска, он бы плюнул на письмо, войлочные бы пыжи купил, сэкономив на вине...

Да, все мы задним-то умом богаты...

Долго снимали медведебоя фотоаппаратом и кинокамерой на месте схватки со зверем. Аким робко попросился надеть чистое и причесться, раз снимают «на кино», однако ему строго велено было «выполнять задание и не темнить», отчего он совсем смешался, стал путать «маневры» и так сельдучил, что невозможно сделалось разобрать слова.

Да и как не смешаться! Ладно, его снимают. Но и пыжи снимали, все клочки собрали, сложили и до лабораторного, тщательного анализа совершили предварительное фотофиксирование, как выразился следователь.

«Е-ка-лэ-мэ-нэ! Ё-ка-лэ-мэ-нэ! — трясся Аким. — Засудят! Как есть засудят! Спорили с Петруней, ругались, случалось, и за грудки брались. Ружье у него у пьяного отымал... Ой, пропал я, пропа-а-ал!»

А тут еще час от часу не легче — к палатке приставили с его же, Акимовым, ружьем рабочего, который был большой пройдоха, много путался по свету, называл себя путешественником. Чего ни хватил, все этот путешественник знал, и в шутку, всерьез ли — не поймешь, уверял подконвойного, будто снимали его на «художественное кино», теперь станут показывать во всех клубах схватку человека со зверем-людоедом. Самого же медведебоя за туфтовые показания забарабают лет этак на десять, чтобы осознал свое поведение и не морочил бы голову ни себе, ни людям, а то и к стенке поставят.

Потрясенный горем, подавленный следствием, Аким всему уже верил, и насчет кино тоже. С тех пор он все фильмы смотрел с тайной надеждой узреть себя, подивиться самому и чтоб люди подивились, как он сражался со зверем и какой пережил «тихий узас» от этого. Потому так заинтересованно и отнесся

он к моему сообщению о том, что довелось мне побывать в комитете по кинематографии: хотелось ему выведать, неизвестно ль хоть там насчет «его» картины, — природная застенчивость мешала ему спросить об этом меня прямо.

Слава богу, остался Аким изображенным лишь в следственном деле, которое было закрыто ввиду отсутствия состава преступления. Руководство экспедиции сулилось даже объявить Акиму письменную благодарность за проявленное мужество во время исполнения служебных обязанностей, но не успело по причине безобразного разгула, устроенного в помин Петруниной души. Аким и «путешественника» собрались выгнать с работы за дезорганизацию производства, но сезон подходил к концу, рабочие рассчитывались сами собой, писать же порицание им в трудовую книжку было некуда — исписаны книжки и на корочках. Кроме того, кто-кто, а Аким-то уж к безобразиям совершенно не склонный. Он когда напьется, всех только целует, горько плачет и трясет головой, будто всё, последний раз он гуляет, доконала его жизненка и он не просто гуляет, не просто лобызает побратимов, он прощается с людьми и с белым светом.

Но пока закончилось следствие, пока дело дошло до поминок, натерпелся Аким, настрадался. Обиженный подковыристым следователем, подавленный гибелью помощника, который час от часу становился дороже ему и ближе, обессиленный пережитым страхом и бессонницей, лежал медведебой в палатке, застегнутой снаружи, глядел в ее измазанный давленными комарами конус и хотел, чтобы кровососы съели его заживо, потому и репудином не мазался.

Если же комары с ним не справятся — редок и вял сделавший гнус, в тайге заосенело, порешил Аким ничего не есть; не пить и умереть с голоду — он на смерть шел, единоборство с зверем принял, а его под «рузье»! Это как понимать и вытерпеть? Никакого интереса к жизни он не испытывал, считал все связи с нею оборванными. Отдавшись провидению, подводил «пана» итоги жизни, бабки подбивал — как в получку выражались разведчики недр.

«Петруня какие-то дни до аванса не дожил и месяц, меньше месяца — до расчета!» — осенило Аким, и тут же охватило его беспокойство: вот он уморит себя голодом, его в землю закопают, а получка кому достанется? Он мантулил, комаров кормил, борщи ржавые ел, вездеход чуть не на себе в дебри таежные волок — и вот, здорово живешь! — его кровные, горбом добытые гроши кто-то прикарманит! Не-ет! Дудки! Надо или подождать умирать, или написать записку, чтоб отчислили деньги — месячную зарплату, полевые, сезонные, северные — в детдом. Где-то, в каком-то детдоме обитают братья и сестры, может, им на питание деньги сгодятся...

Вспомнив братьев и сестер, Аким растрогался: «Э-эх, Якимка, ты Якимка! Е-ка-лэ-мэ-нэ!» — в горькие минуты всегда ему вспоминалась мать, и слезливое чувство любви, вины ли перед



нею совсем его в мякиш превращали, жалостно ему становилось, спасу нету. Сложив крест-накрест руки на груди, Аким отчетливо представлял себя покойником и, страстно жалея себя, дожидаясь, чтобы еще кто-нибудь его пожалел; протяжно и громко вздыхал, всхлипывал, чтоб за палаткой слышно было. Две слезы из него выдавились и укатились за уши, щипнуло кожу, давно не мытую, разъединенную комарами и мазутом. И зачем его мать родила? — продолжая думать про мать, недужился Аким, — взяла бы и кого-нибудь другого родила — не все ей было равно, что ли? И тот, другой, его братан или сестренка жили бы себе и жили, работали, мучились, боялись следователей, а он, Якимка, посиживал бы в темноте, наблюдал со стороны, чего дется в здешнем месте, и никакого горя не знал бы. А то вот живет зачем-то, коптит небо дорогими папиросами в получку, махрой в остальные дни. Даже в Красноярске ни разу не бывал, не говоря уж про Москву. Вон караульщик-то, зубоскал — земной шар обогнул на торговом флоте, в Африке, в Индии был и еще где-то, змей и черепах, срамина, ел, вино заморское, сладкое, пил, лепестками роз закусывал, красоток разноцветных обнимал!

А этот самый разнесчастный Якимка и со своей-то, с отечественной, красоткой не управился, позору нажил: позапрошлой осенью плыл в дом отдыха, на магистраль. Народу на теплоходе мало, скукота, никто никуда уже такой порой не ездил, у него отпуск после полевого сезона, хочешь — не хочешь, поезжай куда-нибудь деньги тратить культурно. В первый же день заметил он слонявшуюся по палубе девку в летнем плащике, зато большой алой лентой со лба перевязанную, в брючки-джинсы одетую, с накрашенными ногтями, и туфли на ней — каблук, что поленья! — ходить неловко, зато нет таких туфель ни у кого на теплоходе. Тоскливо тоже и холодно девке. Она улыбнулась Акиму: «Хэлло! Парень!» — и щелкнула пальчиками, требуя сигарету. Он угостил ее сигаретой, огоньку поднес, все как полагается. Она прикуривает и не на огонь глядит, а на него, и глаз, синей краской намазанный, шурит не то от дыма, не то подмаргивает. Сердце захолонуло! Е-ка-лэ-мэ-нэ! Все лето в тайге, на мужиках, истосковался по обществу, а тут вон она, девка, ра-аскошная девка, и живая, подмигивает. Ясное дело, никак тут нельзя теряться. Аким повел себя ухажористо, танцевал под радиолу на пустынной, обдуваемой холодным ветром корме теплохода, положив партнерше голову на плечо. Она его не чуждалась, легла тоже ему на плечо, мурлыкая грустную, душу терзающую и куда-то зовущую песню на нерусском языке. Сумела и грустную историю про себя вымурлыкать: училась — это уж по-русски — на артистку, главную роль получила в картине знаменитого режиссера, но настигла ее роковая любовь, и улетела она со знаменитым полярным летчиком на Диксон, а там у него жена... «Ла-ла, ла-ла, даб-дуб-ду... А-ах, скучно все, банально все! Душа замерзла! Согрей ее, согрей, случайный

спутник, звездой прочертивший темный небосклон...» — слова, слова какие красивые да складные! Сдохнуть можно! А девка взяла да еще и ухо ему куснула, он и совсем обалдел, тоже хотел ее укусить за что-нибудь, но не хватило храбрости, надо было выпить. Торопливо бросив: «С-сяс!» — Аким, грохоча сапогами, бросился вниз по лестнице, забарабанил в окошко кассы, выхватил горсть денег, сунул их в дыру, умоляя поскорее дать билеты в двухместную каюту, ринулся в ресторан, растолкал прикемарившую возле самовара официантку и вытребовал в каюту вина, апельсинов, шоколаду, достал из котомки вяленой рыбы.

Девка закатывала глаза, царапалась, где попало, кусалась, завывала: «Л-люби меня! Люби меня страстно и жгуче, мой дикий кабальеро!..» Ну, дали они тогда шороху! И до того разошелся Аким, до того потрясла его девка своей горячей любовью и в особенности культурными словами, что решил он с нею расписаться, как только пристанут в Красноярске. Хватит, похолостяковал, позимогорил!

Проснулся — ни девки, ни денег, ни котомки! Главное дело, пиджак забрала, в рубаше оставила! Осень же на дворе, сама в плащике звону дает, понимать должна!..

Уткнулся Аким в чей-то спальный мешок, провонявший потом, репудином, дымом, и дал волю чувствам, охмелел вроде бы, хотя во рту другой день маковой росинки не было. Друзья-то, соратники-то, очески-то эти ходят, варят — чувствует же носом пищу, охотник же — нюх у него будь здоров! Да и посудой звякают, тоже слышно. Конвоир за палаткой все шуточки шутит, так и подмывает рвануть из палатки и вмазать ему между глаз! Эх, люди! Для них хотел сохатого добыть, угасающие силы чтобы поддержать, такого человека стравил и за ради кого? Тьфу на всех на вас! Простодырый какой он все же, Якимка этот! Ко всем с раскрытой нараспашку душой, а туда — лапой! То его оберут, то наплюют в душу-то...

Выплакался Аким, легче ему стало. Жалостью все еще подмывало изнутри, но и высветляло опять уже нутро-то, будто солнышком, после затяжных дождей восходящим. К людям Акиму хотелось, про Петруню поговорить, поглядеть, как он там? Или помолчать вместе со всеми. С народом и молчитесь совсем не так, как в одиночку. Он это еще с Боганиды ведал. И только подумал Аким о людях, только ощутил потребность в них, под чьими-то сапогами хрустнула трава, треснула щепка, кто-то скреб по брезенту ногтями, расстегивая палатку.

«Неуж опять допрашивать?» — Аким притаился в спальном мешке, закрыл мокрые, заплаканные глаза плотно-плотно и даже вознамерился всхрапнуть.

— Эй, слышь! Аким! — кто-то дергал за спальный мешок. — Иди, попрощайся с корешом...

Над обрывом речки, во мшистом бугре могилка, белеющая,

обрубками корней, со свесившимися с бруствера кисточками брусники и уже бесцветными, будто жеваными, листьями морошки. Некрашенный гроб косо стоял на сырой супеси и на рыжих комках глины, выкайленных с нижнего пласта. Непривычно нарядный, прибранный, в белой рубашке с синтетическим галстуком на шее, смирно лежал в гробу Петруня. Волосенки, за сезон отросшие, зачесаны вверх, обнажили чистый, не загорелый под шапкой лоб, даже баки косые кто-то изобразил покойнику — в отряде есть на все мастера. Руки Петруни в заусенцах, в неотмывшемся мазуте — с железом имел дело человек, голова пришта рыбачьей жилкой ноль четыре, шов под галстуком аккуратный, почти незаметно, как исхрюстал человека зверь, и весь Петруня хороший... Только темные, точно нарисованные царапины от когтей, и глаз, закрытый подпальником красным осиновым листом, похожим на старинный пятак, смазывали торжественную красоту церемонии, не давали забыть; притягивали и пугали взгляд — все правда, зверь, схватка, гибель человека — все-все это не сон, не байка про страсти-ужасти, которые есть мастера в отряде так рассказывать, что ночью заорешь и вскочишь. Давило в груди, стыдно сделалось Аким за свои мысли, слезы, да и за все его недавнее поведение там, в палатке, — человек погиб, человека, его друга и помощника, зверь лютый изодрал, изничтожил, а он комедию ломал, лахудру какую-то вспоминал, себя жалел, тогда как Петруня-то вон, бедный, какой весь искорябанный, изжужлианный...

Кто-то Петруне запонки свои блескучие в рукава вдел, штиблеты на микропоре отдал — видны носки штиблет из-под полотна, полотно из нутра палатки выдрано, и хотя его мыли в речке, сажа, пятна да комариные отдавши заметны. Нет чтобы увезти человека в Туруханск, похоронить честь по чести, с оркестром, в красном гробу... Вечно так: работаешь — всем нужен, подохнешь — сразу и транспорту нету, и горячее кончилось, и везти некому.

А может, ребята не отдали? Ребята хорошие собрались в отряде, много пережили, всё понимают, зря он на них бочку-то катил, оческами обзывал — нашло-наехало. Отдай покойного, кто его там, в Туруханске, хоронить будет? Кому он нужен? Увезут из морга на казенной машине, в казенном гробишке, сбросят в яму, зароят — и все, кончен бал! А тут кругом свои люди, горюют, о собственной кончине каждый задумывается, иные вон плачут, жалея покойного и себя.

Аким не заметил, как сам завсхлипывал, заутирался забинтованной рукой, его дернули за полу куртки: «Тихо ты!..» Начальник говорил речь:

— ...Пробиваясь сквозь таежные дебри, продвигаясь вперед и вперед по неизведанным путям, к земным кладам, мы теряем наших дорогих друзей и соратников, не боюсь сравнения, как героических бойцов на фронте...

«Хорошо говорит! Правильно!» — Аким слизнул с губы

слезу, и ему снова захотелось умереть, чтобы о нем вот так же сказали и чтобы Парамон Парамонович с целины приехал, и Касьянка, может, прилетела бы...

Его подтолкнули к гробу. Не зная, что делать, Аким глядел на руки Петруни, и оттого, что они, эти руки, были в мазуте, гляделись отдельно, виделись живой плотью — окончательно не воспринималась смерть. Аким вздохнул, послушно ткнулся лицом в лицо друга и отшатнулся, ожегшись о холодную твердь; словно в чем-то пытаясь удостовериться, торопливо тронул руки Петруни, они, как вымытые из берега таловые корни, были тверды, безжизненно шероховаты и тоже холодны. Так это все-таки всерьез, взаправду! Нет Петруни! Петруню хоронят!

Акиму захотелось кого-то о чем-то спросить, что-то сделать, наладить, вернуть — не может, не должно так быть, ведь все началось с пустяка, сохатого черти занесли, он, Акимка, хотел его стрелять на мясо. Петруня увязался посмотреть — любопытство его разобрало. Ну и что такого? Охоту посмотреть всем интересно, чего особенного? И вот, столько изведавший, под смертью ходивший человек, так случайно, нелепо, не всерьез как-то...

Но ничего уже не надо говорить и поправлять. Когда Аким протер все тем же испачканным комком бинтов до слепоты затнутые мокротью глаза и распухшие губы, он увидел старательно, умело работающих людей. Словно выслуживаясь перед кем, угождая ли, они вперебой закапывали узенькую земляную щель и уже наращивали над нею продолговатый бугорок.

Аким повернулся и побрел бесцельно и бездумно в тайгу. Ноги приволокли его к вездеходу, он постоял возле машины, тупо в нее уставившись, чего-то соображая, и вдруг стиснул зубы, без того бледный, с завалившимися щеками, он побелел еще больше — ему нестерпимо, до стона, до крика захотелось вскочить на машину, затрещать ею, погнать вперед и конем этим железным, неумолимым крушить, сворачивать все вокруг, поразогнать все зверье, всех медведей, коих столько развелось в туруханской тайге, что сделано отступление от закона, разрешено их тут, как опасных зверей, истреблять круглый год. Но машина разобрана, картер вскрыт, рука изувеченная болит — куда, зачем и на чем он двинет? Кроме того, товарищи-друзья, хлопотали насчет поминального ужина.

Опытный начальник отряда выставил от себя литровый термос со спиртом, выпил стакан за упокой души рабочего человека, забрал планшет, молодую практикантку с молотком на длинной ручке и увел ее в тайгу — изучать тайны природы.

Разведчики недр оживились, забегали по лесу, застучали топорами, котлами, взбодрили очаги, забалтывая на них консервированные борщи, кашу-размазную. В отдалении, чтоб «пахла эта» не воняла на добрых людей, Аким в отоженном от мазута ведре на отдельном костре варил медвежатину, иплыли ароматы по редкому лесу, вдоль речки Ерачимо и даже

дальше, может, до самой Тунгуски, потому что в варево медведь набросал лаврового листа, перца горошком, травок, душицы, корешков дикого чеснока. Из ведра опарой поднималась рыжая пена, взрываясь на головнях, она горела, шипела, издавая удушливый чад.

Приподняв заостренной палкой темно-бурый кусок мяса, Аким отхватил лафточок, снял его губами с ножа и, гоняя во рту медвежатину, обжигающую небо, смотрел вверх, словно бы к чему-то там прислушиваясь или собираясь завыть. С усилием протолкнув в себя пробку недожеванного мяса, медведь вытарашил глаза, и по выражению его лица прочитывалось, какими кривыми путями идет по сложному человеческому нутру горячий кус этой клятвой, не к душе пришедшейся зверятины.

— Небось гайку легче проглотить? — спросил «путешественник», на которого Аким сердился и разговаривать с ним не хотел. Спросил он вроде бы просто так, от нечего делать, но из глубины все того же сложного, человеческого нутра пробился интерес.

— Не доварилось, — не глядя на бывалого «путешественника», подгребая в кучу головни, увеличивая силу огня, отозвался Аким.

— Как ты жрешь? — вздыбился вдруг практикант из Томского университета Гога Герцев. — Он человека хотел слопать! Он людоед! Он и сам ободранный на человека похож! А ты, вонючка, лопаешь всякую мразь! Тьфу!

Аким знал много всяких людей, давно с ними жил, работал, изучил их повадки, как выразился в местной газете один наезжий писатель под названием очеркист, и потому не возражал практиканту — молод еще, да и напарницу его в лес увели, мучайся, угадывай вот, зачем ее туда увели?

— Сто правда, то правда, похож. У медведя и лапы точь-в-точь человечьи, токо у передней лапы прихватного пальца нету, — миролюбиво согласился с практикантом Аким и хотел продолжить объяснения, но подошла пора поднимать печальную чарку за Петруню, чтобы в молчаливой строгости и скорби осушить ее до дна.

Выпили, дружно принялись закусывать крошечком из ржавых килек, кашей, борщом. Меж тем в ведре, закрытом крышкой от тракторного цилиндра, допрела на углях медвежатина, и Аким, выворотив из ведра кусище, кивком головы показал связчикам на ведро, но они все отвернулись, и, пробормотав: «Не хотите, как хотите!», зверобой по-остяцки, у самого носа пластал острующим ножиком мясо и, блаженно жмурясь, почмокивая, неторопливо, но убористо уминал кусок за куском, с хлебом и соленой черемшой.

Первым не выдержал «путешественник».

— Ты это... с черемшой-то зачем мясо рубашешь?

— Зырно.

Изобразив рукой, чтоб Аким отчекрыжил и ему кусочек мед-

вежатины на пробу, «путешественник» покривился словно бы над ним совершалось насилие. Аким, поглощенный чревоугодничеством, мурлыкая от удовольствия, лопал мясо, ни на кого не обращая внимания. И пришлось «путешественнику» делать вид, что лезет он за этим самым мясом, преодолевая брезгливость, и, видит бог, старается не для себя, досадно морщился, даже плюнул в костер «путешественник», на что Аким, захмелевший от еды и выпивки, заметил: «Доплюеся, губы заболят!» Выудив из ведра кусище мяса, по-дамски жеманясь, «путешественник» снял его губами с лезвия ножа. Работяги плотно обступили костер, наблюдая. Изжевав шматочек мяса и проведив его во чрево, «путешественник» сузил глазки и, глядя вдаль, о чем-то задумался, потом заявил, что жаркое напоминает по вкусу опоссума или кенгуру, но пока толком он еще не разобрался, и отхватил кус побольше. Радист отряда, человек потный, плюгавый, вечно тоскующий по здоровой пище и толстым бабам, тоже отрезал мяса, но заявил при этом: едва ли пройдет оно посуху.

Намек поняли. Дружно выпили по второй кружке, и как-то незаметно работяги один по одному потянулись к Акимову костру, обсели ведро с медвежатиной.

— А что, если прохватит? — засомневался радист.

— С черемшой, с брусникой да под спирт хоть како мясо нисё, акромья пользы, не приносит, — успокоил товарищей Аким и, напостившись в палатке, напереживавшись без народа, ударился в поучительную беседу: — Медвежье мясо особенное, товариссы, очень полезительное, оно влияет на зрение, от чухотки помогает, мороз какой хоть будь, ешь медвежатину — не заколес, сила от медвежатины, понимае, страшная...

— По бабам с него забегаешь! — хохотнул кто-то.

— Я имя серьезно, а оне...

— Ладно, ладно, не купоросься, тем более что баб в наличности нету.

— А-а... — начал было радист, собираясь брякнуть насчет практикантки, но его вовремя перебил «путешественник»:

— Вот ведь святая правда: век живи, век вертись и удивляйся! Белый свет весь обшарил, но медведя токо плюшевого видел, по глупости лет пробовал ему ухо отгрызти, выплюнул — невкусно.

Пошла беседа, разворачивалась, набирала силу гулянка, поминки вошли в самый накал. К закату следующего дня от медведя остались одни лапы в темных шерстяных носках. Братски обнявшись, разведчики недр посетили, и не раз, могилу Петруни, лили спирт в комки, меж которых топорщились обрубки корешков, паутинились нитки седого мха, краснели давленные ягоды брусники. Каждый считал своим долгом покаяться перед покойным за нанесенные ему и всему человечеству обиды, люди клялись вечно помнить дорогого друга и отныне не чинить никому никакого зла и неудовольствия.

Аким и выспался на могиле Петруни, обняв тесанную из

кедра пирамиду. Выспавшись и разглядевшись, где он, несколько устыдясь своего положения, зверобой скатился к речке, ополоснул лицо и подался к почти затухшему костру, вокруг которого разбросанно, будто после нелегкой битвы, валялись, поверженные люди, и только трезвый и злой Гога Герцев сидел на пеньке и чего-то быстро, скачуще писал в блокноте.

Из Туруханска в отряд вылетел налаживать трудовую дисциплину начальник партии. Зная, с кем имеет дело, он прихватил ящик с горючкой, и, когда вертолет плюхнулся на опочек средь речки Ерачимо, единого взгляда начальнику хватило, чтобы оценить обстановку — силы отряда на исходе, поминки проходят без скандалов, драк и поножовщины — люди горевали всерьез.

— Послезавтра на работу?! — приказал и спросил одновременно начальник партии. Всякая личность, ездаящая и тем более летающая по туруханской и эвенкийской тайге, была разведчикам недр известна, и они пронюхали: в вертолете таится ящикек, и дали слово — в назначенный начальником срок выйти на работу и от чувств братства хотели обнимать и даже качнуть хорошего, понимающего человека, но начальник прямоком через речку стриганул к вертолету, машина тотчас затрещала и метнулась в небо.

Как посулились, вышли на работу в назначенный день, не сразу, но разломались и, вкалывая от темна до темна, навёрстали упущенное, к сроку отработали район, снялись с речки Ерачимо, вернулись в Туруханск, и те, кто остался в отряде, на следующий сезон уже работали другой участок, на другом притоке Нижней Тунгуски, еще более глухом и отдаленном, под названием Нимдэ.

Несколько лет спустя Акима занесло поохотиться на глухарей по Нижней Тунгуске, он нарочно сделал отворот, долго шарился по мрачной речке Ерачимо, пытаясь найти место, где стоял и работал когда-то геологический отряд. Но сколь ни бегал по речке, сколь ни кружил в уреме, следов геологов и могилы друга найти не мог.

Все поглотила тайга.

## ТУРУХАНСКАЯ ЛИЛИЯ

Наконец-то побывал я на Казачинских порогах! Не проплыл их на парохе, не промчался на «Метеоре», не пролетел на самолете — посидел на берегу у самого порога, и он перестал быть для меня страшным, он еще больше привораживал, поднимал буйством какую-то силу, дремлющую в душе.

Я знавал пору, когда входивший в порог старикашка «Ян Рудзутак» верст за десять начинал испуганно кричать заполошными гудками и до того доводил команду, сплошь выходящую на вахту, в особенности пассажиров, что средь них случались обмороки, и своими глазами видел я, как било при-

падком рыхлую бабу и голова ее гулко брякала о железный пол парохода. Публику всю в ту пору с палубы удаляли, да она большей частью и сама удалялась, залазила под койки, под бочки, хоронилась в поленницах, дров, которыми пароход забивался до потолка. «Рудзутак» хоть и числился «скоростной линией», отапливался дровишками и, случалось, из Игарки в Красноярск, прибывал на десятый или двенадцатый день.

Конечно, и тогда уже попадались ухари, которым ничего не страшно на этом свете. Они лаялись с командой, желая стоять грудью наперекор стихиям, глядеть на них и презирать их, а удаленные с палубы иной раз с применением силы парни и девки, в особенности же ребяташки, пилились в окна, расплюшив о стекла носы.

Когда мне первый раз в жизни довелось проходить Казачинские пороги, я спрятался на палубе под шлюпку и как там не отдал богу душу, до сих пор понять не могу.

Берега к порогу сужались каменным коридором, воду закручивало, вывертывало вспученной изнанкой, от темени скал река казалась бездонной, ее пронзало переменчивым светом, местами тьму глубин просекало остриями немых и потому особенно страшных молний, что-то в воде искристо пересыпалось, образуя скопище огненной пыли, которая тут же скатывалась в шар, набухала, раскалялась, казалось, вот-вот она лопнет взрывом под днищем суденышка и разнесет его в щепки. Но пароход сам бесстрашно врезался плугом носа в огненное месиво, сминал его, крошил и, насорив за собою разноцветного рванья, пер дальше с немыслимой скоростью и устрашающим грохотом.

Кипело, ахало, будто тысячи мельниц одновременно гремели жерновами, лязгали водосливом, бухали кованым вертелом, скрипели деревянными суставами передач и еще чем-то. Глохли, обмирали в камнях всякие земные краски, звуки, и все явственней нарастало глухое рокотание откуда-то из-под реки, из земных недр — так приближается, должно быть, землетрясение.

Лес по обоим берегам отчего-то сухой, да и нет лесу-то, веретье сплошь, пальник черный. И они, эти полуголые берега, крутились, земля кренилась, норовя сбросить все живое и нас вместе с пароходом в волны, задранные на грядах камней белым исподом. Пароход подрагивал, поскрипывал, торопливо бил об воду колесами, пытаясь угнаться за улетающей из-под него рекой, и на последнем уж пределе густо дымил трубою, ревел, оглашая окрестности, не то пугая реку и отгоняя морочь скал, не то умоляя пощадить его, не покидать и в то же время вроде бы совсем неуправляемо, но вертко летел меж гор, сплеух, быков, скал, надсаженно паря, одышливо охая. Что-то чем-то лязгнуло, брякнуло, громыхнуло, ахнуло, и шум поднялся облаком ввысь, отстал, заглухая, воцарилась мертвая тишина. «Все! Идем ко дну! Не зря бабушка мне пророчила: «Мать-утопленница позовет тебя, позовет...»



Но пароход не опрокидывался, никакого визгу и вою не слышалось. Я выглянул из-под шляпки. Порог дымился, бело кипел, ворочался на грядках камней уже далеко за кормою. Ниже порога, смирно ткнувшись головою в камни берега, как конь в кормушку, стояло неуклюжее судно с огромной трубою; с лебедкой на корме, и с него что-то кричали на «Рудзутак». Из недоступной нашему брату верхней палубы голосом, сдавленным медью рупора, капитан «Рудзутака» буднично объяснял: «Зарплату не успели. Не успели. Со «Спартакoм» ждите, со «Спартакoм».

Разговор про зарплату всех пассажиров разом успокоил.

Пароходик с лебедкою под названием «Ангара» был туер. Он пережил целую эпоху и остался единственным в мире. Трудились когда-то туеры на Миссисипи, на Замбези и на других великих реках — помогали судам проходить пороги, точнее, перетаскивали их через стремнины, дрожащих, повизгивающих, словно собачонок на поводке. Туер, что кот ученый, прикован цепью к порогу. Один конец цепи закреплен выше порога, другой ниже, под водой. И весь путь туера в две версты, сверху вниз, снизу вверх. Однообразная, утомительная работа требовала, однако, постоянного мужества, терпения, но никогда не слышал я, чтоб покрыли кого-нибудь матом с туера, а причин тому ох как много случалось: то неспоро и плохо участвовали баржа или какое другое судно, то оно рыскало, то не ладилось на нем чего-нибудь при переходе через пороги, в самой страшной воде. Сделав работу, туер отцепит от себя суденышко, пустит его своим ходом на вольные просторы, в которых самому никогда бывать не доводилось, и пикнет прощально, родительски снисходительно.

Ныне в порогах трудится другой туер — «Енисей» — детище Красноярского судоремонтного завода. Он заменил старушку «Ангару». Ее бы в Красноярск поднять, установить во дворе краевого музея — нигде не сохранилось такой реликвии. Да где там! До «Ангары» ли?

Почти нагишом сидя на песчаном лоскутке берега, слушая шум воды, размышлял я о всякой всячине, но, сколь ни копался, прежних ощущений в себе не мог возбудить, и порог мне казался мирным, ручным, раздетым вроде бы. Ах, детство, детство! Все-то в его глазах нарядно, велико, необъятно, исполнено тайного смысла, все зовет подняться на цыпочки и заглянуть туда, «за небо».

Казачинский порог «подровняли» взрывчаткой, сделали менее опасным, и многие суда уже своим ходом, без туера, дырявят железным клювом тугую, свитую клубами воду, упрямо, будто по горе, взбираются по реке и исчезают за поворотом. «Метеоры» и «Ракеты» вовсе порогов не признают, летают вверх-вниз без помех, и только синий хвостик дыма вьется за кормой. Туер «Енисей», коли возьмется за дело, без шлепанья, без криков, суеты и свистков вытягивает «за чуб» огромные самоходки, лихтера, старые буксиры. Буднично, деловито

в пороге. По ту сторону реки пустоглазая деревушка желтеет скелетами стропил, зевает провалами дверей, крыш и окон — отработала свое, отжила деревушка, сплошь в ней бакенщики вековали, обслуга «Ангары», спасатели-речники и прочий нужный судоходству народ.

Шумит порог, оглаживая, обтекая гряды камней, кружатся потоки меж валунов, свиваются в узлы, но не грозно, не боязно шумит. И судно за судном, покачиваясь, мчатся вдале. Вот из-за поворота выскочила куцезадая самоходка, ворвалась в пороги, шурует вольно, удало, не отработав по отбою к правому берегу, от последней в пороге гряды, где крайней лежит, наподобие бегемота, гладкая, лоснящаяся глыбища и вода круто вздыбленным валом валится на нее, рушится обвально, кипит за нею, клокочет, сбита с борозды. Порог, и выровненный, чуть обузданный, никому с собою баловатя не позволит. Сто-тонную самоходку сгребло, потащило на каменную глыбу. Из патрубку самоходки ударил густой дым, по палубе побежал человек с пестрой водомеркой. Ставши почти поперек стремнины, самоходка, напрягаясь, дрожа, изо всех сил отрабатывала от накатывающей гряды, от горбатого камня, который магнитом притягивал ее к себе — пять—десять метров, секунды три-четыре жизни оставалось суденышку, ударило, скомкало, как мусорное железное ведро, и потащило бы ко дну. Обезволев, отдало себя суденышко стихиям, положилося на волю божью. Его качнуло, накренило и, кормой шаркнув о каменный заплесок, выплонуло из порога, словно сигарку, все еще дымящуюся, но уже искуренную.

— Там не один дурак лежит и обдумывает свое поведение, — присев по-хозяйски к нашему огню и вытащив из него сучок на раскурку, сказал незаметно и неслышно из-за шума порога приблизившийся к нам пожилой человек. Прикурив, он по-ребячи легко вздохнул, приветно нам улыбнулся, приподняв с головы старую форменную фуражку речника, и продолжил о том, что в порогах покоятся забитые камнями, замываемые песком удалые плотгоны, купчишки в кунгасах добро стерегут, переселенцы-горемыки, долю не нашедшие, отдыхают; определился на свое постоянное место разный непоседливый народишко.

— А больше всех там нашего брата — бакенщика покоится...

Моложавое лицо с прикипелой обветренностью, на котором спокойно светились таежным, строгим светом глаза, мягкое произношение, когда слова вроде бы не звучат, а поются, свойское поведение — как будто всю жизнь мы знали друг друга, вызывали ответное доверие к этому человеку, рождалась уверенность — где-то он и в самом деле встречался. Есть люди, что вроде бы сразу живут на всей земле в одинаковом облике, с неуязвимой и неистребимой открытостью. Все перед ними всегда тоже открыты настежь, все к ним тянутся, начиная от застигнутых бедой путников и кончая самыми раскапризными ребятишками. Таких людей никогда не кусают собаки, у них

ничего не крадут и не просят, они сами все свое отдают, вплоть до души, всегда слышат даже молчаливую просьбу о помощи, и почему-то им, никогда не орущим, никого плечом не отталкивающим, даже самая осатанелая продавщица, как-то угадав, что недосуг человеку, подает товар через головы, и никто в очереди не возражает — потому что они-то, такие люди, отдают больше, чем берут. Попиливают таких мужей за простодырство жены, и они, виновато вздыхая, делают вид, будто ох как правильно все говорится и ох как раскаивается муж перед женою, ох как ее слушается. На фронте, в санроте не раз случалось — такой вот отодвигается, отодвигается в сторонку, уступая очередь в перевязочную более пробойным людям, считая, что им больнее, а ему еще терпимо, и, глядишь, догорит скромняга в уголке церковной свечкой. Совсем на другой реке такой же вот человек утонул недавно, уступая место на опрокинутой лодке тем, которые казались ему слабее, а был болен сердцем и, спасая других, ушел под воду без крика, без бултыханья, боясь собою обременить и потревожить кого-то.

Душевно легка, до зависти свободна жизнь таких людей. И как же убиваются жены по скоро износившимся, рано их покинувшим, таким вот простофилям-мужьям, обнаружив, что не умевший наживать копейку, постоять за себя, с необходимыми и тихим нравом мужичонка был желанней желанного и любила, оказывается, она его, дура, смертно, да ценить не умела.

Мы пригласили Павла Егоровича — так назвался наш гость — разделить с нами трапезу. Он не манежился, выпил водочки, утер губы и с бережной, праздничной отрадой разговелся кружочком огурчика и редиски, сказавши, что свежей зелени нынче еще не пробовал. Вежливо поблагодарив за угощение, он посулился порадовать и нас ответно: «Да куда же это годится — гости пробавляются чаем на Казачинских-то порогах!»

Я увязался за Павлом Егоровичем и скоро узнал, что приехал он сюда в двадцать шестом году из Пермской области. Жил я тогда в Перми, и, когда сказал об этом Павлу Егоровичу, он от такого сообщения опешил, уставив на меня зеленато-хвойные глаза:

— Ну, не зря молвится — тесна земля, тесна.

— А вас-то, вас-то какими же ветрами занесло сюда?

— Нас-то? — Павел Егорович окинул сощуренным взглядом Казачинский порог, и я догадался — он его «не слышит», не то, чтобы вовсе не слышит, он привык к нему, как мы привыкаем к часам-ходикам, к мурлыканью кошки, — обжито слышит, понимая голоса камней, различая их, отделяя гуд порога в разнопогоде, во время высокой воды, в меженную пору и в осень, когда река расшита седовато-голубой стежью, и скатившийся на глубь хариус лениво теребит эти стежки, выбирая из них корм, и нет-нет жажнет хвостом редкий уже здесь таймень.

— Вырос я невдалеке от Чернушки, речку в нашем селе к середине лета коровы выпивали, — заговорил Павел Егорович, — а вот почему-то на воду меня тянуло, на большую. Должно быть, в кровях запутался моряк! — Он прервался, помолчал, не отрывая глаз от порога и от заречной протоки, огнувшей каменный островок с пучком изветренного, голого леса на макушке. По окружью островка внахлест лежали смытые деревья, по-за порогом, ниже его, на берега тоже столкало много хламу, он горел, растекаясь сизым дымом вдоль реки, по обе стороны которой то разбродно, то в одиночку, то кучно, то волнисто уходили вдаль хребты, хмуролесье, блестели игольно останцы, с которых бурями и огнем смахнуло растительность, однако у подножия хребта, в веселой пестрине кружились хороводы осин, березняков, боярышника, жимолости, проталинами стекали по каменистым склонам заросли дикой акации. — И потопал я пеши по стране, — продолжал Павел Егорович с легким выдохом, — молодой, силой не обделенный, рубить-пилить еще в зыбке наученный. До Анисея дотопал!

«Пермяк-то, солены уши, совсем очалдонился, Енисей понашенски зовет!»

— Хошь верь, хошь нет, притопал я к Анисею, глянул — и все во мне улеглось. «Здесь, Павел! — сказала сердце. — здесь твоя пристань!» По Анисею матросом ходил и как попал сюда, обалдел: «Их ты, батюшки мои! Неуж такое наяву может быть? Надо остановиться!» — Павел Егорович не отрываясь смотрел на порог, слушал его, а я догадался, что удивление его не кончилось, что невозможно привыкнуть к этой красотище, надивоваться ею. И только теперь уразумел, отчего умирающие в подпорожье старики просили выносить их на волю перед кончиной. Бабы ворчали: «Не опостылел те еще Анисей-то? Ухайдакался на ём! Руки-ноги он те искорежил...»

Должно быть, хотелось человеку верить, что там, за гробом, во все утишающей тьме продлится видение родной реки. А может, звала, толкала его к реке потребность удостовериться, что за его жизнью продлится жизнь, нескончаем будет бег реки, рев порога, и горы, и лес все так же непоколебимо будут стоять, упираясь в небо, — сила полнит силу, уверенность в нетленности жизни помогает с достоинством уйти в иной мир.

— Всю жизнь проработал я баканщиком. Теперь надобности в нас нету...

Большими алыми погремками цвели в Казачинских порогах бакены-автоматы. Осиротела, задичала деревушка на правом берегу, пустеет и Подпорожная, на левом. Подались отсюда кто помоложе, но, родившиеся под шум порога, до последнего часа будут они слышать его в себе, и, пока видят их глаза, все будет катить порог перед взором вспененные валы, клубиться голубым дымом брызг, неостановимо биться на камнях, тороситься горами льда в ледостав, грохотать, пластая и круша земные тверди в ледоход, и засосет в груди под ложечкой, когда уроженец Подпорожной вспомнит осеннюю ночь,

скребущихся на деревянной скорлупке-лодчонке к крестовинам двух маленьких, отважных человек — деда и внука. Хруст коробка, хранимого у сердца в нагрудном кармане, просверк спички, один, другой, отчаянье — не раздобыть, не вздуть огня, не засветить погасший бакен, и рев, торжествующий рев порога кругом — ни берега не видно, ни суши, а работу делать надо. Не раз, не два за ночь из теплого избяного уюта отчалит бакенщик в ревущую бездну ночи, к погасшему сигнальному огню, и светились они во тьме, в дождь и в непогоду, в снежном заволоке и при ураганной дуруверти.

Помня еще старенькие, ламповые, бакены, я дивился вслух искусству и мужеству здешних речников. Павел Егорович только пожимал плечами, чего, мол, такого особенного? Надо было, вот и работали, пообвыкли, а когда я сказал ему, что, возможно, в детстве на «Рудзутак» или еще на каком пароходе проходил меж бакенов, им засвеченных, он на минуту задумался и, кротко вздохнув, вымолвил:

— Ничего хитрого, жизнь большая произошла...

Подняли вентерь — узкий, длинный, плотно вязанный. Стоял он в расщелине, жерлом открытый течению. Ниточную ловушку забило слизкой плесенью. Попался один усатый пескарь, совсем не премудрый на вид, замученный до смерти течением. Павел Егорович брезгливо вытряхнул воняющую рыбеху из вентеря. Пескаря покрутило за бычком и выбросило на струю. Там его сцапали чайки, принялись с визгом драться, уронили рыбешку, потеряли и, успокоившись, затрепыхались над нами, ожидая еще подачки. Павел Егорович выколачивал из вентеря плесневелую слизь — все в пороге и сам порог забрызганы грязью, похожей на коровий помет.

— Гэса, — пояснил Павел Егорович, — Гэса правит рекой: часом вода подымется, часом укатится. Дышит река, берега не успевают обсыхать, а дрянь эту, сопли эти слизкие тащит и тащит...

Второй вентерь стоял опять же в каменном коридорчике с ровно стесанными стенками и ловко вовлеченным в него потоком.

— Шшэли эти не природны, — охотно пояснил Павел Егорович, — их люди изладили. Вдревле грели камень огнем, лесу возами сжигали. Камень от жару трескался, его расшатывали, по многу лет долбили клиньями — всякая семья себе место лова проворила. Ну а на моем веку аммоналом подсобляли, однако без толку не пластали каменья. Его, камня-то, хоть тут и гибель, мешат он вроде бы, но рвать лишку нельзя, заголятся верхние шивера, река несудоходная делается. Порог легулирует реку. Легулировал, по правде сказать. Теперь Гэса всем правит...

В третьем вентере болталась пара дохлых ельцов и до си-невы избитая, скомканная сорожонка.

— Вот так попотчевал я вас рыбкой, гости дорогие! — Павел Егорович разжал руку с тремя жалкими рыбками, поглядел

на добычу, качая головой, и шлепнул их в воду. Оставив вентери на камнях, он молча взялся на измолотый высокой водою яр, по бровке которого курчавился брусничник.

Мы обмылись водою — купаться нельзя — величайшая в мире ГЭС держит такую толщу воды, что она не прогревается, температура ее почти постоянная зимой и летом. Чалдоны не-весело шутят: если охота купаться, валяй в Заполярье!

По Заведенной привычке вытащены к зиме на берег лодки, загнаны в затоны суда и суденышки, но, всеми покинутая, скутанная морозным паром, безглазо и безгласно мается река в тяжелом полусне, меж изморозью покрытых берегов — ни души на воде, ни души на берегу, лишь полоснет по громадам скал, замечется тревожно огонек браконьера, промысляющего рыбу острой, и тут же поглотит его непроглядная мгла, да продырявит неожиданно волглую муть где-то в вышине, ровно в преисподней, один-другой огонек — это в горах пробираются машины, в морозное время круглые сутки вынужденные светить фарами. Плывут и плывут по измученной реке, кружатся рыхлые коросты шуги, где-нибудь в затишке, украдкой смерзнутся в забережку — реке хочется остановиться, успокоиться, покрыться льдом.

Нет и никогда уж не будет покоя реке. Сам не знающий покоя, человек с осатанелым упорством стремится подчинить, заарканить природу. Да природу-то не переиграть. Водорослей, которые в народе зовутся точно — водяной чумой, развелось полторы тысячи видов, и они захватывают по всему миру водоемы, особенно смело и охотно свежие, ничем не заселенные. В одном только Киевском водохранилище — факт широко-известный — за лето накапливается и жиреет пятнадцать миллионов тонн страшного водяного хлама. Сколько скопилось его в Красноярском водохранилище — никто не считал.

...Обожженные ледяной водницей, выползли мы на солнце, на гладкий песочек, намытый меж бычков, и собрались вздремнуть под шум порога, как увидели спускающегося по яру блекло, но все же не без довольности, улыбающегося Павла Егоровича.

— Вот, — разворачивая тряпицу, сказал бывший бакенщик, — соседу в сеточки три штуки попались. Одну кой-как выцыганил.

Мы быстренько сварили из стерлядки уху.

— Вы ешьте, ешьте! — отсовывал от себя рыбу Павел Егорович. — Мы ее тут перевида-ли! — похвалился он и ложкой показал на другую сторону Енисея, на нижнюю гряду порога. — Там есть две ямы, и на зиму в них «залегала» красная рыба. Вот прямо как поленья, друг на дружку, — пояснил он. — Сторожа ставили с ружьем, чтобы никто не пакосил на ямах. Каждой семье перед ледоставом разрешалось сделать два за-мета неводом. Два — и шабаш! Но брали рыбы на всю зиму. Сами хозяйничали на реке, сами ее и блюли, жадюг не жаловали.

Нет теперь красной рыбы на тех ямах ни летом, ни осенью. Сошла она с порога, укатилась в низовья Енисея и на Ангара, плесень согнала ее, капризную, к грязи непривычную. Лишь реденькие стерлядки добредают до порога по древнему зову природы. На туере «Енисей» в колпите каша, казенный борщ, жареная ставрида, хек вместо стерлядки.

— И в наш поселковый магазин бычков в томате привезли, — вздохнул Павел Егорович, — и эту, как ее? Вот уж при жэнщине и сказать неловко, бледугу какую-то. На Анисей — бледугу! Чем же мы дальше жить-то будем?

«И этот про «дальше»! Все-все печемся о будущем! Головой! А руками чего делаем?..»

Замолк Павел Егорович, загорюнился и я, не стал ему рассказывать про его родину, Урал, которому прежде всех и больше всех досталось от человека, про ржавые и мертвые озера, пруды, реки, про загубленную красавицу Чусовую, про Камское водохранилище, где более уже четверти века мучается земля, пробуя укрепиться возле воды, и никак не может сделаться берегом, сыплется, сыплется, сыплется.

Кто будет спорить против нужности, против пользы для каждого из нас миллионов, миллиардов киловатт? Никто, конечно! Но когда же мы научимся не только брать, брать — миллионы, тонны, кубометры, киловатты, — но и отдавать, когда мы научимся обихаживать свой дом, как добрые хозяева?..

Ревел порог. Шумел порог, как сотню и тысячу лет назад, но не плескалась, не вилась в его струях, не шлепалась на волнах, сверкая лезвием спины, стерлядь — живое украшение реки.

...И отправился я за тысячу верст от Казачинского порога, на Нижнюю Тунгуску, где, по слухам, нет еще враждебных природе мет человека. Лишь бросится в глаза, что на много сотен километров берега Енисея купаются в розовом разливе медовой травы — кипрея, средь которого торчат карандашиками небогатырского сложения северные леса, вьется кислица, кустится малина, таволожник, волчья ягода, веретье и жердник — по всем видам палей, но для пожаров слишком уж широко эти убитые пространства, непосильно продратесь огню средь запаренных болот, обсеченных распадками речек, хлесткими потоками и надзорно нависшими сверху осередышами — хребтами с вечным снегом на горбу, оградившими беззащитную гайгу.

Есть, оказывается, кое-что посильнее огня — лесная тля, древоточцы, разные червяки, гусеницы, и среди них самая нена сытная, неостановимо упорная — шелкопряд. Это он сделал опустошительное нашествие на сибирские леса сначала в Алтайском крае, затем перешел, точнее, хлынул широкой, мутной рекою к Саянам, оставляя за собою голую, обескровленную землю, — поезда буксовали, когда гнойно прорвавшийся нарыв

лесной заразы плыл через железнодорожную сибирскую магистраль. Усталый, понесший утраты в пути паразит затаился в Саянах по распадкам малых речек, незаметно развешивал паутинные мешочки на побегах черемух, смородины, на всем, что было помягче, послаще и давалось ослабевшим от безработицы пилкам челюстей. В мешочках копошились, свивались, слепо тыкались друг в дружку, перетирая свежий побег, зелененькие, с виду безобидные червячки. Подростки, они в клочья пластали паутинное гнездо и уже самостоятельно передвигались по стволу, бойко подтягивая к голове зад, и там, где неуклюже, инвалидно вроде бы проходил, извиваясь, гад, деревце делалось немым, обугленным.

Окрепнув, паразит уже открыто двинулся на леса, сады, дачи и палисадники. Я своими глазами видел, как сын старого друга нашей семьи, лесничего Петра Путинцева, Петр Петрович сидел в нарядном, что у маршала, картузе лесничего в ограде родимого кордона, на Караулке, под мертвыми черемухами, а вниз и вверх по речке, опалая черным пламенем низину и косогоры, поедая осинники, вербу, ивняки, пробуя уже и хвойный лес, от поколения к поколению набирающий силу, двигался молчаливый враг, нарывами повисая на беспомощно притихшем лесе, в котором бесились, хохотали самцы-кукуша, кричали роижи да хлопотливо трещали веселые сороки — только эти птицы у нас могут есть мохнатую гусеницу, и кому горе, а им пир!

Не думал, не гадал я, что враг этот доберется а к до Осиновского порога и двинется по Подкаменной и Нижней Тунгуске, все-таки гусеница начиналась когда-то на юге, но там у нее есть противники, с нею борется сама природа. Здесь же, в северных краях, в раздетых, ошкуренных лесах лишь кипрей полыхает в середине лета — спутник бедствующих российских земель, прославленный в народе под названием иван-чай. Кипрей создан природой укрывать земную скорбь, утешать глаз. В гушине своей храня теплую прель, он яркими, медовыми цветами манит пчел, шмелей, мелкую живность, которая на лапак, в клюве или к брюшку прилипшим занесет сюда семечко, обронит его в живительное тепло и влагу, накопленные кипреем, и оно воспрянет там цветком, кустиком, осинкой, елочкой, потеснит, а после и задавит, уморит кипрей, и погаснет растение, отдавши себя другой жизни.

Мудрость природы! Как долго она продлится?

Туруханск ликом смахивает на природу, его окружающую. Изломанный на краешки крутым яром, оврагами и речками, он живет настороженной жизнью, найдут ли геологи чего в здешних недрах? Найдут — процветать городу и развиваться. Подкузьмят недра — хиреть ему дальше. Но чего-нибудь да найдут, не могут не найти — район на восемьсот длинных верст распростерся по Енисею, поперек же, в глубь тайги сколь



его, району? «Мерили черт да Тарас, но веревка в здешних болотах обрывалась...», «С самолета кака мера? — спорят таежники. — С самолета верста короче».

В устье Нижней Тунгуски, на стыке ее с Енисеем, и стоит Туруханск — село Монастырское, а в пушной торговле — Новая Мангазея — его прошлые названия.

Сама Тунгуска отгорожена от Енисея громадами скал, которые заслоняют собою все, что есть дальше, за их стеной, за оснеженными вершинами. Река шатается меж утесов, осыпей, оплеух, вода катится, то вбирая лодку в разлом и круговерт, то вздымает ее на горку и шлепает, шлепает по дюралевым щекам. Лодка щепочкой рыскает, катается из стороны в сторону, со вмятины на вмятину, с бугорка на бугорок, не шибко слушается руля и не очень-то подается вперед. Но минешь пятнадцать — двадцать километров, и все успокаивается, даже скучно становится: скалы, нагромождения утесов, отвесные стены серой и рыжей луды, ребристо иль гладко уходящей прямо в глубину, тискающие реку с боков, — все это, пострашав человека, испытав его нервишки и характер, отступает.

Там, впереди, конечно, всего еще будет — река больше двух тысяч верст длиной, по ней если плыть, натерпишься и навидаешься всяких диковин: и порогов, и унырков, и колдовских проток, в которые, сказывала одна туруханская переселенка, как угодишь, то можешь и закружиться.

Кому-то в тридцатые годы понадобилось переселять людей из Ербогачона в Туруханск, а из Туруханска в Ербогачон. От Ербогачона плыли на плотках. «В Туруханске, — сказали переселенцам, — сдлите лес, за него выплатят деньги, начнете строиться, обживатьсь». До Туруханска дошло всего лишь несколько семей, побила плоты Угрюм-река, растрепала в шиверах и порогах, утащила в унырки. Женщина-переселенка видела распятого на скале мужика, волосатого, нагого — вершиной бревна поддело его и приткнуло к камню, и, когда спала вода, он остался вверху — борода треплется, широкий черный рот кричит из поднебесья, кости рук раскинуты, будто не пускал мужик людей дальше, видя с высоты погибельное устье реки.

Рассказывая о том страшном пути по Тунгуске и тридцать лет спустя, опасливо озиралась переселенка, вытирая согнутым пальцем глаза: «Заташшыло плот одинова в слепое плесо, день носит по кругу, другой, третий — не пристать к берегу, не выбиться, сил уж никаких нету. Пятеро детей на плоту, есть нечего, помощи ждать не от кого — раз стронули людей с места, сдвинули одних туда, других сюда на погибель — какая уж помощь? Лег тогда мой хозяин на плот, ребятишкам велел лечь и кричать в щели меж бревен: «Спаси нас, господи! Или покарай! За грехи людские!» Но он у меня из иноверцев был, он иконы из дому повыбрасывал, стало быть, молитва не в кон. И тогда по ихнему, по языческому способу молебствие изладил: нащепал лучины, велел жечь ее и по очереди бросать в воду.

У младшенького сына лучинка упала крестиком и не гаснет. Хозяин всем велел лечь головой ко крестику, руки сделать крестом и повторять: «Вода, лиху не насылай! Ветер, ветер, пробудись, о полночь обопрись, в полудень подуй, наши души не минуй...» Ну, много чего он там выгородил — и помогло! Верховичок потянул, на реку вытащыл.

...Я смотрю на такую простенькую после бурного устья реку и невольно думаю о красивой эвенкийке, каких до войны не встречал. Косолапы они прежде сплошь были, курносеньки. Эвенкийка сидела на бревне возле туруханского дебаркадера, в радужном японском платье. С одного бока ее кособочился ровно бы в помоях выкупанный мужик со шрамами на лице и на голове, с половиной пальцев на руках — появился на Севере сорт людей, до того истаскавшихся по баракам, зимовьям, пристаням, что уж ни возраста, ни пола их сразу не определишь; с другого бока вроде бы вместе со всеми и в то же время как-то врозь сидел и сосал мокрый окурок эвенк в развернутых до пахов резиновых сапогах.

Перед троицей на камнях стояла бутылка дорогого коньяку, захватанный грязными руками стакан. Время от времени, не отрывая взгляд от чего-то, ей лишь видимого, девушка-эвенкийка ошупью брала бутылку, наливала в стакан коньяку, медленно его высасывала, доставала из пачки зубами сигарет, властно хватала руку соплеменника, прикуривала от его цигарки, отбрасывала руку и снова впериалась во что-то взглядом. В глубь светящихся тоскливой тьмой глаз настоялась глубокая печаль, и она, эта древняя печаль, вызвала необъяснимую тягу к женщине, хотелось узнать, о чем думает, что видит она там, за белыми вершинами гор и «об чем гуляет?»

Первым умом, тем, что сверху, я разумею: пьяница и потаскушка она, эта неожиданно красивая северянка в моднейшем грязном платье, которое она сбросит, как только платье начнет ломаться от грязи, и напялит на себя новое. Вторым умом, наджабренным, но еще острым, и не умом, нет, а вечным мужицким беспокойством я ощущаю зов этой свободной красавицы.

На другой день, сидючи на берегу Нижней Тунгуски, возле удочек, изъеденных комарами, я мучился, вспоминая северную красавицу — кого же, кого она мне напоминает? И внезапно открыл: да ее, вот эту реку, Нижнюю Тунгуску, которая, догадываюсь я, всю жизнь теперь будет звать, тянуть к себе молчаливой печалью. Одета в каменное платье, украшенная по оподолью то тяжелыми блестками алмазов вечной мерзлоты, то жарким пламенем цветов по берегам — бечевкам, то мысом, вспененным пушицею, лужком, поляной, галечными заплесками, угорело пенящимися потоками, выдравшимися из хламной зябкости лесов, всем, что растет, живет, звучит и успокаивается ею, будет помниться подвижно-печальная Угрюм-река.

В небе, над тайгой, над болотными марями, то ближе, то дальше, то ниже, то выше призрачно белеют дальние хребты.

куда в эту пору уходит, уползает, бежит всякая живая тварь, спасаясь от гнуса. Лишь мы с Акимом остались на съеденные комарам возле потока, дымчато курящегося, опьяненного от дикой воды. Палатка наша оранжевого цвета стала желто-серой, даже грязноватой. На ней, чуя живую кровь, сплошняком налип комар. Он не дает есть, спать, думать, жить. Когда обогреет солнце, не выносящий тепла северный гнус, дитя мерзлой земли, западает в траву, и шевелится тогда, шипит седая трава по прилескам. Аким куревом вытравил из палатки комаров, застегнулся на «молнию», сидит, не дышит, слушает слитный, металлический звон над собою, время от времени кличет меня в укрытие и, не дозвавшись, роняет: «Ну, как знас! Пропадай, раз чокнутаи, дак!»

У меня есть флакончик «Дэты», на мне надета штормовка, под нею костюм, белье, я крепко замкнут, завязан, зашпилен, и все-таки комары находят чего есть: веки, ноздри, губы, запястье под часами, голову сквозь башлык. Но я столько лет мечтал посидеть на северной реке, половить непуганую рыбу, послушать большую тишину — мне уж не попасть на Север, годы и здоровье не пустят, так что ж, бросать все, попуститься, сдаться из-за комаров?

Хариус и таймень прошли в верха Тунгуски, разбрелись по ее студеным притокам, заканчивался ход сига. Но все же изредка брал местный, становой хариус и ленивый, любящий вольно погулять хвостовой, не стайный сиг. И как брал! Удочек у меня развернуто две — длинная и короткая. Рыба берет почему-то на одну и ту же, на длинную, заброшенную ниже потока, шумно врывающегося в тугие, надменные воды Тунгуски. Груз на удочке — всего две картечины, иначе замозет, затащит снаряду песком. Вода в потоке чище слезы, но все же с кустов, с лесу какая-никакая козявка, блоха, гусеница падают, из-под камней или песка букашку или стрекача вымоет, и потому хариусы и сиги чутко дежурят в устье потока, шпаной бросаются на корм.

Я жду поклевки крупной рыбы — в такую даль забирался неужто зря?! И вот леску длинной удочки потащило по течению вверх; затем резко повело вглубь, в реку. Жидкий конец удилища заколотился, задергался, изогнулся вопросительным знаком.

Я взялся за удилище.

Пятак хариусов и четырех сижков-сеголетков я достал — те брали не так. Напружиненное мое сердце подсказывало: «Клюет дурило!» Я спешно вспоминал сечение лески, нет ли узлов, жучин? Леска без изъянов, все привязано прочно, крючок крупный, удилище проверено на зацепах. Чего же сиг медлит? Хитрован или дурак? Зажал червя за конец и ждет, когда я рвану и подарю ему наживку, которой осталось у меня по счету?

Была не была! Без подсечки, тихонько я стронул удочку с места, в ответ удар — едва удержал удилище! И пошел, по-

шел стряпать крендели сиг! Я не мог подвести его к берегу, не мог остановить, взять на подъем, чтобы хлебнул ухарь воздуха. Сиг правил мной, а не я им, но все у меня стойко, прочно, рыбина взяла червя взаглот, иначе давно бы сошла. Значит, сиг стоял на быстри и спокойно зажирал червя — удилще вопросом. Ох, какой я молодец! Какой молодец! Затопился бы, сплеховал — и с приветом! Это я на охоте: то пальну возле ног, то уж когда версты две птица отлетит, но тут шалишь! Тут я выдержал характер, и сиг ходил на удочке, танцевал, рвался на волюшку, в просторы. Я бегал, метался по берегу, спуску ему не давал. И вдруг рыбина, понявши, что в реку не уйти — не пускают, резко помчалась к берегу, рассекая воду святым пером — так в Сибири зовут спинной плавник, — это была еще одна ошибка сига, последняя в жизни — по ходу, по лету я взбежал на приплесок и выбросил на темный песок бунтующего, темноспинного красавца, сшибающего с себя серебро чешуи. Отбросив сига ногой в сторону, я запрыгал и закричал хвастливо, что есть я старый рыбак и коли сиг хотел со мной игрушки играть, не надо бросаться к берегу — мигом, подберу слабинку, и отыми ее, попробуй! И вообще я хороший парень, а сиг — хороший людя! Взял вот, попался и надолго, если не на всю оставшуюся жизнь, подарил мне такую радость.

Никого нигде не было, что хочешь, то и делай, впадай хоть в какое детство — и я поцеловал сига в непокорную, стремительно заточенную морду, вывалянную в песке, снес рыбину и швырнул за грядку камней, в поток, где он сразу заходил, заплескался, взбивая муть и раскатывая гальку, пробовал куда-нибудь умчаться, да только выбросился на камни и долго скачивался обратно в щекочущую воду...

В эту ночь брало еще несколько крупных сегов, но удачи мне больше не было — все они оказались хитрее и сильнее меня.

Я ждал дня, чтобы перевести дух от комаров и хоть маленько поспать. Но день пришел такой парной, что палатка сделалась душгубкой. В насквозь мокрой одежде, задохнувшийся, почти в полуобмороке я отправился в лес, надеясь найти червяков и отдышаться в холодке, но как только вошел в тряпично завешенный мхами, обляпанный по стволам плесенью и лишаем, мелкоствольный, тыкучий лешишко, почувствовал такую недвижную духотищу, что сразу понял: ничего живого, кроме мокрецов, плотно залепивших мне рот и уши, здесь нет, все живое изгнано, выбито отсюда на обдув высоких хребтов. Жил, резвился и вольно дышал в обмершем лесу лишь поток — дитя вечных снегов. Не было ему ни метра пространства, где бы выпрямиться, потянуться, успокоиться. Рычащей, загнанной зверушкой метался он меж ослизлых камней, заваливался, весь почти терялся под вымытыми корнями, застревал в завадах и сурлил тут, пенился взъерошенно, катался кругами, но продирался-таки, протачивался в невесть какие щели и скакал с

гряды на гряде, с камня на камень, вытягиваясь змейкой в расщелинах, в клочья рвал себя на осыпях и вывалился, наконец, из тайги, из-под гряды прибрежного завала, навороченного ледоходом, совсем было его удушившего к Тунгуске.

Пьяный, с разорванной на груди белопенной рубахой — и свободы-то сотня сажен, но он и этакой волюшке рад, заурчав радостно, будто дитенок, узревший мать, он внаклон катился в Нижней Тунгуске, припадал к ее груди и тут же умиротворенно смолкал. Зимой дикий поток погрузится в оцепенелый, ледяной сон, заметет его снегом, и никто не узнает, что среди заметенного леса, под глубокими суvoями распластанно, окаменело спит он мертвецки, спит до той счастливой поры, пока не оживит его солнце и снова он кипуче, светло, бурно отпразднует лето.

Понявши, что червей мне не раздобыть, я сломил пучку, зубами содрал с нее жесткую кожу и жевал сочный побег, прыгая с камня на камень, как вдруг, при выходе из завала, среди наносного хлама, пробитого там и сям пыреем, метлицей, трясункой и всякой разной долговязой травкой, увидел лилию, яркую-яркую, но как-то скромно и незаметно цветущую среди травы, кустов и прибрежного разнотравья.

— Саранка! Саранка! — себя не помня, заблажил я и чуть не свалился с камня в ледяной поток.

Саранками в наших местах зовут всякую лилию. Самая среди них распространенная — высокая, с кукушечно пестрым пером сиреневого или сизого цвета, лепестками ее маслянистыми, скатанными в стружку, мы в детстве наедались до тошноты. Есть высокогорные, будто чистой, детской кровью налитые и в то же время ровно бы искусственные саранки, но это то самое искусство, которое редко случается у человека, — он непременно переложит красок, полезет с потаенным смыслом в природу и нарушит ее естество своей фальшью.

Я стал на колени, дотронулся рукою до саранки, и она дрогнула под ладонью, приникла к теплу, исходившему от человеческой руки. Красногубый цветок, в глуби граммофончика приглушенный бархатисто-белым донцем, засыпанный пылью из морози, неожиданно теплой на взгляд, напоминал сказочно цветущий кактус из заморских стран.

— Да как же тебя занесло-то сюда, голубушка ты моя ясная? — защипало разъеденные комарами веки — неужто такой я сентиментальный сделался? Да нет, не спал вот двое суток, гнус душит, устал...

И здесь, на первобытно-пустынном берегу реки, надо было перед кем-то оправдаться за нахлынувшую на меня нежность. Я бережно отнял лилию от луковки, чтоб на будущий год из земли снова взялся цветок, и она насорила мне на руки белой крупки, один стебелек цветка чуть подвял, сморенно обвалился. Так же бережно я опустил саранку в пузырящийся поток, неподалеку от того места, где рыбачил, и, вынесенная из приурманной темени на свет, опущенная в снежную воду, лилий

открылась, что тихая душа, освещенная яркой любовью, во всю ширь, со всем доверием, и дикий поток, показалось мне, заметно присмирел и ровно бы поглубел даже, шевеля бледные ниточки тычинок, на которых едва приметными мушками лепились три коричневых семечка.

Я перелистал потом справочники-травники и разные пособия, но нигде не отыскал подобной саранки. Встретилось в одном атласе под названием «даурская лилия» что-то похожее на нее, и я уж решил, что больше никогда такого цветка не увижу, но однажды на юге, в ухоженной клумбе засияла мне приветливо туруханская лилия — «Валлота прекрасная» было написано на табличке.

Бог знает, какими долгими путями добиралась в туруханские дебри южная валлота, утрачивая в пути горластую роскошь, назойливую яркость. Но, может, все наоборот? Может, нежный северный цветок спускался на юг по рекам и морям, подхваченное бурями, летело его семя, обретая в долгом пути имя, накаляясь от жаркого красного солнца? Перекалило цветок напористым южным солнцем. Южная ночь слишком грузно навалилась на него чернотой, и потому лилия стала жесткой на вид, ломка лепестками и напоминала скорее вареного рака, а не цветок. Лишь в середине лилии, в углублении граммофончика затаенно белела первозданная сердцевина, застенчиво освещающая донышко цветка; наружу без опаски, с вызовом высывались семена, не два, не три — целый пучок семян, переполненных грузом плоти, изнемогшей в раскаленном цветочном нутре, спешащих скорее оплодотвориться и пасть на землю.

Туруханскую лилию не садили руками, не холили. Наливалась она студеным соком вечных снегов, нежили и стерегли ее уединение туманы, бледная ночь и незакатное солнце. Она не знала темной ночи и закрывалась, храня семя, лишь в мозглоую погоду, в предутренний час, когда леденящая стынь катила с белых гор и близкий, угрюмый лес дышал знобющим смрадом.

Как было, что было — не угадать. Но я нашел цветок на далеком пустынном берегу Нижней Тунгуски. Он цветет и никогда уже не перестанет цвести в моей памяти.

Настала еще одна ночь, мутная, до звона в ушах тихая и еще более душная. Тело мое замзгнуло, стало быть, прокисло, задохнулось от пота. Из-за мыса вымчалась деревянная лодка, задрал нос, полетела на меня, ударилась в берег.

— Дру-уг! — закричали с нее два окровавленных мужика. — Бери, чё же хочешь! Дай намазаться! Съели! Сгрызли! О-о-ой!.. Это чё же тако?.. — Я подал им флакончик. Они со стоном намазались и воскрешенно выдохнули: «Во-о-оспо-ди-и-и!». Рыбаки эти гнались за харнусом вверх по Тунгуске. Рыбу не догнали, себя гнусу стравили. Покурили, матерно ругая ко-

маров: — Э-э! Закружался, затренькал! Чё, взял? Взя-ал, пас-куда! Не ндравлюсь я те намазанный-то, не ндравлюсь?! — и от благодарности предложили мне сматывать удочки, и двигать в Туруханск, пить вино.

Я отказался и, жалеючи: «Доедят ведь!» — мужики отдали мне червей, завели мотор и умчались.

На свежих червей я взял еще одного сига, несколько рыб помельче, но густела марь, густел воздух, густел комар. Я сидел, засунув руки в рукава штормовки, всему уже покорившийся, ко всему безразличный, раскаиваясь в том, что не согласился уплыть с рыбаками.

Когда мы ехали в Туруханск, Аким не переставал хвастаться, что дружки его по геологической экспедиции, неутомимые разведчики недр, если потребуется, так и на луну доставят. Но на Севере все течет, все изменяется в народе куда быстрее, чем во всякой иной земле. Подверженные зову кочевых дорог, соратники Акима давно покинули Туруханск, и, до пыху набегавшись по городу, он в каком-то бараке сыскал не проспавшегося мужика, который за червонец доставил нас сюда, единожды лишь за дорогу разжав рот: «Дождитесь пересменки». Пересменка — воскресенье, ждать еще два дня — попробуй доживи до назначенного срока!

Из скалистого устья Нижней Тунгуски послышался мощный рокот, гулкое, отрывистое, слишком какое-то уверенное бие моторного сердца. Встречь воде, задирая ее высоко и разделяя белыми крылами, шла серебристо блистающая обводами моторка. По-акульи хищно вытянутое тело моторки без напряжения скользило по воде. В носу судна заподлицо заделан кубрик с двумя круглыми фрамугами, застекленными авиационным стеклом.

Клюнув носом и отбросив ком воды, моторка точно бы нарочно подвернула ко мне. У руля сидел крепкий, непромокаемо и плотно, под космонавта одетый парень с изветренным лицом и адмиральски надменным взглядом. В ногах его пятизарядный вороненый карабин. Парень не здоровался, ни слова не говорил, ощупывал меня настороженными глазами, обыскивал, выворачивал карманы взглядом, пытаясь уяснить, какое там лежит удостоверение и кто затаился в палатке? Мотор поуркивал отлаженно, мощно, удерживая лодку на месте. Из кубрика выскочили два заспанных и тоже здоровенных парня, одетых в редкостные летные костюмы. Кормовой повел на меня взглядом. Подобранные, напружиненные парни тоже обшарили меня неприязненными взглядами, один из них раздосадованно бросил: «А-а!» — и стал мочиться через борт, стараясь угодить в поплавок моей удочки.

Три вот этих разбойника еще недавно были нормальными рабочими парнями, но утомило их производство. Они сконструировали на авиационном заводе и воровски, по частям вывезли люкс-лодку. Полмесяца назад увезли с одного из при-токов Нижней Тунгуски шестьсот килограммов тайменье-го

балыка и вот идут за хариусом. Прикрытые брезентом, стоят в лодке бочки. Закончив хариюзную страду, они примутся за сига. Тем временем взматерееет птица, вызреет орех. Бензопилой они сведут сотни гектаров кедрачей. За один только сезон три добрых молодца вырывают из тайги дани на многие тысячи рублей, живут размашисто, разбойничают открыто. Пробовал их преследовать и застучать рыбинспектор Черемисин — был из леса подстрелен, и ладно, лодку течение вынесло к Туруханску.

Пришлось Черемисину после больницы переводиться на более «спокойный» чушанский участок. В Туруханске силы нет против этой вот маленькой, но нахрапистой банды, которую по закону, видите ли, следует брать на месте преступления, но бандюги так вооружены, подлы и ловки, что взять их сможет разве что воинское подразделение. Войско же занято совсем другими делами, и безнаказанно, разнузданно пиратничает банда по обезлюдевшему Северу, да кабы одна!

— Ну, чего выпялился? — сорвался я. — Не видел, как удочкой рыбу ловят? Взрывчаткой гробить ее привык?

Кормовой дернулся, сжал рукой шею карабина так, что накладка на тыльной ее стороне сделалась синее, но тут же поймал взглядом палатку, харкнул за борт, процедил сквозь зубы: «Попадись нам еще, шибздик!» — и врубил скорость. Взрыхлилась муть, заголило лоскутом устье потока, скрутило удочки, толкнуло волной песок, шевельнуло рыхлый приплесок, и серебристая моторка уверенно удалилась за мыс.

Ну почему, отчего вот этих отпетых головорезов надо брать непременно с поличным, на месте преступления? Да им вся земля место преступления!

В глухой час, в минуты самой необъятной тишины взялись переплывать Тунгуску лось с лосихой и отвлекли меня от мрачных дум. Отпустилась парочка напротив мыса с явным расчетом выйти на берег вдали от человека, но течением зажало зверей, потащило по реке. Шумно хукая ртом, сопя ноздрями, отфыркивая воду, вытаращив то вспыхивающие, то меркнувшие от небесного света глаза, они плыли на меня, погрунув в воду до подбородков. Выходило так, что зверюги ткнутся в удочки. Я стал соображать, как и чем отпугивать парочку, собрался уже бежать к палатке, но сохатые все же осилились, коснулись дна саженьях в пяти от меня, какое-то время стояли, загнанно дыша, уронив тяжелые обрубиши голов, с которых потоками рушилась вода. Сохатые, должно быть, поняли: если стрелять, так я бы уже давно стрелил, и не обращали на меня внимания — сидит и сидит дяденька на уступе приплеска, руки в рукава, не двигается, комары его, видать, приканчивают.

— Чё хулиганите-то?

От моего голоса звери дрогнули, взбили воду, долговязо выбросились на берег и нырко понеслись в кусты, щелкая копытами о камни. За нагромождением завала они загромыха-



ли, страхивая с себя мокро. Я улыбнулся себе — появление добродушных и неуклюжих зверей сняло тяжесть и унижение с души, которые с возрастом больше давят и сильнее ранят.

Неслышно подошел Аким. «Зывой ли ты иссо?» — спросил. Я сообщил ему, что приставали «туристы», которым человека щелкнуть все равно, что высморкаться. Потом лось с лосихой чуть было меня не слопали. Аким буркнул, мол, тырился небось опять? Тут, мол, тайга, милиция далеко... и, увидев саранку, дотронулся пальцами до алых лепестков, окропленных светлыми брызгами:

— Сто за светок, пана? Какой красивай! — и опять, в который уж раз, начал мне повествовать про тот цветок, который однажды весной, в далеком детстве, нашел он в тундре возле Боганиды, и я подумал: «Аким начинает ощущать годы, чувствовать груз памяти».

Наутре спускался по Тунгуске железный тихоходный катер. Мы замахали, заорали, забегали по берегу. На катере оказались симпатичные ребята: капитан Володя, матрос дядя Миша и тихий паренек, едущий из поселка Ногинска поступать в туруханское ПТУ. Нам дадено было пятнадцать минут на сборы. Мы уложились в десять. Но и за эти короткие минуты шенок, которого везли на катере, опрокинулся на спину, закатался, завизжал — свалили комары.

На катере, тоже забитом комарами, сварена уха из стерляди, у нас бутылка. Мы ее выпили за знакомство, принялись артельно хлебать уху из кастрюли, и я тут же поперхнулся — стерлядь оказалась нечищенной. Давиться плащом стерляди страшнее, чем костью, плащ — что тебе стеклорез, распорот кишки. «Ты чё же, друг», — сбавляя темпы в еде, собрался я укорить дядю Мишу. Но тут же догадался — комар помешал! Месяц-полтора всей жизнью на Севере будет править гнус: мокрец, комар, слепень, мошка.

Без сна дюжить не было мочи. Намазавшись «Дэтой», я упал в кубрике на топчан, замотал лицо простыней и проснулся вроде бы через несколько минут от тишины — мы стояли в Туруханске. И вот оказия, вот ведь наказание за непочтение родителей: только сошли с катера, взобрались на яр, рухнул обвальный дождь, который собирался все последние дни, потому и было так глухо в тайге, оттого и свирепствовал непродыхаемый гнус.

Дождь хлестал, пузырился, крошил гладь Енисея, обмывал запыленные дома старенького скромного городка, осветляя траву, листья на деревьях, прибывал пыль, обновлял воздух. Бродячие собаки, которых здесь не счесть, лезли под лодки, где-то визжали и резвились дети, все канавки, выбоины, ямы и бочажины взбухали, наполняясь водою, превращались в ручьи, оплывал грязью высокий яр, из города потащило хлам, мусор, щепу, опилки, обрывки старых объявлений и реклам.

Спеша укрыться в речном вокзале, бежал туда, светясь белью зубов и придерживая нарядную фуражку, щеголеватый милиционер. За ним, не решаясь оставлять власть на запятках, трусили бабенки с узлами, по ступеням вверх кидал себя в кожаной корзине пристанской инвалид. Слизуя с губ мокро, он чего-то кричал веселое, замешкался на лестнице, выдохшись, и одна женщина, бросив пестренький узел, схватила за руку инвалида, потянула за собой, перебрасывая со ступеньки на ступеньку влажно шлепающую корзину, что-то озорное, бодрящее крича ему, а инвалид все так же по-детски, игровито слизывал мокро с губ и норовил хапнуть бабу за мягкое место. Обе руки у него были заняты: одной он толкался, за другую его перекидывала женщина, но он все же уловил момент, щипнул бабу, за что целил, она взягнула, завизжала, милиционер и народишко, набившийся под крышу, хохотали, поощряя инвалида в его вольностях. Передав кому-то фуражку, милиционер, оказавшийся с модной, длинноволосой прической, выскочил под дождь, схватил мокнувший узел и помог женщине перекинуть до нитки уже мокрого инвалида через порог вокзала.

Дышалось легко, смотрелось бодро. Всех в такой вот дождь, даже самых тяжелых людей, охватывает чувство бесшабашности, дружелюбия, с души и тела, будто пыль и мусор с земли, смываются наслоения усталости, раздражения, житейской шелухи.

Мне вспомнился таежный поток: как он вздулся, наверное, как дурит сейчас, ворочая камни, обрушивая рыхлый приплекс, и как, поныривая, крича ярким ртом, кружится, плывет несомая им лилия, а ею покинутая необъятная тайга из края в край миротворно шуршит под дождем, и распускаются заскорблые листья, травы, смягчает хвоя, прячется, не может найти себе места от хлестких струй проклятый гнус, его смывает водой, мнет, выбрасывает потоком в реку, рыбам на корм.

Дождь не лил, дождь стоял отвесно над нами, над городком, над далекой тайгой, обновляя мир. Возле деревянного магазина, обнявшись, топтались в луже, пытаюсь плясать, три пьяных человека, среди которых я узнал красавицу эвенкийку. Нарядное полосатое платье под дождем сделалось болотного цвета, облепило стройное, но уже расхлябанное тело девушки, мокрые волосы висюльками приклеились к шее и лбу, лезли в рот. Девушка их отплевывала. Мужиков, которые мешали ей плясать, она оттолкнула, и они тут же покорно повалились в лужу. Дико крича, девка забесновалась, запрыгала, разбрызгивая воду обутыми в заграничные босоножки ногами. Похожа она была на шаманку, и в криках ее было что-то шаманье, но, приблизившись, мы разобрали: «А мы — ребята! А мы — ребята сэссыдисятой сыроты!..»

Связчик мой, «пана», понуро за мной тащившийся, мгновенно оживился, заприплясывал на тротуаре, подсвистывая, раскинув руки, топыря пальцы, работая кистями, пошел встреч красотке, словно бы слышал ему лишь понятные позывные.

— Хана абукаль!

— Харки улюка-а-аль! — отозвалась красотка, сверкая зубами.

«Они поприветствовали друг друга», — догадался я и попробовал остепенить связчика, но он уже ничего не слышал, никому, кроме женщины, не внимал. Продолжая выделывать руками и ногами разные фортели, цокая языком, прищелкивая пальцами, «пана», точно на токовище, сближался с самкой, чудилось мне, и хвост у него распустился, но из лужи приподнялся беспалый бродяга и увесисто сказал: «Канай».

Продолжая прищелкивать пальцами, заведенно посвистывая, то и дело оборачиваясь, запинаясь за тротуар, с большим сожалением «пана» последовал за мной, уверяя, что, если бы он был один да без багажа, да не мокрый, да при деньгах, он не отступил бы так просто, он бы...

Я не поддерживал разговора, и, вздохнув почти со всхлипом, Аким смолк, однако чувствовал мое молчаливое неодобрение и через какое-то время принялся подмазываться:

— Ах, собаки! Собаки! — сокрушался он. — Забыли саранку! Сигов вот не забыли! А саранку, такую хоросыньку, забыли! Сто мы за народ?!

Я ничего ему в ответ не говорил, потому что верил: саранку вынесет потоком в реку, выбросит на берег Тунгуски, Енисея ли, и, поймавшись за землю, хоть одно семечко дикой туруханской лилии прорастет цветком.

## СОН О БЕЛЫХ ГОРАХ

Было, время, когда туристов и видом не видывали и слыхом не слыхивали. Разве что приедет в кои веки раз какой-нибудь, чтоб потом книгу написать. А еще того раньше, если людям попадался турист, они или тут же забивали его, или требовали за него выкуп на том веском основании, что он, наверно, вражеский шпион. И, как знать, может, только так с ними и надо было обращаться.

*Уолтер Мэккин*

Коля, закадычный друг Акима, всеми силами и мерами возтропе, а то и к дороге, так и человек, с детства таскающийся с ружьем, непременно склонится к мысли — покончить с баловством и заняться настоящей охотой, испытать отраву и сладость промыслового фарта, отметая мудрый завет: человек жив хлебом, а не промыслом.

Коля, закадычный друг Акима, всеми силами и мерами воз-

действовал на покрученника, страсти всякие ему рассказывал, на болезнь ссылался, материл его, сулил ружье утопить — все бесполезно. И тогда Коля, живо помня, что случилось с ихней артелью на Таймыре, взял с Акима слово: сельдюк узкопятый пойдет на промысел один, без связчиков — кого медведь драл, тот и пня боится.

У охотников, постоянно занимающихся промыслом в туруханской тайге, были освоенные, обжитые ими районы, и Аким, как новичку, определили угодье и никем не занятое становище, из глухих глухое, из дальних дальнее, ниже озера Дюпкун, на речке Эндэ — притоке то бруной, порожистой, то болотисто-неподвижной Курейки. До ближнего поселка Усть-Мундуйка, отмеченного на карте якорем, поскольку сюда с весенним завозом заходят пароходы и самоходки, а летом реденькие катера, от зимовья сотня с лишним верст. По левому берегу Курейки, где-то среди озер, болот и сонно темнеющих гор утерялся поселок Агата, в котором, по слухам, давно нет ни одного жителя. По правому берегу Курейки, за реками Кулюмбе и Горбначин, где-то возле озера Хантайского, зимой и летом стоит бригада рыбаков, добычу которой таскает в игарский рыбозавод самолетик. Словом, от зимовья Акима хоть влево, хоть вправо кричи — не докричишься, беги — не добежишь.

«Две Бельгии и полторы Франции в твоём распоряжении!» — смеялся пилот вертолета, еще по теплу забрасывая к охотничьему зимовью все необходимое для долгой жизни и нелегкого зверованья: пилу, топоры, пешню, капканы, одежду, постель, небольшую лодку-долбленку, соль, сухари, керосин, другой разный скраб и припас.

Хмарная, пространственная тишина лежала вокруг заплесневелой по нижним венцам, скособоченной избушки со сплюсщенной от толстых снегов трупелой шапкой крыши. Тревожно шевельнулось и съезжилось что-то в Акиме, просветило сквозняком по всему нутру: «Бою-у-у-ся-а-а-а». И не будь чахло-лесая, однообразная местность, обьятая болотным смрадом, заключена в небесно-чистые горы, от которых веяло сквозной свежестью, мягкой прелью мхов и чем-то необъяснимо манящим, Аким, пожалуй, спасовал бы, и мысль, робко в нем шевельнувшаяся: «Бежать! Выплатить аванец и отказаться от договора», — укрепилась бы в нем! Но, странное дело, вернувшись в город, на базу, он стал думать о месте, ему определенном, об этих «двух Бельгиях и полутра Франции», как о своем, давно ему знакомом, обжитом, даже и затосковал по речке Эндэ, по старенькой, сиротливой избушке. И приснились ему белые горы. Будто шел он к ним, шел и никак не мог дойти. Аким вздохнул сладко от неясной тоски, от непонятного умиления, и ему подумалось, что все его давнее томление, мечты о чем-то волнующем, необъяснимом, об иной ли жизни, о любви если не разрешатся там, среди белых гор, то как-то объяснятся; он станет спокойней, не будет кришуть по земле, обретет душевную, а может быть, и житейскую пристань.

Как, почему это должно произойти в местах, где до ближнего охотничьего становья пять суток ходу, ничего и никого, кроме тайги и гор, нету, — Аким ни себе, ни кому другому растолковать не сумел бы. Но он давно привык полагаться на себя, доверять только собственному сердцу и интуиции, которые не раз и не два шибко его подводили, и все же ничего иного не оставалось, как советоваться с собой. Пустив по воле волн душу и тело свое, доверяясь внутреннему движению, Аким готов бывал уже ко всему, никому и ничему обыкновенно не удивлялся, воспринимал хоть удачу, хоть беду как само собою разумеющееся, и, может, эта именно невозмутимость, способность во всякий момент делать то, что требуется, идти дальше с готовностью и помогали Акиму сохраниться на белом свете, дожить до тридцати лет (это он в охотничьем договоре для солидности написал. На самом же деле до двадцати семи с небольшим гаком). Хуже ему бывало, когда повороты жизни случались врасплох, когда он не был готов к отражению напастей. Вот тогда один лишь ход, одно спасенье знал — вино. Ах, уж это вино! Если б не оно, проклятое, где бы сейчас и кем был Аким! Где бы и кем он был, Аким, по правде сказать, представлял неясно, однако не сомневался: все было бы по-иному, по-хорошему, как не сомневался в том великий человек — Парамон Парамонович и все пьющие, бродяжливого характера люди. И когда ударялся в загул, часто плакал о себе Аким — о том, который мог бы быть, даже вроде бы и есть где-то совсем близко, да этот, враг-то, пропойное-то рыло, к нему не допускает...

Полный деловитости, возбужденный ожиданием всего наилучшего, Аким высадился в устье речки Эндэ, на удобной площадке, накрыл багаж, придавил брезент камнями, помахал вертолету рукой и пошел на ветхой осиновой долбленке с первым небольшим грузом к становищу — узнать, что там и как, да и путь-дорогу по осенней речке разведать. Предстояло ему на шесте проделать этот путь раз десяток, если не больше, — много необходимого имущества надо современному охотнику.

Поталкиваясь легким шестом, покуривая душистую сигаретку с мундштучком, он обдумывал свое будущее здесь житье. Зимовье Аким подремонтировал в прошлый прилет, но возни с ним еще много, подопрело зимовье, давно в нем не было промысловика, а вот туристы и бродяжки всякие наведывались: скололи углы на растопку и козырек над дверью свели, истюкали топором половицы и порог. Комары, холод ли не дали приبلудным людям разбить стекло в окне: разбить стекло, напакостить в избушке, высечь надписи топором на стене и ножиком на столе — это уж неперменный долг современных ночевальщиков, если они этого не сделают, то вроде как с хворью в душе уйдут, с неудовлетворенностью. Надо проконопатить, обшить дверь, набить за оконный надбровник моху — вытербели птицы, мыши — и само окошко оклеить, промазать, пол приподнять — сел на землю; главное же — дров на весь сезон

наширкать, запасти накрохи, птицы, рыбы, ближе познакомиться с молодой, только что приобретенной собакой Розкой, которая резво носилась по тайге, облаивала глухарей или рябчиков, проломившись сквозь зарастельник, громко лакала воду, смотрела на приближающуюся лодку, пошевеливала хвостом, загнутым в вопрос: что-де за человек мой новый хозяин, как мы с ним уживемся?

Аким трепал Розку по пушистому загривку, скреб ногтем за чуткими ушами. Розка, уткнувшись хозяину в колени сырой, чистой мордой, притихнув, глядела снизу вверх с покорной ласковостью. «Ты только не бей меня, и все будет ладно», — говорил ее взгляд.

Шибко бьют иногда собак, шибко. И самых добрых и нужных бьют — ездовых и охотничьих. Комнатных шавок бить не за что, они сахар едят, лапу дают, гавкают, и все. В тайге жизнь серьезна, тут лапой не отделаешься, работать надо и знать, когда гавкнуть, а когда и промолчать.

— Ничё, Розка, ничё! — успокаивал собаку Аким. — Ищи давай, ищи! — С детьми и собаками Аким умел ладить, они его любили — верный признак души открытой и незлой.

В речке Эндэ, выбивая мальков, хлестался ленок, завязав узел на воде, уходили с отмелей таймени, хариус прощупывал плывущие листья и осенний хлам, лениво снимая личинок, пуская осторожно кружки. Ожиревшая, непуганая рыба от лодки отваливалась неторопливо, выстраивалась возле струи, в бой воды, в водовороты не лезла. Скоро покатится хариус в низовья, следом уйдет таймень, ленок, и речка опустеет. Хорошо бы на ямах чего осталось, хоть мелочь, налим пошел бы на икромет — зимой питание себе и собаке, и накроха — всем забота.

Зимовье темнело продавленной крышей за прибрежным веретем, в сером оголившемся ольшанике. Сразу за избушкой мшел каменный бычок-плакун, выдавливая из-под себя иль из себя талец, путь которого и жизнь которого на свету была совсем коротенькой. Редко ставят охотники зимовье в таком сыром, заглушистом месте, но на сезон-два, видать, и рубили избушку, и охотник ленив был: чтоб вода, дрова, промысел — все рядом, на остальное плевать. Талец и камень переплело, опутало смородинником с последними на нынешних, маслянисто-темных побегах листьями, прихваченными морозцем; дружной рощицей стояли вдоль тальца медвежьи дудки, уронив тряпье обваренных листьев и топорщась мохнатостью зонтиков; жались к камню кустики аршинного чая-лабазника, соря в желобок тальца круглое, пылящее семя; понизу светились уже слепые нити незабудок и чахоточно цветущей, но сочной мокрицы, которая после того, как опали и завяли зонтичные, получила каплю света, взбодрилась от припоздального солнца, от первых ли инеев; липучка навязчиво ластилась ко всему. Когда еще с первым вертолетом прилетал Аким, то нащипал возле тальца берестинку морхлой, недозрелой смородины, хрустел косточками че-

ремухи, лакомился гонобобелью и называл заросли за избушкой садом.

Сразу за «садом», в шаге от избушки начиналась приполярная тайга с редкими, колотовыми кедрачами, ершистыми ельниками, седым пихтарем в падах, мелким чернолесьем по речке Эндэ и вздыбленным притокам ее. Но по-за речками простиралась ластва — местность низкая, закрученная в моховые поляны, — предвестница тундры. В ясные дни глаз доставал подтаежье — ничего хитрого: в какой-нибудь полсотне верст на север, может, и ближе — шестьдесят седьмая параллель — Полярный круг. Аким пытался «оформить» эту самую параллель, зрительно представить ее в виде границы. И хотя он в Заполярье родился, вырос, все видел и знал, при научном слове «параллель» у него в голове преображалось, жизнь и местность обретали какие-то иные формы, и выходило, что по эту сторону параллели — лес, ягоды, кустарники, боровая птица, лесной зверь, а по ту — сразу же голая тундра, испятнанная озерами, и ничего там нет, кроме мха и кустарников, уток да гусей, песцов и куропаток.

Поймавшись взглядом за угол зимовья, Аким с удовольствием отметил: осадка избушки та же, что и ранней осенью, — значит, не мартышкин труд то, что талец, наладившийся подмывать жилище, отведен Акимом в гущи «сада», что уперты в набережную стенку три слеги да подлатана корой крыша — человеческие руки, они и строят, и хранят.

И все же что-то было не так с зимовьем, потревожено оно вроде бы чем-то, мох на тропке притоптан, на камнях сбит и заголен; торчит пенек недавно срубленной ольхи; труба в черной кайме свежей сажки, стало быть, тоже не вдавне топлена; «сад» шибко смят, утопан у рябшащего устья тальца, смолодинник и вовсе обломан; на дне Эндэ блеснула крышка консервной банки; к стене избушки прислонено на скорую руку вырезанное удилище, болтается оборванная жилка с городским пластмассовым поплавком. «Туристы! — взвыл Аким. — Добрались, падлы! — Отрывисто, испуганно залаяла у зимовья Розка. — Заблудились, в рот им пароход!»

Приткнув долбленку к берегу, Аким подтянул ее, выгреб из носа лодки патрондаш, дождевик, заглянул в ружье — заряжено ли, и, внутренне взъерошенный, ожидал, как, держа пальцы в мелких карманах драных джинсов, космачом, без шапки, спустится от избушки заросший человек, беспечно поздоровается и выдаст что-нибудь кисло-шутливое насчет того, что приболудились они с дружками, задичали, стели в избушке все, кроме бревен, и стойко ждали, когда явится хозяин зимовья. — охотник, накормит, напоит и выведет или укажет им дорожку, спасая их для потомства и будущих великих дел. Любителей странствовать по диким местам развелось полно, и они не только не трудятся, чтобы поучиться ходить по ним, но даже и расспросить ленятся, что это за оказия такая, тайга-то, пригодна ль она для прогулок?

Никто от избушки не спускался. Розка лаяла все растревоженной и звончей. Аким поспешил к зимовью, на ходу отмечая взглядом приметы нашествия: ведро, полное дождевой воды; пенек ольхи и щепа покраснели; мать отстоялась в человеческом следу — судя по вдавышу, сапог сорок второго размера, неделю, если не больше, не выходили. Ага, окурок! Окурок давний и совсем раскишый, и сигарета докурена до конца, до самого фильтра — бережливый, видать, опытный турист был или весь издержался? На подпаренном мохом крылечке, вросшем в землю, двумя пестрыми куропатками сидели драпы, в пятках смятые кеды подросткового размера. «Тихий узас! — волосы на голове Акима зашевелились. — Мужик с парнишкой! Умерли!..»

Аким толкнул дверь — она не подалась. Он опустил с плеча ружье, прислонил его к стене, схватил деревянную ручку обеими руками, пнул дверь ногой, навалился плечом. Сыро хлопнув, она нехотя отворилась. Акима втащило на двери в жилье и там чуть не сшибло едучим, застоявшимся запахом гнили и мочи.

Промаргиваясь на мутное, в серых разводах окошко с пятнышками прилипших к стеклу комаров и лесной тли — окно не протирали, некогда было или не догадались, Аким обхватывал глазами избушку: с подоконника, тесанного нехитрым топором безвестного охотника, свисала грязная цветастая кепочка, вытянув целлофановый козырек утиным клювом, — при бедном таежном убранстве избушки совсем неуместная и жалкая вещь; на столе тубик противокомариной мази, грязный, почти выдавленный; здесь же темные очки в перламутровой оправе; золотые часики, светящиеся цветком-стародубкой; россыпью нешелушенные кедровые шишки; котелок почему-то на полу, в нем деревянная ложка с рыжим черенком; топорищлась рваной жестью неумело открытая, уроненная набок банка, из нее вытекла, плотным слоем пыли облипла лужица; голубая сумка с голубем на боку; изодранный городской плащик-блонья; громадный рюкзак с раздернутой пастью; топор — чем-то очень знакомый топор, рядом чехол от топора валяется; возле печи щепа, ореховый мусор, печь давно холодная, в избушке настоялся мозглый смрад.

Кучей лежащее на нарах тряпье, сверху придавленное изъеденной мышами оленьей шкурой, зашевелилось, и из-под него заглушено донеслось:

— Го... Го... Го-го...

Аким бросился к топчану, подняв шкуру, разрыв тряпье, откинул скомканную палатку и в грязнящем спальном мешке обнаружил беспмятного, горячего подростка. Вместо лица у него был костяк, туго обтянутый как бы приклеенной к нему восковой кожей, оскалились зубы, заострился нос, выпятилась кость лба — печать тления тронула человека. Преодолевая отвращение, Аким сдернул с него изопрелые джинсы, вместе с ними паутиной стянулось что-то похожее на женские колготки,



и скоро обнаружился фасонно шитый, вяло болтающийся на опавшей груди атласный бюстгальтер.

«Ба-а-ба-а-а!» — отшатнулся Аким.

Опомнился он лишь через несколько дней, когда вышел из избушки на берег Эндэ и увидел в устье тальца на промытом песке и стеклянно мерцающей гальке что-то пышноперое, головастое, по-пороссячи сыто, вроде бы и высокомерно поглядывающее круглыми зоркими глазками. Упятившись в заросли забоки, Аким махом слетал в избушку, схватил ружье и дуплетом опрокинул нежившегося на щекочущей струйке нарядного тайменя. Грохом выстрела так рвануло по речке и по тайге, что вроде дверь распахнулась в мир, и Аким начал слышать все вокруг и ощущать себя.

Три дня и три бессонные ночи провел он в полной отключенности от мира, одолевая смерть, спасая человека — женщину или девчонку — не поймешь, истощала от голода, иссохла от телесного жара и болезни, сделалась что утка-хлопунец, вся жидкая, кожа на ней оширшевелая. Одним горлом, безъязыко она выбулькивала: «Го-го, го-го, го-го...» Аким прилеплялся ухом к спине больной, и она, чуя его, переставала турусить, замирала в себе. Хрипело, хрюкало, постанывало под обеими лопатками, под обвисшей, дряблой кожей. По всему измученному, вытрясенному до костей телу шла испепеляющая работа, не одну, не две, а сразу несколько скрипучих сухостоин качала болезнь в глубине человеческого нутра, туда-сюда катала немазаную телегу. «Воспаление», — словно бы услышав смертный приговор кому-то из близких и бессильный облегчить участь приговоренного, Аким мучился тем, что сам вот остается жить, дышать, до человека же рукой подать, но он как бы недоступен и все удаляется, удаляется...

Не дал Аким ходу таким мыслям, переборол свою расслабленность и растерянность, перетряхнул аптечку, назвал себя вслух молодцом за то, что среди самых ценных грузов захватил ее с первым ходком в долбленке. Невелика аптечка, да и ту друг Колька навязал, а ценность ее в том, что главные в ней лекарства — против простуды. Обихаживая избушку, Аким нагрел воды и вымыл девушку, девочку ли на забросанном лапником полу. Облеплял ее горчичниками, натирал спиртом, делал горячие компрессы, отпаивал ягодным сиропом, суетился, бегал весь потный, задохшийся от жары, но отчетливо помнил: надо экономно расходовать лекарства, больницы и аптеки здесь нету. Лечить больную следует осторожно, жизнь в ней едва теплится, и себя надо беречь, очень беречь. Первый день в одной рубашке, сопрелый шастал на улицу, засопливел, давай скорее лечиться: пришлепал себе горчичники на спину, откуда рука доставала, таблетку проглотил — как рукой сняло, а то шибко испугался — запропадет он — все, и все здесь, в изгоне, пропадут вместе с ним. Он и Розку не забывал кормить, и сам

ел, пусть на ходу, в пробег, но хоть раз в день да горячую пищу. Никогда в жизни Аким еще не берег так сам себя, не заботился о своей персоне, да, признаться, никогда в жизни он так крайне никому и нужен не был, разве что братьям, сестрам да матери. Но где, когда это было? Прошное затмилось бродячей жизнью. Больше всего Аким боялся разжариться в тепле, расслабнуть, уснуть. В голове у него поднялся кровавый шум, в колёнях сделалось мягко, поташнивало, как он думал, от табаку; он старался меньше курить, не садиться надолго, а толчись на ногах, занимать себя разнодельем.

Выпотрошив тайменя, Аким присолил его по разрезанному хребту и повесил за хвост на дерево, пусть обвянет, обдуется жирная рыбина. Из кусочка головы и подгрудных плавников тайменя он варил уху, начистив в нее без экономии аж четыре картофелины! Ничего не жалко! Надо человека поднимать.

А зверовство? Промысел? Под договорчик-то аванс взят, пятают рубликов!.. А-а, как-нибудь выручитса, выкрутитса, не впервой в жизни горы ломать, да из-под горы выламываться, главное — человека спасти! Там видно будет, что и как.

Но вначале-то, когда сутки катились колесом, так, что спиц не видать, он не успевал ни о чем думать: ни про охоту, ни про план, ни про то, где и как он отработает аванс... Замечать время, считать дни и горевать «о плане» охотник начал уже после того, как легла в тайге полная, глухая осень. Где-то там, в России, в Москве, падали нарядные листья, дети из детсадов и влюбленные девочки собирали их в букеты, а здесь, в Приполярье, лишь в заветрии там-сям трепало шубный лист на березах, пусть мелкий, примороженный, но все же освещенный прощальной желтизной, охваченный грустью увядания. А по заостровкам, возле мокрых лайд, в щелках кипунов лист так и остался недоспелым. Жевано болтался он, не успев окрепнуть, отцвести, увянуть, в холодные утреники жестяно звенел под ветром и взрывался шрапнелью, если из зарослей взлетала птица. Много еще было неосыпавшейся черемухи на островах и в заветриях на берегу, от морозцев ягода сделалась мягче, слаще. На черемуху и редкую здесь рябину слетались глухари, рябчики. Неопавший мелкий лист, недоспелая ягода, рябчики, долго не надевающие «штаны», стало быть, не обрастающие пухом на лапах, устало парящие болота — все это признаки затяжной, расхлябистой осени.

В избушке, на прибранных нарах, застеленных ситцевым пологом, в мужском теплом белье, вытянувшись, лежала девушка — теперь Аким знал точно — девушка, у нее были отбелены волосы, но давно отбелены, и она сделалась пестрая. Больше чем на четверть отросли у нее волосы орехового цвета, свои. Аким вымыл, вычесал из них весь гнус, а в тех, неродных волосах, что ковыль-травой струились ниже, гнус не держался. Глаза девушки, сваренные жаром, были еще кислоно размазаны, затемнены со дна, но уже гасла краснота на белках, по ободкам зрачков, точнее, из-за них начинала натекает хоть

и жиденькая, но уже теплом согретая голубизна. Заостренные скулы девушки, спекшиеся губы, тени в подглазьях, резко очерченные брови и ресницы, все-все, как бы отдельно обозначенное и обложенное болезнью, виделось отчетливо на бледном, истончившемся лице. Высокая, круто изогнутая шея в мелких слабеньких жилках вызвала такую жалость, что и выразить невозможно. Придерживая голову девушки, Аким поил ее из кружки теплой, наваристой ухой, приговаривая:

— Пей! Пей! Кушай. Тебе надо много кушать. Ты меня понимаешь?

Девушка прижала ресницы и какое-то время не могла их открыть — не хватало сил.

— Го-го! — прогортало ее горло. Больная пробовала поднять руку, пытаясь показать что-то. По бреду больной, по вещам, по следам и порубкам Аким уяснил: в избушке было двое, девушка и мужчина. Скорей всего мужчину-то и звали Гогой или Григорием, или еще как-то, на букву «г», о нем-то и хотела девушка попытаться или сообщить, куда тот делся, и поискать просила своего связчика, мужа ли.

Аким делал вид, будто не понимает просьбы больной, потому что одну ее оставлять пока нельзя. Гога же или Григорий скорее всего утерлся в тайге, и найти его — дело длинное, головомое, почти невозможное, однако искать все равно придется. Приговоренно вздохнув, охотник вытирал девушке губы полотенцем и про себя удручался: «Е-ка-лэ-мэ-нэ! Вот попал так попал — ни кина, ни охоты!» — такую жалобу ему один товарищ-скиталец написал когда-то с целинных земель. Аким так смешно было, что сделалась та жалоба-воплъ его поговоркой.

И вот черная струйка градусника первый раз уперлась в красную перекладину и замедлилась. Аким стряхнул градусник, снова сунул его девушке под руку. Температура стояла на тридцати семи. Аким щелкнул пальцами, даже стукнул себя по колену, утер лицо рукой и, шумно выдохнув: «Пор-рядок!» — напоил больную отваром из трав и чаем с брусникой. Сразу стало невыносимо держать себя на ногах, голову дбило — так убайкался за эти дни. Бросив телогрейку на кедровый лапник, он собрался соснуть часок, но пробудился засветло. Вскрикнув: «Е-ка-лэ-мэ-нэ!» — бросился к больной, думая, что она умерла...

Нет, девушка не умерла и даже в сухом лежала. Но сил на то, чтобы остаться сухой, потратила так много, что опять впала в забытье, и у нее подскочила температура. «Фершал, н-на мать!» — изругал себя Аким и стал на ночь пускать в зимовье Розку. Собака поначалу от приглашения деликатно уклонялась, чувствовала себя в избушке стесненно, когда ни посмотришь — шевельнет хвостом и к порогу. Но словно бы что-то уразумев, смирившись с участью, с придавленным, бабьим стоном вздохнула и легла у дверей. Ночью Розка часто вскидывала голову, смотрела на нары, принималась, и, успоко-

ившись, шарилась зубами в своей шерсти, выщелкивала кого-то, зализывала взъерошенное место, приглаживая себя. Чуткому ужу охотника и такого шума доставало, чтоб не проваливаться на бесчувственное дно забытья, а спать впросон.

Через неделю после того, как опала температура у больной, тайгу оглушил первый звонкий утренник, и в это же утро, тяжело переворачивая язык, девушка назвала свое имя — Эля. Услышав себя, она растерялась, заплакала. Аким гладил ее по голове, по чистому волосу, успокаивал, как умел. С того дня Эля принялась торопливо есть, не стыдилась жадности — накапливала силу. Чуть окрепнув, уже настойчиво заговорила:

— Надо Го-гу... Надо... Там... — приподняв руку, показала больная в сторону Эндэ.

Аким еще в первый день своего пребывания в зимовье обнаружил зацепленную в щели бревна своедельную блесну с обломанным якорьком; на подоконнике белели обрывки лесок, ржавело заводное колечко. «Рыбак! Ушел рыбачить. Утонул, наверно. Где, как я его найду! А что, если?..» — Аким запрещал себе думать о том, что напарник девушки, муж ли, ушел, бросил ее — столь черна была эта мысль. Утонул, заблудился, ушел ли неведомый тот Гога, а искать его изволь — таков закон тайги, искать в надежде, что человек не пропал, ждет выручку, нуждается в помощи. Однако прежде следовало перевезти от устья Эндэ груз. После стеклянистого утренника, после светлой этой, короткой, предзимней тишины может разом пасть сырая непогода, снежная заметь и укрепитесь зима.

Натопив печку, поставив в изголовье девушки поллитровый термосок со сладким чаем, Аким плыл вниз по Эндэ, слегка подправляя лодку легким кормовым веселком, зорко оглядывал берега и за первым же шивером, на обмыске, занесенном темным таежным песком, заваленном колодником, среди которого хозяйски стоял приосадистый кедр без вершины, приметил строчки собольих следов и молчаливо, не по туловищу юрко стрельнувшую в кусты парочку воронов. Аким повернул к берегу. До пояса замыйтый песком, возле воды лежал человек с выгрызенным горлом и попорченным лицом. «Когда утонул, вода стояла выше, — отметил Аким и томко, как-то даже безразлично размышлял дальше: — Дождей не было, тальцы в горах перехватило, снег там захряс, не сочитяся».

Причитала ронжа на кедре, опустившем до земли полы старой, непродуваемо мохнатой шубы. Было это главное в округе дерево, по главному-то и рубануло молнией, отчекрыжило вершину, вот и раздался кедр вширь, разлапился, в гущине рыжеют шишки, не оббитые ветром, крупные, отборные шишки. Одна вон покатила, сухо цепляясь за кору, пощелкивая о сучки. Ворон со старческим ворчанием возился в кедре, сшевелил выветренную шишку. Где-то совсем близко по-кошачьи шипел соболь — вовсе это редко, потайная, зверушка, не пуганая, значит.

Под утопленником нарыты норки. Человек был не крупный,

но грудастый, круглокоптый. Из глубины страшного, выеденного рта начищенно блесст стальной зуб. Бакенбардики, когда-то форсистые, отклеились, сползли с кожей щек к ушам, висели моховыми лохмотьями. Пустые глазницы прикрыло белесой лесной паутиной.

«О-о-ох ты, разохты! Е-ка-лэ-мэ-нэ!» — выдохнул Аким и, ко всему уже готовый, но растревоженный железным зубом, бакенбардами и коротко, походно стриженными волосами, принялся разгребать покойного. Вытащив труп из песка, он первым делом глянул на кисть правой руки. На обезжиренной, выполосканной до белизны коже руки, под первым, когда-то смуглым слоем, обновленно, вылупленно голубела наковка «Гога» — аккуратная наковка, мелконькая, не то, что у Акима, уж ему-то на «Бедовом» наляпали якорей, кинжалов, русалок и всякого зверья. Человек этот, Гога, умел заботливо беречь свое нагулянное тело.

Заставляя себя надеяться, что это все-таки наваждение — больно много всего на одного человека: сперва девка, часующая на нарах, теперь вот мертвеца бог послал, да еще как будто и знакомого, пускай не друга, не товарища при жизни... Нет, почему же? Это он, Гога, не считал людей ни друзьями, ни товарищами, он сам по себе и для себя жил, Акиму же любой человек, в тайге встреченный, — свой человек.

Крепкая, удобная штормовка, шитая по выкройке самого хозяина, с внутренней, вязанной на запястьях, шерстяной резинкой. Самовязанный толстый свитер, брюки без прорехи, на резине, с плотно, «молниями» затянутыми карманами, часы со светящимся циферблатом, на широком наборном браслете, часовой стрелкой, остановившейся возле девяти, и около шести — минутной, болотные сапоги, откатанные до пахов, — рыбачил Гога.

Прежде чем отыскать последний, наивернейший знак, чтобы опознать покойного, Аким забрел в Эндэ, помыл руки с песком, вытер их о штаны и закурил, стараясь табаком подавить запах мертвечины, облаком окутавший его.

Бросая редкие взгляды на бесформенно лежащее, исполосканное водой, забитое песком тело утопленника, как бы разъезженного колесами, Аким почти не задерживался глазами на белющем платочке, которым он прикрыл то место, где было когда-то загорелое, чуть барственное и всегда недружелюбное лицо. Взгляд приковывал к себе брючный оттопыренный карман. Там, в деревянной коробочке, перетянутой красной резинкой, в узкой отгородке — крючки, грузильца, кусочек бруска для точки затупившихся уд, запасной поплавочек, а рядом по-паучьи сцепленные блесны — качающаяся, вертящаяся, колеблющаяся, ленточные, ложкой, и среди них должна быть потемнелая, как бы подкопченная на костре, блесна из старого, боевого серебра, которой Гога, если это все-таки тот, известный Акиму, Гога, дорожил не меньше глаза.

Из-за той блесны они чуть не пострелялись.

...Судьба свела их в геологической экспедиции. Гога Герцев отбатывал в поле практику. Злой на язык, твердый на руку, хваткий в работе, студент был не по возрасту спесив и самостоятелен. Работяги сперва звали его Гошей, пытались, как водится, помыкать юнцом, использовать на побегушках — не вышло. Герцев поставил на место и себя, и отряд, да и хранил дистанцию независимости. К слову сказать, держался он гоголем не только с работягами, но и перед начальством, практику проходил уверенно, имущество содержал в аккуратности — бритву, транзистор, фонарик, флакон репудина, спальный мешок и прочее никому не давал, ни у кого ничем не одалживался, жил стипендией и тем, что зарабатывал, почти не потреблял спиртного, воспоминаниями о первой любви и грешных тайнах ни с кем не делился, в общем котле был справедлив, добычу, если она случалась, не утаивал. В его молодые годы он знал и умел до удивления много: ходить по тайге, бить шурфы, плавать, стрелять, рыбачить и во всем старался обходиться своими силами. В геологическом отряде Герцева уважали, сказать точнее, терпели, но не любили. Впрочем, в любви и разных там расслабляющих человека чувствах он и не нуждался.

К сроку, день в день Герцев закончил практику, получил деньги, справку, отличную характеристику и отбыл в Томск на геофак защищать диплом.

И не диво ли?! Через пять лет, на реке Сым, у таежного лешего в углу, Коля с Акимом рубили избушку, имея целью пощипывать из потайного становища нетронутые уголья, и вот на тебе! Явление Христа народу: в непогожую ночь выбрел на костер плотно и ладно одетый парень с горой вздымающимся за спиной рюкзаком. Он прилег у огня на спину, полежа, вынул себя из стеженок лямок рюкзака, помахал руками, разминаясь, и только после этого поздоровался. Достав кружку, он молча нацедил чаю, бросил в кружку экономно, два кубика, сахару, неторопливо опорожнил посудину, подержал ее на весу, и, не разрешив себе еще одну кружку, отвалился головой на рюкзак и сказал, глядя в ночь, обыденно, однако с той интонацией, которая дается людям, еще с пеленок возвысившим себя над остальным людом:

— Ну что, приемный сын? Все бродишь по свету, все тычешься к добрым людам? Все корабль «Бедовый» ищешь?

Впавши в умиленность от выпивки, Аким рассказал когда-то пестрому, работному люду в геологическом отряде о Парамоне Парамоновиче — великом человеке, и что на «Бедовом» он, Аким, был вроде приемного сына. Практикант-геолог высмеял его святые слезы, и весь сезон дразнили Акима в отряде «приемным сыном».

— Георгий! Откуль свалился? — всплеснул руками Аким и тут же презирал себя — он ведь хотел отшить Герцева: — «А ты, приبلудный сын, — сказать, — чё в тайге шарисься? Чё ищешь? Золотишко? Соболей?» — да ведь в уме только и горазд Аким отшивать-то. Спросил лишь: — Где отряд?

— Какой отряд? — открыл устало смеженные глаза Герцев и, ворхнувшись, принялся развязывать рюкзак. — Я сам себе отряд! Ночью возле вашего огня, мужики, — не то попросился, не то разрешил себе Георгий. — Топор утопил, — пояснил он, сноровисто разбивая односпальную палатку.

Они дали Герцеву топор. Он выколотил из него старое, треснутое топориче и бросил его не в костер, а в реку: «Чтоб не оскорблять древний священный огонь», — заявил. Долго тесал, скоблил березовую заготовку, не мастерил, прямо-таки творил у огня Герцев, излаживая проще простого вещь — топориче. Осмолив свое изделие над угольями, отчего оно сделалось гладким, желтым, словно лаком покрытым, он опробовал топор, бойко помогая Коле и Акиму рубить зимовье, в шутку или всерьез — никогда не поймешь у Герцева — бросив: «Надо рассчитаться. Не люблю ходить в должниках».

Аким плюнул и отвернулся, не понимая, отчего это человек все время выдрючивается, все ему как-то неспокойно с людьми? На другой день, в честь окончания стройки, выпили, и Коля посулился взять в лодку Герцева, с издевкой сказав: «Бензин после отработашь!» — «Хорошо», — без улыбки согласился гость. «Назём надо у коровы вычистить — под потолок в стайке». — «Задание понял», — снова согласился Герцев. Аким замычал ушибленно, головой замотал, от раздражения хрюпнул лишковато спирту. Захмелев, лез к Герцеву с вопросом: «Сто ты за человек?!» — «Зубы сначала научись чистить, а потом дёзь к людям с вопросами! — отмахнулся Герцев и, разделяя слова, уничтожительно процедил: — Я свободный человек! Устраивает это тебя?» — «И я свободный!» — «Ты-ы?! Ха-ха-ха! Трижды смеюсь! Ты был и всюду будешь приемным сыном, ясенёк?» — «Ясенёк! — Аким вдруг взвился, закричал: — Колька! Пускай он уходит! Я за себя не ручаюсь!.. Застрелю! Утоплю падлу или чё-инть сделаю!..» — «Га-авнюк!» — Герцев взгромоздил на себя мешок и ушел в ночь, с белеющим топоричем, вдетым в чехол с правого боку.

Днем они догнали Герцева. Коля ткнул лодку носом в берег, кивком пригласил скитальца садиться. Скорчив брезгливую гримасу, Герцев отпихнул ногой лодку и покарабкался по оплывине в глинистый крутик, хватаясь за обвалившиеся деревья и шипицу. На горе он приостановился, снял с плеча мелкашку и на вытянутой руке, словно из пистолета, сшиб кедровку, надрывавшуюся на вершинке ели саженях от него в полста, если не больше.

— Стрело-о-ок! — восхитился Коля.

Напарник его помалкивал возле парящего под дождем мотора, пошмыгивал носом.

— Ну сё, поплывем или любоваться будем артистом? — не выдержал он.

Вскоре объявился Герцев в Чуши. Аким встретил его, постриженного, с подкрашенными бакенбардами, выпаренного в бане. Аким он вроде бы даже и не заметил, словно забыл о

нем. Поработав какое-то время на пристани грузчиком в Рыбкоопе, Герцев в зиму определился сразу на две должности — слесарем и дежурным электриком на лесопилку. Жить поселился в электромастерской, старательно ее остеклил, обил дверь, подконопатил, выскоблил, переложил по-коровьи раскоряченную плиту на русскую уютную печь и даже голичок перед крылечком за веревочку привязал. «Люблю, знаете ли, после костров и тайги понежиться в сухом тепле. К тому же хорошо думается, когда топится русская печка», — объяснил он начальнику лесопилки, который опешил, увидев, чем стала продыmlенная, грязная, воняющая мазутом мастерская, и ставил новоприезжего парня в пример иным женщинам, да и сам подтягивался в его присутствии, не матершинничал, не лютовал. И с перепугу иль от уважения выписывал Герцеву каждый месяц премию, ожидая, что тот непременно сделает что-нибудь выдающееся, а сделав, сотворив открытие или изобретение какое, не забудет и его, скромного начальника чушанской лесопилки, помянет где следует «добрым, тихим словом».

Ночами в мастерской долго не гас свет — Герцев приводил в порядок летние записи. Он часто навевдывался в пустующую, просторную библиотеку поселка, где новые, незахвачанные, незачитанные книги сторожили аж две библиотекарши, техничка и еще клубный истопник — Дамка. Средняя посещаемость библиотеки равнялась шести-семи душам в сутки. Одна библиотекаря была замужем за бухгалтером Рыбкоопа, имела корову и двоих детей. Книг давно никаких не читала и всю работу переложила на «миленькую» Людочку, которая окончила Минский библиотечный институт, с энтузиазмом приняла распределение на Крайний Север, уверенная в том, что библиотека и читатель у нее будут образцовыми. В первую же зиму она забеременела от вертолетчика, притворившегося активным читателем, и при помощи подруги-библиотекарши Гавриловны определена была в больницу города Енисейска, где ее и «опростали» от груза. Летун-ухорез тем временем перевелся в другой, еще более отдаленный отряд, откуда не подавал никаких вестей.

Квелая, вечно мерзнушая, сидела Людочка за деревянным, по-лавочному открывавшимся барьерчиком, глядела на запяленные, с осени еще высохшие в пол-литровой банке ветки рябины и осины, тихо роняла: «Да», «Нет», «Пожалуйста», — и все куталась, куталась в теплый шерстяной шарф, листала свежие тонкие журналы с картинками, вечерами от знойного безделья занималась английским языком и читала-перечитывала без конца один и тот же роман «Доктор Фаустус».

Пристрастием к этой заграничной толстой книге она пугала Гавриловну. Ей, Гавриловне, и Фауст-то зловещей личностью казался. А тут Фаустус! Страсти-то какие, заморские! Осторожно, матерински заботливо Гавриловна подъезжала к Людочке с советами: «Вы бы, Людочка, что-нибудь другое почитали, встряхнулись бы, развлеклись, потанцевали бы, попили бы пар-



ного молока. Если надо, прям в библиотеку таскать стану, бесплатно».

Однажды Гавриловна застала в библиотеке новоприезжего. Он так обволакивающе-дружелюбно беседовал с Людочкой, навалившись на барьерчик, что Гавриловна и спугивать беседующих не стала, задом пихнула тяжелую дверь и упяtilась в читальный зал.

Герцев пригласил Людочку в свою белоснежную хоромину, напоил чаем, влив в него для аромата ложку коньяку, разговаривал, разогрел девушку, однако известил, что у него в Новосибирске жена и дочка, какие-то там планы строить не следует, но он гарантирует: в Енисейск летать не понадобится.

— И вы — хам, — тихо молвила Людочка, но ночевать осталась — очень уж тепло и уютно было у Герцева, да и любопытно было его слушать, мысли он изрекал не новые и не свои, но с такой убежденностью, с таким неотразимым напором, что устоять невозможно.

Еще в детстве, насмотревшись на мышиную возню родителей «при искусстве» — это в оперном-то обозе — искусство! — глумился он, Гога задал себе задачу: всему научиться, что нужно для жизни, независимой от других людей, закалить дух и тело, чтобы затем идти куда хочется, делать что вздумается и считаться только с собою, слушать только себя.

Закончив университет и «отбыв положенное», он тут же ушел из геологов и бродит где хочет, куда хочет, делает что вздумается, ограничив свои потребности до минимума, но все, что нужно человеку не барахольных наклонностей, у него есть: палатка, мешок, нож, топор, бритва, малокалиберное ружье, из которого он за сто метров попадает в гривенник и, если надо, убьет лося, медведя, тайменя на отмели. Когда обойдет приенисейскую тайгу, устанет от нее, переберется на Ангару, по ней к Байкалу, после на Лену — все пути земные перед ним открыты...

Людочка слушала оратора, который, будто застоявшийся в стойле конь, ходил по мастерской, махая руками, говорил громко, увесисто, не говорил, прямо-таки вещал, и, сама того не замечая, Людочка заведенно, как китайская кукла, кивала головой, но иногда поднимала веки, отягощенные теменью густых ресниц, пристально, так пристально, что он смешивался под этим взглядом, вперивалась в него и снова начинала покачивать головой бесстрастно, до бешенства спокойно. Один раз она тихо уронила: «А семья? Как же семья-то? Ребенок?..»

«Женщина есть женщина! И образованная, и начитанная, а всё бабьи тяготы на уме — семья, квартирка, пеленки, главная собственность — муж!» Герцев терпеливо объяснил, что свои родительские обязанности он выполняет, зимою, когда «служит», аккуратно посылает деньги, ну а летом пусть не взыщут, летом ему работать недосуг, летом он живет тайгою и водами, добывая на хлеб и чай случайными заработками. «Семья — моя грубая ошибка!» — осуждал себя Герцев. Людочка гнула свое:

«Вас же бичом сочтут! При всем таком возвышенном — и бич!» — «Какое это имеет значение? Важно, как сам себя человек понимает». — «Может быть. Может быть... А старость? Одинокой старости вы не боитесь?..» — «У меня не будет старости». — «Как это?» — очнувшись, Людочка снова вперивалась в собеседника долгим взглядом, и за сонной тихостью взгляда чудилась ему насмешка — окаменелое, надменное лицо Герцева, в котором просвечивала осязательная приподнятость над всякой шевелящейся тварью, линияло, становилось постным — его возвышенные мысли падали в пустоту.

И вот пустынный берег Эндэ. Осенняя тайга, вороны, чутко стерегущие мертвеца, почти угасающая девушка в зимовье. «Чего же не жил ты один-то? Чего толкался локтями, ушибал людей? Быть человеком отдельно от людей захотел! Вариться в общем котле, в клокочущей каше — и не свариться?! Шибко ловок! Нет, тут как ни вертись, все равно разопреешь, истолчешься, смелешься. Хочешь жить нарозь, изобрети себе корабль, улети в небо, на другую землю, живи один, не курочь девок...»

Аким с силой раздернул прижавелую «молнию», достал коробочку из кармана покойного, помедлил и снял резинку. Блесна, черненная, с самопайным, пружинистым якорьком лежала как будто отдельно от остальных уд, колец, карабинчиков и блесен, тронутых рыжиной по ребрам и дыркам. Эту увесистую, плавно выгнутую под «шторлинг» блесну Аким взвесил на ладони, затем сжал так, что якорек впился в твердую кожу руки, — на крупную рыбу, на тайменя блесна.

Киряга-деревяга, переселившись с Боганиды в Чуш, приблизиться к должности своей уже не мог. Служил истопником при конторе и доглядывал рыбооповский магазин, за что ему платили полторы зарплаты. Но и полторы не хватало. В Чуши до полна компаньонов, записался с ними в дым Киряга-деревяга, лишь деревяшка да медаль «За отвагу» с потертой колодочкой еще старого образца и уцелели у него. Киряга-деревяга попросил Акима приделать к ней надежную застежку, потому что только медаль «За отвагу» да деревяшка еще позволяли ему выделяться среди бросовой бродяжки, похвастаться подвигами, поплакать о фронтовом снайпере и о «сыбко большом человеке», каким он был на Боганиде.

Аким в ту пору шоферил в Рыбкоопе, заглянул как-то к Киряге-деревяге в сторожку. Тот носом пуговичным швыркает, по скуластым его щекам, путаясь в редких, детских пушинках, катятся слезы: медали хватился — нет ее на телогрейке.

— Пропил?

Киряга-деревяга залился слезами пуше прежнего, убить его потребовал, «тут ээ убить, как собаку!».

— За сколько?

— Путылька...

— У-у, морда налимя! — поднес Аким кулак под нос Киряге-деревяге, — дать бы тебе, да старый... — и бросился в

лесопилную мастерскую. Он точно ведал, кто может решиться у нищего посох отнять. Даже в поселке Чуш, перенаселенном всякими оческами, обобрать инвалида войны, выменять последнюю медаль мог один только человек.

— Где Кирягина медаль? Отдай! — ворвавшись в мастерскую, запальчиво налетел на Герцева Аким.

Гога открыл стол, взял двумя пальцами за тройничок изящную, кислотой обработанную блесну, и, как фокусник, покрутил ее перед лицом Акима.

— Лучше фабричной! Не находишь?

— Ну ты и падалы! — покачал головой Аким. — Кирьку старухи зовут божьим человеком. Да он божий и есть!.. Бог тебя и накажет...

— Плевать мне на старух, на калеку этого грязного! Я сам себе бог! А тебя я накажу — за оскорбление.

— Давай, давай! — У Акима заглодело под ложечкой от какого-то вроде как долгожданного удовлетворения. — Давай, давай! — С трудом сдерживаясь, требовал он.

Гога прошелся по нему взглядом:

— Удавлю ведь!

— Там видно будет, кто кого...

— Сидеть за такую вонючку...

Фразу Герцев не закончил, по-чудному, неуклюже, совсем не спортивно летел он через скамейку, на пути смахнув со стола посуду, коробку с блеснами, загремел об пол костями и не бросился ответно на Акима — нежданно зашарил по полу рукой, стал собирать крючки, кольца, карабинчики с таким видом, как будто ничего не произошло, а если произошло, то не с ним и его не касалось.

— Доволен? — уставился наконец на взъерошенного Акима.

— Ну, чё же ты! — Только сейчас уяснил Аким, что парня этого, выхолненного, здорового, никто никогда не бил, а ему бывать приходилось всемером одного, как нынче это делают иные молодые люди, подгулявшие в компании, kloкочущие от страстей. — Жмет, што ли? Жмет?!

Герцев утер рот, и справившись с замешательством, заявил, что мордобой — дело недоносков, он не опустится до драки, а вот стреляться, по благородному древнему обычаю, — это пожалуйста. Аким знал, как стреляет Гога — с юности в тирах, в спортивных залах, на стендах, а он, сельдюк, — стрелок известно какой. — патрон дороже золота, с малолетства экономь припас, бей птицу на три метра с подбегом, так что ход Герцева верный, но слишком голый, наглый ход, не от тайги, где еще в драке да в беде открытость и честность живы. Без остервенения уже, но не без злорадства Аким поставил условие:

— Стреляться дак стреляться! Как пересекутся в тайге пути, чтоб и концов не было... Ессе сидеть за такую гниду!..

— Тебе не сидеть, тебе лежать!

— Ну-ну, там видно будет. Я не смотри, что по-банному строен, зато по-амбарному крыт! — Ах, как ко времени пришлась

поговорка боганидинского рыбацкого бригадира — так и пришёл-пригвоздил почти что к стене в рыло битого «свободного человека» довольный собою Аким.

И вот пути пересеклись, скрестились. «Сам себе бог», иссанный гольянами, изгрызенный соболюшками, валялся, поверженный смертью, которая не то что жизнь, не даёт себя обмануть, сделать из себя развлечение. Смерть у всех одна, ко всем одинакова, и освободиться от нее никому не дано. И пока она, смерть, подстерегает тебя в неизвестном месте, с неизбежной мукой, и существует в тебе страх от нее, никакой ты не герой и не бог, просто артист из погорелого театра, потешающий себя и полоротых слушательниц вроде библиотекарши Людочки и этой вот крошки, что в избушке доходит.

Перед тем как закопать Герцева и заложить его камнями, Аким ощупал затылок покойного — так оно и есть: все вроде бы умеющий, осмотрительный человек сделал оплошку — камни в пороге склизки от волосца, по ним и с хорошим нарезом на подошве сапог прыгай, да остерегайся. У Герцева сапоги избиты, резина обкатана, сношена — долго шоркался в тайге, а выйдя на лов, торопился: в зимовье больная. И когда зацепил тайменя, хотел поскорее его умять, забежал, запрыгал по камням, чтобы подволочь рыбину к отмели и добить из мелкашки. Был, наверное, первый подморозок, поскользнулся, упал, ударился затылком о камень, на минуту небось из сознания и выбило, но захлебнулся в пороге здоровенный человек, возможно, и судорогой скрутило, вода-то — лед.

Похоронив Герцева, Аким, потупившись, сказал: «Ну вот, понимае, како дело...» Он поднялся к порогу и в прозрачной воде увидел зеркально мерцающую катушку, поднял со дна складной спиннинг, по леске подтянулся к тому, что было тайменем. Скелет рыбины изгрызен зверьками, разбит клювами птиц, голова разодрана когтями, челюсти тайменя, будто конские подковы с остриями гвоздей, торчали из песка. Блесны покойничек всегда делал сам и якорьки сам паял, рыба с них редко сходила. Тут же нашлась и мелкашка, старая, заслуженная, чиненная на шейке приклада, она была прислонена к камню возле порога. Вода в момент гибели рыбака стояла у самого камня — мокромозготник со снегом валил, под камнями плесень...

Теми как раз днями Аким широко обмывал с друзьями в игарском ресторане будущее фатовое зверовство, а здесь вот люди загибались — кругом противоречия, и ликвидируй их попробуй. Всегда было и есть: одному хорошо, другому плохо и «живой собаке лучше, чем мертвому льву», — говорил на поминках Петруни тот самый «путешественник», что весь свет объехал и много чего изведаль и знал.

Приподняв руку, Аким нажал на спуск — мелкашка щелкнула, и пуля, возможно назначенная Герцевым ему, Аким, с визгом устремилась вдаль, зажужжала, раз-другой слышно задела за стволы кедров, топчущихся на выемках рыжего ка-

менистого берега, нависшего над водой, и упала где-то. «Салют!» — вымученно усмехнулся Аким и повел лодку по Эндэ, к избушке, невольно бросая взгляды на мелкашку и пожимая плечами: очень все же иной раз занятно получается в жизни.

Когда Аким переступил порог, от окна отлепилось что-то белое.

— Гога... — словно бы опухшим языком не попросила, потребовала Эля.

«Ишь ты какая быстрая! — насутился Аким. — Черт черта знает! И эта начинает права качать!..»

Не отвечая девушке, охотник растоплял печку, поставил греть уху, вынес сваренные рыбы потроха Розке, собрал на стол.

За ним неотступно следил вопрошающий взгляд, и когда свет огня, ворочающегося в печи, ударившись о стену, рикошетом попадал в угол, глаза отсвечивали фосфорически ярко, по-звериному затаенно.

«Е-ка-ла-мэ-нэ! Какой-то тихий уза! Везет мне, как утопленнику!..» — и тут же удивился глупости поговорки. От рук и одежды сильно пахло утопленником. Мыл руки сперва керосином, затем водой с духовым мылом, но такой запах прилипчивый — не отдерешь. «Вонючка!» — вспомнилось Акиму, — не молвил, а просто влил слово мыслитель Герцев.

— Ну, как ты тут, одна-то? — полюбопытствовал Аким, дожидаясь, когда смеркнется, совсем погаснет за лесом клоч неба, будто смазанный йодом ожог, обезвреженный по бокам зеленой, — закат сулит хлесткий утренник, он поторопит в путь последнюю птицу, стронет с верховьев последние косяки рыбы, боящейся промерзнуть со льдом до дна; вот-вот отрежет за берегами и шугой багаж, хранящийся в устье Эндэ, без того багажа, без припасов им пропадать на стану. Все здесь определено, рассчитано на одного, не хворого человека. — Ну дак как же одна-то тут зимогорила?

— Эля! — прошелестело из угла.

— Эля! — подхватил Аким. — Я знаю. — И, продолжая мысленно жить своими заботами, повторил: — Эля! Очень приятно! — споткнулся, вскочил, нашарил ее в углу: — Поднялась! Заговорила! Вот хорошо! — и дальше объяснялся, точно с глухонемой: — Надо мне. Груз! Груз, понимаешь, груз! Перевозить поскорее, припасаться. Мяса, рыбы заготовить.

— Гога! — прервала его девушка.

Аким осекся, поерзал на топчане.

— Пропал Гога, — мрачно произнес он, — ушел. Заблудился...

— Го-га... не может... — точно на ощупь собирая слова во фразу, не соглашалась девушка.

«Может, милочка, может! Тайга и не таких сковыривала, — заспорил Аким и удивился: — Ишь, как он ей мозги-то запудрил! Верит, а?!»

— Ногу подвернул, может, на медведя напоролся? Сорвался с утеса, в оплывину попал... тайга-а!

Эля всхлипнула, вжалась дальше в угол. Пазы в углу прелые, сыро. Аким молча вытянул ее из угла, припустил на постель, укрыл, погладил по мягкой голове. На темечке, детски запавшем, теплела тоненькая кожа — опять жалко сделалось живого, беспомощного человека, прямо до крику жалко.

— Эля, слушай меня.

— Да-а.

— Я охотник-промысловик. Это мое зимовье. Ты после расскажешь, как сюда попали. Покуль слушай, чё скажу.

Разделяя слова, будто диктуя в школе, Аким рассказал ей все о себе и о том, что им необходимо делать, чтоб не задрать лытки кверху; ей как можно скорее поправляться и быть терпеливой, все остальное он обмозгует, обломает, сделает, и они не пропадут.

— Жить-то хочешь ведь, правда?

— Жи-ы-ы-ыть!

— Вот правильно! Стало-ть, не плачь, не бойся меня. Останешься одна, тоже не бойся. Я буду все время с тобой. Только багаж...

Он настойчиво, изо всех сил старался убедить ее в чем-то. Эля напряглась, слушая, но поняла лишь, что этот единственный возле нее живой человек тоже куда-то уходит, и она вцепилась в него острыми пальцами, тряслась всем телом, всхлипывала, светила слезами в темноте.

— Ну, ну, ё-ка-лэ-мэ-нэ! Как же? Пропадём же!..

Она так и уснула, скорее утешилась сном, держа в слабой горсти его рукав. Аким осторожно разжал хрупкие пальцы, посидел еще возле больной, повздыхал и, наладив все необходимое для существования: еду, питье, лекарства, тихо вылез из избушки. Розка, увидев ружье, радостно заповизгивала, запрыгала. Аким поймал ее, прижал собачью морду.

— Тихо ты! — прислушался: в избушке ни звука.

В несколько уже коротких дней, загнав себя до полусмерти, изодрав шестом ладони в лоскутья, Аким поднял к стану багаж. Не в силах поесть, разуться, залезть в спальный мешок, он воспаленными, слезящимися глазами уставился на Элю, пытаясь что-то вспомнить, сообразить, но ничего уже не могла его тяжелая головушка, он упал на лапник, проспал почти сутки.

Разбудило Акима легкое, но настойчивое прикосновение. Охотник открыл глаза, увидел девушку, сидящую на нарах с накинутым на плечи байковым одеялом, которое всюду возил с собою по причине его укладистости. В печи мерцал огонь, в окно лился непривычно ясный, ровный свет, и от него, пусть навощенно, бумажно, но все-таки и живой жизнью светилося лицо Эли.

— Снег?

Аким подхватился, голоухим, в одной рубаше вывалился за

дверь и побежал к речке, до боли закусив губы, боясь черно обматериться. «Раздавило! Лодку раздавило!»

Лодка впаялась в мутную, оловянно прогибающуюся заберегу, одаленную серой кашей мокрети. Аким обессиленно сел на нос лодки и погладил ее шершавую осиновую щеку, будто шею коня в упругом коротком волосе. Никогда, дал он себе слово, никогда в жизни более надеяться на авось не станет, особенно в тайге — многое зависело от этой и в самом деле, а не по пословице утлой лодчонки...

Вернувшись в избушку, он бодро похвалил Элю, молодцом назвал и еще добавил, что дела их наладятся, не может быть, чтоб не наладились...

— Гога пропал? — Эля смотрела прямо. — Или бросил меня?

«Ишь ты, засумлевалась! Не совсем, значит, дура!» — отшучиваясь, дескать, Гога не такой, как Ванька за рекой, Гога не бросит, Аким поскорее нашел заделье, выскользнул на улицу, принялся тюкать топором по стене — давно кто-то из пьяных охотников, беглых арестантов или туристов оставил на бревне похабную надпись. Стесывая матерщину, Аким не переставал мучиться разными заботами и вопросами. Один вопрос пластырем прилип — не отдегешь: «Где? Как? Когда эту приглязенькую девушку охмурил Герцев?»

Сошлись они, Эля-москвичка и Георгий Герцев — вольный человек, быстро и до удивления просто. На знакомство и соединение судеб им хватило стоянки теплохода — двенадцати минут.

Теплоход подваливал железным боком к чушанскому дебаркадеру, слышались обычные причальные команды, работал дежурный матрос на носу, а на верхней палубе, кучно сгрудившись, лепились у желтого леера пассажиры. Герцев поплевывал в воду с дебаркадера, ожидал теплоход, собираясь купить в судовом буфете доброго чаю — в поселке чай дотла истребили чифирщики. Вообще-то Герцев больше от скуки колотился вместе с другими чушанцами на дебаркадере. Никак что-то нынче он не мог сняться, уйти в тайгу, удерживала его на обжитом месте какая-то нерешительность. Он все еще служил на лесопилке, хотя обрыдли ему и чушанская лесопилка, и поселок Чуш, и библиотekarша Людочка. Несмотря на все его предосторожности, она ухитрилась «попасть», плакала за стеллажами, валялась в обмороке при читателях, надеясь спектаклями пронять Герцева, воссочувствует, мол, и не бросит ее такую...

Со средней палубы теплохода, опершись на леер, без интереса смотрел вдаль, на поселок Чуш, на огороды его, на поленницы, на бани, парень, совсем еще молодой, но уже перекормленный. От скуки, должно быть, парень зацепился взглядом за дебаркадер, за Герцева, взгляд его, утомленный ленью, ничего в Гоге заслуживающего внимания не отыскал, перешел

на сигаретку, которую парень курил без удовольствия, как бы по обязанности, и, не докурив ее, бросил, нет, не бросил, не щелкнул, а, разжав пальцы, выпустил и тупо следил, как она, искря и вертясь, падала за борт.

Рядом с парнем скучала девка, одетая в двухцветный тонкий свитерок, расшитый на манер одежды Пьеро, напущенный на атласные оранжевые брючки. Те, в свой черед, напущены были на золотом крашенные туфельки, похожие на те, что подарил когда-то Золушке принц, а эта, порешил Гога Герцев, отхватила на сертификаты у современных спекулянтов. На груди, зверушечьи к чему-то приноживающейся, по свитеру с одной стороны синим по белому пропечатано: «Ну!», с другой — белым по синему: «Погоди!» Восклицательный знак величиной с милиционерскую регулировочную палку венчал изречение века.

Девка тоже скучала и курила сигарету, но скучала активно, курила залпом, жадно и, словно торопясь куда-то, перебирала-перебирала золотыми туфельками — Бобби Дилан, оравший из динамика, или еще кто-то не давал ей покоя, взвинчивал или, наоборот, развинчивал чего-то в человеке, и, вот ведь экая, Гога почувствовал, как в нем тоже начало все развинчиваться, ему тоже захотелось на теплоход, к девке, слушать голос Бобби и застенчиво гадать: к нему, Гоге Герцеву, лично или ко всему человечеству обращен вызов, намалеванный на независимой выпяченной груди. «Повсюду страсти ржковые и от судьбы спасенья нет!» — кротко вздохнул Герцев и заметил другую девушку в мелкострочной, оттопыренной на груди тельняшке, с отбеленными волосами, собранными на затылке в метлу, а на лбу отчекрыженными челкой, яркоголубую, глазастенькую, свежую, что луговая земляничинка. Меткий глаз охотника и скитальца вмиг выцелил и отстрелил от остальной массы эту пассажирку.

— Эй, курносыя! Куда едешь, чего ищешь?

Не переставая сиять глазами, девушка весело откликнулась:

— Долю!

— Может, вместе поищем? — Герцев обладал способностью слепых или до беспамьятства пьяных особ не стесняться людей, не видеть их, отделять при надобности от того, что делал или собирался делать, и потому решительно никакого внимания не обращал на ухмылки и любопытные взгляды пассажиров, а также обывателей поселка Чуш, толпящихся на дебаркадере. Пребывая среди масс, он остался толковать с девушкой как бы наедине. И — диво дивное! Девушка, почувствовав что-то неладное, внутренне напряглась, перестала улыбаться, пыталась сопротивляться наваждению, ощущала, как слабела под натиском какой-то силы, гипнотической, что ли? Недаром бывший друг по университету сказал однажды Герцеву: «Ты какой человек? Ты ж с девкой полчаса разговариваешь, а она и не замечает, что ее уже двадцать девять минут раздевают!»

«Спустись вниз!» — указал себе в ноги Герцев, изогнув кисть руки изящным, дирижерским манером.



Девушка дрогнула, отшатнулась от леера, зашарила по горлу, пытаясь запахнуться, но на ней всего лишь этот миленький цирковой тельничек с непорочно белым ободком, непорочно белой чаечкой-аппликацией на непорочно остренькой грудке с кругленькими ягодками-крыжовинками сосцов под тонкой, соблазнительно облегающей ее тканью. Чистые, беспомощно слабые ногти в почти бесцветном маникюре собирали в горсть синенькую травку тельняшечки, чтобы спрятать, укрыть поскорее так, оказывается, опасно обнаженную грудь.

«Заглотнул!» — прицокнул языком Гога и, не дожидаясь, когда выбросят трап, перепрыгнул через бортик дебаркадера на теплоход «Композитор Калинин».

Стоя в очереди у буфета, он рассеянно смотрел на литографический портрет человека, чьим именем был назван этот легкий белый корабль. Ушастенький, провинциального вида человек с короткой стрижкой, и коли б не одухотворенный, из нутра высвеченный искроу взгляд, из души вроде бы в душу направленный, не галстук-бабочка — вечный атрибут служителей муз, да не лицо, детская доверительность которого и была уже талантом, тайной его, вроде бы всем открытой, но даже самому творцу непонятной, мучающей его неспокоем, терзающей воображение, слух и сердце невидимыми миру страстями — этот ушастенький человек воспринимался бы как обыкновенный конторский служащий, обремененный беспросветной долей мелкого чиновника и большим количеством детей.

В салоне теплохода звучала музыка. Исполнялась вторая симфония Калининкова, любимая в семье Герцевых.

«Отец композитора служил становым приставом во Мценском уезде. После помощником исправника в Брянске», — слушая пространственно-печальную, ничем не загроможденную музыку, читал Герцев биографию Василия Сергеевича Калининкова, и ему чудилось, что шел он чистой степью, уже тронутый шорохами осени, и вдали недвижно стояла желтая береза, одна-единственная на всю землю. «В условиях старого, эксплуататорского строя вынужденный пробивать себе путь к высотам искусства ценой мучительных лишений и борьбы, он в конце концов надорвал свои силы». И дальше все, как у нас в России быть должно: восторги и слезы при исполнении первой симфонии, шапка по кругу для собирания средств на лечение смертельно больного чахоткой композитора, но спасти его уже поздно. «Ах, мати божья!» — вздохнул Герцев и напрягся слухом: исполняется как будто и не Калининков? Григ, пожалуй? Кажется, вступление к единственному фортепьянному концерту — Аллегро-молто-модерато или как там? Тр-р-рам-пам! Та-ра-ра-рам-пам! «Да-а, дожил, докатился! Норвега с русским пугать начал! Все путем! Как и предсказывали дорогие родители...»

Родители, дети старомодных сельских педагогов, помещенных на поэзии и музыке, встретились в музучилище, в консерватории бедовали уже как муж и жена — незаметно для себя, под менуэты и фуги сочинив ребеночка. Матери так и не уда-

лось «добить» консерваторию из-за дитяти, отец же, пока ее кончил и получил место в оркестре оперного театра, сделался неврастеником. Мальчик рос под мелодию Глюка, засыпал и просыпался с нею. Годам к десяти он припадочно закатывал глаза при звуке папиной флейты, вырубал проигрыватели, радио, ни на какие концерты, тем паче в оперный театр, не заглядывал, назло матери уродовался на пустырях с футбольным мячом. Рано стал зарабатывать собственные деньги. Родители мечтали пристроить его в гуманитарный вуз, но после десятого класса он заявил: если ему не позволят поступить на геологический факультет, он уйдет из дому или повесится.

Маленькая, истеричная мама рано умерла. Папа, слышно было, женился вновь, но так ли это, Георгий точно не знал — он ни с кем, и с родителем тоже, в переписке не состоял.

«Тр-р-рам-пам! Тара-ра-рам-пам! Что же это все-таки? Григ или Калининков?..»

Отчего-то вспомнились только что увиденные на теплоходе парень с девкой. Уронив сигарету и не зная, что бы еще сделать, парень вперился в поселок и что-то с усмешкой сказал девке. Перестав вихляться и топотить, девка тоже вперила из-под густо намазанных синей краской век — взор не взор — что-то, в общем, воспаленное, уже расплавленное всезнанием, пресыщенностью доступных наслаждений. Смотрела девка на землю, на поселок, на людей, толпящихся на берегу, у борта дебаркадера, и не то жалела всех, не то обижалась за то, что такое население, такой неинтересный ей народ показывают. Какая-то нарочитая, театральная манерность этой ультрамодерновой девушки гнула в дугу ее естество, презрение ко всему, даже забубенность ее были жалкими.

Вышел лицедей на улицу! В гримах вышел, в париках, в аляповато ярких одеждах, и ничего, кроме ленивого пресмыкания перед модой, собою не возбудил...

Театр же, сдавши бутафорскую рухлядь в общее пользование, отряхнув с себя вековой прах, зажил естественной жизнью, в нем почти не стало грима, стираются окаменелые условности, снимаются занавесы, убираются декорации, и вот уж принц Датский дует современные песни под гитару; Отелло душит Дездемону в белых перчатках; рабочие с шагающего экскаватора в слюнявой истории, повествующей о страданиях современной Магдалины, работающей кассиром в поселковом магазине, бродят в сапогах по залу и кричат на сцену: «Пижоны!»

Где зрители? Где артисты? Где жизнь? Где театр? Где правда? Где ложь? Все перемешалось, все на распутье меж игрой в жизнь и самой жизнью. И эти вот парень с девкой, да и он, Герцев, по правде-то сказать, раскорячились: одной ногой в театре, среди лицедеев, другой — на вольном мирском просторе, на всех земных ветрах.

— А вот и я!

В створчатую стеклянную дверь просунулась девушка, уже в нейлоновой курточке, старающаяся сохранить все тот же без-

отчетно радостный вид на лице, но в голубых, беспокойно расширенных глазах ее угадывались признаки смутнения.

— Цвай минут! — Герцев быстро рассовал по карманам покупки — пачки с чаем, лаковую баночку с монпансье, два плавленых сырка; небрежно держа бутылку сухого вина с виноградным листом на картинке загорелой жилистой рукой, из которой синела наколка и скромно светилось золотое колечко, подхватил девушку, вывел в коридор, интимно к ней склонился: — Так, значит, долю ищем, красавица?

— Папу я ищу! — пытаюсь высвободиться, заявила девушка.

— Па-а-а-пу-у! — не выпуская девушку и как бы окутав ее теплыми, вязкими парами, изумился Гога: — Он что, от алпментов бежит?

— Он работает! — решительно отстранившись, сказала девушка и назвала имя известного эпидемиолога. — Его экспедиция на Нижней Тунгуске.

— Она была там в прошлом году! — Герцев встревоженно глянул на часы — до отправления «Калинникова» оставалось шесть минут: — Объяснения на ходу! Где ваша каюта?

Когда теплоход «Композитор Калинин» отваливал от чушанской пристани, девушка по имени Эля, переплетя ножки, обутые в новенькие пестрые кеды, изображая беспечность на лице, стояла на дебаркадере возле клетчатого чемоданчика с «молнией» и кожаной сумки, из которой торчала ручка теннисной ракетки. Эля кому-то на теплоходе махала рукой, пожимала плечами, разводила руками и то застегивала, то расстегивала нейлоновую курточку цвета бычьей крови — налетел спортивного вида парень, опрокинул, подхватил, уволок, сказав, что только он и знает, где находится «папина» экспедиция, и что только он может доставить дочку к папе.

Теплоход меж тем неторопливо развернулся, стеснив собою Енисей, и, уцелившись узким, обкатным носом в северные распахнутые дали, застучал громче, взвихрил кудрявый дымок над трубой, круто взбурлил за кормою воду, откинул ее свитым бугром и покатился на круто выгнутый озор реки, где качались, мерцали в солнцеее две меж собою не соединяющиеся полоски земли.

Скоро теплоход завис меж ломко подрагивающими стрелками и не шел дальше, не качался, а белосахарным кубиком намокал снизу, опускался в воду, пока наконец совсем в ней не растворился.

Выезжать из Чуши Гога не торопился, заверяя, что в тайгу не сунешься — гнус. Пожили недели две в белянковой мастерской, читали книжки, говорили и наговориться не могли, шлялись белыми ногами по окрестностям, держась за руки, читали стихи, пели песни, ловили закидушками рыбу. Но вернулась из «отпуска» библиотекарша Любочка и спугнула пароч-

ку. Нервными, красивыми руками ошаривая себя, обескровленная, синенькая, будто медуничка, стояла Людочка, спиной опершись о косяк мастерской. Пряча опустошенность за презрительностью, морща усохшие губы, она озрела валяющуюся с книгой, прямо в брючках, на постели девушку, буркнула с усталой усмешкой: «Еще одна романтическая читательница прибыла!» — постояла еще с минуту и, ничего больше не сказав, удалилась, оставив гостью встревоженной и озадаченной.

На все докучливые вопросы Эли Герцев вразумительного ответа не давал, кривился: «А-а, не стоит разговора — вонючка!» Но все же, натиская Эли не выдержав, пооткровенничал: «Ходила тут, навязывалась, да всюду нос начала совать, даже в дневники. Баба!»

Через сутки Гога с Элей катили на вылизанном быстроходном теплоходе «Профессор Близняк» в светлую страну с незаходящим летним солнцем. У них была отдельная каюта, они обедали в ресторане, вечером танцевали на палубе и никуда не торопились. Теплоход свозил их в Дудинку и повернул обратно. Они высадились в Игарке — Эля читала об этом городе статейки в газетах, хотела его посмотреть, и летами бойкий, взбудораженный навигацией заполярный городишко понравился Эле. Везде в ту пору было им хорошо, вольно.

Только в августе на тихоходном местном катере они добрались до стánка Курейки, переправились на другую сторону Енисея, узнали, что из-за мелководья катера вверх по Курейке не ходят. На лодке их везти никто не соглашался — рыбаки с ночи на ночь ожидали ход чира, а бывает он в устье Курейки коротким, рыба сбивается тут в косяки, и если ее не взять скорой порой, значит, план не вытянешь. И еще рыбаки сказали, что вроде бы никакой экспедиции нынче на Курейке не было, шлялся по тайге всякий народ с рюкзаками и посейчас еще который шляется, но на экспедицию непохоже.

Застопорить бы Гоге, позвонить в Туруханск, но он пребывал на неведомом доселе душевном подъеме, все для него вдруг подернулось радужным светом, нигде и ни в чем не чудилось преград, хмель бродил в голове, тело требовало ходу, работы, риска. Он черкнул красным карандашом линию на карте, прямо от Енисея на приток Курейки. Эндэ, и, щелкнув по носу очарованную спутницу, воскликнул:

— Мы и экспедиция пойдем друг другу навстречу и низринемся с верховьев Эндэ на голову твоему многоумному папел! Ты видела в кино белые горы? Отныне ты их будешь видеть наяву и не заметишь, как войдешь в дивную сказку...

Не получилось сказки. Уже на первом переходе Гога почувствовал: быть в тайге одному — совсем не то, что вдвоем, да еще с девушкой, да еще с городской, которая хаживала в горы возле курортной Ялты и прогуливалась воскресными днями по опрятному, сплошь огороженному Подмосквью. На втором переходе, во время обеденного привала, посмотрев на подсекавшее лицо присмиревшей, даже перепуганной спутницы, Герцев по-

думал: не вернуться ли? Но он не умел отступать, уступать, поворачивать, и Эндэ на карте — вот она, рукой подать. За два перехода до Эндэ пришлось стать — Эля подбила непривычные к сапогам ноги. Мозоли заживали на молодом теле быстро, однако половина недели потерялась.

Пал иней. Тайга перекипела гнусом, успокоилась, зашуршала отгорающим листом, покраснела брусникой, сладкими, будто в варенье, сделались голубика и черника, дичи не переест, рыбы в речках не переловить.

Бабье лето покидало Приполярье, растворялось в прореженной листопадом и ветрами тайге, пятилось к Енисею под напором все ближе подступающих гор. В легком светозарном платье, осыпанном спелыми ягодами, не шагало, а желтым, выветренным листом летело это краткое приполярное лето дальше и дальше, свертывая в трубку расшивной ковер, оставляя сзади хмарь, сбитых с места птиц, безголосые леса, темные туши зародов среди седой от иньев отавы. Светлая льдинка дня обтаивала по краям, самое уже донышко его несмело подсвечивало перегорелым пеплом лета.

После отдыха, по прозористой и нарядной тайге, без накомарников и мазей шагало легко, дышалось радостно, Эля вытягивалась в походную жизнь, крепла мускулами и больше не сбивала ноги — их, оказывается, в тайге надо беречь не меньше глаза. Все тут, как выяснилось, необходимо беречь: продукты, обувь, одежду, себя.

Вышли к Эндэ, подкинули вязаные шапочки, умылись, попили, и Гога щелкнул по носу Элю:

— Все, курносая! Три-четыре дня — и ты обლობызаешь папулю, откушаешь таежных щец и ушастаешь в Москву, в свой Литинститут, сочинять стишки и песни и, может, втиснешь куда картинки, виденные здесь, опишешь скитальца нетронутых дебрей.

Приподнятое настроение не покидало парня и девушку. Плыли по обмелевшей Эндэ, переговаривались беззаботно. На первом же оголившемся шивере разбило о камни плот, на скорую руку связанный таловыми прутьями. Подмочились продукты, имущество, ну и сами пловцы набродились до ломоты в суставах, спасая пожитки. Речки, текущие по вечной мерзлоте, круглый год ледяные, а снеговая вода пронзает тело до костей, грозит тяжелой простудой, особенно людям, непривычным к холоду и кочевью. Эля простудилась, и Герцев сразу понял — тяжело. Он натирал ее спиртом, привязывал к спине каленую соль, накладывал горчицу, но спутница задыхалась, не могла идти, слабела, иставала на глазах. Горячую, со стоном дышащую, тащил Гога на волокуше девушку встреч «папиной экспедиции», да не было никаких ее признаков. Встречались лишь первобытные стоянки диких туристов, погасшие костры браконьеров, коих вертолетами забрасывают на необитаемые речки, снабжают солью, тарой, продуктами дельцы из авиаотрядов, лесоохранщики и все, у кого есть под рукой летающий транспорт.

Лето-летенское бичи, романтики и всякого рода бродяги тащат из безнадзорных вод тайменя, ленка, харнуса. Случалось, и Герцев подрабатывал таким нехитрым способом.

Начался предзимок, потянуло сырью, снегом. В палатке Эля конец в такую погоду. Снова плот, снова волокуши и — о, счастье! — наконец-то охотничья избушка. Пересидеть, подлечить больную, тем временем, глядишь, и эпидемиологическая экспедиция подтянется.

По правде сказать, в экспедицию верила уже только папина дочь...

Если бы они догадались прервать приятное плавание на теплоходе и выяснить планы полевых работ, намеченных на нынешнее лето в туруханской и эвенкийской тайге, им стало бы известно, что эпидемиологическая экспедиция оставлена еще на сезон на Нижней Тунгуске. К началу августа вела она работы в районе речки Ейки — притоке Тунгуски, и в конце сезона должна соединиться с экспедицией,двигающейся из Иркутской области. Изменения были связаны с тем, что на Восточных Саянах планировалась стройка новой железной дороги. Возникла срочная надобность в ускорении исследований эпидемиологов именно в этих районах задолго до прихода строителей.

Слышал еще прошлой осенью Герцев где-то что-то об этом, да пренебрег таежным правилом — всякую новость запоминать. Привыкший жить для себя и отвечать только за себя, он теперь делал ошибку за ошибкой. Почти наверняка уже зная, что «папиной» экспедиции нет на Эндэ, он все же прошвырнулся до устья речки, оставив больную в зимовье, надеясь наткнуться на какой-нибудь народ, хотя по опыту должен был ведать — к этой поре северная тайга пустеет, преддверие зимы выгоняет из нее всякий люд, кроме охотников-промысловиков, но охотникам начинать зверовство рановато — межсезонье.

В пустой, прелой избушке, в таежной глушине и бывалому человеку не по себе, если он один. Эля зажалась в углу, не топила печь, однажды столкнула термос с кипятком на пол, но почудилось ей — столкнул его седой старик, тихо вползший в избушку через дверную щель. Эля парализованно наблюдала, как старичок бесплотно плавает по зимовью, колышет бородой, шарит, щекочет ее, залепляет волосами рот — дышать нечем. Сплюснутая ужасом, Эля звала Гогу, а старик все щекотал, ластился, лип...

Когда обыденкой сбежавший до устья Эндэ Герцев на подламывающихся ногах ввалился в избушку, — Эли на нарах не нашел. Она без памяти лежала под нарами на изопрелом, плесенном полу, с сорванными ногтями — кого-то, видать, отталкивала от себя, от кого-то отбиваясь, пряталась. Выхватив спутницу из-под нар, он опустил ее на сбитую постель, влил глоток спирта в чуть теплый рот. Девушка открыла плывущие в жару глаза, шевельнув губами: «Господи!» — припала к нему, и Герцев понял, догадался: больная решила, что он ее бросил.

Вся теперь надежда на охотника. Мешок с сухарями, подвешенный к потолку, ящик патронов под столом, за избушкой в землю вкопана канистра с керосином, на вышке зимовья пила, топоры, гвозди, всякое охотничье снаряжение, нержавелое, ухаженное, по всем видам недавно заброшенное. У охотника или у охотников должна быть рация — они вызовут вертолет. Пока же греть, лечить, спасать больную. Но ей день ото дня становилось хуже и хуже. Лекарств нет. Что были, а были они больше на забаву, чем на лечение, кончились, вся надежда на лес, на тепло, на ягоды, на травы, хвойные припарки. Ягоды вокруг избушки Герцев выбрал, кедровые шишки оббил, сушняк свалил, птицу выбил, рыбу в устье тальца выловил, а с верховьев речек она еще не покатила. Надо было отдаляться от избушки, чтоб набрать ягод, набить ореха, добыть пропитание. Но Эля его никуда не отпускала, и он взялся ее обманывать — надо-де готовить площадку — завтра-послезавтра прибудет охотник с рацией, они вызовут вертолет и мигом улетят отсюда. Обостренным болезнью чувством она угадывала ложь, тихонько плакала, но однажды сорвалась, завизжала, принялась хлестать его по лицу, однако силы ее скоро кончились, истерика прошла, она испуганно обхватила его шею, целовала то место, куда била.

До прихода охотника, как потом стало известно из дневника Гоги, который он вел, невзирая ни на что, оставалась неделя, самое большее — полторы. Герцев все же был крепким, умелым таежником, сумел успокоиться сам, успокоить спутницу, уверив, что болезнь ее детская, не опасная — бронхит, а он преодолит и в тайге. От трав, от ягод, прогреваний больная пошла на поправку, чтоб утешить напарника, говорила, что ей даже нравится так вот, вдвоем, в лесном зимовье, о таком, мол, лишь в романах и прочтешь, а тут вот все наяву, наглядно, так сказать. В Москве расскажет — не поверят.

И природа к ним милостлива была: после гибельной, мокро-свальной непогоды подарила тихий, желтый денек, и не верилось, будто здесь, на этой вот земле, в этих лесах только что тащило непроглядную снежную муть и столь было сыро, мокро, что и воздух-то вроде загустел, в груди накапливался холодом и не таял. Сыпанув из котелка каленых орехов на стол, поставив термосок с чаем, Герцев взял спиннинг, мелкашку, потрепал Элю по шапочке, бодро бросив перед уходом:

— Ну все, курносая! Покатился таймень! Не успеешь склевать орешки, как я приволоку самого-самого отчаянного речного громилу. Мы его сварим, съедим, и ты сразу станешь румяная и толстая. Погода летная, быть скоро вертолету-самолету-драндулету! — Гога понарошке перекрестил ее, и она, помнится, поежилась: «Ну зачем он так? Нехорошо».

Она терпеливо ждала его до ночи. Ждала ночью. Ждала еще день и еще ночь. Потом ее оглушил сон. После сон перешел в какое-то тягучее забытие, она вроде бы отдалилась от себя самой, погрузилась в безвременье.

Не было голода, боли, страдания, ничего не было.

...Спать бы Эле вечным сном в вечной мерзлоте на берегу пустынной, глохлой Эндэ, если б у Акима не было верного, много бед испытавшего друга. Это он, Коля, измученный болезнью, сказал на прощанье Акиму: «Раз ты упрямый остолоп, и нет у тебя нисколько ума, и ты прешься в тайгу — запасись лекарствами, да не аспирином только...» И сам снарядил аптечку, в которой, к удивлению Акима, оказался даже шприц с маленьким кипятильником, несколько коробок с ампулами камфары, глюкозы, пузырьки с пенициллином да еще полный целлофановый мешочек с таблетками и порошками.

«Сё я, болей, сто ли, в тайгу-то? Я зверовать иду!..» — «В избушке оставишь, коли минуют беды тебя, дурака! Это ж самый легкий груз и самый в тайге ценный...» — «Ну, ланно, анальгину побольше сунь...»

У Акима частенько побаливали худые северные зубы, и он знал только одно лекарство — анальгин, ел его, будто конфеты-горошек. Сильно болел он только раз, если не считать за болезнь цингу, добытую еще в детстве. Во вторую или в третью осень, когда он служил под началом Парамона Парамоновича, они припозднились в низовьях, спешили на отстой в Игарскую затишную протоку, но мороз опережал их. Приходилось окалывать ломами «Бедового». Акимка сорвался со стремянки, булькался в шуге, не бросая лом — драгоценную в том положении «Бедового» железяку. Так с ломом и вынули его из воды. Когда он оказался в игарской больнице, сквозь толщу жара слышал отдаленно: «Камфару! Камфару! Дыхание...»

Ничего столь ужасного, вяжущего руки-ноги он не переживал, как первый укол камфары, который делал Эле.

Мысль и память Акима были четкими. Он все делал, как в больнице: расстелил на столе марлю, прокипятил на печке шприц, осторожно обрезал махонькой круглой пилкой сосок ампулы, всю жидкость, до капельюшечки, вытянул из нее и даже солидно кашлянул: «Ссяс мы сделаем укольчик. Маленько потерпите». Замешательство получилось — куда его ставить, укольчик-то? В руку бесполезно, болит не рука, в ягодицу не то чтобы стыдно, а как-то все же неловко. Решил под лопатку — все ближе к легким. Он приподнял на узенькой, впадой по хребту, мелко подрагивающей спине теплую рубаху, при свете лампешки и двух свечей, казавшемся ярким в полуслепой избушке, притронулся ладонью к млечно светящейся коже. Кожа «боялась», бралась пупырышками, под нею чего-то жулькало, больная тряслась от внутреннего озноба, и в то же время спина ее маслянисто взблескивала испариной. Истопыренная позвонками, ребрами, лопатками, спина эта ужималась, проваливалась в отемненную канавку — куда и кольнуть, неизвестно. Сам от напряжения покрывшийся испариной, Аким забросил больную одеялом, и, схватившись за голову, сидел подле стола на чурке, тупо уставившись на квадратик окна, в котором отражались и подрагивали огни свечей и лепестком цвел, чем-то напоминая цветок, найденный у Боганиды, огонь лампы.



На марле перед Акимом блестел, переливался шприц, дерзко, с вызовом растопырившись иглой; рядом, на топчане, вниз лицом, как он повернул, так и лежала девушка, больной человек. У нее рвалось дыхание, да и не было его, считай, дыхания-то, сипение, шум, частые легкие всхлипы, когда не хватает в человеке сил на бред и стоны, когда он уже не на дровах горит, а дотавивает на жарко нагоревшем уголье. Аким подходил к больной, поднимал рубаху, тщательно протирал стеариново светящуюся кожу под крылато вознесенной лопаткой, подносил шприц и тут же в страхе отдергивал его, видя, как корчится маленькое, беспомощное тело, пронзенное иглой, отчего-то вмиг сделавшейся в палец толщиной.

После третьей или четвертой попытки Аким решил снова кипятить шприц — микробы могут... микробы кругом, да и руками заляпал тонкий инструмент. Руки-то, вот они, что крюки, сколько их ни мой, все в наростах...

Лишь наутро, когда отбелило небо за окном и больная перестала даже всхлипывать, утихла вовсе, он, перекрестившись про себя, будто перед прыжком в воду, задержав дыхание, оттянул слабенькую, мятую кожу на спине больной и, зажмурясь, всунул иглу, как ему показалось, в пустое место, но, открыв глаза, увидел: черненькое жало иглы ушло под кожу, больная даже не дрогнула, она вроде бы как расслабла и вытянулась, услышав укол. Сил его хватило еще на то, чтобы выцедить из шприца жидкость, проспиртованную ватку поддержать на махонькой, чуть закровенелой точке укола, осторожно положить шприц на стол. После чего он хватил на улицу, выдернул рубаху из штанов, тряс ее, пуская холод к телу, хохотал, взрыдывал, обсказывая положение пугливо отскочившей от него Розке: «Вот, Розка! Вот, собаська, и все! А ты, дура, боялась! Понимас, нужда намучит, нужда научит... Фершалом стал... Е-ка-лэ-мэ-нэ!..»

Больная очнулась, не понимая, где она и кто перед нею, увидела склоненное над собою лицо человека, на котором не различались ни брови, ни нос, ни губы, все было скрыто тьмою. Одни лишь глаза мерцали живой влагой и светились зеленоватым, тихим, успокоительно-домашним светом, а из полуоткрытого от любопытства и напряжения узенького рта доносило запахом каленого кедрового ореха и еще чем-то горелым, как бы ошутимо и видимо клубящимся, табаком — уразумела она. Перед ней мужчина. Сейчас вот он курил в сторонке и, внезапно сорванный с места ее движением, зажимал в кулаке сигарку. Из носа и рта его еще сочился отработанный, очищенный от никотина слабый дым. «Дяденька! Курит!» — она, как ей показалось, суматошно схватилась, но на самом деле слабо потащила на грудь одеяло и услышала свое тело, толсто и грузно придавленное сверху, почувствовала боль в костях и под лопатками, кружение в голове и пошевелила до черноты спекшимися губами, задав тот вопрос, который везде и всюду задают воскресшие люди:

— Где я?

Один глаз дяденьки пошевелился, исчез, перестал светиться, и чуть позднее заторможенным сознанием она открыла и почему-то испугалась — глаз ей подмигнул!

— Шшытай, на этом свете!.. — Над нею зашуршало, зашевелилось, в рот полилось что-то сладковато-кислое, сквозящее по всему усталому, испеченному жаром нутру. — Шшытай, на курорте крымешь! — совсем уж бодро сообщил ей незнакомец и чем-то мягким вытер облезлые, растрескавшиеся губы, которые пощипывало кислым питьем.

Аким стал «фершалом», сестрой милосердия, нянкой, сиделкой — всем больничным персоналом сразу. К запаху больницы, затопившему избушку, он долго не мог привыкнуть. Розка и вовсе не терпела ядовитых ароматов, фыркала, вычихивала из себя химию, тяжело вздыхала, возясь за печкой, — Аким так все время и запирали ее в избушке вместо будильника.

Когда Эля поправилась настолько, что смогла осознанно все видеть и даже говорить, она с умиленным счастьем просветления произнесла:

— Соба-а-ачка-а! — и протянула руку, чтобы погладить Розку.

Ровно бы все понимая, Розка тоже умильно смотрела на больную, подрыгивала хвостиком, форсисто брошенным на холку, но подойти стеснялась. Аким взял собаку за шкирку, подсунул к топчану. Дотронувшись вздрагивающими пальцами до прохладной, мягкой шерсти Розки, услышав под ладонью острие совсем неострого уха в чуткой шерстке, Эля, вроде бы высвобождаясь из-под чего-то, прошептала со слезами: «Соба-а-ачка-а!»

Розка лизнула ладонь девушки, мягко прилегла возле топчана мордой на вытянутые лапы, преданно глядя на больную. С тех пор стоило ей только вернуться с улицы, она так вот, на одном и том же месте и ложилась, смотрела неотрывно, задремывала и тут же открывала глаза, заслышав движение на нарах. Она лизала в лицо Акима, спавшего на полу, дотрагивалась мокрым носом до его уха и шумно чихала — больная проснулась, ей нужна помощь. «Неужто хоть животная, хоть человек — женщина женщину знает?» — изумился Аким, радуясь неизвестно чему, был болтлив, все пошучивал, позмывался над Элей, точно над маленьким ребенком, и ему удавалось сгладить неловкость отношений, которые неизбежны меж беспомощным человеком и тем, кто нянчится с ним.

Натянутость и неловкость нарастали по мере того, как она выздоравливала, лучше соображала и больше видела. Хозяйин избушки, обнаружила она, далеко не дяденька, и, самое ужасное, он не просто молодой, он еще и застенчивый. День ото дня стесненность между ними нарастала, и самое-самое, чего она ждала, добивалась с болезненной, прямо-таки режущей ее нетерпеливостью, — чтобы скорее выходить на улицу. Но температура у нее долго не падала, к вечеру поднималась на два-три

деления, еще шатало, кружило ее, и она быстро уставала, даже от разговора. И чем явственней пробуждалась в ней мысль, тем отчетливей уясняла Эля: какое же, современно говоря, некоммуникабельное существо женщина! И в первый раз ей пришлось в голову: как же это бедолаги девчонки, ее погодки, на фронте-то, среди мужичья, в окопах, на марше и особенно на морозе выполняли военную работу?

Она стала таиться. Аким сразу это заметил и ловчился угадать, когда и насколько ему надобно уйти из избышки, чего положить на вид, чего прихоронить, что видеть и что не видеть, о чем говорить и чего в разговоре избегать. И по тому, как он все это делал — старательно, незаметно и оттого часто неловко, не составляло труда понять — он мало знал женщин, подолгу с ними не общался, не жил, а мать, судя по его разговорам и воспоминаниям, он так и не привык считать женщиной, мать есть мать — всё тут.

Когда Эля первый раз вышла на улицу, попросив не провожать ее, Аким забубнил: «Ну, как же, понимае, сразу одна?..» — но просьбу уважил, ее чуть не сшибло за избышкой ветром. Задохнувшись холодом, снегом, кружащим голову, ощущением неба, живого света, живого мира, зрелищем деревьев, кустов, тропинки к реке, сбегая следов на снегу, всего того, что она видела как бы впервые, стояла Эля, держась за стену, и ладонью ощутила гладкость дерева. Приглядевшись, припомнила: тут, под рукою, где свежий стес, была написана ножом или углем скабрёзность. Почему-то многоумный Герцев не догадался стесать топором похабщину, а парень, выросший в каком-то богом забытом поселке, пытался быть деликатным, не всегда это ему удавалось, не всякий раз получалось «незаметно», но он пытался, вот в чем дело!

За избышкой неожиданно возникло что-то похожее на загончик: несколько елок прислонены были к слегам-подпоркам, придавлены с боков лапником и жердями. Загончик плотно забросан снегом, в нем было глухо, не дуло. Возвращаясь со двора с опущенными глазами, Эля накрывалась с головой, лежала глухо, а «пана» озадаченно покашливал, пытаясь угадать, где опять допустил оплошность. На улице старался быть подольше, тюкал топором, ширкал пилою. Он распилил лодку и мастерил из носовой ее части возок. Загнув обносы — бортовые доски — лыжинами, Аким прибил их к опиленной долбленке, вставил в зад донце из досок — получилось что-то вроде кошечки.

«Скоро уходить», — догадалась Эля, ей сделалось страшно-вато, хотя она и ждала этого дня, будто Христова воскресенья. Аким чего-то тянул, принохивался к тайге, долбил лед на Эндэ; ставил уды.

В тайге залегла полная, тихая осень.

Еще по голу Аким вышарил весь ближний лес, выбрал подчистую бруснику, замочил ее в баночках, хранил на чердаке

в корзинах, которые плел долгими ночами, сидя у постели больной; натаскал и наморозил рябины, посушил черемухи, черничного листа. Эля, наблюдая за его хлопотами, удивлялась — куда столько всего? Они что, тут вековать собираются? Городской житель, она не знала, как много требуется человеку пропитания, если он его сам добывает и запасает на долгую зиму. Тут из магазина или с рынка не возьмешь того сто грамм, этого двести. Охотник и сам-то поражался — откуда у него такая хозяйственность? В Боганиде жил он давно, привык быть перекаати-полем: лег — свернулся, встал — встряхнулся, столовки всюду есть, ну а если с приварком худо, кусок хлеба, щепотку соли, кружку воды — и живи дальше.

И вот этакий-то ветрогон экономил в избушке каждую кроху, ел птичье мясо почти без хлеба, круто его соля — все меньше пахнет. Птица боровая с ягод перешла на почку и ольховую шишку и пахла гнильем. Запах этот не оставлял Акима даже ночью, в животе жгло, в разложье груди стояла горечь, которую он старался глушить ягодами и орехом. Элю раздражала его крестьянская скопидомность, но Аким тер к носу, не обращая внимания на ее капризы, и старался разнообразно питать большую, чтоб скорее набиралась сил, — супом, мясом, для затравки давал пластик соленого хариуса или кусочек тугого тайменьего балыка, на верхосытку — моченой морошки, брусники, а то и ложку сгущенки.

В ту пору, когда Эндэ стремительно катила вниз шугу, на глазах запаивая речку берегами, стирая ее кривую полосу с земли, словно росчерк с тетради ученической резинкой, Эля находилась между жизнью и смертью, и запасы делать было недосуг, но как только она маленько поправилась и ее можно стало оставлять в избушке на пару с Розкой — уговорились: в случае чего выпускай собаку, она хозяина найдет — Аким стал уходить от избушки подальше. Эндэ замерзла лишь на плесах и заплесках, полыньи всюду парили, и, страшась сорваться, погибнуть, Аким добывал удами налимов или закалывал острой припоздалой, беспутной, нестойкой хариуса, который не скатился со всей рыбой вместе в Курейку, застрял в таежной речке, на ямах, дай бог, на всю бы зиму. Надежда была на ход налима, но едва ли он сюда отрядно пойдет — тесно жирному поселенцу на Эндэ, туго в напористых струях, мало здесь намоиных песков для икромета. Налим попадался редко и мелкий. Аким заставлял Элю есть налимыю печенку:

— Ес! Наводи тело, свету не видела, снег слепит, зреньё может сягни. Рыбий жир — перво дело для глаз, налимыя макса — голимый рыбий жир...

По напряжению, какое угадывалось в Акиме, по тому, как он жил и долго, обстоятельно собирался в поход, чувствовалось: из тайги выбраться трудно и опасно. Но из теплой избушки, из сытого, хоть и скудно сытого жилья опасности и трудности казались Эле не очень страшными. Ходят же люди. Ездят на оленях. Доберутся и они, бог даст, до становища,

до людей, она уж окрепла почти, не мерзнет, чего и тянуть?

Аким связками носил зайцев, пластал их, запасал мясо Розке, памятуя старинное правило: какова псу кормля, такова его и ловля, состригал шерсть с заячьих шкурок, сделал прялку из двух досок, веретено из вершинки ели выстрогал и обжег на углях, учил Элю прясть шерсть на нитки. Две катушки ниток он нашел в кармане рюкзака Герцева, да своих катков было пяток — собирался от скуки в непогоде распустить ниточный сачок, опять же сыскавшийся в мешке покойного, но тот все делал основательно — сколь ни бился Аким, расслабить туго стянутые ячеи не смог, значит, так тому и быть — сачок с собой возьмут, в заторошенной полынье, в отбитом от реки льдом заливишке, в устье теплых ключей, под грядями подденет, глядишь, какую зеворотую рыбину.

Короче и короче делался день, и чем он скорее окорачивался, тем плотнее становился для охотника. Две глупости сваял он, отправляясь на промысел: не взял пилу «Дружбу» — зачем она? «Я не дровосек, я зверовсык. Зараньсе наготовлю дров лучковой пилой». Отмахнулся и от рации: «У меня зазнобы нет, калякать стобы с ней, а учиться на рацию долго. Время где? Промыслять кто за меня будет?»

Лучковой пилой Аким ширкал, ширкал дрова и до того доширкался, что Эля однажды сказала:

— Чего это ты скрежещешь и скрежещешь? Невозможно терпеть. Прямо сердце перепиливаетесь!..

Как и у всякого вымотанного болезнью человека, у нее были слабые нервы. Живая темная волна волос ее набегала на отселенные, захлестывала, смывала искусственную муть. И внутри человека, угадывал Аким, отмирало и менялось что-то. Стесняясь недоступного ему, сложного мира женщины, который содрогнулся, сломался считай и вот вновь обретал краски, звуки, движения, воспринимал все это внове. Аким решил не тревожить ее расспросами, наоборот, избавлять от худых воспоминаний, отвлекать. Давно надо было предложить Эле обрезать эти двойного цвета волосы — мыла много уходит, да, может, ей нравится так? «Как-нибудь обойдемся. Пускай покрасусется...»

Аким отнес козлыны подальше — Эля понятия не имела, сколько уходит дров за ночь и сколько их еще понадобится — большие морозы пока еще не грянули. Потому и уходить нельзя, лед на Эндэ ненадежен, ахнешься в полынью или в чарусу на болотах с попутчицей, наплюхаешься...

Аким потихоньку втягивал ее в дела: то пол подмести просил, то поштопать, то сварить чего, и она не без гордости бралась за веник, иголку. Но и это ей большой работой казалось, потому что она настоящей-то работы, по правде сказать, пока еще и знать не знала, и ведать не ведала. Но уж и то хорошо, что иголкой владела, пол подмести и обмахнуть тряпкой могла,

похлебку какую-никакую сварить и не пересолить — почему-то всегда они, городские-то, на языки только ловки, еду пересаливают, каша у них пригорает, а то еще и сами обгорят у огня.

Утрами хрустел, сверкал вокруг чарым — осенний наст. Аким старался бегом проверить десяток капканов, разбросанных поблизости, три кулемки за речкой, стрелял пяток-другой белок, для чего стал брать с собою Розку. Долг-должок, хоть какую-то часть его надо отработать, никто не покроет, не спишет долг-то: к ответу потянут, жулик, скажут, проходимец, надул контору.

Эле в избушке тоскливо, жутковато, и чем она становилась здоровее, тем больше угнетало ее одиночество. Однако просить Акима, чтоб он не шлялся по тайге, не бросал ее одну, она не смела — не утеша ради носится «пана» по тайге. И все-таки Эля сорвалась, неожиданно даже для себя. Аким обдирал белок возле печи, бросал тушки за дверь. Розка там их уминала, похрустывая косточками, будто макаронами. Элю замутило, она попросила подать с печки кружку с водой. Аким охотно подал ей навар с травой седьмичником — от жены Парамона Парамоновича он перенял не только восклицание: «Тихая ужасть!», но и кой-какие навыки в пользовании всякого рода снадобьями. У каждого лекаря-самоучки есть своя заветная травка, в силу которой он верит особо, такой вот заветной травкой жены знаменитого речника был седьмичник, цветок о семи лепестках, что цветет в июле и считается не только целебным, но и приворотным средством. Этот самый седьмичник Аким, где бы ни увидел, обязательно срывал, и нынче запас он колдовской травы, экономно ее заваривал, давая больной испить на сон.

Руки охотника в сукровице, в приставшей к пальцам жаровой и серой шерсти.

— Отвратительно! Отвратительно! — Эля вышибла из руки Акима кружку и закрыла лицо руками.

Не сразу догадавшись, в чем дело, Аким поднял посудину, заскреб с пола разваренные былки седьмичника, жалея добро, растряс их за печкой на железке и, как ни старался сдержаться, с прорвавшейся неприязнью проговорил:

— Отвратительно шкурки палить на себя! Пустоглаза, обснята, кишка кишкой, а ее на шею! Е-ка-лэ-мэ-нэ! — и притормозился — устал, конечно, извелся, но он-то мужик, а тут человек нездоровый, притосливый, брезгливый, стало быть, не в себе человек, из города, из Москвы самой. Он-то ко всему привычный, лесной-тундряной, не женатый, холостой, и, смиряя себя, миролюбиво продолжал: — Охотник пушнину ради хлеба добывает — сам мехов не носит. — И, вспомнив, как друг его верный Колька зверовал на Дудыпте, добавил еще: — Не до мехов! Может такой сезон выпасти — без штанов останешься...

- Все у вас тут шиворот-навыворот!
- Может, это у вас там выворот-нашиворот...
- У кого это у нас?
- У тебя, скажем!

— Не обобщай! — Эля всхлипнула. — Бродишь по лесу, черт те где рыскаешь за этими зверьками. Я одна, одна... так жутко, так жутко! Не ходи, пожалуйста, не ходи, а?

«Не понимает. Привыкла, чтоб все готовое. Для нее все само собой растет и добывается», — с огорчением думал Аким, выходя к ловушкам после того, как Эля засыпала.

Однажды долго выправлял соболий след, попал в снежный заряд, скололся с лыжни, заблудился и добрался до избушки еле жив, в брякающей льдом одежде перевалился через порог, грохая обувь, на карачках пополз к печке. Эля дала ему кипятку, спирту из флакончика, помогала раздеваться, но сил ее не хватало разломить, стянуть с него одежду. Она в голос выла, ломая ногти, дергала са охотника валенки.

— Ты что, тонул? — спрашивала, кричала она, а он смотрел на нее перевернуто, непонимающе и валился с ног, засыпал. Она колотила его, трясла, умоляла: — Не спи, простынешь! Не спи! Не спи! Не спи-и-и! — И как-то все же раздела его, растерла спиртом, затащила на нары.

— Топи печку, пока есть сила! — дребезжал он голосом, трясаясь под тюком одежды и засыпая, заснув уже, успел еще повторить: — Топи! Топи! Иначе...

До нее дошло наконец: если с Акимом что случится — и сй хана. Шарахаясь от печки к нарам — пощупать, жив ли хозяин, Эля напарила ягодного сиропа, суп сварганила из птичины, а когда обессилела, легла рядом, прижалась к охотнику, стараясь согреть его своим слабым теплом. Горячий, разметававшийся, он ничего не чувствовал и, проспавши остаток дня и долгую-долгую ночь, поднялся как «огурсик», зубы только ныли, правая щека припухла, и он изжевал две таблетки анальгина.

Не чуя под собой ног, Эля суежилась в прибранной избушке, принесла котелок с печи, поставила солонку, положила по сухарю себе и хозяину.

— Ешь! — пригласила она и первая хлебнула из котелка. Аким не сразу отозвался на пригласье, зачем-то понюхал в котелке, скосил на нее слезящиеся глаза — все же простужен, хоть и уверяет, будто он как «огурсик».

— От, ё-ка-лэ-мэ-нэ! Нужда — наука проста, но верна, любого недотепу, филона наверх овчиной вывернет!

— Ешь давай! Ешь больше, болтай меньше, толстый будешь!

Аким вытаращил глаза: ну и память у человека! Она слышала эти слова, когда у нее и башка-то не держалась, падала, как у рахитного младенца, а поди ж ты — запомнила!

После того случая в тайгу на ночь глядя он не ходил, проверял ловушки, тропил соболя по свету, и сердце его обливалось кровью — густ был соболиный нарыск оттого ли, что

давно на Эндэ никто не зверовал, тронула ли бескормица от северной кромки зверье туда, где урожай ореха, где скапливалась белка, птица, мышь и всякая другая кормная живность. Поредел рябчик на Эндэ, осторожней сделалась белка, прибавлялось нарыску, шире кружил соболь, реже становился сбега следов, но чаще встречались места схваток — оседлый соболь отстаивал свои владения, изгонял с них ходового соболя. Побеждал сильнейший.

Но вот приспела новая неизбежная беда: следом за белой, сободем, колонком и горностаем двинулись песец, волк, росомаха. Припоздав к ловушкам, охотник находил в спущенных капканах лапку или шерстку соболя. Следовало в погодые чаще обходить ловушки, строить кулемы и пасти на песцов, травить волка, росомаху. Почти не спят охотники такой порою, ловят, промышляют, работают — схлынет зверь, минет урожайное время, хоть заспись.

Аким скрипел зубами, ругался, чуть ли не выл, видя, как уплывает от него удача. Торопился приделывать домашние делишки — кухонные хлопоты отымали столько времени! Выскакивал в лес на часок-другой, носился на лыжах невядалеке от стана, топтался вокруг десятка капкашек. Смазанные, новые, добрые капканы висели на вышке, кулемы и слопцы он насто-раживать перестал — выедаёт из них зверька и глухаря росо-маха, до того обнаглела, к избушке подобралась, поцарапала Розку. За ней, за росомахой-разбойницей, гонялся в погибель-ную ночь Аким, стрелял, вроде бы ранил, пыху не хватило достать, добить. Рожень бы на нее, на подлюю, изладить — видел как-то в тайге, на Сыме, простую с виду, но хитрую ловушку Аким — «русамага» лезет на рожень, снимает приправу с острия, и где так хитра, а тут толку нет спрыгнуть. ползет по глади рожна задом и вздевается рылом на заостренный конец.

Чем даль-ше в зиму, тем больше торопился песец, значит, снова, как в том году, когда Колька шарашился по Таймыру возле речки Дудыпты — в тундре мор лемминга, голод стронул оттудова зверька. Снег еще неглубок, зима не жмет особо, морозы ухнут позже разом, видать, завернет землю в белый ка-лач, держись тогда. А пока больше верховая, редкая здесь об эту пору погода, озолотеть можно в такой сезон, но... На вот тебе, расхлебывай Гоги Герцева грехи! Договорились стрелять-ся, так он и тут исхитрился, выбрал мечь потяжелее, под-бросил свое имущество в зимовье, да еще и с прицепом...

Ох уж этот прицеп!

Нет в ней стремления и понятия, что помогать ему, а зна-чит, и себе — работать, работать, работать необходимо для жизни, для существования. Хотя и сдвинулось в человеке кое-что, а все выходило так, что будничное, грязное, нудное кто-то должен делать за нее — человека вроде бы иной, высшей по-роды, а она бы только рассуждала по поводу сделанного, дели все на две части — это ей нравится, это нет.



Распсиховалась недавно, бросила почти целую тушку рябчика к порогу: «Не могу больше! Надоели! Травой пахнут! Горьким чем-то! Невыносимо!..» Розка тушку рябчика подобрала, зажала в лапах, смотрела на Акима. Он рябчика у собаки отнял, кинул в берестянку над печкой и, чувствуя в себе тошноту и отвращение к птичьему супу, хлебал его остервенело.

Эля отвернулась к стене, не умея, а может, не желая укрощать характер, хныкала.

«На что мне вся эта хреновина сдалась? Бросить, уйти!..» И, зная, что не сделать ему так никогда, сдерживая в себе kloкочущее бешенство, как можно скучней Аким проговорил:

— В Москве расскажешь, как мы тут кримвали и как ты рябчиков не ела, — обхохочутся!

— В Москве? Где она, Москва-то? — Ее как раз и вывело из себя его обыденное, скучное ко всему тут терпение, и он, чувствуя неприязнь, зарождающуюся между ними вражду, терпеливо толковал:

— Москва-то? Москва далеко, и магазин, как это у вас там — бери сам, чего хочешь, или универсам, неблизко, а еду трудно сделалось добывать, дальше и того трудней будет. Надо сматываться, и поскорее. Чтобы дойти — сила требуется. Чтобы силы накопить, кушать требуется, чтобы кушать, свалить сохатого требуется, не сохатого, дак оленя, не оленя, дак глухаря, не глухаря, дак куропатку, не куропатку, дак хоть рябчика...

Реденькая курчавая бородка пушилась по заострившемуся лицу Акима, космы волос обвисли на плечи — с такой растительностью да на столичный бульвар — цены бы не было кавалеру! В тайге же грива — помеха, и докучливая помеха, потеет, обмерзает, грязнится — мыться, стричь волосы времени нет, время и мыло уходят на постоялку, запасы брал на одного себя и особо на туалеты не тратился — флакон тройного одеколона, банка пахучего вазелина, смазывать треснувшие от воды и ветра руки, губы, щеки, пара печаток духового мыла, пяток стирального и, для «форса», бутылочка шампуня, ее, эту штуку, навязала ему продавщица в хозяйственных, расхваливая фасонный флакон с колпачком, — можно использовать как флягу, когда опростается. Шампунем Аким мыл голову больной — пены много, в избушке пахло парикмахерской, голова быстро очистилась, волосы перестали сеяться, струились живыми потоками — полезная, оказывается, штука, а он думал, забава.

— Аким, дай я тебя подстригу, — предложила Эля и виновато потупилась, — должна я хоть какую-то работу делать, помогать тебе.

— Должна, — жестко подтвердил он. — Ходить на улицу, таскать дрова, резать прутья, огребать снег, вязать себе теплую шапочку и шарф, вместе будем шить ботинки и одежду, поскольку лето красно ты прогуляла, об зиме не думала, не гадала.

— Надо так надо, — согласилась Эля. — Шила же куклам платья, помнится, маме фартучек сделала к Восьмому марта. Вот ножницы в руки никогда не брала, только в парикмахерской и видела, как карнают людей... Ох-хо-хо-о-о! Парикмахерская! — и постучала ножницами по голове Акима, туго повязанного холщовым полотенцем. — Вам как, гражданин? А лямбда или под горшок?

— Валай, пана, как умеш, — задушенно согласился Аким и громко вздохнул: нет, не вникла она в его слова, не понимала бедственности их положения. Она и этот разговор о помощи начала как бы между прочим, как бы ему одолжение делая, подмазывалась, исправляя свой каприз. — Тебе надо привыкать к тайге, к холоду, иначе нам не выйти, — снова настойчиво начал Аким. Но Эля дотронулась до головы сурового зверовика, и сердце защемило — волосы тонкие, жидкие, как у ребенка, неокрепшие, и она, ровно бы самой себе, сказала об этом вслух. Аким пощупал себя за голову, потербил бородку и, слабовольно переходя на другой тон, смущенно заерзал:

— Оброс, ё-ка-лэ-мэ-нэ, будто лесый, мохом. Ой, тьфу, тьфу! Не к месту будь он помянут!

Его суеверье, бормотанье наговоров и заветов, жите по приметам поначалу смешили Элю, потом начали раздражать, но чем они дольше жили в тайге, чем глубже она проникалась смыслом этой будничной, однообразной жизни, тем уважительней относилась ко всему, что делал Аким, смиряла себя, старалась сдерживаться. Напарник ее и хозяин, которого она иной раз насмешливо и покровительственно именовала «паной», день ото дня как бы отдалялся от нее, становился взрослее: он много умел, ко всему тут был приспособлен, но еще больше он заставлял себя уметь, часто через великую силу, вот уж она-то не способна себя заламывать, не представляла до сей поры, что можно попуститься своими желаниями, насильно выполнять работу не по сердцу, есть пищу не к душе, пить отвар из трав и хвои, от которого воротит. Ан нет, оказывается, не очень-то хорошо знала себя; научилась есть варево из птичины, отволглые и оттого кажущиеся пресными сухари, жарила на каком-то трескучем, брызгающемся, горящим синим пламенем жиру оладьи и уже не порскала, зажимая рот, за дверь. Однажды отважилась и по доброй воле отскребла топором прелый по углам и щелям пол, постирала свое, а потом и Акимово белье, побанилась в избушке, наводя щелок для головы. Сжавшись в комок, сносила оморочь, когда Аким обдираал зверьков, хотя по-прежнему мутило, вертело ее при виде крови и розовых тушек с поджатыми коготками.

Эля не то чтобы испугалась, а внутренне ослабела, притихла, когда Аким, дождавшись, чтоб она была в здоровом уме и твердой памяти, взялся разбирать имущество Герцева. Оттого, что охотник долго не притрагивался к чужому рюкзаку и на-

нец вытряхнул на пол вещи и раскладывал их так, словно итог чему-то подбивал, она утвердилась в мысли: Герцев из тайги не вернется.

Аким строго и отстраненно вынул из целлофанового пакета документы, разложил их на столе: красный диплом отличника, красный же военный билет, паспорт в кожаной обложке прибалтийского производства, нарядный беленький билет члена Всесоюзного общества охраны природы, трудовую книжку, пачку квитанций на денежные переводы в Новосибирск — алиментная подать. Вузовский, совсем новый «поплавок», похвальный лист, и медаль «За спасение утопающего», и разные справки, среди которых хранился зачем-то старый-престарый трамвайный билет с однозначным, «счастливым» номером, увидев который, Эля заплакала. Аким вспомнилась присказка Афимьи Мозглячихи, говорившая не раз по поводу существования касьяшек: «Овца не помнит отца, сено ей с ума не идет».

Стянув тугой красной резинкой кипу бумаг, Аким дождался, когда Эля успокоится, и не пододвинул, а подтолкнул к ней пальцем тугую пачку документов:

— Вот, — отворотившись, молвил он, — выйдем — сдадите и заявите о пропаже человека. Я не стану этого делать. Меня уже разок таскали следователи, хватит!..

И то, что Аким перешел на «вы», сделался боязливо-суровым, смутило Элю, потому что за этой суровостью угадывались подавленность, смущение, и деланное покойствие не могло их прикрыть.

— Аким, где он? — боясь отчего-то притронуться, показала Эля на пачку бумаг, будто перечеркнутую кровавой полоской.

— Не знаю, — помедлив, отозвался Аким и, еще помедлив, обнадеежил: — Но я узнаю. Скажу.

Вещи покойного, в особенности палатка, топор, нож, острога, пачка сухого спирта, бритва, запасные портянки, были необходимы охотнику и Эле, могли пригодиться и тем, кто набредет на таежное зимовье. Лишь стопка общих тетрадей, сшитых рыбацьей жилкой, ни к чему, бросовая вещь.

— В печь?

— Н-нет! — встrepенулась Эля и, отчего-то смущаясь, зашепила: — Может, там записи последние есть, может, ценное чего по геологии? Может, объяснится что? И потом, все равно читать нечего... — и обрадовалась возможности уйти с разговором в сторону: — Ты почему книжек с собой не взял?

— Некогда читать промысловнику. — Аким перематывал нитки, руки его были заняты, и он кивнул головой, заставляя помогать ему трудиться. — Со стороны, пана, всякая работа, таежная в особенности, удовольствием кажется: бегат охотник по лесу, постреливат, собака полавиват... Ты видела кое-што, да не все. Если бы я как следует занялся промыслом, мне надо было бы наготовить кубометров двадцать дров — зимой с ними некогда возиться. Запасти накрохи. Хорошо, если завалил бы сохатого, дак десятка два выставил бы капканов, не повезло

бы с сохатым, наладил бы пасти, кулемы, ловил бы рыбу, квазил птицу. Ловушки — хочешь ты не хочешь, здоровый ты или больной — сдохни, но каждые сутки обойди, замело снегом — откопай, наживи. И пожрать надо хоть разок гроячего, оснимать шкурки, высушить, снарядить патроны, избушку угонть, рукавички, то да се починить, да и самому не заослеть, мыться, бельишко стирать, волосье лишнее убрать — накопишь добра, ну и собаку кормить следует, пролубку на речке поддалбливать, без воды чтоб не остаться — снегу не натаешься. Ко всему не угореть и не обгореть, не захворать... — Он приостановился. — Упаси бог заболеть одному. Один и подле каши загинешь...

— Да-да, — тряхнула головой Эля. — Это мне можно не рассказывать. Но отчего же... Отчего охотятся в одиночку? Вдвоем же удобней, лучше!..

— У меня друг, Колька, на Пясине втроем были, дак загрызлись. Не уживаются вместе нынешние люди, тундряная блажь на их накатывает.

— А раньше?

— Раньше, видать, нервы у людей были покрепче. Может, в бога веровали — сдерживало. Да тоже послушаешь, всяко лихо деялось — резались и стрелялись, а то скрадом доводили сами себя. Тихий узяс!..

— Как это?

— А так. Осатанеют до того, что убить готовы один другого, а нельзя: убьешь — пропадешь или бог покарат. Тогда оне преследовать друг дружку возьмутся, охоту всякую забросят, не спят, шарахаются от каждого сучка, оно и с ума сойдет который. А скрадет который которого, поранит, на себе в избушку ташшыт, лечить начинает, богу молиться о спасении, иначе тюрьма.

— Да чо же это такое?

— Жись в тайге о-очень хитрая, пана, много сил, терпенья и, не смейся, не смейся, ума требует.

— Да какой уж тут смех? — Эля вдруг спохватилась: говорит Аким почти чисто, не сельдючит, голос его, отмякший, какой-то проникновенный, доброжелательный, будто он наставляет послушного, отзывчивого слушателя школьного возраста, и качнулась, покатила по ней волна ответной благодарности к человеку, заменившему ей все живое на свете. До сего момента она хоть и говорила ему спасибо, однако воспринимала все как само собою разумеющееся, как должное — одна в тайге, больная, беспомощная, так спасай, помогай, посвяти себя, раз ты человек. А где, собственно, и кем это написано или указано — спасай, помогай, забудь о себе и делах своих, да и все ли способны помогать-то бескорыстно?

Вот они, бумаги, документы! А что за ними, за этими хорошо сохраненными документами, скрыто? Хозяин их и хранитель был напористо-открытый, вроде бы великодушный и в

то же время неуловимый, загороженный усмешкой, неприязненно грубый с людьми, он как бы приподнял себя над условностями бытия, напустил на свой лик дымку значительности, и этого достало, чтобы другие не то чтобы мелочью себя почувствовали в сравнении с ним, но почитали в нем силу и емкость души. Доверилась же вот она ему, сразу, непрекословно. В первый же день, именно в день, не дождавшись ночи, там, в чушанской мастерской, он заграбастал ее, подмял, словно так и не иначе и должно быть, затем водил ее за собой будто овечку, плел-говорил самодельные умности, а она, простушка-аржанушка, слушала его, внимала. Парализующая сила исходила от Герцева, даже не сила, а собственная уверенность в ней.

Молода, ох, молодая была Эля и глупа, ох, глупа! И непамятлива, и доверчива: вот много ли времени прошло со встречи, а не помнит уже лица Герцева, не может представить его ясно, отчетливо. В хвори сгорел, видать, его образ, пепел остался в душе и перед глазами, и в памяти что-то расплывчатое. А может, он и был таким расплывчатым, неоконтуренным. Одно она явственно помнит — его руки. На них, на этих крепких, все умеющих руках, засучены рукава; сжатые в полугорсть, готовые в любой миг схватить, сгрести, придавить, загорелые, искрящиеся волосом, с толстыми продольными жилами — очень выразительные были руки, оттого и запомнились, должно быть, и, как выяснилось, навсегда. А еще что? Слова, слова, слова! Много слов, тоже вроде бы что-то значительное скрывающих за собой. Эля попыталась приподняться, заглянуть за скобки слов — за ними оказалась пустота.

Это случилось, точнее началось, — после того перехода, когда, подбив ноги, Эля нежилась в палатке, а Герцев ладил еду, мимоходом сунув в палатку букетик снежно-белых таежных ветрениц, которые, как он объяснил, на нормальных землях давным-давно отцвели, здесь же, на мерзлоте, в иных углах все еще начало лета. «Любимые цветы моей покойной родительницы», — как всегда, криво усмехаясь, объяснил он и после обеда запропал где-то. Явился мокрый, уработавшийся.

— Ты не месторождение ли, случаем, ищешь?

— Что ж? — отозвался Гога. — Не худо бы подарить государству золотой, допустим, приискочек и навсегда расчитаться — учило, кормило, моралью пичкало — не люблю быть должником. И попадаетея золотишко, широко попадаетея, да все это семечки. Вот, — бросил он спутнице узелок. — Никогда не видела?

Эля с любопытством развязала тряпицу. Золотинки напоминали блески жира, снятые с топленого молока, уже старого, затемненного, сохлого, чешуйчато прилипли они к тряпице, не горели, не сияли. «Люди гибнут за металл!» За этот вот?

— Отрубил! — небрежно бросил Герцев, приняв от нее пла-

ток и завязывая его с ловкостью фокусника вокруг пальца.

— Найдешь месторождение, прииск, твоим именем назовут?

— Что? А-а! Не возражал бы. Но, главное, получить кругленькую сумму и навсегда расквитаться за глупость молодости. Послать бы разом из расчета полста рр алименты до совершеннолетия дочери.

— Не щедро для открывателя месторождения!

— Нечего баловать детей!

— Умный ты! Ох, умный!

— Всего лишь практичный. Не находишь?

— Нахожу. И все-таки шарлатанством пахнет.

— М-м, пожалуй, ты не точна. Скорее дилетантство. Но один умный режиссер меня успокоил, сказав: «Современному искусству не хватает дилетантов». Науке, по-моему, тоже.

— Восполняешь?

— Кому-то ж надо страдать за общество.

— Нынче желающих страдать за общество на словах навалом! — съязвила Эля, и у патрона ее сразу начал наливаться тяжестью взгляд. Топорик, который он подправлял брусом, вязнул в пальцах, пробуящих острое, движения затормозились, клубящаяся муть поднималась из отстойников, слепила, перекручивала человека, и, если он не пересилит себя, даст захлестнуть, рубанет, может рубануть — отверделая, давняя злоба спланировалась в залежах души Герцева, а родители, говорил, слабаки и добряки были. Вот тут и разберись в генах этих самых. Нет уж, лучше не вертеть запал у мины, не баловаться — вдруг да неигрушечная...

После у них всего было навалом — она и капризничала, и плакала, и бросала в сожителя чем попало, лаяла его, но он все сносил, однако близко ее уже не подпускал, от разговоров о личном уклонялся, да к той поре ничто их вместе, кроме единой цели, — найти экспедицию, и не удерживало. Эля чувствовала: Герцев только сбудет ее с рук, тут же перестанет о ней думать, тогда и ей тоже мнилось: с глаз долой — из сердца вон...

Долгими вечерами, сидя против дверцы печурки, глядя в пылкий, от ореховой скорлупы по-особенному жаркий и скромный огонь, сумерничая при свете лампы-горнушки в прибранной, со всех сторон стиснутой тайгой и темнотою избушке, Эля слушала дневники Герцева, пытаясь что-то понять, пусть припоздало, разобраться, что и почему произошло с нею.

Общие тетради, завернутые в целлофановую пленку, Герцев таскал с собою в кармане, пришитом под спиною к рюкзаку. Судя по охранным предосторожностям, Гога дорожил дневниками. В тетрадях встречались записи геологического порядка, состоящие из специальных терминов, сильно, до неразборчивости сокращенных. Судя по записям, Герцев с геологией не покончил и вел свои наблюдения, подобно британскому детективу, частным, так сказать, порядком. Зимами расшифровывал заметки,

обрабатывал, наносил наблюдения на карту. Но с собой подробных записей у него не было, и карта была помечена системой крестиков, в большинстве своем в устьях рек, кипунов и потоков.

Почему, зачѐм поманили ее дневники Герцева? Узнать чужие тайны? Но Гога от людей скрывал вещи, мораль же свою всегда держал на виду, хоть она у него и была паче гордости. Записи и мысли свои он считал столь высокими, что не боялся за них — не уведут, они в другой башке попросту не поместятся. А стесняться? Чего же? Он не школьник, что стережет и прячет свои тайны под подушкой.

Удивляло немножко, что такой аккуратный в делах человек не ставил имен авторов под цитатами из книг и научных трудов, как бы ненароком путая чужое со своим, — исключение сделано лишь для Блаженного Августина да модного среди студентов той поры Сент-Экзюпери. Запись, сделанная, видать, еще в отроческие годы, в общем-то, ни о каком еще снобизме не свидетельствовала: «Природа — более мачехи, нежели мать — бросила человека в жизнь с нагим телом, слабым, ничтожным, с душою, которую тревожат заботы, страшит робость, увлекают страсти, но в которой, между тем, хотя полузадушенная, всегда остается божественная искра рассудка и гения» — Блаж. Августин. Влияние Блаженного Августина на духовное формирование юного мыслителя было непродолжительным — уже первые записи в студенческой тетради рвали глаз: «Люди, как черви, копошатся на трупе земли». «Хорошо артисту — он может быть царем, любовником, героем, даже свободным человеком, пусть хоть игрушечно, пусть хоть на время». «Неужели человеку надо было подняться с четырех лап на две, чтобы со временем наложить на себя освободившиеся руки?». «Законы создали слабые, в защиту от сильных». «Счастье мужчины: «Я хочу!» Счастье женщины: «Он хочет!» Конечно, Ницше.

«Все люди, одни более, другие менее, смутно ощущают потребность родиться заново» — Сент-Экзюпери.

— Зачем ведут дневники? — отложив тетрадь, закуривая, спросил Аким, глядя на затухающий огонь лампы, поставленной на полочку в запечье. Они старались обходиться печкой, берегли керосин, свечи, жир и горнушку засвечивали, лишь когда упочинивались. Эля не отвечала, не слышала вопроса, уйдя в те слова и мысли, что читал ей Аким, не всегда верно делая ударения, с трудом разбирая почерк Гоги, напористый, заостренный, — буквы прыгали, слова налезали одно на другое, будто торопились куда-то.

— В войну подбили подводную лодку, — опутив на колени упочинку, не открывая глаз, заговорила Эля бесцветным, тихим голосом, — лодка упала на морское дно. Команда медленно, мучительно погибала от недостатка воздуха, командир подлодки до последнего вдоха вел дневник. Когда лодку подняли и жена прочла дневник мужа, командира подлодки, она

всю жизнь посвятила тому, чтобы изобрести элемент, вырабатывающий кислород, — и, чуть изменив интонацию, добавила: — Вот они какие бывают, жены! А вообще-то люди ведут дневники, когда побеседовать не с кем, замкнутые чаще люди, ну и те, которые знают или думают, что их жизнь и мысли представляют большую ценность...

— А-а! Понятно. Дальше тут стихи. Пропустить?

— Нет, читай! Все читай, времени у нас навалом. — Эля наклонилась к рукавице, на которую лепила латку, рукавицы не носились — горели, Аким таскал трещобник на дрова.

— «Большинство стихов записано в студенческие годы и в поле, — прочел Аким. — Они сочинены людьми, которые могли стать поэтами, но вообразили себя поэтами раньше, чем ими стали, пропили свой талант, истаскали по кабакам, вытрепали в хмельном застолье...» — Аким прокашлялся и перешел к стихам:

Что же есть одиночество?  
Что же это за зверь?  
Одиночка — и хочется  
На волю, за дверь?

Ну а может быть, просто —  
Твой отчаянный крик  
С нелюдимого острова  
На материк?

Что же есть одиночество?  
Что не понят другим,  
И стихи, и пророчества —  
Беспредметны, как дым?

И что все твои замыслы,  
Все, чем жизнь дорога, —  
Непролазные заросли  
И мрачны, как тайга?

Что же есть одиночество? —  
Не понять мне вовек,  
Может миг, когда корчится  
В петле человек?..

\*\*\*

Пустыня от зноя томится,  
На дюнах молчанье лежит,  
И дремлет с детенышем львица,  
Качая в глазах миражи.

Под пальмою звери уснули,  
Предательски хрустнул песок,  
И львице горячая пуля  
Ударила в рыжий висок.



Еще не набравшись силенок,  
От крови разъярен и ал,  
Вскочил перепуганный лъенок  
И тут же от боли упал.

Он вырос, враждуя со счастьем,  
Крещенный смертельчым огнем,  
И знает, как, злая от страсти,  
Тоскует подруга о нем.

Тяжелые веки прищунив  
И вспомнив ту рану в боку,  
Он видит песчаные бури,  
Сыпучих барханов тоску...

Усталый, но гордый донине,  
В неволе людской поумнев,  
Он рвется на голос пустыни,  
Седой и бунтующий лев.



Едва прошла блистательная ночь,  
Скабрезная и скаредная шлюха,  
Уж новая — холодная, как нож,  
В моем веселом доме бродит глухо.

О, эта ночи!  
Простор, упавший навзничь.  
Хрипит и содрогается от ветра.  
И час,

что не назначен и не назван, —  
Стучится в окна,  
Череп  
И двери.  
Но, не дождавшись ясного рассвета,  
Хранят наш мир уснувшие отцы.  
...В такую ночь стреляются поэты  
И потирают руки подлещи.

— У-уф! Е-ка-лэ-мэ-нэ! — расслабился Аким. — Нисё не понимаю. Может, хватит?

— Что? А, хватит, хватит! Там еще есть стихи?

— Навалом! — Аким не заметил, когда начал пользоваться любимым словечком Эли.

— Завтра почитаем, ладно?

— Конечно! Куда нам торопиться! Пос-сита-аем! Завтра я тебе не это горе, — щелкнул по тетради ногтем Аким, — завтра я те стих дак стих выволоку!..

— Уж не сам ли?

— Не-э! С ума-то еще вовсе не спятил! Дружок один на прииска старателем подался, а там ни кина, ни охоты, со скуки и строчил стишки да мне в письмах присылал. Больно уж мне один стих поглянулся. Я найду то письмо...

— А сам? Ничего тут такого?.. — повертела Эля возле головы распыренными пальцами.

Аким уклончиво хмыкнул и забренчал о печку поленом, поджигляя огонь. По избушке живее запрыгали, осветляя ее до углов, огненные блики. Аким стоял на корточках, смотрел на огонь. Эля тоже не шевелилась, молчала.

Ощущение первобытного покоя, того устойчивого уюта, сладость которого понимают во всей полноте лишь бездомные скитальцы и люди, много работающие на холоде, объяло зимовье и его обитателей. Полушубок, кинутый на плечи Эле, начал сползать, она его подхватила и без сожаления, почти безразлично сказала скорее себе, чем Акиму:

— Напутала я что-то в жизни, наплела... — еще помолчала и усмешливо вздохнула: — Сочли бы при царе Горохе — бога прогневила. И верно, — она еще раз, но уже коротко, как бы поставив точку, вздохнула: — Бога — не бога, но кого-то прогневила...

Побаиваясь, как бы от расстройства Эля не скисла совсем, не стало бы ей хуже, Аким снова перевел беседу в русло поэзии мол, вот, когда бродит один по тайге, особо весной или осенью, с ним что-то происходит, вроде как он сам с собой или еще с кем-то беседу ведет, и складно-складно так получается.

— Блажь! — заключил Аким.

— Может быть, и блажь, — согласилась Эля, — но с этой-то блажи все и началось лучшее в человеке. Из нее, из блажи-то, и получились песни, стихи, поэмы, то, чем можно и нужно гордиться... — Не подбирала наплывшие на лицо отросшие волосы, а убирала она их как-то ловко, красиво, сделав рогулькой руку, отодвигала легкий их навес в сторону и плавным движением головы сгоняла ворох на спину. Белые, как приклеенные, волосы изредились, оплыли вниз, совсем уж из кончиках остались; темная волна живых волос все напористой ожимала их, прореживала.

Было тихо, так тихо, что слышна не только скатившаяся с крыши избушки льдинка, подтаявшая от трубы, но и реденько падающие капельки, звук которых действовал усыпляюще, и когда печка притухла и капельки смолкли, они, ни слова не сказав друг другу, легли каждый на свое место. Аким поворошил под собой ладник и почувствовал закишующую в нем сырость. «Надо сменить», — мимоходом подумал он и прислушался: Эля не спала. Растревожилась, видать, и еще раз выругался про себя: «Па-ад-ла-а! Фраер из университета!» — и хотел сказать Эле: ничего, мол, не убивайся, скоро я завалю тебя на салазки и оттартаю к людям, а там на вертолет, на самолет — и будьте здоровы! Привет столице!..

— Мы, как говорится, случайно в жизни встретились, потому так рано разошлись...

— Что?

Аким вздрогнул и тут же съезжился — по привычке таежного бродяги он заговорил вслух.

— Ты чего? — встревоженно привстала Эля.

— Ничего, спи! — Аким снова притаялся на полу и не решился себе уснуть до тех пор, пока не услышал ровное, сонное дыхание Эли. Для него сделалось уже привычным ловить ее движение, взгляд, сторожить сон и покой.

Когда они встретились, сколько времени прошло с тех пор? Наверное, целая жизнь. Успел же он когда-то из маленького беспомощного ребенка выходить и вырастить взрослую, красивую девушку, такую ему родную, близкую, что и нет никого ему теперь ближе и дороже на земле.

Эля угадывала — Аким читает не всё из дневников, неинтересное, по его разумению, пропускает, что-то ленится разбирать. Когда «пана» на весь день отправился в тайгу, она забралась на нары, поджала ноги, закуталась в одеяло и при бледном свете оснеженного окна не только заново прочла, но и разобрала комментарии, бисерными строчками петляющие по полям затасканных тетрадей, — их Аким и вовсе оставил без внимания.

Первый комментарий — мощечные ёуковки, накорябанные неисправной, плохо подающей мастику ручкой, кинуты были на тетрадные листы, проложенные сухой веткой багульника, под стихотворением такого содержания:

Повидавший на земле немного,  
Он ни в ком не признает врага,  
Он идет, идет своей дорогой,  
И копыта крепнут на ногах.  
Люди попадаютса немые.  
Им не жаль беспечного телка.  
Сапоги тяжелые, чужие,  
Сдуру ударяют под бока...

Утонула мама у телка, сорвавшись по весне с подмытого обрыва, и все, кому не лень, пинают несмышленное животное. Но шло время:

И однажды из ворот открытых,  
Выкатив недобрые глаза,  
Выходил бугай холеный, сытый,  
Темно-синей масти, как гроза.

И вот оно, то, ради чего и трудился Герцев, переписывая длинное, нудноватое стихотворение:

Отходили недруги в сторонку,  
К гордой силе ненависть тая,  
Обижали слабого теленка,  
Ну-ка, тронь попробуй бугая!

Эля не без иронии фыркнула и принялась разбирать комментарий: «Вас, мистер, никто не обижал, а все равно бугай получился, мычащий, породистый, рогатый...»

По круглому, мелконькому почерку Эля догадалась, кто это посмел перечить Герцеву и даже отчитывать его.

Еще страница, проложенная молочаем — почти все страницы в тетрадях проложены травками, цветами — память о походах? О встречах ли? Одна из разновидностей оригинальности, сентиментальности — этой неизлечимой болезни гордецов?

«Молчание — удел сильных и убежище слабых, целомудрие гордецов и гордость униженных, благоразумие мудрецов и разум глупцов!» Ниже дробненько, однако хорошей уж ручкой, отчетливым почерком сработано резюме: «В общем-то так мудро, что уж и непонятно простым смертным. Совсем и не к месту, но отчего-то вспомнилось: однажды разбился самолет, погибли люди, много пассажиров было изувечено, нуждалось в помощи. Между тем два целехоньких, здоровых парня, перешагивая через убитых и увеченных, искали свои чемоданы! Мне сдается, одним из них были вы, мистер!»

На это последовал росчерк Герцева — непристойный, злобный.

— О-о, философ занервничал! — Эля плотнее закуталась в одеяло. После такой-то мысляги — о ценности молчания, вдруг уличная брань!

«Мне представляется аморальным «хотеть», чтобы мои дети стали, например, учеными. Кем они станут — это вопрос и право их собственного выбора», — профессор Дрек Брайс. Меланхоличная запись сопровождала высказывание Дрека Брайса: «Что это у вас, мистер, все любимцы из «оттуда»? Нигде вы наш народ и словечком единым не похвалите!..» И росчерк Герцева: «Не похвалишь — не продашь? Да?»

В давней, больше других потрепанной тетради, проложенной нехитрыми, в прах обратившимися травками институтского скверика и городских бульваров, обнаружились высказывания любимого героя юности. Эту тетрадь, словно первый, чистый грех юности, Гога хранил тщательнее других. «Нет в мире чело- века, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мною. Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки. Я глупо создан, ничего никогда не забываю, ничего!..»

«Ах, Герцев, Герцев! Вот это-то тебя, видать, и освещало для меня, — поникла Эля. — Печорин — и мой любимый герой! А я все гадала: что нас объединяет, что? Оказывается, мы оба глупо созданы...»

Любительница чтения — профессия обязывает все, что писано, честь, добралась и до этой святой записи! Сильно истоптал Герцев Людочку, она уже не просто полемизировала, она была по морде: «Экий современный Печорин с замашками мюнхенского штурмовика!..» Людочка лишь снаружи тихая-тихая, а в «середке», видать, ой-ей-ей какое бабье пламя ее сжигает! Врал, клепал Герцев, что «крошка» намеревалась подловить его беременностью, женить на себе и зажать затем строгой нравственностью, хворью, дитем...

Не говори, что нет спасенья,  
Что ты в печалях изнемог.  
Чем ночь темней, тем ярче звезды,  
Чем глубже скорбь, тем ближе бог!

Стишок этот «на память» Г. Г.» оставила когда-то нареченная Герцева, ласковая, по всей видимости, теплая, чистенькая, но Гога-орел, Гога-борец отбоярился, улизнул и от этой ласковой особы, наследил, правда, подать в виде алиментиков выплачивает, но все же улизнул! «Ай да Гога! А я-то, я-то! Тоже молодец! Ка-акой молодец! Вот дак да! Е-ка-лэ-мэ-нэ! Так тебе и надо, дурища! Так тебе и надо! — бросив за печку тетради и вытирая руки о спортивные штаны, взвыла Эля. — Пошлость-то, пошлость какая! Гос-споди-и! Куда же от нее спрятаться? В тайге, в снегах настигла! Вот дак да! Е-ка-лэ-мэ-нэ! Е-ка-лэ-мэ-нэ!»

Было невыносимо стыдно, хотелось скорее что-нибудь делать, отвлечься, забыться, и, сама себя не слыша, Эля все повторяла и повторяла, качаясь из стороны в сторону и держа-лась ладонями за щеки:

— Люди добрые! Люди добрые!

Наконец она опомнилась, забеспокоилась — пора Акиму прийти, набросила одежку, выскочила на крыльцо избушки. Пустынно, холодно, первозданно-чисто в миру! Широко он, мир-то, его не залапаешь, не заплешь, не обкорнаешь так скоро. Но вот душа человечья, в особенности бабья, мала, слаба... «Где же пана-то? Не торопится пана».

Эля вернулась в избушку, затопила печку, водрузила котелок, чайник на ее прогнутую хребтовину. Не сразу, не вдруг отвалило душевное расстройство, но встряска проходила, девушка словно бы возвращалась к себе самой, к нехитрым таежным будням, и помечталось ей слабо: «Вот всегда бы и жить здесь, несуетно, спокойно, вязать шапку, ждать, когда ввалится с мороза хозяин, бухнет к печке до костяного звона выветренные дрова и загадочно улыбнется: «А я сё-то принес!» — и высыплет горсть мерзлой черемушки или прилепит к ее щеке поздний, где-то зависший, невыцветший лист, а то бросит в руки заполненную во всех ячейках кедровую шишку, бывает, одарит сучком, изогнувшимся зверушкой, нарост с дерева — копыто и копыто». Эля не отставала от моды, собирала лесные диковинки в парках Москвы и на юге, но что те диковинки в сравнении с Акимовыми! Так и то сказать, в его распоряжении почти вся туруханская тайга.

Аким не шел. Тревогой смыло все мысли, ее будоражившие, хотелось есть, но она терпела, подшуровывала печку, на которой бормотал котелок с варевом, брызгался носком чайник, прислоненный к трубе. Она уже привыкла и наяву и мыслями быть постоянно с Акимом и, дичая, что ли, обрастая мохом, глохла к прошедшему, отвыкала от людей и — о, себялюбка, себялюбка! — начала забывать и о тех, кого чтить и помнить

сам бог велел! Аким, опять же Аким сделал прополку в ее башке, возвратил Элю на житейский круг.

После того как она остригла его лесенками, кочками, уступами и он недоверчиво оглаживал, щупал свою облегченную верхотуру, а она, подъялдыкивая его, хохотала — уж больно куций и младенчески голый сделался «пана», и дохохоталась — перехватило горло, кашлем колотило до хрипа. Придерживая Элю, повторяя: «Не балуйся! Не дергайся, заполошная!» — Аким попоил ее теплым чаем, дождался, чтоб унялся приступ, летуче вздохнул:

— Ох, девка, ты девка! Похохатываешь тут, а отец-мать умом, может, тронулись! Шутка ли! Одно дите, и то потерялось... — и вздохнул уже длинно, перекатил даже вздох в груди. — Зима везде приступает, и в Расее тоже. Совсем загинула, думают, пласют... — Он связал вместе два слова и, получилось оно слитным — отец-мать, беда, с ней приключившаяся, и в самом деле могла сослужить хорошую службу, объединить их семью. «Навсегда бы», — подумалось Эле... Разнообразная все же жизнь! Ехала вот к папе, на прогулку, поболтаться в экспедиции, набраться впечатлений, а тут, гляди, какое дело вышло!..

Эле всегда везло если не на оригинальных, то на чудачьих людей, и в родители ей бог послал человеков презабавнейших. Бурная, многословная, неприбранная, курящая мама вечно кого-нибудь «спасала». Папу, явившегося в сорок пятом году из госпиталя, она, будучи студенткой полиграфического института, «спасала» от бездомовья, холода и голода. И «спасла»! Перейдя на заочное отделение, устроилась работать корректором в газету. Будучи человеком благодарным и бесхарактерным, папа после института помогал доучиться матери, тянул лямку в научном учреждении, чуть было диссертацию под напором мамы не написал, но как-то иссилился, порвал домашние и служебные путы, ушел в поле и притаился в лесах. Года четыре спустя прислал сбивчивое письмо, которое мама по рассеянности оставила на кухонном столе.

Пребывая в любопытном отроческом возрасте, Эля то письмо узрела и прочла: «Я навек тебе обязан, но я не могу так жить. Здесь я чувствую себя полезным человеком. Будь свободна, распоряжайся собой, как тебе хочется, и мне предоставь такую же возможность...»

Мама не рвала волос на голове, не жаловалась в парторганизацию. Она к той поре работала старшим редактором в только что образовавшемся издательстве, помещение которому определили меж скобяным магазином и похоронным бюро. Говорили — временно, да забыли про то, что говорили, и мама по сию пору пребывала в комнатухе, окно-бойница из которой выходило как раз во двор похоронной организации. Но это нисколько не удручало сотрудников нового издательства. За притыкнутыми столами, где если редактор сидел за столом, то автору надо было уже моститься на стол, мама двигала род-

ную литературу и верила, что именно это издательство благодаря ее и всех работников стараниям будет выпускать не просто лучшие, а самые боевые книги, которые в других издательствах печатать не возьмутся. Из-за скученности и производственных неудобств мама работала часто на дому. Всегда у них околачивались и ночевали на раскладушке, бренчащей с мясом вырванными пружинами, авторы с периферии и нигде не прописанные столичные «гении», за которых мама «ходатайствовала». Стены квартиры — к счастью, старогабаритной, а то бы их за шум и содом выселили — сотрясались возгласами: «Надо беречь языки! Заездили, как клячу!» — «Мы еще поборемся! Двинем! Дадим!..» — «Нет, ты послушай, послушай: «Прекрасно в нас кипящее вино и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которою дано, сперва измучившись, нам насладиться!» — «Х-хосподи! Написать такое — и помирить можно!..» — «А вот еще, вот: «Не верь, не верь поэту, дева, его своим ты не зови, и пуще божиего гнева страшись поэтовой любви...» — Поэтовой! Надо же! Да за одно такое «искажение» нынче с порога издательства попрут, неграмотный, скажут, поэзию оскорбляешь...» — «Не отовсюду, голубчик мой, не отовсюду!» — вступала в дебаты растроганная мама, окутываясь облаком сигаретного дыма.

Один рассеянный поэт, уходя, вместо ручки совал в кармашек пиджака чайную ложку, понуждал маму пить с ним дешевое красное вино и кончил тем, что женился на молодой продавщице из пивного бара в парке культуры и отдыха, сделался толстым от пива, купил «Запорожца», стихи писать бросил и маму при встрече «не узнавал».

Потом появился некто Карéпанов из Удмуртии — помесь бесцветного вотяка с дебилой русской бабой. В Удмуртии он говорил и писал только на удмуртском языке. В Москве говорил и писал только по-русски. Он прикинулся тихоньким, бездомовым. Мама, конечно же, пригрела «сироту», доводила «до ума» толстенный его роман про современную передовую деревню, прописала его в своей квартире, и когда наконец после скандалов и проволочек роман, под который мама пособила автору выбрать все авансы и не издавать его сделалось уже невозможно, вышел, Карепанов отхватил через суд одну из трех комнат в квартире мамы, папа к тому времени потерял московскую прописку, мама, захваченная стихией литературы, забыла ему о том напомнить, да, пожалуй, и не ведала паспортных законов. Зато Карепанов знал все.

Не успев отлежаться в больнице после схватки с Карепановым, мама обнаружила автора еще более одаренного, из бухты какой-то. Этот мыслитель, по фамилии Пупков, работал в леспромхозе вальщиком. Он и в литературе вел себя, как на лесозаготовках, писал, будто дрова рубил. Прямой, взьерошенный, был он тем редким автором, который «импонировал» Эле. Всю писательскую свору, валившую через их квартиру, словно через перевалочный пункт, она терпеть не могла, однако с дет-

ства нахваталась литературной отравы, бойко читала «редкие» стихи, баловалась именами модных поэтов, могла сойти за «знатока». Пупкова-милягу она баловала вниманием, подкармливала на кухне. Мама, работая над рукописью Пупкова, хваталась за сердце.

«Вы, Тихон, прелесты! Я думаю, писатель из вас получится стоящий. Только учитесь, учитесь. Знания жизни, пусть и превосходного, мало!» — «Што я, не понимаю, што ли? Вот попаду в Союз писателей, на литкурсы стану проситься».

Пупков и в самом деле объявился на курсах в Москве. Не позвонив, не предупредив, ввалился в роскошном пальто с каракулевым воротником, в собачьей мохнатой шапке, сгреб в беремя маму и Элю, поднял, закружил, выхватил из портфеля кус редкостной рыбы, пристукнул бутылкой о стол: «Пировать будем, когда так! — и добавил, потирая руками: — В Москве калачи, что огонь, горячи!»

Сидели, разговаривали. Тихон хвастался, сколько он «умных» книг прочитал, еще один сын у него появился — все хорошо.

Мама мама! Что с нею сейчас? Жила, работала не только ведь ради карепановых, но и на нее, на дочь, жизнь убухала, да не понимала этого дочь-то, дура набитая, проклятая! И жизнь мамы, на первый взгляд безалаберную, разбросанную, бестолковую, не понимала, ведь при всем при том мама от крыла, вынянчила, «спасла» навалом по-настоящему даровитых авторов, а главное, она всегда была среди людей и нужна людям, и когда ее шибко интеллектуальная дочь после десятилетки, ожегшись на быстрой любви, ударилась в отчаяние и пессимизм и никуда не ходила из дому, терзая себя печальным одиночеством, мама так грустно и так серьезно сказала: «Одиночество — беда человека, дорогая моя. Гордое одиночество — игра в беду, и ничего нет подлее этой игры! Позволить ее себе могут только сытые, самовлюбленные и психически ненормальные болваны».

Дошло! Дошло вот! Дошло, когда припекло! И мама совсем иной видится, и жизнь-то ее, трудами и заботами переполненная, высветилась иным светом, и нет никого лучше мамы, и дай бог вернуться домой, заберет она документы из Литинститута, куда поступила, поддавшись модному течению времени, — детки литераторов сплошь ныне норовят в литераторы, детки артистов — в артисты.

А она поступит... Куда же она поступит? Ну, пока еще рано об этом думать, но поступит учиться серьезной, полезной профессии и никогда, никогда не покинет маму, будет все время сидеть дома, готовить, стирать, прибираться и ничем-ничем и никогда не обидит маму.

Возле дверей избушки послышался шорох, скрип, предупредительное покашливание. Эля пощупала лицо, вытерла глаза, распахнула низкую дверь избушки. «Пана» весь в мохнатом куржаке, шапка, шарф, брови, каждая неприметная глазу во-



лосинка на лице обросли белым мохом. Из лохматой белой кочки, из-под мокрых ресниц светились щелки нахлестанных ветром глаз, губы вздуло холодом, валенки каменно постукивали, большая изнуренность была в каждом движении охотника.

«Зачем же ты так долго ходишь? Стужа на дворе!» — чуть было не вырвалось у Эли, но она успела вовремя застопорить, помогла раздеться промысловику, вытянуть валенки из спущенных на голенища отяжелелых брюк.

Оставшись босым, Аким посидел на чурке расслабленно, недвижно и не скоро шевельнулся, выдохнув:

— Во ушомкался дак ушомкался! — Вынув из мешка четырех налимешек, мерзлую куропатку, зайца с проволоочной петлей на шее, он птицу и зайца сунул за печь, на дрова; налимов, которые в тепле обыгались и начали возиться в ивовой плетенке, распорол, выдрал из них внутренности, отделил максу.

— Отдыхай, грейся, я сварю, — предложила Эля.

Аким молча протянул ей ножик, сполоснул руки, сел к печке, закурил и, пока нагревалась, закипала вода в котелке, не шевелился, не разговаривал. Они «слеповали» без света, и только промельк огня от сигарки да серо стелющийся понизу, уплывающий в поддувало табачный дым свидетельствовали о том, что Аким не уснул.

— Что-то случилось? — тронула его изветренную, шершавую руку Эля и задержала ладонь на костистом, горящем от мороза запястье.

— Начинаются морозы, снег по лядинам уже до коленей, — не сразу заговорил он. — Если мы на этой неделе не выйдем, хлебать нам тогда здесь мурцовку\*, поди-ко, до февраля. И дойдем мы до тюки... Пусть даже я добуду сохатого, найдем мы с Розкой берлогу, но ты человек больной, изваженный, тебе питанье хорошее нужно, иначе беркулез... Соли, крупы, если не сорить горстям, как ты вот только што, должно хватить на месяц. Дальше как?

Рассыпанная соль потрескивала на печи. Эля только и воспринимала этот легкий треск как упрек в расточительности, все остальное было так серьезно, что вникнуть в смысл Акимовых слов она разом и не могла, ее тяготило вновь нависшее молчание.

— Уходить так уходить, — чересчур бодро проговорила Эля. — На этой неделе так на этой неделе. Чем скорей, тем лучше.

— По Эндэ до Курейки два перехода. Эндэ я пробежал —

---

\* Мурцовка — нутряной медвежий жир, скатанный в колобок вместе с сухарями, его можно таскать годами, в мешке он прогоркнет, затвердеет; когда пристигнет в тайге беда или голод, от колобка наковыривают крошек, разваривают в кипятке или так жуют — еда горькая, тошнотная, но очень «сильная», на ней можно продержаться много суток. Существуют и другие виды мурцовки, автору известна только эта.

почти везде замерзла. На Курейке есть шивера и пордги, возле них полынни, нырнешь и больше не вынырнешь... Горы нам с тобой не обломать, сорвесся, укатисся, засыплет курумником, — все тем же, едва слышным голосом наставлял ее или размышлял вслух Аким. — Если б мы и прошли пороги, Курейка пусть везде стоит, дак матерой\* торосов наворочено, что трещобнику. Пусть где бережком, где бечевкой, где горой, где тайгой прошли мы по Курейке до станка Графитного. Живут там люди? Вопрос! Давно я не ходил по Курейке. Летать навострился, понимас. Переть в Усть-Курейку? Но и там народу небось нету. От Усть-Курейки через Енисей, в самую столицу — Курейку... М-да, долга верста таежная!..

— Что же делать, Акима?

— Спускать рыбу! — не открывая глаз, кивнул он головой на бурлящий, брызгающий котелок.

— Ой, растяпа! — спохватилась Эля и с деревянной доски смахнула в kloкочущую воду куски рыбы с крылышками максы, лавровый листок, щепотку сушеного луку.

Варево перестало бормотать, в избушке снова все утихло. Аким размяк в тепле, распустился, сигарка потухла в его пальцах, и Эля не решалась тревожить хозяина, пусть думает, решает. Аким спохватился, распрямил хрустнувшую поясицу, потер ее рукой, зачмокал сигаркой, точно проснувшееся дитя соской. Не курилась сигарка. Он сунул в поддувало лучинку, прижег ее, дернул разок-другой и громче, с той же глубокой серьезностью продолжал, вбивая ногтем щепочку в подтопок:

— Есть еще вариант, как толмачат братья-геологи: перевалить через бережное нагорье и двигать по лесотундре. Верст через пятьдесят озеро Хантайское, на ъм стоит бригада игарского рыбзавода, туда самолет ходит, радист есть. Пушай нет бригады, постели, одежда, сети, соль, харчишки какие-никакие поди-ко остались в бараке? — и повел носом, прoderнул тугими от простуды ноздрями воздух. — Сымай уху, чую, поспела. «Цэ дило трэба разжуваты», — как говорит рыбак Грохотало. Пе-есельник — куда Кобзону! — И «пана» тряхнул головой, отгоняя какие-то расслабляющие, голубые воспоминания.

Насквозь уже все знающая про жизнь Акима в Боганиде и на «Бедовом» в особенности, Эля подхватила зазвучавшую в душе человека струну:

— Нет человеку блага, как есть и пить, чтоб было ему хорошо от его труда, гласит восточная мудрость, и потому двигайся, Акима, к столу.

— Хоросая мудрость-то, покушать и в самом деле не месат.

— И выпить — гласит мудрость! — принялась искушать охотника Эля, проворно доставая из-под изголовья фляжку со спиртом, хранимую пуще всякого имущества и продукта. — Выпей, развейся!

— Нельзя! — округлил глаза Аким.

— Не все на мою особу тратить, не больно и заслужила! —

\* М а т е р о й — серединой.

услышав, как сглотнул он слюну, настаивала Эля. — Промерз, ушомкался, говоришь, а выпьешь, настроение боевое, голова лучше соображает...

— Сто правда, то правда.

— Чего там! Всей мировой наукой доказано, — доламывала слабое сопротивление охотника Эля, — я вот и себе плесну на эту самую каменку...

— Тогда давай! — прошептал Аким. Выпив спирт, он заел его ложкой ухи, вслушался во что-то в себе и прочувственно молвил: — Давно хочу спросить: Эля — это как будет?

— Эльвира.

— Е-ка-лэ-мэ-нэ! Чё эти интеллигенты токо не придумают! — возмущенно стукнул кулаком по колену охотник, с большим сочувствием глядя на Элю: — Но серамно ты хоросый селовек, и я тебя нигде не брошу. Если пристигнет погибель, дак вместе! Правда?

— Правда, Акима, правда, — зажигая разом две свечи, откликнулась Эля, больше всего радуясь тому, что Аким снова сделался тем славным, привычным «паной», которого она знала, наверное, уже вдоль и поперек, во всем на него полагалась, всему, что он говорил, верила. Легко, просто было с ним, и слово «погибель» у него совсем не страшно выходило, как это: Аким — и вдруг погибель? Чепуха какая-то, бессмысленность. Она дотронулась до плеча охотника подбородком,дохнула ему в ухо теплом. — Акима, ты не будешь больше букой? Не станешь меня пугать?

— Постараюсь.

— Вот и умница! Вот и умница! — обрадовалась Эля и чмокнула его в щеку. — Ешь, давай ешь! Шляешься целый день по лесу голодный, холодный, таскают тебя лешаки, непутевого! — бранилась понарошке Эля, работая под ворчливую бабу-хозяйку. — Сложишь башку удалую, я одна останусь горе мыкать.

— Получается! — Аким длинным, пристальным взглядом посмотрел на нее, угадав, что скрывается за этой взвинченной игровитостью, успокоил: — Все будет хорошо, Эля!

Она привалилась к нему, заплакала:

— Навязалась вот на тебя, дурища! Спутала по рукам и ногам.

Он гладил ее по волосам, по худенькой, ведомой ему до каждой косточки спине, такой родной, беспомощной, в сыпи пятнышек от иглы.

— В жизни всяко бывает... Вон она какая... И не таким, как ты, салазки загигала...

Эля от «солидных» речей Акима совсем расстроилась, залилась пуще прежнего в сладостном изнеможении, прикикая злогней к своему спасителю и защитнику, шекотила мокрым носом его шею, благодарно целовала за ухом, и он явственно ощущал, как смывают, уносят из него большие эти слезы грязь, мусор, всякую, незаметно скопившуюся, наслоенную в душе

пакость. И воскресала душа, высветлялась, обновленно и легко несла в себе себя — да хрен с нею, с охотой этой, с авансом и со всем на свете! Главное сбылось: шел он, шел к белым горам и пришел, остановился перед сбывшимся чудом, которое так долго предчувствовал, может, и ждал. Не такое оно ему брезжилось, но раз уж пришло, прикатило, иного нечего и желать, устеречь, сохранить, на руках вынести — чудо, оно такое, оказывается, хрупкое...

— А-а, пировать так пировать! — вскричала Эля и болтнула флягой. — Тут еще навалом! Выпей, Аким! Выпей! Мы спасемся! Нам рано умирать! Мы долго жить будем! Я тебя никогда-никогда не забуду! — охваченная душевным порывом, она крепко-крепко обняла его за шею сзади, больно сдавила костлявыми руками горло.

Акиму было трудно дышать. Лопатками он чувствовал ее небольшие, обвадшие груди, дыхание прерывистое и жаркое возле уха, закатывающиеся вовнутрь всхлипы. В нем начала заниматься мелкая дрожь, и он осторожно разжал ее руки, поднялся от стола.

— Курить охота, — сглатывая слова, сказал Аким и, закулив, быстро и жадно истянул сигарку. — И спать пора. Попировали — хватит! Вставать рано, — и, словно оправдываясь, начал перечислять работу, какую следовало сделать до отправления в путь: дошить обутки — шептуны, выкроенные из старой шкуры, для Эли; собрать из одеяла хоть что-то похожее на куртку, подстежлив ее старыми ватными брюками, забытыми кем-то в избушке; довязать шарф, шапку из заячьего пуха; дошить запасные рукавицы, носки из распушенной вязаной фуфайки Гоги. Эля связала по паре толстых теплых носков, нужна еще пара — запас. Мама держала дома машинку и, когда еще не была захвачена до конца литературой, шила на ней кое-что для себя и дочки, приучала к швейному ремеслу Элю, не подозревая, как ей это сойдется. Отправляясь на Север, к папе, Эля больше всего заботилась, чтобы не забыть теннисную ракетку и лак для ногтей, Герцев обременял себя только своим, личным багажом, вот и снаряжалась теперь заново. Аким на радоваться не мог Элиной сноровке — этакая фифа, а иголка не валится из рук! Упорна деваха, упорна, опрятна в домашнем обиходе, из нее вполне можно человека сделать, если взяться вплотную, но виду, однако, не показывал, как доволен ею, боялся вернуть ту, бойкую на слово, но пахорукую в делах горожанку, которую он презирал, на которую злился и которую нужда или он заломали-таки, может, и перевоспитали даже.

— Эх, дурило, песню испортил! — качая головой, вроде как понарошке, вздохнула Эля и взялась прибирать на столе. Потом подмела в избушке и, гнездясь на нарах, с усмешкой поинтересовалась: не вспомнил ли он еще какое неотложное дело?

— Вспомнил, — невозмутимо подтвердил Аким. — Послать надо.

— Слушать так слушать, — передразнила его Эля, став на колени, покорно задрала рубаху, ждала «фершала», покрываясь куриной кожей, хотя в избушке было жарко. Готовясь к осмотру или, как со смехом говорил «фершал» к «сиянцу», он расшуровывал печку, но Элю, как всегда, пробирало ознобом.

— Худому поросенку и в Петровки мороз, — «пана», как и полагалось настоящему медику, маскировал серьезность лечебной работы шуткой. — Свет погасить?

— Вот еще! — Эля дернула остреньким уголком плеча, от которого начиналась и обручем закруглялась ключица. — Ты же доктор, — чуя в нем замешательство, с деланной храбростью добавила она, — а докторов не стесняются...

— Доктор! — прикладываясь хрящеватым, ломким ухом к спине, нащупывая им выемку под лопаткой, буркнул Аким. — Коновал, а не доктор! — И вдруг срывающимся, петушиным криком выдал:

Ты, милашка, скинь рубашку,  
Полезай на сеновал!  
Я тебя не покалечу,  
Я старинный коновал!

И поскорей забегал ухом по спине, тыкаясь в чутко подрагивающую кожу — хитрил «пана»! Всегда он так: ляпнет что, сорвется ли и поскорее за дела примется, я, мол, не я, и хата не моя.

— Твои шутки иной раз...

— Тихо! Слусаю...

— Твои хамские шутки, — настаивала она, — оскорбительны для женщины, и тебе они совсем не к лицу.

— Чё поделаешь! — отнимая ухо от спины больной, отчужденно и грустно обронил Аким. — Культуре обучался я в Боганиде и на «Бедовом». Как зысь воспитала, так и воспитала, извиняйте. Под правой лопаткой сипит, под левой вроде бы не слышать. Будем ходить или в избушке сидеть?

— Ходить. А зысь ни при чем! Природа дала тебе ума и тгкта довольно. Не форси и не выпендривайся! — Эля сердито сдернула с шеи рубаху, полезла под одеяло.

Аким, сконфуженно пошмыгивая носом, отсчитал капли, поколдовал над банкой с травяными снадобьями и, понимая, что зубатиться им сегодня не следует, — такой добрый вечер, подразнил ее, подавая колпачок от термоса с каплями.

— Значит, в столице всего навалом?

— Всего! — Эля опрокинула колпачок с лекарством лихо, будто водку на именинах, и осипшим от горечи лечебного зелья голосом добавила, вспоминая о чем-то своем: — И калачи там горячи...

— Хорошо! Замечательно! Дальше што?

— Изверг ты, вот што!

— Спасибо. Прими еще вот этот порошок...

Она послушно высыпала в рот какой-то желтый, тиной воняющий порошок, запила его кружкой совсем уж диковинного настоя — в нем багульник, корень шиповника, кора редкой здесь хворослой калины; стерженьки черемушника — все-все как есть, с точки зрения «фершала», полезительное, лишь седьмичника, заветной травки, нет, кончился седьмичник. Скоро сухари, крупа, мука кончатся, да и кончились бы уже, если б Аким не нажимал на мясо, рыбу и орехи. Он морил себя, держался побочным харчем, а что послаще, отдавал ей, пас каждую крошечку, каждый стебелек, ягодку. Уткнувшись взглядом в ноги, Эля перемучила, передышала занимающийся от горечи лекарств кашель и долго еще сидела, спустив ноги с нар и глядя на расположившегося внизу Акима, ровно что-то в нем открывая заново. Он смешался от ее взгляда, забормотал опять насчет завтрашних дел, насчет сборов и скорых морозов.

— Нянюшка моя! — Не слушая и не слышав его, признательно тронула прохладной ладонью щеку Акима Эля. Он защемил ее руку на плече подбородком, дотронулся губами до желобком прогнутого запястья. — Милая, добрая нянюшка! Не заводи ты меня, не мучай и сам не мучайся! Слышу ведь, слышу, ворочаешься на холодном полу, не маленькая, не девочка... Фершал ты мой, хозяин ты мой, человек лесной... Славный... Добрый... Погибать, так вместе. Погибать, так... О-о, господи!..

Утром в зимовье висело гнетущее молчание. Эля таилась в постели. Аким затоплял печь, разогревая почти нетронутую уху. Парил в кожухе термоса над печкой сухари, пошвыркивал чай. Искрошив зубами сухарик, закурил и, громко кашлянув, произнес словно бы в пустоту:

— Ну, я посол! — потоптался у порога и повторил: — Посол... В лес... В тайгу, значит. Надо капканы сымать, петли, кулемы спустить. Послезавтра двинемся. Дак ты это... гумажье\* смотай, допрядывай, полусак дошивай, снаряжайся... кхе-кхе... Посол я.

— Хорошо, иди...

«Зачем я его позвала? Совратила. Испортила все!.. Истинно мамина дочь! Тоже спасать люблю. Избился «пана» на полу. Холодно ему. Неуютно. Жалко мальчика. А какой он мальчик? В матросах был, с портовыми шлюхами гуливал... А-ах! Ну, все! Ну плевать! В конце концов, это даже смешно: двое в тайге, в избушке... Все! Все! Встаю! И за дела. Делами попробую спастись, как хитрый «пана»..

Переживая горьковатый, но в то же время приятный стыд, Эля пусть припоздало, пусть не в свежее поняла, оценила неповторимость тех чувств, которые, наверное, испытывала и затем несла в себе как единственное, ей лишь ведомое счастье, девушка-невеста, познавшая заказанное природой наслаждение.

---

\* Гумажье — нитки, пряжа.

Перейдя невидимый, сложный рубеж от невинности к тому, что открывало сладостный и мучительный смысл продления жизни, пусть в ней не сахар, не мед, пусть в ней брезжат одни только будни и обыденный конец за ними — радость торжествующей плоти, счастье и муки материнства высветят и будни сиянием непроходимого праздника, если он, конечно, не будет заранее отпразднован где-то в углу, тайком, блудливо, и два человека сберегут друг для друга очарование первого стыда, трепет, боль — все-все, что составляет прелесть сближения и тайну, их тайну, вечную, никогда никем еще не отгаданную и не повторенную.

Казалось, давно забылся тот хлыщеватый, роскошно одетый поэт, чью книжку мама «спасала»; однажды поэт пригласил Элю «покататься» на машине. Он разделался с нею, как повар с картошкой, раздавив не только душу, вроде бы и кожу с нее живьем ободрал, а ободранному, голому все уж нипочем. Бывали, ох, бывали и встречи, случались и увлечения, но память упорно хранила, удерживала уверенного в себе поэта, по-собачьи оскалившегося, больно вонзившего в ее спину ногти. От бывалых женщин узнала она потом — первый грех и первый мужчина жизнью не изживаются, временем не стираются — клеймо это вечное. «И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни зlobe, ни любви, и царствует в душе какой-то холод тайный...»

«Ах ты! Ах ты! Куда это все мы торопимся-то? Отчего так нелюбосердны к себе при всем нашем себялюбии?»

Эля надела полушубок, замотала голову вязаным шарфом, валенки, предупредительно повернутые голенищами к печи, напустила на ноги, подошвами почувствовала настоявшееся в них мягкое тепло — хмель в обуви лежит. Аким ушел в сапогах, значит, ненадолго — и эта маленькая радость опахнула сердце теплотой, отодвинула в сторону печали — много ль человеку, особенно женщине, надо — погладь, приласкай, и замурлыкает, на лапах присядет, к теплоту прижмется.

Жиденская, морковная зарица таяла за дальними перевалами, пришитыми неровным швом горной тайги к низкому серому небу. Тишина кругом лежала такая широкая и плотная, что нет, мнилось, и не было нигде никакого движения и жизни. Снежный лес в глубине загустел, с Эндэ, из норки, проточенной в шубе заснеженного густолесья, выкинуло упряжку — с бурлацкой брезентовой лямкой через плечи коренником шел сам «пана», в пристяжке стелилась по узкой тропе, сусливо перебирала тонкими лапами Розка, впряженная в сыромятную нехитрую шлею.

Груженная еловыми комельками «кошевка» катилась, гребла перед собою белый-белый таежный снег.

Аким издали улыбнулся Эле, Розка качнула хвостом, кинула его на холку, но тут же хвост сполз, выстелился по снегу, вывалив язык, нутужно похрапывая, чуть даже скуля, Розка помогала хозяину тащить дрова к становой. Эля бросилась

навстречу упряжке, пристроилась толкать возок руками сзади.  
— Вот-вот, — не оборачиваясь, бросил Аким, — учись, под старость кусок хлеба!

\*\*\*

Ладилась выйти на брезгу\*, но Аким еще и еще проверял поклажу — не забыли ли чего? Еще и еще обходил возок, подпывал что-то, подтягивал, подвязывал, и Эля подумалось: он никак не может решиться сделать первый шаг в глубь немереной, настороженной тайги — отвалить от избушки, словно сойти с покинутого корабля в пустынное море.

Собиравшаяся в дорогу старательно, но с легким сердцем — одежда, обувь, бельишко — все-все давно и заранее было выстирано, подшито, подбито, Эля не уставала дивиться, как ходовый, опытный вроде бы таежник Герцев легко, играючи, можно сказать, снарядился летом в поход. Может, потому и легко, что летом. А может, и его обуяла та бездумность, окутало то облако, что зовется розовым у людей увлекшихся или влюбленных. Любить-то, положим, он никого, кроме себя, не любил, увлечься же мог вполне. Спишем все на лето и на то, что оба были здоровы, свободны от всего и от забот о себе тоже, несли вещей укладно, харчей уедно, постели улежню — умещались в одном спальном мешке, гордый странник не мог допустить, чтобы женщина при нем мерзла.

Эля оглянулась на избушку, вдавившуюся в снег, не припертую стяжком, а заложенную в деревянную ручку строганым таячком охотника, — этакая тонкая, крепкая палочка с лопаткой на одном конце — ею толкаются, когда ходят по тайге на лыжах, нащупывают след, промоину в речке, чарусу в болоте, ею откапывают ловушки и ею же, как догадалась Эля по обгренному концу, добивают в ловушках зверьков — необходимая палочка, жестокая работа, суровая жизнь, о которой много ей теперь ведомо. Знает она, например, отчего двери в лесных зимовьях отворяются вовнутрь, — заметет снегом, откопаться возможно, набредет медведь — не вломится: он всякое добро тянет только на себя — так все непостижимо просто.

— Ну, благословесь! — обронил почти шепотом в предутреннюю морочь охотник и, удивившись шепоту, не давая подавить себя душевному гнету, прозвенел мальчишеским фальцетом: — Вперед, товариссы!

Шаркнули лыжи, скрипнули полозья, взвизгнула Розка, дернулась, постромкой ее вскинуло вверх, она по-тараканьи заперебирала в воздухе лапами, опала на снег и, бочком прилепившись к ногам хозяина, потянула вместе с ним возок по дорожке, натопанной к Эндэ. Вспахивался, песчано рассыпался под полозьями и ногами путников приполярный снег, скрипел он совсем не музыкально, а хрустел ржаво, крошился. Возле огороженной елушками проруби приостановились. Прорубку обметало снегом, по кружку она губасто намерзла. Возле нее

\* Брезг — от слова «забрезжило», то есть на рассвете.



было скользко, за ночь воронка проруби остыла, подернулась словно бы пленкой бледного жира, под пленкой шевелилась живая вода, всплывала пузырьками. Покинутые прорубка, да и избушка будут еще какое-то время жить, остывая. Эля глядела на едва приметную, размазанную слабым светом избушку, ухороненную в глушине тайги. Отчетливо был виден на льдисто-выстуженном, гладком небе кончик бойко торчавшей железной трубы, почудилось, над нею, истекая, зримо кружится остатное избыное тепло.

По Эндэ петляла тропка. Версты две катили бойко, оставились зачем-то возле обдубого, заголенного ветром до песков обмыска, невдалеке от которого, за кустами, забитыми снегом, утрамбованным топаниной зайцев и куропатки, темнел кедр. И хотя у него не было вершины, стоял он богатырски вольно, распахнув на груди лохмотье встреч северным ветрам, все и всех растолкав на стороны, разбросив густые нижние лапы по снегу.

— Запомни это место, — сказал Аким, помаргивая ресницами, успевшими окуржаветь, сказал и отчего-то отвернулся, накупившись или скрывая что-то.

«Зачем?» — хотела спросить Эля и не успела, вздрогнула, сжалась, догадавшись. Нарта скрипнула, покатилась, Эля схватилась за нее, но не толкала, а волокла за возком, оглядываясь туда, за обмысок, на кедр, пытаясь разглядеть под ним или за ним могилу или хоть холмик. Холмов было много, на каждой валежине по холму, густо сухих поторчин в косогоре: здесь когда-то бушевал пожар или смахнуло заросли бурей, лишь дальше по небу, по яснеющему его краю маячили кресты, и хотя она понимала, еловые это вершины, ей там казалось всё сплошным погостом.

Она заспешила, заперебирала ногами, стараясь поскорее уйти от этой мертвой тайги, и почувствовала — ноги увязают. Сделалось тяжелее идти, стало быть, дорожка кончилась.

Эля не толкала возок, только спешила, спешила, суетливо перебирая ногами, обутыми в легкие, теплые шептуны, чтоб не отстать, не утеряться. Одышкой сперло грудь, подкатывал кашель. Долго и кругло колотившийся в груди, он полоснул ее и бил до всплесков огня в глазах, до изнеможения — она отпустилась от возка, хрипела, отплевываясь в снег, и когда наконец кашель унялся, хриплое дыхание улеглось и она стала ясно видеть, обнаружила: возок уже далеко — он уходил за поворот речки, оставляя в сыпучем снегу не след, а борозду, сбоку которой видны частые глубокие дырки от Розкиных лап. «Куда же вы? Как же я-то?» — хотела закричать Эля, но уже ноги сами несли ее вперед по следу, и когда, как ей сделалось легче, она не сразу и почувствовала.

Чуть похрипывало в груди, но она шла, хорошо шла, бойко и еще не вспотела — потной немедленно в кошку, велел Аким, потной на ходу нельзя. Но ехать? На ком? На охотнике, почти до снега опустившем руки, с совсем кругло, в упоре

изогнутыми ногами, с шеей, будто у птицы в полете, тонко и непривычно вытянутой вперед, на этой по-бабьи преданной, уезженной собачонке?.. Нет, нет и еще раз нет! Она сама идет и сама дойдет, куда нужно.

Утро разжижало мóрок, неторопливо накатывало от далекого, казалось, уже зимовья. «Милая избушка-старушка! Прощай!»

Жаль чего-то, может, избушку? Уютная такая избушка, чем-то родная, осталась одна в зиме, в лесу, никто в ней огонька не затеплит, никто не посумерничает длинными-предлинными вечерами в тишине, пахнувшей дымом, орехом, смолой.

В тот час, когда с землю небо говорит,  
В глухую темноту, в остывшем мраке  
Огромная, похожая на ночь, вдруг встрепенется птица  
И, целясь клювом в дальнюю звезду,  
Услышав звон ее, пронзенная ее сияньем,  
Натянется струной, откликнется ответно,  
И все вокруг тогда умолкнет и уймется,  
Внимая песне, непонятной и тревожной.  
В ней телеграфный перестук, щелчки, шипенье, скрипы.  
А все, что непонятно, раздражает,  
А все, что недоступно, манит...  
А по раскисшему, кочкастому болоту крадется зоркий человек  
С ружьем в руке и со слепою страстью в сердце.  
А птица все поет! И блекнут в небе звезды!  
И падают за дальнее болото,  
Ударившись ребром о твердь земную.  
Собою высекают искру. И небеса, от искры той зарею вспыхнув,  
Зальют весь мир сияньем света,  
И, хлынув с неба, половодье утра  
Затопит землю птичьим звоном,  
Движением воды, лесов и трав движеньем  
И воскресением земли.  
Нам кажется в тот час: весне быть вечно!  
И вечно быть земле и небу,  
И этой тайной песне птицы,  
Раскрошенной звездой катающейся в горле,  
Наполненной предчувствием любви.  
О песнь любви — ты всем понятна!  
И в тех мирах, что нами не открыты,  
Наступит срок, мы этой песней объясним себя.  
Коль бесконечен мир,  
Так бесконечна и любовь!  
...А кровь стучит в висках, на уши давит,  
И тяжелеет взгляд, и тяжелеют ноги,  
Лишь совести легко от ослепленья,  
Лишь совесть человечья не болит.

И он идет, и липнут пальцы к холодной тяжести ружья.  
И шлепает, и пенится болото,  
Всплывают пузыри из раненой земли,  
И сердце разгорается от жажды крови.  
Что птица? Песнь ее? И дикая любовь?  
И, словно оправдавшись перед кем-то,

Перечеркнув далекую звезду зерном ружейной мушки,  
Он жмет на спуск и ранит утро, землю, небо!  
Рвет черным дымом алую зарю!

Но, дрогнув и качнувшись тяжело на ветке,  
Певец не смолк.  
Мир рухнул — он поет!  
И онемел охотник потрясенный —  
Неужто и на самом деле любовь сильнее смерти?!  
И вдруг, о радости  
Счастье!  
Торжество!  
Клубя перо и рвя себя о ветви,  
Пошла в полет последний птица,  
Пробитая насквозь картечью,  
Пробитым сердцем песню довершив.  
Перо, как ночь, обрызганная кровью.  
И скорбен клюв, припачканный сосновою смолою,  
В котором песнь остановилась навсегда.

Убить певца и песнь его убить — пустое дело.  
Вот гордости его убить никто и никогда не сможет!  
Ну, что же ты, властитель, бог иль попросту охотник,  
Клади в мешок добычу, неси ее домой!  
Там ждет тебя голодная семья.

А песня что? Ведь песню не едят!  
...Рассвет идет.  
Над лесом от хвои озеленилось небо,  
И зажелтело спедом морошкой,  
И соком княженики налилось.  
И птичий хор раскачивал леса,  
И речки разбегались в звоне, в пене, в реве.  
И сок дерев, и каждая хвоинка светились, ликовали, пели.  
Мир захлестнуло морем света,  
Весны и новой жизни торжества!

...Но птицы тень катилась в свете утра.  
Не умирала песнь таинственного гостя  
Неведомых ночных миров...  
Далеких, недоступных человеку.  
Когда-нибудь придет в тайгу землянин без ружья,  
Попробует дослушать и понять все песни  
И, может быть, узнает с горькой мукой,  
Как неразумен был и часто дик он,  
И бил не птиц, а мирных безоружных к нам посланцев,  
Стараящихся песнею своей внушить любовь  
И доброту ко всякому живому существу.  
А на земле его свинцом! Огнем! Обманом!  
Не думая о том, что там, в глуби небесных океанов,  
В иных мирах, возьмут да нас, землян, вдруг глухарями

посчитают

И встретят выстрелами в грудь...

Аким все-таки нашел бумагу с обещанным ей стихотворением. Она прочитала его вслух вчера, возле печки, после того,

как они всё собрали, увязали и девать себя стало некуда. Заполнять время делами на завтра не надо, тревогу же' необходимо было чем-то глушить, вот и пригодилось стихотворение безвестного Акимова дружка.

Прочитав стихотворение, долго они сидели на чурбаках, склонившись к дверце печки. Эля, подпершись ладонями, не шевелясь смотрела на огонь. Аким покуривал, думал о завтрашнем походе. Что-то их ждет завтра? Эля пододвинулась к Акиму, как бы успокаивая себя и его, положила ему голову на плечо. Он бережно натянул мягкий шарф на уголок ее плеча, притиснул к себе, молчаливо успокаивая и ободряя. «Сидеть бы под крышей, в тепле, тихо-мирно и никуда-никуда не ходить...» Глаза защищало от жалости неизвестно к кому и к чему, но скоро все унялось, успокоилось, и Эля под мерное и такое уже привычное шевеление неторопливого огня в дырявой печурке задремала.

В первый переход сделали, по подсчетам Акима, верст двенадцать. Эле казалось — все пятьдесят. Кропотливо отаборивался охотник, рубил лапник, прогревал костром землю, ставил над ним палатку, ночью часто просыпался, ощупывал Элю, заботливо подтыкал под ее спину одежду, прижимал к себе, стараясь укрыть, но девушка все равно мерзла. К утру у нее ломило под лопатками, тугие комки под шмми набухли, и она опять дивилась, что слышно их отдельно от всего тела, однако ничего Акиму не сказала, да и говорить не было надобности, он научился по лицу, по дыханию, даже по выражению глаз угадывать ее самочувствие.

Грея чай на костре, обжаривая испеченные перед походом лепешки, охотник осматривал спутницу растревоженным взглядом, затем нерешительно увязывал багаж, томясь, обозревал небо, приюхивался к тайге, и Эле помстилось: отыщи он там предвестия худой погоды, с облегчением повернул бы к зимовью, благо от него еще недалеко.

Отошли с версту по ровному, лишь кухтой издырявленному снегу, над низким, как бы приосевшим в забои лесом все курился струйкой покинутый огонек: и щемило сердце, нарастало беспокойство.

Вышли к Курейке совсем неожиданно — очень уж однообразна, нудна ходьба по заломникам, толсто укрытым холмами, в излогах запутанных следами зверьков и куропаток, издырявленных горностаем, мышью, местами притрушенных шелухой изморной кедровой шишки, испещренных восклицательными знаками отмершей хвои, — сухо, глезко падает хвоя, скоро грянут морозы.

Эля притерпелась к монотонности движения, к полусну, к бесчувствию, казалось, так будет вечно: визг полозьев, хрип собаки, кашель, шарканье и тайга да снег кругом, впереди шаги, шаги, шаги...

И вот Курейка. Криушастая лента реки иззубрена острыми торосов, нагроможденных в шиверах и на перекатах, темной чащею означающих стрежень, последнее движение густой, окрепшей шуги, наплзавшей на утесы и вздыбленно остановившейся. Пустынно, мрачно. Даже песцовый мех снежного крошева, обметавшего льдины, не смягчал речной неприятности. Каменная стужа сквозила по глубокому каньону реки, прорубившейся в рыжих утесах, то отвесно, то осыписто подступивших к ней. По распадам и расщелинам уверенно лежали засоренные мелким камешником — курумником — снега, парили камни-плакуны, ветвистыми наплывами сверкала накипь теплых источников, водяные жилы потоков, набухшие в камнях. Редкие, сплошь ломанные леса, камешник, насорившийся на лед, прибавляли угрюмости и без того дикому месту.

Нигде ни единого следочка.

Аким развел костер на левом, наволочном берегу, взял лыжи, скатился на реку. Притихшая, ужавшаяся в себя Эля, оставшись у костра, смотрела на проступающие в небе тяжелым бредом горы. Летом они ослепительно сверкали, манили белыми вершинами, а в зиму налились тяжестью, означились темным громадьем — не сразу поймешь, что бель вершин прочно и надолго укрыло, впитало в себя низко опустившееся небо. Видны лишь склоны, ущелья, осыпи, серые и грязно-желтые останцы в разгорьях. Дальше, выше накатывают мощные валы седловин, перевалов, вздыбленные рыжими, выветренными утесами, на которых, рассказывал Аким, в недоступной выси, на одиноких лиственницах качаются, перетирая сыромятные ремни, обожженные колоды с навек уснувшими охотниками и оленеводами, обитателями этих пугающе безгласных краев, постепенно переходящих в надгорья, холмы и беспредельную, дымчато качающуюся тундру, которая после угнетающей глаз и душу голый каменной округи блазнится легкой, светлой, приветливой землей.

На реке лаяла собака, хлопнули два выстрела, и лай оборвался. Скоро к костру выкатился Аким, молча бросил к ногам Эли трех куропаток. И она с готовностью принялась их тереть, дуя на терпнувшие пальцы.

— Куропатки на тальниках что снегу, — заговорил охотник, навешивая котел над огнем. Прикурил, пошевелил дрова, поморщился. — А дороги никакой нет. Старая-старая борозда от оленьей нарты — еще по забереге бое на промысел чалил...

Опустился мброк. Коротенький день, напоминающий мохнатую, невыкуневшую зверушку, сворачивался вокруг костра, прятал выстуженный нос в мягкость снегов, западал в леса и горы. Огонь слабенько шевелился, прожигая себе дырку в зимней мгле, временами приподнимался, пробуя раздвинуть свинцово сдавившую его со всех сторон холодную твердь ночей, и, вдавленный обратно в оттаину, сердито стрелял искрами, шипел, псипывал, наконец, обессилев, унялся, и костерок растекался едким дымом по ельникам. Но едва хрустнула морозом

ночь, выпрямился дым, вытянул за собой огонь из снега, в накатом сложенных сухаринах зашевелилось, забухало пламя, и попавшие в дым искры, кружась, летели высоко, долго, иные, так вроде бы и не угаснув, прилеплялись к небу звездами, и час от часу гуще и гуще их там набиралось.

Палатку нагревали котелком с угольями, да где же улицу нагреть, к тому же такую широкую? С великим трудом перемучили ночь, у которой вроде бы и конца уже не было. Утром Аким нарубил в костер толстых комлей, сверху навалил выворотень и, наказав Эле никуда не отлучаться, держать огонь, взял ружье, рюкзак с едой, патронами, котелок и укатился по вчерашнему следу к реке. Розка, метнувшаяся за хозяином, тут же вернулась, помотала Эле вопросительно хвостом — почему, мол, ты не идешь? Девушка потрепала ее по шее и толкнула на след. Розка послушно потрусила, куда велели, однако все время оглядывалась, но вот поймала след и, обо всем сразу забыв, залилась, заливая, голос ее, вызвенный морозом, разносился далеко окрест, тревожил спящую тайгу.

Ударил выстрел, и вновь все смолкло, остановилось. Белая земля спада непробудно, и все окрест словно бы покрыто прозрачной пластушиной льда, не пропускающей тепла, звуков, движения. Даже пар по распадкам не плавал, а незаметно возникал, густел, набухал, собирался в ворох и переходил в равнодушно-пустое морочное небо, которое, не поймешь, стояло, двигалось ли над лесом, над горами, и эта пустота непроглядного, нигде не начинающегося и не кончающегося неба, сплошного ли облака давила на сердце ощущением безнадежности, охватывала сонным безволием.

Но где-то дрогнула земля, послышался дальний гром, будто высыпали в пустой погреб картошку, — это зашевелился, поплыл, потек с гор перемерзлый камень. Увлекая за собой курумник, песок, всякое крошево, нарастая, ширясь, катился он, рушился из поднебесья, и поднималась над обвалом грязновато-серая пыль, долго оседала затем на снег и лед, покрывая его серебриющуюся, сверкающую искрами белизну мертвенно-серым налетом. И долго еще язвами гноилась река, выбуривало в раны пробоем темной кровью, медленно их заживляло морозом, бинтовало белой марлей, запорошивало снежной ватой.

Страшны, ох, страшны осыпи-капканы, летом страшны, о зиме и говорить не приходится. Летом медведь сутками преследует оленя, пока не загонит в курумник, где животные ломают ноги. Хищная морда лежит невдали, «парит» мясо в камнях, а потом кушает его всласть. С широкими лапами, мешочно-мягким туловищем самого косолапого редко давит в осыпях. Случается, он «плывет» вместе с курумником, и не поймешь: дурачась или со страху блажит на всю округу, пока не шмякнется в воду или не изловчится выскочить из потока.

Спит медведь, спокойно спит в своем укрытом «дому», не живут осыпи, звучат, движутся, грохочут по онемелой земле, укрытой снегами, пробивают броню Курейки-реки.

Как много земли-то кругом! И вся она белая, вся в ровных снегах, ни дорожки, ни тропки, ни единого следочка — иди куда хочешь.

Аким поднялся в горы, достиг осередыша, свалил сухостой, располовинил ее, и скоро в поднебесье, где холод был ясен и звонок, свет неба близок, хотя и вяло, нежарко — воздух-то разрежен — горел костерок. Пламя отгибало к Курейке, всасывало дымок в каньон, в снегу под огнем попкивало. Пока натаивался снег на чай, Аким, отдыхиваясь, устало уронив руки, сидел на сутунке и глядел сверху на прихотливые изгибы Курейки. Эвенки зовут ее Нума, Люма — ласково-то как, прямо прилипает к языку конфетой. Так, и только так возможно называть место, надежно тебя питающее, дающее не только приют, но и смысл существования и любовь, из которой затем прорастает тоска по земле, по такому вот пусть дикому, но родному ее уголку.

Эвенки не верили в смерть и тлен: переступая из одного мира в другой, они просто перекочевывали из местности в местность и потому снаряжались основательно, брали с собою нарты, чайник, котел, луки, копья, после ружья, капканы, нынче на могилах и в колодах можно найти поллитра водки, транзисторный приемник. Однажды Аким видел на захоронении эвенков баллончик с аэрозолем, привязанный к березке, — а ну как на том свете гнус одолеет? На сучке той же березки выветривалась папуха денег — вдруг вздумается боей в магазин забежать, а денег с собою нету!

Нума, Люма, Курейка! А где-то за нею тоже белый, широкий Енисей. В него ткнулась хрупкой ледяной иглой речка Боганида, в устье ее еще торчат небось два-три столба, может, и будка еще не сгнила, она крашенная, будка-то, крепкая. Хорошо бы почувствовать свой предел, отправиться на Боганиду и лечь среди тундры на мох, под свитые корни стлаников, рядом с теми людьми, которые любили тебя в детстве и которых любил ты. Да как узнаешь приход последнего дня и часа? Разучились люди в суете думать о смерти, готовиться заранее к вечному кочевью, нет его — вызнали шибко умные люди; каждый со школы знает: смерть — темень, прах, тлен; умирать — значит пропасть насовсем, сгнить, червям себя скормить. Легче ли вот только стало людям от этого знания? Вопрос! Большой вопрос и смутный. Потеряв веру в бессмертие, не потеряли ль они вместе с нею и себя? Отчего-то ж тужатся иные люди хоть на неделю, хоть на день, хоть на часок отдалить смерть. На преступление иные идут ради этого, других людей пытаются вместо себя вперед высунуть, да не выходит, не получается пока — от смерти ни загородиться, ни откупиться! Ткнешься где-то в неизвестном тебе месте, и ладно, коль не затеряешь себя сам, как Петруня, в тайге. Но тот хоть во всамделишной, зеленой тайге потерялся, чаще-то люди затериваются в людской тайге, торопливой, занятой собою, захваченной будничными заботами. Бегут, бегут куда-то, выронят

из стаи своего собрата и, как припоздалые, стужей гонимые птицы, даже не оглянутся. Лишь вскрикнет, проголосит одинокая самка в табуне, приотстанет чуть-чуть, делает круг над упавшим самцом и заторопится вослед несущемуся табуну...

Курейка — пустынная река, не замерзла еще в порогах, парит. С высоты видны разверстые пасти полыней, изодранное белое лоскутье льда — нагромождения торосов. Черно, бездонно светится вода, шевелится устало в оледенелых камнях. Что-то незавершенное есть в природе, в зиме, в неприкаянности и пустоте измученной реки, сама природа как будто мучается вместе с нею.

От порогов до камней-плакунов направо и налево непролазные скалы, подпертые сзади горбинами перевалов, и дальше — темной моросью тайги. Прошел бы, прокатился на лыжах, где заберегой, где закрайком, где узкой жилкой распадка, но один! Один — сам себе господин! Потеряешься, сорвешься с обмерзлых камней, попадешь в обвал, уйдешь под лед — сам, один! Жалко, конечно, себя будет, всем себя жалко, да жалость потухнет, как этот вот одинокий костерок, и никому от того ни жарко, ни холодно.

Нума, Люма, Курейка — ходу ей семьсот с лишним верст, она в пути два озера делает — Анаму и Дюпкун. Питается Курейка водою вечных снегов и течет по вечной мерзлоте. Вечные снега мертвы, но сколько рек, озер, болот, лесов, цветов, травы живет ими! На Енисее ледоход всегда получается раньше, чем на Курейке, и тогда спертая вода катится по притоку вверх, тревожит, шевелит высокой водой лениво спящую Курейку, и которой весной полмесяца, которой дольше течет она впереворот, взапятки, обратно сваленная: очнувшись, колотится, ревет, мечется; дурная, в общем-то, река — многоводная, длинная, а транспорт далеко не пускает. Вертолетам и доступна лишь да лодкам, если силы у лодочников много и кишка не тонка.

Обломать бы горы, спуститься за так называемую «параллель» к редким, болотистым лесам Заполярья, прижавшим к Губенской протоке смирный зимней порою городок Игарку. Один, да на лыжах, да с собакой — в три-четыре дня пришлепал бы в городок, попарился в баньке, выпил с дружками-приятелями и рассказал бы про весь тот «тихий узас», который страся с ним в тайге.

К стану Аким вернулся затемно, принес в мешке белок, песка и соболя тощего, загнанного собратями в бескормные прибрежные скалы. Оснимав шкурки, охотник нагреб в котелок углей, занес в палатку, нагрел ее изнутри, снял с себя полушубок и велел Эле снять полусак, делавший ее старой, сторбленной старухой.

«Зачем?» — спросила она его взглядом, и он молча же впелся в нее: «Раздевайся!»



Эля боязливо свела лопатки, съежилась. Ухо Акима, будто холодная телефонная трубка, коснулась спины, вжалось в тело. Вроде бы и не человеческая дыхалка работала под ухом, а поршневой движок хрюкал, фукал, скрипел соплом, дыхание путалось, цеплялось за что-то, хрустела и шлепалась внутри больной мокрота, будто сметана под мутовкой.

— И как там моя душа, доктор? — силилась шутить Эля, дрожа обсохшими губами.

— Неважно.

— Что ж нам делать? Помирать? — все еще пытаюсь удержаться на шутливой волне, вымучила улыбку Эля, натягивая на себя остывшую одежду.

— Зачем помирать? — отозвался Аким. — Зачем помирать? — И по его отстраненности она внезапно поняла: он-то не шутит, он к возможности помереть относится всерьез.

— Акима, миленький! — выводил охотник... из задумчивости, тронула она его. — Я выдержу... Я наберусь сил... — и заторопилась отогнать от него, а больше от себя тревогу. — Не бойся гор! Кабы Кавказские — другое дело! Эти невысокие. Сколько там, пятьдесят, сто километров? Пройдем! Я помогать тебе буду... Розка, я. Пойду ногами, пойду... Не надо стоять. Почти сутки потеряли. Дни короче и короче... Я так-то здорова, только легкие... Но люди с туберкулезом, даже с одним легким живут. Борются. Мы выйдем, выйдем, Аким!

«Чего-то чувствует, — насторожился Аким, — но не понимает, все еще не понимает. Слова тратит... Ничего здесь слова не стоят».

— Ладно, будем спать. Утро вечера мудренее, как говорится, — прервал он спутницу.

Эля благодарно улыбнулась ему, в глазах ее блеснули слезы. Она обняла охотника, прикинула к нему и успокоенная заснула в нагретой палатке. Аким ее ничем не тревожил, старался лежать неподвижно, дыша на грудь женщине, чтоб не пропадало даром тепло, пусть и малое.

Ледяная, беззвучная ночь лежала вокруг, сдавливала, корбила палатку, а в глазах Акима все не гасла, цвела вечерошняя заря...

Как хорошо, просто здорово, что, задумавшись глубоко, он просидел вчера на осередыше до нее, до этой зари.

Костер почти потух. Возле ног охотника, упрятав в пышный хвост всю узенькую мордочку, спала Розка. Над Курейкой, выше парящих полыней, выше осередыша, выше ломаных, расщепленных, изодранных утесов, за грядую перевала, черноту и угрюмую наготу которого отчетливо высветляло желтым светом где-то закатывающегося солнца, неделю как здесь уже не объявлявшегося, и только свет этот дальний напоминал, что солнце живо, и там, далеко, в западной стороне, люди видят его в небе, на привычном месте.

Зато здесь, в громаде камней, среди холода и снегов свет дальнего, безвестного солнца только усиливал чувство подавленности, одиночества, особенно ошутимого среди тех пространств, что открывались с высоты. Кипрейная нежность зари обвьяла, только занявшись, холодным блеском тяжелого золота ослепило, залило живую небесную плоть, слиток металла, погружаясь в глубину скоротечных сумерек, расплавлял твердь горных вершин, и, когда зазубренным ребром, совсем уже твердый, остывший, вывалился этот слиток из прорванного неба в узкую горную расщелину, небо еще долго оставалось продраным, и в проран, в небесную дыру смотрелась и дышала мертвым холодом бездна.

Призрак солнца, этот верхний, уроненный небом и всосанный чернью камней снег предвещал морозы. Скорые. Начнут лопаться в тайге деревья, с глухим звуком станут рвать камни. Раскатываясь по каньону реки, глухой звук будет полниться, приближаться, нарастать и ахнет громом так, что содрогнутся горы, рухнут обвалы, увлекая за собою потоки мерзлых, сыпучих лав. И только тогда, в трескучие морозы, отмучается, успокоится всюду, и в порогах тоже, Курейка, загонит ее под лед, и только тогда будет возможно пройти к устью, к поселку, к людям.

Дойдут ли вдвоем-то? Одному же ему пути отсюда нет.

Аким хотел уже подниматься. Розка почувала его движение, вскинула голову, заспанно уставилась на него, как что-то коснулось неожиданно слуха, заставило придержать дыхание — с неба, оттуда, с затемненной северной стороны, нарастало гудение, и скоро на слабом свете, идущем от горных снегов, от остатного ли блеска зари, поднимающегося из расщелины, возникла темным перышком вытянутая фигурка самолета с зеленым глазком под брюхом и красно, больно, в глаза стреляющей лампой на хвосте.

Самолет, по прикидке Акина, прошел почти над самой избушкой, оставленной, брошенной в лесу, на речке Эндэ, благополучно перевалил через горы, неторопливо уплыл дальше, на минуту весь обрисовавшись от хвоста до крылышек, и скрылся, не черно, а серебристо сверкнув за горами в небесном проране.

«Ах ты, самолет-ероплан! Посади-ка нас в карман?» — унимая забившееся сердце, радовался Аким, но тут же суеверно умял ту радость, затолкал подальше — может, это случайный самолет... забрел на Север и кружится? Зимовщиков высаживал, научный какой, может, искал кого, может, на полюс на Северный летал? Мало ли...

Но сомнения оспаривались, в голове было несогласие — начали ходить рейсовые самолеты на Хатангу, начали. Зима набрала силу, лед крепок, можно садиться на реку, на озеро. И как он запамятовал? Почему? Но откуда знать, что трасса на Хатангу проложена здесь вот, над его, Акимовым, становищем? Расспросить? Чего же спрашивать-то? Он не собирался бродить в тайге, он охотничать, работать в ней собирался.

Конечно, рейсовый самолет есть рейсовый самолет, надеяться на него рискованно, но больше надеяться не на что и не на кого.

Холодом подняло и выгнало их из палатки, когда еще небо не отбелило ни с какого края, и кичиги, как называли в древности созвездия, ледяным крошевом пересыпались в небе, над жарко нагоревшем огнем, который калил лицо, пек до боли, почти выдавливал глаза, но от мороза совсем не спасал. Аким заболтал в котелке затируху из муки и сухого птичьего мяса. Пили ее кружками пресную, недосоленную, пахнущую дымом. И, слава богу, в середке потеплело. Пока охотник в сердитом, как показалось Эле, сосредоточении с хрустом складывал оиндевелую негнушущуюся палатку и привязывал к кошевке багаж, в котелке снова натаял снег, громко заклокотало, запарило из посуды. Заварив покрепче кипяток, Аким слил его в маленький термос, остатки дал попить Эле и, что-то в себе перерубив, отверженно, почудилось, даже со страхом, произнес:

— Ну вроде бы все? Двинули!

Шли торопливо, не шли, можно сказать, бежали. Эля захлопнулась морозом, кашляла. Аким пихнул ее в возок, укрыл палаткой, с боков подтыкал, завязал шарфом рот, натянул башлык полусака, оставив только глаза, постучал по плечу, шевеля затверделыми от мороза губами: «Держись!» — и попер возок, то и дело обваливаясь лыжами в забой, увязая в валежнике, задышливо взбадривая Розку, себя ли:

— Жми, мои милые! Жми! — И сначала еще пробовал взселиться: — «Жми, Фома, деревня близко...» — Дальше там шли озорные слова: «У милашки свет потух. До нее дорога склизка, разрежь лаптей воздух!» — но договорить их у Акима не хватило дыхания. Он гнал себя, гнал собаку, а вокруг все напряженной сверкали перекаленные снега, сухо потрескивали, ахали в глуби остекленелой ночи деревья, струями текла с дерев шорохливая крупа, рыбьей чешуей бусила, клубилась миражная, сгущающая воздух сыпь, нарастала тишина, и еще холодней, еще льдистей светились цепенеющие звезды в глуби бездонного и бесчувственного неба.

Сжимало сердце, ломило уши, слепило глаза стылостью сверкающих снегов, покорностью разъединенного леса, заговоренно опустившего лапы в снег. Всякое дерево, нищенски обтрепанное, ошетиненное сучками, стояло со своей отдельной тенью, словно бы застыв в безгласной молитве о вечном терпении.

Шуршал, скрипел, сверкал под лыжами снег, надсадным дыханием рвало рты и груди Акима и Розки, кошевку накрепчивало, бросало с валежины на валежину, с кочки на кочку, полозья взвизгивали, точно раздавливая крысу, и катились дальше то плавно, то рывками. Элю охватило безразличие, думалось тупо и все о вечном, о Древнем Египте почему-то, о таинственных жрецах и жрицах и еще о вымерших в Индии городах, заблудившихся среди джунглей, о скитающихся кораб-

лях, покинутых людях и о всяком таком вот... Все земное, близкое отдалилось в пустыню стылую, смиренной ночи и тайги. Тут и себя забыть просто, и забыла бы, если б не боль, ломающая лицо, льдом сцепляющая глаза и ноздри.

— Не спа-ать! Не спа-а-ать!

Содрав лед с ресниц, Эля увидела Акима, опершегося руками о возок. Весь он в снегу, в куржаке, все на нем состылось, шуршало, дыхание рвалось, глаза в мерзлых щелях светились всполошенно, на щеках пятна млечного цвета. Эля никогда не видела обмороженных людей, но все равно испугалась — так, только так, бескровно, чужеродно может выглядеть отмирающее тело. Аким черпнул снегу рукавицей. Эля, всхлипывая, торопилась оттирать лицо охотника и, чувствуя, как ему больно, лепетала какие-то слова, просила потерпеть, рассыпала снег, черпала его; черпала. Клоня лицо все ниже и ниже, сжимая до хруста в пальцах бортник нарты, Аким матерился сквозь стиснутые зубы:

— Што ты как без рук!.. Д-душу твою! — оскалился мокрым, жженной рукавицей измазанным лицом. — Шибче три! Шибче!

И снова бежал, задыхался Аким, скребся почти на четвереньках, а возле него хрипела, взвизгивала Розка, красно пятная снег изорванными лапами; не попискивали, не крикали, не скрипели, а живым визгом исходили полозья нарты. Их подбрасывало, кренило, дергало все резче, и что-то выпало, зачернело сзади на снегу. Эля кричала о пропаже, но Аким даже не обернулся, и если оторвется нарта, подумала Эля, он тоже не оглянется, как шел, так и будет идти до тех пор, пока не упадет, — ничего он уже не слышал, не понимал, не чувствовал.

Страх, ни с чем не сравнимый страх охватил Элю, гнал ее следом, за возком и охотником с собакой. Не думалось уже о вечности, о вселенной, о затерянных городах и древних странах, ни о чем больше не думалось — все вытеснил страх. Ощущение нескончаемости пути, пустоты, беспредельности тайги подавило не только мысль, но и всякое желание, кроме одного: остановиться, прилечь возле живого, красного огня и перестать сопротивляться — все равно никуда не придешь, вернее, придешь, куда все в конце концов приходят, так какая разница — раньше или позднее?

Раз-другой покоробленные щептуны ступили на что-то твердое, каткое — кошкарник, выворотни, подумалось ей. Но вдруг блеснуло — след! Они идут по следу, несколько, правда, странному. На передухах и в забоях снег прорыло чем-то тупым, на чистине след раздвигало, виделись лыжные бороздки, собацья топанина. Горы, лось оголенных громад, зловещей воронью чернеющих над белой лентой реки, отдалились в призрачность неба: сплюснутые, они там, пластами соединялись с громадой недвижной небесной тверди.

Горы остались сзади. Значит, они их когда-то перевалили, значит, они идут к жилью, к становищу, к чуму, к рыбацкой

бригаде! Не все ли равно? Лишь бы выйти на свет, на люди. Здесь погибнуть не дадут. Ототрут, отопреют, напоят, накормят, на оленях доставят куда надо, полечат и на самолете домой, к маме, в Москву отошлют.

Да неужели они есть: мама, Москва, люди, много людей! Никогда-никогда и никуда она больше не поедет, никогда не оставит мать, пусть курит табак, пусть ругается с авторами, «спасает» их. Стало быть, Аким попал на след, потому так и торопится, загоняет себя и Розку. «Бедный Аким! Хороший Аким!»

В лесу чуть посветлело, поослаб мороз — незаметно глазу, но ощутимо лицом помягчало в тайге, деревья реже хлопали разрывно, зато сильнее хрустело, сыпалось сушье и трупелый мох-бородач, слепленные холодом в табачные папухи, шорохтели листья, и эта невидаль отчего-то тоже пугала Элю.

Остановились в неглубокой разложине, засиненной от теней ли леса, от все еще тянущегося рассвета иль от подступивших уже сумерек. Эля упала грудью на возок. Аким еще набрался сил развести огонь, навесить котелок и тоже упал на тонко набросанный лапник, который, хрустнув, раскрошился под ним. Лицо Акима в кровавых царапинах, уши вздулись, кости скул завело под глаза, косицы старчески запали. Пили чай, не экономя сахар, пили жадно, много. Руки Акима дрожали, вздутые жилы черно ветвились, ровно бы звеня от надсады, по белкам глаз растекались лопнувшие сосуды, веки набухли, вывернулись мокрым исподом, и не взгляд, не глаза Акима так дико светились ночью, а это вот набухающее мокро, под которым ничего, кроме смертельной усталости, не угадывалось.

Распечатав последнюю банку сгущенки, Аким погрел ее на огне, хлебнул пару ложек, наболтал молока в кружке и дал полакать Розке. Собачонка недоверчиво глядела на хозяйина, пошевеливая хвостом; он приоткрыл глаза: «Ешь, ешь!» И она, всегда такая робкая, забренчала кружкой, заприхлопывала громко языком.

«Правильно! Чего продукты жалеть? Придем к людям, у них все есть, и молоко, и сахар. А собачка чистая, в тайге живет, на снегу спит, дичью питается. Ей можно и из кружки. Собака — друг. Розка — друг, вдесятеро вернее иных людей!..»

Снялись. Пошли. Костям больно отчего-то, и голова болит, в ушах звон. Гнали, не останавливаясь, без передышки, отчаянно торопились. Аким начал спотыкаться все чаще и чаще, вот и упал лицом в снег, поджал под себя руки. Розка скулила, лизала его в шею, в затылок. Эля склонилась над Акимом, боязно тронула его рукавичкой. Упершись руками в снег, Аким сел, обмахнул рукавом лицо.

— Теперь иди. Сколь можешь. — Но все же он сжалился и потом, в какой-то час дня или ночи, до звона все выморожившей, слыша надсадный, хриплый кашель сзади, сорванно прохрипел: — Держись за нарту! — и, подышав, всхлипнул: — Не отставай!

Боясь отпустить от возка, Эля перебирала не своими уже ногами и не только думать, замечать что-либо, ощущать потерю способность. Кашель выбивал оранжевые вспышки в голове, валил ее на колени, тело покрылось мокром. «Погодите! Пойдите! Я больше не могу!» — волочилась она по снегу. Но ее не слышали, и она осиливалась, привставала, тащилась за кошечкой, не чувствуя уже, как смерзаются глаза, губы, мокрые от кашля, как закаменело под лопатками и совсем нет дыхания, тошнота давит, выжимает из тела холодный пот, шум и звон в голове покрыли все звуки, все шорохи, яркие круги, вертящиеся перед глазами, сожгли весь белый свет и воздух. Хоть бы глоточек, один глоточек теплого, живительного воздуха!

В бреду, наяву ли она нашла, нащупала Акима в затени, привалившегося спиной к дереву. Ветви густо завязли в снегу, получилось что-то вроде шатра, здесь как будто было теплей. Воспринималось только это да освобождение от труда, от изнурительного бега, ломающего кости. В бреду или наяву она увидела перед собой не лицо Акима, нет, не лицо — маску, вздутую, обожженную до кирпичной красноты, и по ней наземной, грибной россыпью бугрились пятна. Выставшие, згнанные глаза светились красным, разящим оком и горели одной уж только силой упрямства и злобы. Она или не она, совсем какое-то другое существо, раздавленное ужасом надвигающейся смерти, ползало возле обмороженного, расслапанного под деревом человека, тормозило его, тыкалось губами в лицо и, чуя окаменелость щек, носа, уже не просило опомниться, встать, идти, а вперебой с кашлем выстаивало:

— Прости меня!.. Прости! Прости!..

Когда-то пижоня, балуясь, забредала Эля в Елоховскую церковь на святые праздники, давилась в толпе зевая и верующих и вот теперь, на краю гибели, тужилась припомнить хоть что-нибудь из слышанных тогда молитв: «Боже, милостив буди мне, грешному, отче наш, иже на небеси... Да святится имя твое!.. Ради пречистыя твоея матери, помилуй нас!.. Отверти лицо твое от грех моих... не отвергни... Воздаждь ми радость спасения...»

Слезы вымерзли, остановился крик. Она привалилась к Акиму, обняла его, спряталась лицом в то место, где за оторванной с мясом петлей, в меховом разъеме полушубка, под мягким, заячьим, ее руками связанным шарфиком прыгало горло, толчками вздымалась грудь и слышался хрип: «Молись! Молись ишшо».

И она послушно шептала, обращая молитвы уже не к небу, а к нему, к мужчине, к земному заступнику и покровителю, который во веки веков был опорой и защитой женщине, кормильцем ее, хозяином и господином. Так было. Так есть. Так будет. Никто, кроме него; мужчины, не спасет ее, слабую женщину. Надо подняться. Надо! Надо!..

И, поражаясь таящейся в женщине неистовой жажде жизни,

он одолел слабость, поднялся, постоял на карачках, увязив руки в снегу. Оскалившись от боли, скуля по-собачьи, он выкачал себя из снега, пополз из-под дерева на четвереньках до сиющего следа. Там выпрямился, встал, шагнул, и Розка дернулась, затавкала. До этого он пинал, бил, топтал в снегу Розку-то, но она все простила воспрянувшему к жизни хозяину, который, искупая вину перед ней, перед кем ли еще, волок теперь и ее и Элю и не мог уже ни кричать, ни материться, только хрипел погибельно, и хрип этот и был криком, что еще поддерживал его, не давал упасть.

Розка к чему-то принюхалась, ту же натянула лямку, еще длиннее вывалила язык и зачастила, зачастила кривыми лапами, до мяса иструганными снегом и глызами. Аким, не сбавляя хода, обернулся — руки его сцеплены на лямке, из-под которой выбивало пар, полушубок распахнут, шарф волочился по снегу, он приступал конец шарфа: «Падай!» — мотнул головой.

И, зная, что приказание не повторится, сразу поняв, чего делать, не думая об Акиме и Розке, о том, как они ее повезут, не жалея их, а радуясь своему счастью, Эля опрокинулась в забитый снегом возок.

Ход нарты замедлился, она почти остановилась, но в струнку вытянутые человек и собака все же тащили — не возок, а непосильный груз — куда-то ввысь, в гору, и она сжалась в кошевке, в себе, чтоб быть меньше, легче, чтобы хоть как-то помочь человеку и собаке. Пыталась снова молиться, но не могла уже вспомнить не только молитвы, даже единой церковной фразы. Из скованного каленой стужей рта выталкивалось только: «Боже!.. Боже!.. Боже!..»

На припорошенном чистым, новым снежком пороге избушки, разбросив руки, врасшеперку лежал человек с лямкой и ружьем через плечо. За поясом его блестел топор. Человека рвало. Собака с игрушечной шлейкой на худом, ребристом тельце, со вдавленной на плечах шерстью торопливо и угодливо обихаживала крылечко и попутно лицо хозяина розоватым, ловким языком.

Дверь избушки заперта таяком, у стены сухие еловые слепи, источенные короедом, на них навален лапник — для ухоронки. Возле двери на бревне стес, все еще желтоватый. На бревне когда-то кривлялась черными каракулями матерщина. Таяк, с которым ходят на охоту, — палочка такая струганая, в деревянную скобу продернута и концом уперта в подгнившую укосину двери лесного зимовья. Кончик трубы над крышей, прогорелый до дырок; дрова под навесом, чтоб не заматало, тропка, пробитая к речному спуску, и следы, много следов, сделанных криво сношенными валенками, и торопливый, густой собачий след, будто набросанный ветром мятый лист.

— Ты куда меня привел?

Человек не хрипел уже, не корчился на крыльце, он сидел на приступке, отплеываясь, отдыхивался.

— Ты куда меня приве-ол?! — Эля с неожиданной силой схватила спутника за отворот полушубка, дернула его с крыльца, затрясла, заколотила кулаками в грудь.

Он сморенно смотрел на нее, ничего еще не понимая, но вот решительно отстранил ее рукою, снял с себя состышшуюся лямку, распряг собаку. Высвобожденная из шлейки, она встряхнулась, стала кататься по снегу.

— Ототри мне лицо, — зачерпнув снегу рукавицей и протягивая Эле, приказал он, — да не царапайся. Больно.

Подавленная его спокойной властью, Эля покорно оттирала лицо охотника, сдирала шляпки бледных, обугленных по краям грибов-поганок, но нутро ее наливалось теменью, клокотала в нем злоба, какую она в себе не подозревала.

— Ему больно! Ему, видите ли, больно! — начала она придушенно. — А мне нет? — завизжала вдруг: — А мне нет?! — И начала хлестать рукавицей по лицу, еще бесчувственному, неоттертому. — Гад! Гад! Гад! Ты куда меня привел?! Я к маме хочу! К маме! В Москву! Гады! Гады! Гады! Все гады! Что вы со мной делаете? — Рукавица улетела в снег, и она била его со щеки на щеку усохшей до костей рукою. — Я умру здесь! Подохну! Я не выдержу! Не выдержу-у-у!

Аким поймал сначала одну ее руку, потом вторую, сжал так, что она задергалась подранком. По подбородку из разбитой губы текла кровь. Он вытер губы, посмотрел на ладонь и придушенным шепотом вытолкнул:

— Оне свою только боль слышат, свою только жись ценят! — И с небывалой, слепой яростью заорал тоже: — Не выдержишь?! Сдохнешь! Песцам скормлю такую сладенькую! Хоть какая-то польза! Нет, еще разок услужу: закопаю рядом с хахалем! Там! — Он ткнул рукой в сторону Эндэ. — Чтoб не скучно... Ну-ка! — отпихнул ее Аким с дороги. — Путаеся то-ко под ногами! — Он принялся выдергивать из возка рюкзак, вынул котелок, набил его снегом, свежим, белым снегом, соскребая тонкий его слой с поленицы, а кровь все сочилась из губы, тянулась ниточкой по подбородку, путаясь и насыхая в торчках обмерзлой бородки, и он слизывал, слизывал с губы кровь, которая не свертывалась на морозе. Эля видела на бели его зубов красною плавающую пленку, и ее нудила тошнота. Проходя мимо нее к дверям избушки с котелком, набитым снегом, в одной руке и с горстью желтой бересты в другой, он ровно бы споткнулся о девушку в неуклюжей, обмерзлой одежде, синюшно-бескровную, по-щенячьей дрожащую, но все такую же упрямо-злую. — Не угодно ли войти в помессыне! — Бросив бересту, Аким схватил ее за шкурку, будто кутенка, и поволок к избушке, матерясь с такой неистовостью, что она испугалась; засеменила.

Дверь зимовья крякнула, заскрипела, и Эля полетела в глубь выставшей избушки, ударилась грудью о низкий столик,



сползла на пол. Так она и стояла на коленях, положив руки на столик, лицо на руки, и слышала, как хозяин брэнчал поленьями о печку, чувствовала, как поплыл по избушке густой дегтярный запах разгорающейся бересты, как обрадованно трепыхнулась и загудела печка. Скоро зашипел на ней снег, подтаявший в котелке. «Чаю бы скорей. Горячего! Горячего! С сахаром!..» — подумала Эля и сглотнула слюну, но слюна не смочила горло, застряла — так в нем было сухо.

И пока растоплял печку Аким, таскал манатки с улицы, ходил взад-вперед, все он ругался, но уже не люто, и не ругался, а ворчал:

— Капризулечки! Купоросочки!.. Спасибо, што дошли! Не знаю, какому угоднику и свечку ставить. Съели бы нас зверушки, готом с тех зверушек шкурки бы содрали таким вот цацам на воротники да на шапки!.. Нас-то бы съели — туда и дорога! Розку жалко! Она-то, бедная, за што страдат? Ее-то за што стравили бы? О-о-ох, падлы! О-о-о-ох, падлы!

Розка, напуганная руганью, но еще больше убитая дорогой, распластанно лежала за печкой на дровах, однако, услышав свое имя, нашла силы поднять голову.

— Спи, собаська! Спи! Отдыхай! — приласкал ее Аким. И столько было нежности в его голосе, что в Эле снова начала вскипать обида: она хуже собаки!

От печки донесло тепло. «К печке надо, к печке!» — и, перебираясь по нарам, она, как слепая, попользавшись к печке, нашарила за нею Розку, обхватила ее руками, уткнулась лицом в густую шерсть, не различая уже того запаха псины, который когда-то так трудно переносила. «Собачка ты моя, собачка! Собачка ты моя, собачка!» Пронзающая жалость душила ее, расслабляла, убаюкивала.

Проснулась она от грубого, сильного толчка и почувствовала, как ей сыро, жарко, душно, как больно рвет лицо, как горят и отходят отерпшие руки, ноги, как ноет все тело.

— Поедим, што ли?!

Больше Аким с нею не разговаривал, да и в избушке, кряхтящей от лютого, ошеломляющего мороза, появлялся поздно ночью, ел, чего ему давали, пил чай, захлебываясь, стеной, и опрокинувшись на топчан, тотчас же засыпал, уставив вверх заостренное, серым мохом подернутое лицо. Эля топила печку, варила еду, закрываясь ладонями, кашляла, лечила себя наварами мерзлой брусники и таблетками, которые Аким выложил все разом на стол: «Хочешь жить — лечись!»

Еще осенью Аким облазил грозным валом обрушенный лес на Эндэ, за тем обмыском, на котором царил старый кедр, и вот пластался в нем, ворочал сушняк, возил его на обмысок, возле которого, под кедром, не ведая бед и печалей, спал теперь уж воистину свободный человек Георгий Герцев. Морозы, как водится в Приполярье, сменяются метелями — затяжными,

свирепыми, совсем тогда гиблое время наступит. Аким торопился до сеговалов запалить большой костер, придавить его ворохом сырых ветвей, чтобы выше и гуще стоял дым. То, до чего он не мог додуматься прежде, что пришло ему в голову там, на осередыше, когда он, глядя с вышины на курящуюся зимним паром реку, потому, видно, и названную Курейкой, услышал и увидел рейсовый самолет, вселяло веру: пилоты, раз в сутки пролетающие над становищем, заметят, не могут не заметить дым постоянного костра.

И пилоты, на то они и полярные пилоты, не сразу, не вдруг, но обратили внимание на настойчивое, тревожное свечение костра даже в ночи и сделали из авиаотряда запрос по всем местным радиостанциям: есть ли кто в квадрате номер такой-то на среднем отрезке речки Эндэ?

— Есть! — откликнулись радисты Охотсоюза.

Над обмыском, помеченным темной вехой одинокого кедра, морозно хрюкая, снизился вертолет, сбросил на веревке сумочку, в которой была походная аптечка, суточный запас продуктов и записка с вопросом: «Что случилось?» Аким сунул в сумочку заранее приготовленную писульку: «В зимовье тяжело больной человек. Прошу помощи». В ответ ему, уже без веревки, в той же сумочке сбросили записку: «Выполняем срочный рейс. На обратном пути возьмем. По возможности означьте посадочную площадку».

На этот случай нарублен штабелек темных ольховых жердей. Аким выложил их на снегу квадратом. Получилось что-то вроде загона, куда попал почти весь пологий обмысок с кедром и незаторошенная забережка Эндэ — лучшего места для посадки в этом кошкарном, забуреломленном и каменистом углу не искать.

На той же полуразбитой нарте, у которой сострогало снегом, глызами и пеньями-кореньями полозья до бумажной тонкости, кашляя, отхаркиваясь, вез Аким Элю к месту посадки вертолета. Был он мрачно-молчалив, лица его уже не узнать, так обморожено, что короста наслаивалась на коросту. Но нахохленно сидящая в возке спутница не испытывала уже ни злости, ни жалости к своему спасителю, да и к себе тоже. Покинув избушку — по ней она передвигалась с трудом, худая, с восковым, желтым лицом, которое голубой пустотой пронизали глаза, она беспрестанно покашливала и громко, с мучительным стоном отхаркивалась в снег густой мокротой, перепутанной кровавой паутиной.

Аким же хотелось спать. Спать, спать и ничего больше не видеть, не слышать. Не слышать, как жжет, раздирает водянисто налитое лицо, как ломит надсаженные кости, как стоном стонут наспех замотанные грязными бинтами руки. Стариковский согбенный, он едва волок себя и нарту, и когда достиг обмыска, помог Эле доплестись до кедра, усадил подле огня, в заволочек, сам опустился на корточки и, зажав лицо, качался над огнем.

— Может, попроситься желаш? — не отнимая рук от лица, тихо спросил он. — Попутчики все же были...

Эля мотнула головой, соглашаясь или отказываясь, но с места не стронулась, и, когда над ними завис и затем опустился в загон небольшой пузатенький вертолет, выдув снег до песка, она все сидела пеньком. Аким помог ей подняться от костра. Медленно, как будто и без радости уже, Эля направилась к распахнутой дверце вертолета, в которую выглядывал молодой, лучащийся приветливостью пилот. Он спустил железную лесенку, и, подняв на борт поддерживаемую охотником женщину, сказал: «Добро пожаловать, таежники!»

Ухватив за ошейник легонькую, мышкой трясущуюся собаку, тощий рюкзак за лямки, Аким неуклюже полез в вертолет, стараясь не уронить скулящую, упирающуюся, царапающуюся о металл когтями собаку. Вбросив ее и рюкзак в машину, Аким поискал глазами — куда бы отсесть подальше от спутницы, но сиденья все, кроме двух, были наклонены спинками вперед, и он воткнул себя рядом с нею на мягкое. Пилот хмурился, собираясь, должно быть, сказать чего-то насчет собаки, но Розка успела вползти под сиденье, втиснулась головой меж ног хозяина, украдкой лизнула его ладонь, не забывая, дескать, меня, и я тебя не забуду, однако Аким ничего уже не слышал, не воспринимал. Он уже спал.

Вертолет затрещал, подпрыгнул, выправился и потянул высоко над лесом, к устью Курейки, взьерошенной на страже торосами. Машину покачивало, когда она резко взмывала над вершинами утесов. Молодой пилот, продолжая чему-то лучезарно улыбаться, принес из кабины флакончик с гусиным жиром, потряс за плечо пассажира:

— Эй, друг, намажься... — Аким не отзывался. Лицо его завалилось меж сиденьями, из открытого рта с сипом, с клеко-гом вырывалось задущенное простудой дыхание.

— Дайте я, — протянула руку Эля и осторожно, одним пальцем принялась смазывать на еловую кору похожие коросты на лице Акима, гниющие заушны, нос.

— Не жалейте, не жалейте! — кивая пилот на флакон с мазью, и, потоптавшись, крутнул головой. — Ну и прихватило вас! Вы кто? Откуда?

— Долго рассказывать! — Эля вымученно улыбнулась, показывая на потолок грохочущего вертолета. — Нет сил, извините. — И перекрывая шум, прокричала еще, возвращая пухляк с мазью: — Только разбередила! Спасибо! Большое спасибо! — и тоже отвалилась на сиденье, прикрыла глаза, чтобы пилот скорее отлип с расспросами.

Если бы Аким не спал, он с удивлением обнаружил бы, что летят они не в Туруханск, не в Игарку, тянут они над Курейкой, спрямляя ее криули, к давно заброшенному поселку и садятся на разгребенный в снегу аэродромишко, возле которого одиноко темнеет корявая листовка одной мохнатой лапой. В листовке, до загибов вросшие, рыжеют крячья, всверленные

еще в тридцатых годах, на них висят прогнутые провода, толсто обросшие изморозью. Они свадебными вожжами держат, не дают убежать, скатиться в реку косоугольному барачу, отстроенному из заплотника, — здание аэропорта срублено тоже в тридцатых годах. Черен, выветрен баракишко, зато новые в нем рамы, подпорки, заплаты на крыше белые, и новая труба струит дымом из снежного забоя. На лиственке, на вершине болтается «кишка» с продраным ветрами дном. Поселок на отшибе сбегался в кучу, сгрудился вокруг недавно срубленного помещения с вывеской, и все дома в поселке подколочены, подлажены, подлатаны, дымятся трубами, везде трещат трактора, ходят машины, горит электричество. С удивлением узнал бы Аким, что поселок этот забит до отказа мастеровым, рабочим и инженерным людом.

На Курейке, на пустынной Нуме-Люме люди ладились строить гидроэлектростанцию.

Поселковый фельдшер, старомодно-учтивый, судя по носу и суетливому поведению, крепко пьющий, осмотрев и обстукав Элю, без провинциального важничанья, простецки-откровенно удивился:

— Парень-то, что в его силах-возможностях было, делал правильно, — и не без гордой значительности молвил еще: — Таежная наука! Ну-с, дела ваши, прямо скажем, неважные. Ни лететь, ни ехать пока вам нельзя. С недельку я вас, извините за смелость выражений, в больнице полечу, оживете маленько и, благословясь, домой, к маме, в Москву. А там и пиво, там и мед, миллион врачей живет!.. — Эля кивала головой, выжидая момент спросить про Акима, но словоохотливый, как и многие северяне, фельдшер упредил ее: — Спаситель ваш больниц не признает, лечится таежным способом — гусиным салом, баней, веником...

— И вином...

— Умеренно. — И, куда-то в пространство глядя, думая о чем-то своем, фельдшер добавил: — Э-э, что вино? Лучше воду пить в радости, чем вино в кручине. А парень в тайге был, замерзая, по людям стокривался.

В аэропорт Аким пришел трезвый и скучный. На людях держался скованно, курил почему-то в кулак, смотрел все время в сторону, шмыгал простуженным носом, вытирал его ладонью, но, спохватившись, извлекал серенькую тряпочку, промокал ею облезлую, малиновую кругляшку носа, свертывал по-птичьи голову, пряча в воротник продранного на локтях полушубка то одно, то другое до мяса выболевшее ухо. Ознобленное лицо его поджило, но все еще заляпано серой, на куриный помёт похожей мазью, треснутые губы он облизывая, скусывая с них пленки кожи. Выветренный, исхудалый, на свету «пана» выглядел величиной с подростка, и взрослая одежда: шапка, полушубок, брюки, сползшие на валенки, — все на нем висело, болталось, заношенный шарф серой кишкой вывалился из отворотов полушубка... Краснота еще не вся

выцвела в глазах Акима, а там, где выцвела, стояло мокро. Ветром отжимало мокреть в углы глазниц, и она там бело смерзалась. Весь «пана», такой уверенный, разворотливый, умелый в лесу, не то чтобы жалкий был, а потерянный какой-то, до крика одинокий, всем здесь чужой, никому не нужный.

— Ну что ты куришь и куришь? Век не курил! — не зная, что делать, что говорить, сморщилась Эля, глядя на желтую ветку лиственницы. В сером воздухе, в потухших снегах, в пепельном свете дня летела куда-то нарядным крылом солнечная и такая живая ветка — не успев облететь, хвоя осенью примерзла к дереву на сыром ветру, и оттого живую выглядела ветка — она и дым над трубою только и были живые.

— Тебе пора! — тронул Элю за рукав Аким, кивая вслед мимо проходившим пилотам и семенящей за ними кучке пассажиров, в то же время решая: обнять или руку подать Эле? Руку вроде бы неловко — не чужие. Неожиданно для себя, перейдя на «вы», он заговорил, ворочая валенком снег: — Извините, если что не так...

— Что ты! Что ты! — погладила Эля рукавичкой по отвороту его полушубка и задержала руку, как бы поощряя его быть смелее.

— Выражался когда... некультурность, конечно, — стоял на своем Аким, — так што извиняйте за нескромное мое поведение.

Перед тем как уйти, он сунул ей в рукавичку какой-то комочек. Оказалось, то сжульканная, потная от руки пятерка. Эля хотела отказаться, мама, мол, встречает в Красноярске. У нее деньги, одежда теплая, у нее все есть, но язык не поворачивался отказаться от денежки, которую Аким у кого-то перехватил, чтобы в Красноярске она не ездила на автобусе, — на такси чтоб, а то продует. Ей теперь надо шибко беречься...

— Ох, Акима, Акима! — Мороз стискивал горло, перехватывал дыхание. — Ах, Акима, Акима! — От самолета махали рукой, но Эля никак не могла заставить себя стронуться с места. Ей тоже хотелось в чем-то покаяться, за что-то попросить прощения, а как это сделать, какие слова сказать — она не знала. Скорей бы все кончилось! Ждала терпеливо, ждала, чтоб Аким ушел первым — ей неудобно первой-то, не мучил бы ее неуклюжей вежливостью, за которой угадывалась пугающая недосказанность. — «Ах, ты боже мой! — чувствуя, что сейчас она не выдержит, старомодно упадет ему на грудь и разрыдается, стонала Эля: — Да что же мы такие одинокие, старые!.. — А губы, сморщенные болезнью, изветренные и тоже шелушащиеся, все повторяли и повторяли: — Ох, Акима! Акима!..»

Внезапно она накололась на его виноватый и в то же время напряженный взгляд, услышала себя и, прикрывшись изогнутой, костром пахнувшей варежкой, сорвалась, побежала к самолету. И от катыша ли пятерки, от дыр ли на варежках у нее отерпли, занемели пальцы правой руки, на бегу она

кашляла, плакала ли в рукавицу — не понять. Вихлясто поднялась по лесенке, все повторяя: «Ох, Акима! Акима!..», в самолете она ткнулась лицом в сиденье, и, когда прокашлялась, отдышалась — работали уже моторы, поныривая на неровностях, самолет вислозадой птицей ковылял от избенки с аэропортовским полосатым сачком, выползал из разгребенных сугробов на взлетную дорожку.

Эля приникла к матово-белому стеклу, дышала на него, терла рукавицей. Она упрямо искала глазами Акима, уверенная, что он одиноко торчит на холоду и ветре, среди снежного поля, заранее проникаясь к нему и к себе жалостью, но ни на поле, ни на притоптанной, заплеванной, заброшенной окурками площадке никого уже не было. Сбив самолет, обслуга аэропорта и всякий другой люд поскорее юркнули под крышу.

Что-то или чем-то неприятно задело Элю, она еще раз обшарила взглядом поле, обежала им аэропортовскую избушку, еще раз зацепилась глазами за желтенькую блестку листовичной ветки. «Ну и ладно! Ну и хорошо!» — дрогнули у нее губы.

В это время самолет выровнял ход, приостановился, распаяя себя ревом, дрожа от напряженности или страха перед пустым пространством, и Эля встrepенулась, дернулась: от реки, через лог, изрытый траншеями, котлованами под строения, к поселку, сплошь испятнанному ямами под столбы, спешил человек, прикрываясь от ветра воротом грязно-желтого полушубка: «Аки-и-има-а-а! — с упоенной и неясной тоской выдохнула Эля, плотнее приникая к холодному стеклу и смагивая с ресниц слезы. — Аки-има-а-а!»

Снег с дороги сгребали бульдозером, наворочали по обочинам пегие хребты, и человек то пропадал за ними, то ненадолго возникал. Сумерки, занявшиеся за тайгой и горами, давно еще занявшиеся, может, осенью, может, век назад, вбирали в себя одинокую фигурку в полушубке, и еще до того, как самолет взмыл в низкое небо, прячущий лицо в воротник, скорчужившийся на ветру человек, призрак ли, бредущий навстречу себе, растворился в смутном предвечерье. И поселок, и щетина леса за ним погружались в глубину серой ночи, лишь лепестки древесных белых дымов цвели, высовываясь из зева труб, загнутые все в одну сторону, да гребешок сухих вершинок тлел и никак не истлевал в слабеньком свете дальнего призрачного заката.

С ночи не унявшаяся, постоянная здесь пурга, весь снег перетрясшая, что-то еще находила в сугробах, выбивала из них горсть-другую белого буса и тянула белые нитки наискось, через взлетную полосу, через лог, через дорогу растягивала, прятала, сучила их на острое веретено зимы. Снег, пустота, ветер, метель — сколь ни живи здесь, никогда к ним не привыкнешь. Только и согревает людей мечта о весне, о лете, и чем затяжней непогода, чем пробористей морозы и ветра, тем сильнее ждется распогодица, солнце и тепло.

## НЕТ МНЕ ОТВЕТА

Никогда  
Ничего не вернуть,  
Как на солнце не вытравить

пятна,  
И, в обратный отправившись в путь,  
Все равно не вернешься обратно.  
Эта истина очень проста,  
И она, точно смерть,  
непреложна.

Можно в те же вернуться места,  
Но вернуться назад  
Невозможно...

*Николай Новиков*

Всякий раз, когда улетаю из Красноярска и самолет, уцеленный носом в пространства, подожжет, понервничает, доведет себя до ярости; взревет диким жеребцом и рванется с Покровской горы, я вновь обзираю родные места. Судьбе угодно было сделать мне еще один подарок — пролетая по скалистому коридору Енисея, самолет иной раз проходит над моим селом, и мне почему-то всегда кажется: вижу я его в последний раз и прощаюсь с ним навсегда.

Но пока сверкнет зеркально навстречу река, прочертится ниточка бон от Усть-Маны до Базаихи, зачернеют карандашики бревен, впаявшихся в стальную твердь воды, и наплывет родное село, я провожу взглядом город, который становится шире, многодомней, шумней, дымней и чужеватей мне.

Странное совпадение, но первые мои отчетливые воспоминания об этом городе связаны с рыбой! Там, где сейчас центральная площадь города и вечерами горят на ней шикарные светильники, гомонил когда-то, скрипел мерзлыми санями, гремел коваными телегами базар, обнесенный деревянным забором, побеленным известкой, и всякая телега, коснувшись тсго забора, показывала, что земли кругом черные.

Людны, обильны были здешние базары! Народ съезжался, будто на праздник. Дешевизна тут утвердилась издавна. Приведу несколько выдержек из книги Петра Симона Палласа, имевшего титулы: «Медицины доктора, натуральной истории профессора; Санкт-Петербургской императорской академии наук и Вольного экономического общества, Римской императорской академии, Королевского Агленского собрания и Берлинского естествоиспытательного общества члена...»

Профессор Паллас побывал в 1772 году в Красноярске, и, отметив, что «нет почти другого места, где б воздух был так в беспрестанном движении, как здесь», маститый ученый переходит к экономическому обозрению губернии: «Вокруг Красноярска чем более урожаю, тем жить дешевле, да я и совершенно уверен, что хотя в благополучной сей империи России нет ни одного уезда, где б на дороговизну жаловаться было

можно. Однако ни в которой части сего государства земные продукты так дешевы не находятся, как здесь... О всеобщем недороде, кроме обыкновенно хорошей жатвы, здесь не знают и примеру... Красноярские жители знатную при том прибыль получают с островов, по Енисею лежащих, особливо около Абаканска и выше, где множество растет дикого хмелю, за которым многие осенью туда ездят и, сплавив на плотах в город, продают от пятидесяти копеек до рубля за меру. (Пуд ржаной муки стоил в ту пору две копейки, пшеничной — по четыре с деньгою.) По большей части с лучшей прибылью отвозят его (хмель), в Енисейск, Иркутск и по другим местам, по Тулгуске, где хмель не родится. Изобилие его и дешевизна хлеба подают красноярцам повод ко всегдашнему содержанию бражки и быть веселеньку.

«Быть веселеньку!» — желание сие, укрепляясь в пути, пробилося сквозь толщу времени. Шумел базар, гулял базар, и не хватало на нем рядов. Торговля с возов, на берегу — из барж и лодок, рыбу продавали бочками, попудно свежую и соленую, вяленую и копченую, мороженую и сушеную, красную и белую, «низовскую» и «верховскую», большую и маленькую — на всякий вкус и спрос.

Но сражен я был не базаром, не изобилием и многолюдством его, а бурой скалой, что стояла в рыбном магазине, и под скалою, слабо со дна освещенная, плавала живая стерлядь. Рыба, плавающая в дому, — это не для рассудка деревенского дитяти! Магазины тот и сейчас стоят там же, где стоял, на проспекте Мира. Был он прежде потеснее, потемнее нынешнего, шибко кафельного, с современными холодильными установками, с нарядными витринами, без постоянной рыбной бои в помещении.

Даже и не верится, что это тот самый магазин, где царственно плавала живая рыба и запыхавшийся чалдон, уцелив глазом стерлядь, решительно указывал перстом: «Энту!» Мужчина в кожаном фартуке, с долгой папирской во рту, тут же отзывался: «Эту дак, эту», цеплял сачком стерлядку и заваливал ее на весы. Рыбина протестующе бухала по тарелке хвостом, мужик в фартуке норовил ее придержать. Покупатель в протест: «Э-э! За пальцы не плачу!» — «Вешай тоды сам!» — продавец отымал руку. Стерлядка плюх на кованный прилавок, шлеп на пол и ворочается, валяется. Продавец, в порядке протеста, на ящике сидит, нога на ногу. Народ в ропот, покупатель в отступ: «Уж и слова не скажи! Я ить не от сердца...» — «А от ково тогда? Я, знашь, скоко этой рыбы перевидал? На Хатанге, на Хете бывал, в карских водах...» — «Дак известно, худого человека за прилавок не поставят». — «Но и мошенники середь их попадаются тоже!» — «А где их нету, мошенников-то?»

Труда, и немалого, стоило бабушке выманить меня из скалочного рыбного магазина, тем только и взяла она, что сахарно-мороженого посулила, кругляшок о две половинки: внизу.



земляничный, сверху козырем — белый, сладь, аромат, холодок так вот тебя всего и пронзают, от языка до самой дальней кишки. Против этого лакомства и нынешние, балованные ребятишки не стоят, а где уж голоштанной деревне? Я и пробовал-то мороженое в детстве всего несколько раз, когда попадал в гости к дяде Кольче-старшему.

Весной тридцатого года дядя Кольча-старший сколотил салик, погрузил на него барахлишко, приставил к передней потеси бойкую жену Талю, сам ударил кормовой и отбыл из села. Обосновался он в городе за речкой Качей, на улице Лассалья, где строились в ту пору все, кому хотелось и как хотелось, и песню тогда же сложили: «Я на Качу еду — плачу, с Качи еду — веселюсь!..»

Все менялось вокруг, бурливо двигалось вперед, лишь дядя Кольча-страший никуда больше не двигался и не менялся, как жил натуральным хозяйством в деревне, так и продолжал жить: корова, конь, свинья, куры, собака, телеги, погреба, заплоты; даже ворота задвигались на ночь заворинной, и в избе была деревянная заложка. Рубахи носил дядя Кольча на косой ворот, шаровары на пуговицах, не пустил ни одного городского слова в обиход, только сделался с годами обликом и в голосе грустен да шибко изворотливым стал. Тетя Таля провела свою жизнь на базаре, реализуя продукцию личного хозяйства. Жили супруги чудно: торгуют, выжимают каждую копейку, прячут друг от друга деньжонки, да ка-ак загуляют! Широко, шумно — и все накопленное прокутят.

Тетя Таля числилась за Качей кем-то вроде прокурора. Она тут знала всех, и все ее знали. И не раз случалось: вытащат у кого деньги или что ценное с возу унесут, торговый люд советует обратиться к Онике — так звала любимая крестница тетю Талю, и так почему-то кликали ее на базаре.

Идет пострадавшая по-над Красным яром, к которому пристиснута одним боком улица Лассалья, вопит о пропаже, тетя Таля в соображение: «Так-так-так! Да не ори ты, не ори! Сколько денег-то было? Четыре ста? Где ты экую прорву денег взяла? Корову продала! Вот так молодцы! Укараулили дыроту! Где деньги лежали? В боковухе? Во что завязаны были?» — «В платок». — «Булавкой прицепляла?» — «Прицепляла». — «Ну так это Толька Прищемихин! Он, он, собака! Из-под булавки ни Чужовским, ни Цигарям, ни Худухому не взять. Нет, нет, девка, не взяты! Толька это. Толька! Золотые руки! Любой ему замок, механизм ли нипочем, об кармане и разговору нет. Спец! Ох, спец! Погоди-ка, девка! У нас «Марей» с Северу ковды пришла?» — «Третьеводни». — «Стало быть, не вклепалась я. Гляжу, знакомый парень по базару шастает. Здравствуй, говорю, Толька, думаю, или не Толька? Ему еще год отбывать. А он в мокром забое волохал. Зачеты. Вот и прибыл, не убыл! Ах ты, вредитель народа!..»

И отправлялась тетка Таля по известному ей адресу. «Толь-

ка дома?» Мать-горемыка сморкалась в передник: «Куда он деватца? На сарае спит». — «Пьяный пришел?» — «В дымину. И кустом на ем новый, и хромовы сапоги. Опять, говорю, за старое? А он меня с большой-то матери...»

Тетя Таля поднималась по шаткой лестнице на сеновал, дергала дверь. «Только, а Только! Ну-ко вставай-подымайся! На зарядку отправляйся!» — «Чё те, тетка Оника?» — «Ты взял вчера четыре ста?» — «Ну, взял, а чё?» — «А то, что у своих берешь, бессовестная морда! Это Агафья Заварухина из Базаихи, племяннику Гешки Еловских свояченица...» — «Кругом родня! Скоро и щипнуть неково будет!..» — «И не щипи! Занимайся честным трудом! А нет, дак поезжай на злобинский базар или еще куды подальше!» — «Есть ковды разьежжать? Душа изнылась, жгучей жизни просит!» — «Ско-ко пропили?» — «Было время шшытать». — «Давай суды. Я сошшытаю».

Садилась рядком на лесенке — закачинский «прокурор» и заспанный, насупленный щипач, пройдоха и драчун. Босой и мятый, он почесывался — сеном накололо, шурысь, глядел на Покровскую гору, на одиноко в выси плавающую часовенку. На лице его, черченном «мойкой», чувства вины и раскаянья отсутствовали.

«Ах вы, собаки, собаки! — хлопала себя по юбке тетя Таля. — Вот как погуляли! Семьдесят рублей уторкали и не захлебнулись! Вот чё значит не свое! Швыряйся, рассевай по ветру!» — «Чё теперь делать-то?» — «Чё делать, чё делать? На вот, для круглого счету тридцатку — похмелись, да этим-то местом думай, у кого брать! — брэнчала тетя Таля кулаком по «котелку» щипача. — Я покуль из своих вложу...»

И отправлялась тетя Таля к Агафье, родне чьей-то родни, чтобы с миром отпустить ее из-за Качи. Агафья оземь лбом, «прокурор» ей назидание: «Другоредь рот-то ширше отворяй!..»

Еще до войны базар из центра города отнесли под гору, к самой Каче, и жизнь тети Тали значительно облегчилась. Она там пропадала с утра до вечера, стойко биясь за каждую копейку; дядя Кольча добывал корма, обихаживал скотину, развозил по уличным торговым точкам с пивзавода квас и пиво, за что на заводе ему выписывали барду и отходы для скота, а торговли, все наперечет знавшие его, до того «накачивали» на своих «точках», что к вечеру он уже отдавался на волю коня, и тот свозил хозяина под гору, домой.

Больше десятка лет уже покоится дядя Кольча на покровском кладбище, а тетя Таля все не может без него. Волоча опухшие ноги, поднимется в гору, крошит хлеба, яичка на могилку, польет землю кваском, сама пожует чего-нибудь и скажет: «Ну вот и поели мы с тобой, Коленька».

Умер старый базар и нравы его, но жива старая Кача и закачинская «Нахаловка».

В позапрошлом году, заблудившись за Качей, я встретил женщину, которая ревмя ревела, отыскивая какую-то контору,

■ не только не нашла ее, но и надежду потеряла выйти из здешних закоулков и лабиринтов, из скособоченных хибар и домишек.

Мы пошли с той женщиной меж высоких заплотов по на-топтанной тропе, попали в чей-то огород, из него во двор, где старуха варила кашу на печке-временке, возле ползал ребенок, пурхались куры. Перемахнув через перила, увезенные из центральной части города на изгородь и еще хранящие красные и желтые полоски, мы уже слышали близко улицу Брянскую — так ныне зовется бывшая Лассалья, как вдруг оказались в тупике. Женщина наполнилась негодованием, но тут обнаружилась оторванная доска. Мы ее отодвинули и оказались в ограде, среди которой безмятежно спал парень в нейлоновой рубаше, его обнюхивал и облизывал здоровенный пес. Увидев нас, пес сначала оторопел, не веря своим глазам, что вот мы своими ногами притопали развеять скуку его быта, и, не рыча, а со сладострастным заглотом всхлипнув, он покатило кольцо по натянутой проволоке, на ходу поднимая шерсть на загривке, оскаливая желтые зубы, дабы дать нам и всем понять, что к службе он приставлен не напрасно.

Встретив меня, тетя Таля засуетилась, но больше уж руками да языком, ноги худо действовали, однако стопку водки в подстакана объемом хлопнула в честь гостя и поцеловала доннышко с закоренелой лихостью: «Знай наших!»

На дворе ни скота, ни живота, даже собаки нет. Трава по двору пошла и беззвоник. Навозил дядя Коля с сеном семена. Они лежали в земле, притоптанной скотом, и вот взошли и ну расти, ну буйствовать! Девять берез, одна краше другой, самосевки — деревца крепче сажёных. «Душа Коленькина белой березой взошла!» — роняя слезы, говорила тетя Таля.

Той минутой в голове у меня возникли строки малоизвестного, трагически кончившего свой путь поэта Алексея Прасолова — его ценил и печатал Твардовский: «Что значит время? Что пространства? Для вдохновенья и труда явись однажды и останься самим собою навсегда».

... Как долго кружила моя память над городом, а лету — минуты. Чуть было станцию не прозевал, и не столь уж станцию, сколь блокпост. Вроде бы не у места, лишне торчит он и белеет среди перевитых меж собою, сверкающих железнодорожных ветвей. Но самое это нужное, самое необходимое помещение — сердцем станции был когда-то блокпост. В нем пульсировали живой кровью тока, переливались сосуды, трепетали, музыкально позванивали струнки проводов, моргали на щитах лампочки то зловеще-красным светом, то лесным, зеленым глазом лешего, то мертвенно-белым, то фиолетовым, привычным нашему брату, будущим маневровым работникам. Перемигивались сигналы, гудели, пощелкивали, попискивали приборы, приборчики, с грохотом перекачивались рычаги блокировки, ползали серыми змейками никем вроде бы не управляемые тросы и тросики — туда-сюда, туда-сюда. И то ве-

село; с шуточками, то отдельно, с металлическими, властными нотками в голосе командовал в селектор диспетчер, ни с того вроде бы ни с сего взрывался, зачем-то оборачивал фуражку задом наперед: «Ну, шестнадцатый! Ну, шестнадцатый! Ты у меня достукаешься! Сейчас же чтоб тысяча второй был подан на девятую! А с девятой — это тебе в наказание! — забереешь порожняк! Угля нету? Заправляться пора? А хоть на пегой паре порожняк вынь на горку! Вынь, и все! Все, все!» — и водворял фуражку на место.

Любезная сердцу напряженная жизнь товарной станции, работа военного периода...

«А кто, орлы, на мелькомбинат?» — перед фэзэсшниками-практикантами, навалившимися спинами на теплые, банно шипящие батареи и сплошь в тепле закемарившими, с пятки на носок, с носка на пятку раскачивался диспетчер, и вид у него такой, будто он держал за спиной булку с маслом. Мы все разом вскакивали и руки по швам. Рты наши распахнуты счастливой улыбкой потому, что поездка на мелькомбинат — подарок, да еще какой! Там, пока на стрелке скидывали и подбирали порожняк или пломбированные «пульманы» с муклой, мы успевали пшеничкой полакомиться либо лепешкой, которые непрерывно пеклись на железной печке в будке стрелочника из наметенного в вагонах мучного буса.

Мимоходом, мимоездом ныркий фэзэошник насыпал зерна в заранее прорванные карманы бушлата, заранее же ведая, что при выезде его обыщут, вытрясут вахтеры всю лопотину, с досады пинкаря отвесят. Но вахтеры — тоже люди. У них где-то на кого-то тоже учатся, воют свои «робята», и они, как бы изнемогши в борьбе с нами, на самом-то деле надеясь: добро добром отзовется и «робят» их тоже кто-нибудь попитает, плюнут, матюкнутся, пнут еще разок — для воспитания, и где-нибудь — за швами в бушлате, в нагрудных карманах или пришитом к ширинке кошельке «не заметят» зернышек. Вечером мы жарили пшеницу на каленых общежитских выюшках, бодро хрустели зерном, передразнивали вахтеров, вспоминая, как мы их ловко надули и как еще ловчее надуем в следующую поездку.

Вот он, мелькомбинат, под самым самолетом. Впились в гору серые кубы, колена, трубы, и во дворе-то, во дворе маневрушка суетится, да с трубой! Нет ныне маневрушек-паровозов, а эта выжила, дымит, свистком поупкивает, будто мыльные пузырьки выдувает, два продолговатых и один кругленький. Это что же? Один длинный — вперед, два длинных — назад, два коротких — простопори, тише едь. Или наоборот: один длинный — назад, два длинных — вперед? Забыл сигнализацию. Проходит жизнь, тускнеют ее приметы. И бараков нашего ФЗО нет. На скорую руку они строились, с насыпными стенами. Сопрели. Прекрасные они были, вот и смахнули их с земли. Взамен отгрохали современные баряки, многоэтажные, сплошь серые, с одинаковыми окнами, дверями, козырьками

вместо сеней, стенки у дверей в дырках — для красоты, надо понимать.

Так-с, пока на мелькомбинат паялся, ФЗО вспомнил, чуть не прозевал Гремячий лог, в котором отшумела речка — была и нету!

Ушла под крыло самолета, мелькнула горбина горы с сияющими новизной, голыми какими-то, неприятно чужими здесь домами Академгородка. Впереди пластушина острова, будто зеленая коровья лепеха, плюхнутая среди реки, но взгляд почти не задерживается на нем, глаз торопится к тому месту, при виде которого всегда слабеет во мне сердце.

Шалунвей — Шалунин бык, обколотый взрывами, будто затасканный в кармане серый кусок сахара, — здесь было последнее мамино пристанище.

Говорят, что человеческая душа жива и бессмертна до тех пор, пока есть в оставшемся мире тот, кто ее помнит и любит. Не станет меня, и мамина душа успокоится, отмучается наконец, потому что мучается она не где-то там, в небесах, мучается во мне, ибо есть я — ее продолжение, ее плоть и дух, ее незаконченная мысль, песня, смех, слезы, радость.

Высоко летим, и уже не зрением, дном его чую я бугорок неподалеку от устья Большой Слизневки, заросший мелкою густою травкой, — стекает к Малой Слизневке, как и прежде, ослескивающая Лысая гора.

Над Большой Слизневкой, по гриве и по сопкам — сплошь горельник. Жизнь доживаю, а не бывал на Слизневской седловине, и бабушка моя, и дедушка, и все мои селяне не бывали там. Грибы-ягоды — они и внизу всегда росли. Лес на скалах не рубили. Самой природой назначено красоваться желтоталовому, жаювому сосняку со стройными стволами в синем поднебесье. Но тренированные в спортзалах, пустоглазые транзисторщики забгались на скалы, погуляли, повеселились и для полноты ощущений пустили по горам пал.

На яру, разжужканном гусеницами, возле Малой Слизневки, еще год назад торчали два зябких тополя — все, что осталось от Касьяновского кордона. Здесь был единственный на всю округу сад, наносил его из лесу чудаковатый человек по фамилии Лапунин, привозные в том саду были лишь тополя. Пьяные трактористы своротили их в реку гусеницами, просто так, от нечего делать, и даже не оглянулись, не увидели, не услышали, как предсмертно хрустят, безгласно вздымают обломанные лапы добрые, нездешние деревья, дававшие приют птицам и детям, тень саду, прохладу дому, красоту реке.

Вот и родное село. Но пока еще не заслонило корпусом самолета то, что впереди и внизу, я поворачиваюсь направо, отыскиваю взглядом косую ниточку распадка Караульной речки, вдетую в острую иглу залива, пытаюсь увидеть избушку бакенщика, в которой ныне обитают городские дачники, насадившие вместо картошек петрушку, укропчик, корень ревень, турецкие ромашки.

В конце пятидесятих годов смерть унесла брата Мишу и его верную подругу Полину. Почти разом остались ребятишки без матери и отца, и принял семью на широкие плечи вернувшийся из армии сын Миши — Петр. По глади реки ползет серая козявка с белым подгузком, за нею двойится росчерк. Катерок не катерок, лодка не лодка, о крытом носом и узкими оконцами, трещит на весь Енисей, переправляя с раннего утра и до позднего вечерадвигающийся туда-сюда люд. Правит этой машиной конопатый, хваткий, на Полину похожий мужик. «Петька! Ешь твою вошь! — ругаются овсянские мужики. — У нас курицы нестись перестали из-за твоей трещалки!» — «У вас бабы родить перестали, дак тоже моя моторка виновата?!»

Тень, летящая впереди самолета, скользнула по старым, деревянным, и новым, шиферным, крышам. Раздалось село Овсянка. Два новых поселка на увалах возникли. Строители ГЭС оставили на память селу деревообрабатывающий завод — основное предприятие на три поселения.

Растянувшееся вдоль реки село перескреблось через светлые струны железной дороги, паутинку шоссе, грибными плотами высыпало на первый увал и замешкалось, приостановилось перед покатым склоном Черной горы. Берег реки с непрерывающейся почти загородью кажется подрубленным на швейной машинке. С мушек-таракашек величиною виднеются на улицах и на берегу мотоциклетки, моторки, машины. Я поискал взглядом старый бабушкин дом, в котором обитает ныне тетка Апронья, да где же найти его с такой высоты? Мал он, крыша перекрыта, двор заужен, огород от леса обрублен казенными дорогами, сжат с боков новыми усадьбами. Во-он в квадрате одной загородки метлячком белется бабий платок. Я потянул спутника к окну, указал пальцем вниз, сказал, что это Лелька, тетка моя Апронья редиску полет. Отчего-то не рассмеялся моей шутке спутник, лишь грустно покачал головой.

Взглядом отыскал я квадратик кладбища возле Фокинской речки. Неизменный, живой друг нашего стремительного детства, место игр и забав — Фокинская речка летами ныне не течет — ее разбирают шлангами по огородам. В полдень путь речки угадывается лишь по грязной борозде и бледным, вымытым из земли камешкам. Ночью речка еще выдавливается из лесов живой струйкой и, крадучись, тихонечко ползет поперек села к Енисею. Кладбище тоже «не работает», зарастает лебедой, жалицей — покойников возят на Усть-Ману.

Мана! Я поискал глазами рыжий гребешок Манского быка. Нету! Гидростроители смахнули. И сама красавица река ошестинена торосами сплавного леса. Через Ману проложен мост. Когда в устье реки бурили грунт под опоры, на восемнадцатиметровой глубине попадалась в пробы древесина. Утопленный и зарытый лес, все больше лиственница — она в воде почти не гниет. Может, потомки благодарить еще нас будут за хотя бы таким вот хитрым образом сделанные для них запасы древесины?

Прощай, Мана! И прости нас! Мы истязали не только природу, но и себя, и не всегда по дурости, больше по нужде...

Самолет качнуло, повело на правое крыло. Промелькнул оголившийся Манский шивер, прочеркнулась и отрябила в распадке речка Минжуль, наплывали малахитово застывшие переклады гор, по оподолью которых ступенчато выстроился новый красивый город. Вот-вот возникнет плотина гидростанции, но я не вперед гляжу, а выворачиваю шею, чтобы еще хоть раз увидеть остающееся за хвостом самолета родное село и Усть-Ману, да загустела синь за бортом, взрывами замелькали под утюгом самолетного брюха облака. Забирая правее, выше, мчался самолет, оставляя по левому крылу в разъятой голубизне небес леса и горы, родимый Енисей, берега которого отсюда, с пугающей высоты, как в древности, видятся негрнутыми, девственно чистыми, погруженными в мохнатую тишину. Лунными серпами там и сям просекает тайгу Мана. Все так покойно, величаво, но отчего же на сердце гнетущая тоска и горькая тревога?

За день до отлета земляки сговорили меня и моего друга посмотреть речку Бирюсу и гидростанцию. Я видел последний раз гидростанцию еще не достроенной, облепленную человеческим муравейником, и поразился теперь ее безлюдью, и подумалось мне, что предприятия будущего сделаются еще более обезлюдненными. Оторопь наваливается на человека, привыкшего к артельному, шумному труду, охватывает чувство малости, ничтожности своей. Первый раз такое козявочное чувство посетило меня в зале синхрофазотрона и вот возобновилось на гидростанции.

На пути к Бирюсе, за плотиной, в старом-старом, бездымном пароходе, киснушем в киселе плесневелых водорослей, я с грудом узнал старикашку «Спартак», приспособленного под брандвахту. Много в жизни переживший грустных встреч, могу сказать, что это была не просто грустная встреча, это были минуты подведения своего итога, та черта под закатным периодом жизни, о которой подзреваешь, но как-то ухитряешься ее отдалить, не думать о ней, и вот неизбежное и скорбное самому себе признание: «Да-а-а, старимся!..»

По водохранилищу не плыли — летели на полуглиссере.

Дурная молва велась в наших местах когда-то о речке Бирюсе. Леших, водяных и прочей нечисти водилось на ней видимо-невидимо, отбивало у многих желание здесь охотиться и рыбачить. А вообще-то, сказывали, речка богатая, красивая. То, что увидели мы на Бирюсе, даже затопленной, в плесени замзгнутой воды, не поддается описанию. Дук захватывает от неповторимой, воистину колдовской красоты!

Есть на Бирюсе одна скала особенная. Верстах в десяти от устья Бирюсы, наподобие полураскрытой книги, тронутой ржавчиной и тлением времени, грузно стоит она в воде. На одной стороне скалы, на той, что страницей открыта в глубь материка, древним ли художником, силами ль природы, вырисовано

лицо человека — носатое, двуглазое, со сжатым кривым ртом; когда проходишь близко, оно плаксиво; а как отдалишься — ухмыляется, подмигивает, живем, дескать, творим, ребята!..

— Вот она!

Я вздрогнул и очнулся. Пассажиры в самолете прикипая к окошкам, не отрываясь смотрели на отдаляющуюся гидро-станцию. Они любовались творением своих рук.

Переменилась моя родная Сибирь. Все течет, все изменяется — свидетельствует седая мудрость. Так было. Так есть. Так будет.

Всеу свой час и время всякому делу под небесами:

Время родиться и время умирать;

Время насаждать и время вырывать насаженное;

Время убивать и время исцелять;

Время разрушать и время строить;

Время плакать и время смеяться;

Время стенать и время плясать;

Время разбрасывать камни и время собирать камни;

Время обнимать и время избегать объятий;

Время искать и время терять;

Время хранить и время тратить;

Время рвать и время сшивать;

Время молчать и время говорить;

Время любить и время ненавидеть;

Время войне и время миру.

Так что же я ищу? Отчего мучаюсь? Почему? Зачем?  
Нет мне ответа.

*1972—1975 гг.*



**Астафьев В. П.**

**А 91** Царь-рыба: Повести./Предисловие В. Астафьева.---  
Хабаровск: Кн. изд-во, 1986. — 576 с., ил. (Байкалс  
Амурская библиотека «Мужество»)

Книга известного советского писателя посвящена людям, чья жизнь  
и работа связана с тайгой. Автор по-художнически глубоко исследует  
взаимоотношения человека и природы.

**А** 4702010200—21  
М160(03)—86 24—86

**84.31**

## СОДЕРЖАНИЕ

**Виктор Астафьев. Стержневой корень 5**

### ПОВЕСТИ

Стародуб . . . . .	16
Ода русскому огороду . . . . .	72
Где-то гремит война . . . . .	111
Пастух и пастушка. <i>Современная пастораль</i>	169
Царь-рыба. <i>Повествование в рассказах</i>	279

**Виктор Петрович Астафьев**

### ЦАРЬ-РЫБА

*Повести*

Редактор И. В. Жолондзь. Художественный редактор А. В. Колесов.  
Технические редакторы Т. В. Короткова, Н. Б. Хохлова.  
Корректор Т. В. Шкулина.

ИБ № 1343

Сдано в набор 03.12.85. Подписано в печать 07.04.86. Формат 84х108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бум.  
тип. № 3. Гарнитура литературная. Высокая печать. Усл. печ. л. 30,24.  
Усл. кр.-отт. 30,24. Уч.-изд. л. 41,87. Тираж 100 000 экз. (1-й завод 1—50 000 экз.).  
Заказ 3429. Цена 2 р. 80 к. Хабаровское книжное издательство Государственного  
комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.  
680620, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31. Кривая типография № 1 управления  
издательств, полиграфии и книжной торговли, 680620, г. Хабаровск, ул. Серы-  
шева, 31.



Созданием файла в формате DjVu  
занимался ewgeniy-new  
(март 2014)